А. С. ПУШКИН

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ





СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

А. С. ПУШКИН

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

Р1
П91

*Составление,
подготовка текста и комментарии*
В. Э. ВАЦУРО, М. И. ГИЛЛЕЛЬСОНА,
Р. В. ИЕЗУИТОВОЙ, Я. Л. ЛЕВКОВИЧ

Оформление художника
В. МАКСИНА

П $\frac{4702010100-241}{028(01)-85}$ 21-85

Н. В. ПУТЯТА

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

А. С. Пушкина я видел в первый раз в Москве, в Большом театре, во время празднеств, последовавших за коронациею императора Николая Павловича.

Театр наполняли придворные, военные и гражданские сановники, иностранные дипломаты, словом — все высшее, блестящее общество Петербурга и Москвы.

Когда Пушкин, только что возвратившийся из деревни, где жил в изгнании и откуда вызвал его государь, вошел в партер, мгновенно пронесся по всему театру говор, повторивший его имя: все взоры, все внимание обратилось на него.

У разъезда толпились около него и издали указывали его по бывшей на нем светлой пуховой шляпе. Он стоял тогда на высшей степени своей популярности.

Дня через два Е. Баратынский, другой поэт-изгнанник, недавно оставивший печальные граниты Финляндии, повез меня к Пушкину, в гостиницу «Hotel du Nord», на Тверской. Пушкин был со мною очень приветлив.

С этого времени я довольно часто встречался с Пушкиным в Москве и Петербурге, куда он скоро потом переселился. Он легко знакомился, сближался, особенно с молодыми людьми, вел, по-видимому, самую рассеянную жизнь, танцевал на балах, волочился за женщинами, играл в карты, участвовал в пирах тогдашней молодежи, посещал разные слои общества.

Среди всех светских развлечений он порой бывал мрачен; в нем было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили. Посредником своих милостей и благодеяний государь назначил графа Бенкен-

дорфа, начальника жандармов. К нему Пушкин должен был обращаться во всех случаях. Началась Турецкая война [1]. Пушкин пришел к Бенкендорфу проситься волонтером в армию. Бенкендорф отвечал ему, что государь строго запретил, чтобы в действующей армии находился кто-либо не принадлежащий к ее составу, но при этом благосклонно предложил средство участвовать в походе: хотите, сказал он, я определю вас в мою канцелярию и возьму с собою? Пушкину предлагали служить в канцелярии III-го Отделения!

Пушкин просился за границу, его не пустили. Он собирался даже ехать с бароном Шилингом, в Сибирь, на границу Китая. Не знаю, почему не сбылось это намерение; но следы его остались в стихотворении:

> Поедем, я готов . . . .
> К подножию ль стены недвижного Китая и пр. [2]

Наконец, весною в 1829 г., Пушкин уехал на Кавказ. Из Тифлиса он написал к гр. Паскевичу и, получив от него позволение, догнал армию при переходе ее через хребет Саган-Лу. Памятником этой поездки осталось прекрасное описание «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 г.». По возвращении Пушкина в Петербург государь спросил его, как он смел приехать в армию. Пушкин отвечал, что главнокомандующий позволил ему.

Государь возразил: Надобно было проситься у меня. Разве не знаете, *что армия моя?*

Слышал я все это тогда же от самого Пушкина.

По выходе в свет его «Истории Пугачевского бунта» появилась пошлая на нее критика в «Сыне Отечества» [3]. Только что прочитав эту критику, я пошел на Невский проспект, встретил Пушкина и шутя приветствовал его следующей оттуда фразой: «Александр Сергеевич! Зачем не описали вы нам пером Байрона всех ужасов Пугачевщины?» Пушкин рассмеялся и сказал: «Каких им нужно еще ужасов? У меня целый том наполнен списками дворян, которых Пугачев перевешал. Кажется, этого достаточно!»

После 1830 г. Пушкина женатого я видел реже. Во время его дуэли я был несколько болен и не выходил из комнаты. Узнав о его смерти, я с принуждением оделся и отправился на его квартиру, на Мойке, близ Певческого моста, в нижнем этаже дома князя Волконского. У гроба был беспрерывный прилив людей всех состояний, прихо-

дивших поклониться праху любимого народного поэта. Здесь я узнал, что отпевание тела его будет в Адмиралтейской церкви. На другой день, в назначенное время, подъезжаю к этой церкви и, к удивлению моему, вижу, что двери заперты, а около бродят несколько человек в таком же недоумении, как и я. Оказалось, что из опасения какой-либо манифестации на похоронах Пушкина, накануне, в ночь, приказано переменить место отпевания. Оно происходило в Конюшенной церкви. Когда, по разным соображениям и расспросам, я добрался туда, гроб уже выносили из церкви несколько друзей и лицейских товарищей покойного. Сколько мне помнится, австрийский посланник граф Фикельмон и французский граф Барант одни были в мундирах и лентах.

Зимою, в конце 1837 или 1838 г., приезжал в Петербург на несколько дней Е. Баратынский и останавливался у меня. В. А. Жуковский, коему государь поручил разобрать бумаги Пушкина, дал Баратынскому одну из его рукописных тетрадей in folio в переплете. В ней находился напечатанный потом отрывок Пушкина о Баратынском. Тетрадь эта оставалась у последнего самое короткое время; он был уже в отъезде и просил меня тотчас возвратить ее Жуковскому, что я и исполнил. Кроме помянутого отрывка, в этой тетради находились некоторые другие статьи в прозе и клочки дневника Пушкина разных годов. Помню из него почти слово в слово следующие места: 1) число, месяц. «Сегодня приехали в Петербург два француза, Дантез и маркиз Пинна». В этот день ничего более не было записано. Что замечательного мог найти Пушкин в их приезде? Это похоже на какое-то предчувствие! 2) число, месяц.......... «Меня пожаловали камер-юнкером для того, чтобы Наталья Николаевна могла быть приглашаема на балы в Аничков. Вечером я был на бале у Б. Великий князь Михаил Павлович встретил меня в дверях и поздравил. Я отвечал ему: ваше высочество, вы одни меня поздравляете, все надо мною смеются» [4].

Пушкин был необыкновенно впечатлителен и при этом имел потребность высказаться первому встретившемуся ему человеку, в котором предполагал сочувствие или который мог понять его. Так, я полагаю, рассказал он мне ходатайство свое у графа Бенкендорфа и разговор с государем.

Такую же необходимость имел он сообщать только что написанные им стихи. Однажды утром я заехал к нему в гостиницу Демута, и он тотчас начал читать мне свои великолепные стихи из «Египетских ночей»: «Чертог сиял» и пр. ... На вечере, в одном доме на островах, он подвел меня к окну и в виду Невы, озаряемой лунным светом, прочел наизусть своего «Утопленника», чрезвычайно выразительно [5].

У меня на квартире читал он мне стихи: «Таи, таи свои мечты» [6] и пр. и, по просьбе моей, тут же написал мне их на память. Все эти стихотворения были напечатаны уже впоследствии.

Не хвастаюсь дружбой с Пушкиным, но в доказательство некоторой приязни его и расположения ко мне могу представить, кроме помянутого автографа, еще одну записку его на французском языке. Пушкин прислал мне эту записку со своим кучером и дрожками. Содержание записки меня смутило, вот оно: M'étant approché hier d'une dame, qui parlait à m-r de Lagrené, celui-ci lui dit assez haut pour que je l'entendisse: renvoyez-le! Me trouvant forcé de demander raison de ce propos, je vous prie, monsieur, de vouloir bien vous rendre auprès de m-r de Lagrené et de lui parler en conséquence. Pouchkine» *.

Я тотчас сел на дрожки Пушкина и поехал к нему. Он с жаром и негодованием рассказал мне случай, утверждал, что точно слышал обидные для него слова, объяснил, что записка написана им в такой форме и так церемонно именно для того, чтоб я мог показать ее Лагрене, и настаивал на том, чтоб я требовал у него удовлетворения. Нечего было делать: я отправился к Лагрене, с которым был хорошо знаком, и показал ему записку. Лагрене, с видом удивления, отозвался, что он никогда не произносил приписываемых ему слов, что, вероятно, Пушкину дурно послышалось, что он не позволил бы себе ничего подобного,

---

* «Вчера, когда я подошел к одной даме, разговаривавшей с г-ном де Лагрене, последний сказал ей достаточно громко, чтобы я его услышал: прогоните его. Поставленный в необходимость потребовать у него объяснений по поводу этих слов, прошу вас, милостивый государь, не отказать посетить г-на де Лагрене для соответствующих с ним переговоров. Пушкин». В оригинале имеются следующие слова, отсутствующие в мемуарах Путяты: «Милостивому государю господину Путяте. Ответьте, пожалуйста».

особенно в отношении к Пушкину, которого глубоко уважает как знаменитого поэта России, и рассыпался в изъяснениях этого рода.

Пользуясь таким настроением, я спросил у него, готов ли он повторить то же самому Пушкину. Он согласился, и мы тотчас отправились с ним к Александру Сергеевичу. Объяснение произошло в моем присутствии, противники подали руку друг другу, и дело тем кончилось. На другой день мы завтракали у Лагрене с некоторыми из наших общих приятелей.

Стихи Пушкина, писанные его рукою, и французская его записка свято у меня сохраняются [7].

С. А. СОБОЛЕВСКИЙ

ИЗ СТАТЬИ «ТАИНСТВЕННЫЕ ПРИМЕТЫ В ЖИЗНИ ПУШКИНА»

О странном ⟨...⟩ предсказании, имевшем такое сильное влияние на Пушкина, было упоминаемо до сих пор в печати три раза:

1) в «Москвитянине» 1853 года, стр. 52, том 10-й, в статье Льва Пушкина;

2) в «Казанских губернских ведомостях» 1844 года, 2-е прибавление, в статье г-жи Фукс;

3) в «Московских ведомостях» 1855 года, № 145, в статье Бартенева, который вполне передал в ней и рассказ г-жи Фукс. ⟨...⟩ [1]

Из этих рассказов всех подробнее и вернее изложение Бартенева. В многолетнюю мою приязнь с Пушкиным (замечу, что мои свидания и сношения с ним длились *позже* сношений и госпожи Фукс, и Вульфа, и Льва Пушкина) я часто слышал от него самого об этом происшествии; он любил рассказывать его в ответ на шутки, возбуждаемые его верою в разные приметы. Сверх того, он в моем присутствии не раз рассказывал об этом именно при тех лицах, которые были у гадальщицы при самом гадании, причем ссылался на них. Для проверки и пополнения напечатанных уже рассказов считаю нужным присоединить все то, о чем *помню положительно*, в дополнение прежнего, восстановляя то, что в них перебито или переиначено. Предсказание было о том, *во-первых*, что он скоро получит деньги; *во-вторых*, что ему будет сделано неожиданное предложение; *в-третьих*, что он прославится и будет

кумиром соотечественников; *в-четвертых*, что он дважды подвергнется ссылке; наконец, что он проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека (weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch), которых и должен он опасаться *.

Первое предсказание о письме с деньгами сбылось в тот же вечер; Пушкин, возвратясь домой, нашел совершенно неожиданное письмо от лицейского товарища, который извещал его о высылке карточного долга, забытого Пушкиным. Товарищ этот был Корсаков, вскоре потом умерший в Италии [2].

Такое быстрое исполнение первого предсказания сильно поразило Александра Сергеевича; не менее странно было для него и то, что несколько дней спустя, в театре, его подозвал к себе Алексей Феодорович Орлов (впоследствии князь) и стал отговаривать его от поступления в гусары, о чем уже прежде была у него речь с П. Д. Киселевым, а напротив, предлагал служить в конной гвардии [3].

Эти переговоры с Алексеем Феодоровичем Орловым ни к чему не повели, но были поводом к посланию, коего конец напечатан в сочинениях Пушкина (издание Геннади, том 1, с. 187), а начало в «Библиографических записках» 1858 г., с. 338. У нас ошибочно принято считать это послание посланием к Михаилу Феодоровичу Орлову, так как с ним Пушкин впоследствии очень сблизился ⟨...⟩ [4].

Вскоре после этого Пушкин был отправлен на юг, а оттуда, через четыре года, в Псковскую деревню, что и было *вторичною* ссылкою. Как же ему, человеку крайне впечатлительному, было не ожидать и не бояться конца предсказания, которое дотоле исполнялось с такою буквальною точностию??? После этого удивительно ли и то, о чем рассказывал Бартеневу Павел Воинович Нащокин? Прибавлю следующее: я как-то изъявил свое удивление Пушкину о том, что он отстранился от масонства, в которое был принят, и что он не принадлежал ни к какому другому тайному обществу [5].

«Это все-таки вследствие предсказания о белой голове,— отвечал мне Пушкин.— Разве ты не знаешь, что все филантропические и гуманитарные тайные общества, даже и самое масонство, получили от Адама Вейсгаупта напра-

* О предсказании касательно женитьбы мне ничего не помнится, хотя об нем упомянуто в статье Льва Сергеевича.

вление, подозрительное и враждебное существующим государственным порядкам? Как же мне было приставать к ним? Weisskopf, Weisshaupt,— одно и то же»[6].

Вот еще рассказ в том же роде незабвенного моего друга, не раз слышанный мною при посторонних лицах.

Известие о кончине императора Александра Павловича и о происходивших вследствие оной колебаний по вопросу о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидаться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решился отправиться туда; но как быть? В гостинице остановиться нельзя — потребуют паспорта; у великосветских друзей тоже опасно — огласится тайный приезд ссыльного. Он положил заехать сперва на квартиру к Рылееву, который вел жизнь не светскую, и от него запастись сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот, на пути в Тригорское, заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское — еще заяц! Пушкин в досаде приезжает домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белою горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец повозка заложена, трогаются от подъезда. Глядь — в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Всех этих встреч — не под силу суеверному Пушкину; он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне. «А вот каковы бы были последствия моей поездки,— прибавлял Пушкин.— Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтоб не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я забыл бы о Вейсгаупте, попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!»[7]

Об этом же обстоятельстве передает Мицкевич в своих лекциях о славянской литературе, и вероятно, со слов Пушкина, с которым он часто видался (Pisma Adama Mickiewicza, изд. 1860, IX, 293).

КВАРТИРА ПУШКИНА В МОСКВЕ

(Письмо к редактору)

Ваше превосходительство, — *заезжайте в кабак!!* Я вчера там был, но меда не пил. Вот в чем дело.

Мы ехали с Лонгиновым через Собачью площадку; сравнявшись с углом ее, я показал товарищу дом Ринкевича (ныне Левенталя), в котором жил я, а у меня Пушкин; [1] сравнялись с прорубленною мною дверью на переулок — видим на ней вывеску: *продажа вина и прочее.*— Sic transit gloria mundi!!! * Стой, кучер! Вылезли из возка и пошли туда. Дом совершенно не изменился в расположении: вот моя спальня, мой кабинет, та общая гостиная, в которую мы сходились из своих половин и где заседал Александр Сергеевич в... (как называется тулуп с мехом кверху??) [2]. Вот где стояла кровать его, на которой подле него родила моя датская сука, с детьми которой он так нежно возился и нянчился впоследствии; вот то *место*, где он выронил (к счастию — что не в кабинете императора) свои стихотворения о повешенных, что с час времени так его беспокоило, пока они не нашлись!!! Вот где собирались Веневитинов, Киреевский, Шевырев, вы, я и другие знаменитые мужи [3], вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!!!

Кабатчик, принявший нас с почтением (должным таким посетителям, которые вылезли из экипажа), очень был удивлен нашему хождению по комнатам заведения. На вопрос мой: слыхал ли он о Пушкине? он сказал утвердительно, но что-то заикаясь. Мы ему растолковали, кто был Пушкин; мне кажется, что он не понял.

Советую газетчику обратить внимание публики на этот кабак. В другой стране, у бусурманов, и на дверях сделали бы надпись: *здесь* жил Пушкин! — и в углу бы написали: здесь спал Пушкин! — и так далее **.

---

* Так проходит слава мира!!! *(лат.)*

** *Приписка М. П. Погодина:*

«Помню, помню живо этот знаменитый уголок, где жил Пушкин в 1826 и 1827 годах, помню его письменный стол между двумя окнами, над которым висел портрет Жуковского с надписью: «ученику-победителю от побежденного учителя». Помню диван в другой комнате, где, за вкусным завтраком (хозяин был мастер этого дела), начал он читать мою «Русую косу», первую повесть, написанную в 24-м году и помещенную в «Северных цветах», и, дойдя до места, в начале, где один молодой человек

ИЗ ПИСЕМ К М. Н. ЛОНГИНОВУ

⟨1855⟩

Благодарю А⟨нненкова⟩ 1) за приличный и благородный тон его труда; 2) за отсутствие возгласов и хвалебных эпитетов, знаков восклицания и других типографских прикрас. NB (это было бы приятно Пушкину самому, любившему во всем приличие и порядность); 3) за то, что он не восхищается эпиграммами П⟨ушкина⟩, приписывает их слабости, сродной со всем человеческим, и признает их пятнами его литературной славы. NB (П⟨ушкин⟩ жалел об эпиграмме «В Академии наук», когда лично узнал Дундука); 4) что он ни слова не упоминает о «Гаврилиаде» и не приводит из нее стихов (что было бы весьма легко сделать в виде отрывка или перемешивая с повествованием). NB Касательно сего последнего пункта je le fais en toute sureté de conscience au nom et de la part du défunt *, помня, как он глубоко горевал и сердился при всяком, даже нечаянном, напоминании об этой прелестной пакости...

1) По приезде П⟨ушкина⟩ в Москву, он жил в трактире «Европа», дом бывший тогда Часовникова, на Тверской. Тогда читал он у меня, жившего на Собачьей площадке, в доме Ринкевича (что ныне Левенталя) «Бориса» *в первый раз* при М. Ю. Виельгорском, П. Я. Чаадаеве, Дмитрии Веневитинове и Шевыреве. Наверное не помню, не было ли еще тут Ивана В. Киреевского. (Потом читан

сказал другому любителю словесности, чтоб вызвать его из задумчивости: «Жуковский перевел Байронову «Мазеппу», — вскрикнул с восторгом: «Как! Жуковский перевел «Мазеппу»!» Там переписал я ему его «Мазеппу», поэму, которая после получила имя «Полтавы». Там, при мне, получил он письмо от генерала Бенкендорфа с разрешением напечатать некоторые стихотворения и отложить другие. В этом письме говорилось о песнях о Стеньке Разине. Пушкин отдал его мне, и оно у меня цело. Туда привез я ему с почты «Бориса Годунова». Однажды пришли мы к нему рано с Шевыревым за стихотворениями для «Московского вестника», чтобы застать его дома, а он еще не возвращался с прогульной ночи, — и приехал при нас. Помню, как нам было неловко... Все это и многое другое надо бы мне было записать, но где же взять времени? Меня ждет еще Гоголь, ждет Иннокентий, ждет Шевырев, надо еще описать нашествие на Московский университет двадесяти язык... и мало ли что, кроме Истории, которой, впрочем, уже напечатано около сорока листов!»

* Я со спокойной совестью говорю от имени покойного.

«Борис» у Вяземского * и Волконской или Веневитиновых?) Впрочем, ce sont les seuls lectures, que P⟨ouchkine⟩ ait jamais fait de ses oeuvres, qu'il détestait de lire autrement qu'en tête a tête ou à peuprès **. По возвращении из деревни (куда он ездил на короткое время) он приехал прямо ко мне и жил в том же доме Ринкевича, который, как сказано, на Собачьей площадке стоит лицом, а задом выходит на Молчановку, из чего и вышли у А⟨нненкова⟩две местности.

2) Я возвратился из-за границы 22 июля 1833-го года, чуть ли не в день или на другой день крестин Александра (Сашки) Пушкина junioris ***. Несколько дней спустя, то есть или в конце июля, или в начале августа, Алек⟨сандр⟩ Серг⟨еевич⟩ и я поехали вместе и доехали до Торжка; в Торжке разъехались: я поехал к себе в деревню, а он к каким-то приятелям, чуть ли не к Вульфу.

Еще: П⟨ушкин⟩ решительно поддался мистификации Merimée, от которого *я должен был* выписать письменное подтверждение [1], чтобы уверить Пу⟨шкина⟩ в истине пересказанного мной ему, чему он не верил и думал, что я ошибаюсь. После этой переписки П⟨ушкин⟩ *часто* рассказывал об этом, говоря, что Merimée не одного его надул, но что этому поддался и Мицкевич [2]. C'est donc et très bonne compagnie, que je me suis laissè mystifier ****, прибавлял он всякий раз.

---

* На этих чтениях я не был, ибо в день первого так заболел, что недели три пролежал в постели.

Ср. в письме к М. П. Погодину 1864 г.: «Пушкин жил у меня на Собачьей площадке; когда после его отъезда я переехал на Дмитровку, то он там у меня *никогда не бывал ни разу.* ⟨...⟩ *Первое* чтение «Бориса» было на Молчановке; на нем присутствовали: Чаадаев, М. Ю. Виельгорский, Дмитрий Веневитинов, Иван Киреевский, Вяземский и Баратынский *наверное.* Были ли вы и Шевырев, не помню, а кажется, что были. К концу этого чтения со мной сделался сильный припадок лихорадки, так что я до окончания ушел слечь в постель и был с неделю болен, почему и не присутствовал на *втором* чтении «Бориса», имевшемся у Веневитиновых в присутствии княгини Зинаиды Волконской и иных» (Богаевская К. Первые чтения «Бориса Годунова».— Наука и жизнь, 1972, № 11, с. 47).

** это были единственные случаи, когда Пушкин читал свои сочинения, потому что он терпеть не мог читать иначе как с глазу на глаз или в узком кругу.

*** младшего *(лат.)*.

**** Поддавшись этому обману, я оказался в очень хорошем обществе.

⟨1856 — 1857 (?)⟩

О муза пламенной сатиры,
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне Ювеналов бич!
Не подражателям холодным,
Не переводчикам голодным
И не поэтам модных дам
Готовлю язву эпиграмм.
Мир вам, смиренные поэты,
Мир вам, сонливые глупцы!
А вы, ребята-подлецы,
Вперед! Всю вашу сволочь буду
Я мучить казнию стыда;
А если же кого забуду,
Прошу напомнить, господа!
О сколько лбов широкомедных,
О сколько лиц нахально бледных,
Готовых от меня принять
Неизгладимую печать!

А. Пушкин.

Эти стихи мы припомнили с Эристовым; припомнили много других, но я не уверен, есть ли они или нет в твоем дополнительном томе.

Пушкин хотел издать особую книжку эпиграмм и приготовил для оной сообщаемое ныне предисловие [3].

НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

Описывая обстоятельства, предшествовавшие поединку Пушкина с Дантесом, граф В. А. Соллогуб выразился следующими словами:

«Он (Пушкин) в лице Дантеса искал или смерти, или расправы с целым светским обществом. Я твердо убежден, что если бы С. А. Соболевский был тогда в Петербурге, он, по влиянию его на Пушкина, один бы мог удержать его. Прочие были не в силах».

Тогда Пушкин не был еще знаменитостию; разницы между нами было мало: три года по летам и та, которая существует между кончившим курс и школьником. В 1818 году отвезли меня в Петербург и отдали в Благородный пансион при Педагогическом университете. В первый же день подходит ко мне кудрявый мальчик, говорит, что он родной племянник Василья Львовича, что В⟨асилий⟩ Л⟨ьвович⟩ пишет к его отцу обо мне, и что он меня

познакомит с семейством и с братом, недавно вышедшим из Царскосельского лицея.

Так действительно и было; Александр Сергеевич часто приходил к брату; мы сходились большею частию у Кюхельбекера, учившего нас русской словесности и жившего вместе с М. И. Глинкою в мезонине над пансионом. Отличительною чертою Пушкина была память сердца; он любил старых знакомых и был благодарен за оказанную ему дружбу,— особенно тем, которые любили в нем его личность, а не его знаменитость; он ценил добрые советы, данные ему вовремя, не в перекор первым порывам горячности, проведенные рассудительно и основанные не на общих местах, а сообразно с светскими мнениями о том, что есть честь, и о том, что называется честью.

Отношения Пушкина ко мне были основаны на этих чертах его характера. Граф Соллогуб, общий наш, Пушкина и мой, приятель, знал их; он знал также, что я не раз был замешан Пушкиным в дела подобного рода и кончал их удачно; итак, немудрено, что, по его мнению, мое посредничество в деле Пушкина с Дантесом могло бы отвратить пагубный конец оного. Для тех, которым все это мало известно, расскажу в коротких словах, как Пушкин и я познакомились, сблизились и остались близкими друг к другу.

Я провел детство в Москве; один тогда из главных предметов учения была тогда мифология; я ей учился по аббату Лионе — «Traité de mythologie, par l'abbè Lyonnais». В этой книге нет ни одного бога, про которого автор не сказал бы, что поэты ему приписали такую-то власть, что поэты производили его от таких-то или представляют его таким-то, и так далее. Словом, я возымел высокое мнение об личностях, которых чуть ли не производили в боги и называются — Поэтами!

Возвратившийся в Москву Василий Львович Пушкин, очень знакомый с моим семейством, стал часто к нам ездить. Про него говорили: «c'est un Poete!!!», с каким благоговением я стал смотреть на него!!! Это было первое впечатление; впоследствии меня привлекли к нему рассказы о Париже, Наполеоне, других знаменитостях, с которыми меня знакомили книги; сверх того, он стал обращать внимание на меня, учил меня громко читать, как читывал Тальма, и сцены из французских трагиков, и «Певца» Жуковского, и оду Карамзина «Конец победам, богу слава» и даже слушал и поправлял мои вопросы! Как же мне было не любить этого доброго Василья Львовича?

М. П. ПОГОДИН

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1826

Сентябрь. 9. 〈...〉 Пушкин приехал! Ехать к нему, убедил Веневитинова, он поехал одеваться.— Я оделся.— Воротился и отговорил (что за поклонение, как примет и проч.) 〈...〉

10. 〈...〉 Веневитинова чрез Соболевского зовет Пушкин слушать «Годунова» ввечеру. Веневитинов, верно, спрашивал у Соболевского, нельзя ли как-нибудь faire пригласить меня, и, верно, получил ответ отрицательный. Мне больно или завидно. Зачем же не хотел познакомиться со мною и проч. Слушал рассказы об нем. Веневитинов поехал к нему с визитом. Они обещались приехать ко мне. У них читали еще песни Беранже с удовольствием. После думал о себе. Веневитинов может говорить с Пушкиным, а я что буду с своими афоризмами? [1] Да ведь и у Пушкина афоризмы. Думал о журнале с Пушкиным. Славное бы дело! Дожидался их — целый день они там. Думал об обеде в честь Пушкину. 〈...〉

11. 〈...〉 Веневитинов рассказал мне о вчерашнем дне [2]. «Борис Годунов» — чудо. У него еще «Самозванец», «Моцарт и Сальери», «Наталья Павловна», продолжение «Фауста», 8 песен «Онегина» и отрывки из 9-й 〈?〉 и проч.[3]. «Альманах не надо издавать,— сказал он,— пусть Погодин издаст в последний раз, а после станем издавать журнал,— кого бы редактором, а то меня 〈?〉 с Вяземским считают шельмами».— «Погодина»,— сказал Веневитинов. «Познакомьте меня с ним и со всеми, с кем бы можно говорить с удовольствием. Поедем к нему теперь».— «Нет, его нет

дома»,— сказал Веневитинов. «Надо отнять скиптр глупости от Полевого и Булгарина» — и пр. Веневитинов к чему сказал ему, что княжна Александра Ивановна Трубецкая известила его о приезде Пушкина и вот каким образом: они стояли против государя на бале у Мармона. «Я теперь смотрю de meilleur oeil * на государя, потому что он возвратил Пушкина».— «Ах, душенька,— сказал Пушкин,— везите меня скорее к ней». С сими словами я поехал к Трубецким и рассказал их княжне Александре Ивановне, которая покраснела как маков цвет. Рассказал ей и все слышанное. В 4 часа отправился к Веневитинову. Рассказы о визите к Трубецким и проч., потом говорили о предчувствиях, видениях и проч. Веневитинов рассказывал о суеверии Пушкина. Ему предсказали судьбу какая-то немка Кирнгоф и грек (papa, oncle, cousin) в Одессе. «До сих пор все сбывается, например, два изгнания. Теперь должно начаться счастие. Смерть от белого человека или от лошади, и я с боязнию кладу ногу в стремя,— сказал он,— и подаю руку белому человеку». Между прочим приезжает сам Пушкин. Я не опомнился. «Мы с вами давно знакомы,— сказал он мне,— и мне очень приятно утвердить и укрепить наше знакомство нынче». Пробыл минут пять — превертлявый и ничего не обещающий снаружи человек. Завтра к нему обещался везти Веневитинов из университетского дежурства.

12. На дежурство,— читал там корректуры, был у Мерзлякова, говорил об Университете и опале и проч. ...Веневитинов не заезжал за мною к Пушкину. Пошел домой, он навстречу, и поехали вместе домой. «Не умный ли я человек,— сказал он,— я поехал к Пушкину один, я хотел, чтоб он формально пригласил вас, так и сделалось. Лишь только я приехал, он спросил: «А где же Погодин?» — и пр. «Когда же поедем мы?» — «Когда хотите, завтра праздник на поле, нынче повидайтесь вы в театре — и проч. Пушкин обедает нынче у Яра». Довезя домой меня, он поворотил опять на Лубянку. После обеда я пошел нарочно посмотреть, не у Яра ли и он. Кажется.— Что это значит? — Читал Турго. Смотрел «Аристофана» [4]. Какая пиитическая жизнь у греков! Какие прекрасные воспоминания! Какой богатейший предмет. Пушкин написал бы мн⟨ого?⟩ гремящих стихов! — Соболевский подвел меня к нему. «Ах, здравствуйте! Вы не видали этой пиесы?» — «Ее только что

---

* Гораздо благоприятнее.

во второй раз играют. Он написал еще «Езопа при дворе» [5].— «А, это, верно, подражание Бусо».— «Довольны ли вы нашим театром?» — «Зала прекрасная, жаль, что освещение изнутри». Я боялся даже, что не смогу обсудить надлежащим образом комедию, чтоб говорить с ним об ней после.

13. Писал без расположения «Невесту на ярмарке», отправил за Веневитиновым — обещался прислать ответ,— читал корректуры Турго и с великим удовольствием Шлецера «Северную Историю» — какие прекрасные статьи для журнала. Думал об нем — если бы согласился Пушкин, а прежде издать бы альманах вместе ⟨...⟩. Веневитинова не было. Что это значит.

14. ⟨...⟩ Был Веневитинов с Мальцовым, и я очень рад, что познакомился с ним. Потом опять с Шевыревым говорил об Гермесе, Урании и проч. ⟨...⟩ Не для того ли приезжали Веневитинов с Мальцовым и Шевыревым, чтоб не говорить о свидании с Пушкиным.

16. Побывал у Александры Ивановны, на поле [6].— Завтрак народу нагайками,— приехал царь — бросились. Славное движение! Пошел в народ с Соболевским и Мельгуновым. Сцены на горах. С татар шапки — и проч. ⟨...⟩ Скифы бросились обдирать холст, ломать галереи. Каковы! Куда попрыгали и комедианты — веревки из-под них понадобились. Как били чернь. Не доставайся никому. Народ ломит дуром. Мы дожидались, что будут бросать билеты, крепостному воля, а государеву деньги, и в 5 часов на поле было пусто. Об⟨едал⟩ у Трубецких за задним ⟨?⟩ столом. Там Пушкин, который относился несколько ко мне. «Жаль, что на этом празднике мало драки, мало движения». Я отвечал, что этому причина белое и красное вино, если бы было русское, то — (Как вы приятно обманули меня.) ⟨...⟩

18. В типографию, к Раичу, к Мерзлякову. ⟨...⟩ Говорил о Пушкине. Собрались было к Пушкину с Веневитиновым, остановил Раич. Пушкин видел мой «Сокольницкий сад».

20. ⟨...⟩ К Пушкину — говорили о Карамзине. Я сказал, что его история есть 11/11, а не I, что он не имел точки, с которой можно видеть, и проч. (см. особо). Разговор о религии поддержать нельзя. Издавать журнал — это будет чудно! ⟨...⟩

24. К Веневитиновым. Рассказ⟨ывали?⟩ о Пушкине у Волхонских. (У меня кружится голова после чтения Шекспира, я как будто смотрю на бездну.) Завтра читать «Годунова». ⟨...⟩

25. ⟨...⟩ Нет, не шлет за мною Веневитинов. Перечитал с большим удовольствием Пушкина. Овидий в изгнании [7]. Скиф-старик любит его за рассказы. Молодые любовники просят его заступиться за них и проч. ⟨...⟩ Пушкин поэт чувства. Шиллер — мысли.

26. ⟨...⟩ К Веневитиновым, к Пушкину,— Веневитинова не видать на дворе, и я, обошед два раза, домой, к Мальцову, обедал и смотрел дом, к Кубареву, говорили об Университете, и о желании многих студентов учиться,— о журнале — доказывал ему, что хозяин должен быть один, и сей один да получает большие выгоды ⟨...⟩ Веневитинов сказал, что нельзя было слушать «Годунова» вчера.

27. ⟨...⟩ К Веневитиновым, спят,— не ехать поутру к Пушкину, ибо он будет у них обедать, читал корректуры Герена, думал об истории (особо). К Веневитиновым, Пушкина у них нет. Хомякова выдали Мальцову за Пушкина и очень смеялись. ⟨...⟩ «Годунова» и Корнилий слушал, а Веневитинов мне и не сказал об нем.

28. ⟨...⟩ В театр, и вместо «Фрейшица» увидел «Италианку в Алжире» [8]. Пушкин сказал мне: «Я не видал вас сто лет. Когда же у меня?» Был в ложе у Трубецких и Маль⟨цовых?⟩.

30. Читал корректуры, помолясь к Пушкину. Журнал благословляет (прочее написано особо), осмелился говорить о трех предметах из российской истории для трагедии, хотя и жаль было сказать их. Опоздал в цензурный комитет, взял форму. Ах, если бы да журнал ⟨...⟩.

Октябрь. 10. Пушкину отнес реестр пиес. «Хорошо!», назначил свои пиесы. Обещал прочесть «Годунова» во вторник. Браво! Дал намек о Калибана роле [9]. А я, невежа, не читал еще его. ⟨...⟩

11. Читал с восхищением Калибана. Во всей трагедии должна быть аллегория, и я рад был некоторым прозрениям своим, хотел сообщить их Пушкину, но не застал его. Обедал у Шевырева, говорил с ним об Иродоте и пр., о Шекспире, о журнале. Мудрец Шекспир! На лубочном театре он прорекал миру — слышите ли вы, говорит он. ⟨...⟩

12. В типографию, к Пушкину — в постеле еще, к Мерзлякову, Гаврилову, опять к Пушкину — не от меня ли он ушел. Нет; он у Веневитиновых — читал песни, коими привел нас в восхищение [10]. Вот предмет для романа: поэт в обществе. Наконец прочли «Годунова». Вот истина на сцене. Пушкин! ты будешь синонимом нашей литературы. Какие положения! — Но, образумясь, я увидел, что многих

сцен недостает еще: у Басманова с Димитрием (Пушкин разрешил мое сомнение об измене Басманова и об Шуйском), Отрепьев в монастыре, Борис по вступлении на престол и пр. Попрошу у него прочесть еще. ⟨...⟩

13. Слушал «Ермака», наблюдал Пушкина. Не от меня ли он сделал гримасу. «Ермак» есть картина мозаическая, не настоящая,— есть алмазы, но и много стекол [11]. (О Пушкине записано в отдельной тетради.) Обедал Шевырев у меня, говорили о журнале и проч. ⟨...⟩

17—22. Лекции, корректуры Эверса, журнал и хлопоты об обеде общем. Мне захотелось видеть всех наших по образу мыслей, занятий, духу. ⟨...⟩

24. Хлопотал об установлении завтрашнего обеда. ⟨...⟩

24. Общий обед — очень приятно было взглянуть на всех вместе. Неловко представился Баратынскому. Обед чудный, но жаль, что общего разговора не было. С удовольствием пили за здоровье Мицкевича, потом Пушкина. Подпили. Представление Оболенского Пушкину и проч. Веневитиновы, Ф. Хомяков, Титов, Шевырев, Погодин, Киреевск⟨ие?⟩, Мальцов, Рихтер, Розберг, Пушкин, Баратынский, Мицкевич, Соболевский, Оболенский, Раич.

26. ⟨...⟩ Толковал с Соболевским о журнале и спорил. Читал Бейрона.

27. ⟨...⟩ Завтрак⟨али⟩ у Соболевского и спорили о журнале, к коему Соболевский придумал цензоров (себя). ⟨...⟩

28. ⟨...⟩ Был у Пушкина на минуту ⟨...⟩.

30. ⟨...⟩ У Веневитиновых рассердил Соболевский, говоря о пиесах Пушкина. На все смотрит этот чудак с пирожной стороны. Жаль мне Веневитинова. ⟨...⟩

31, 1⟨ноября⟩, 2, 3. Хлопоты журнальные, корректуры и лекции ⟨...⟩

6. ⟨...⟩ Получил позволение издавать журнал. Ура!

7. ⟨...⟩ Переписывал с восхищением «Годунова». Чудо! ⟨...⟩ Прочел после хлопот «Годунова». ⟨...⟩

9. ⟨...⟩ Полдня хлопотал о журнале и объявлениях. Не ходил на лекцию. Был у кн. Вяземского и говорил с ним о журнале и проч. довольно ладно. Вяземский объявил свою готовность в участии.

15. ⟨...⟩ Ввечеру у меня цензоры. Толковали о журнале. Соболевский надоел. Писал письмо к Пушкину [12].

17. ⟨...⟩ О 10 000 Пушкину [13].

21. Писал письмо для «Северной лиры». Востоков и Кеппен сотрудники. Браво. Теперь бы только подписчи-

ков. И Козлов. Как мне досадно, что не пишет ко мне Веневитинов. ⟨...⟩ Получил письмо от Веневитинова. Рад. И Козлов наш. Из «Годунова» можно печатать [14].

25. ⟨...⟩ Толковали о журнале. Все говорят о модных картинах, но я не хочу ни за что. ⟨...⟩

Декабрь. 1. ⟨...⟩ Думал о журнале. Я очень покоен, несмотря на все слухи о кознях. 9 подписчиков. ⟨...⟩

7—13. Журнал начали печатать. Я должен был переправить все пиесы, и это было очень трудно для меня и отняло много времени. ⟨...⟩

14. ⟨...⟩ Ввечеру громом поразило письмо Пушкина, который по воле начальства не может участвовать в журнале [15].

14. Написал письмо к Пушкину [16], я был рад, что попалось в голову написать ему о винограде во сне,— успокоился; написал письмо Козлову⟨...⟩

16. ⟨...⟩ Был поутру Погодин и невежа Соболевский. Досадно. Пушкин приедет скоро. ⟨...⟩

19. ⟨...⟩ Засыпаю, окончив Коцебу, вдруг шум и стук. Приезжают Sallii, Ш⟨евырев⟩, О⟨боленский⟩, С⟨оболевский⟩, которые восклицают, что приехал Пушкин. Я не верю и бьюсь об заклад с ними. Шевырев смешон.

20. К Соболевскому. Пушкин приехал в самом деле, и в журнале принимает такое же участие, как я, дает все, читал с ним корректуры, и он согласился переменить слово по моему (услан) [17].

28. В типографии. У Пушкина. Досадно, что свинья Соболевский свинствует при всех. Досадно, что Пушкин в развращенном виде пришел при Волкове. Ездил для него на почту. «Борис» пропущен [18]. Читал афоризмы. «Здесь есть глубокие мысли»,— сказал Пушкин. Толковали. Анд⟨росов?⟩ рассказывал о выкупе крестьянина. ⟨...⟩

26. ⟨...⟩ У Пушкина ⟨...⟩

31. ⟨...⟩ Утро у Пушкина с Нащокиным ⟨...⟩

1827

Март. 4. ⟨...⟩ К Пушкину — декламировал против философии, а я не мог возражать дельно и больше молчал, хотя очень уверен в нелепости им говоренного [19]. ⟨...⟩

8. К Соболевскому за Одессою [20]. Насилу нашли ⟨...⟩

9. ⟨...⟩ Эпиграмма на Муравьева. К Трубецким сказать.

Там Ал. Ник. Шутил с Александрой Ивановной и проч. Смелости не прячьте. Бельведерский хорошо. ⟨...⟩

10. ⟨...⟩ К Пушкину отвез «Цыган» [21]. ⟨...⟩

15. ⟨...⟩ Переписал весь «Фонтан бахчисарайский» для Аграфены Ивановны и получил премилую благодарность. ⟨...⟩

16. ⟨...⟩ По журналу. Хлопотал, чтоб не печатать эпиграммы.

19. К Снегиреву. Хлопоты по журналу. ⟨...⟩ Читал Скотта. Приходит Рожалин и подает письмо... Неужели так! Ревел без памяти. Кого мы лишились? Нам нет *полного* счастия теперь! Только что соединился было круг, и какое кольцо вырвано. Ужасно! ужасно!

20. Соболевский был у меня. Повестил ему горесть. Он зарыдал. ⟨...⟩ Узнал, почему Пушкин хотел поместить эпиграмму.— Скорбь. Тоска [22].

27. У Пушкина, у Алексея Веневитинова с сестрой говорил. Корнилий рассказывал подробности о смерти Дмитрия.

29. Корректура и за «Разбойниками» [23]. ⟨...⟩ У Трубецких видел Муравьева. Очень благоразумен, и поцелуй его обжег меня. ⟨...⟩

Апрель. 4. Утро у Пушкина. Читал «Северные цветы» и проч. Нам надо ошеломить их чем-нибудь капитальным. ⟨...⟩

8. ⟨...⟩ На гулянье соскучился. Видел Пушкина.

22. ⟨...⟩ К Пушкину. Толковали о правдоподобии в драме [24]. Пол⟨евой?⟩ нес аллилуию нагло. Пушкин получил при мне письмо от Туманского, в котором тот пишет о восхищении Одессы «Московским вестником» и проч.[25]. ⟨...⟩

23. ⟨...⟩ Говорил с Пушкиным, который очень доволен осьмым нумером и особенно моей повестью [26]. ⟨...⟩

30. ⟨...⟩ Вечер у Киреевских с Рожалиным. Говорили очень умно о России и о том месте, которое предоставлено ей между народами, о национальности, о Жуковском (сочинил бы), Пушкине, «Цыганах» [27]. Там ужинали и проч. Очень приятно.— Киреевский умен.

Май. 1. К Пушкину. Весьма много хвалил продолжение повести и вызывал на дальнейшее продолжение. Сказал много лестного: «за вами смотреть надо», говорили о Скотте, пили алеатико. ⟨...⟩

Октябрь. 19. ⟨...⟩ Письмо от Одоевского и Титова, в коем пишут они ultimatum, что не хотят участвовать без

соредакторства Шевырева вследствие какого-то письма о том, что я не соглашаюсь на участие Шевырева, получив письмо от Пушкина. Предосадно мне было. Киреевский поступил неосторожно и непонятно, потому что дурно. Я не сержусь, впрочем. Толковал Шевыреву и Алеше, что они все толкут воду, и не мог убедить: несут свое, да и только. Мочи нет, и скучно и досадно [28]. ⟨...⟩

21. ⟨...⟩ У Алеши [29]. Обедал у них, прочли урывками «Онегина» ⟨...⟩

27. ⟨...⟩ Пушкин в Петербурге. ⟨...⟩

29. Писал письмо к Пушкину [30]. ⟨...⟩

Ноябрь. 17. Письмо к Шихм⟨атову⟩. Восхищался стихами Пушкина из Исаии [31]. ⟨...⟩

Ноябрь. 22. ⟨...⟩ Письмо к Жуковскому и Пушкину [32]. ⟨...⟩

1828

Февраль. 9. ⟨...⟩ Перечитывал «Онегина».— Пушкин забалтывается, хотя и прекрасно, и теряет нить. При множестве прекрасных описаний, четвертая и пятая песнь очень несвязны, и голова у читателя в дыму по прочтении [33]. ⟨...⟩

13. ⟨...⟩ Читал «Онегина».

14. ⟨...⟩ Досада от Пушкина, которому я тотчас написал письмо учтивое и колкое [34]. ⟨...⟩ Ужинали у нас Хомяков, Рожалин, Веневитинов, Киреевские, и презанимательный разговор о истории древней и потом о древних религиях, о которых Хомяков имеет обширные сведения. Я в душе стыдился своего невежества. Потом об «Онегине», до третьего часа. ⟨...⟩

19. Написал об «Онегине» [35]. ⟨...⟩

22. К Вяземскому. О Пушкине, перепечатке и проч. ⟨...⟩

Март. 1. ⟨...⟩ Обедал у Елагиных, слушал статью о Пушкине [36]. ⟨...⟩

3. ⟨...⟩ Кубарев бормотал на Пушкина. У Аксаковых также. ⟨...⟩

15. ⟨...⟩ К Веневитиновым, слушал рассказы Пушкина о Суворове. ⟨...⟩

31. ⟨...⟩ Читал ей ⟨кн. А. И. Трубецкой⟩ «Онегина» и «Руслана». Ей нравится выходка о Дмитриеве [37]. ⟨...⟩

Сентябрь. 30. ⟨...⟩ Вечер у Перевощикова. Толки о драме, искусстве, актерах, «Борисе Годунове» Пушкина. ⟨...⟩

Октябрь. 15. ⟨...⟩ Говорил с Соболевским о Пушкине.

31. ⟨...⟩ Писал письмо к Пушкину [38], Жуковскому, Востокову. ⟨...⟩

Декабрь. 6. ⟨...⟩ Приехал в Москву Пушкин. Вот нашумят ему в уши Вяземский и пр. Чтоб и совсем не вскружили головы! [39]

7. ⟨...⟩ К Пушкину — нет дома. ⟨...⟩

8. К Пушкину. Гораздо хладнокровнее Вяземского и проч. и смотрит на дело яснее, хотя и осуждает помещение. Гов⟨орили?⟩ о Карамзине. «Летописатель 19 столетия. Я вижу в нем то же простодушие, искренность, честность — он ведь не нехристь и здравый ум, по крайней мере, я знаю это о двух последних томах. Чинов не означал, а можем ли мы познакомить с нынешней Россией, например, не растолковавши, кто такие д⟨ействительный⟩ т⟨айный⟩ сов⟨етник⟩ и кол⟨лежский⟩ рег⟨истратор⟩». ⟨...⟩

9. К Пушкину. Прочел «Немочь». Хвалит очень, много драматического и проч. Говорил, что статья Надеждина хороша, но он односторонен. Разве на злодеях нет печати силы, воли, крепости, которые отличают их от обыкновенных преступников и проч. Прочел мне стихотворение о пользе превосходное. Потом «Мазепу», который не произвел большого действия, хотя много хорошего [40]. ⟨...⟩

10. ⟨...⟩ В Университете читал рассуждение. Говорил о Пушкине, Баратынском.

11—14. Хлопотал над составлением нумеров. «Черная немочь» что-то не продолжается. Негоциации с Вяземским, с Пушкиным рассуждение. ⟨...⟩

16. К Пушкину. Написал «Чернь» [41]. Отдал «Мазепу» переписать для государя. Слушал его восклицания за буйными рассказами Голохвастова. Что за чудак. К Трубецким. ⟨...⟩ Прочел ей кое-что из «Мазепы» и «Чернь». ⟨...⟩ Прочел дома «Мазепу». Много хорошего. Корректуры. Переписывал «Мазепу».

17. ⟨...⟩ Переписывал «Мазепу». ⟨...⟩

22. ⟨...⟩ К Пушкину. Бог всем дал орехи, а ему ядра. Слушал его суждение о Батюшкове.

23. ⟨...⟩ Мысль завести переписку с Чаадаевым, о знакомстве которого с Шеллингом рассказывал Пушкин. Слушал разные стихи Козлова и Пушкина. ⟨...⟩

28. ⟨...⟩ Переписывал «Мазепу».

30. ⟨...⟩ Прочел «Мазепу» у Ровинских и дурно сделал; могут разболтать. ⟨...⟩

1829

Январь. 2. Переписывал «Мазепу». ⟨...⟩

3. Предчувствовал, что приедет Пушкин, и принялся за «Мазепу». В самом деле приезжал два раза. Переписал и отдал. ⟨...⟩

4. ⟨...⟩ Пушкину прочел «Немочь», весьма доволен. Прочитал Пушкину и об Иоанне [42]. Тоже ⟨...⟩

Март. 14. ⟨...⟩ Пешком к Пушкину. «Вы вооружили против себя ужасно. Вяземский еще из умеренных,— дорога вам преграждена etc.» ⟨...⟩

26. Корректуры. К Пушкину. Об истории и России. Пригласил его и Мицкевича на завтрак. Слушал их разговор. Запишу особо. ⟨...⟩

27. ⟨...⟩ Завтрак у меня: представители русской образованности и просвещения: Пушкин, Мицкевич, Хомяков, Щепкин, Венелин, Аксаков, Верстовский, ⟨А.⟩ Веневитинов. Разговор от еды и ⟨?⟩ до Евангелия, без всякой последовательности, как и обыкновенно. Ничего не удержал, потому что не было ничего для меня нового, а надо бы помнить все пушкинское. Верстовскому и Аксакову не понравилось. ⟨...⟩ К Киреевскому. ⟨...⟩ Нечего было сказать о разговоре Пушкина и Мицкевича, кроме: предрассудок холоден, а вера горяча [43]. ⟨...⟩

Апрель. 3. ⟨...⟩ Отвез «Немочь» Пушкину. ⟨...⟩

4. ⟨...⟩ Целое утро убеждал Пушкина, чтоб он не намекал на царскую цензуру своим критикам. Бесится без памяти за обвинения в безнравственности [44]. ⟨...⟩

Сентябрь. 19 — октябрь. 7. ⟨...⟩ Несколько разговоров с Пушкиным о «Борисе», «Выжигине» [45], притворстве и проч.

Октябрь. 1. ⟨...⟩ К Пушкину. О раскольниках. Стихов не попросил, ибо Максимович помешал. ⟨...⟩

Ноябрь. 20. ⟨...⟩ Не пишет мне Пр⟨окопович?⟩ о Полтаве. Слух о Пушкине. ⟨...⟩

25. Письма в Одессу, Тифлис, Казань, к Пушкину [46], Баратынскому, Языкову, etc. ⟨...⟩

1830

Январь. 7. В типографии устраивал 2 нумер, у Ширяева, разругали меня в «Цветах» опять. Ну чего же смотрели Дельвиг или Пушкин. Неприятна брань Пушкина на Каче-

новского словами Полевого. Ведь это вес невежде в глазах публики [47]. ⟨...⟩

Март. 16. ⟨...⟩ У Аксаковых, у Перевощикова, у Пушкина, не застал. ⟨...⟩

18. Из Университета к Пушкину. «Я думал, что вы сердитесь на меня»,— обещал исходатайствовать все, что хочу. Вот разве при путешествии. Рассказывал о скверности Булгарина, Полевого хочет втоптать в грязь и пр. Давал статью о Видоке и догадался, что мне не хочется помещать ее (о доносах, о фискальстве Булгарина), и взял [48]. Советовал писать роман. Дал лицо Брюса и его человека. О документах исторических. ⟨...⟩

20. ⟨...⟩ После обеда к Надеждину ⟨...⟩ Говорили о романе, заступался за Пушкина ⟨...⟩

21. ⟨...⟩ К Пушкину.— «Московский вестник» и «Литературная газета» одно и то же». Толковали о нашей литературе. Пушкин сердится ужасно, что на него напали все.

22. ⟨...⟩ К Аксаковым. Толковали об эпиграммах Пушкина, обращал Надоумку [49] ⟨...⟩

23. ⟨...⟩ За Перевощиковым, Пушкиным (Максимович там), за Хомяковым.— Корректуры. Хомякова научал завести речь с Надоумкой о романтизме и т. п., чтоб заманить в разговор Пушкина с Надеждиным и внушить ему лучшее мнение; и наоборот, чтоб заставить Надоумку уважать более Пушкина. Вечер был у меня. Говорили более об естественнословных предметах.— Смеялись много. «Полевой *не сам* пишет романы, *а* Ушаков»,— сказал Максимович. План романа Полевой отдал Свиньину. «А историю-то не от него ли получил»,— сказал Языков. «Свиньин вывел в люди Полевого».— «Да это не беда»,— возразил Максимович. «Как не беда»,— закричали все. Я показывал зверей друг другу весь вечер. Пушкин кокетничал, как юноша, вышедший только что из пансиона [50].

24. ⟨...⟩ Читал ⟨...⟩ Онегина 7 [51]. Просил было Хомякова о разборе, но болен.

25. ⟨...⟩Обращал Надоумку к Пушкину. ⟨...⟩

26. Писал разбор «Самозванца» [52]. Даже совестно похвальное похвалить в таком подлеце. Разругали они 7 главу, а 6-ть кланялись в ноги [53]. ⟨...⟩

Апрель. 12. ⟨...⟩ К Пушкину. ⟨...⟩

13. ⟨...⟩ К Пушкину. Рад. Как хорошо понял рецензию мою. ⟨...⟩

Май. 1. ⟨...⟩ Пушкин объявил, что женится. Дай бог

совет да любовь. Очень доволен обозрением журналов [54]. О литературе. Пристал, что я пишу, и назвал Марфу. Нет в ней общие места. ⟨...⟩

9. ⟨...⟩ «Бориса» царь позволил напечатать без перемен [55], а моя «Марфа» не готова. ⟨...⟩

10. С лекции к Пушкину, долгий и очень занимательный разговор об русской истории. «Как рву я на себе волосы часто,— говорит он,— что у меня нет классического образования, есть мысли, но на чем их поставить». Дал мне стихи [56]. ⟨...⟩

13. Прочел первое действие «Марфы» Пушкину, сказав: «Моя цель на другом поприще, следовательно, неудача на этом не приведет меня в уныние. Будьте откровенны».— В восторге. «Я не ждал. Боюсь хвалить вас. Ну, если вы разовьете характеры так же, дойдет до такой высоты, на какой стоят народные сцены. Чудо. Уд⟨ачная?⟩ догадка. Это и хорошо, что вам кажется общим местом. Diable etc.». Приятно. ⟨...⟩

14. Прочел еще два действия. Пушкин заплакал в третьем действии: «Я не плакал с тех пор, как сам сочиняю, мои сцены народные ничто перед вашими. Как бы напечатать ее»,— и целовал и жал мне руку. Да не слишком ли он воображает сам здесь, как алхимик. И между тем такая похвала чуть-чуть доставляет мне удовольствие [57]. ⟨...⟩

20. Писал «Марфу» и хорошо, несмотря на усталость и недоспанье. Взять бы денег для Пушкина у Надоумки. ⟨...⟩

27. ⟨...⟩ Пушкин хочет молить с женою и малыми детушками за ссуду [58].

28. Прочел Пушкину четвертое действие и доволен попрежнему. Презанимательный разговор о российской истории, о Наполеоне, о Александре (мир в Москве). ⟨...⟩

Июнь. 8. ⟨...⟩ Собирал мозаически деньги Пушкину и набрал около 2000 р. С торжеством послал. ⟨...⟩

13. ⟨...⟩ Как ищу я денег Пушкину! как собака. ⟨...⟩

17. Переписал речь [59]. Читал Пушкину. Рад. Новые штуки подвернулись, и у меня часто навертываются слезы. ⟨...⟩

28. ⟨...⟩ С Пушкиным о Речи, которою он очень доволен, также и о прочем. ⟨...⟩

Июль. 4. Еще монолог, по-вчерашнему устроению.— Теперь остались только две речи в 30 стихов Марфы и Иоанна.— Конец, конец. Пушкин был с заемным пись-

мом, и я читал ему. Очень доволен, но меньше восторга. ⟨...⟩

12. ⟨...⟩ К Пушкину.— «Еда я есмь»,— подумал я, выслушав эпиграмму Баратынского, к которому не лежит мое сердце. ⟨...⟩

Август. 12.13.14. ⟨...⟩ Напишу «Бориса» и положу гири против Карамзина и Пушкина.

23. На похоронах у Василия Львовича с Языковым и потом в карете с Данзасом в Донской. С Пушкиным на могиле Сумарокова, думал ли он, что через 100 лет придут искать его могилы. ⟨...⟩

26. ⟨...⟩ У Ширяева встретился с Пушкиным: ободряет еще больше. ⟨...⟩

Сентябрь. 2. ⟨...⟩ У Пушкина и Вяземского. Нежности ⟨...⟩

Ноябрь. 8. ⟨...⟩ Получил письмо от Пушкина и послал ему «Марфу» по его просьбе для разбора [60]. ⟨...⟩

Декабрь. 9. ⟨...⟩ Пушкин приехал, что же не заглянет ко мне.

11. К Пушкину. Услышал опять очень лестную похвалу «Марфе» и много прекрасных замечаний. Удивлялся, что язык ему кажется слишком неправильным. Он наработал множество. Я сказал ему, что буду писать Бориса и Димитрия. «Пишите, а я отказываюсь». Говорили о Димитрии, потом о Франции (зачем отстранили Бордо), Польше, литературе. «Напрасно они говорят отвлеченности: у нас нет семени литературы», etc. ⟨...⟩

13. ⟨...⟩ Воротился домой и получил письмо Пушкина, еще из деревни посланное [61]. Прославляет «Марфу», и я отменно был доволен. Долго думал ночью о «Борисе» и между прочим решил открыть Пушкину свои мечты и спросить его опытного совета.

15. Пушкин читал мне разные прозаические отрывки и повесть октавами, которую просит издать [62]. Вот геркулесовский подвиг. Об «Адели» — «печатайте». Он спешил ⟨...⟩ Обедал у Киреевских и не успел уязвить письмом Пушкина. Пушкин рассказывал о Жуковском и о доносах Булгарина [63].

17. ⟨...⟩ К Пушкину, который прочел мне свои прелестные русские песни [64]. ⟨...⟩

22. ⟨...⟩ Пушкин прочел мне 9 «Онегина», и прелесть. «Все вы пишете так»,— а мне счастья нет. Читал нечто из «Адели». На минуту к Аксаковым, раздосадованный на поправки Над⟨еждина⟩ в герое [65]. ⟨...⟩

31. ⟨...⟩ Прочел еще «Бориса». Славные вещи. Вот язык[66]. ⟨...⟩

1831

Январь. 3. ⟨...⟩ Получил «Бориса» от Пушкина с рукоположением. ⟨...⟩

7. ⟨...⟩ К Пушкину, и занимательный разговор, кто русские и нерусские.— Как воспламеняется Пушкин,— и видишь восторженного. ⟨...⟩

20. ⟨...⟩ Все бранят «Годунова». ⟨...⟩

Февраль. 11. К Пушкину по вызову. Отдал деньги Надеждину. Спорили до хрипу о «Борисе» перед Д. Давыдовым, которому нравится мое разыскание. ⟨...⟩

17. ⟨...⟩ У Пушкина, верно, ныне холостой ⟨*нрзб*⟩ обед, а он не позвал меня. Досадно.— Заезжал и пожелал добра.— Там Баратынский и Вяземский толкуют о нравственной пользе[67].

Март. 5. ⟨...⟩ К Надеждину за «Борисом». Нет еще. Дрянь. ⟨...⟩ Нет, я не стану писать о «Борисе» рецензию.

Апрель. 5—8. Цензурные поправки статьи о польской истории.— Пушкин от нее в восторге. «Никто ныне,— сказал он,— не тревожит души моей, кроме вас». Читал он мне свои повести — прекрасные и оригинальные[68]. ⟨...⟩

20. ⟨...⟩ Первое действие надо прочесть Пушкину до отъезда. Пусть прозвонит в Петербурге[69]. ⟨...⟩

27. ⟨...⟩ Хочется прочесть мне первое действие Пушкину.

30. ⟨...⟩ К Пушкину, и с ним четыре битых часа в споре о «Борисе». Он procureur du Roi *, а я адвокат. Я не могу высыпать ему ответов, но упросил написать статью, на которую у меня готово возражение[70]. И живо представлялась мне вся моя трилогия. ⟨...⟩ Пушкин советует писать прозою Петра,— как-то странным кажется решиться.— Неужели я не овладею стихом! ⟨...⟩

Май. 2. Из Университета [к Пушкину]. ⟨...⟩

4. «Петр» пишется. Сильные вещи попались в монологе Иакова. ⟨...⟩ Захотелось прочесть Пушкину. Чтение постороннему человеку наводит меня на мысли новые. ⟨...⟩

5. ⟨...⟩ К Пушкину, прочел ему «Петра». Хвалит, но не

---

* Здесь: обвинитель короля.

так живо, как «Марфу». И меня пугает мысль выводить Петра. Это дух вызываемый! ⟨...⟩

22. ⟨...⟩ Вечер с Хомяковым, Свербеевым и пр. у Киреевских. Болтали о литературе и пр.— Какой разговор напечатан о «Борисе Годунове» [71]. Поутру с Хомяковым о литературе.

27. ⟨...⟩ Досадился, что для статьи об отношении Польши к России надо подождать Сергея Тимофеевича ⟨Аксакова⟩. Как будто б я не строжайший цензор. А Пушкин побранит его. Пошлю я к Пушкину экземпляр статистики и объясню, почему сам не хочу писать к Жуковскому [72] ⟨...⟩

Июль. 3. ⟨...⟩ Приятное письмо от Пушкина: «вы были бы сотрудником Петру» — и проч.[73]. ⟨...⟩

5. ⟨...⟩ Написал письмо к Пушкину о своем положении и две речи Петра.— Как-то они понравятся ему с Жуковским? — Неужели и Петр не вымчит меня из толпы?..

12. ⟨...⟩ Гулял и думал о четвертом ⟨действии трагедии «Петр»⟩ и будущем письме от Пушкина. Читал «Бурю», я позабыл прежние свои мысли об ней — странно. ⟨...⟩

18. ⟨...⟩ Завтра 19 число, приедет посланный из Москвы. Это число мне благоприятное, как кажется, и я могу получить: 1) письмо от Аксакова, приехавшего в Москву, и впечатления его при чтении «Петра», ⟨...⟩ 3) письмо от Пушкина о Петре [74]. ⟨...⟩

19. ⟨...⟩ Ожидал с нетерпением посланного. Едет. Разочарование. Записка пренеприятная от Аксакова о деньгах. ⟨...⟩

Прочих писем от Пушкина и пр. нет. ⟨...⟩

24. ⟨...⟩ Поутру пришлось несколько стихов, которые оставлю для Бориса. Думал об нем и, перебирая Пушкина «Бориса», остановился на его прозе. А что, не махнуть ли в самом деле прозою трилогию. ⟨...⟩

28. ⟨...⟩ Не пишет ли Пушкин ко мне послание,— или не понравилось? ⟨...⟩

30. ⟨...⟩ Приехал. ⟨...⟩ А ко мне в деревню отправили пушкинское письмо [75]. Вот досада. ⟨...⟩

Август. 3. ⟨...⟩ Письмо от Пушкина, и ни слова о «Петре» (некогда), а о поднесении статистики государыне. Вот тебе и послание. Неужели не понравился? ⟨...⟩

4. ⟨...⟩ Нынче письмо от Пушкина, а не вчера. ⟨...⟩

8. ⟨...⟩ Читал Пушкина.

10. ⟨...⟩ К Карамзиным с ловким оборотом, к Шамбо, к Пушкину и проч.[76]. ⟨...⟩

16. ⟨...⟩ Пушкину позволено разбирать архивы. ⟨...⟩

Сентябрь. 29. ⟨...⟩ Писал письмо к Бенкендорфу о «Марфе» и отправил к Пушкину. А лучше б, кажется, прямо [77].

Октябрь. 3. ⟨...⟩ Блудов уехал в Царское Село нечаянно. Это хорошо. Жуковский и Пушкин позвонят обо мне ⟨...⟩ Встретился с Хвостовым, который и осадил меня [78]. Обедали втроем с Крыловым. Хвостов уморителен. (В стихах Пушкина нет радости, попробую, а тем еще есть удачнее.) ⟨...⟩

4. ⟨...⟩ Пушкин вчера был здесь, следовательно, Блудов не видал его в Царском Селе. Что за неудача. ⟨...⟩

Октябрь. 20. ⟨...⟩ Вечер у Жуковского, который завтра еще напишет к Блудову и поговорит с ним, «авось он не будет таким варваром». Гнедич, Пушкин и Одоевский. Чит⟨али?⟩ сказки свои. Смешные и грязные анекдоты. «Шестьсот стихов он вычеркнул: такого человека уважать надо» [79]. Пушкин что-то очень расстроен. ⟨...⟩

26. ⟨...⟩ Читал повести Пушкина. Рассказ к сборнику замысловатый. Разговор — не его дело. Последняя дурна [80]. ⟨...⟩

27. ⟨...⟩ Анна Николаевна Веневитинова утверждает, что Пушкин мне ревнует. ⟨...⟩

28. К Пушкину. Сухое свидание. Что ваше дело? В главном правлении цензуры? и только.— Он только что переехал и разбирается [81]. ⟨...⟩

Ноябрь. 4. У Пушкина, который получил при мне письмо нового журналиста Киреевского и стихи Языкова [82]. Просил у него гостинцу. Вскользь о Петре. О грамматике. Он, кажется, ничего не знает о себе. Но участия живого уж нет. ⟨...⟩

26. ⟨...⟩ К Селивановскому и там встретился с Сухоруковым, которому рассказал действия Пушкина для него [83]. ⟨...⟩

Декабрь. 4. ⟨...⟩ Читал Пушкина для рецензии. ⟨...⟩

5. ⟨...⟩ Читал для рецензии Пушкина. ⟨...⟩

18. Писал о повестях Пушкина [84]. ⟨...⟩

1832

Январь. 14. ⟨...⟩ Читал «Цветы» [85]. Понравился Пушкина «Труд». ⟨...⟩

Апрель. 8 ⟨...⟩ Перечел Пушкина третью часть [86].
Июль. 20. ⟨...⟩ Письмо от Пушкина о газете [87].
Август. 1. ⟨...⟩ Написал письмо к Пушкину [88] ⟨...⟩.

1833

Март. 11. ⟨...⟩ Письмо Пушкина об Петре. Пошли удачи. Пушкину хочется свалить с себя дело. Пожалуй, мы поработаем [89].

22. Писал доверенность и проч., а к Пушкину все еще не пишу. ⟨...⟩

31. ⟨...⟩ Письмо к Пушкину [90]. ⟨...⟩

Декабрь. 8. ⟨...⟩ К Дмитриеву за рукописью Пушк⟨ину⟩, которая меня очень тревожит [91]. ⟨...⟩

1834

Ноябрь. 18. ⟨...⟩ Письмо ⟨...⟩ к Пушкину [92].

1836

Январь. 23. ⟨...⟩ Думал ⟨...⟩ о журнале Пушкина. Не отдать ли туда статей, назначенных в мой журнал, то есть не издавать ли вместе [93]. ⟨...⟩

Апрель 16 — июнь 17. ⟨...⟩ Написал для Пушкина, который просил сотрудничества в «Современнике», письмо из Москвы и об историческом поветрии [94]. ⟨...⟩

1837

Февраль. 1. Слух о смерти Пушкина. Не верится.

2. Подтвердилось. Читал письмо и плакал. Какое несчастие! Какая потеря! А как хорош наш царь! ⟨...⟩ Плакал и плакал и думал о Пушкине. Вспомнил предсказание ему. ⟨...⟩

3. Написал несколько строк о Пушкине для прочтения студентам [95]. Плакал, говоря с Шевыревым. Напишу о Пушкине особо. ⟨...⟩

4. К ⟨Ф.⟩ Толстому и Баратынскому. Все говорили о Пушкине и плакали. Все подробности запишу. ⟨...⟩

7. 〈...〉 Елагин о несчастных его обстоятельствах, о Пушкине. 〈...〉

9—20. 〈...〉 Вечер с Глинкою и прочими, о Пушкине и проч. 〈...〉

Поездка к Бекетову и в Симонов монастырь. Архимандрит отклоняется от обедни за упокой и панихиды, ибо не желает тайная полиция. «Вы хотите говорить речь».— «Что за вздор».— «И я говорил то же, ну, а как заговорят».— «Помилуйте, государь почтил Пушкина, как же нам?» — Не давать певчих. Я рассказал это графу. «Не может быть, чтоб правительство не желало,— сказал он,— какое-нибудь недоразумение».

21—28. 〈...〉 Даль рассказывал о последних минутах Пушкина нашего. За три дня до смерти он сказал: «Я только что перебесился, я буду еще много работать». О, какая потеря! 〈...〉

Разговор о происшествии после смерти Пушкина, нелепых подозрениях. 〈...〉

Март. 2. 〈...〉 Ездил к Аксаковым. Говорили о Пушкине, которого истинно горько сожалеет Ольга Семеновна. Удачно сказал я о Пушкине, что он хотел казаться Онегиным, а был Ленским. Какая драма его жизнь! Думал о сочинении «Отечество». Толковали о впечатлении, произведенном смертью Пушкина в обществе, при дворе и проч., между литераторами. Пушкина боялись все и ждали стихов в роде Уварову [96]. 〈...〉

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О СТЕПАНЕ ПЕТРОВИЧЕ ШЕВЫРЕВЕ»

Успех «Урании» ободрил нас [1]. Мы составили с Дмитрием Веневитиновым план издания другого литературного сборника, посвященного переводам из классических писателей, древних и новых, под заглавием: «Гермес». У меня цело оглавление, написанное Шевыревым, из каких авторов надо переводить отрывки для знакомства с ними русской публики: Рожалин должен был перевести Шиллерова «Мизантропа» *, Д. Веневитинов брался за Гетева «Эгмонта» **, я за «Геца фон Берлихингена» ***, Шевырев

* Напечатан в «Москвитянине».

** Переведено первое действие, напечатанное в собрании его сочинений.

*** Перевод мой напечатан особой книгой в 1828 г., с посвящением Дмитрию Веневитинову. Исправленное издание в собрании сочинений Гете 1866 г.

за «Валленштейнов лагерь» *. Программы сменялись программами, и в эту-то минуту, когда мы были, так сказать, впопыхах, рвались работать, думали беспрестанно о журнале, является в Москву А. Пушкин, возвращенный государем из его псковского заточения.

Представьте себе обаяние его имени, живость впечатления от его поэм, только что напечатанных,— «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника» и в особенности мелких стихотворений, каковы: «Празднество Вакха», «Деревня», «К домовому», «К морю», которые просто привели в восторг всю читающую публику, особенно нашу молодежь, архивную и университетскую. Пушкин представлялся нам каким-то гением, ниспосланным оживить русскую словесность. Семейство Пушкиных было знакомо и, кажется, в родстве с Веневитиновыми [2]. Чрез них и чрез Вяземского познакомились и все мы с Александром Сергеевичем. Он обещал прочесть всему нашему кругу «Бориса Годунова», только что им конченного. Можно себе представить, с каким нетерпением мы ожидали назначенного дня. Наконец настало это вожделенное число. Октября 12-го числа поутру, спозаранку, мы собрались все к Веневитинову (между Мясницкою и Покровкою, по дороге к Армянскому переулку) и с трепещущим сердцем ожидали Пушкина. Наконец в двенадцать часов он является.

Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. До сих пор еще — а этому прошло сорок лет — кровь приходит в движение при одном воспоминании. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков, строгий классик. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французскою декламацией, которой мастером считался Кокошкин и последним, кажется, представителем был в наше время граф Блудов. Наконец надобно представить себе самую фигуру Пушкина. Ожидаемый нами величавый жрец высокого искусства — это был среднего роста, почти низенький человечек, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, вертлявый,

* Отрывки напечатаны в «Московском вестнике». Вполне «Валленштейнов лагерь» долго не был разрешаем цензурой, и только в 1858 г. он был напечатан особо.

с порывистыми ужимками, с приятным голосом, в черном сюртуке, в темном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно завязанном галстуке. Вместо языка Кокошкинского мы услышали простую, ясную, внятную и вместе пиитическую, увлекательную речь. Первые явления мы выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием просто всех ошеломила. Что было со мною, я и рассказать не могу. Мне показалось, что родной мой и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена: мне послышался живой голос древнего русского летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков: «Да ниспошлет господь покой его душе, страдающей и бурной»,— мы все просто как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Один вдруг вскочит с места, другой вскрикнет. У кого на глазах слезы, у кого улыбка на губах. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при стихах Самозванца:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.

Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. «Эван, эвое, дайте чаши!» Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше внимание. Он начал нам, поддавая пару, читать песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью по Волге, на востроносой своей лодке, и предисловие к «Руслану и Людмиле», тогда еще публике неизвестное:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том;
И днем, и ночью кот ученый
Там ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку гворит...

Начал рассказывать о плане для Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит с чернью, стоя у плахи [3], на Крас-

ной площади, в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с Самозванцем, сцену, которую создал он в голове, гуляя верхом на лошади, и потом позабыл вполовину, о чем глубоко сожалел. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь! Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь: так был потрясен весь наш организм.

На другой день было назначено чтение «Ермака», только что конченного и привезенного А. Хомяковым из Парижа. Ни Хомякову читать, ни нам слушать не хотелось, но этого требовал Пушкин. Хомяков чтением приносил жертву. «Ермак», разумеется, не мог произвести никакого действия после «Бориса Годунова», и только некоторые лирические места вызвали хвалу. Мы почти не слыхали его. Всякий думал свое.

Пушкин знакомился с нами со всеми ближе и ближе. Мы виделись все очень часто. Шевыреву выразил он свое удовольствие за его «Я есмь» и прочел наизусть некоторые его стихи; мне сказал любезности за повести, напечатанные в «Урании» [4]. Толки о журнале, начатые еще в 1823 или 1824 году в обществе Раича, усилились. Множество деятелей молодых, ретивых было, так сказать, налицо, и они сообщили Пушкину общее желание. Он выразил полную готовность принять самое живое участие. После многих переговоров редактором был назначен я. Главным помощником моим был Шевырев. Много толков было о заглавии. Решено: «Московский вестник». Рождение его положено отпраздновать общим обедом всех сотрудников. Мы собрались в доме, бывшем Хомякова (где ныне кондитерская Люке): Пушкин, Мицкевич, Баратынский, два брата Веневитиновы, два брата Хомяковы, два брата Киреевские, Шевырев, Титов, Мальцов, Рожалин, Раич, Рихтер, В. Оболенский, Соболевский... И как подумаешь, из всего этого сборища осталось в живых только три-четыре человека, да и те по разным дорогам! Нечего описывать, как весел был этот обед. Сколько тут было шуму, смеху, сколько рассказано анекдотов, планов, предположений. Напомню один, насмешивший все собрание. Оболенский, адъюнкт греческой словесности, добрейший человек, какой только может быть, подпив за столом, подскочил после обеда к Пушкину и, взъерошивая свой хохолок — любимая его привычка, воскликнул: «Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, я единица, единица, а посмотрю на вас, и мне кажется, что

я — миллион. Вот вы кто!» Все захохотали и закричали. «Миллион, миллион!»

В Москве наступило самое жаркое литературное время. Всякий день слышалось о чем-нибудь новом. Языков присылал из Дерпта свои вдохновенные стихи, славившие любовь, поэзию, молодость, вино; Денис Давыдов — с Кавказа; Баратынский издавал свои поэмы; «Горе от ума» Грибоедова только что начало распространяться. Пушкин прочел «Пророка», который после «Бориса» произвел наибольшее действие, и познакомил нас с следующими главами «Онегина», которого до тех пор была напечатана только первая глава. Между тем на сцене представлялись водевили Писарева с острыми его куплетами; Шаховской ставил свои комедии вместе с Кокошкиным; Щепкин работал над Мольером, и Аксаков, тогда еще не старик, переводил ему «Скупого»; Загоскин писал «Юрия Милославского»; М. Дмитриев выступил на поприще с своими переводами из Шиллера и Гете. Последние составляли особый от нашего приход, который, однако, вскоре соединился с нами, или, вернее, к которому мы с Шевыревым присоединились, потому что все наши товарищи, остававшиеся в постоянных, впрочем, сношениях, отправились в Петербург. Оппозиция Полевого в «Телеграфе», союз его с «Северною пчелой» Булгарина и желчные выходки Каченовского, к которому вскоре явился на помощь Надоумко (Н. И. Надеждин), давали новую пищу. А там Дельвиг с «Северными цветами», Жуковский с новыми балладами, Крылов с баснями, которые выходили еще по одной, по две в год, Гнедич с «Илиадой», Раич с Тассом, Павлов с лекциями о натуральной философии в университете. Вечера, живые и веселые, следовали один за другим, у Елагиных и Киреевских за Красными воротами, у Веневитиновых, у меня, у Соболевского в доме на Дмитровке, у княгини Волконской на Тверской. В Мицкевиче открылся дар импровизации. Приехал М. И. Глинка, связанный более других с Мельгуновым и Соболевским, и присоединилась музыка.

Горько мне сознаться, что я пропустил несколько из этих драгоценных вечеров «страха ради иудейска». Я знал о подозрении на меня за «Нищего» *, помещенного в «Урании»; новый председатель цензурного комитета, князь Мещерский,— сын того Мещерского, который преподал

* В этой повести было изображено одно из злоупотреблений крепостного права.

Щепкину первые уроки драматического искусства и поставил его на настоящую дорогу (он давно уже умер),— послал на меня донос, выставляя «Московский вестник» отголоском 14 декабря. Мицкевич и другие *филареты* * находились под надзором полиции, да и сам Пушкин с Баратынским были не совсем еще обелены. Я, в качестве редактора журнала, боялся слишком часто показываться в обществе людей, подозрительных для правительства, и действительно, мне пришлось бы плохо, если бы в цензурном комитете не занял наконец места С. Т. Аксаков; он принял к себе на цензуру «Московский вестник», и мы с Шевыревым успокоились.

Для первой книжки Шевырев написал разговор о возможности найти единый закон для изящного и шутливую статью о правилах критики. Я начал подробным обозрением книги Эверса о древнейшем праве Руси (тогда еще не переведенной), где выразил впервые мысли о различии удельной системы от феодальной. Тогда же я начал печатать свои афоризмы, доставившие мне много насмешек.

Мы были уверены в громадном успехе; мы думали, что публика бросится за именем Пушкина, которого лучший отрывок, сцена летописателя Пимена с Григорием, должен был появиться в начале первой книжки. Но, увы, мы жестоко ошиблись в своих расчетах, и главною виной был я: несмотря на все убеждения Шевырева, во-первых, я не хотел пускать, опасаясь лишних издержек, более четырех листов в книжку до тех пор, пока не увеличится подписка, между тем как «Телеграф» выдавал книжки в десять и двенадцать листов; во-вторых, я не хотел прилагать картинок мод, которые, по общим тогдашним понятиям, служили первою поддержкой «Телеграфа»; в-третьих, я не употребил никакого старания, чтобы привлечь и обеспечить участие князя Вяземского, который перешел окончательно к «Телеграфу», содействовал больше всех его успеху на первых порах своими остроумными статьями и любопытными материалами и обратил читателей на его сторону; наконец, в-четвертых, «Московский вестник» все-таки был мой hors d'oeuvre: ** я не отдавался ему весь, а продолжал заниматься русскою историей и лекциями о всеобщей

* Филаретами назывались члены Общества виленских студентов, которые, по политическим подозрениям, были исключены из университета и разосланы в разные города. Мицкевичу, Ежевскому, Дашкевичу досталась Москва, где они были приписаны на службу по разным ведомствам.

** Здесь: побочное занятие.

истории, которая была мне поручена в университете. С Шевыревым споры доходили у нас чуть не до слез, и когда, в общих собраниях сотрудников, у спорщиков уже не хватало сил и горло пересыхало, запивались кипрским вином, которого большой запас удалось нам приобрести как-то по случаю. Вино играло роль на наших вечерах, но отнюдь не до излишества, а только в меру, пока оно веселит сердце человеческое. Пушкин не отказывался иногда выпить. Один из товарищей был знаменитый знаток, и пред началом «Московского вестника» было у нас в моде «алеатико», прославленное Державиным.

В марте весь наш круг был потрясен известием о внезапной кончине в Петербурге Дмитрия Веневитинова. Мы любили его всею душой. Это был юноша дивный, но об нем после особо.

Весь 1827 год Шевырев работал неутомимо. Он помещал в журнале рецензии, стихотворения, переводы в стихах и прозе из древних и новых писателей, Шиллера, Гете, Гердера, Манзони, Кальдерона, Лукиана, Платона. Дебюты Шевырева были блистательны. Рецензии, основанные на правилах науки, обнаруживали вкус и большую начитанность. Примечательнейший труд его, принадлежащий к этому времени, был перевод в стихах «Валленштейнова лагеря» Шиллера, заслуживший одобрение всех, начиная с Пушкина. Это была трудная для того времени задача, которая разрешена была очень удачно. Тогда же перевел он Мицкевичева «Конрада Валленрода», только что отпечатанного в Москве *, и часть Шиллерова «Вильгельма Телля». С петербургскими издателями открыласьу нас жесточайшая война, начатая Шевыревым: к концу года я уехал в Петербург, и Шевырев выдал без меня первую книжку на 1828 год. Я был угощаем в Петербурге Булгариным, который дал особый обед,— Пушкин, Мицкевич, Орловский пировали здесь вместе,— и не успел я уехать из Петербурга, как пришла туда первая книжка с громоносным разбором нравственно-описательных сочинений Булгарина [5]. Он взбесился, называл меня изменником, и началась пальба. Правду сказать, что он имел некоторое право сетовать на отсутствие всякой пощады со стороны Шевырева, который

* Недавно в «С.-Петербургских ведомостях» было сказано, что «Конрад Валленрод» был напечатан в Петербурге. У меня осталась в памяти Москва и цензура Каченовского. В эту минуту не могу отыскать экземпляра, подаренного мне тогда же Мицкевичем, с собственноручною надписью, который решил бы вопрос.

воспользовался моим отсутствием и грянул. За разбором сочинений Булгарина последовали разборы «Телеграфа» и «Северной пчелы», где выставлены были дурные их стороны, пристрастие, шарлатанство, ложь, наглость, как они тогда нам представлялись, может быть, в преувеличенном виде.

Самое блистательное торжество имел Шевырев, написав разбор второй части «Фауста» Гете, тогда только что вышедшей. Сам германский патриарх отдал справедливость Шевыреву, благодарил его и написал к нему письмо. После, в своем издании «Kunst und Alterthum»,он отозвался о Шевыреве сравнительно с прочими своими критиками вот как:

«Шотландец стремится проникнуть в произведение; француз понять его; русский себе присвоить. Таким образом г.г. Карлейль, Ампер и Шевырев вполне представили, не сговариваясь, все категории возможного участия в произведении искусства или природы».

Пушкин дразнил издателей «Северной пчелы» похвалами германского патриарха и писал ко мне по поводу отзыва Гете:

«Надобно, чтоб наш журнал издавался и на следующий год. Он, конечно, будь сказано между нами, первый, единственный журнал на святой Руси. Должно терпением, добросовестностию, благородством и особенно настойчивостию оправдать ожидания истинных друзей словесности и одобрение великого Гете. Честь и слава милому нашему Шевыреву! Вы прекрасно сделали, что напечатали письмо германского патриарха. Оно, надеюсь, даст Шевыреву более весу в мнении общем, а того-то нам и надобно. Пора уму и знаниям вытеснить Булгарина (с братиею) [6]. Я здесь на досуге поддразниваю их за несогласие их с мнением Гете. За разбор «Мысли», одного из замечательнейших стихотворений текущей словесности, уже досталось нашим северным шмелям от Крылова, осудившего их и Шевырева, каждого по достоинству».

С Булгариным был в союзе Полевой и «Телеграф», счастливый соперник «Московского вестника». Они не остались у нас в долгу и продолжали бранить нас и наших даже и тогда, как мы перестали издавать журнал — надо теперь признаться — за неимением подписчиков, хотя благовидный предлог к тому доставила нам первая холера (1830 года), вместе с «Вестником Европы» и «Атенеем». «Телеграф» восторжествовал.

Шевырев уехал в чужие краи еще задолго до прекраще-

ния журнала, я предался русской истории и лекциям; и хорошо мы сделали, собственно для себя, а еще бы лучше, если б и не начинали «Московского вестника», а потом не возобновляли его под именем «Москвитянина». Впрочем, все действия имеют свою необходимость; нам казалось, что мы должны были, в общих видах пользы для русской словесности, издавать эти журналы, и мы старались исполнить эту обязанность по крайнему своему разумению.

ИЗ ЗАМЕТОК «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ЛОМОНОСОВА, СУМАРОКОВА И ПУШКИНА»

Пушкин не пропускал никогда в Одессе заутреню на светлое воскресенье и звал всегда товарищей «услышать голос русского народа» (в ответ на христосованье священника «воистину воскресе»). (Слышал от А. Н. Раевского.)

Кстати о Пушкине — расскажу анекдот, рассказанный мне Гоголем и известный еще прежде, кажется, от самого действовавшего лица. Около Одессы расположена была батарейная рота и расставлены были на поле пушки. Пушкин, гуляя за городом, подошел к ним и начал рассматривать внимательно одну за другою. Офицеру показались его наблюдения подозрительными, и он остановил его вопросом о его имени. «Пушкин»,— отвечал он. «Пушкин! — воскликнул офицер.— Ребята, пали!» — и скомандовал торжественный залп. Сбежались офицеры и спрашивали причины такой необыкновенной пальбы. «В честь знаменитого гостя,— отвечал офицер,— вот, господа, Пушкин!» Пушкина молодежь подхватила под руки и повела с триумфом в свои шатры праздновать нечаянное посещение.

Офицер этот был Григоров [1], который после пошел в монахи и во время монашества познакомился со мною, приезжая из своей Оптиной пустыни в Москву для издания разных назидательных книг, что он очень любил. Мне доставил он много примечательных автографов и несколько рукописей. Кажется, сам он рассказал мне описанный случай, если не кто другой,— но я его знал уже, когда Гоголь, воротясь из последнего неконченного своего путешествия в Малороссию, повторил мне этот рассказ по

поводу внезапной смерти Григорова, от которого незадолго он получил письмо и не застал его в живых по приезде в Оптину пустынь [2].

ИЗ ЗАМЕЧАНИЙ НА «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ ПУШКИНА» П. В. АННЕНКОВА

Пушкин с сестрою учился танцевать в семействе князя И. Д. Трубецкого, на Покровке, близком к их дому и семейству [1]. Княжны, ровесницы Пушкиным, рассказывали мне, что Пушкин всегда смешил их своими эпиграммами, сбирая их около себя в каком-нибудь уголку. В этом доме я имел честь видеть часто мать и сестру Пушкина около 1820 года. Сестра славилась своим умом, живостью и характером между своими подругами.

⟨...⟩ В 1827 г. дал он мне эпиграмму для напечатания в «Московском вестнике». Встретясь со мною вскоре по выходе книги, где эпиграмма была напечатана, он был очень доволен и сказал: «Однако ж, чтоб не вышло чего из этой эпиграммы. Мне предсказана смерть от белого человека или белой лошади, а NN — и белый человек, и лошадь» [2].

Пушкин, говоря о Карамзине, рассказывал мне однажды: «Часто находил я его за письменным столом с вытянутым лицом — вот так (при этом слове он вытягивал сам свое лицо). Он отыскивал какое-нибудь выражение для своей мысли. Так, Карамзин затруднялся выражением... Мудрено по-русски писать хорошо и проч.».

Я, кончив только курс студенческий в университете, написал рецензию «Кавказского пленника» в «Вестнике Европы», без имени. Лет через десять, в разговоре, он упомянул об одном замечании, там помещенном: «вот,— сказал он,— меня обвиняли за перестановку эпитетов,— это не справедливо», и проч. Тогда я признался ему, что вина принадлежит мне [3]. ⟨...⟩

О «Бахчисарайском фонтане» Пушкин сказал мне однажды: «знаете ли, что я больше всего люблю в «Фонта-

не»,— эпиграф. Одних уже нет, а другие странствуют далече»[4].

⟨...⟩ Раз, возвращаясь из соседней деревни верхом, обдумал всю превосходную сцену свидания Димитрия с Мариной в «Годунове». Какое-то обстоятельство помешало ему положить ее на бумагу тотчас же по приезде, а когда он принялся за нее через две недели, многие черты прежней сцены уже изгладились из памяти его. Он говорил потом друзьям своим, восхищавшимся этой встречей страстного Самозванца с хитрой и гордой Мариной, что первоначальная сцена, совершенно оконченная в уме его, была несравненно выше, несравненно превосходнее той, какую он написал (*Анненков*, с. 118).

О сцене Самозванца с Мариной я слышал от него это самое.

О «Цыганах» он сказал мне однажды: «ах, какую бы критику я написал о «Цыганах». Их не понимают».

⟨...⟩ Обещание возвратиться к Шуйскому и к Марине подтверждается свидетельством коротких знакомых его, что он имел намерение написать хронику из жизни Шуйского, Лжедимитрия и нескольких сцен из междуцарствия, что составило бы полную картину избранной им эпохи (*Анненков*, с. 139).

О намерении написать Лжедимитрия я слышал. Он говорил и об одной сцене, в которую хотел ввести палача, который шутит с толпою[5].

ИЗ ПОСЛЕСЛОВИЯ К ТРАГЕДИИ «ПЕТР I»

⟨...⟩ Мнение Пушкина о «Петре», выраженное в письме ко мне, кроме изустных отзывов, и другое, сказанное Чаадаеву по выслушании одного из действий и написанное Петром Яковлевичем на рукописи, которую, уже по смерти Пушкина, он брал у меня для прочтения, я сообщать не могу по причинам понятным, но скажу только, что Пушкин не одобрял четвертого действия, как бы составленного из сценических эффектов. «Это в роде Коцебу,— говорил он,— у которого над каким-нибудь несчастным или несчастною заносит руку с одной стороны отец, а с другой припадает любовница или любовник»,— и при этих словах он, любивший выражаться пластически, вытягивал свое лицо, представляя изнеможенного Алексея.

Еще помню одну его поправку. Расстрига-протопоп Иаков в первом действии, осуждая действия Петровы, говорит о захваченных им церковных деньгах. Когда я прочел:

И всякая копейка горячим *углем*
На голову его падет в последний день...—

«*Каплей*, каплей»,— воскликнул Пушкин, вскочив и потирая руки. Это была любимая его привычка — так выражал он свое удовольствие, когда находил выражение более точное для выражения той или другой своей или чужой мысли.

В первом монологе Петра Пушкин находил лишнюю риторику.

ЗАМЕТКИ О ПУШКИНЕ ИЗ ТЕТРАДИ В. Ф. ЩЕРБАКОВА

А. Пушкин, в бытность свою в Москве, рассказывал в кругу друзей, что какая-то в Санкт-Петербурге угадчица на кофе, немка Киршгоф, предсказала ему, что он будет *дважды в изгнании*, и какой-то грек-предсказатель в Одессе подтвердил ему слова немки [1]. Он возил Пушкина в лунную ночь в поле, спросил число и год его рождения и, сделав заклинания, сказал ему, что он умрет от лошади или от беловолосого человека. Пушкин жалел, что позабыл спросить его: человека белокурого или седого должно опасаться ему. Он говорил, что всегда с каким-то отвращением ставит свою ногу в стремя.

В сие же время он сказывал, что, в бытность свою в своей деревне, ему приснилось накануне экзекуции над пятью известными преступниками, будто у него выпало пять зубов [2].

Каченовский, извещая в своем журнале об итальянском импровизаторе Скричи, сказал, что он ничего б не мог сочинить на темы, как: «К ней», «Демон» и пр.

— Это правда,— сказал Пушкин,— все равно, если б мне дали тему «Михайло Трофимович»,— что из этого я мог бы сделать? Но дайте сию же мысль Крылову — и он тут же бы написал басню — «Свинья» [3].

«Некстати Каченовского называют собакой,— сказал Пушкин,— ежели же и можно так называть его, то собакой беззубой, которая не кусает, а мажет слюнями» [4].

«Я надеюсь на Николая Языкова, как на скалу»,— сказал Пушкин [5].

«После чтения Шекспира,— говорил Пушкин,— я всегда чувствую кружение головы; мне кажется, будто я глядел в ужасную, мрачную пропасть».

«Как после Байрона нельзя описывать человека, которому надоели люди, так после Гете нельзя описывать человека, которому надоели книги»,— сказал Пушкин.

Март. В субботу на Тверском я в первый раз увидел Пушкина; он туда пришел с Корсаковым, сел с несколькими знакомыми на скамейку, и, когда мимо проходили советники Гражданской палаты Зубков и Данзас, он подбежал к первому и сказал: «Что ты на меня не глядишь? Жить без тебя не могу». Зубков поцеловал его [6].

⟨*26 марта*⟩. Погодин, делая прощанье Пушкину перед отъездом сего последнего из Москвы, пригласил многих литераторов и поэтов... Они все вместе составляли эпиграммы на кн. Шаликова. Между прочим был рассказан анекдот о последнем...[7]

С. П. ШЕВЫРЕВ

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ

Пушкин родился в Москве. Отец его, Сергей Львович, человек ограниченного ума, больше любивший светскую жизнь, подобно брату своему поэту Василию Львовичу (имевшему свой дом на Басманной и славившемуся отличным поваром Власом, которого он называл Blaise; этот умер в Охотном ряду в последнюю холеру) [1], не мог внушить большой привязанности к себе в сыне своем. Гораздо больше могла иметь влияния на последнего мать — Надежда Осиповна, женщина, отличающаяся умом. Из других членов семейства есть еще брат нашего поэта, Лев Сергеевич, который теперь служит в Одессе при карантине, добрый малый, чрезвычайно похожий лицом на покойного поэта, и сестра, Ольга Сергеевна, к которой Пушкин питал особенную привязанность; она за Павлищевым, что служит в Варшаве и несколько занимается литературой. Пушкины постоянно жили в Москве, но на лето уезжали в деревню Захарьино, верстах в сорока от Москвы, принадлежавшую родственникам Надежды Осиповны. Это сельцо теперь принадлежит помещице Орловой. Здесь Пушкин проводил свое первое детство, до 1811 года. Старый дом, где они жили, срыт; уцелел флигель [2]. Местоположение хорошее. Указывают несколько берез и на некоторых вырезанные надписи, сделанные, по словам теперешнего владельца Орлова, самим будто Пушкиным, но это, должно ⟨быть⟩, выдумка, потому что большая часть надписей явно новые. Особенно заметить следует, что деревня была богатая: в ней раздавались русские песни, устраивались праздники, хороводы, и, стало быть, Пушкин имел возможность принять народные впечатления. В селе до сих пор живет женщина Марья, дочь знаменитой няни Пушкина, выданная за здешнего крестьянина. Эта Марья с особенным чувством вспоминает о Пушкине, рассказывает об его доброте, по-

дарках ей, когда она прихаживала к нему в Москве, и, между прочим, об одном замечательном обстоятельстве. Перед женитьбой Пушкин приехал в деревню, которая уже была перепродана, на тройке, быстро обежал всю местность и, кончивши, заметил Марье, что все теперь здесь идет не по-прежнему. Ему, может быть, хотелось возобновить пред решительным делом жизни впечатления детства. Более следов Пушкина нет в Захарьине. Деревня эта не имеет церкви, и жители ходят в село Вяземы (кн. Голицына) в двух верстах; здесь положен брат Пушкина, родившийся 1802 года, умерший в 1807 году. Пушкин ездил сюда к обедне. Село Вяземы, которое Пушкин в детстве, без сомнения, часто посещал, принадлежало Годунову; там доселе пруды, ему приписываемые; старая церковь тоже с воспоминаниями о Годунове; стало быть, в детстве Пушкин мог слышать о Годунове.

Лицей был заведение совершенно на западный лад; здесь получались иностранные журналы для воспитанников, которые в играх своих устраивали между собою палаты, спорили, говорили речи, издавали между собою журналы и пр.; вообще свободы было очень много. Лицейский анекдот: император Александр, ходя по классам, спросил: «Кто здесь первый?» — «Здесь нет, ваше императорское величество, первых; все вторые», — отвечал Пушкин.

Когда вышел его «Руслан и Людмила», за разные вольные стихи, особенно за «Оду на свободу», император Александр решился отправить его в Соловки. Здесь спас его Петр Яковлевич Чаадаев. Он отправился к Карамзиным, упросил жену Карамзина, чтоб она допустила в кабинет мужа (который за своею «Историей» по утрам никого, даже жену, не принимал), рассказал Карамзину положение дела, и тот тотчас отправился к Марии Федоровне, к которой имел свободный доступ, и у нее исходатайствовал, чтобы Пушкина послали на юг. За этот поступок Пушкин благодарил Чаадаева одним стихотворением в четвертом томе «К Ч — ву». Еще в Петербурге был начат «Евгений Онегин» [3]. После позволено было ему жить в деревне, где много было написано.

Во время коронации государь послал за ним нарочного курьера (обо всем этом сам Пушкин рассказывал) везти его немедленно в Москву. Пушкин перед тем писал какое-то сочинение в возмутительном духе, и теперь, воображая, что его везут не на добро, дорогою обдумывал далее это сочине-

ние; а между тем известно, какой прием сделал ему великодушный император. Тотчас после этого Пушкин уничтожил свое возмутительное сочинение и более не поминал об нем.

Москва приняла его с восторгом. Везде его носили на руках; он жил вместе с приятелем своим Соболевским на Собачьей площадке, в теперешнем доме Левенталя;[4] Соболевского звал он Калибаном, Фальстафом, животным. Насмешки и презрение к Полевым, особенно к Ксенофонту, за его «Михаила Васильевича Ломоносова»[5]. Здесь в 182⟨6⟩ году читал он своего «Бориса Годунова». Вообще читал он чрезвычайно хорошо. Утро, когда он читал наизусть своего «Нулина» Шевыреву у Веневитиновых. На бале у последних (Веневитиновы жили на Мясницкой, почти против церкви Евпла, в угловом доме) Пушкин пожелал познакомиться с Шевыревым. Веневитинов представил Шевырева ему; Пушкин стал хвалить ему только тогда напечатанное его стихотворение «Я есмь» и даже сам наизусть повторил ему несколько стихов, что было *самым дорогим орденом* для молодого Шевырева. После он постоянно оказывал ему знаки своего расположения.

В Москве объявил он свое живое сочувствие тогдашним молодым литераторам, в которых особенно привлекала его новая художественная теория Шеллинга, и под влиянием последней, проповедовавшей освобождение искусства, были написаны стихи «Чернь». Сблизившись с этими молодыми писателями, Пушкин принял деятельное участие в «Московском вестнике», который явился как противодействие «Телеграфу», которого Пушкин не терпел и в котором, несмотря на заискивание издателя, не поместил ни одной пьесы[6]. Пушкин любил очень играть в карты; между прочим, он употребил в уплату карточного долга тысячу рублей, которые заплатил ему «Московский вестник» за год его участия в нем.

Пушкин очень часто читал по домам своего «Бориса Годунова» и тем повредил отчасти его успеху при напечатании. Москва неблагородно поступила с ним: после неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, взводить на него обвинения в ласкательстве и наушничестве и шпионстве перед государем. Это и было причиной того, что ⟨он⟩ оставил Москву. Император, прочитав «Бориса Годунова», советовал ему издавать его как роман, чтобы вышло нечто вроде романов В. Скотта[7]. Таким советом воспользовался Загоскин в «Юрии Милославском». Пушкин сам говорил, что намерен

писать еще «Лжедимитрия» и «Василия Шуйского», как продолжение «Годунова», и еще нечто взять из междуцарствия:[8] это было бы в роде Шекспировских хроник. Шекспира (или равно Гете и Шиллера) он не читал в подлиннике, а во французском старом переводе, поправленном Гизо, но понимал его гениально. По-английски выучился он гораздо позже, в С.-Петербурге, и читал Вордсворта[9].

Пушкин просился за границу, но государь не пустил его, боялся его пылкой натуры,— вообще же с ним был чрезвычайно обходителен.

В обращении Пушкин был добродушен, неизменен в своих чувствах к людям: часто в светских отношениях не смел отказаться от приглашения к какому-нибудь балу, а между тем эти светские отношения нанесли ему много горя, были причиною его смерти. Восприимчивость ⟨его⟩ была такова, что стоило ему что-либо прочесть, чтобы навсегда помнить. Знав русскую историю до малых подробностей, любил об ней говорить и спорить с Погодиным и ценил драмы последнего именно за их историческую важность.

Особенная страсть Пушкина была поощрять и хвалить труды своих близких друзей. Про Баратынского стихи при нем нельзя было и говорить ничего дурного; он сердился на Шевырева за то, что тот раз, разбирая стихи Баратынского, дурно отозвался об некоторых из них[10]. Он досадовал на московских литераторов за то, что они разбранили «Андромаху» Катенина, хотя эта «Андромаха» довольно была плохая вещь. Катенин, старший товарищ его по Лицею, имел огромное влияние на Пушкина; последний принял у него все приемы, всю быстроту своих движений; смотря на Катенина, можно было беспрестанно воспоминать Пушкина. Катенин был человек очень умный, знал в совершенстве много языков и владел особенным уменьем читать стихи, так что его собственные дурные стихи из уст его казались хорошими[11]. Будучи откровенен с друзьями своими, не скрывая своих литературных трудов и планов, радушно сообщая о своих занятиях людям, известно интересующимся поэзией, он терпеть не мог, когда с ним говорили об стихах его и просили что-нибудь прочесть в большом свете. У княгини Зинаиды Волконской бывали литературные собрания понедельные. На одном из них пристали к Пушкину с просьбою, чтобы прочесть. В досаде он прочел «Поэт и Чернь» и, кончив, с сердцем сказал: «В другой раз не станут просить»[12].

Когда Шевырев, уезжая за границу в 1829 году, был в Петербурге, Пушкин предложил ему несколько своих стихотворений, в том числе «Утопленник» и перевод из «Валленрода», говоря, что он дарит их ему и советует издать в особом альманахе, но за отъездом тот передал их Погодину [13].

После сего раз Шевырев видел Пушкина весною 1836 года; он останавливался у Нащокина, в Дегтярном переулке. В это посещение он сообщил Шевыреву, что занимается «Словом о полку Игореве», и сказал между прочим свое объяснение первых слов [14]. Последнее свидание было в доме Шевырева; за ужином он превосходно читал русские песни [15]. Вообще это был удивительный чтец: вдохновение так пленяло его, что за чтением «Бориса Годунова» он показался Шевыреву красавцем.

А. Н. МУРАВЬЕВ

ИЗ КНИГИ «ЗНАКОМСТВО С РУССКИМИ ПОЭТАМИ»

⟨...⟩ На следующую осень я поехал в отпуск из полка и в течение зимы с 1826 на 1827 год имел случай встретить в Москве много знаменитостей нашей литературы, так как мне сопутствовал родной брат поэта Баратынского, служивший со мною в той же драгунской дивизии. В доме его матери сблизился я сперва с братом его, который был тогда во всем блеске своей славы и очень дружен с Пушкиным, кн. Вяземским и Дельвигом. Тут постепенно познакомился я с сими представителями отечественной литературы того времени. Слава Пушкина гремела повсюду, и он, можно сказать, был идолом народным; стихи его продавались на вес золота, едва ли не по червонцу за стих; «Кавказский пленник», «Бакчисарайский фонтан», «Цыгане» читались во всех гостиных; уже появились первые песни «Евгения Онегина», в которых так поэтически описывал он свою и общественную жизнь, и этой поэме не предвиделось конца, как байроновскому «Дон-Жуану». Сам Пушкин, после бурных годов своей молодости, был страстно влюблен в московскую красавицу Гончарову, которая действительно могла служить идеалом греческой правильной красоты, и он оригинально выразил свое сердечное настроение легким двустишием:

Я влюблен, я очарован,
Словом, я огончарован [1].

Впоследствии мне случилось очень близко сойтись с семейством Гончаровых, но уже тогда, когда оно оплакивало кончину великого поэта. Приветливо встретил меня Пушкин в доме Баратынского и показал живое участие к молодому писателю, без всякой литературной спеси или каких-либо видов протекции, потому что хотя он и чувствовал всю высоту своего гения, но был чрезвычайно скромен

в его заявлении. Сочувствуя всякому юному таланту, и он, как некогда Дмитриев, заставлял меня читать мои стихи, и ему были приятны некоторые строфы из моего описания Бакчисарая [2], оттого что сам воспел этот чудный фонтан: так снисходительно судил он о чужих произведениях.

Общим центром для литераторов и вообще для любителей всякого рода искусств, музыки, пения, живописи служил тогда блестящий дом княгини Зинаиды Волконской, урожденной княжны Белозерской. Эта замечательная женщина, с остатками красоты и на склоне лет, хотела играть роль Коринны и действительно была нашей русскою Коринною. Она писала и прозою и стихами, одушевленная чувством патриотизма, который не оставил ее даже и тогда, как, изменив вере отеческой, поселилась в Риме. Предметом же своей поэмы избрала она св. Ольгу, так как и в ее жилах текла кровь Рюрикова и род Белозерских особенно благоговел пред сею великою просветительницею Руси. (У них в доме даже хранилась древняя ее икона, писанная, по семейному преданию, живописцем императора Константина Багрянородного в то самое время, когда крестилась Ольга в Царьграде.) Все дышало грацией и поэзией в необыкновенной женщине, которая вполне посвятила себя искусству. По ее аристократическим связям, собиралось в ее доме самое блестящее общество первопрестольной столицы; литераторы и художники обращались к ней как бы к некоему Меценату и приятно встречали друг друга на ее блистательных вечерах, которые умела воодушевить с особенным талантом. Страстная любительница музыки, она устрояла у себя не только концерты, но и италианскую оперу и являлась сама на сцене в роли Танкреда, поражая всех ловкою игрою и чудным голосом: трудно было найти равный ей контральто. В великолепных залах Белосельского дома, как бы римского палацца, оперы, живые картины и маскарады часто повторялись во всю эту зиму, и каждое представление обстановлено было с особенным вкусом, ибо княгиню постоянно окружали италианцы, которые завлекли ее и в Рим.

Тут же, в этих салонах, можно было встретить и все, что только было именитого на русском Парнасе, ибо все преклонялись пред гениальною женщиной. Пушкин и Вяземский, Баратынский и Дельвиг были постоянными ее посетителями. Кн. Одоевский, столько же преданный музыке, как и поэзии, который издавал в то время свою «Мнемозину», не пропускал ни одного ее вечера; бывал тут и при-

ятный автор отечественных романов М. Н. Загоскин; степенные Раич, Шевырев и Погодин, хотя и не любители большого света, не чуждались, однако, ее блистательного круга: так умела она все собирать воедино [3]. Но был один юный даровитый поэт, в роде André Chénier, которого влекло к ней не одно лишь блистательное общество; горящий чистою, но страстною любовию, ей посвящал он звучные меланхолические свои стихи и безвременно сошел в могилу, хотя княгиня, дружная с его семейством, оказывала ему нежную приязнь. Много обещал в будущем молодой Веневитинов, и его ранняя кончина была большою утратою для поэзии. Знаменитый польский поэт Мицкевич, неволею посетивший Москву, был также одним из дорогих гостей Белосельских палат, его «Дзяды» и «Крымские сонеты» очень славились в то время, и он изумлял необычайною своей импровизацией трагических сцен. Общество его было весьма приятно, и мне часто случалось наслаждаться его беседой, в которой не был заметен ретивый поляк, хотя и в душе патриот, но прежде всего высказывался великий поэт.

Дом Белосельских был мне особенно близок, как по родственным связям, так и потому, что младший брат княгини, от другого брака, воспитывался вместе со мною. Часто бывал я на вечерах и маскарадах, и тут однажды, по моей неловкости, случилось мне сломать руку колоссальной гипсовой статуи Аполлона, которая украшала театральную залу. Это навлекло мне злую эпиграмму Пушкина, который, не разобрав стихов, сейчас же написанных мною, в свое оправдание, на пьедестале статуи, думал прочесть в них, что я называю себя соперником Аполлона. Но эпиграмма дошла до меня уже поздно, когда я был в деревне [4]. ⟨...⟩

В продолжение зимы 1826 года напечатал я собрание мелких моих стихотворений, с описанием южного берега Крыма, под общим названием «Тавриды». Весьма горько было для моего авторского самолюбия, когда весною в деревне в одном из журналов московских прочел я критический разбор моей книжки, хотя и довольно снисходительный, но, как мне тогда казалось, слишком строгий. Безымянную сию критику написал мой приятель, поэт Баратынский; оттого и не было ничего оскорбительного в его суждениях; но для молодого писателя это был жестокий удар при самом начале литературного поприща, кото-

рый решил меня обратиться к прозе [5]. Когда же я возвратился летом в Москву, чтобы ехать опять в полк, весь литературный кружок столицы уже рассеялся, но мне случилось встретить Соболевского, который был коротким приятелем Пушкина. Я спросил его: «Какая могла быть причина, что Пушкин, оказывавший мне столь много приязни, написал на меня такую злую эпиграмму?» Соболевский отвечал: «Вам покажется странным мое объяснение, но это сущая правда; у Пушкина всегда была страсть выпытывать будущее, и он обращался ко всякого рода гадальщицам. Одна из них предсказала ему, что он должен остерегаться высокого белокурого молодого человека, от которого придет ему смерть. Пушкин довольно суеверен, и потому, как только случай сведет его с человеком, имеющим все сии наружные свойства, ему сейчас приходит на мысль испытать: не это ли роковой человек? Он даже старается раздражить его, чтобы скорее искусить свою судьбу. Так случилось и с вами, хотя Пушкин к вам очень расположен» [6]. Не странно ли, что предсказание, слышанное мною в 1827 году, от слова до слова сбылось над Пушкиным ровно через десять лет. 〈...〉

После моего возвращения из Иерусалима в 1830 году совершенно изменилось для меня поприще моей деятельности; из теплого поэтического юга, где провел первые годы молодости, переселился я на много лет в северную столицу; там ожидал меня совершенно иной литературный круг. Все еще было там исполнено памятию нашего великого историографа, недавно лишь скончавшегося; остатки присного его общества еще собирались иногда у тетки моей Е. Ф. Муравьевой, вдовы знаменитого попечителя Московского университета, Михаила Никитича, который также в свое время был уважаемым писателем. Тут встречал я родственного нам И. М. Муравьева-Апостола, бывшего некогда послом в Испании, который и сам любил заниматься литературой. А. И. Тургенев, дружный со всеми учеными и писателями того времени, который собирал драгоценные материалы для отечественной истории в иностранных архивах, граф Д. Н. Блудов, благоговевший к памяти историографа и издавший последний том его истории, посещали также небольшой семейный круг моей тетки; она была совершенно убита недавнею разлукою с двумя сыновьями, сосланными по вине политической, и принимала только одних присных.

Но всего дороже для меня в доме тетушки было знакомство с В. А. Жуковским, который, как добрый ангел, являлся везде, где только нужно было утешать. ⟨...⟩ Мне особенно он памятен по тому живому участию, какое принял в моих литературных начинаниях. Я приступал тогда к изданию «Путешествия по святым местам», и, несмотря на многообразные занятия, Жуковский не отказался прочитать всю мою рукопись и заметить мне искренно погрешности слога; но в вопросах церковных он смиренно обращал меня к опытной мудрости митрополита московского, что и послужило началом моего знакомства с сим великим святителем. Когда же неожиданный успех увенчал сие первое мое творение, Жуковский радовался от души, как бы за собственный труд, и поручал его вниманию других именитых литераторов.

Цензором моей книги был остроумный Сенковский, иначе Барон Брамбеус, как он называл себя в своих повестях, и много мне принес пользы практическим знанием Востока. Немного времени спустя Жуковский, будучи за границей, услышал о неудаче моей трагедии «Битва при Тивериаде», написанной мною во время Турецкого похода, под влиянием Востока крестоносцев, которая упала на сцене при первом ее представлении;[7] это совершенно убило во мне расположение к драматической поэзии. Сочувствуя моему огорчению, Василий Андреевич написал с берегов Рейна добродушное письмо к другу своему, слепому поэту Козлову, и просил его передать мне, чтобы я не упадал духом и не оставлял поэзии, по моему искреннему к ней расположению. Что для него был безвестный юноша, только что выступивший на литературное поприще, на котором сам уже пожал обильные лавры? — и, однако, он не остался равнодушен к его неудаче!

И другой великий поэт оказал мне живое участие в эту знаменательную для меня эпоху первого блистательного успеха при появлении моего путешествия и столь быстро последовавшей за ним неудачи моей трагедии,— это был Пушкин. Четыре года я не встречался с ним, по причине Турецкой кампании и моего путешествия на Востоке, и совершенно нечаянно свиделся в архиве министерства иностранных дел, где собирал он документы для предпринятой им истории Петра Великого. По моей близорукости я даже сперва не узнал его; но благородный душою Пушкин устремился прямо ко мне, обнял крепко и сказал: «Простили ль вы меня? а я не могу доселе простить себе

свою глупую эпиграмму, особенно когда я узнал, что вы поехали в Иерусалим. Я даже написал для вас несколько стихов: что, когда, при заключении мира, все сильные земли забыли о святом граде и гробе Христовом, один только безвестный юноша о них вспомнил и туда устремился. С чрезвычайным удовольствием читал я ваше путешествие». Я был тронут до слез и просил Пушкина доставить мне эти стихи, но он никак не мог их найти в хаосе своих бумаг, и даже после его смерти их не отыскали, хотя я просил о том моего приятеля Анненкова, сделавшего полное издание всех его сочинений [8]. С тех пор и до самой кончины Пушкина я оставался с ним в самых дружеских отношениях. И ему так же, как Жуковскому, была неприятна моя драматическая неудача, и так как он издавал в это время журнал свой «Современник», то предложил мне напечатать в нем объяснительное предисловие к «Битве при Тивериаде» и несколько лучших ее отрывков, равно как и из другой моей трагедии — «Михаил Тверской» [9]. Так снисходительны великие гении в отношении меньших талантов.

К. А. ПОЛЕВОЙ

ИЗ «ЗАПИСОК»

Некоторые из молодых людей, бывшие впоследствии известными учеными или писателями, сделались решительными энтузиастами «Московского телеграфа». Большая часть прежних литераторов выражали одобрение и желали знакомства с издателем.

Особенно приятно было Николаю Алексеевичу получить в начале лета 1825 года письмо от А. С. Пушкина, который жил тогда безвыездно в своей псковской деревне. Пушкин писал в этом письме, что «Московский телеграф», несомненно, лучший русский журнал», и что он готов, чем может, участвовать в нем [1]. Вскоре прислал он несколько своих стихотворений и две первые свои статьи в прозе для напечатания в «Телеграфе», так что в этом журнале русская публика познакомилась с прозою Пушкина. Одна из прозаических статей его была: «О предисловии Лемонте к французскому переводу басен Крылова» [2], другая о г-же Сталь, в возражение статье, напечатанной в «Сыне отечества» Александром ⟨Алексеевичем⟩ Мухановым [3]. Пушкин прислал свои статьи к издателю «Московского телеграфа» без всякого посредничества, следовательно, по личному убеждению признавал журнал его достойным своего участия. Это чрезвычайно обрадовало нас и придало сил к продолжению борьбы с бесчисленными противниками. Кстати, вот заметка для истории литературы русской. В числе присланных Пушкиным стихотворений находилось его «Ex ungue leonem». Оно не может быть понятно тем, кто не знает, по какому поводу написал его Пушкин. В первых книжках «Московского телеграфа» были напечатаны небольшие его стихотворения, вытребованные у него князем Вяземским для нового журнала, в котором готовился он ревностно участвовать. Видно, у Пушкина не было ничего наготове, и он, не желая отказать уважаемому им

другу, прислал «Телегу жизни», поручив ему же переделать в ней два-три *слишком выразительные* стиха (она и напечатана с переделкою князя Вяземского) [4]. Пушкин прислал тогда же еще два-три маленькие стихотворения. Одно из них, напечатанное без полной подписи (кажется, по желанию самого поэта), отличалось только силою пушкинских стихов:

Враги мои! покамест я ни слова...
И, кажется, мой быстрый гнев угас,
Но из виду не выпускаю вас
И выберу когда-нибудь любого:
Не избежит *пронзительных когтей*,
Как налечу нежданный, беспощадный!
Так в облаках кружится ястреб жадный
И сторожит индеек и гусей [5].

Между тем с «Московским телеграфом» повторялась басня «Умирающий лев». Все породы бессильных стали нападать на него, все они почитали как за долг лягнуть его. Это очень неудачно выполнил Александр Ефимович Измайлов, издававший тогда журнал «Благонамеренный». Измайлов был, как говорят, разгульный добряк, и этот же характер выражался в его журнале. ⟨...⟩ Измайлов беспрестанно шутил и гаерствовал в своем «Благонамеренном», упоминал о пеннике, о настойке, о расстегайчиках, о трактире и тому подобных неблагоуханных предметах. Издавая свой журнал неисправно, он опоздал однажды слишком много выдачею книжек, и как это случилось около святой недели, то в вышедшей затем первой книжке он извинялся перед публикой своим шутливым тоном, и тут же прибавил о себе:

Как русский человек, на праздниках гулял:
Забыл жену, детей, не только что журнал!

Пушкин упоминает (в своих заметках) об этой неслыханной откровенности [6]. Он всегда с презрением отзывался о тоне сочинений А. Измайлова и даже в своем «Онегине» сказал:

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски; право, страх!
Могу ли их себе представить
С «Благонамеренным» в руках?

На беду свою, «Благонамеренный», по примеру других, потому что иного повода не было, вздумал подсмеяться над

«Московским телеграфом» и выбрал предметом насмешки стихотворение Пушкина: «Враги мои» и проч. Обыкновенным своим тоном он говорил: «У сочинителя есть и *когти*: у, как страшно!».[7] Пушкин, видно, вспыхнул, прочитав эту пошлую насмешку, и тотчас прилетело к нам по почте собственною рукою его написанное:

Ex ungue leonem

Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал в свет без подписи своей;
Журнальный шут о них статейку тиснул
И в свет пустил без подписи ж, злодей!
Но что ж? ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он *по когтям* узнал меня в минуту,
Я *по ушам* узнал его как раз![8]

Это окончательно сделало «Благонамеренный» неблагонамеренным в отношении к «Московскому телеграфу» — по милости Пушкина.

Так начались прямые сношения Пушкина с «Московским телеграфом». Они обещали прочное знакомство: далее увидим, отчего не могло это исполниться. ⟨...⟩

Года через три потом Пушкин, разговаривая со мной о знакомом уже ему издателе «Московского телеграфа», сказал, между прочим: «Я дивлюсь, как этот человек попадает именно на то, что может быть интересно!»

Пушкин, приехавший в Москву осенью 1826 года, вскоре понял Мицкевича и оказывал ему величайшее уважение. Любопытно было видеть их вместе. Провинциальный русский поэт, обыкновенно господствовавший в кругу литераторов, был чрезвычайно скромен в присутствии Мицкевича, больше заставлял его говорить, нежели говорил сам, и обращался с своими мнениями к нему, как бы желая его одобрения. В самом деле, по образованности, по многосторонней учености Мицкевича Пушкин не мог сравнивать себя с ним, и сознание в том делает величайшую честь уму нашего поэта. Уважение его к поэтическому гению Мицкевича можно видеть из слов его, сказанных мне в 1828 году, когда и Мицкевич и Пушкин жили оба уже в Петербурге. Я приехал туда временно и остановился в гостинице Демута, где обыкновенно жил Пушкин до самой своей женить-

бы. Желая повидаться с Мицкевичем, я спросил о нем у Пушкина. Он начал говорить о нем и, невольно увлекшись в похвалы ему, сказал между прочим:

— Недавно Жуковский говорит мне: знаешь ли, брат, ведь он заткнет тебя за пояс.

— Ты не так говоришь,— отвечал я,— он уже *заткнул* меня.

В другой раз, при мне, в той же квартире, Пушкин объяснял Мицкевичу план своей еще не изданной тогда «Полтавы» (которая первоначально называлась «Мазепою») и с каким жаром, с каким желанием передать ему свои идеи старался показать, что изучил главного героя своей поэмы. Мицкевич делал ему некоторые возражения о нравственном характере этого лица ⟨...⟩

В суждениях о литературных предметах высказывал он ⟨Мицкевич⟩ всегда оригинальное свое мнение, но все возвышенное и прекрасное ценил высоко и не останавливался на мелких недостатках. Однажды кто-то при нем стал указывать на разные слабые стороны нашего Пушкина и обратился к Мицкевичу, как бы ожидая от него подтверждения своего мнения. Мицкевич отвечал: «Pouchkine est le premier poète de sa nation: c'est là son titre à la gloire» («Пушкин первый поэт своего народа: вот что дает ему право на славу») ⟨...⟩.

Во время пребывания Мицкевича в Петербурге была напечатана поэма его «Конрад Валленрод». Многочисленный круг русских почитателей поэта знал эту поэму, не зная польского языка, то есть знал ее содержание, изучал подробности и красоты ее. Это едва ли не единственный в своем роде пример! Но он объясняется общим вниманием петербургской и московской публики к славному польскому поэту, и как в Петербурге много образованных поляков, то знакомые обращались к ним и читали новую поэму Мицкевича в буквальном переводе. Так прочел ее и Пушкин. У него был даже рукописный подстрочный перевод ее, потому что наш поэт, восхищенный красотами подлинника, хотел, в изъявление своей дружбы к Мицкевичу, перевести всего «Валленрода» своими чудесными стихами. Он сделал попытку: перевел начало «Валленрода», но увидел, как говорил он сам, что *не умеет* переводить, то есть не умеет подчинить себя тяжелой работе переводчика. Свидетельством этого любопытного случая остаются прекрасные стихи, переведенные из «Валленрода» Пушкиным, не переводившим ничего [9]. ⟨...⟩

Знаю, что я должен очень осторожно говорить о Пушкине. Нашлись люди, которые в последнее время усиливались представить меня каким-то ненавистником нашего великого поэта и чуть не клеветником нравственной его жизни. Я опроверг такую клевету, когда она выказывалась явно *, и показал, что никто более меня не уважает памяти Пушкина, никто не ценит более высоко чудесного его дарования. Но дознанная истина, что клевета всегда оставляет после себя следы, и особенно та клевета, которая передается изустно, в сборищах, где *в кругу порядочных людей* можно высказывать возмутительные нелепости, *повторяемые с улыбкой*. Видно, такую клевету испытал сам Пушкин, упомянувший о ней очень выразительно [10].

Имя Пушкина сделалось известно публике со времени издания «Руслана и Людмилы» в 1820 году; но еще прежде он стал любимцем и баловнем образованной петербургской молодежи за многие свои лирические стихотворения, несравненные прелестью выражения, гармонией стиха и совершенно новою, небывалою до тех пор вольностью мыслей в разных отношениях. Эротические подробности в посланиях к Лидам и Лилетам, острые, умные сарказмы против известных лиц в посланиях к друзьям, наконец, сальные стихотворения, где думал он подражать А. Шенье, но далеко превзошел свой образец, были совершенно во вкусе и приходились по сердцу современной молодежи. Лирические произведения Пушкина этой эпохи большею частью писаны были не для печати и в рукописи разлетались по рукам. Вскоре составилась целая тетрадь таких стихотворений; современные юноши усердно переписывали ее, невольно выучивали наизусть, и Пушкин приобрел самую громкую, блестящую известность и жаркую любовь молодых современников своих. Почти в то же время стало известно, что он удален из Петербурга; внутри России даже не знали — куда, за что? Но тем больше казалась поэтическою судьба *изгнанника самовольного* (как называл Пушкин сам себя), особенно когда он упоминал о себе в задумчивых, грустных стихах, то благословляя дружбу, спасшую его от грозы и гибели, то вспоминая об Овидии на берегах Черного моря. И вдруг новая превратность в судьбе его: он живет в своей деревне, не выезжает оттуда, *не может* выезжать — и русский Овидий принял оттенок чуть ли

* Опровержения мои напечатаны в «Северной пчеле» 1859 г., в № 129 и 169.

Вольтера в Ферне или Руссо в самовольном изгнании. Между тем явились его «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», наконец первая глава «Онегина», сопровождаемые множеством изящных лирических стихотворений, и уже слышно было, что поэт в своем уединении готовит новые, великие создания. В таких отношениях находился Пушкин к русской публике, когда во время торжеств коронации, в 1826 году, вдруг разнеслась в Москве радостная и неожиданная весть, что император вызвал Пушкина из его уединения и что Пушкин в Москве. Всех обрадовала эта весть; но из числа самых счастливых ею был мой брат, Николай Алексеевич 〈...〉. Искренний жаркий поклонник его дарования, он почитал наградою судьбы за многие неприятности на своем литературном поприще то уважение, какое оказывал ему Пушкин, который признавал «Московский телеграф» *лучшим* из современных русских журналов, присылал свои стихи для напечатания в нем и в нем же напечатал первые свои прозаические опыты. Оставалось укрепить личным знакомством этот нравственный союз, естественно связывающий людей необыкновенных, и одним из лучших желаний Николая Алексеевича было свидание с Пушкиным. Можно представить себе, как он обрадовался, когда услышал о его приезде в Москву! Он тотчас поехал к нему и воротился домой не в веселом расположении. Я увидел это, когда с юношеским нетерпением и любопытством прибежал к нему в комнату, восклицая:

— Ну, что? видел Пушкина?.. рассказывай скорее.

С обыкновенною своею умною улыбкою он поглядел на меня и отвечал в раздумье:

— Видел.

— Ну, каков он?

— Да я, братец, нашел в нем совсем не то, чего ожидал. Он ужасно холоден, принял меня церемонно, без всякого искреннего выражения.

Он пересказал мне после этого весь свой, впрочем, непродолжительный разговор с Пушкиным, в самом деле состоявший из вежливостей и пустяков. Пушкин торопился куда-то с визитом; видно было, что в это свидание он только поддерживал разговор и, наконец, обещал Николаю Алексеевичу приехать к нему в первый свободный вечер.

Мы посудили, потолковали и утешили себя тем, что, вероятно, Пушкин, занятый какими-нибудь своими политическими отношениями, не в духе. Но все-таки странно

казалось, что он не выразил Николаю Алексеевичу дружеского, искреннего расположения.

Не помню, скоро ли после этого, но как-то вечером он приехал к нам вместе с С. А. Соболевским, который сделался путеводителем его по Москве и впоследствии поселил его у себя. Этот вечер памятен мне впечатлением, какое произвел на меня Пушкин, виденный мною тут в первый раз. Когда мне сказали, что Пушкин в кабинете у Николая Алексеевича, я поспешил туда, но, проходя через комнату перед кабинетом, невольно остановился при мысли: я сейчас увижу его!.. Толпа воспоминаний, ощущений мелькнула и в уме и в душе... С тревожным чувством отворил я дверь...

Надобно заметить, что, вероятно, как и большая часть моих современников, я представлял себе Пушкина таким, как он изображен на портрете, приложенном к первому изданию «Руслана и Людмилы» [11], то есть кудрявым пухлым юношею с приятною улыбкой...

Перед конторкою (на которой обыкновенно писал Н. А.) стоял человек, немного превышавший эту конторку, худощавый, с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывавшими всю нижнюю часть его щек и подбородка, с тучею кудрявых волосов. Ничего юношеского не было в этом лице, выражавшем угрюмость, когда оно не улыбалось. Я был так поражен неожиданным явлением, нисколько не осуществлявшим моего идеала, что не скоро мог опомниться от изумления и уверить себя, что передо мною находился Пушкин. Он был невесел в этот вечер, молчал, когда речь касалась современных событий, почти презрительно отзывался о новом направлении литературы, о новых теориях и между прочим сказал:

— Немцы видят в Шекспире черт знает что, тогда как он просто, без всяких умствований говорил, что было у него на душе, не стесняясь никакой теорией.

Тут он выразительно напомнил о неблагопристойностях, встречаемых у Шекспира, и прибавил, что это был гениальный мужичок! [12] Меня поразило такое суждение тем больше, что я тогда был безусловный поклонник Авг. Шлегеля, который не находит никаких недостатков в Шекспире.

Пушкин несколько развеселился бутылкою шампанского (тогда необходимая принадлежность литературных бесед!) и даже диктовал Соболевскому комические стихи в подражание Вергилию. Не припомню, какая случайность

разговора была поводом к тому, но тут я видел, как богат был Пушкин средствами к составлению стихов: он за несколько строк уже готовил мысль или созвучие и находил прямое выражение, не заменимое другим. И это шутя, между разговором! О «Московском телеграфе» не было и речи: Пушкин, видно, не хотел говорить о нем, потому что не желал сказать о нем своего мнения при первом личном знакомстве с издателем. Это мнение было уже не то, которое выразил он в письме к Н. А., как увидим сейчас. Свидание кончилось тем, что мы с братом остались в недоумении от обращения Пушкина.

Прошло еще несколько дней, когда, однажды утром, я заехал к нему. Он временно жил в гостинице, бывшей на Тверской, в доме князя Гагарина, отличавшемся вычурными уступами и крыльцами снаружи. Там занимал он довольно грязный нумер в две комнаты, и я застал его, как обыкновенно заставал потом утром в Москве и в Петербурге, в татарском серебристом халате, с голою грудью, не окруженного ни малейшим комфортом: так живал он потом в гостинице Демута в Петербурге. На этот раз он был, как мне показалось сначала, в каком-то раздражении и тотчас начал речь о «Московском телеграфе», в котором находил множество недостатков, выражаясь об иных подробностях саркастически [13]. Я возражал ему как умел, и разговор шел довольно запальчиво, когда в комнату вошел г. Шевырев, тогда еще едва начинавший писатель, член Раичева литературного *общества.* ⟨...⟩ Он принес Пушкину незадолго прежде напечатанную книжку «Об искусстве и художниках, размышления и проч.», изданную Тиком и переведенную с немецкого г.г. Титовым, Мельгуновым и Шевыревым. Стихи, находящиеся в этой книге, были писаны последним, и Пушкин начал горячо расхваливать их [14], вообще оказывая г. Шевыреву самое приязненное расположение, хотя и с высоты своего величия, тогда как со мною он разговаривал почти как неприятель. Вскоре ввалился в комнату М. П. Погодин. Пушкин и к нему обратился дружески. Я увидел, что буду лишний в таком обществе, и взялся за шляпу. Провожая меня до дверей и пожимая мне руку, Пушкин сказал:

— Sans rancune, je vous en prie! * — и захохотал тем простодушным смехом, который памятен всем знавшим его.

---

* Не будьте злопамятны, прошу вас.

Я воротился домой почти с убеждением, что Пушкин за что-то неприязнен к «Московскому телеграфу», или, лучше сказать, к редакторам его. Но за что же? Не сам ли он признавал «Московский телеграф» лучшим из русских журналов; и действительно, не был ли это, как говорят теперь, *передовой* журнал, оказавший обществу некоторые услуги? Мог ли остановиться Пушкин на мелочных недостатках его и за них отвергать достоинства его, как делали пристрастные наши враги?

Вскоре услышали мы, что Пушкин основывает *свой* журнал, «Московский вестник», под редакцией г. Погодина и при участии всех членов бывшего Раичева общества, всех недовольных «Московским телеграфом». Это объяснило нам многое в недавних отношениях его с нами, особливо когда стали известны подробности, как заключился такой странный союз. В самом деле, странно было, что этот *сердечный союз* устроился слишком проворно, и сближение Пушкина в важном литературном предприятии с молодыми людьми, еще ничем не доказавшими своих дарований, казалось еще изумительнее, когда во главе их являлся г. Погодин! Где мог узнать и как мог оценить всю эту компанию Пушкин, только что приехавший в Москву?

Я упомянул, что Пушкин приехал в Москву неожиданно ни для кого. Он был привезен прямо в Кремлевский дворец и неожиданно представлен императору. Никто не может сказать, что говорил ему августейший его благодетель, но можно вывести положительное заключение о том из слов самого государя императора, когда, вышедши из кабинета с Пушкиным, после разговора наедине, он сказал окружавшим его особам: «Господа, это Пушкин мой!»

Несомненно также, что разговор с императором Николаем Павловичем оставил сильное впечатление в Пушкине и если не совершенно изменил прежний образ его мыслей, то заставил его принять новое направление, которому остался он верен до конца своей жизни. На смертном одре, в часы последних страданий перед кончиной, он просил уверить императора, что «весь был бы его», если бы остался жив *. Он, конечно, в эту торжественную минуту лишь высказал то, что было в душе его. Как человек высокого ума, до зрелых лет мужества остававшийся либералом и по образу мыслей, и в поэтических излияниях своей души, он не мог вдруг отказаться от своих убеждений; но, раз давши

* См. статью Жуковского: «Письмо к С. Л. Пушкину».

слово следовать указанному ему новому направлению, он хотел исполнить это и благоговейно отзывался о наставлениях, данных ему императором *.

В самом начале, в первые дни своего нравственного кризиса, встретился он в Москве с издателем «Московского телеграфа» и, может быть, первоначально не хотел сближаться с ним по расчету обыкновенного и очень понятного благоразумия. Еще правительство не обращало своего внимания на молодого журналиста, а Пушкин уже понимал, что не может следовать одному с ним направлению. Живя в Михайловском, он почитал его журналом *передовым* и откровенно хвалил его; перенесенный в Москву, он был уже не тот Пушкин, потому-то, с первых свиданий, встретил холодно Н. А. Полевого и в первом разговоре со мной порицал, между прочим, *неосторожность*, с какою пишутся многие статьи «Московского телеграфа». Это был всегдашний припев его и потом, когда мне случалось говорить с ним о «Московском телеграфе». Только что прощенный государем императором за прежние свои *вольнодумства*, взволнованный милостивым его словом, он хотел держать себя настороже с издателем «Московского телеграфа» и хотя внутренно не мог не отдавать ему справедливости, однако желал, может быть, лучше узнать его. Таковы были, по моему убеждению, первые причины холодности Пушкина к Н. А. Полевому. К ним вскоре присоединились многие другие. Не невозможно, что Пушкин, несмотря на свои ребяческие, смешные мнения об аристократстве, простил бы моему брату звание купца, если бы тот явился перед ним смиренным поклонником. Но когда издатель «Московского телеграфа» протянул к нему руку свою, как родной, он хотел показать ему, что такое сближение невозможно между потомком бояр Пушкиных, внуком Арапа Ганнибала, и между смиренным гражданином. Я готов согласиться, что Пушкин, человек высокого ума, никогда не был глубоко убежден в том, что проповедовал так громко о русском аристократстве и знатности своего рода; но он играл эту роль постоянно, по крайней мере, с тех пор, как я стал знать его лично. Он соображал свое обхождение не с личностью человека, а с положением его в свете и потому-то признавал своим собратом самого ничтожного барича и оскорблялся, когда в обществе встречали его как писателя, а не как аристократа. Эту мысль выражал он и на словах, и в своих

---

* См. «Соч. Пушкина», изд. Анненкова, т. I, с. 172.

сочинениях: она послужила ему основою вступительной части и отрывка «Египетские ночи». В Чарском изобразил он себя. Такой образ мыслей мешал сближению его с Н. А. Полевым и, естественно, заставил его легко согласиться на предложение безвестных молодых людей, которые просили его быть не столько сотрудником, сколько покровителем предпринимаемого ими журнала. И он, и они рассчитывали на верный успех от одного имени Пушкина, которому все остальное должно было служить только рамою. ⟨...⟩

Расчет Пушкина и новых друзей его оказался неверен во многих отношениях. «Московский вестник» не понравился публике с первой книжки и с каждою новою книжкою оказывался ребяческим предприятием, недостойным внимания. Не спасли его и стихи Пушкина, хотя их было там много. Такой неуспех был новым торжеством для «Московского телеграфа» и только утвердил за ним первенство в русской журналистике. И не могло быть иначе. «Московский телеграф» был *журнал*, орган известного рода мнений, касавшийся современных вопросов, а «Московский вестник» оказался — как и другие современные журналы русские — сборником разнородных статей, иногда хороших, но чаще плохих, потому что хороших писателей никогда не бывает много и невозможно завербовать их всех в свои сотрудники: поневоле придется наполнять журнал чем попало. Но когда издатель его бывает органом определенных убеждений и современной доктрины, тогда все эти статьи его журнала составляют одно целое, и журнал постепенно делается могуществом, которому может противоборствовать только подобное же могущество своего рода, то есть орган других убеждений [15]. ⟨...⟩

Пушкин и его сотрудники бывали у Н. А. Полевого и при встрече казались добрыми приятелями. Весною 1827 года, не помню по какому случаю, у брата был литературный вечер [16], где собрались все пишущие друзья и недруги; ужинали, пировали всю ночь и разъехались уже утром. Пушкин казался председателем этого сборища и, попивая шампанское с сельтерской водой, рассказывал смешные анекдоты, читал свои *непозволенные* стихи, хохотал от резких сарказмов И. М. Снегирева, вспоминал шутливые стихи Дельвига, Баратынского и заставил последнего припомнить написанные им с Дельвигом когда-то рассказы о житье-бытье в Петербурге. Его особенно смеши-

ло то место, где в пышных гекзаметрах изображалось столько же вольное, сколько невольное убожество обоих поэтов, которые «в лавочку были должны, руки держали в карманах (перчаток они не имели!)»...

Глядя на пирующих вместе образованных, большею частью, любезных людей, кто подумал бы, что в душе многих из них таились мелкие страстишки и ненависть к тому, у кого они пировали? Только «приличия были *спасены*»,— если позволят употребить здесь выразительный французский идиотизм.

Весною того же года Пушкин спешил отправиться в Петербург, и мы были приглашены проводить его. Местом общего сборища для проводин была назначена дача С. А. Соболевского близь Петровского дворца. Тогда еще не существовало нынешнее Петровское, то есть множества дач, окружающих Петровский парк, также не существовавший: все это миловидное предместье Москвы явилось по мановению императора Николая около 1835 года. До тех пор вокруг *исторического* Петровского дворца, где несколько дней укрывался Наполеон от московского пожара в 1812 году, было несколько старинных, очень незатейливых дач, стоявших отдельно одна от другой, а все остальное пространство, почти вплоть до заставы, было изрыто, заброшено или покрыто огородами и даже полями с хлебом.

В эту-то пустыню, на дачу Соболевского, около вечера, стали собираться знакомые и близкие Пушкина. Мы увидели там Мицкевича, который с комическою досадою рассказывал, что вместе с одним товарищем он забрался в Петровское с полудня, надеясь осмотреть на досуге достопамятный дворец и потом найти какой-нибудь приют или хоть трактир, где пообедать. Но дворец, тогда только снаружи покрашенный *, внутри представлял опустошение; что же касается до утоления голода, который наконец стал напоминать Мицкевичу об обеде, то в Петровском не оказалось никаких пособий для этого: в пустынных дачах жили только сторожа, а трактира вблизи не было. В таком отчаянном положении Мицкевич увидел какого-то жалкого разносчика с колбасами, но когда поел колбасы, то весь остальной день мучила его жажда, хотя желудок был пуст. Он так уморительно рассказывал все эти приключения, что слушавшие его не могли не хохотать, а гостеприимный хозяин дачи спешил восстановить упадшие силы знамени-

---

* Кажется, один нижний этаж его был отделан наскоро.

того литвина. Постепенно собралось много знакомых Пушкина, и уже был поздний вечер, а он не являлся. Наконец приехал Александр ⟨Алексеевич⟩ Муханов — против которого написал свою первую критическую статью Пушкин, вступившийся за m-me Staël,— и объявил, что он был вместе с Пушкиным на гулянье в Марьиной роще (в этот день пришелся семик) и что поэт скоро приедет. Уже поданы были свечи, когда он явился, рассеянный, невеселый, говорил, не улыбаясь (что всегда показывало у него дурное расположение), и тотчас после ужина заторопился ехать. Коляска его была подана, и он, почти не сказавши никому ласкового слова, укатил в темноте ночи [17]. Помню, что это произвело на всех неприятное впечатление. Некоторые объясняли дурное расположение Пушкина, рассказывая о неприятностях его по случаю дуэли, окончившейся не к славе поэта. В толстом панегирике своем Пушкину г. Анненков умалчивает о подобных подробностях жизни его, заботясь только выставить поэта мудрым, непогрешительным, чуть не праведником.

В первое время по приезде в Петербург [18] я жил в гостинице «Демут», где обыкновенно квартировал А. С. Пушкин. Я каждое утро заходил к нему, потому что он встречал меня очень любезно и привлекал к себе своими разговорами и рассказами. Как-то в разговоре с ним я спросил у него — знакомиться ли мне с издателями «Северной пчелы»? «А почему же нет? — отвечал не задумываясь Пушкин.— Чем они хуже других? Я нахожу в них людей умных. Для вас они будут особенно любопытны!» Тут он вошел в некоторые подробности, которые показали мне, что он говорит искренно, и находил, что с моей стороны было бы неуместной взыскательностью отказываться от этого знакомства. ⟨...⟩

О Пушкине любопытны все подробности, и потому я посвящу ему здесь несколько страниц. Уже не один раз упоминал я, что он жил в гостинице Демута, где занимал бедный нумер, состоявший из двух комнаток, и вел жизнь странную. Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал, лежа в постели, а когда к нему приходил гость, он вставал с своей постели, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал и приглаживал свои ногти, такие длинные, что их можно назвать когтями.

Иногда заставал я его за другим столиком — карточным, обыкновенно с каким-нибудь неведомым мне господином, и тогда разговаривать было нельзя; после нескольких слов я уходил, оставляя его продолжать игру. Известно, что он вел довольно сильную игру и чаще всего продувался в пух! Жалко бывало смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного грубою и глупою страстью! Зато он был удивительно умен и приятен в разговоре, касавшемся всего, что может занимать образованный ум. Многие его замечания и суждения невольно врезывались в памяти. Говоря о своем авторском самолюбии, он сказал мне:

— Когда читаю похвалы моим сочинениям, я остаюсь равнодушен: я не дорожу ими; но злая критика, даже бестолковая, раздражает меня.

Я заметил ему, что этим доказывается неравнодушие его к похвалам.

— Нет, а может быть, авторское самолюбие? — отвечал он, смеясь.

В нем пробудилась досада, когда он вспомнил о критике одного из своих сочинений, напечатанной в «Атенее», журнале, издававшемся в Москве профессором Павловым. Он сказал мне, что даже написал возражение на эту критику, но не решился напечатать свое возражение и бросил его. Однако он отыскал клочки синей бумаги, на которой оно было писано, и прочел мне кое-что. Это было, собственно, не возражение, а насмешливое и очень остроумное *согласие* с глупыми замечаниями его рецензента, которого обличал он в противоречии и невежестве, по-видимому соглашаясь с ним [19]. Я уговаривал Пушкина напечатать остроумную его отповедь «Атенею», но он не согласился, говоря: «Никогда и ни на одну критику моих сочинений я не напечатаю возражения; но не отказываюсь писать в этом роде на утеху себе». После он пробовал быть критиком, но очень неудачно, а в печатных спорах выходил из границ и прибегал к пособию своих язвительных эпиграмм. Никто столько не досаждал ему своими злыми замечаниями, как Булгарин и Каченовский, зато он и написал на каждого из них по нескольку самых задорных и острых своих эпиграмм. Вообще как критик он был умнее на словах, нежели на бумаге. Иногда вырывались у него чрезвычайно меткие, остроумные замечания, которые были бы некстати в печатной критике, но в разговоре поражали своею истиною. Рассуждая о стихотворных переводах Врончeнки, производивших тогда впечатление своими неотъемлемыми достоинствами, он сказал:

— Да, они хороши, потому что дают понятие о подлиннике своем; но та беда, что к каждому стиху Вронченки привешена гирька!

Увидевши меня по приезде моем из Москвы, когда были изданы две новые главы «Онегина», Пушкин желал знать, как встретили их в Москве. Я отвечал:

— Говорят, что вы повторяете себя: нашли, что у вас два раза упомянуто о битье мух!

Он расхохотался; однако спросил:

— Нет? в самом деле говорят это?

— Я передаю вам не свое замечание; скажу больше: я слышал это из уст дамы.

— А ведь это очень живое замечание: в Москве редко услышишь подобное,— прибавил он [20]. ⟨...⟩

В 1828 году Пушкин был уже далеко не юноша, тем более что после бурных годов первой молодости и тяжких болезней он казался по наружности истощенным и увядшим; резкие морщины виднелись на его лице; ⟨но⟩ он все еще хотел казаться юношею. Раз как-то, не помню по какому обороту разговора, я произнес стих его, говоря о нем самом:

Ужель мне *точно* тридцать лет? [21]

Он тотчас возразил: «Нет, нет! у меня сказано: «Ужель мне *скоро* тридцать лет?» Я жду этого рокового термина, а теперь еще не прощаюсь с юностью». Надобно заметить, что до *рокового термина* оставалось несколько месяцев! Кажется, в этот же раз я сказал, что в сочинениях его встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из наших поэтов. Он отвечал, что в основании характер его — грустный, меланхолический и если он бывает иногда в веселом расположении, то редко и ненадолго. Мне кажется и теперь, что он ошибался, так определяя свой характер. Ни один глубоко чувствующий человек не может быть всегда веселым и гораздо чаще бывает грустен: только поверхностные люди способны быть весельчаками, то есть постоянно и от всего быть веселыми. Однако человек, не умерший душою, приходит и в светлое, веселое расположение; разница может быть только в том, что один предается ему искренно, от души, другой не способен к такой искренней веселости. И Жуковский иногда весел в своих стихотворениях; но Пушкин, как пламенный лирический поэт, был способен увлекаться всеми сильными ощущениями, и когда предавался веселости, то предавался ей, как не способны

к тому другие. В доказательство можно указать на многие стихотворения Пушкина из всех эпох его жизни. Человек грустного, меланхолического характера не был бы способен к тому.

Однажды я был у него вместе с Павлом Петровичем Свиньиным. Пушкин, как увидел я из разговора, сердился на Свиньина за то, что очень неловко и некстати тот вздумал где-то на бале рекомендовать его славной тогда своей красотой и любезностью девице Л. Нельзя было оскорбить Пушкина более, как рекомендуя его *знаменитым поэтом;* а Свиньин сделал эту глупость. За то поэт и отплатил ему, как я был свидетелем, очень зло. Кроме того, что он очень горячо выговаривал ему и просил вперед не принимать труда знакомить его с кем бы то ни было, Пушкин, поуспокоившись, навел разговор на приключения Свиньина в Бессарабии, где тот был с важным поручением от правительства, но поступал так, что его удалили от всяких занятий по службе. Пушкин стал расспрашивать его об этом очень ловко и смело, так что несчастный Свиньин вертелся, как береста на огне.

— С чего же взяли,— спрашивал он у него,— что будто вы въезжали в Яссы с торжественною процессиею, верхом, с многочисленною свитой и внушили такое почтение соломенным молдавским и валахским боярам, что они поднесли вам сто тысяч серебряных рублей?

— Сказки, *мивый* Александр Сергеевич! сказки! Ну, стоит ли повторять такой вздор! — восклицал Свиньин, который прилагал слово *мивый* (милый) в приятельском разговоре со всяким из знакомых.

— Ну, а ведь вам подарили шубы? — спрашивал опять Пушкин и такими вопросами преследовал Свиньина довольно долго, представляя себя любопытствующим, тогда как знал, что речь о бессарабских приключениях была для Свиньина — нож острый! [22]

Разговор перешел к петербургскому обществу, и Свиньин стал говорить о лучшем избранном круге, называя многие вельможные лица; Пушкин и тут косвенно кольнул его, доказывая, что не всегда чиновные и значительные по службе люди принадлежат к хорошему обществу. Он почти прямо указывал на него, а для прикрытия своего намека рассказывал, что как-то он был у Карамзина (историографа), но не мог поговорить с ним оттого, что к нему беспрестанно приезжали гости, и, как нарочно, все это были сенаторы. Уезжал один, и будто на смену его являлся другой.

Проводивши последнего из них, Карамзин сказал Пушкину:

— Avez-vous remarqué, mon cher ami, que parmi tous ces messieurs il n'y avait pas un seul qui soit un homme de bonne compagnie? (Заметили вы, что из всех этих господ ни один не принадлежит к хорошему обществу?)

Свиньин совершенно согласился с мнением Карамзина и поспешно проговорил:

— Да, да, мивый, это так, это так!

Пушкин вообще любил повторять изречения или апофегмы Карамзина, потому что питал к нему уважение безграничное. Историограф был для него не только великий писатель, но и мудрец,— *человек высокий*, как выражался он. Когда он писал своего «Бориса Годунова», Карамзин, услышав о том, спрашивал поэта, не надобно ли ему для нового его создания каких-нибудь сведений и подробностей из истории избранной им эпохи, и вызывался доставить все, что может. Пушкин отвечал, что он имеет *все* в «Истории государства Российского», великом создании великого историка, которому обязан и идеею нового своего творения. Эту же мысль выразил Пушкин в *лапидарном* посвящении «Бориса Годунова» памяти историографа. Дело критики показать, насколько повредило его драме слишком близкое воспроизведение карамзинского Годунова и уверенность, что историограф не ошибался. За Карамзина же он окончательно разошелся и с моим братом [23] ⟨...⟩

После прекращения «Московского телеграфа» брат мой не имел никаких сношений с Пушкиным; [24] не знаю даже, встречались ли они в последние годы жизни поэта. Один жил в Москве, другой в Петербурге. Но лучшим доказательством, как высоко уважал и любил Пушкина Н. А. Полевой, может служить впечатление, произведенное на него смертью поэта. В Москве пронеслись слухи о дуэли и опасном положении Пушкина, но мы не слыхали и не предполагали, что он был уже не жилец мира. Утром по какому-то делу брат заехал ко мне и сидел у меня в кабинете, когда принесли с почты «Северную пчелу», где в немногих строках было напечатано известие о смерти Пушкина [25]. Взглянув на это роковое известие, брат мой изменился в лице, вскочил, заплакал и, бегая по комнате, воскликнул: «Да что же это такое?... Да это вздор, нелепость! Пушкин умер!.. Боже мой!..» И рыдания прервали его слова. Он долго не мог успокоиться. Искренние слезы тоски, пролитые им

в эти минуты, конечно, примирили с ним память поэта, если при жизни между ними еще оставалась тень неприязни.

ИЗ СТАТЬИ «АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН»

Кто не знал Пушкина лично, для тех скажем, что отличительным характером его в обществе была задумчивость или какая-то тихая грусть, которую даже трудно выразить. Он казался при этом стесненным, попавшим не на свое место. Зато в искреннем, небольшом кругу, с людьми по сердцу, не было человека разговорчивее, любезнее, остроумнее. Тут он любил и посмеяться, и похохотать, глядел на жизнь только с веселой стороны, и с необыкновенною ловкостью мог открывать смешное. Одушевленный разговор его был красноречивою импровизациею, так что он обыкновенно увлекал всех, овладевал разговором, и это всегда кончалось тем, что другие смолкали невольно, а говорил он. Если бы записан был хоть один такой разговор Пушкина, похожий на рассуждение, перед ним показались бы бледны профессорские речи Вильмена и Гизо.

Вообще Пушкин обладал необычайными умственными способностями. Уже во время славы своей он выучился, живя в деревне, латинскому языку, которого почти не знал, вышедши из Лицея. Потом, в Петербурге, изучил он английский язык в несколько месяцев, так что мог читать поэтов. Французский знал он в совершенстве. «Только с немецким не могу я сладить! — сказал он однажды.— Выучусь ему, и опять все забуду: это случалось уже не раз». Он страстно любил искусства и имел в них оригинальный взгляд. Тем особенно был занимателен и разговор его, что он обо всем судил умно, блестяще и чрезвычайно оригинально.

А. А. СКАЛЬКОВСКИЙ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Первый предмет — это газеты. В Москве, сколько могу вспомнить, была одна только газета: «Московские ведомости», 4-е изд. кн. Шаликова. Но были два прекрасные и литературные журналы: «Московский вестник», издаваемый Погодиным и Шевыревым, и «Московский телеграф», издаваемый Полевым старшим. Я тогда жил с Мицкевичем почти в одной квартире (он был тогда очень беден), и у него я познакомился с Погодиным, так как он был адъюнктом русской истории (Каченовский был профессором) и знал меня. Но Полевой смотрел на всех, кроме Мицкевича, как Юпитер громовержец — и никогда не говорил ни со мною, ни с тремя другими нашими виленскими товарищами. Сюда приходил часто и наш бессмертный поэт Пушкин, очень друживший с Мицкевичем. Он всегда был не в духе, и нам, жалким смертным, не только не кланялся, но даже стеснялся нашим обществом. Мицкевич нас утешал тем, что Пушкин страдает от бездействия и мучится, что должен продавать свои стихи журналистам. Но один случай внезапно приблизил меня к нему — правда ненадолго и то в размерах батрака к мастеру или барину. Однажды вечером Мицкевич импровизировал одну главу из своего «Валленрода», которого хотел печатать в Москве, но ждал своего брата. Пушкин сказал: как бы я желал иметь подстрочный перевод этой главы — а Мицкевич перевел ее ему по-французски. «А вот кстати юноша, который так знает и русский, как и польский». И просил меня [Пушкин]: так как ты во время импровизации списывал его стихи — переведи это место. Я согласился сейчас же, но извинился перед Пушкиным, если моя работа не будет хороша. «Уж верно будет не хуже литературных ворохов Полевого»,— сказал Пушкин. Я сейчас же перевел, хотя плохо писать ⟨наспех⟩ такие серьезные вещи. Пушкин прочитал, поло-

жил в карман и кивнул мне слегка головой. Это подало мысль Погодину и его сотруднику Шевыреву упросить Мицкевича о переводе постепенном «Валленрода» прозою и напечатать в «Московском вестнике». Я работал целый месяц. Шевырев, разумеется, исправлял мою грубую литературу — но все-таки Пушкин был доволен и сам после из этой работы сделал прекрасный перевод отдельной части «Валленрода». Мне в знак благодарности на вечере у кн. Вяземского: «А что, любезный, ты не наврал там в своей тетрадке?» Князь сказал, что перевод очень верен. «Ну и слава богу»,— и только ⟨неразборчиво⟩ ...тот юный и даровитый поэт и незабвенный так рано почивший Веневитинов был со мною любезен и даже добыл мне приглашение на вечер княгини Зинаиды Волконской, где Мицкевич импровизировал по-французски, а также по-польски свою «Греческую» *. Но я уже от переводов отказывался и скоро уехал в Одессу. Мне было тогда 19 лет от роду.

---

* «На греческую комнату в доме княгини Зинаиды Волконской».

А. А. ОЛЕНИНА

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1828 год

20 июня. Приютино.

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты,
В тоске душевной пустоты
Чего еще душою хочешь?
Как покаянье, плачешь ты
И, как безумие, хохочешь.

Вот настоящее положение сердца моего в конце прошедшей бурной зимы. Но, слава богу, дружба и рассудок взяли верх над расстроенным воображением моим; холодность и спокойствие заменили место пылких страстей и веселых надежд. Все прошло с зимой холодной, а с летом настал сердечный холод! И к счастью, а то бы проститься надобно с рассудком! Вообразите каникульный жар в уме, сердце и... в воздухе: это и мудреца могло бы свести с ума.

Да, смейтесь теперь, Анна Алексеевна, а кто вчера обрадовался и вместе испугался, увидя на Конюшенной улице коляску, в которой сидел мужчина с полковничьими эполетами и походивший на...

Но зачем называть его! Зачем вспоминать то счастливое время, когда я жила в идеальном мире, когда думала, что можно быть счастливой и быть спутницей его жизни, потому что то и другое смешивалось в моем воображении. Счастье и он... Но я хотела все забыть!.. Ах, зачем попалась мне коляска? Она напомнила мне время... невозвратное! [1]

Вчера была я в городе, видела моего ангела Машу Эльмпт и обедала у верного друга, Варвары Дмитриевны Полторацкой.

Как я ее люблю! Она так добра и мила! Там был Пушкин и Миша Полторацкий. Первый довольно скромный. Я даже с ним говорила и перестала бояться, чтобы не соврал чего в сентиментальном роде. ⟨...⟩

7 июля.

Тетушка (В. Д. Полторацкая, рожд. Киселева) уехала более недели, я с нею простилась и могу сказать, что мне было очень грустно. Она обещала быть на моей свадьбе и с таким выразительным взглядом это сказала, что я очень, очень желаю знать, о чем она тогда думала. Ежели брат ее за меня посватается, возвратясь из Турции, что сделаю я? Думаю, что выйду за него. Буду ли счастлива? Бог весть! Но сомневаюсь. Перейдя пределы отцовского дома, я оставляю бо́льшую часть счастья за собою. Муж, будь он ангел, не заменит мне все то, что я оставляю. Буду ли я любить своего мужа? Да, потому что перед престолом божьим я поклянусь любить его и повиноваться ему. По страсти ли я выйду? Нет! потому что 29 марта я сердце свое схоронила... и навеки. Никогда уже не будет во мне девственной любови, и ежели выйду замуж, то будет любовь супружественная. И так как супружество есть вещь прозаическая, без всякого идеализма, то рассудок и *повиновение* мужу заменят ту пылкость воображения и то презрение, которым я отвечаю теперь мужчинам на их высокомерие и *мнимое* их преимущество над нами. Бедные твари, как вы ослеплены! Вы воображаете, что управляете нами, а мы... не говоря ни слова, водим вас по своей власти — она существует и окружает вас. Презирая нас, вы презираете самих себя, потому что презираете тех, которым повинуетесь. И как сравнить скромное наше управление вами с вашим надменным уверением, что вы повелеваете нами. Ум женщины слаб, говорите вы? Пусть так, но рассудок ее сильнее. Да ежели на то и пошло, то, оставив в стороне повиновение, отчего не признаться, что ум женщины так же обширен, как и ваш, но что слабость телесного сложения не дозволяет ей выказывать его. Да что ж за слава — быть сильным? «Ведь медведь людей ломает, зато пчела мед дает». ⟨...⟩

17 июля.

Я лениво пишу в журнале, а, право, так много имею вещей сказать, что и стыдно пренебрегать ими: оне касаются, может быть, счастья жизни моей. Несчастный случай

заставил нас поехать в город, а именно смерть Александра Ивановича Ермолаева. Он умер, прохворавши несколько времени. Отец в нем много потерял. Но что же делать! Воля божья видна во всем. Надобно ей покоряться без ропота, ежели можно.

Когда мы возвратились из города, я после обеда разговорилась с Иваном Андреевичем Крыловым о наших делах. Он вообразил себе, что двор вскружил мне голову и что я пренебрегала бы хорошими партиями, думая выйти за какого-нибудь генерала.

В доказательство, что я не простираю так далеко своих видов, я назвала ему двух людей, за которых бы вышла, хотя и не влюблена в них: Мейендорфа и Киселева. При имени последнего он изумился.

«Да,— повторила я,— я думаю, что они — не такие большие партии, и уверена, что Вы не пожелаете, чтобы я вышла за Краевского или за Пушкина» [2].

«Боже избави,— сказал он,— но я желал бы, чтобы Вы вышли за Киселева, и, ежели хотите знать, он сам того желает. Но он и сестра говорят, что нечего ему соваться, когда Пушкин того же желает».

Я всегда думала, что Варвара Дмитриевна (Полторацкая) того же хотела, но не думала, чтобы она скрыла от меня эту тайну. Жаль, очень жаль, что не знала я этого, а то бы поведение мое было иное. Но хотя я и думала иногда, что Киселев любит меня, но не была довольно горда, чтобы то полагать наверное. Но, может быть, все к лучшему! Бог решит судьбу мою. Я сама вижу, что мне пора замуж: я много стою родителям. Пора, пора мне со двора. Хотя это будет ужасно! Оставив дом, где была счастлива, я войду в ужасное достоинство жены! Кто может узнать судьбу свою; кто скажет, выходя замуж, даже по страсти: «Я уверена, что буду счастлива!» Обязанность жены так велика: она требует столько abnégation de soi-même *, столько нежности, столько снисходительности и столько слез и горя! Как часто придется мне вздыхать из-за того, кто перед престолом всевышнего получил мою клятву повиновения и любви; как часто, увлекаемый пылкими страстями молодости, будет он забывать свои обязанности, как часто будет любить других, а не меня! Но я? преступлю ли законы долга, будучи пренебрегаема мужем? Нет, никогда! Жизнь не вечна, и хоть она будет несносна, я знаю, что после нее

---

* Самоотречения.

есть другой мир — мир блаженства. Для этого мира и ради долга перенесу все несчастья жизни до самой смерти, которая спасет меня от горя.

* * *

Я хотела было, ежели бы вышла замуж, сжечь мой журнал. Но теперь думаю, что не сделаю того. Пусть все мысли мои в нем сохранятся, пусть мои дети, особливо мои дочери, узнают, что страсти не ведут к счастью, а что путь истинного благополучия есть путь благоразумия. Но пусть и они пройдут через пучину страстей, они узнают суетность мира, научатся полагаться на одного бога, одного его любить. Возможно, он один заменит им всю любовь земную. Он один дарит надежду и счастье, не от мира сего, а от блаженства небесного.

18 июля.

О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной.

Батюшков

⟨...⟩ Батюшков прав, говоря, что память сердца сильнее памяти рассудка. Я с трудом могу сказать, что со мной было вчера, а между тем я могу пересказать слово в слово разговоры, происходившие несколько месяцев назад. Пушкин и Киселев — два героя моего настоящего романа. Сергей Голицын (Фирс), Глинка, Грибоедов и в особенности Вяземский — персонажи более или менее интересные [3]. В отношении женщин, их всего три — героиня — это я, второстепенные лица — это тетушка Варвара Дмитриевна Полторацкая и госпожа Василевская.

Я говорю от третьего лица, пропускаю первые годы, перехожу прямо к делу.

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ИЛИ НАДО ПРОЩАТЬ ЛЮБВИ

Анета Оленина имела подругу, искреннего друга, которая одна знала о ее страсти к Алексею и старалась отклонить ее от этого. Маша часто говорила: «Анета, не доверяйся ему: он лжив, он фат, он зол». Подруга обещала ей забыть его, но продолжала любить. На балу, на спектакли, на горах, повсюду она его видела, и мало-помалу потреб-

ность чаще видеть его стала навязчивой. Но она умела любить, не показывая того, и ее веселый характер обманывал людей.

Однажды на балу у графини Тизенгаузен-Хитровой [4] Анета увидела самого интересного человека своего времени и выдающегося на поприще литературы: это был знаменитый поэт Пушкин.

Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его. Арапской профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти, как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава природного и принужденного и неограниченное самолюбие — вот все *достоинства* телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX столетия.

Говорили еще, что он дурной сын, но в семейных делах невозможно все знать; что он распутный человек, но, впрочем, вся молодежь почти такова.

Итак, все, что Анета могла сказать после короткого знакомства, есть то, что он умен, иногда любезен, очень ревнив, несносно самолюбив и неделикатен.

Среди особенностей поэта была та, что он питал страсть к маленьким ножкам, о которых он в одной из своих поэм признавался, что предпочитает их даже красоте. Анета соединяла с посредственной внешностью две вещи: у нее были глаза, которые порой бывали хороши, порой глупы. Но ее нога была действительно очень мала, и почти никто из ее подруг не мог надеть ее туфель.

Пушкин заметил это преимущество, и его жадные глаза следили по блестящему паркету за ножками молодой Олениной.

Он только что вернулся из шестилетней ссылки. Все — мужчины и женщины — старались оказывать ему внимание, которое всегда питают к гению. Одни делали это ради моды, другие — чтобы иметь прелестные стихи и приобрести благодаря этому репутацию, иные, наконец, вследствие истинного почтения к гению, но большинство — потому, что он был в милости у государя Николая Павловича, который был его цензором [5].

Анета знала его, когда была еще ребенком. С тех пор она с восторгом восхищалась его увлекательной поэзией.

Она тоже захотела отличить знаменитого поэта: она подошла и выбрала его на один из танцев; боязнь, что она будет осмеяна им, заставила ее опустить глаза и покраснеть, подходя к нему. Небрежность, с которой он спросил у нее, где ее место, задела ее. Предположение, что Пушкин мог принять ее за дуру, оскорбило ее, но она ответила просто и за весь остальной вечер уже не решалась выбрать его.

Но тогда он, в свою очередь, подошел выбрать ее исполнить фигуру, и она увидела его, приближающегося к ней.

Она подала ему руку, отвернув голову и улыбаясь, потому что это была честь, которой все завидовали.

. . . .

Я хотела писать роман, но это мне надоедает, лучше уж я это брошу и просто буду писать дневник.

* * *

Я подправила портрет Пушкина и довольна, что так хорошо набросала его. Его можно узнать из тысячи! Но будем продолжать мой дорогой дневник. ⟨...⟩

11 августа.

И вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.

«Евгений Онегин»

Настал желанный день. Мне минуло, увы, 20 лет. О боже, как я стара, но что же делать? ⟨...⟩

Я сошла вниз. Все поздравляли меня. Я благодарила, смеялась, шутила и была очень, очень весела. ⟨...⟩

Стали приезжать гости.

Приехал премилый Сергей Голицын (Фирс), Крылов, Гнедич, Зубовы, милый Глинка, который после обеда играл чудесно и в среду придет дать мне первый урок пения. Приехал, по обыкновению, Пушкин, или Red-Rower [6], как прозвала я его. Он влюблен в Закревскую [7]. Все об ней

толкует, чтобы заставить меня ревновать, но притом тихим голосом прибавляет мне разные нежности. Но любезным героем сего дня был милый казак Алексей Петрович Чечурин. Он победил всех женщин, восхитил всех мужчин и посмеялся над многими из них.

Мы сели за стол. Меня за обедом все поздравляли; я краснела, благодарила и была в замешательстве. После обеда стали играть в барры. Хорунжий в первый раз играл в эту игру. Наши неприятели, в партии коих он находился, отрядили его, чтобы он освободил пленных, сделанных нами. Он ловко зашел за клумбу и, не примеченный никем, подошел к плененному Наумову (он влюблен в Зубову) и освободил его. Увидя это, я то же решилась сделать. Прошла через весь дом, подошла на цыпочках и тронула Урусова. Все закричали: «Victoire, victoire!» *

После этого мы переменили игру и стали петь хором и soli. Хорунжий часто поглядывал на меня, и когда я незаметно подошла к нему и спросила: «Ну что? каково?» — он ответил: «Чудесно».

Под вечер все дамы разъехались и остались одни мужчины. Мы сели ужинать за особливый стол, и тут пошла возня! Всякий пел свою песню или представлял какое-нибудь животное. ⟨...⟩

19 сентября.

«Что, Анета, что с тобою?» Все один ответ:
«Я грущу, но слез уж нет».

Но о чем? о неизвестности. Будущее меня невольно мучает. Быть замужем и быть несчастной! Но все же скажу из глубины души — да будет воля твоя! Мы едем зимой в Москву к сестре Вареньке. Я и радуюсь и грущу, потому что это привычное чувство души моей. Я, как Рылеев, говорю:

Чего-то для души ищу
И погружаюсь в думы.

Но грустный оставим разговор.

5 сентября были маменькины именины. Неделю перед тем мы ездили в Марьино. Там провели мы три дня довольно весело. Ездили верхом и философствовали с Ольгой.

---

* Победа, победа!

Воротившись домой, я задумала сыграть «proverbe» *. Милая Полина Голицына согласилась, и я выбрала «proverbe», разослала роли, но имела горе получить отказ Сергея Голицына. Что делать?

В пятницу, 4-го, приехал Слепцов с женою и с Краевским. Он взялся играть роль Голицына. Мы украсили наш театр цветами, зеркалами и статуями. Вдруг письмо от Полины: отказ, и баста нашему «proverbe». Но гений мой внушил мне другое. Мы сказали маменьке и папеньке о неудаче сюрприза, вынесли все цветы, но оставили шнурки для зеркал и других украшений. Все сделали неприметным. После ужина предложили Слепцову сыграть шараду в лицах с разговорами. План одобрен, шарада выбрана, «La Mélomanie».

На другой день поутру назначена репетиция. Я встаю рано. Надо бы ехать к обедне, но без меня не может быть репетиции. Я представляюсь, что у меня болят зубы. Чудесно обманываю маменьку и папеньку, остаюсь дома, иду делать репетицию.

Вот кто участвовал в шараде: Слепцов, Краевский, милый Репнин, m-me Василевская, несравненный казак и я.

Все устроено, занавесь сшита, парики готовы, а к возвращению маменьки все уже внизу, как ни в чем не бывало.

Приехали гости: из дам — Бакунины и Хитровы, Васильчиковы, много мужчин за обедом. Приезжают Голицын, потом и Пушкин.

Как скоро кончился обед, маменьку уводят в гостиную и садятся все играть в карты, а я и актеры идем все приготавливать.

Через два часа все готово. Занавесь поставлена, и шарада начинается прологом. Слепцов говорит сочиненные им стихи. Занавесь опускается. Мы быстро накидываем сарафаны, и пока все на сцене приготавливается, Голицын, Елена Ефимовна и я поем за занавесом трио Гайдна.

Затем мы разыгрываем шараду (Mélo-manie) в четырех действиях (Mais-lôt-manie).

. . . .

После окончания шарады Голицын подходит к спектатерам и поет куплеты своего собственного сочинения.

Вечером мы играли в разные игры. Дамы все уехали.

---

* Пьеса (основанная на поговорке).

Молодежь делала разные tours de passe-passe *. Все очень поздно разъехались.

Прощаясь, Пушкин мне сказал, что он должен уехать в свое имение, если, впрочем, у него хватит духу,— прибавил он с чувством.

Пока все приготовлялось в зале, я напомнила Сергею Голицыну его обещание рассказать мне об известных событиях. После некоторого жеманства он сказал мне, что это касается поэта. Он умолял меня не менять поведения по отношению к нему. Сергей порицал маменьку за ее суровость к Пушкину, говоря, что это не способ успокоить его. Когда я сказала ему о дерзости, с которой Штерич говорил мне у графини Кутайсовой о любви Пушкина ко мне, Сергей мне отвечал, что он уже заметил Штеричу, что это не его дело и что я ему очень хорошо ответила. Я была в ярости от речей, которые Пушкин держал на мой счет. Он сказал мне тогда: «Вам передавали, не правда ли, что Пушкин сказал: «Мне бы только с родными сладить, а с девчонкой я уж слажу сам?» Это было при мне сказано и не совсем так. Я ведь знаю, кто и зачем Вам это передал, Вам это сказала Варвара Дмитриевна!» [8]

Тогда я подумала, что он знал так же хорошо, как я, причину этого, и замолчала. Мы поговорили потом о Киселеве и о его ухаживании за мадам Василевской. Сергей сказал, что он всегда порицал его за это. Это был очень интересный разговор.

21 сентября.

Вчера к обеду приехал к нам милый, благородный Алексей Петрович Чечурин. Он приехал прощаться, и это слово одно заставило меня покраснеть. ⟨...⟩

Последний раз, как он здесь был, он выпросил у меня стихи Пушкина на мои глаза. Я ему их списала и имела неблагоразумие подписать свою фамилию. То же сделала на стихах Вяземского, Козлова и других стихах Пушкина [9]. Я написала ему на бумажке просьбу, чтоб он вычеркнул мое имя, и, когда спросила, сделает ли он это, он ответил:

— Неужели вы думаете, что я не исполню малейшего вашего желания?

Я извинилась тем, что боюсь, чтобы стихи не попали в чужие руки.

---

* Фокусы.

— Ах, боже мой, это очень понятно — все будет исполнено.

Тут он попросил меня сберечь ему его саблю. Я это ему обещала. Недавно подарила я ему своей работы кошелек, и он сказал, что будет носить его вечно.

Наконец стало поздно. Маменька снова попросила его, чтобы он оставил ей сочинения и письма Рылеева. Он долго на это не соглашался, но наконец отдал их мне.

Я воспользовалась этой счастливой минутой, когда растроган он был, и просила его оставить батюшке, под запечатанным пакетом, все дела, касающиеся до Рылеева. Все мы — брат Алексей, приехавший в тот день из деревни, маменька и я, стали упрашивать его.

Он представлял нам свои резоны, мы — свои. Наконец он уверил нас, что он прав, и дал мне слово, что положит все в пакет, запечатает двумя печатями и, приехавши в армию, отдаст его сам генералу Б.

— Чтобы доказать вам, как я благодарен за ваше ко мне попечение, я признаюсь, что у меня есть еще их стихи. Я сожгу их.

— Зачем,— сказала я,— положите их в пакет и отдайте отцу. Он сохранит их и возвратит вам их, когда вы воротитесь с войны.

Но он не хотел на то согласиться, но обещал не держать их при себе. ⟨...⟩

24 сентября. Понедельник.

⟨...⟩ Вчера же получила я пакет от Алексея Петровича Чечурина. В нем был один браслет, другого он не успел кончить. Письмецо было в сих словах:

«Я дожидал проволоки до 4-х часов. Видно, мне должно кончить браслеты после войны. Слуга Ваш «Груши моченые». 22 сентября». («Груши моченые» — это имя, которое Елена Ефимовна Василевская дала Львову, и справедливо.) В том же пакете были некоторые бумаги, писанные ему на память, а также кусок руды серебряной, на которой было написано «Юноше несравненному». Кусок сей завернут был в бумажке, исписанной иероглифами. Но я разобрала их, потому что у меня был ключ к ним.

Вот они: «Вам, несравненная Анна Алексеевна, поручаю вещь, для меня драгоценнейшую. Прощайте».

Я взяла его бумаги, положила в пакет и надписала: «Отдать по возвращении». Кусок руды положила в выточенный ящик, написала внутри: «Отдать Алексею Петро-

вичу Чечурину», завязала тесьмой и положила свою печать. Теперь я спокойна. Я сделала то, что должно, сохраню его тайну, она не касается меня. ⟨...⟩

25 сентября.

Сегодня пушки ужасно палили. Не взяли ли Варну? Дай боже! Теперь бы поскорее взять Шумлу да Силистрию, да и за мир приняться. Николай Дмитриевич Киселев теперь пойдет в люди. Его брат (Пав. Дмит.) в большом фаворе. Да и он сам умен. Жаль только, что у него нет честных правил насчет женщин.

Что-то будет со мною эту зиму? Не знаю, я дорого бы дала, чтобы знать, чем кончится моя девственная карьера. Увидим!

30 сентября.

Боже мой, какая радость! Вчера приехали папенька и братья (Петр и Алексей), и вот их хорошие и худые новости: 1) что с них сняли цепи, 2) что Муравьев, Александр Николаевич, сделан начальником в Иркутске. Все чувства радости проснулись в душе моей: они свободны, хоть телом свободны, думала я. Эта мысль услаждала горе знать их так далеко и в заточении. Но, увы, жалея о них, горюя об их ужасной участи, я не могу не признать, что рука всевышнего карает их за многие дурные намерения.

Освободить родину — прекрасно, но проливать реками родную кровь есть первейшее из преступлений. Быть честным человеком, служить бескорыстно, облегчать несчастных, жертвовать всем для пользы общей, соделать счастливыми тех, кто находится под властью твоей, и понемногу приучать народ необразованный к мысли о свободе,— но к свободе благоразумной, а не безграничной,— вот долг гражданина, истинного сына отечества, достойного носить славное имя русского.

Но тот, кто, увлекаясь пылкостью воображения, желает дать свободу людям, не понимающим силы слова сего, а воображающим, что она состоит в неограниченном удовлетворении страстей и корыстолюбия, тот, наконец, кто, ослепленный мнимым желанием добра, решается, для собственного величия, предать родину междоусобию, грабежу, неистовству и всем ужасам бунта и, под мнением блага будущих поколений, хочет возвыситься на развалинах своей родины, тот не должен носить священного имени

русского; одно только сострадание к его заблуждениям — вот все, на что он может надеяться...

Видеть народ свободным — есть желание сильнейшее души моей. И вот в чем заключалась бы эта свобода: сначала запрети, однажды навсегда, явную и тайную продажу людей и затем позволь мужикам откупаться на волю за условленную цену. Тогда тот, кто, понимая силу слова «свобода», будет иметь деньги, чтобы уплатить выкуп, сам откупиться, получить свободу и кусок земли.

Но как же поступить с теми, которые, кроме собственной души и своего семейства и домашних вещей, ничего не имеют для выкупа? Ведь земли должны остаться за владельцами.

Еще дай честное и бескорыстное управление внутренней частью государства, ограничь лихоимство, позволь последнему нищему жаловаться на богатого вельможу, суд чини публично и справедливо, по установленным однажды навсегда законам. Наконец, установи, чтобы один Указ не противоречил другому, чтобы, подписанный однажды, он навсегда сохранял свою силу и точность.

Вот в чем состояло бы счастье России. Вот чего всякая честная душа желать должна была бы, а не той неограниченной и пустой детской конституции, которую хотели дать нам 14-го числа и имени которой, уж не говоря о самом ее Уложении, едва ли третья часть людей понимает.

1 октября.

Вчера, приехавши в город, я исполнила желание сердца моего и отслужила, не ведомый никому, благодарный молебен за вчерашние вести. ⟨...⟩

1829 год

20 марта.

Оставив Петербург, я уверена была, что Киселев меня любит, и все еще уверена, что он, как Онегин:

Я верно б, кроме вас одной,
Невесты не искал иной.

Но, к счастью, не тот резон он мне дал, а тот, «что его имение в расстроенном положении и не позволяет ему помышлять о супружестве». Но все равно! Я ведь в него не влюблена и, по счастью, ни в кого. Просто люблю его общество и перестаю прочить его себе в женихи. Итак, баста!

Приезд мой в Москву и пребывание там было только приятно потому, что я видела дорогую сестру счастливою, как нельзя более: Grégoire — ангел! таких людей, как он, я думаю, найти невозможно. Я почти все время проводила неразлучно с сестрою и только вечером возвращалась домой. Иногда выезжала по балам, но, по правде, веселья мало находила. Познакомилась с Баратынским и восхитила его своей любезностью. Ого, ого, ого! ⟨...⟩

17 мая.

Я обречена, мне кажется, на одиночество — проводить жизнь, не занимая собою никого, без цели, без желаний, без надежд... Все планы, которые я делала, все, до сих пор, рушились. Надежда, как легкий пар, исчезла. От любви остались одни воспоминания, от дружбы — одни regrets *. День проходит за днем, не оставляя следов. Былое все в голове, будущее покрыто тьмой.

Я перестала желать, я перестала делать планы. Беды неминуемы, пусть сердце приучается все забывать, пусть оно, как камень холодный, не чувствует радостей земных! Кто подумал бы, прочитав эти строки, что та, которая их пишет, почти всегда весела в гостиной, что у нее улыбка на лице, когда горе в сердце, и что слезы ее душат, когда говорит вздор и весела, как соловей. ⟨...⟩

10 августа в Петербург приехал персидский принц Хозрев-Мирза, сын Аббаса-Мирзы. Я была во дворце на торжественном его приеме. Он молод и довольно хорош собою.

17-го у гр. Потоцкого был в честь принца большой бал, на котором у меня было чудесное платье: белое дымковое с рисованными цветами, а на голове натуральная зелень и искусственные цветы. Я была одета очень к лицу. На балу я познакомилась с графиней Фикельмон, урожденной гр-ней Тизенгаузен. Как она прелестна, мила, любезна! ⟨...⟩

2 февраля 1830 года, накануне моих именин.

Дни проходили за днями — мне все было все равно. Сердце, имевшее большие горести, привыкает к маленьким испытаниям.

---

* Сожаления.

Пустота, скука заменила все другие чувства души. Любить? Я почти уверена, что более на это не способна — но это все равно! ⟨...⟩

2 февраля 1835 г., Петербург.

Прошло целых четыре года, и мой журнал не подвинулся вперед. Дружба моя с милыми Блудовыми занимает все минуты, остающиеся от шумной, пустой светской жизни.

Наша переписка — настоящий журнал.

Но не худо вкратце описать теперешнюю мою жизнь. Два слова ее ясно представят: я беззаботна и спокойна.

Познакомившись с Antoinette и Lydie, мы вскоре сделались неразлучными. Да иначе и не могло быть. Кто коротко их узнает, тот, верно, их полюбит. Мы поняли друг друга, мы сжились душою. Наш мир — не светский мир, он — мир души, он — мир воображения.

Усталая от холодности светской, от пустого занятия всегда в нем думать о себе, pour ne pas se compromettre *, презирая расчеты молодых девушек, не понимающих самоотвержения, я схватила с жадностью протянутую руку, привязалась к ним, они оживили меня, как Пигмалион — свою статую; я снова начала жить, чувствовать, любить!

О, как сладостно чувство истинной дружбы и как они его умели постигнуть! Примите же, друзья мои, мою благодарность; оживленная вами, я снова стала жить, пылко чувствовать и понимать все великое. Вы извлекли из сердца моего терн, который там оставили обманы света.

---

* Чтобы не скомпрометировать себя.

Е. Е. СИНИЦИНА

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ В. КОЛОСОВЫМ

В январе 1826 или 1827 года приехала я в Старицу вместе с семейством Павла Ивановича Вульфа. Тут на семейном бале у тогдашнего старицкого исправника, Василья Ивановича Вельяшева, женатого на сестре Павла Ивановича, Наталье Ивановне, я и встретила в первый раз А. С. Пушкина [1]. Я до этого времени не знала Пушкина и ничего про него не слыхала и не понимала его значения, но он прямо бросился мне в глаза. Показался он мне иностранцем, танцует, ходит как-то по-особому, как-то особенно легко, как будто летает; весь какой-то воздушный, с большими ногтями на руках. «Это не русский?» — спросила я у матери Вельяшева, Катерины Петровны. «Ах, матушка! Это Пушкин, сочинитель, прекрасные стихи пишет»,— отвечала она. Здесь мне не пришлось познакомиться с Александром Сергеевичем. Заметила я только, что Пушкин с другим молодым человеком постоянно вертелись около Катерины Васильевны Вельяшевой. Она была очень миленькая девушка; особенно чудные у ней были глаза. Как говорили после, они старались не оставлять ее наедине с Алексеем Николаевичем Вульфом, который любил влюблять в себя молоденьких барышень и мучить их. Чрез два дня поехали мы в Павловское. Приехали сюда так к обеду; следом за нами к вечеру приехал и Александр Сергеевич вместе с Алексеем Николаевичем Вульфом и пробыли в Павловске две недели. Тут мы с Александром Сергеевичем сошлись поближе. На другой день сели за обед. Подали картофельный клюквенный кисель. Я и вскрикнула на весь стол: «Ах, боже мой! Клюквенный кисель!»

— Павел Иванович! позвольте мне ее поцеловать,— проговорил Пушкин, вскочив со стула.

— Ну, брат, это уже ее дело,— отвечал тот.

— Позвольте поцеловать вас,— обратился он ко мне.

— Я не намерена целовать вас,— отвечала я, как вполне благовоспитанная барышня.

— Ну, позвольте хоть в голову.— И, взяв голову руками, пригнул и поцеловал.

Прасковья Александровна Осипова, вместе с своей семьей бывшая в одно время с Пушкиным в Малинниках или Бернове, высказала неудовольствие на то, что тут, наравне с ее дочерьми, вращается в обществе какая-то поповна. «Павел Иванович,— говорила она,— всем открывает в своем доме дорогу, вот какую-то поповну поставил на одной ноге с нашими дочерьми». Все это говорилось по-французски, я ничего и не знала, и только после уже Фредерика Ивановна рассказала мне все это. «Прасковья Александровна осталась очень недовольна,— говорила она, между прочим,— но спасибо Александру Сергеевичу, он поддержал нас». Когда вслед за этим пошли мы к обеду, Александр Сергеевич предложил одну руку мне, а другую дочери Прасковьи Александровны, Евпраксии Николаевне, бывшей в одних летах со мной; так и отвел нас к столу. За столом он сел между нами и угощал с одинаковою ласковостью как меня, так и ее. Когда вечером начались танцы, то он стал танцевать с нами по очереди,— протанцует с ней, потом со мной и т. д. Осипова рассердилась и уехала. Евпраксия Николаевна почему-то в этот день ходила с заплаканными глазами. Может быть, и потому, что Александр Сергеевич после обеда вынес портрет какой-то женщины и восхвалял ее за красоту, все рассматривали его и хвалили. Может быть, и это тронуло ее,— она на него все глаза проглядела. Вообще Александр Сергеевич был со всеми всегда ласков, приветлив и в высшей степени прост в обращении. Часто вертелись мы с ним и не в урочное время.

— Ну, Катерина Евграфовна, нельзя ли нам с вами для аппетиту протанцевать вальс-казак.

— Ну, вальс-казак-то мы с вами, Катерина Евграфовна, уж протанцуем,— говаривал он до обеда или во время обеда или ужина.

Вставал он по утрам часов в 9—10 и прямо в спальне пил кофе, потом выходил в общие комнаты, иногда с книгой в руках, хотя ни разу не читал стихов. После он обыкновенно или отправлялся к соседним помещикам, или, если оставался дома, играл с Павлом Ивановичем в шахматы. Павла Ивановича он за это время сам и выучил играть в шахматы, раньше он не умел, но только очень скоро тот стал его обыгрывать. Александр Сергеевич сильно горя-

чился при этом. Однажды он даже вскочил на стул и закричал: «Ну разве можно так обыгрывать учителя?» А Павел Иванович начнет играть снова, да опять с первых же ходов и обыгрывает его. «Никогда не буду играть с вами... это ни на что не похоже...» — загорячится обыкновенно при этом Пушкин.

Много играл Пушкин также и в вист. По вечерам часто угощали Александра Сергеевича клюквой, которую он особенно любил. Клюкву с сахаром обыкновенно ставили ему на блюдечке.

Пушкин был очень красив; рот у него был очень прелестный, с тонко и красиво очерченными губами и чудные голубые глаза. Волосы у него были блестящие, густые и кудрявые, как у мерлушки, немного только подлиннее. Ходил он в черном сюртуке. На туалет обращал он большое внимание. В комнате, которая служила ему кабинетом, у него было множество туалетных принадлежностей, ногтечисток, разных щеточек и т. п.

Павел Иванович был в это время много старше его, но отношения их были добродушные и искренние.

— На Павла Ивановича упади стена, он не подвинется, право, не подвинется,— неоднократно, шутя, говорил Пушкин. Павел Иванович, действительно, был очень добрый, но флегматичный человек, и Александр Сергеевич обыкновенно старался расшевелить его и бывал в большом восторге, когда это удавалось ему.

Был со мной в это время и такой случай. Один из родственников Павла Ивановича пробрался ночью ко мне в спальню *, где я спала с одной старушкой прислугой.

Только просыпаюсь я, у моей кровати стоит этот молодой человек на коленях и голову прижал к моей голове...

— Ай! Что вы? — закричала я в ужасе.

— Молчите, молчите, я сейчас уйду,— проговорил он и ушел.

Пушкин, узнав это, остался особенно доволен этим и после еще с большим сочувствием относился ко мне.

— Молодец вы, Катерина Евграфовна, он думал, что ему везде двери отворены, что нечего и предупреждать, а вышло не то... — несколько раз повторял Александр Сергеевич.

Задал этому молодцу нагоняй и Павел Иванович.

---

* А. Н. Вульф.

— Ты нанес оскорбление мне, убирайся из моего дома! — говорил он ему.

Узналось это так. Загадала Фредерика Ивановна мне на картах... «Ты оскорблена, говорит, трефовым королем»,— я и заплакала и рассказала все [2].

Все относились к Александру Сергеевичу с благоговением. Все барышни были от него без ума. Павел Иванович считал его посещение за большое удовольствие и честь для себя. Уехал Александр Сергеевич из Павловска в Москву, кажется, и приехал сюда оттуда же, и даже в это время едва ли не в Москву же уезжал он на несколько дней.

Кроме этого, Катерина Евграфовна сообщила еще некоторые сведения о Марье Васильевне Борисовой, о которой Пушкин дает такой восторженный отзыв [3].

Марья Васильевна Борисова была сирота, дочь помещика, близкая моя подруга, несколько постарше только. Была она очень красивая, имела выразительные глаза и черные волосы. Воспитана она была просто. Мать ее сильно выпивала.

Через несколько лет встретила я в Торжке у Львова А. П. Керн, уже пожилою женщиною. Тогда мне и сказали, что это героиня Пушкина — Татьяна.

...и всех выше
И нос, и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.

Эти стихи, говорили мне при этом, написаны про ее мужа, Керн, который был пожилой, когда женился на ней. Анна Николаевна Вульф, по моему мнению, не подходит к Татьяне, она была уже зрелая, здоровая такая, когда я ее видела [4].

Н. И. ВУЛЬФ

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ В. КОЛОСОВЫМ

Николай Иванович неоднократно видал А. С. Пушкина в селе Бернове, где он не один раз гостил по одному, по два дня, но ему было в то время только 12 лет, и поэтому только немногое сохранилось в его памяти.

По его словам, А. С. Пушкин писал свои стихотворения обыкновенно утром, лежа на постели, положив бумагу на подогнутые колени. В постели же он пил и кофе. Не один раз писал так Александр Сергеевич тут свои произведения, но никогда не любил их читать вслух, для других. Однажды мать ⟨Надежда Гавриловна, урожд. Борзова⟩ Николая Ивановича долго и сильно упрашивала Александра Сергеевича прочесть вслух что-нибудь из своих стихов. После долгих отказов Александр Сергеевич, по-видимому, согласился и пошел за книгой; придя с книгой, он уселся и начал, к ее удивлению и разочарованию, читать по стихам псалтирь. Не один раз видел Николай Иванович, как Пушкин большими шагами ходил по гостиной, обыкновенно вполголоса разговаривая с своим собеседником, чаще, впрочем, с собеседницей. Сообщил он мне и предание, по которому сюжет «Русалки» Пушкину подала судьба дочери одного мельника их имения. По этому преданию, дочь этого мельника была влюблена в одного барского камердинера; этого камердинера за какую-то вину барин отдал в солдаты, и она с отчаяния утопилась в мельничной плотине. Нас проводили на эту плотину и показали самый омут, в котором, по преданию, она утопилась. Действительно, вид запущенной, со всех сторон поросшей лесом плотины, с глубоким бездонным омутом среди ее, в связи с этим преданием о судьбе дочери мельника, мог запасть в чуткую душу поэта, но за полную достоверность этого предания все-таки поручиться довольно трудно [1]. Анна Ивановна Вульф, о которой Пушкин в одном из своих писем пишет:

Ecce Foemina — родная сестра Николая Ивановича и, по его словам, была очень умная, образованная и симпатичная девушка и при всем этом красавица [2].

Благодаря полному радушию и гостеприимству хозяев, осмотрели мы и замечательный сад, находящийся при поместье Николая Ивановича. Сад этот, раскинутый, как говорят, на 12 десятинах и заключающий в себе немалое число вековых деревьев, составляет, действительно, лучшее фамильное достояние. Здесь нам показывали небольшую горку, живописно поросшую разного рода деревьями, кем-то и когда-то прозванную Парнасом. Не раз, вероятно, побывал на этом Парнасе и светило нашей поэзии А. С. Пушкин, и не один, вероятно, поэтический замысел вызрел здесь в его мощном духе. Несколько поколений дворянских, стараясь оставить после себя какой-либо след в этом саду, вырезало что-либо на многочисленных деревьях этого сада. Мы искали среди этих наполовину уже заросших вырезок какого-либо следа великого поэта, но нашли только две, с трудом разбираемые строчки, гласящие: «Прости! Как страшно это слово!» Кем и когда были начерчены эти слова, этого нам никто объяснить не был в состоянии.

А. Н. ПОНАФИДИНА

ВОСПОМИНАНИЯ

Бабушка моя, Анна Ивановна Понафидина, по выходе замуж получила от отца своего хутор Курово, где и поселилась вместе с мужем Павлом Ивановичем Понафидиным, моим дедом. Они начали создавать себе поблизости чудное во всех отношениях имение, а в 1826 году перешли туда жить, имея уже шесть человек детей. Это имение они назвали Курово-Покровское и прожили в нем всю свою долголетнюю жизнь счастливо, мирно, окруженные общей любовью и глубоким уважением.

Дед был моряк, долго жил в Англии, хорошо познакомился с английской культурой и приобрел много знаний, которые сумел применять в своем хозяйстве. Алексей Николаевич Вульф, мой дядя, отзывается о деде очень лестно: «С здравым своим рассудком приобрел он познания, которые в соединении с его благородным, в полном смысле слова, и добрым нравом делают его прекраснейшим человеком и, по этим же причинам, счастливым супругом и отцом» [1].

На основании такого мнения о дедушке Алексей Николаевич познакомил его с Пушкиным, когда тот приехал в Тверскую губернию, в имение Малинники [2]. В пяти верстах от них, в Павловском, жил брат бабушки Павел Иванович Вульф. Однажды у него был званый обед, о котором Пушкин упоминает в своей переписке. «На днях,— пишет он,— было сборище у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать; мать принесла им изюму и черносливу и думала тихонько от них убраться, но Петр Маркович [3] их взбудоражил; он к ним прибежал: «Дети! Дети! Мать вас обманывает! Не ешьте черносливу, поезжайте с нею; там будет Пушкин; он весь сахарный, а зад у него яблочный; его разрежут, и всем вам будет по кусочку». Дети разревелись: «Не хотим черносливу, хотим

Пушкина!» Нечего делать: их повезли, и они сбежались ко мне, облизываясь, но, увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили». Эпизод на обеде в честь Пушкина, рассказанный им самим, касался моей бабушки, моего отца Николая и моих дядей Ивана и Михаила Павловичей Понафидиных [4].

Имение наше Курово-Покровское имело счастье неоднократно видеть в своих стенах гениального поэта. О посещениях Курово-Покровского Пушкиным я знаю из рассказов бабушки [5] и тетушек. ⟨...⟩

От дедушки тетушка слышала следующий рассказ. Пушкин был в Курово-Покровском. Он работал над седьмой главой «Евгения Онегина» в Цветной комнате, выходящей в сад [6]. В ней четыре окна: три на западной стороне и одно на южной. Около среднего окна стоял стол. У него-то и находился поэт. Это было около полудня. Пушкин всегда писал в предобеденное время. Мой дедушка зашел к нему. Пушкин любил с ним беседовать и сказал шутливо:

— Вот, Павел Иванович, не найду рифмы к этой фразе.

К сожалению, тетушка не помнила этой фразы. Дедушка очень удачно подсказал, а Пушкин спросил:

— Сколько же червонцев я должен заплатить вам, Павел Иванович?

Думаю, Пушкин сказал так потому, что знал от дяди Алексея Николаевича Вульфа, как бескорыстен, честен и гуманен был дед.

На вопрос поэта дедушка ответил:

— Уж, право, не знаю, Александр Сергеевич, надо нам это хорошенько обдумать.

И оба они рассмеялись [7].

От моей бабушки тетушка слышала, что в основу своей драмы «Русалка» Пушкин положил происшествие, о котором он узнал в бытность свою в Бернове, но от кого и когда — не знаю.

В конце XVIII столетия или начале XIX приехал погостить в Берново к моему прадеду Ивану Петровичу Вульфу его знакомый, большой сановник, московский главнокомандующий Тутолмин. Привез он с собой своего лакея, столичного красивого франта. У местного мельника была красавица дочь, известная своей красотой во всей волости. С этим лакеем у нее завязался роман. Он ухаживал за ней, соблазнил ее и уехал, оставив беременной. Девушка не вынесла этого позора, горя и стыда и утопилась в берновском омуте [8].

Пребывание Пушкина в Берновской волости было, по словам бабушки, великим событием. Все съезжались, чтобы увидать его, побыть с ним, рассмотреть его как необыкновенного человека. Но талантом его, как казалось бабушке, такой поклоннице поэта, все эти пожилые люди мало восхищались, мало понимали и недостаточно ценили всю силу его гениального творчества.

Совсем другое впечатление оставило у моих, тогда еще совсем юных, тетушек пребывание Пушкина и знакомство с ним. Все они были влюблены в его произведения, а может быть, и в него самого. Стихотворения и поэмы переписывали они в свои альбомы, перечитывали их и до старости любили декламировать чуть не со слезами на глазах, со свойственной тому времени сентиментальностью.

Многие очень робкие и наивные девушки, несмотря на страстное желание и благоговение к Пушкину, боялись встречи с ним, зная, что он обладал насмешливостью и острым языком.

Тетушка моя Екатерина Ивановна Гладкова рассказывала мне о таком эпизоде. Однажды собралось много молодежи в Бернове, и у трех сосен, близ омута, в излюбленном месте для пикников и сборищ, играли в горелки. Неожиданно приехали туда Алексей Николаевич Вульф и Пушкин. Все барышни всполошились и убежали, но потом вернулись, кроме тетушки моей Софьи Михайловны Иогансон. Как ни убеждала ее Екатерина Ивановна, она не возвращалась и говорила, что Пушкин будет смеяться над ее большим носом. Когда Александр Сергеевич узнал об этом от Екатерины Ивановны, то засмеялся и сказал:

— Зачем бы я стал смотреть на некрасивый нос барышни, когда я мог бы любоваться коротенькими бегающими ножками, которые я так люблю.

Как особенность Пушкина, рассказывали, что он очень любил общество и разговоры женской прислуги — приживалок, экономок, горничных. Одна почтенная старушка Наталья Филипповна, прислуга Алексея Николаевича Вульфа, передавала мне, как Александр Сергеевич любил вставать рано и зимой, когда девушки топили печи и в доме еще была тишина, приходил к ним, шутил с ними и пугал их. В обращении с ними он был так прост, что они отвечали ему шутками, называли его «фармазоном» и, глядя на его длинные выхоленные ногти, дьяволом с когтями [9].

Эта черта Пушкина очень характерна для такого наблюдателя и толкователя человеческих душ, каким он был.

М. И. ПУЩИН

ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ ЗА КАВКАЗОМ

В 1829 году, в мае месяце, дождавшись главнокомандующего на границе в крепости Цалке, с ним я отправился в Карс, откуда сделано было нами движение к Ардагану, где, отделив от себя Муравьева на подкрепление Бурцова под Ахалцыхом, мы с главнокомандующим возвратились в Карс; Бурцов же, подкрепленный Муравьевым, не замедлил разбить турецкого пашу, желавшего отнять у нас Ахалцых, и прибыл к нам в Карс, подкрепивши Бебутова гарнизон в Ахалцыхе. По собрании всего отряда в Карсе мы присоединились к Панкратьеву, который выдвинут был на Арзерумскую дорогу. Тут, несмотря на все убеждения двигаться вперед, Паскевич откладывал движение со дня на день, боясь Гагки-паши, расположенного влево от нас, в урочище Дели-муса-фурни, чтобы при движении вперед не иметь его в тылу нашем.

Во время этого бездействия я, который занимался разведыванием о неприятеле и составлял карты движения к Арзеруму, по обязанности своей должен был делать рекогносцировки и каждую ночь их удачно делал с партией линейных казаков, чаще всего с гребенскими. Однажды, уже в июне месяце, возвращаясь из разъезда, на этот раз очень удачного, до самого лагерного расположения турок на высоте Мелидюза, которое в подробности имел возможность рассмотреть, я сошел с лошади прямо в палатку Николая Раевского, чтобы первого его порадовать скорою неминуемою встречею с неприятелем, встречею, которой все в отряде с нетерпением ожидали. Не могу описать моего удивления и радости, когда тут А. С. Пушкин бросился меня целовать, и первый вопрос его был: «Ну, скажи, Пущин: где турки и увижу ли я их; я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай, пожалуйста, мне видеть то, за чем сюда с такими препят-

ствиями приехал!» — «Могу тебя порадовать: турки не замедлят представиться тебе на смотр; полагаю даже, что они сегодня вызовут нас из нашего бездействия; если же они не атакуют нас, то я с Бурцовым завтра непременно постараюсь заставить их бросить свою позицию, с фронта неприступную, движением обходным, план которого отсюда же понесу к Паскевичу, когда он проснется.

Живые разговоры с Пушкиным, Раевским и Сакеном (начальником штаба, вошедшим в палатку, когда узнал, что я возвратился), за стаканами чая, приготовили нас встретить турок грудью. Пушкин радовался как ребенок тому ощущению, которое его ожидает. Я просил его не отделяться от меня при встрече с неприятелем, обещал ему быть там, где более опасности, между тем как не желал бы его видеть ни раненым, ни убитым. Раевский не хотел его отпускать от себя, а сам на этот раз, по своему высокому положению, хотел держать себя как можно дальше от выстрела турецкого, особенно же от их сабли или курдинской пики, Пушкину же мое предложение более улыбалось. В это время вошел Семичев (майор Нижегородского драгунского полка, сосланный на Кавказ из Ахтырского гусарского полка) и предложил Пушкину находиться при нем, когда он выедет вперед с фланкерами полка. На чем Пушкин остановился — не знаю, потому что меня позвали к главнокомандующему, который вследствие моих донесений послал подкрепить аванпосты, приказав соблюдать величайшую бдительность; всему отряду приказано было готовиться к действию.

По сказанному — как по писаному. Еще мы не кончили обеда у Раевского с Пушкиным, его братом Львом и Семичевым, как пришли сказать, что неприятель показался у аванпостов. Все мы бросились к лошадям, с утра оседланным. Не успел я выехать, как уже попал в схватку казаков с наездниками турецкими, и тут же встречаю Семичева, который спрашивает меня: не видал ли я Пушкина? Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившегося от фланкирующих драгун и скачущего, с саблею наголо, против турок, на него летящих *[1]. Приближение наше, а за

* Генерал Н. И. Ушаков так описал этот эпизод: «Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжа-су, неприятель внезапно атаковал переднюю цепь нашу, находившуюся под начальством полковника Басова. Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на

нами улан с Юзефовичем, скакавшим нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться,— и Пушкину не удалось попробовать своей сабли над турецкою башкой, и он, хотя с неудовольствием, но нас более не покидал, тем более что нападение турок со всех сторон было отражено и кавалерия наша, преследовав их до самого укрепленного их лагеря, возвратилась на прежнюю позицию до наступления ночи.

Быстрое движение Гагки-паши, с незначительною потерею нескольких казаков убитых и раненых, вывело главнокомандующего из бездействия, всех сердившего. Мы стали подвигаться вперед, но с большою осторожностью. Через несколько дней, в ночном своем разъезде, я наткнулся на все войско сераскира, выступившее из Гассан-Кале нам навстречу. По сообщении известия об этом Пушкину, в нем разыгралась африканская кровь, и он стал прыгать и бить в ладоши, говоря, что на этот раз он непременно схватится с турком; но схватиться опять ему не удалось, потому что он не мог из вежливости оставить Паскевича, который не хотел его отпускать от себя не только во время сражения, но на привалах, в лагере, и вообще всегда, на всех répos * и в свободное от занятий время за ним посылал и порядочно — по словам Пушкина — ему надоел [2]. Правду сказать, со всем желанием Пушкина убить или побить турка, ему уже на то не было возможности, потому что неприятель уже более нас не атаковал, а везде, до самой сдачи Арзерума, без оглядки бежал, и все сражения, громкие в реляциях, были только преследования неприятеля, который бросал на дороге орудия, обозы, лагери и отсталых своих людей. Всегда, когда мы сходились с Пушкиным у меня или Раевского, он бесился на турок, которые не хотят принимать столь желанного им сражения,— я же, напротив, радовался тому, что мог чаще ехать в коляске и отдыхать, потому что делал поход 1829 года еще с не залеченною раной в грудь,

---

аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственною новобранцу-воину, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился противу неприятельских всадников. Можно поверить, что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и бурке. Это был первый и последний дебют любимца муз на Кавказе» (Ушаков Н. И. История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах, ч. 2. Варшава, 1843, с. 303).

* Стоянках.

полученною в 1828 году на штурме Ахалцыха, и всякая усиленная верховая езда чрезвычайно мне вредила.

Я с нетерпением ожидал занятия Арзерума, имев обещание Паскевича, по занятии его, меня отпустить к Кавказским минеральным водам. Терпение мое не истощилось: 27 июня занят Арзерум. Но мне еще оставалось на несколько дней работы: по поручению главнокомандующего должен был составить проект укрепления города на случай нападения турок. Проект составить было легко, потому что нападения со стороны турок никак нельзя было ожидать; их армия так вся разбрелась, что никакая человеческая воля не могла ее собрать.

В первых числах июля я выехал из Арзерума с поручением главнокомандующего проводить пленных пашей до Тифлиса: поручение неприятное, которое задержало меня в дороге и в карантине более, чем я желал. В Тифлис я прибыл с пашами в конце июля. Там ко мне, для следования в Пятигорск к водам, присоединился Дорохов, с которым я вперед условился ехать вместе в моей коляске до первой драки с кем бы то ни было.

Из Тифлиса выехали мы вдвоем с Дороховым; но его денщик и мой человек, вместе и повар, остались в Тифлисе закупать провизию на дорогу через горы. В Душете они должны были догнать, а мы их ожидать. Люди наши замешкались и прибыли с провизией и вьюками Дорохова довольно поздно вечером. Дорохов, которого желчь уже давно разыгрывалась, начал тузить своего денщика; тот сложил вину промедления на повара моего Степана, который в не совершенно трезвом виде ему что-то грубо отвечал. Увидав это, я приказал денщику своему Кирилову запрягать лошадей и объявил Дорохову, что, так как условие нарушено и не желая другой раз быть свидетелем подобных сцен, я его оставляю и предпочитаю ехать один, чтоб оборонить от побоев людей своих и его не вводить в искушение. Дорохов давал мне новые клятвенные обещания вести себя прилично, только чтобы я позволил ему вместе со мною ехать, но я остался непреклонен: сел в коляску, весьма скоро запряженную четверкою лошадей, отдохнувших в течение целого дня, и пустился по ночи вперед по дороге ко Владикавказу.

Во Владикавказе пришлось мне ожидать несколько дней оказии. Накануне того дня, как я должен был выехать вместе с отрядом, при орудии, назначенном конвоировать собравшихся со мной путешественников и обозы, неожи-

данно прибегает ко мне Пушкин, объявляя, что он меня догнал, чтобы вместе ехать на воды. Понятно, как я обрадовался такому товарищу. После первых расспросов друг у друга Пушкин мне объявляет, что у него есть до меня просьба, и вперед просит не отказать в исполнении ее. Конечно, я порадовался чем-нибудь услужить ему. Дело состояло в том, чтобы я позволил Дорохову ехать вместе с нами, что Дорохов просит у меня прощения и позволяет мне прибить себя, если он кого-нибудь при мне ударит. Долго я не хотел на это согласиться, уверяя Пушкина, что Дорохов по натуре своей не может не драться. Пушкин все свое красноречие употреблял, чтобы меня уговорить согласиться на его просьбу, находя тьму грации в Дорохове и много прелести в его товариществе. В этом я был совершенно с ним согласен и наконец согласился на убедительную его просьбу принять Дорохова в наше товарищество. Пушкин побежал за Дороховым и привел его ко мне с повинною вытянутою фигурою, до того комическою, что мы с Пушкиным расхохотались, и я Дорохову на мировую протянул руку, но только позволил себе сделать с обоими новый уговор — во все время нашего следования в товариществе до вод в карты между собою не играть. Скрепя сердце оба дали мне в этом честное слово. Пушкин приказал притащить ко мне свои и Дорохова вещи, и, между прочим, ящик отличного рейнвейна, который ему Раевский дал на дорогу. Мы тут же распили несколько бутылок.

Все прекрасно обошлось во время нашего следования от Владикавказа до Екатеринограда и оттуда до Горячеводска или Пятигорска. Ехали мы втроем в коляске; иногда Пушкин садился на казачью лошадь и ускакивал от отряда, отыскивая приключений или встречи с горцами, встретив которых намеревался, ускакивая от них, навести их на наш конвой и орудие; но ни приключений, ни горцев во всю дорогу он не нашел. Тяжело было обоим во время привалов и ночлегов: один не смел бить своего денщинка, а другой не смел заикнуться о картах, пытаясь, однако, у меня несколько раз о сложении тягостного для него уговора. Один рейнвейн услаждал общую нашу скуку, и в ящике немного его осталось, когда четверка лошадей уже не шагом, а рысью повезла нас из Екатеринограда в Пятигорск.

В Пятигорске я не намерен был оставаться; для раны моей мне надлежало ехать прямо в Кисловодск. Приехавши в Пятигорск, я собирался сейчас же все осмотреть и приглашал с собою Пушкина; но он отказался, говоря, что знает

тут все, как свои пальцы, что очень устал и желает отдохнуть. Это уже было в начале августа; мне нужно было спешить к Нарзану, и потому я объявил Пушкину, что на другой же день намерен туда ехать, и если он со мной не поедет, то когда мне его ожидать? «Могу тебе только то сказать, что не замедлю здесь лишнего дня; только завтра с тобою ехать не в состоянии: хочу здесь день-другой отдохнуть».

Получивши этот ответ Пушкина, я пошел осматривать источники, гулянья и город, что заняло меня на несколько часов. Возвращаясь домой после заката солнца к вечернему чаю, нахожу Пушкина, играющего в банк с Дороховым и офицером Павловского полка Астафьевым. «La glace est rompue *,— говорит мне Пушкин,— довольно мы терпели, связанные словом, но ведь слово дано было до вод; на водах мы выходим из-под твоей опеки, и потому не хочешь ли поставить карточку? Вот господин Астафьев мечет ответный».— «Ты совершенно прав, Пушкин. Слово было дано — не играть между собою до вод; ты сдержал слово благородно, и мне остается только удивляться твоему милому и покладистому характеру». Пушкин в этот вечер выиграл несколько червонцев; Дорохов проиграл, кажется, более, чем желал проиграть; Астафьев и Пушкин кончили игру в веселом расположении духа, а Дорохов отошел угрюмый от стола.

Когда Астафьев ушел, я просил Пушкина рассказать мне, как случилось, что, не будучи никогда знаком с Астафьевым, я нашел его у себя с ним играющего. «Очень просто,— отвечал Пушкин,— мы, как ты ушел, послали за картами и начали играть с Дороховым; Астафьев, проходя мимо, зашел познакомиться; мы ему предложили поставить карточку, и оказалось, что он — добрый малый и любит в карты поиграть».— «Как бы я желал, Пушкин, чтобы ты скорее приехал в Кисловодск и дал мне обещание с Астафьевым в карты не играть».— «Нет, брат, дудки! Обещания не даю, Астафьева не боюсь и в Кисловодск приеду скорей, чем ты думаешь». Но на поверку вышло не так: более недели Пушкин и Дорохов не являлись в Кисловодск, наконец приехали вместе, оба продувшиеся до копейки. Пушкин проиграл тысячу червонцев, взятых им у Раевского на дорогу. Приехал ко мне с твердым намерением вести жизнь правильную и много заниматься; приказал моему Кирило-

---

* Лед сломан.

ву приводить ему по утрам одну из лошадей моих и ездил кататься верхом (лошади мои паслись в нескольких верстах от Кисловодска). Мне странна показалась эта новая прихоть; но скоро узнал я, что в Солдатской слободке около Кисловодска поселился Астафьев, и Пушкин всякое утро к нему заезжал. Ожидая, что из этого выйдет, я скрывал от Пушкина мои разыскания о нем. Однажды, возвратившись с прогулки, он высыпал при мне несколько червонцев на стол. «Откуда, Пушкин, такое богатство?» — «Должен тебе признаться, что я всякое утро заезжаю к Астафьеву и довольствуюсь каждый раз выигрышем у него нескольких червонцев. Я его мелким огнем бью, и вот сколько уж вытащил у него моих денег». Всего было им наиграно червонцев двадцать. Долго бы пришлось Пушкину отыгрывать свою тысячу червонцев, если б Астафьев не рассудил скоро оставить Кисловодск.

Несмотря на намерение свое много заниматься, Пушкин, живя со мною, мало чем занимался. Вообще мы вели жизнь разгульную, часто обедали у Шереметева, Петра Васильевича, жившего с нами в доме Реброва. Шереметев кормил нас отлично и к обеду своему собирал всегда довольно большое общество. Разумеется, после обеда

...в ненастные дни
Занимались они
Делом:
И приписывали,
И отписывали
Мелом.

Тут явилась замечательная личность, которая очень была привлекательна для Пушкина: сарапульский городничий Дуров, брат той Дуровой, которая служила в каком-то гусарском полку во время 1812 года, получила Георгиевский крест и после не оставляла мужского платья, в котором по наружности ее, рябой и мужественной, никто не мог ее принять за девицу. Цинизм Дурова восхищал и удивлял Пушкина; забота его была постоянная заставлять Дурова что-нибудь рассказывать из своих приключений, которые заставляли Пушкина хохотать от души; с утра он отыскивал Дурова и поздно вечером расставался с ним.

Приближалось время отъезда; он условился с ним ехать до Москвы; но ни у того, ни у другого не было денег на дорогу. Я снабдил ими Пушкина на путевые издержки; Дуров приютился к нему. Из Новочеркасска Пушкин мне

писал, что Дуров оказался chevalier d'industrie *, выиграл у него пять тысяч рублей, которые Пушкин достал у наказного атамана, и, заплативши Дурову, в Новочеркасске, с ним разъехался, поскакал один в Москву и, вероятно, с Дуровым никогда более не встретится.

В память нескольких недель, проведенных со мною на водах, Пушкин написал стихи на виньетках в бывшем у меня «Невском альманахе» из «Евгения Онегина». Альманах этот не сохранился, но сохранились в памяти некоторые стихи, карандашом ей им написанные. Вот они:

Вот перешедши мост Кокушкин,
Опершись ...ой о гранит,
Сам Александр Сергеевич Пушкин
С monsieur Онегиным стоит.
Не удостоивая взглядом
Твердыню власти роковой,
Он к крепости стал гордо задом...
Не плюй в колодезь, милый мой!

На виньетке представлена была набережная Невы с видом на крепость и Пушкин, стоящий опершись о гранит и разговаривающий с Онегиным. Другая надпись, которую могу припомнить, была сделана к виньетке, представляющей Татьяну в рубашке, спущенной с одного плеча, читающую записку при луне, светящей в раскрытое окно, и состояла из двенадцати стихов, из которых первых четырех не могу припомнить...[3]

* Мошенник.

М. В. ЮЗЕФОВИЧ

ПАМЯТИ ПУШКИНА

Немного уже осталось из живущих, которые знали Пушкина лично. Я принадлежу к этим немногим. А так как и малейшее свидетельство очевидцев о великом человеке дорого, то я считаю уместным передать о нем несколько из моих личных воспоминаний. Много ушло из памяти подробностей, особенно из бесед наших с ним, и я передам только то, что сохранилось в ней ясно и точно, за правду чего я могу ручаться по совести. ⟨...⟩

Пушкин еще отроком, в Лицее, попал в среду стоявшей в Царском Селе лейб-гусарской молодежи. Там были и философы, вроде Чаадаева, и эпикурейцы, вроде Нащокина [1], и повесы, вроде Каверина. Все это были люди, блестящие не по одному мундиру, разыгрывавшие роли, каждый по своему вкусу. В их кругу впечатлительный юноша естественно делался тем, чем были они: с Чаадаевым мыслителем, с Нащокиным искателем чувственных наслаждений, с Кавериным кутилою, опережая их, быть может, во всем, соразмерно своей восприимчивой натуре, еще усиленной примесью африканской крови. Но и тут гениальный юноша понимает уже суть дела, отделяет шалости от порока и говорит Каверину в утешение,

Что шалости под легким покрывалом
И ум возвышенный и чувство можно скрыть.

В этом кругу он начал петь вино, любовь и свободу и допелся до ссылки, или, вернее, до высылки из Петербурга, в атмосфере которого он, вероятно, погиб бы гораздо ранее, как погиб в ней после. Эта высылка была для него несомненно благодетельна, удалив его от столичной пустой и безалаберной жизни и дав ему досуг и время войти в самого себя и довершить свое умственное и поэтическое развитие. На юге он встретил семейство Раевских, замечательное

по уму, и, сблизившись с ним ездил вместе в Крым и на Кавказ, где, под впечатлением новой для него чудной природы, вышел на путь серьезного поэтического творчества. Тут же он, кажется, испытал первую чистую любовь. Скоро и широко озарила его слава: его стихотворения все знали наизусть, а рассказы о нем собирались с жадностью до мелочей, и подвигам его повесничества рукоплескала молодежь. О шалостях его составлялись даже легенды, и то, что забывалось бы о всяком другом, осталось за Пушкиным до сего времени.

Но молодость проходит, и черты ее совершенно изменяются с возрастом, физически и нравственно. Посмотрим же, чем был Пушкин в зрелом возрасте.

Я встретился с ним в 1829 году, когда ему было уже 30 лет, и при условиях, очень благоприятных для сближения между людьми: на боевых полях Малой Азии, в кругу близких ему и мне людей, под лагерною палаткой, где все живут нараспашку. Хотя время, проведенное мною с ним, было непродолжительно, всего пять-шесть недель, но зато все почти дни этих недель я с ним проводил неразлучно. Таким образом я имел возможность узнать его хорошо и даже с ним сблизиться. Он жил с упомянутым выше Николаем Николаевичем Раевским, а я жил с братом его Львом, бок о бок с нашим двадцатисемилетним генералом, моим однолетком, при котором мы оба были адъютантами, но не в адъютантских, а дружеских отношениях, начавшихся еще в Персии.

Первое мое знакомство с Пушкиным было довольно оригинально. Я лежал в пароксизме лихорадки, бившей меня по-азиатски; вдруг я слышу, что кто-то подошел к палатке и спрашивает: дома ли? На этот вопрос Василий, слуга Льва Пушкина, отвечает, открывая палатку: «Пожалуйте, Александр Сергеевич». При этом имени я понял, что Пушкин, которого мы ждали, приехал. Я, разумеется, был очень рад взглянуть на него, и, когда он вошел, я приподнялся на кровати и стал, со стуком зубов, выражать сожаление, что лихорадка мешает мне принять его, как бы я желал, в отсутствие его брата. Пушкин пустился, с своей стороны, в извинения и, по выходе, стал выговаривать Василию, что он впустил его, ничего не сказавши о больном. На это Василий отвечал очень серьезно: «Помилуйте, Александр Сергеевич, ведь я знал, с каким нетерпением вас ожидал Михаил Владимирович и какое удовольствие доставит ему ваше знакомство». После пароксизма я отправился

к Раевскому, где и познакомился с поэтом, подтвердив ему, что Василий был совершенно прав.

Как теперь вижу его, живого, простого в обращении, хохотуна, очень подвижного, даже вертлявого, с великолепными большими, чистыми и ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное в природе, с белыми, блестящими зубами, о которых он очень заботился, как Байрон. Он вовсе не был смугл, ни черноволос, как уверяют некоторые, а был вполне белокож и с вьющимися волосами каштанового цвета. В детстве он был совсем белокур, каким остался брат его Лев. В его облике было что-то родное африканскому типу; но не было того, что оправдывало бы его стих о самом себе:

Потомок негров безобразный [2].

Напротив того, черты лица были у него приятные, и общее выражение очень симпатичное. Его портрет, работы Кипренского, похож безукоризненно. В одежде и во всей его наружности была заметна светская заботливость о себе. Носил он и у нас щегольской черный сюртук, с блестящим цилиндром на голове; а потому солдаты, не зная, кто он такой, и видя его постоянно при Нижегородском драгунском полку, которым командовал Раевский, принимали его за полкового священника и звали драгунским батюшкой.

Он был чрезвычайно добр и сердечен. Надо было видеть нежное участие, какое он оказывал донцу Сухорукову, умному, образованному и чрезвычайно скромному литературному собрату, который имел несчастие возбудить против себя гонение тогдашнего военного министра Чернышева, по подозрению в какой-то интриге, по делу о преобразовании войска Донского. У него, между прочими преследованиями, отняты были все выписки, относившиеся к истории Дона, собранные им в то время, когда он рылся в архивах, по поручению Карамзина. Пушкин, узнав об этом, чуть не плакал и все думал, как бы, по возвращении в Петербург, выхлопотать Сухорукову эти документы [3]. Но не таков был Чернышев: он в том же году доконал окончательно свою жертву. Сухоруков состоял при главнокомандующем, который оценил его и взял из фронта к себе. Этого было достаточно для злобы Чернышева, чтоб послать за ним фельдъегеря, прибывшего в Тифлис ночью, взявшего его с постели и в ту же ночь увезшего на Дон в станицу, без права выезда из нее. Фельдмаршал ничего не знал и был, разумеется,

сильно оскорблен таким поступком, но сделать ничего не мог в пользу сосланного. Кстати, приведу здесь и другой у нас подвиг министра Чернышева. Известно, что его сильно соблазнял майорат в двадцать тысяч душ, следовавший по наследству графу Захару Григорьевичу Чернышеву, молодому кавалергарду, попавшему в число декабристов. Захар Чернышев, как я знаю от него самого, вовсе не заслуживал быть отнесенным к главному разряду виновных; но конкурент на его майорат успел упрятать его в каторгу. С самого первого шага генерал Чернышев, как видно, возымел уже вожделение к лакомому наследству и, в заседании следственной комиссии, которой был членом, хотел публично заявить о своем родстве с графом. Когда был приведен граф Захар к допросу, генерал Чернышев встретил его громким возгласом: «Comment, cousin, vous êtes coupable aussi?» На это молодой человек, вспылив, отвечал тоже громко: «Coupable peut-être, mais cousin jamais!» * Слова: coupable peut-être, были приняты за сознание, и непрошеный родственник настоял на его осуждении в каторгу. Я привожу этот случай со слов самого Захара Григорьевича. Когда же сей последний по окончании двухлетнего срока каторги был с поселения в Якутске переведен на Кавказ, то министр Чернышев, опасаясь возможности его выслуги и затем, быть может, его полного прощения, прибегнул к следующему средству: он прислал к нам своего адъютанта, рыжего Бутурлина, чтоб поймать на чем-нибудь и повредить настоящему наследнику майората. Бутурлина я знал по Московскому университетскому пансиону, где он был нетерпим товарищами за наушничество директору Антонскому, покровительством которого пользовался в особенности. По приезде его к нам в лагерь я предупредил всех, кого следовало, чтоб были с ним осторожны, и эта осторожность соблюдалась всеми, так что придраться было не к чему. Но из Эрзерума Раевский, по неудовольствию с фельдмаршалом, отправился в Тифлис с конвоем от Нижегородского драгунского полка. К нему напросился в конвой и Захар Чернышев. Ловкому соглядатаю Бутурлину это было как раз на руку. Проведав об отъезде Раевского и, конечно, о том, что с ним отправился и Захар Чернышев, он, дав им уехать вперед, пустился за ними вдогонку и догнал их, как бы нечаянно, на бивачном

---

* Как, кузен, и вы тоже виновны? 〈...〉 Быть может, виновен, но отнюдь не кузен.

ночлеге, где застал Захара Чернышева и еще двух разжалованных в одной палатке с своим генералом. Здесь он попросил позволения продолжать путь вместе. Делать было нечего: выхода из ловушки не оставалось. Государственные преступники продолжали есть и пить на одном с своим генералом ковре. Данных для поручения Бутурлина было достаточно. По приезде в Тифлис он тотчас же послал донос своему министру, и затем генерал Раевский, по высочайшему повелению, за допущение таких отношений с государственными преступниками, был арестован, с часовым у дверей; а всех декабристов приказано было раскассировать по полкам, так чтобы не было их в одном полку более двух. Вероятно, в то же время Бутурлин донес и о Сухорукове, как о принятом фельдмаршалом в свое особенное покровительство. Но клад все-таки не дался в руки искателю: государю было известно, что между графским родом Чернышевых и Чернышевым-министром не было ничего общего. Чтоб отделаться от назойливых притязаний временщика, государь ⟨...⟩ отдал майорат старшей сестре Захара Чернышева, Кругликовой, присоединив к фамилии ее мужа и фамилию Чернышевых, с графским титулом *.

Я рассказал этот вводный эпизод как любопытный материал для истории того времени.

Возвращаюсь к Пушкину.

Во всех его речах и поступках не было уже и следа прежнего разнузданного повесы. Он даже оказывался, к нашему сожалению, слишком воздержанным застольным собутыльником. Он отстал уже окончательно от всех излишеств, а в больших грехах покаялся торжественно:

...в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток.
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю [4].

И этот вопль не был минутным порывом вдохновенного сознания. Нет, он был выражением полного нравственного

* Когда рассказывали А. П. Ермолову, что Чернышев-министр добивается графского Чернышевского майората, то Алексей Петрович заметил: «Что же тут удивительного? Одежда жертвы всегда и везде составляла собственность палача».

поворота. Я помню, как однажды один болтун, думая, конечно, ему угодить, напомнил ему об одной его библейской поэме и стал было читать из нее отрывок. Пушкин вспыхнул, на лице его выразилась такая боль, что тот понял и замолчал. После Пушкин, коснувшись этой глупой выходки, говорил, как он дорого бы дал, чтобы взять назад некоторые стихотворения, написанные им в первой легкомысленной молодости [5]. И ежели в нем еще иногда прорывались наружу неумеренные страсти, то мировоззрение его изменилось уже вполне и бесповоротно. Он был уже глубоко верующим человеком и одумавшимся гражданином, понявшим требования русской жизни и отрешившимся от утопических иллюзий. К нравственным требованиям он относился даже с пуританскою строгостью. В то время явилась в свет книга, под заглавием, если не ошибаюсь: «Justine ou les liaisons dangereuses» *[6]. Книга эта была в ходу, но мне еще не попадалась в руки, и я ее не читал. Вспомнив как-то о ней, я спросил Пушкина, что это за книга. «Это,— отвечал он,— одно из замечательных произведений развращенной французской фантазии. В ней самое отвратительное сладострастие представлено до того увлекательно, что, читая ее, я чувствовал, что сам начинаю увлекаться, и бросил книгу, не дочитавши. Советую и вам не читать ее». Я послушался совета и никогда не брал этой книги в руки 〈...〉.

В своем тесном кругу бывали у нас с Пушкиным откровенные споры. Я был ярый спорщик, он тоже. Раевский любил нас подзадоривать и стравливать. Однажды Пушкин коснулся аристократического начала, как необходимого в развитии всех народов; я же щеголял тогда демократизмом. Пушкин наконец с жаром воскликнул: «Я не понимаю, как можно не гордиться своими историческими предками! Я горжусь тем, что под выборною грамотой Михаила Федоровича есть пять подписей Пушкиных». Тут Раевский очень смешным сарказмом обдал его, как ушатом воды, и спор наш кончился **. Уже после я узнал, по нескольким подобным случаям, об одной замечательной черте в характере Пушкина: об его почти невероятной чувствительности ко всякой насмешке, хотя бы самой

---

* «Жюстина, или Опасные связи».

** *Юзефович в письме к Бартеневу:* «...Николай Раевский ему в насмешку заметил: «есть чем хвастать!» Пушкин как в воду окунулся и больше ни гугу» (Звезда, 1930, № 7, с. 232).

невинной и даже пошлой. Против насмешки он оказывался всегда почти безоружным и безответным. Ее впечатление поражало его иногда так глубоко, что оно не сглаживалось в нем во всю жизнь. Вот тому пример. В Одессе, в одно время с ним, жил Александр Раевский, старший брат Николая. Он был тогда настоящим «демоном» Пушкина, который изобразил его в известном стихотворении очень верно. Этот Раевский действительно имел в себе что-то такое, что придавливало душу других. Сила его обаяния заключалась в резком и язвительном отрицании:

Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою,
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел! [7]*

Я испытал это обаяние на самом себе. Впоследствии, в более зрелых летах, робость и почти страх к нему ослабели во мне, и я чувствовал себя с ним уже как равный с равным. Пушкин, в Одессе, хаживал к нему обыкновенно по вечерам, имея позволение тушить свечи, чтоб разговаривать с ним свободнее впотьмах. Однажды Пушкин зашел к нему утром и прочел свое новое антологическое стихотворение, начинавшееся так:

Подруга милая, я знаю, отчего
Ты с нынешней весной от наших игр отстала;
Я тайну сердца твоего
Давно, поверь мне, угадала:
Хромид в тебя влюблен — *и т. д.*

Раевский оставил его у себя обедать. К обеду явилось еще несколько лиц. За обедом Раевский сообщил о новом произведении поэта, и все, разумеется, стали просить прочесть его; но Раевский не дал читать Пушкину, сказав, что сам прочтет, так как эти прекрасные стихи сразу врезались ему в память, и начал так:

---

* *Юзефович в письме к Бартеневу:* «Пушкин мне сам рассказывал, что с А. Н. он не мог спорить иначе, как вечером впотьмах, потушив свечи, и что он подходил, как смеясь выражался, из подлости, к ручке к его девке. Точь-в-точь то же самое рассказывал мне потом Раевский, смеясь над фасинацией, которую напустил он на Пушкина» (Звезда, 1930, № 7, с. 232).

Подруга милая, я знаю, отчего
Ты с нынешней весной от наших игр *удрала.*

Эта вздорная шутка невольно всех рассмешила, и ее было достаточно, чтоб Пушкин во всю жизнь не решался напечатать вполне этого стихотворения, и оно оставалось в печати урезанным, начиная со слов: [8]

Хромид в тебя влюблен.

Оно появилось вполне только в посмертном издании.

Пушкин сам вспоминал со смехом некоторые случаи подчиненности своему демону, до того уже комические, что мне даже казалось, что он пересаливает свои россказни. Но потом я проверил их у самого Раевского, который повторил мне буквально то же.

Как объяснить эту черту в независимом характере Пушкина? Не служил ли он свидетельством детского его простодушия, полного в нем отсутствия высокомерного самомнения и смиренной неуверенности в себе, хотя он и сознавал теоретически, что поэт сам себе высший суд? Все эти свойства показывают в нем глубоко русского человека, которого зато он и постигал так верно своим чувством, во всех положениях бытовых и исторических, быть может, сам даже не сознавая того ясно, так как поэты в своих созданиях не делают математических выкладок: всякое представление слагается в их фантазии конкретно, и они творят, а не сочиняют, потому поэтическое творчество и называется вдохновением. Но вдохновение дает поэту лишь внутреннее содержание; внешняя же форма требует художественного труда, и у Пушкина этот труд был немалый.

Изо всех времен года он любил более всего осень, и чем хуже она была, тем для него была лучше. Он говорил, что только осенью овладевал им бес стихотворства, и рассказывал по этому поводу, как была им написана последняя в то время поэма: «Полтава». Это было в Петербурге. Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и туда, он ел на скорую руку, что попало, и убегал домой, чтоб записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом слагались у него сотни стихов в сутки. Иногда мысли, не укладывавшиеся в стихи,

записывались им прозой. Но затем следовала отделка, при которой из набросков не оставалось и четвертой части. Я видел у него черновые листы, до того измаранные, что на них нельзя было ничего разобрать: над зачеркнутыми строками было по нескольку рядов зачеркнутых же строк, так что на бумаге не оставалось уже ни одного чистого места. Несмотря, однако ж, на такую работу, он кончил «Полтаву», помнится, в три недели.

Он был склонен к движению и рассеянности. Когда было хорошо под небом, ему не сиделось под кровлей, и потому его любовь к осени, с ее вдохновительным на него влиянием, можно объяснить тем, что осень, с своими отвратительными спутниками, дождем, слякотью, туманами и нависшим до крыш свинцовым небом, держала его как бы под арестом, дома, где он сосредоточивался и давал свободу своему творческому бесу. Природа угождает художникам неодинаково: Пушкину мила была осень своею непогодой; а Брюллов, я помню, по поводу некончаемой им «Осады Пскова», горько жаловался мне, что под петербургским войлочным небом ему приходится по целым полугодиям не брать в руки кисти для большой работы.

С Пушкиным был походный чемодан, дно которого было наполнено бумагами. Когда речь зашла о прочтении нам еще не напечатанных «Бориса Годунова» и последней песни «Онегина», он отдал брату Льву и мне этот чемодан, чтоб мы сами отыскали в нем то, чего нам хочется. Мы и нашли там тетрадь «Бориса Годунова» и отрывки «Онегина», на отдельных листиках. Но мы этим, разумеется, не удовольствовались, а пересмотрели все и отрыли, между прочим, прекрасный, чистый автограф «Кавказского пленника». Когда я показал Пушкину этот последний, говоря, что это драгоценность, он, смеясь, подарил мне его; но Раевский, попросив у меня посмотреть, объявил, что так как поэма посвящена ему, то ему принадлежит и чистый автограф ее, и Пушкин не имеет права дарить его другому. Можно себе представить мою досаду! Я бросился отнимать у Раевского, но должен был уступить его ломовой силе. После Раевский, взяв с меня честное слово возвратить, дал мне эту рукопись, чтобы выписать из нее места, пропущенные в печати. Но таких пропусков оказался всего один. После слов:

Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы...—

в печати пропущены следующие восемь стихов:

Свобода! Он одной тебя
Еще искал в подлунном мире.
Страстями сердце погубя,
Охолодев к мечтам и к лире,
С волненьем песни он внимал,
Одушевленные тобою,
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал.

Затем, как в печати:

Свершилось! Целью упованья
Не зрит он в жизни ничего — *и т. д.*

Жаль мне и теперь этого автографа, так как у Раевского он пропал бесследно: ни у вдовы, ни у сыновей его не оказалось. Взамен отнятого у меня подарка Пушкин дал мне другой автограф — «К морю», тоже чистый, но с поправками и с добавлением лучшей строфы о Байроне сбоку:

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, глубок, могуч и мрачен,
Как ты, ничем неодолим.

Этот автограф и теперь хранится у меня [9].

Там же мы нашли неизвестную еще тогда прекрасную элегию: «Надеждой сладостной младенчески дыша...», которую Анненков, не знаю почему, принял за стихотворение, назначавшееся для Онегина, как написанное Ленским. Но размер элегии нисколько не подходит к строфам Онегина; да и Пушкин, вероятно, указал бы нам на такое ее назначение, так как он объяснял нам довольно подробно все, что входило в первоначальный его замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов. Кроме того, в издании Анненкова, в числе многих прочих, сделана и в этой элегии большая ошибка: лучший в ней стих

И мысль одна *плывет* в небесной чистоте,

напечатан:

И мысль одна *течет* в небесной чистоте [10].

Может быть, в какой-нибудь черновой Пушкина и было так; но в этом экземпляре, который был у меня в руках

и с которого я списал себе копию, сказано *плывет*, а не *течет*. Разница в смысле этих слов, особенно в художественном выражении мысли, большая.

«Бориса Годунова» и отрывки последней части «Онегина» Пушкин читал нам сам. Он, по-моему, не был чтецом-мастером: его декламация впадала в искусственность. Лев Сергеевич читал его стихи лучше, чем он. При чтении «Бориса Годунова» случился забавный эпизод. Между присутствовавшими был генерал М. [11], известный прежде всего своим колоссальным педантизмом. Во время сцены, когда самозванец, в увлечении, признается Марине, что он не настоящий Димитрий, М. не выдержал и остановил Пушкина: «Позвольте, Александр Сергеевич, как же такая неосторожность со стороны самозванца? Ну, а если она его выдаст?» Пушкин с заметной досадой: «Подождите, увидите, что не выдаст».

После этой выходки Пушкин объявил решительно, что при М. он больше ничего читать не станет; и когда потом он собрался читать нам Онегина, то поставлены были маховые, чтоб дать знать, если будет к нам идти М. Он и шел; но, по данному сигналу, все мы разбежались из палатки Раевского. М. пришел, нашел палатку пустою и возвратился восвояси. Тогда мы собрались опять, и чтение состоялось.

Здесь, кстати, для характеристики М., расскажу другой случай его со мною лично. В 1828 году, под Ахалцыхом, я был ранен в ногу и лежал внутри мечети, а Раевский занимал наружную крытую галерею, при входе в нее (по-нашему паперть). Раз собралось к Раевскому несколько лиц к обеду, в том числе и генерал М. Он вошел ко мне. «Поздравляю вас».— «С чем, позвольте узнать?» — «С тем, что вы ранены».— «То есть с тем, что не убит? Покорно вас благодарю».— «Нет, но вам, должно быть, очень приятно быть раненым».— «Напротив того, и больно и скучно лежать».— «Да, но оказываемое вам сочувствие!» — «Что же тут особенного? Всякому больному, а тем более раненому, все оказывают сочувствие».— «Да, но не всем оказывается такое внимание, как вам: вас вот навещают и генералы». Я не удержался и закричал: «Пушкин, поди сюда!» Вбежал ко мне Лев. «Вот Н. Н. находит, что мне должно быть очень приятно быть раненым, и знаешь почему? Потому, что меня навещают генералы».— «Ха, ха, ха!» И Лев Сергеевич с хохотом выбежал рассказывать об этом собравшемуся обществу. Ко мне нахлынула вся толпа: «Что такое, что такое?» Я рассказал. Раевский

рад был случаю поострить, другие подмешивали к его остротам свою соль, и великодушному генералу было, видимо, очень неловко.

В бывших у нас литературных беседах я раз сделал Пушкину вопрос, всегда меня занимавший: как он не поддался тогдашнему обаянию Жуковского и Батюшкова и даже в самых первых своих опытах не сделался подражателем ни того, ни другого? Пушкин мне отвечал, что этим он обязан Денису Давыдову, который дал ему почувствовать еще в Лицее возможность быть оригинальным.

Пушкин имел хорошее общее образование. Кроме основательного знакомства с иностранной литературой, он знал хорошо нашу историю, и вообще, для своего серьезного образования, воспользовался с успехом ссылкой. Так, между прочим, он выучился по-английски. С ним было несколько книг, и в том числе Шекспир. Однажды он в нашей палатке переводил брату и мне некоторые из него сцены. Я когда-то учился английскому языку, но, не доучившись как следует, забыл его впоследствии. Однако ж все-таки мне остались знакомы его звуки. В чтении же Пушкина английское произношение было до того уродливо, что я заподозрел его знание языка и решил подвергнуть его экспертизе. Для этого на другой день я зазвал к себе его родственника Захара Чернышева, знавшего английский язык, как свой родной, и, предупредив его, в чем было дело, позвал к себе и Пушкина с Шекспиром. Он охотно принялся переводить нам его. Чернышев при первых же словах, прочитанных Пушкиным по-английски, расхохотался: «Ты скажи прежде, на каком языке читаешь?» Расхохотался, в свою очередь, и Пушкин, объяснив, что он выучился по-английски самоучкой, а потому читает английскую грамоту, как латинскую. Но дело в том, что Чернышев нашел перевод его совершенно правильным и понимание языка безукоризненным. Это может, между прочим, служить ответом г. Пржецлавскому, который, с польским принижением перед Пушкиным, выставил его рядом с Мицкевичем совершенным невеждой.

Из Эрзерума Пушкин уехал обратно. Помню, как, сев на коня, с последним рукопожатием, он сказал мне: «До свидания в Петербурге». Но, увы, этому свиданию не суждено было состояться: я не попал в Петербург до его смерти.

По временам я имел о нем кое-какие сведения из писем ко мне его брата. Потом, по приезде ко мне Льва Сергееви-

ча, я узнал подробно о его новом житье-бытье. Все сведения, по внешности, были благоприятны; но я был как-то ими недоволен: мне все казалось, что при дворе и в пустой среде большого света поэту было не место. Раз я даже высказал Льву мою мысль о том, что красавицы в большом свете — опасные спутницы в жизни. Тот обиделся за свою невестку. Катастрофа не замедлила дать нам свой положительный ответ...

А. И. ДЕЛЬВИГ

ИЗ «МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Утвердительно можно сказать, что Пушкин никого не любил более Дельвига [1]. Этому могли бы служить явным доказательством бесчисленные его письма к Дельвигу, к прискорбию, уничтоженные немедля после смерти Дельвига, по причинам, которые расскажу в своем месте [2].

Дельвиг далеко не в совершенстве знал французский и немецкий языки: на первом говорил дурно, а на последнем вовсе не говорил. Но он был хорошо знаком с литературами этих языков и еще в Лицее побуждал Пушкина заниматься немецкой литературой, но в этом не успел, так как последний предпочитал французскую литературу.

В составившемся кружке лицеистов некоторые из них обязаны были по очереди рассказать целую повесть или, по крайней мере, начать ее. В последнем случае следующий рассказчик ее продолжал, и т. д. Дельвиг первенствовал в этой игре воображения; интриги, завязка и развязка в его рассказах были всегда готовы. Пушкин далеко не имел этой способности.

Дельвиг начал рано печатать свои стихотворения. В журналах, издававшихся В. В. Измайловым в 1814 и 1815 годах, помещено пятнадцать пиес Дельвига. Первое напечатанное его стихотворение в июне 1814 года в «Вестнике Европы» «На взятие Парижа» было за подписью «Русский», вполне соответствовавшеюся глубоко вкорененным патриотическим чувствам Дельвига, не оставлявшим его до самой смерти. Дельвиг был истинный поэт в душе, но мало производивший; способность его придумывать содержание поэм давала повод ожидать от него много неосуществившегося. Жуковский и Пушкин восхищались его рассказами о замышляемых им поэмах, Пушкин негодовал на публику, встретившую с невниманием первые произведения Дельвига [3].

⟨...⟩ Я продолжал жить у Викторовых, а бывал у Дельвигов только по воскресеньям и праздникам. У них были назначены для приема вечера в среду и воскресенье. Я никак не мог в воскресенье оторваться от их общества и возвращался к Викторовым только в понедельник рано утром. Эти вечера были чисто литературные. На них из литераторов всего чаще бывали А. С. Пушкин, в бытность его в Петербурге, Плетнев, князь Одоевский, писавший тогда повести в роде Гофмана, Щастный, Подолинский, барон Розен и Илличевский. Жена Плетнева, урожденная Раевская, и жена Одоевского, урожденная Ланская, также иногда бывали у Дельвигов. На этих вечерах говорили по-русски, а не по-французски, как это было тогда принято в обществе; обработка нашего языка много обязана этим литературным собраниям. Суждения о произведениях русской и иногда иностранной литературы и о писателях меня очень занимали. Впрочем, на этих вечерах часто играли на фортепиано. Жена Дельвига, которая долго продолжала учиться музыке, хотя уже была хорошею музыкантшею, и некоторые из гостей занимались серьезною музыкою. Песни же и романсы певались непременно каждый вечер; в этом участвовал и сам Дельвиг, а особенно отличались М. Л. Яковлев и князь Эристов. Сверх того, они оба умели делать разные штуки, фокусы, были чревовещателями и каждый раз показывали что-нибудь новенькое. В этих изобретениях особенно отличался Эристов, который, впрочем, бывал не так часто, как Яковлев; последний почти каждый день обедал у Дельвигов и проводил вечера. Он называл себя даже приказчиком Владимирской волости, так как Дельвиги жили на Владимирской улице, и, действительно, по совершенному неумению Дельвига распоряжаться хозяйством и прислугою, Яковлев часто входил в его домашние дела, за что очень нелюбим был людьми Дельвига, которые называли его дьячком.

Один из самых частых посетителей Дельвига в зиму 1826/27 года был Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта. ⟨...⟩

⟨...⟩ Упомянув об альманахе «Северные цветы», я намерен сказать подробнее об его дальнейшей участи; он с таким же успехом, как и в 1825 году, выходил с 1826 по 1831 год включительно. В нем постоянно помещались произведения лучших тогдашних писателей, в особенности в поэтическом отделе, а именно: Пушкина, Жуковского, Гнедича, Батюшкова, Плетнева, Подолинского, барона Ро-

зена, Щастного и других. Из большого числа стихотворений Пушкина помещены были отрывки из не изданных еще глав «Евгения Онегина», весь «Нулин», которого Пушкин до его напечатания прочитал сам в рукописи жене Дельвига в моем присутствии, более при этом никого не было. Пушкин не любил читать своих новых произведений при родном моем брате Александре, так как последний, имея необыкновенную память, услыхав один только раз хорошее стихотворение, даже довольно длинное, мог его передать почти буквально.

В «Северных цветах» на 1829 год были помещены переведенные Жуковским 600 стихов из «Илиады». В это время перевод всей «Илиады» Гнедича не был еще напечатан. Дельвиг обыкновенно посылал по экземпляру вновь вышедших «Северных цветов» в подарок некоторым писателям, и в том числе Гнедичу. Последний, получив в самый день нового 1829 года «Северные цветы», в которых был помещен отрывок «Илиады», переведенный Жуковским, возвратил его Дельвигу при записке, в которой резко выразил свое неудовольствие на Жуковского и на Дельвига и, сколько помню, писал в ней, что не хочет даже видеться с ними до того времени, пока не будет напечатан его перевод. Гнедич так поторопился этою запискою, что Дельвиг получил ее в день Нового года, не вставая еще с постели. До этой размолвки Гнедич бывал часто у Дельвига. Он читал превосходно стихи, но как-то слишком театрально. Я помню его декламирующим: «На все смотрю я мрачным оком», а так как он был крив, то это производило на меня особое впечатление.

О неприятностях между Гнедичем и Дельвигом остались следы в печати. По выходе «Илиады» Гнедича к 1830 году «Литературная газета» объявила об этом с должною похвалою. Какой-то журнал назвал это объявление воззванием, обнаруживающим дух партии, так как и Гнедич в предисловии к своему переводу «Илиады» похвалил гекзаметры Дельвига. Вследствие этого заявления Пушкин напечатал в «Литературной газете», что объявление об «Илиаде» написано было им в отсутствие Дельвига, что отношения Дельвига к Гнедичу *не суть дружеские*, но что это не может вредить их взаимному уважению, что Гнедич, по благородству своих чувств, откровенно сказал свое мнение насчет таланта Дельвига. Вышеприписанное же обвинение журналиста Пушкин находил не только несправедливым, но и неблагопристойным [4].

После смерти Дельвига мать его с детьми осталась в очень бедном положении. Пушкин вызвался продолжать издание «Северных цветов» в их пользу, о чем и было заявлено. «Северные цветы» были изданы только один раз на 1832 год, и сколько очистилось от их издания, я никогда не мог узнать. Без сомнения, не было недостатка в желании помочь семье Дельвига, но причину неисполнения поймет всякий, кто знал малую последовательность Пушкина во многом из того, что он предпринимал вне его гениального творчества. В 1834 году, когда Пушкин приехал на время в Москву, он встретил меня в партере Малого театра, где давался тогда французский спектакль, и дружески меня обнял, что произвело сильное влияние на всю публику, бывшую в театре, с жадностию наблюдавшую за каждым движением Пушкина. Из театра мы вместе поехали ужинать в гостиницу Коппа, где теперь помещается гостиница «Дрезден». Пушкин в разговорах со мною скорбел о том, что не исполнил обещания, данного матери Дельвига, уверял при том, что у него много уже собрано для альманаха на следующий новый год, что он его издаст в пользу матери Дельвига, о чем просил ей написать, но ничего из обещанного Пушкиным исполнено не было [5].

В подражание «Полярной звезде» и «Северным цветам» тогда же появилось много других альманахов. Отсутствие в большей части из альманахов стихотворений наших тогдашних поэтов первой величины было причиною малого их успеха. Только в некоторых из них, как-то: в «Деннице», изданной Максимовичем, и в «Царском Селе», изданном бароном Розеном и Коншиным, с приложением в 1830 году портрета А. А. Дельвига, помещались стихотворения лучших тогдашних поэтов: Пушкина, Баратынского, Вяземского, Языкова, Дельвига и проч. Но они не достигали богатства и разнообразия «Северных цветов». «Невский альманах» появился одним из первых. Издатель его Аладьин очень упрашивал Пушкина поддержать второй год его издания присылкою стихов. Пушкин послал ему эпиграмму на «Невский альманах», а он, вероятно, не понял этого и не только ее напечатал, но даже дал ей место, сколько помню, перед заглавным листом, по его мнению, наиболее почетное [6]. ⟨...⟩

Дельвиг же, напротив того, так много получал стихотворений лучших писателей, что в 1829 году перед Светлой неделей издал еще особый альманах, под названием «Под-

снежник», в котором была напечатана повесть моего родного брата Александра, под заглавием «Маскарад».

А. А. Дельвиг, помещая эту повесть, не знал, что она — произведение моего родного брата, и дурно отзывался о ней при авторе, хотя при тогдашней бедности литературы нашей, за исключением произведений писателей первой величины, нельзя было ее считать очень нехорошею, чему служит доказательством и то, что она попала в «Подснежник». Замечания А. А. Дельвига не понравились моему родному брату, и они вследствие этого долго не виделись. Такие распри между ними случались довольно часто по необыкновенной вспыльчивости моего родного брата и по охоте А. А. Дельвига дразнить его. Этот случай делания замечаний на литературные произведения по незнанию, что автор налицо, напоминает мне другой следующий случай.

В «Северных цветах» 1829 года была помещена повесть под заглавием «Уединенный домик на Васильевском острове», подписанная псевдонимом «Тит Космократов», сочиненная В. Титовым (ныне членом Государственного совета). Вскоре по выходе означенной книжки гуляли по Невскому проспекту Жуковский и Дельвиг; им встретился Титов. Дельвиг рекомендовал его как молодого литератора Жуковскому, который вслед за этой рекомендацией, не подозревая, что вышеупомянутая повесть сочинена Титовым, сказал Дельвигу: «Охота тебе, любезный Дельвиг, помещать в альманахе такие длинные и бездарные повести какого-то псевдонима». Это тем более было неловко, что Жуковский отличался особым добродушием и постоянною ко всем благоволительностию *.

* ⟨...⟩ В письме из Рязани от 29 августа 1879 г. к А. В. Головнину Влад. Павл. Титов говорит следующее о статье Т. Космократова, помещенной в «Северных цветах» 1829 г., «Уединенный домик на Васильевском острове»:

«В строгом историческом смысле это вовсе не продукт Космократова, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильевском острове, поздно вечером, у Карамзиных, к тайному трепету всех дам, и в том числе обожаемой тогда самим Пушкиным и всеми нами Екатерины Николаевны, позже бывшей женою кн. Петра Ивановича Мещерского. Апокалипсическое число *666*, игроки-черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанными под *высокие* парики,— честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал, воротясь домой, не мог заснуть почти всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, быть ослушником ветхозаветной заповеди «не укради», пошел с тетрадью

⟨...⟩ Пушкин, после дозволения, данного ему в мае 1827 года, бывать в обеих столицах, приехал в первый раз в Петербург летом 1827 года, но за отсутствием Дельвига я его тогда не видал. Я его увидел в первый раз в октябре, когда он снова приехал из своего уединения, с. Михайловского.

17 октября праздновали день моих именин: Пушкин привез с собой подаренный его приятелем Вульфом череп от скелета одного из моих предков, погребенных в Риге, похищенного поэтом Языковым, в то время дерптским студентом, и вместе с ним превосходное стихотворение свое: «Череп», посвященное А. А. Дельвигу и начинающееся строфою:

Прими сей череп,Дельвиг; он
Принадлежит тебе по праву;
Тебе поведаю, барон,
Его готическую славу...—

и оканчивающееся строфою:

Прими ж сей череп, Дельвиг; он
Принадлежит тебе по праву.
Обделай ты его, барон,
В благопристойную оправу.
Изделье гроба преврати
В увеселительную чашу,
Вином кипящим освяти
Да запивай уху да кашу! ⟨*и т. д.*⟩

Пили за мое здоровье за обедом из этого черепа, в котором Вульф, подаривший его Пушкину, держал табак. Череп этот должен и теперь находиться у вдовы Дельвига, но едва ли он, по совету Пушкина, обделан «в благопристойную оправу». ⟨...⟩

Известно, что Пушкину, при императоре Александре, был запрещен выезд из его имения Псковской губернии, с. Михайловского. Император Николай, сняв это запрещение, в 1826 г. в Москве спросил у Пушкина, отчего он мало пишет, и вследствие ответа последнего, что не может ничего печатать по строгости цензуры ко всему им написанному, заявил, что он будет его цензором. С тех пор все стихотворе-

---

к Пушкину в гостиницу Демут, убедил его прослушать от начала до конца, воспользовался многими, поныне очень памятными его поправками и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в «Северные цветы».

ния свои Пушкин доставлял Дельвигу, от которого они были отсылаемы к шефу жандармов, генерал-адъютанту Бенкендорфу, а им представляемы на высочайшее усмотрение. Само собою разумеется, что старались посылать к Бенкендорфу по нескольку стихотворений зараз, чтобы не часто утруждать августейшего цензора. Стихотворения, назначенные к напечатанию в «Северных цветах» на 1828 год, были в октябре уже просмотрены императором [7], и находили неудобным посылать к нему на просмотр одно стихотворение «Череп», которое, однако же, непременно хотели напечатать в ближайшем выпуске «Северных цветов». Тогда Пушкин решил подписать под стихотворением «Череп» букву «Я», сказав: «Никто не усомнится, что Я — Я». Но между тем многие усомнились и приписывали это стихотворение поэту Языкову. Государь впоследствии узнал, что «Череп» написан Пушкиным, и заявил неудовольствие, что Пушкин печатает без его цензуры. Между тем по нежеланию обеспокоивать часто государя просмотром мелких стихотворений, Пушкин многие из своих стихотворений печатал с подписью П. или Ал. П.

Пушкин в дружеском обществе был очень приятен и ко мне с самого первого знакомства очень приветлив. Дельвиг со всеми товарищами по Лицею был одинаков в обращении, но Пушкин обращался с ними разно. С Дельвигом он был вполне дружен и слушался, когда Дельвиг его удерживал от излишней картежной игры и от слишком частого посещения знати, к чему Пушкин был очень склонен. С некоторыми же из своих лицейских товарищей, в которых Пушкин не видел ничего замечательного, и в том числе с М. Л. Яковлевым, обходился несколько надменно, за что ему часто доставалось от Дельвига. Тогда Пушкин видимо на несколько времени изменял свой тон и с этими товарищами.

⟨...⟩ В эту же зиму начал ездить к Дельвигам Орест Михайлович Сомов. ⟨...⟩

Сомов, быв в лагере Греча и Булгарина, а прежде в лагере Измайлова, писал эпиграммы и статьи против Дельвига, и потому появление его — так долго жившего в сообществе шпионов-литераторов — в обществе Дельвига было очень неприятно встречено этим обществом. Наружность Сомова была также не в его пользу. Вообще постоянно чего-то опасающийся, с красными, точно заплаканными глазами, он не внушал доверия. Он не понравился

и жене Дельвига. Пушкин выговаривал Дельвигу, что тот приблизил к себе такого неблагонадежного и малоспособного человека. Плетнев и все молодые литераторы были того же мнения.

Между тем все ошибались насчет Сомова. Он был самый добродушный человек, всею душою предавшийся Дельвигу и всему его кружку и весьма для него полезный в издании альманаха «Северные цветы» и впоследствии «Литературной газеты». Дельвиг не мог бы сам издавать «Северных цветов», что прежде исполнялось книгопродавцем Слениным, а тем менее «Литературную газету». Вскоре, однако же, все переменили мнение о Сомове. Он сделался ежедневным посетителем Дельвига или за обедом, или по вечерам. Жена Дельвига и все его общество очень полюбили Сомова. Только Пушкин продолжал обращаться с ним с некоторою надменностию.

Пушкин, получивший в начале сентября 1826 года дозволение пользоваться советами столичных докторов, немедля выехал из Михайловского в Москву, где, среди забав и торжественных ему приемов, прочел в первый раз свою трагедию «Борис Годунов» и очень хлопотал об издании нового журнала. К «Московскому телеграфу», издававшемуся Н. А. Полевым, он не имел сочувствия, а альманахи считал пустыми сборниками без направления. О необходимости издания нового журнала Пушкин думал еще в Михайловском. Следствием этого было появление с 1827 года журнала «Московский вестник», под редакциею М. П. Погодина. Много усилий и увещаний употребил Пушкин на поддержание этого журнала.

Пушкин, однако же, недолго оставался доволен критическими статьями «Московского вестника». Редактор его М. П. Погодин, молодой литератор и профессор истории в Московском университете, отличался тогда, как и теперь (1872 г.), своеобразною резкостию выражений. Ему ничего не стоило наполнять десятки страниц пошлою бранью, не идущею к делу. Не того хотелось Пушкину; несмотря на довольно большое число издававшихся тогда журналов и помещавшихся в некоторых из альманахов обозрений нашей словесности за минувший год, у нас не было критики, которая могла бы установить общественное мнение в литературе и в которой не было бы грубых личностей [8].

Сверх того, русской литературой в Петербурге завладели Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин, издававшие журналы «Сын

отечества» и «Северный архив» и газету «Северная пчела». Первый из них был сильно заподозреваем в шпионстве, а последний был положительно агентом III Отделения канцелярии его величества, то есть шпионом. Они оба употребляли всякого рода средства, чтобы не допускать новых периодических изданий и держать литературу в своих руках. Конечно, необходимо было ее вырвать из таких непотребных рук и начать новый орган, который отличался бы беспристрастными суждениями о нашей словесности и был бы, в противность всем прочим тогдашним журналам, журналом благопристойным, то есть не употреблял бы бранных слов и не наносил бы, из нелитературных видов, личных оскорблений.

В конце 1829 года эта мысль созрела и ее разделяли Пушкин, Жуковский, Крылов, князь Вяземский, Баратынский, Плетнев, Катенин, Дельвиг, Розен и многие другие; таким образом, появилась мысль об издании с 1830 года «Литературной газеты». Весьма трудно было найти редактора для этого органа. Пушкин был постоянно в разъездах, Жуковский занят воспитанием наследника престола, Плетнев обучением русской словесности наследника и в разных заведениях, князь Вяземский и Баратынский жили в Москве, Катенин в деревне. Хотя Дельвиг, по своей лени, менее всего годился в журналисты, но пришлось остановиться на нем, с придачею ему в сотрудники Сомова. Все означенные литераторы любили Дельвига и уважали его вкус и добросовестность в суждениях о произведениях литературы. Вместе с этим надеялись, что этот новый орган послужит отпором с каждым днем увеличивающейся бессовестности Греча и Булгарина. Нетрудно было, однако же, предвидеть, что «Литературная газета» не будет иметь успеха. Хотя в ней обещались участвовать самые даровитые поэты и несколько даровитых прозаиков, но было очевидно, что их произведений будет недостаточно для газеты, которая должна была выходить через каждые пять дней листом большого формата, напечатанным довольно мелким шрифтом. Печатание вообще, а периодического издания в особенности, еще более затруднялось тогдашними цензурными правилами, по которым не пропускались многие слова, между прочими: республика, мятежники, о чем не сообщалось журналистам, а только цензорам. Номера «Литературной газеты» цензировались в корректуре накануне их выхода. Означенные слова и многие другие вычеркивались цензором. Надо было заменить статью, в которой они за-

ключались, другою, но некогда уже было в ночь перед выходом номера набирать новую статью. Оставалось одно средство: заменить вычеркнутые слова другими, и таким образом слово «республика» заменялось словом «общество», а слово «мятежник» заменялось словом «злодей», отчего выходила галиматья. Случалось, по болезни Дельвига, мне заниматься корректурою, и помнится, что на мою долю выпали эти замещения, так что мне пришлось произвести в дельной статье галиматью. Было время, что цензоры не пропускали слов: *бог, ангел* с большими первоначальными буквами. Не легко было добыть дозволение и на издание нового периодического журнала, но оно было получено чрез ходатайство Жуковского, и 1 января 1830 г. вышел первый номер «Литературной газеты», в которой первая статья был отрывок из романа «Магнетизер» Погорельского (псевдоним Перовского), автора романа «Монастырка», а вторая—отрывок из VIII главы «Онегина», начинавшийся стихом:

Прекрасны вы, брега Тавриды.

Дельвиг⟨...⟩ подвергался беспрерывным сатирическим выходкам тогдашних журналистов. ⟨...⟩

С появлением «Литературной газеты», в одном из первых номеров которой было сказано, что она «у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов», брань журналистов против Дельвига усилилась. Они в этом заявлении увидели какое-то аристократическое стремление участников газеты и разразились бранью, но уже не на одного Дельвига ⟨...⟩, но и на Пушкина [9].

Я не буду приводить выписок из тогда написанного против друзей-поэтов, тем более что этот предмет очень хорошо разработан в замечательной монографии «Дельвиг», составленной В. Гаевским и помещенной в «Современнике» 1853 и 1854 годов. Я ограничусь только дополнением к этой монографии того, что в ней упущено по незнанию автора или не помещено по причинам цензурным, и тем, что необходимо для связи в моем рассказе.

Пушкина приводила в негодование народившаяся в конце 20-х годов особого рода французская литература, состоявшая из записок и воспоминаний самых безнрав-

ственных и грязных личностей. В одном из первых номеров «Литературной газеты» он упоминает о скором появлении «Записок парижского палача Сампсона», которых он ожидает с отвращением и спрашивает между прочим: «На каком зверином реве объяснит Сампсон свои мысли?»[10]

Но эта статья о записках Сампсона, написанная Пушкиным в Петербурге и напечатанная в отсутствие Дельвига в Москву, была только подготовлением к другой, присланной Пушкиным из Москвы к Дельвигу с тем, чтобы последний ее напечатал в том номере, который должен был выйти в день светлого Христова воскресенья, 6 апреля, в виде красного яичка для Булгарина. Эта статья, мастерски написанная, говорит о появлении книги «Записки шпиона Видока» ⟨...⟩

Книжная лавка Сленина, который, в противоположность большей части книгопродавцев, заботился не только о своих выгодах, но и о пользах литературы, помещалась тогда на Невском проспекте, близь Казанского моста, во втором этаже дома Кожевникова. Журналисты и литераторы очень часто посещали ее. Дельвиг, когда был здоров, и я, когда жил у него, бывали в лавке у Сленина каждый день и иногда у него завтракали. Но мы никогда не сходились в ней с Гречем и Булгариным; часы посещения были разные. На третий день по появлении выше прописанной статьи Пушкина мы зашли к Сленину, который нам рассказал, что накануне у него был Булгарин, взбешенный этою статьею, божась, крестясь и кланяясь низко перед висевшею в лавке русскою иконою, хотя он был католик, что между Видоком и им ничего нет общего. Потом спрашивал: «Неужели в этой статье хотели представить меня?» — и прибавлял: «Нет, я в кофейнях не бываю»[11].

Статья эта наделала много шуму, но только литераторам был понятен намек в ней на Булгарина. Чтобы сделать его понятным и публике, были написаны разные эпиграммы и стихотворения, в которых имя Видока ставили рядом с Фигляриным, под которым Булгарин был довольно известен всей читающей публике.

С этой целию была написана Пушкиным ходившая в рукописи в Москве и Петербурге эпиграмма, начинавшаяся стихами:

Не то беда, что ты поляк;
Костюшка лях, Мицкевич лях,—

и кончавшаяся стихом:

Но то беда, что ты Видок Фиглярин.

Булгарин, опасаясь, чтобы эта эпиграмма не появилась в печати и чтобы чрез это не объяснились намеки на него в статье Пушкина о записках шпиона Видока, напечатал ее в издававшемся им и Гречем журнале «Сын отечества и Северный архив» и последний стих изменил следующим образом:

Но то беда, что ты Фаддей Булгарин,—

чрез что потерялась вся соль и цель эпиграммы, и она делалась пасквилем.

Булгарин при этом замечал, что поэт, которого прославляют великим, распускает в публике сочиняемые им пасквили.

Пушкин был очень рассержен этим поступком Греча и Булгарина, говорил, что непременно подаст на них жалобу за напечатание, без его согласия, написанного им стихотворения и на сделанное ими в нем изменение. Пушкин был уверен, что их подвергнут взысканию и, между прочим, по какому-то неизвестному мне закону, внесению в приказ общественного призрения по 10 руб. ассигн. за каждый стих, а так как они один стих ошибкою разделили на два, то за эту ошибку с них взыщут еще лишних 10 руб., что особенно его забавляло. Чем это дело кончилось, я не знаю [12].

В это время Пушкин, вследствие беспрестанных нападков на его аристократическое направление, написал знаменитое стихотворение, под заглавием «Моя родословная», в котором первые шесть строф посвящены роду Пушкиных, а последние три строфы, которые привожу здесь,— так как в них также указывается, что Пушкин в вышеприведенной статье под Видоком разумел Булгарина,— роду Ганнибала, от которого происходила мать Пушкина. Вот эти строфы ⟨...⟩:

Решил Фиглярин вдохновенный:
Я во дворянстве мещанин.
Что ж он в семье своей почтенной:
Он на Мещанской дворянин.

Последний стих намекает на то, что жена Булгарина была взята из тех непотребных домов, которыми изобилует Мещанская улица. ⟨...⟩

Лето 1830 года Дельвиги жили на берегу Невы, у самого

Крестовского перевоза. У них было постоянно много посетителей. Французская июльская революция тогда всех занимала, а так как о ней ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знати. Пушкин, большой охотник до этих посещений, но, постоянно от них удерживаемый Дельвигом, которого он во многом слушался, получил по вышеозначенной причине дозволение посещать знать хотя ежедневно и привозить вести о ходе дел в Париже. Нечего и говорить, что Пушкин пользовался этим дозволением и был постоянно весел, как говорят, в своей тарелке. Посетивши те дома, где могли знать о ходе означенных дел, он почти каждый день бывал у Дельвигов, у которых проводил по нескольку часов. Пушкин был в это время уже женихом. Общество Дельвига было оживлено в это лето приездом Льва Пушкина — офицера Нижегородского драгунского полка, — проводившего почти все время у Дельвигов. Я в начале мая окончил экзамен, а в конце июня надел офицерский мундир и, таким образом, мог жить у Дельвигов. Брат Александр, по окончании лагерного времени, также бывал у них каждый день.

Время проводили тогда очень весело. Слушали великолепную роговую музыку Дмитрия Львовича Нарышкина, игравшую на реке против самой дачи, занимаемой Дельвигами. Такая музыка может существовать только при крепостном праве; с его уничтожением она сделалась, по моему мнению, невозможною, а потому такой уже более в России, слава богу, не услышат. Но нельзя не сказать, что хор роговой музыки Нарышкина, состоявший из очень большого числа музыкантов, был доведен до совершенства. Чтение, музыка и рассказы Дельвига, а когда не бывало посторонних — и Пушкина, занимали нас днем. Вечером, на заре, закидывали невод, а позже ходили гулять по Крестовскому острову. Прогулки эти были тихие и покойные. Раз только вздумалось Пушкину, Дельвигу, Яковлеву и нескольким другим их сверстникам по летам показать младшему поколению, то есть мне, семнадцатилетнему, и брату моему Александру, двадцатилетнему, как они вели себя в наши годы и до какой степени молодость сделалась вялою относительно прежней. Была уже темная августовская ночь. Мы все зашли в трактир на Крестовском острове; с нами была и жена Дельвига. На террасе трактира сидел какой-то господин совершенно одиноким. Вдруг Дельвигу вздумалось, что это сидит шпион и что его надо прогнать. Когда на это требование не поддались ни брат, ни я, Дель-

виг сам пошел заглядывать на тихо сидевшего господина то с правой, то с левой стороны, возвращался к нам с остротами насчет того же господина и снова отправлялся к нему. Брат и я всячески упрашивали Дельвига перестать этот маневр. Что, ежели этот господин даст пощечину? Но наши благоразумные уговоры ни к чему не повели. Дельвиг довел сидевшего на террасе господина своим приставаньем до того, что последний ушел. Если бы Дельвиг послушался нас, то, конечно, Пушкин или кто-либо другой из бывших с нами их сверстников по возрасту заменил бы его. Тем страннее покажется эта сцена, что она происходила в присутствии жены Дельвига, которую надо было беречь, тем более что она кормила своею грудью трехмесячную дочь. Прогнав неизвестного господина с террасы трактира, мы пошли гурьбою, а с нами и жена Дельвига, по дорожкам Крестовского острова, и некоторые из гурьбы приставали разными способами к проходящим мужчинам, а когда брат Александр и я старались их остановить, Пушкин и Дельвиг нам рассказывали о прогулках, которые они по выпуске из Лицея совершали по петербургским улицам, и об их разных при этом проказах и глумились над нами, юношами, не только ни к кому не придирающимися, но даже останавливающими других, которые десятью и более годами нас старее. Я очень боялся за брата Александра, чтобы он не рассердился на пристававших к прохожим, а в особенности на глумившихся над нами Пушкина и Дельвига, и, по своей вспыльчивости, не поссорился бы с кем-либо, но все обошлось благополучно.

Прочитав описание этой прогулки, можно подумать, что Пушкин, Дельвиг и все другие с ними гулявшие мужчины, за исключением брата Александра и меня, были пьяны, но я решительно удостоверяю, что этого не было, а просто захотелось им встряхнуть старинкою и показать ее нам, молодому поколению, как бы в укор нашему более серьезному и обдуманному поведению. Я упомянул об этой прогулке собственно для того, чтобы дать понятие о перемене, обнаружившейся в молодых людях в истекшие десять лет.

Я выше говорил об аристократическом направлении, в котором журналисты упрекали Пушкина и Дельвига. В июне 1830 года им до того это надоело, что они решили отвечать двумя заметками, помещенными в смеси «Литературной газеты». Шутя, в моем присутствии, они составили следующие заметки, конечно, нисколько не ожидая тех

грустных последствий, которым они были первою причиною. Ввиду этих последствий, которые я расскажу ниже, привожу здесь вполне обе заметки.

Первая заметка:

«С некоторых пор журналисты наши упрекают писателей, которым не благосклонствуют, их дворянским достоинством и литературною известностию. Французская чернь кричала когда-то «les aristocrates à la lanterne» *. Замечательно, что и у французской черни крик этот был двусмыслен и означал в одно время аристократию политическую и литературную. Подражание наше не дельно. У нас, в России, государственные звания находятся в таком равновесии, которое предупреждает всякую ревнивость между ними. Дворянское достоинство в особенности ни в ком не может возбуждать неприязненного чувства, ибо доступно каждому. Военная и статская служба, чины университетские легко выводят в оное людей прочих званий. Ежели негодующий на преимущества дворянские не способен ни к какой службе, ежели он не довольно знающ, чтобы выдержать университетские экзамены, жаловаться ему не на что. Враждебное чувство его, конечно, извинительно, ибо необходимо соединено с сознанием собственной ничтожности, но выказывать его неблагоразумно. Что касается до литературной известности, упреки в оной отменно простодушны. Известный баснописец, желая объяснить одно из самых жалких чувств человеческого сердца, обыкновенно скрывающееся под какою-нибудь личиною, написал следующую басню:

Со светлым червячком встречается змея
И ядом вмиг его смертельным обливает.
«Убийца! — он вскричал,— за что погибнул я?»
«Ты светишь» — отвечает [13].

Современники наши, кажется, желают доказать нам ребячество подобных применений и червяков и козявок заменить лицами более выразительными. Все это напоминает эпиграмму, помещенную в 32-м № «Лит. газ.».

Привожу также и эту эпиграмму Баратынского:

Он вам знаком. Скажите, кстати:
Зачем он так не терпит знати?
— Затем, что он не дворянин.—
Ага, нет действий без причин.

* Аристократов на фонарь.

Но почему чужая слава
Его так бесит? — Потому
Что славы хочется ему,
А на нее бог не дал права,
Что не хвалил его никто,
Что плоский автор он.— Вот что.

Вторая заметка, напечатанная в начале августа, была следующего содержания:

«Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии столь же недобросовестны, как и прежние. Ни один из известных писателей, принадлежащих будто бы этой партии, не думал величаться своим дворянским званием. Напротив, «Северная пчела» помнит, кто упрекал поминутно г. Полевого тем, что он купец *, кто заступился за него, кто осмелился посмеяться над феодальною нетерпимостию некоторых чиновных журналистов **. При сем случае заметим, что если большая часть наших писателей дворяне, то сие доказывает только, что дворянство наше (не в пример прочим) грамотное: этому смеяться нечего. Если же бы звание дворянина ничего у нас не значило, то и это было бы вовсе не смешно. Но пренебрегать своими предками из опасения шуток г.г. Полевого, Греча и Булгарина не похвально, а не дорожить своими правами и преимуществами глупо. Не дворяне (особливо нерусские), позволяющие себе насмешки насчет русского дворянства, более извинительны. Но и тут шутки их достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия (которых, впрочем, ни в каком отношении сравнивать с нашими невозможно) приуготовили крики: *«аристократов к фонарю»*, и ничуть не забавные куплеты с припевом: *«повесим их, повесим»*. Avis aux lecteurs» [14].

Вскоре по напечатании последней заметки, которая, казалось, была, равно как и первая, вполне согласна с тогдашним направлением нашего правительства, Дельвиг был потребован в III Отделение собственной канцелярии государя. Требования в это отделение были, конечно, неприятны в высшей степени каждому. Для Дельвига же эта неприятность увеличивалась необходимостью встать рано и немедля выехать из дома, что при его лени было ему невыносимо. В III Отделении бывший шеф жандармов граф Бенкендорф дал строгий выговор Дельвигу за озна-

* Конечно, Греч и Булгарин.
** Конечно, Пушкин и Дельвиг.

ченные заметки и предупреждал, что он вперед за все, что ему не понравится в «Литературной газете» в цензурном отношении, будет строго взыскивать, и, между прочим, долго добивался, откуда Дельвиг знает песню «Les aristocrates à la lanterne». Конечно, Бенкендорф не читал заметок, за которые выговаривал Дельвигу, а вызвал последнего по доносу Булгарина, бывшего тогда шпионом III Отделения и обязанного по этой должности доносить преимущественно на литераторов. В этом же случае Булгарин не только исполнял свои служебные обязанности, но и увлекался чувством ненависти к Дельвигу и желанием уничтожить его газету.

Вообще III Отделение канцелярии государя было в то время очень придирчиво к печати, но эта придирчивость еще более усилилась со времени последней французской революции.

Впоследствии еще раза два Бенкендорф призывал к себе Дельвига и выговаривал ему за статьи «Литературной газеты», не имевшие ничего противоцензурного, чего не допустил бы ни сам Дельвиг, потому что это было совершенно противно его понятиям, ни цензора газеты Щеглов и Семенов, из которых первый цензировал «Литературную газету» с ее начала до половины августа и снова после нижеописанной катастрофы с «Литературною газетою», а последний с половины августа до этой катастрофы, которая состояла в следующем.

В настоящее время последние страницы газет легко пополняются объявлениями, печатание которых составляет одну из главных статей дохода издателей. В то же время, когда оставалось пустое место в конце газеты, встречалось затруднение, чем его пополнить. Так случилось и с номером «Литуратурной газеты», вышедшим в конце октября 1830 года. Ко времени печатания этого номера Дельвиг получил письмо из Парижа, в котором сообщалось четверостишие, напечатанное в конце газеты следующим образом: «Вот новые четыре стиха Казимира де-ла-Виня на памятник, который в Париже предполагается воздвигнуть жертвам 27, 28 и 29 июля:

France, dis-moi leurs noms. Je n'en vois paraître
Sur ce funèbre monument;
Ils ont vaincu si promptement
Que tu fus libre avant de les connaître *.

* Франция, назови мне их имена. Я не вижу их на этом скорбном монументе; они победили столь стремительно, что ты стала свободна прежде, чем узнала их.

Казалось, что в этом четверостишии нет ничего противоцензурного; но вышло совсем напротив. Правительство сделало распоряжение, чтобы ничего касающегося последней французской революции не появлялось в журналах, но не дало об этом знать журналистам, а только одним цензорам. В ноябре Бенкендорф снова потребовал к себе Дельвига, который введен был к нему в кабинет в присутствии жандармов. Бенкендорф самым грубым образом обратился к Дельвигу с вопросом: «Что ты опять печатаешь недозволенное?»

Выражение *ты* вместо общеупотребительного *вы* не могло с самого начала этой сцены не подействовать весьма неприятно на Дельвига. Последний отвечал, что о сделанном распоряжении не печатать ничего относящегося до последней французской революции он не знал и что в напечатанном четверостишии, за которое он подвергся гневу, нет ничего недозволительного для печати. Бенкендорф объяснил, что он газеты, издаваемой Дельвигом, не читает, и когда последний, в доказательство своих слов, вынув из кармана номер газеты, хотел прочесть четверостишие, Бенкендорф его до этого не допустил, сказав, что ему все равно, что бы ни было напечатано, и что он троих друзей — Дельвига, Пушкина и Вяземского уже упрячет, если не теперь, то вскоре, в Сибирь. Тогда Дельвиг спросил, в чем же он и двое других названных Бенкендорфом могли провиниться до такой степени, что должны вскоре подвергнуться ссылке и кто может делать такие ложные доносы. Бенкендорф отвечал, что Дельвиг собирает у себя молодых людей, причем происходят разговоры, которые восстановляют их против правительства, и что на Дельвига донес человек, хорошо ему знакомый. Когда Дельвиг возразил, что собирающееся у него общество говорит только о литературе, что большая часть бывающих у него посетителей или старее его, или одних с ним лет, так как ему всего 32 года от роду, и что он между знакомыми своими не находит никого, кто бы мог решиться на ложные доносы, Бенкендорф сказал, что доносит Булгарин и если он знаком с Бенкендорфом, то может и подавно быть знаком с Дельвигом. На возражение последнего, что Булгарин у него никогда не бывает, а потому он его не считает своим знакомым и полагает, что Бенкендорф считает Булгарина своим агентом, а не знакомым, Бенкендорф раскричался, выгнал Дельвига словами: «вон, вон, я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь».

Так, или почти так, происходила эта сцена, но она в общем виде верна. Дельвиг приехал домой смущенный, разогорченный и оскорбленный. Подобная сцена произвела бы такое же действие на каждого, но она еще сильнее действовала на Дельвига по впечатлительности его натуры и потому, что он был предан душою не только России, но государю и его правительству, никогда не вдаваясь в обсуждения дурных распоряжений последнего и замечая тем, кто при нем вдавался,— что случалось весьма редко,— в подобные осуждения, что трудно осуждать, не имея возможности знать всех подробностей делаемых распоряжений; а если и делаются ошибки, то это в натуре человека и что где, кто и когда их не делал.

Немедленным последствием этой сцены было запрещение продолжать издание «Литературной газеты» и отставка цензора Семенова, который извинялся в сделанном им пропуске вышеозначенного четверостишия тем, что, хорошо зная о направлении Дельвига, который никогда не подведет цензора под ответственность, не обратил внимания на то, что четверостишие относилось к последней французской революции, а не к революции прошедшего столетия, о которой не упоминалось в сделанном правительством распоряжении. Извинение несколько странное ввиду того, что в предшествовавших четверостишию строках «Литературной газеты» именно были упомянуты дни 27, 28 и 29 июля [15].⟨...⟩

В Петербурге в 1831—1832 годах я чаще всего посещал единственный родственный мне дом дяди Гурбандта. ⟨...⟩

Из литературного знакомства я сохранил только дома Плетнева, Сомова и Деларю, а из лицеистов бывал у Яковлева и князя Эристова. У Сомова я читал все, что тогда появлялось нового в нашей литературе. У него же прочитал два новых стихотворения Пушкина: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Патриотическое чувство было во мне до того восторженно и сердце так поражено смертию брата [16], что я, прочитав эти стихотворения, с первого раза их запомнил и не забыл до сего времени. На вечерах Плетнева я видал многих литераторов, и в том числе А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Пушкин и Плетнев были очень внимательны к Гоголю. Со стороны Плетнева это меня нисколько не удивляло, он вообще любил покровительствовать новым талантам, но со стороны Пушкина это было мне вовсе непонятно. Пушкин всегда холодно и надменно обращался с людьми мало ему знакомыми, не

аристократического круга и с талантами малоизвестными. Гоголь же тогда не напечатал еще своего первого творения «Вечера на хуторе близь Диканьки» и казался мне ничем более, как учителем в каком-то женском заведении, плохо одетым и ничем на вечерах Плетнева не выказывавшимся. Я и не подозревал тогда в нем великой его гениальности.

Пушкин бывал иногда у Плетнева и с женою; видев меня у него на вечерах, он не приглашал меня к себе, и я у него не бывал. Гоголь жил в верхнем этаже дома Зайцева, тогда самого высокого в Петербурге, близь Кокушкина моста, а так как я жил в доме Дружинина, вблизи того же моста, то мне иногда случалось завозить его. По прошествии нескольких лет, когда уже была напечатана первая часть «Мертвых душ», я встретился с ним в Москве у сапожника Таке, у которого он очень хлопотал о том, чтобы сапоги ему были красиво сшиты, и в тот же день в Английском клубе, где мы сидели на одном диване. Не узнал ли он меня или не хотел узнать, но мы не говорили друг с другом как в этот раз, так и во все следующие наши встречи в Москве.

А. И. ПОДОЛИНСКИЙ

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ г. В. Б. «МОЕ ЗНАКОМСТВО С ВОЕЙКОВЫМ В 1830 ГОДУ»

В сентябрьской и октябрьской книжках «Русского вестника» прошлого года помещена статья г. В. Б. «Мое знакомство с Воейковым в 1830 году».

По многим данным этой статьи я тотчас же узнал, кто именно ее автор.

Упоминая в ней между прочим и обо мне и, вероятно, полагая, что я уже отошел в такое жилище, из которого не подают уже голоса, г. В. Б. счел возможным дать полную волю своей досужей фантазии, как в те блаженные времена, когда он составлял фельетоны для «Северной пчелы» и сочинял хозяйственные заметки и промышленные рекламы.

Положительно удостоверяю, что во всем, что́ он говорит обо мне, нет почти ни слова правды.

Г. В. Б. заставляет меня обращаться и говорить с собою, как с хорошим приятелем. К сожалению, я должен сказать, что с г. В. Б. я вовсе не был знаком, что если где-нибудь с ним и встречался, то не знал, кто он, почему не имею даже никакого понятия о его наружности, так же как и он о моей, судя по тому фантастическому описанию, которое он обо мне делает и в котором от первого до последнего слова все создано, должно быть, расстроенным воображением.

Не понимаю, как ухитрился г. В. Б. видеть на мне редкие камеи из Геркуланума, дорогие перстни, широкополую шляпу и вообще все то, чем он меня украшает и чего никто никогда на мне не видывал. Я одевался просто, как все прилично одетые люди, не отличаясь никакою, бросающеюся в глаза, изысканностию и расчетом на эффект, совершенно мне несвойственным.

Щедрость свою ко мне автор простирает и далее: он

дарит мне небывалых две тысячи душ в Малороссии, изображая меня *очень и очень* богатым, но как бы заезжим полтавским провинциалом. Если бы г. В. Б. действительно был со мною знаком, то, вероятно, он бы знал, что я не был ни полтавским уроженцем, ни душевладельцем, ни жителем Малороссии, но что, окончив мое воспитание в Петербурге, я, в описываемое им время, состоял там же, уже более шести лет, на службе.

К этому вымыслу г. В. Б. приклеил и другой, не менее отважный. Он вводит меня на вечер к графу Д. И. Хвостову, где будто бы я был встречен с особенным восторгом и почетом. Но увы! я с гр. Д. И. Хвостовым вовсе знаком не был и даже никогда не любопытствовал узнать, где его дом или квартира, почему и попасть к нему на вечер мне было бы трудно, до невозможности.

На этом же сочиненном г. В. Б. вечере князь Ширинский-Шихматов, которого (прошу заметить) я ни тогда, ни после вовсе не знал, с восклицанием прижимает к своей груди мою руку, а сам г. В. Б. объясняет гр. Хвостову, что он знаком со мною по четвергам Греча *. Новая выдумка! У Н. И. Греча я действительно бывал изредка, но только по утрам, а его приглашением на четверги не воспользовался более потому, что все молодые литераторы, являвшиеся на этих вечерах, всегда почти причислялись в общем мнении к булгаринской партии. Я же с ранних пор дал себе слово избегать всякой журнальной стачки, не входить ни в какую полемику и не принадлежать ни к какой исключительной литературной партии. Да и вообще я мало водился с записными литераторами, предпочитая им знакомства в обществе, а в особенности небольшой товарищеский круг по университетскому пансиону. Некоторые из составлявших эти дружеские сходки, называвшиеся у нас ассамблеями, имели впоследствии почетную известность, а гениальный М. И. Глинка постоянно в них участвовал и часто приводил в восторг или возбуждал общую веселость своими вдохновенными импровизациями [1].

Если же, до размолвки моей с бароном Дельвигом, о которой упомяну ниже, я посещал постоянно его еженедельные вечера, то этому были совершенно другие причины. Небольшое собиравшееся у барона общество мне вообще нравилось, и в особенности в нем приятны были

* Не знаю, не упоминает ли автор с такою же правдивостью обо мне и в своем описании четвергов Греча. Этого рассказа я не читал.

нередкие встречи с Пушкиным и Мицкевичем *, доставившие мне возможность несколько ближе с ними сойтись.

---

* Однажды у Дельвига, проходя гостиную, я был остановлен словами Пушкина, подле которого сидел Шевырев: «Помогите нам состряпать эпиграмму...» Но я спешил в соседнюю комнату и упустил честь сотрудничества с поэтом. Возвратясь к Пушкину, я застал дело уже оконченным. Это была знаменитая эпиграмма: «В Элизии Василий Тредьяковский...» Насколько помог Шевырев, я, конечно, не спросил [2].

В другой раз, у Дельвига же, Пушкин стал, шутя, сочинять пародию на мое стихотворение:

Когда стройна и светлоока
Передо мной стоит она,
Я мыслю: Гурия Пророка
С небес на землю сведена...— *и пр.*

Последние два стиха он заменил так:

Я мыслю: в день Ильи Пророка
Она была разведена... [3]

Не лишнее, однако же, заметить, что к этой будто б в день Ильи разведенной написаны и самим Пушкиным стихотворения:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...— *и пр.*

И другое:

Я ехал к вам, живые сны...

Вдохновительница этих стихов показывала мне последнее стихотворение в подлиннике, не знаю почему, изорванном в клочки, на которых, однако ж, можно было рассмотреть, что эти три, по-видимому, так легко вылившиеся строфы стоили Пушкину немалого труда. В них было такое множество переделок, помарок, как ни в одной из случившихся мне видеть рукописей поэта [4].

На этих же вечерах мне неоднократно случалось слышать продолжительные и упорные прения Пушкина с Мицкевичем, то на русском, то на французском языке. Первый говорил с жаром, часто остроумно, но с запинками, второй тихо, плавно и всегда очень логично.

Мицкевича я встретил в первый раз на вечере у В. Н. Щастного, хорошего переводчика нескольких его стихотворений [5]. Поэт, тогда уже знаменитый, молча курил в уголку, так что я не вдруг его заметил. Когда же был ему представлен, он произвел на меня самое приятное впечатление своею скромною приветливостию и добродушною простотою обращения. После этого знакомства я бывал и у него, и всегда с особенным удовольствием. В сороковых годах, по напечатании моей поэмы «Смерть Пери», какой-то приезжий из Варшавы сообщил моему отцу помещенный в одном из польских журналов перевод большого отрывка из этой поэмы, уверяя, что он переведен Мицкевичем. Справедливо ли это, я, к сожалению, не имел возможности удостовериться, но перевод верен и необыкновенно хорош.

Обращаюсь еще к статье г. В. Б. Каким образом мог я померещиться ему на вечере у Воейкова в такое время, когда меня уже вовсе не было в Петербурге? Из статьи видно, что этот вечер был после смерти барона Дельвига, а я, уезжая из Петербурга, оставил барона еще в живых. Это первое; а второе то, что у Воейкова я не только вовсе не бывал, но по особенной случайности *нигде и никогда* его не видел [6].

Много еще неверностей я бы мог указать в упоминаниях г. В. Б. обо мне и о некоторых других, хорошо мне известных, лицах; но, кажется, я уже разъяснил слишком достаточно, какого доверия заслуживают его воспоминания.

Оканчивая с г. В. Б., пользуюсь случаем, чтобы упомянуть еще о двух других встретившихся мне в печати и относящихся ко мне ошибках.

В 10-й тетради Русского архива 1866 года, в Дневнике Липранди, сказано, что во время пребывания Пушкина в Одессе я служил там в почтамте, что Пушкин со мною встречался, но не искал сближения и неизвестно, какого был мнения о моем даровании. Тут все неверно. Ни в каком почтамте я не служил, ничего тогда еще не печатал и приехал в Одессу только в 1831 году; Пушкин же выбыл оттуда в 1824 году и во все время пребывания моего в Одессе там уже не являлся. Год выезда Пушкина из Одессы я хорошо помню по следующему случаю [7].

В 1824 году, по выпуске из Петербургского университетского пансиона, я ехал, в конце июля [8], с Н. Г. К. к родным моим в Киев. В Чернигове мы ночевали в какой-то гостинице. Утром, войдя в залу, я увидел в соседней, буфетной комнате шагавшего вдоль стойки молодого человека, которого, по месту прогулки и по костюму, принял за полового. Наряд был очень непредставительный: желтые, нанковые, небрежно надетые шаровары и русская цветная, измятая рубаха, подвязанная вытертым черным шейным платком; курчавые довольно длинные и густые волосы развевались в беспорядке. Вдруг эта личность быстро подходит ко мне с вопросом: «Вы из Царскосельского лицея?» На мне еще был казенный сертук, по форме одинаковый с лицейским.

Сочтя любопытство полового неуместным и не желая завязывать разговор, я отвечал довольно сухо.

— А! Так вы были вместе с моим братом,— возразил собеседник.

Это меня озадачило, и я уже вежливо просил его назвать мне свою фамилию:

— Я Пушкин; брат мой Лев был в вашем пансионе [9].

Слава Пушкина светила тогда в полном блеске, вся молодежь благоговела пред этим именем, и легко можно себе представить, как я, семнадцатилетний школьник, был обрадован неожиданною встречею и сконфужен моею опрометчивостию.

Тем не менее мой спутник и я скоро с ним разговорились. Он рассказал нам, что едет из Одессы в деревню, но что усмирение его не совсем еще кончено, и, смеясь, показал свою подорожную, где по порядку были прописаны все города, на какие именно он должен был ехать. Затем он попросил меня передать в Киеве записку генералу Раевскому, тут же им написанную [10]. Надобно было ее запечатать, но у Пушкина печати не оказалось. Я достал свою, и она пришлась кстати, так как вырезанные на ней буквы А. П. как раз подходили и к его имени и фамилии. Признаюсь, эта случайность суеверно меня порадовала; я втихомолку начинал уже рифмовать и потому видел в такой тождественности счастливое для себя предзнаменование.

Описанная встреча не была, однако ж, началом моего знакомства с Пушкиным. Он вскоре забыл и самую мою фамилию, как я мог удостовериться из того, что, когда в 1827 году появилась моя первая поэма, Пушкин приписывал ее то тому, то другому из известных уже в то время поэтов, будто бы скрывшемуся под псевдонимом. Он разуверился только тогда, когда по издании моей второй повести я, при выходе из театра, был ему представлен, помнится, Булгариным, с которым он не был еще в открытой войне. Пушкин встретил меня очень приветливо и имел любезность насказать мне много лестного. С тех пор знакомство наше продолжалось, но недолго, так как года через два я оставил Петербург [11].

Перехожу теперь к тому, что было напечатано о моей размолвке с бароном Дельвигом. В статье г. Гаевского о Дельвиге [12], помещенной в «Современнике», говорится, что я рассердился на барона за его рецензию на мою поэму «Нищий» [13]. Поэтому можно бы меня обвинить в раздражительном самолюбии; но я, по совести, могу сказать, что это было бы совершенно несправедливо. Расскажу, как было в действительности.

Избалованный дружбою Пушкина, барон Дельвиг до того ревновал к славе великого поэта, отражавшейся косвенно и на нем, что малейший успех другого начинавшего поэта его уже тревожил. Притом он принял на себя роль

какого-то Аристарха и имел притязание, чтобы посещавшие его, в особенности юные литераторы, спрашивали его советов, и обижался, если они их не слушали. Я же не любил никому навязывать чтение моих произведений и, не слишком доверяя непогрешимости дельвиговской критики, не счел необходимым предъявить барону в рукописи мою новую поэму, о которой (мне на беду) неосторожные друзья успели оповестить чересчур восторженно.

Дельвиг не простил мне, как он полагал, моей самоуверенности, а в преждевременных отзывах о моем новом труде некоторые, вполне сознаю, неуместные сравнения раздражали его тем более, что подобные сравнения были уже прежде высказаны в одном из тогдашних московских журналов. Он вывел заключение, что я много о себе возмечтал и что поэтому надобно, как тогда говорилось, порядочно меня отделать.

Плодом такой совершенно неосновательной догадки и была рецензия, написанная Дельвигом, не совсем добросовестно и с явным намерением уколоть меня побольнее.

Дружеская услуга такого рода не могла мне быть приятною; но главное дело не в ней, а единственно в том, что рецензия печаталась в дельвиговской «Литературной газете» в тот самый вечер, который, по обыкновению, я проводил у барона и в который он был со мною, по обыкновению же, дружелюбен, не упомянув, однако же, ни слова о приготовленной на меня грозе, чего при наших отношениях он не должен был бы сделать, если бы не допускал оскорбительной для меня мысли, что я, быть может, стану просить об уничтожении или, по крайней мере, о смягчении его злой филиппики.

Вот что, собственно, охладило меня к барону, рассеяв и мое заблуждение о приязни его ко мне. Но я не сказал ему ни слова на рецензию, по моему обыкновению, не возражал, а только перестал у него бывать. Впоследствии Дельвиг сознал, что он был неправ, потому что спустя несколько месяцев, встретив меня на улице, первый подал мне руку. Но это было почти накануне моего выезда из Петербурга, а вскоре он умер, о чем я узнал уже в Одессе.

Можно спросить: почему же я так долго терпел напраслину? Да только потому, что сначала откладывал, а потом, по русской привычке, махнул рукой и забыл. Поклеп на мне, вероятно, так бы и остался, не попадись статья г. В. Б., расшевелившая мою старину. Благодарю его за услугу.

Е. А. ДОЛГОРУКОВА

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ П. И. БАРТЕНЕВЫМ

Наталья Ивановна ⟨Гончарова⟩ была довольно умна и несколько начитанна, но имела дурные, грубые манеры и какую-то пошлость в правилах. У нее было несколько человек сыновей и три дочери, Катерина, Александра и Наталья. В Яропольце было около двух тысяч душ, но, несмотря на то, у нее никогда не было денег и дела в вечном беспорядке. В Москве она жила почти бедно, и когда Пушкин приходил к ней в дом женихом, она всегда старалась выпроводить его до обеда или до завтрака. Дочерей своих бивала по щекам. На балы они иногда приезжали в изорванных башмаках и старых перчатках. Долгорукая помнит, как на одном балу Наталью Николаевну уводили в другую комнату и Долгорукая давала ей свои новые башмаки, потому что ей приходилось танцевать с Пушкиным.

Пушкин оставался женихом чуть ли не целый год до свадьбы [1]. Когда он жил в деревне, Наталья Ивановна не позволяла дочери самой писать к нему письма, а приказывала ей писать всякую глупость и между прочим делать ему наставления, чтобы он соблюдал посты, молился богу и пр. Наталья Николаевна плакала от этого.

Пушкин настаивал, чтобы поскорее их обвенчали. Но Наталья Ивановна напрямик ему объявила, что у нее нет денег. Тогда Пушкин заложил именье, привез денег и просил шить приданое. Много денег пошло на разные пустяки и на собственные наряды Натальи Ивановны. В самый день свадьбы она послала сказать ему, что надо еще отложить, что у нее нет денег на карету или на что-то другое. Пушкин опять послал денег. Венчались в приходе невесты у Большого Вознесения. Во время венчания нечаянно упали с налоя крест и Евангелие, когда молодые шли кругом. Пушкин весь побледнел от этого. Потом у него потухла

свечка. «Tous les mauvais augures» *,— сказал Пушкин. В день свадьбы большой ужин у Пушкина в доме Хитровой, где распоряжался Левушка.

Наталья Ивановна была очень довольна. Она полюбила Пушкина, слушалась его. Он с ней обращался как с ребенком. Может быть, она сознательнее и крепче любила его, чем сама жена. Но раз у них был крупный разговор, и Пушкин чуть не выгнал ее из дому. Она вздумала чересчур заботиться о спасении души своей дочери. У Пушкиных она никогда не жила. В последнее время она поселилась у себя в Яропольце и стала очень несносна: просто-напросто пила. По лечебнику пила. «Зачем ты берешь этих барышень?» — спросил у Пушкина Соболевский. «Она целый день пьет и со всеми лакеями...»

Увидел он ее 〈Н. Н. Гончарову〉 в первый раз у Иогеля на балу около 1826.

* Все плохие предзнаменования.

Д. Ф. ФИКЕЛЬМОН

ИЗ ДНЕВНИКА

1829. 10 декабря. Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом — без притязаний, с увлечением и огнем; невозможно быть более некрасивым — это смесь наружности обезьяны и тигра; [1] он происходит от африканских предков и сохранил еще некоторую черноту в глазах и что-то дикое во взгляде.

1830. 13 января. Вчера 12-го мы доставили себе удовольствие поехать в домино и масках по разным домам. Нас было восемь — маменька, Катрин ⟨гр. Е. Ф. Тизенгаузен⟩, г-жа Мейендорф и я, Геккерн, Пушкин, Скарятин и Фриц ⟨Лихтенштейн⟩. Мы побывали у английской посольши, у Лудольфов и у Олениных. Мы очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были тотчас узнаны, и вернулись ужинать к нам [2]. Был прием в Эрмитаже, но послы были там без своих жен.

1830. 11 августа. Вяземский уехал в Москву и с ним Пушкин, писатель; он приезжал сюда на некоторое время, чтобы устроить дела, а теперь возвращается, чтобы жениться. Никогда еще он не был таким любезным, таким полным оживления и веселости в разговоре — невозможно быть менее притязательным и более умным в манере выражаться.

1831. 21 мая. Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену, но не хочет еще ее показывать. Я видела ее у маменьки — это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая,— лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением,— глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные,— взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный, тонкие черты, красивые черные волосы. Он очень в нее влюблен, рядом с ней его уродливость еще более поразительна, но

когда он говорит, забываешь о том, чего ему недостает, чтобы быть красивым, его разговор так интересен, сверкающий умом, без всякого педантства.

1831. 25 октября. Госпожа Пушкина, жена поэта, здесь ⟨у Фикельмонов⟩ впервые явилась в свете; она очень красива, и во всем ее облике есть что-то поэтическое — ее стан великолепен, черты лица правильны, рот изящен и взгляд, хотя и неопределенный, красив; в ее лице есть что-то кроткое и утонченное; я еще не знаю, как она разговаривает,— ведь среди 150 человек вовсе не разговаривают,— но муж говорит, что она умна. Что до него, то он перестает быть поэтом в ее присутствии; мне показалось, что он вчера испытывал все мелкие ощущения, всё возбуждение и волнение, какие чувствует муж, желающий, чтобы его жена имела успех в свете.

1831. 12 ноября. Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике — эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется, и весь ее облик как будто говорит: «Я страдаю». Но и какую же трудную предстоит ей нести судьбу — быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин!

1832. Сентябрь. Госпожа Пушкина, жена поэта, пользуется самым большим успехом; невозможно быть прекраснее, ни иметь более поэтическую внешность, а между тем у нее немного ума и даже, кажется, мало воображения.

1832. 17 ноября. Графиня Пушкина ⟨Э. К. Мусина-Пушкина⟩ очень хороша в этом году, она сияет новым блеском благодаря поклонению, которое ей воздает Пушкин-поэт.

1832. 21 ноября. Самой красивой вчера была, однако ж, Пушкина, которую мы прозвали поэтической, как из-за ее мужа, так и из-за ее небесной и несравненной красоты. Это — образ, перед которым можно оставаться часами, как перед совершеннейшим созданием творца.

1837. 29 января. Сегодня Россия потеряла своего дорогого, горячо любимого поэта Пушкина, этот прекрасный талант, полный творческого духа и силы! И какая печальная и мучительная катастрофа заставила угаснуть этот прекрасный, сияющий светоч, которому как будто предназначено было все сильнее и сильнее освещать все, что его

окружало, и который, казалось, имел перед собой еще долгие годы!

Александр Пушкин, вопреки советам всех своих друзей [3], пять лет тому назад вступил в брак, женившись на Натальe Гончаровой, совсем юной, без состояния и необыкновенно красивой. С очень поэтической внешностью, но с заурядным умом и характером она с самого начала заняла в свете место, подобавшее такой неоспоримой красавице. Многие несли к ее ногам дань своего восхищения, но она любила мужа и казалась счастливой в своей семейной жизни. Она веселилась от души и без всякого кокетства, пока один француз по фамилии Дантес, кавалергардский офицер, усыновленный голландским посланником Геккерном, не начал за ней ухаживать. Он был влюблен в течение года, как это бывает позволительно всякому молодому человеку, живо ею восхищаясь, но ведя себя сдержанно и не бывая у них в доме. Но он постоянно встречал ее в свете, и вскоре в тесном дружеском кругу стал более открыто проявлять свою любовь. Одна из сестер госпожи Пушкиной, к несчастью, влюбилась в него, и, быть может, увлеченная своей любовью, забывая о всем том, что могло из-за этого произойти для ее сестры, эта молодая особа учащала возможности встреч с Дантесом; наконец все мы видели, как росла и усиливалась эта гибельная гроза! То ли одно тщеславие госпожи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце, как бы то ни было, она не могла больше отвергать или останавливать проявления этой необузданной любви. Вскоре Дантес, забывая всякую деликатность благоразумного человека, вопреки всем светским приличиям, обнаружил на глазах всего общества проявления восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине. Казалось при этом, что она бледнеет и трепещет под его взглядами, но было очевидно, что она совершенно потеряла способность обуздывать этого человека и он был решителен в намерении довести ее до крайности. Пушкин тогда совершил большую ошибку, разрешая своей молодой и очень красивой жене выезжать в свет без него. Его доверие к ней было безгранично, тем более что она давала ему во всем отчет и пересказывала слова Дантеса — большая, ужасная неосторожность! Семейное счастье начало уже нарушаться, когда чья-то гнусная рука направила мужу анонимные письма, оскорбительные и ужасные, в которых ему сообщались все дурные слухи и имена его жены и Дантеса были

соединены с самой едкой, самой жестокой иронией. Пушкин, глубоко оскорбленный, понял, что, как бы он лично ни был уверен и убежден в невинности своей жены, она была виновна в глазах общества, в особенности того общества, которому его имя дорого и ценно. Большой свет видел все и мог считать, что само поведение Дантеса было верным доказательством невинности госпожи Пушкиной, но десяток других петербургских кругов, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее каменья. Он написал Дантесу, требуя от него объяснений по поводу его оскорбительного поведения. Единственный ответ, который он получил, заключался в том, что он ошибается, так же как и другие, и что все стремления Дантеса направлены только к девице Гончаровой, свояченице Пушкина. Геккерн сам приехал просить ее руки для своего приемного сына. Так как молодая особа сразу приняла это предложение, Пушкину нечего было больше сказать, но он решительно заявил, что никогда не примет у себя в доме мужа своей свояченицы. Общество с удивлением и недоверием узнало об этом неожиданном браке. Сразу стали заключаться пари в том, что вряд ли он состоится и что это не что иное, как увертка. Однако Пушкин казался очень довольным и удовлетворенным. Он всюду вывозил свою жену: на балы, в театр, ко двору, и теперь бедная женщина оказалась в самом фальшивом положении. Не смея заговорить со своим будущим зятем, не смея поднять на него глаза, наблюдаемая всем обществом, она постоянно трепетала; не желая верить, что Дантес предпочел ей сестру, она по наивности, или, скорее, по своей удивительной простоте, спорила с мужем о возможности такой перемены в сердце, любовью которого она дорожила, быть может, только из одного тщеславия. Пушкин не хотел присутствовать на свадьбе своей свояченицы, ни видеть их после нее, но общие друзья, весьма неосторожные, надеясь привести их к примирению или хотя бы к сближению, почти ежедневно сводили их вместе. Вскоре Дантес, хотя и женатый, возобновил прежние приемы, прежние преследования. Наконец, на одном балу, он так скомпрометировал госпожу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись, а решение Пушкина было с тех пор принято окончательно. Чаша переполнилась, больше не было никакого средства остановить несчастие. На следующий же день он написал Геккерну-отцу,

обвиняя его в сообщничестве, и вызвал его в весьма оскорбительных выражениях. Ответил ему Дантес, приняв на себя вызов за своего приемного отца. Этого-то и хотел Пушкин. В несколько часов все было устроено: г. д'Аршиак из французского посольства стал секундантом Дантеса, а бывший школьный товарищ Пушкина по фамилии Данзас — его секундантом. Все четверо поехали на острова, и там, среди глубокого снега, в пять часов пополудни состоялась эта ужасная дуэль. Дантес выстрелил первый, Пушкин, смертельно раненный, упал, но все же имел силы целиться в течение нескольких секунд и выстрелить в него. Он ранил Дантеса в руку, видел, как тот пошатнулся, и спросил: «Он убит?» — «Нет»,— ответили ему. «Ну, тогда придется начать все снова». Его перевезли домой, куда он прибыл, чувствуя себя еще довольно крепким. Он попросил жену, которая подошла к двери, оставить его ненадолго одного. Послали за докторами. Когда они прозондировали рану, он захотел узнать, смертельна ли она. Ему ответили, что на сохранение его жизни очень мало надежды. Тогда он послал за своими близкими друзьями: Жуковским, Вяземским, Тургеневым и некоторыми другими. Он написал императору, поручая ему свою жену и детей. После этого он разрешил войти своей глубоко несчастной жене, которая не хотела ни поверить своему горю, ни понять его. Он повторял ей тысячу раз, и все с возрастающей нежностью, что считает ее чистой и невинной, что должен был отомстить за свою поруганную честь, но что он сам никогда не сомневался ни в ее любви, ни в ее добродетели. Когда пришел священник, он исповедался и исполнил все, что полагалось. Император, всегда великодушный и благородный в тех случаях, где нужно сердце, написал ему эти драгоценные строки: «Я тебя прощаю. Если нам не суждено больше увидеться на этой земле, утешь меня, умри христианином и исполни свой последний долг. Что касается твоей жены и детей, будь спокоен — они будут моими». Пушкин, которого так часто упрекали в либерализме, в революционном духе, поцеловал это письмо императора и велел ему сказать, что он умирает с сожалением, так как хотел бы жить, чтобы быть его поэтом и историком! Агония продолжалась 36 часов. В течение этих ужасных часов он ни на минуту не терял сознания. Его ум оставался светлым, ясным, спокойным. Он говорил о дуэли только для того, чтобы получить от своего секунданта обещание не мстить за него и чтобы передать своим отсутствующим шурьям запрещение драть-

ся с Дантесом. К тому же все, что он сказал своей жене, было ласково, нежно, утешительно. Он ни от кого ничего не принимал, кроме как из ее рук. Обернувшись к своим книгам, он им сказал: «Прощайте, друзья!» Наконец он как бы заснул, произнеся слово «Кончина!» * — «Все кончено». Жуковский, который любил его, как отец, и все эти часы сидел около него, рассказывает, что в это последнее мгновение лицо Пушкина как бы озарилось новым светом, а в серьезном выражении его лица было словно удивление, точно он увидел нечто великое, неожиданное и прекрасное. Эта очень поэтическая мысль достойна чистой, невинной, глубоко верующей, ясной души Жуковского!

Несчастную жену с большим трудом спасли от безумия, в которое ее, казалось, неудержимо влекло мрачное и глубокое отчаяние. Император был великолепен во всем, что он сделал для этой несчастной семьи.

Дантес, после того как его долго судили, был разжалован в солдаты и выслан за границу; его приемный отец, которого общественное мнение осыпало упреками и проклятиями, просил отозвать его и покинул Россию — вероятно, навсегда. Но какая женщина посмела бы осудить госпожу Пушкину? Ни одна, потому что все мы находим удовольствие в том, чтобы нами восхищались и нас любили,— все мы слишком часто бываем неосторожны и играем с сердцами в эту ужасную и безрасчетную игру! Мы видели, как эта роковая история начиналась среди нас подобно стольким другим кокетствам, мы видели, как она росла, увеличивалась, становилась мрачнее, делалась такой горестной,— она должна была бы стать большим и сильным уроком несчастий, к которым могут привести непоследовательность, легкомыслие, светские толки и неосторожные поступки друзей, но кто бы воспользовался этим уроком? Никогда, напротив, петербургский свет не был так кокетлив, так легкомыслен, так неосторожен в гостиных, как в эту зиму!

---

* Слово «Кончина» написано графиней Фикельмон по-русски; затем по-французски «C'est fini».

Печальна эта зима 1837 года, похитившая у нас Пушкина, друга сердца маменьки, и затем у меня Ричарда Артура (?), друга, брата моей молодости, моей счастливой и прекрасной неаполитанской молодости! Он скончался в Париже от последствий гриппа, оставив молодую прелестную жену, двухлетнего сына и бедную безутешную мать! Он был провидением своей многочисленной семьи и всех своих друзей — благородное и большое сердце, рыцарский и чистый характер, способный на редкую и драгоценную дружбу, характер, какой можно встретить только по особой милости бога! Его место в моем сердце остается пустым — так же, как и место Адели! Это два листа книги моей жизни, которые закрылись навсегда!

А. О. СМИРНОВА-РОССЕТ

ИЗ «ЗАПИСОК А. О. СМИРНОВОЙ»

К концу года Петербург проснулся; начали давать маленькие вечера [1]. Первый танцовальный бал у Элизы Хитровой. Она приехала из-за границы с дочерью, графиней Тизенгаузен, за которую будто сватался прусский король. Элиза гнусила, была в белом платье, очень декольте; ее пухленькие плечи вылезали из платья; на указательном пальце она носила Георгиевскую ленту и часы фельдмаршала Кутузова и говорила: «Il a porté cela à Borodino» *. Пушкин был на этом вечере и стоял в уголке за другими кавалерами. Мы все были в черных платьях. Я сказала Стефани: «Мне ужасно хочется танцовать с Пушкиным».— «Хорошо, я его выберу в мазурке»,— и точно, подошла к нему. Он бросил шляпу и пошел за ней. Танцовать он не умел. Потом я его выбрала и спросила: «Quelle fleur?» — «Celle de votre couleur» **,— был ответ, от которого все были в восторге [2]. Элиза пошла в гостиную, грациозно легла на кушетку и позвала Пушкина. Всем известны стихи Пушкина:

Ныне Лиза en гала
У австрийского посла,
Не по-прежнему мила!
Но по-прежнему гола [3].

⟨...⟩ После Нового года балы, вечера и концерты участились. Фирс Голицын меня зазвал в Филармоническую залу, где давали всякую субботу концерты: «Requiem» Моцарта, «Creation» Гайдена, симфонии Бетговена, одним словом, сериозную немецкую музыку. Пушкин всегда их посещал. Тогда в «Северных цветах» печатали стихи

* Он носил это при Бородине.
** «Какой цветок?» — «Вашего цвета».

Трилунного. Я говорила Пушкину: «Я уверена, что Трилунный здесь».— «Конечно, он стоит в углу; фамилия его Струйский» [4].

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О ЖУКОВСКОМ И ПУШКИНЕ»

Часть лета 1830 года мы провели в Петергофе, а потом в Царском Селе до сентября. Тут уже мы часто видались с Жуковским, но в 1831 году в Царском мы видались ежедневно. Пушкин с молодой женой поселился в доме Китаева, на Колпинской улице. Жуковский жил в Александровском дворце, а фрейлины помещались в Большом дворце. Тут они оба взяли привычку приходить ко мне по вечерам, то есть перед собранием у императрицы, назначенным к 9 часам. Днем Жуковский занимался с великим князем или работал у себя. Пушкин писал, именно свои сказки, с увлечением; так как я ничего не делала, то и заходила в дом Китаева. Наталья Николаевна сидела обыкновенно за книгою внизу. Пушкина кабинет был наверху, и он тотчас нас зазывал к себе. Кабинет поэта был в порядке. На большом круглом столе перед диваном находились бумаги и тетради, часто несшитые, простая чернильница и перья; на столике графин с водой, лед и банка с крыжовниковым вареньем, его любимым (он привык в Кишиневе к дульчецам *). Волоса его обыкновенно еще были мокры после утренней ванны и вились на висках; книги лежали на полу и на всех полках. В этой простой комнате, без гардин, была невыносимая жара, но он это любил, сидел в сюртуке, без галстука. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, выходил на балкон и привирал всякую чепуху насчет своей соседки графини Ламберт. Иногда читал нам отрывки своих сказок и очень серьезно спрашивал нашего мнения. Он восхищался заглавием одной: «Поп — толоконный лоб и служитель его Балда». «Это так дома можно,— говорил он,— а ведь цензура не пропустит!» [1] Он говорил часто: «Ваша критика, мои милые, лучше всех; вы просто говорите: этот стих нехорош, мне не нравится.» Вечером, в 5 или 6 часов, он с женой ходил гулять вокруг озера, или я заезжала в дрожках за его женой; иногда и он садился на перекладинку верхом и тогда был необыкновенно весел и забавен. У него была неистощимая mobilité de

* сладостям.

l'esprit *. В 7 часов Жуковский с Пушкиным заходили ко мне; если случалось, что меня дома нет, я их заставала в комфортабельной беседе с моими девушками. «Марья Савельевна у вас аристократка; а Саша, друг мой, из Архангельска, чистая демократка. Никого в грош не ставит». Они заливались смехом, когда она Пушкину говорила: «Да что же мне, что вы стихи пишете — дело самое пустое! Вот Василий Андреевич гораздо почетнее вас».— «А вот за то, Саша, я тебе напишу стихи, что ты так умно рассуждаешь». И точно, он ей раз принес стихи, в которых говорилось, что

Архангельская Саша
Живет у другой Саши.

Стихи были довольно длинны и пропали у нее.

В это время оба, Жуковский и Пушкин, предполагали издание сочинений Жуковского с виньетками. Пушкин рисовал карандашом на клочках бумаги, и у меня сохранился один рисунок, также и арабская головка его руки [2]. Жуковский очень любил вальс Вебера и всегда просил меня сыграть его; раз я рассердилась, не хотела играть, он обиделся и потом написал мне опять галиматью. Вечером Пушкин очень ею любовался и говорил, что сам граф Хвостов не мог бы лучше написать. Очень часто речь шла о сем великом муже, который тогда написал стихи на Монплезир:

Все знают, что на лире
Жуковский пел о Монплезире
И у гофмаршала просил
Себе светелочки просторной,
Веселой, милой, нехолодной — *и пр.*

Они тоже восхищались и другими его стихами по случаю концерта, где пели Лисянская и Пашков:

Лисянская и Пашков там
Мешают странствовать ушам.

«Вот видишь,— говорил ему Пушкин,— до этого ты уж никак не дойдешь в своих галиматьях».— «Чем же моя хуже»,— отвечал Жуковский и начал читать:

Милостивая государыня, Александра Иосифовна!
Честь имею препроводить с моим человеком
Федором к вашему превосходительству данную вами

* Живость ума.

Книгу мне для прочтения, записки французской известной
Вам герцогини Абрантес. Признаться, прекрасная книжка!
Дело, однако, идет не об этом. Эту прекрасную книжку
Я спешу возвратить вам по двум причинам: во-первых,
Я уж ее прочитал; во-вторых, столь несчастно навлекши
Гнев на себя ваш своим непристойным вчера поведеньем,
Я не дерзаю более думать, чтоб было возможно
Мне, греховоднику, ваши удерживать книги. Прошу вас
Именем дружбы прислать мне, сделать
Милость мне, недостойному псу, и сказать мне, прошла ли
Ваша холера и что мне, собаке, свиной образине,
Надобно делать, чтоб грех свой проклятый загладить и снова
Милость вашу к себе заслужить? О царь мой небесный!
Я на все решиться готов! Прикажете ль — кожу
Дам содрать с своего благородного тела, чтоб сшить вам
Дюжину теплых калошей, дабы, гуляя по травке,
Ножек своих замочить не могли вы? Прикажете ль, уши
Дам отрезать себе, чтобы, в летнее время хлопушкой
Вам усердно служа, колотили они дерзновенных
Мух, досаждающих вам неотступной своею любовью
К вашему смуглому личику? Должно, однако, признаться:
Если я виноват, то неправы и вы. Согласитесь
Сами, было ль за что вам вчера всколыхаться, подобно
Бурному Черному морю? И сколько слов оскорбительных с ваших
Уст, размалеванных богом любви, смертоносной картечью
Прямо на сердце мое налетело! И очи ваши, как русские пушки,
Страшно палили, и я, как мятежный поляк, был из вашей
Мне благосклонной обители выгнан! Скажите ж,
Долго ль изгнанье продлится? Мне сон привиделся чудный.
Мне показалось, будто сам дьявол, чтоб черт его побрал!
В лапы меня ухватил...
Пользуюсь случаем сим, чтоб опять изъявить перед вами
Чувства глубокой, сердечной преданности, с коей пребуду
Вечно вашим покорным слугою. Василий Жуковский.

У него тогда был камердинер Федор (который жил прежде у Александра Ивановича Тургенева) и вовсе не смотрел за его вещами, так что у него всегда были разорванные платки носовые, и он не только не сердился на него, но всегда шутил над своими платками. Он всегда очень любил и уважал фрейлину Вильдермет, бывшую гувернантку Александры Федоровны, через которую он часто выпрашивал деньги и разные милости своим protégés, которых у него была всегда куча. M-lle Вильдермет была точно так же не сведуща в придворных хитростях, как и он; она часто мне говорила: «Joukoffsky fait souvent des bévues; il est naif, comme un enfant» *,— и Жуковский точно таким же образом отзывался об ней. На вечера, на которые мы ежедневно приглашались, Жуковского, не знаю почему,

* Жуковский часто попадает впросак; он наивен, как дитя.

императрица не звала, хотя очень его любила. Однажды он ко мне пришел и сказал: «Вот какая оказия, всех туда зовут, а меня никогда; ну, как вы думаете: рассердиться мне на это и поговорить с государыней? Мне уж многие намекали».— «Ведь вам не очень хочется на эти вечера?» — «Нет».— «Разве это точно вас огорчает?» — «Нет, видите, ведь это, однако, странно, что Юрьевича зовут, а меня нет».— «Ведь вы не сумеете рассердиться, и все у вас выйдет не так, как надобно, и скучно вам будет на этих вечерах; так вы уж лучше не затевайте ничего».— «И то правда, я и сам это думал, оно мне и спокойнее и свободнее». Тем и кончилась эта консультация.

Когда взяли Варшаву, приехал Суворов с известиями; мы обедали все вместе за общим фрейлинским столом. Из Александровского прибежал лакей и объявил радостную и страшную весть. У всех были родные и знакомые; у меня два брата на штурме Воли. Мы все бросились в Александровский дворец, как были, без шляп и зонтиков, и, проходя мимо Китаева дома, я не подумала объявить об этом Пушкину. Что было во дворце, в самом кабинете императрицы, я не берусь описывать [3]. Государь сам сидел у ее стола, разбирал письма, писанные наскоро, иные незапечатанные, раздавал их по рукам и отсылал по назначению. Графиня Ламберт, которая жила в доме Олениной против Пушкина и всегда дичилась его, узнавши, что Варшава взята, уведомила его об этом тогда так нетерпеливо ожидаемом происшествии. Когда Пушкин напечатал свои известные стихи на Польшу, он прислал мне экземпляр и написал карандашом: «La comtesse Lambert m'ayant annoncée la premiere prise de Varsovie, il est juste qu'elle recoive le premier exemplaire, le second pour vous» *.

От вас узнал я плен Варшавы.
Вы были вестницею славы
И вдохновеньем для меня.

«Quand j'aurais trouvé les deux autres vers, je vous les enverrais» ** [4]. Писем от Пушкина я никогда не получала. Когда разговорились о Шатобриане, помню, он говорил: «De tout ce qu'il a écrit il n'y a qu'une chose qui m'aye plu; voulez-vous que je vous l'écris dans votre album? Si je pouvais

---

* Графиня Ламберт первая возвестила мне о взятии Варшавы: справедливо, чтобы она получила первый экземпляр. Второй для вас.

** Когда найду две другие строки, пришлю их вам.

encore croire au bonheur, je le chercherais dans le monotonie des habitudes de la vie» * [5].

В 1832 году Александр Сергеевич приходил всякий день почти ко мне, также и в день рождения моего принес мне альбом и сказал: «Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои записки»,— и на первом листе написал стихи: «В тревоге пестрой и бесплодной» и пр. [6] Почерк у него был великолепный, чрезвычайно четкий и твердый. Князь П. А. Вяземский, Жуковский, Александр Ив. Тургенев, сенатор Петр Ив. Полетика часто у нас обедали. «Пугачевский бунт» в рукописи был слушаем после такого обеда [7]. За столом говорили, спорили; кончалось всегда тем, что Пушкин говорил один и всегда имел последнее слово. Его живость, изворотливость, веселость восхищали Жуковского, который, впрочем, не всегда с ним соглашался. Когда все после кофия уселись слушать чтение, то сказали Тургеневу: «Смотри, если ты заснешь, то не храпеть». Александр Иванович, отнекиваясь, уверял, что никогда не спит: и предмет и автор бунта, конечно, ручаются за его внимание. Не прошло и десяти минут, как наш Тургенев захрапел на всю комнату. Все рассмеялись, он очнулся и начал делать замечания как ни в чем не бывало. Пушкин ничуть не оскорбился, продолжал чтение, а Тургенев преспокойно проспал до конца.

ИЗ «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСОК»

Летом в Павловске я познакомилась с семейством Карамзиных. ⟨...⟩ Они жили в Китайских домиках, и тут началась долголетняя дружба с этим милым семейством. Катерина Андреевна, по-видимому сухая, была полна любви и участия ко всем, кто приезжал в ее дом. Они жили зимой и осенью на Владимирской против самой церкви и просили меня у них обедать. После обеда явился Фирс Голицын и Пушкин и предложил прочитать свою последнюю поэму «Полтаву». Нельзя было хуже прочесть свое сочинение, как Пушкин. Он так вяло читал, что казалось, что ему надоело его собственное создание. ⟨...⟩ Он читал так плохо и вяло, что много красот я только после оценила.

---

* Из всего, что он написал, мне понравилось только одно; хотите, чтобы я написал это вам в альбом? «Если бы я мог еще верить в счастье, я искал бы его в однообразии житейских привычек».

C'est magnifique *. Так прекрасно описание украинской ночи, любовь молодой красавицы, дочери Кочубея, к старому Мазепе, от которого ее отец погибает на плахе. Одним словом, c'est un chef-d'oeuvre. Je n'ai pas les oeuvres de Pouchkine avec moi, tu les trouveras dans notre maison. Il a voulu que je dise mon opinion, et j'ai bêtement dit que c'était très bien ** [1].

⟨...⟩ У Потоцкого были балы и вечера. У него я в первый раз видела Елизавету Ксавериевну Воронцову в розовом платье. Тогда носили cordelière ***. Ее cordelière были из самых крупных бриллиантов. Она танцовала мазурку на удивленье всем с Потоцким. ⟨...⟩ На его вечерах были des huissiers **** со шпагами, официантов можно было принять за светских франтов, ливрейные были только в большой прихожей, омеблированной как салон: было зеркало, стояли кресла и каждая шуба под номером. Все это на английскую ногу. Пушкин всегда был приглашен на эти вечера и говорил, что любителям счастья, все подавали en fait de rafraichissement ***** и можно называть то то, то другое, и желтенькие соленые яблоки, и морошку, любимую Пушкиным, брусника и брусничная вода, клюквенный морс и клюква, café glacé ******, печения, даже коржики, а пирожным конца не было.

⟨...⟩ Александра Васильевна d'Hoggier вышла замуж за Ивана Григорьевича Сенявина; она устроила свой дом на Аглицкой набережной ⟨...⟩ У нее делали живые картины «La leçon de musique en Torbury» ******* ⟨...⟩ Потом была картина графини Завадовской «La mère de Gracques» ********, она лежала на кушетке, дети стояли за спиной ее, кажется, оба сына Сенявиной. Она так была хороша и в ней было столько спокойной грации, что все остолбенели. Эту картину повторяли три раза. Потом я в итальянке, в крестьянском итальянском костюме сидела на полу,

* Это великолепно.

** это шедевр. У меня нет с собой сочинений Пушкина, ты найдешь их у нас в доме. Он пожелал, чтобы я высказала свое мнение, и я глупо сказала, что это очень хорошо.

*** цепь из драгоценных камней.

**** швейцары.

***** охлажденным.

****** кофе с мороженым.

******* «Урок музыки в Торбюри».

******** «Мать Гракхов».

а у ног моих Воронцов-Дашков в костюме транстевера лежал с гитарой на полу. Большой успех, и повторили три раза, и, не сняв костюм, оделись и в каретах отправились к Карамзиным на вечер; [2] я знала, что они будут танцовать avec un tapeur *. Все кавалеры были заняты, один Пушкин стоял у двери и предложил мне танцовать с ним мазурку. Мы разговорились, и он мне сказал: «Как вы хорошо говорите по-русски».— «Еще бы, мы в институте всегда говорили по-русски, нас наказывали, когда мы в дежурный день говорили по-французски. А на немецкий махнули рукой».— «Mais vous êtes Italienne?» — «Non, je ne suis d'aucune nationalité: mon père était Francais, ma Grande-mère était une Georgienne et mon Grand-père — un Prussien. Mais je suis orthodoxe et Russe de coeur **. Плетнев нам читал вашего «Евгения Онегина», мы были в восторге, но когда он сказал: панталоны, фрак, жилет, мы сказали: какой, однако, Пушкин индеса ***». Он разразился громким веселым смехом personal ****. Про него Брюллов говорил: «Когда Пушкин смеется, у него даже кишки видны».

⟨...⟩ Наш учитель словесности был Петр Александрович Плетнев, который теперь учителем при царских детях. Пушкин ничего не печатал без его одобрения, у него такой верный эстетический вкус.

⟨*Киселев*⟩: «В Петербурге я часто виделся с Пушкиным, при мне он написал стихи мелком на зеленом сукне:

Своенравная Россети
В прихотливой красоте
Все сердца пленила эти
Те, те, те и те, те, те».

«Я не знала, что он написал эти стихи».— «Все играли на мелок. Один Николай Михайлович платил тотчас, и Пушкин ему говорил: «Смирнов, ты жену проиграешь в карты».— «Если Россети, то не проиграю» [3] ⟨...⟩

---

* с тапером.

** «Но вы итальянка?» — «Нет, я не принадлежу ни к какой национальности: мой отец был француз, моя бабушка — грузинка, а дед — пруссак, но я православная и по сердцу русская».

*** От *фр.* indécent — непристойный.

**** свойственным только ему.

«А я-то медведем сидел или у Пушкина ⟨бывал⟩ и видел, как он играет. Пушкин меня гладил по головке и говорил: «Ты паинька, в карты не играешь и любовниц не водишь». На этих вечерах был Мицкевич, большой приятель Пушкина. Он и Соболевский тоже не играли. Однажды, очень поздно, мы втроем вышли, направляясь домой, подошли к недостроенному дому, и Мицкевич пропал. Мы его звали, ответа не было. Мы полагали, что он зашел за угол по надобности, и пошли домой. Я в Почтамтскую, где жил в трех комнатах с Михайлой. На другой день Мицкевич нам рассказал, что рано утром пришли работники и его разбудили на самой опасной высоте дома. Они его спустили в кадке на веревке. С ним был припадок сомнамбулизма, и он не может себе растолковать, как он туда забрался» ⟨...⟩

⟨*Смирнова*⟩: — Не знаю, видели ли вы в Царском большой бассейн, в котором проточная вода; он возле девушки с разбитым кувшином. Это очень хорошенький маленький памятник.

⟨*Киселев*⟩: — Да, я был в Царском только один раз и лишь это и видел. Я был слишком беден, чтобы нанять экипаж, и пришел туда пешком с Пушкиным, который такой же безумный «Capitaine d'infanterie», как я. Не знаю, читали ли вы когда-нибудь «Les historiettes galantes» de Tallemmant des Réaux? *

⟨*Смирнова*⟩: — Конечно, и они доставили мне много удовольствия, особенно «Ответы г. Космю», и я знаю «L'histoire du capitaine d'infanterie».** Именно Пушкин мне указал на них, так же как на сочинения Ривароля, Шамфора и «Сказки» Вольтера [4].

⟨*Киселев*⟩: — Я тогда вместе с Пушкиным совершил продолжительную прогулку вокруг озера, а потом мы прошли мимо комнат, где вы жили, в первом этаже, и Пушкин сказал мне: «Здесь я проводил самые приятные вечера у «фрейлинки Россет», как ее называли придворные лакеи. Сперва мы с женой катались в парных дрожках, которые называли ботиками, я сидел на перекладине и пел им песню, божусь тебе — не моего сочинения:

---

* Галантные историйки Тальмана де Рео.

** История пехотного капитана.

Царь наш — немец русский.
Царствует он где же?
Всякий день в манеже.
Школы все казармы,
Судьи все жандармы,
А Закревский — баба,
Управляет в Або,
А другая баба
Начальником штаба [5].

И эти стихи не мои:

Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена [6].

⟨*Киселев*⟩: — Сумасшедшие, разве такая махина, как Россия, может жить без самодержавия?

⟨*Смирнова*⟩: — Кисс, Пушкин жил тогда в доме Китаева, придворного камер-фурьера. В столовой красный диван, обитый бархатом, два кресла и шесть стульев, овальный стол и ломберный накрывали для обеда. Хотя летом у нас был придворный обед довольно хороший, мы обедали все вместе, это уж были новые порядки Волконского, министра двора ⟨...⟩, но я любила обедать у Пушкина. Обед составляли щи или зеленый суп с крутыми яйцами (я велю сделать вам завтра этот суп), рубленые большие котлеты со шпинатом или щавелем, а на десерт — варенье с белым крыжовником.

⟨*Смирнова*⟩: — Представьте себе, Киселев, что блины бывают гречневые, потом с начинкой из рубленых яиц, потом крупичатые блины со снетками, потом крупичатые розовые.

⟨*Киселев*⟩: — Об розовых я и понятия не имею. Как их делают розовыми?

⟨*Смирнова*⟩: — Со свеклой. Пушкин съедал их 30 штук, после каждого блина выпивал глоток воды и не испытывал ни малейшей тяжести в желудке.

⟨ *Смирнова*⟩: ⟨...⟩ Государь цензуровал «Графа Нулина». У Пушкина сказано: «урыльник». Государь вычеркнул и написал — будильник. Это восхитило Пушкина: «C'est la remarque de gentilhomme» *. А где нам до будильника, я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом, не посылать же в Нижний за этрусской вазой».

---

* Это замечание джентльмена.

— Государь тоже цензуровал последние главы «Онегина»?

— Все это не при мне писано. Я очень удивилась, когда раз вечером мне принесли пакет от государя, он хотел знать мое мнение о его заметках. Конечно, я была того же мнения и сохранила пакет. Il y a cette magnifique paraphe * и в его почерке виден весь человек, т. е. повелитель [7].

⟨*Смирнова*⟩: ⟨...⟩ Я была почти всегда окружена мужчинами — Жуковский, Вяземский, Пушкин, Плетнев, некоторые иностранцы — и могу вас уверить, что никогда не слышала от кого-нибудь из них двусмысленного слова.

⟨Диалог А. О. Смирновой и Н. Д. Киселева⟩

⟨*Смирнова*⟩: ⟨...⟩ Вот еще пример, который мне стыдно рассказывать теперь, когда я понимаю неприличие того, что я тогда выпалила. Говорили о горах в Швейцарии, и я сказала: «Никто не всходил на Mont-Rose». Я не знаю, как мне пришло в голову сказать, что я вулкан под ледяным покровом, и, торопясь, клянусь, не понимая, что говорю, я сказала: «Я, как Mont-Rose, на которую никто не всходил». Тут раздался безумный смех, я глупо спросила, отчего все рассмеялись. Madame Карамзина погрозила Пушкину пальцем. Три Тизенгаузен были там и, как я, не понимали, конечно, в чем дело.

⟨*Киселев*⟩: — Но это жестоко со стороны Пушкина смеяться над наивностью девушки. Вы покраснели, рассказывая мне это, я так люблю ваше очаровательное целомудрие. ⟨...⟩

⟨*Киселев*⟩: — Какой я дурак был, жил медведем в этом гадком Питере, я бы вас там встретил и не оскотинился в Париже.

⟨*Смирнова*⟩: — Вот и вы, мой милейший, все делаете некстати, как я.

⟨*Киселев*⟩: — Да что уж про меня говорить, я просто дрянь, хуже Платонова; а Смирнов часто там бывал?

⟨*Смирнова*⟩: — Всякий день, там он сделал предложение. Мне так было тяжело решиться, что я просила Катерину Андреевну передать ему, чтоб он просто спросил, да или нет. Он спросил: «Да?» Я долго молчала, обретаясь в стра-

---

* На нем этот великолепный росчерк.

хе и конфузе, и по несчастью сказала «Да», а в сердце было «Нет».

⟨*Киселев*⟩: — Какой счастливец мой добрый Смирнов, какое сокровище ему досталось; я рад для него, но опасаюсь для вас.

⟨*Смирнова*⟩: — Пушкин мне сказал: «Quelles folies vous faites, je l'aime beaucoup, mais il ne saura jamais vous créer une position dans le monde, il n'en a aucune et n'en aura jamais aucune» * [8].— «Au diable, Pouchkine, les positions, quand on a le besoin d'aimer et qu' on ne trouve absolument personne qu'on puisse aimer» ** ⟨...⟩

⟨...⟩ Пушкин говорил мне в Царском, когда Смирнов уехал для устройства своих дел. Он уехал на следующий день, даже не поцеловав мне руку. Перовский проезжал в дрожках и, скотина, даже не посмотрел на мои окошки. Пушкин сказал: «То так, то пятак, то гривенка, а что, если бы он теперь предложил бы свою руку с золотым наперстком?» — «Сейчас положила бы свою и на коленах бы его благодарила».

⟨*Киселев*⟩: — И вы действительно послали бы Смирнову отказ?

⟨*Смирнова*⟩:— Конечно. Перовский был очень красив, храбр, добр, как ангел, у него тоже было 2000 крестьян, он был бы щедрым покровителем моих братьев [9].

⟨*Смирнова*⟩: ⟨...⟩ Обычно в марте Пушкиным овладевала ужасная тоска, он видался только с Плетневым, нашим учителем литературы, единственным уважаемым нами учителем, и все повторял: «Грустно, тоска». Плетнев, сын провинциального священника, имел слабость говорить: «А ведь гораздо честнее быть сыном попа, чем воришки-человека»,— ⟨так вот⟩. Плетнев предлагал ему читать. Он отвечал: «Вот уже год, любезный друг, что я кроме Евангелия ничего не читаю».

⟨*Киселев*⟩: — Бедный Пушкин, а я его знал таким веселым и беззаботным. Много ли стихов он вам написал?

⟨*Смирнова*⟩:— Нет, мой поэт — Вяземский, но писал мне почти всегда шуточные стихи. У меня есть альбом,

---

* «Какую глупость вы делаете. Я его очень люблю, но он никогда не сумеет создать вам положение в свете. Он его не имеет и никогда не будет иметь».

** «К черту, Пушкин, положение в свете, когда есть потребность любить и не находишь совершенно никого, кого мог бы полюбить».

я его вам покажу — мне его подарила Софи Карамзина ко дню рождения или именин, не помню. Пушкин написал в этот альбом:

Записки А. О. Смирновой

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

А я-то никогда не писала ни строчки до тех пор, пока вы не попросили меня писать воспоминания. Из этих стихов возникла моя репутация злючки — я думаю, вы убедились уже, что я вовсе не зла. Я никогда никому об этом не говорила.

⟨*Киселев*⟩: — По-моему, Пушкин очень плохо закончил это прелестное стихотворение — ваш портрет. Но вы действительно очень остро высмеиваете то, что смешно, и в глазах других это может показаться злым [10].

⟨...⟩ Мы возвратились и встретили Ольгу Долгорукую, которую вел под руку Платонов в голубых панталонах и зеленой охотничьей куртке с золотыми пуговицами.

⟨*Смирнова*⟩: — Киса, посмотрите, каким фордыбаком он ходит!

⟨*Киселев*⟩: — Что такое фордыбак?

⟨*Смирнова*⟩: — Это в лексиконе Шишкова, это Пушкин говорил. Фордыбак — это хвастун без умысла, а щелкопер — ветрогон ⟨...⟩ У Шишкова есть название для модных дам — толпега. Пушкин так называет княгиню Голицыну, рожденную Апраксину. Она очень плотная и очень модничает, по-французски она — M-me Tolpège, а Труперта — старая кокетка. У него биллиард — шарокат, а кий — шаротер [11].

⟨*Смирнова*⟩: ⟨...⟩ Этот Ноздрев говорил, что было где-нибудь весело: «Музыка играет, штандарт скачет». Из этого Самарин сделал глагол и говорил мне: «Вы были на бале, что, там было штандартно?»

⟨*Киселев*⟩: — Это слово заимствованное, и Шишков должен внести его в число самых приятных и используемых.

⟨*Смирнова*⟩: — Чтобы покончить с этими словами — мы с Пушкиным составили коллекцию переводов французских слов или, точнее, эпитетов. Так, у Шишкова хвастун называется фордыбак, ветрогон — щелкопер, элегантная, но несколько плотная дама — Топтыга, старая кокетка — Труперта, галоши — мокроступы, кий — шаротер, биллиард — шарокат. Пушкин говорил, что его любимый поэт — Тредьяковский, а после него граф Хвостов. В доказательство прелести Тредьяковского он приводил два стиха:

О лето, лето, тем ты мне не любовно,
Что ахти не грибовно.

И Хвостова ⟨...⟩, а лучше всего его стихи после вечера, который давала Марья Антоновна Нарышкина, где барышни Лисянские пели с Пашковым:

Лисянские и Пашков там
Мешают странствовать ушам.

Это выше всего. И потом, у него локотники вместо кресел и еще что-то.

⟨*Киселев*⟩: ⟨...⟩ — Как вы хорошо говорите по-русски!

⟨*Смирнова*⟩: — Да, это очень удивило Пушкина; довольно странно, что в Петербурге удивляются, что русские дамы хорошо говорят по-русски. Государь со мною всегда говорит по-русски. Он первый заговорил в салоне императрицы по-русски. Александр Пав⟨лович⟩ и его Лизета всегда говорили по-французски [12].

⟨*Смирнова*⟩: ⟨...⟩ — Знаете ли, Киселев, Пушкин находит Петербург столь строгим и добродетельным, что, по его мнению, это не может так продолжаться, и однажды наступит ужасный крах.

— Тем хуже, мне будет досадно, если наша столица станет когда-нибудь такой же клоакой, как Париж.

⟨...⟩ После своего завтрака он ⟨Киселев⟩ пришел ко мне. Я продолжала чтение, лежа на диване. «Но, Киса, я должна приподняться, дайте мне руку! Нет, лучше пропу-

стите руку... Так! Благодарю вас!» Он вспыхнул и строго посмотрел на меня.

— Боже, как вы любите играть с огнем!

— Глупости! Сколько раз Пушкин оказывал мне эту услугу, когда он приходил сидеть со мной с Шамфором, Риваролем или Вольтером. У меня тогда была убийственная тоска после родов ⟨...⟩ [13].

⟨*Киселев*⟩: ⟨...⟩ — Кто такой Гоголь?

⟨*Смирнова*⟩: — Ах, Киса, на каком свете вы живете?

⟨*Киселев*⟩: — Что же вы хотите, русские, живущие в Париже, говорят только о цифрах, цифрах или болезнях.

⟨*Смирнова*⟩: — Гоголь — автор романа «Мертвые души» и малороссийских сказок. Пушкин от них в восторге ⟨...⟩ [14]

Встреча с Гоголем в Бадене

⟨*Гоголь*⟩: — Еду к бедному Языкову в Ганау, он лечится у Каппа.

⟨*Смирнова*⟩: — Николай Вас⟨ильевич⟩, вот Ник⟨олай⟩ Дмитрич Киселев, он учился в Дерпте с Языковым, и Языков ему первому читал свои стихи.

⟨*Киселев*⟩: — Да, пожалуйста, Николай В⟨асильевич⟩, передайте ему мое истинное сожаление и дружбу. Я воображаю, сколько прелестных стихотворений он написал.

⟨*Гоголь*⟩: — Да, его стихи «Землетрясение» — одно из лучших произведений нашей богатой поэзии. Пушкин от них в восторге.

⟨*Смирнова*⟩: ⟨...⟩ Вот это имена, а Гоголю это было совершенно натурально. У него в родстве Боб"и Чечевица, Пищи-Муха, Миклуха-Маклай, а в «Тарасе Бульбе» есть воевода Кисель, ваш предок — а так как вы недостаточно энергичны, вы истинный Кисель; есть Голопупенко, Белокопытенко, а в России есть Гнилосыров и Серопупов.

⟨*Киселев*⟩: — Вот вы это выдумали, чтобы иметь удовольствие говорить гадости.

⟨*Смирнова*⟩: — Совсем не выдумала. Пушкин с Мятлевым пишут чепуху под названием «Поминки».

Дай попьем, помянем
Трех Матрен, Луку с Петром [15] —

а потом в продолжение:

Михаила Михалыча Сперанского
И арзамасского почт-директора Ермоланского,
Князя Вяземского Петра,
Почти пьяного с утра,
Да Апраксина Степана,
Большого болвана [16].

Представьте себе, мой милый, что он уродлив, как смертный грех, человек с большим состоянием и при этом глуп. Пушкин был очень возмущен, когда Софья вышла за него замуж ⟨...⟩. Я прибавлю только, что эти господа не могли найти рифму к Юсупову, но однажды Мятлев вошел, торжествуя и говоря ему: «Нашел!»

Князя Бориса Юсупова
И полковника Серопупова.

Это в «Инвалиде» о приезжающих и отъезжающих. Гоголь всегда читает эти имена, и поэтому в «Мертвых душах» и «Городничем» нет выдуманных имен, все это подлинные фамилии. Я узнала, что Онегин — тоже истинная фамилия [17].

⟨*Смирнова*⟩: ⟨...⟩ Пушкин говорил, что стихи Мятлева помогают очень хорошо заметить нашу кукольную комедию ⟨...⟩, говорил, что вместо «Петра Ив⟨ановича⟩ Укусова и прямо в ад» надобно заменить: «господа сенаторы» и пр. [18]

⟨«Пушкин мне рассказывал...»⟩

В записках генерала Рапп вы найдете самое точное повествование о страшной ночи, когда совершилось ужасное преступление ⟨...⟩ Пушкин мне рассказывал, что в 6 часов не было ни одной бутылки шампанского. Совершив гнусное дело, они ликовали ⟨...⟩

⟨...⟩ В Петербург приехал из деревни старик Скарятин и был на бале у графа Фикельмона. Жуковский подошел к нему и начал расспрашивать все подробности убийства. «Как же вы покончили, наконец?» Он просто отвечал, очень хладнокровно: «Я дал свой шарф, и его задушили». Это тоже рассказывал мне Пушкин [19].

В⟨еликий⟩ к⟨нязь⟩ Павел был болезненный ребенок и очень нервный. Пушкин мне рассказывал: она ⟨Екатерина II⟩ знала, что на него находили пароксизмы страха, когда он слышал внезапный шум. Она послала его командовать войсками; мы воевали с Швецией, их корабли под Выборгом так палили, что в Смольном монастыре окна дребезжали. Павел был все время впереди, делал чудеса храбрости, но поплатился горячкой и расстроением желудка [20].

⟨*Смирнова*⟩ : Пушкин мне рассказал, что раз он ⟨Ланжерон⟩ давал большой обед одесскому купечеству, а так как у него нет никакого порядка, он живет выше своих средств, то он им говорил: «Если император не прибавит мне жалованья, мне не на что будет кормить котлетами этих каналий». Слова эти были встречены громким хохотом.

⟨*Киселев*⟩: — Но я думал, что Пушкин был только во время Воронцова.

⟨*Смирнова*⟩: — Он оставался еще недолго при Ланжероне. Ты знаешь ли, что он сказал об Одессе — зимой грязища, а летом песочница. Его Воронцов не любил, потому что он был дружен с Раевским, который был слишком хорош с его женой. Он послал Пушкина в Бессарабию, приказав ему сделать доклад об опустошениях саранчи. Это ужасные насекомые, которые в течение часа пожирают самый лучший урожай, земля покрывается черной и тяжелой коркой, потому что они оседают, говорят, что в сущности это хорошее удобрение. Пушкин сделал свой доклад: «Саранча сидела, сидела, все съела и улетела».

⟨*Киселев*⟩: — Какой плут, я этого не знал.

⟨*Смирнова*⟩: — Он называл графиню Воронцову «La comtesse de Бельветрило».

Пушкин мне рассказывал, что он раз встретил партию, которая шла по этапам. Разбойники шли в кандалах, а женщины ехали на повозках. Необыкновенно красивая девушка шла, приплясывая, и листом капусты укрывалась от солнца. Все это его поразило, и особенно выражение невинности — он дал ей денег и спросил, зачем ее отправляют в Сибирь.— «Убила мать и свое незаконнорожденное дитя пяти лет». Он говорил, что у него волосы дыбом стали [21].

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ Я. П. ПОЛОНСКИМ

Ни в ком не было такого ребяческого благодушия, как в Жуковском. Но никого не знала я умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с ним не могли — бывало, забьет их совершенно. Вяземский, которому очень не хотелось, чтоб Пушкин был его умнее, надуется и уж молчит, а Жуковский смеется: «Ты, брат Пушкин, черт тебя знает, какой ты — ведь вот и чувствую, что вздор говоришь, а переспорить тебя не умею, так ты нас обоих в дураки и записываешь» [1].

Раз я созналась Пушкину, что мало читаю. Он мне говорит: «Послушайте, скажу и я вам по секрету, что я читать терпеть не могу, многого не читал, о чем говорю. Чужой ум меня стесняет. Я такого мнения, что на свете дураков нет. У всякого есть ум, мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя». И действительно, он мог со всеми весело проводить время. Иногда с лакеями беседовал.

Когда мы жили в Царском Селе, Пушкин каждое утро ходил купаться, после чая ложился у себя в комнате и начинал потеть. По утрам я заходила к нему. Жена его так уж и знала, что я не к ней иду.

— Ведь ты не ко мне, а к мужу пришла, ну и поди к нему.

— Конечно, не к тебе, а к мужу. Пошли узнать, можно ли войти?

— Можно.

С мокрыми курчавыми волосами лежит, бывало, Пушкин в коричневом сюртуке на диване. На полу вокруг книги, у него в руках карандаш.

— А я вам приготовил кой-что прочесть,— говорит.

— Ну читайте.

Пушкин начинал читать (в это время он сочинял все сказки). Я делала ему замечания, он отмечал и был очень доволен.

Читал стихи он плохо.

Жена его ревновала ко мне. Сколько раз я ей говорила: «Что ты ревнуешь ко мне. Право, мне все равны: и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев,— разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня» [2].

— Я это очень хорошо вижу, говорит, да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает.

Однажды говорю я Пушкину: «Мне очень нравятся ваши стихи «Подъезжая под Ижоры».

— Отчего они вам нравятся?

— Да так,— они как будто подбоченились, будто плясать хотят.

Пушкин очень смеялся.

— Ведь вот, подите, отчего бы это не сказать в книге печатно — «подбоченились»,— а вот как это верно. Говорите же после этого, что книги лучше разговора.

Когда сердце бьется от радости, то, по словам Пушкина, оно:

То так,
То пятак,
То денежка!

Этими словами он хотел выразить биение и тревогу сердца.

Наговорившись с ним, я спрашивала его (поутру у него в комнате):

— Что же мы теперь будем делать?

— А вот что! Не возьмете ли вы меня прокатиться в придворных дрогах?

— Поедемте.

Бывало, и поедем. Я сяду с его женой, а он на перекладинке, впереди нас, и всякий раз, бывало, поет во время таких прогулок:

Уж на Руси
Мундир он носит узкий,
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

(Не помню, запишу в другое время.)

П. А. и В. Ф. ВЯЗЕМСКИЕ

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ П. И. БАРТЕНЕВЫМ

В 1816 году для Карамзина отвели казенный дом в Царском Селе, прямо против Лицейского сада (второй дом от угла). Бруни, отец знаменитого художника, занимавшийся при дворе реставрациею картин, нарисовал нарочно на стене одной комнаты этого дома портрет Карамзина. Карамзин очень этому удивился и немедленно велел замазать портрет. Рядом с ним жил граф Толстой (женатый на Протасовой), который немало удивлялся, за что Карамзину такая милость.

Чаадаев познакомился с Пушкиным у Карамзина. Еще прежде он слышал о нем от своего товарища по Московскому университету А. С. Грибоедова, который хвалил ему стихи Пушкина на возвращение государя из чужих краев в 1815 году (этих стихов Пушкин никак не хотел печатать).

В 1818 году И. В. Васильчиков сказал Чаадаеву, своему адъютанту: «Вы любите словесность. Не знаете ли вы молодого Пушкина? Государь желает прочесть его стихи, ненапечатанные». Чаадаев передал о том Пушкину и с его согласия отдал Васильчикову «Деревню» [1], которая отменно полюбилась государю (была переписана самим Пушкиным, разумеется, с ее последними стихами, которые долго не разрешались к печати) [2].

Княгиня Вяземская в 1824 году ездила в Одессу с сыном Николаем, лет семи. Пушкин очень его любил и учил всяким пакостям. «Будь он постарше, я бы вас до него не допустила». В Одессе Пушкин прибегал к княгине Вяземской и, жалуясь на Воронцова, говорил, что подаст в отставку. Когда решена была его высылка из Одессы, он прибежал впопыхах с дачи Воронцовых весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека от княгини Вяземской. Иногда он пропадал. «Где вы были?» — «На кораблях. Целые трое суток пили и кутили».

Раз, во время прогулки по морю на лодке, он прочитал княгине своего «Демона». Он признавался княгине в своей любви к Ризнич и сказывал, что муж отослал ее за границу из ревности [3].

Когда Пушкин был женихом, свадьба долго откладывалась; княгиня Вяземская по его просьбе ездила к Н. И. Гончаровой и просила скорее кончать. Пушкин отдал своих 25 тысяч на приданое. Будущего пушкинского тестя, умоповрежденного Николая Афанасьевича Гончарова, княгиня Вяземская видела в церкви у Большого Вознесения в Москве и говела с ним в одно время. Он прекрасно говорил по-французски и любил употреблять отменные выражения. «Je vous félicite avec la réception de la sainte cène» *.

Лето 1826 года князь Вяземский провел в Ревеле с осиротевшею семьею Карамзиных. Княгиня оставалась в Москве. Возвращенный Пушкин тотчас явился к ней. Из его рассказа о свидании с царем княгиня помнит заключительные слова: «Ну теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин». К последним праздникам коронации возвратился в Москву князь Вяземский. Узнав о том, Пушкин бросился к нему, но не застал дома, и когда ему сказали, что князь уехал в баню, Пушкин явился туда, так что первое их свидание после многолетнего житья в разных местах было в номерной бане.

В письме своем к будущей теще (в Русском архиве 1873 г.) Пушкин говорит: le mot de bienveillance ** и пр. Князь Вяземский думает, что это относится вот к чему. Зная, что Пушкин давно влюблен в Гончарову, и увидав ее на балу у кн. Д. В. Голицына, князь Вяземский поручил И. Д. Лужину, который должен был танцевать с Гончаровой, заговорить с нею и с ее матерью мимоходом о Пушкине, с тем, чтобы по их отзыву доведаться, как они о нем думают. Мать и дочь отозвались благосклонно и велели кланяться Пушкину. Лужин поехал в Петербург, часто бывал у Карамзиных и передал Пушкину этот поклон.

Н. Н. Пушкина сама сказывала княгине Вяземской, что муж ее в первый же день брака, как встал с постели, так и не видал ее. К нему пришли приятели, с которыми он до того заговорился, что забыл про жену и пришел к ней только к обеду. Она очутилась одна в чужом доме и заливалась слезами.

---

* Я вас поздравляю с принятием святого причастия.

** Благосклонное слово.

Через несколько месяцев, уже в Царском Селе, она пришла к Вяземским в полном отчаянии: муж трое суток пропадает. Оказалось, что на прогулке он встретил дворцовых ламповщиков, ехавших в Петербург, добрался с ними до Петербурга, где попался ему возвратившийся из Польши из полку своего К. К. Данзас, и с ним пошел кутеж...

Еще за месяц или за полтора до рокового дня Пушкин, преследуемый анонимными письмами, послал Гекерну, кажется, через брата жены своей, Гончарова, вызов на поединок. Названый отец Гекерна, старик Гекерн, не замедлил принять меры. Князь Вяземский встретился с ним на Невском, и он стал рассказывать ему свое горестное положение: говорил, что всю жизнь свою он только и думал, как бы устроить судьбу своего питомца, что теперь, когда ему удалось перевести его в Петербург, вдруг приходится расстаться с ним; потому что во всяком случае, кто из них ни убьет друг друга, разлука несомненна. Он передавал князю Вяземскому, что он желает сроку на две недели для устройства дел, и просил князя помочь ему. Князь тогда же понял старика и не взялся за посредничество; но Жуковского старик разжалобил: при его посредстве Пушкин согласился ждать две недели.

История разгласилась по городу. Отец с сыном прибегли к следующей уловке. Старик объявил, будто сын признался ему в своей страстной любви к свояченице Пушкина, будто эта любовь заставляла его так часто посещать Пушкиных и будто он скрывал свои чувства только потому, что боялся не получить отцовского согласия на такой ранний брак (ему было с небольшим 20 лет). Теперь Гекерн позволял сыну жениться, и для самолюбия Пушкина дело улаживалось как нельзя лучше: стреляться ему было уже не из чего, а в городе все могли понять, что француз женится из трусости. Свадьбу сыграли в первой половине генваря. Друзья Пушкина успокоились, воображая, что тревога прошла.

После этого государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед. Так как сношения Пушкина с государем происходили через графа Бенкендорфа, то перед поединком Пушкин написал известное письмо свое на имя графа Бенкендорфа, собственно назначенное для государя. Но письма этого Пушкин не решился посылать, и оно найдено было у него в кармане сюртука, в котором он дрался. Письмо это многократно напечатано.

В подлиннике я видал его у покойного Павла Ивановича Миллера, который служил тогда секретарем при графе Бенкендорфе; он взял себе на память это не дошедшее по назначению письмо.

В 1836 году княжна Марья Петровна Вяземская была невестою (она вскоре и вступила в брак с П. А. Валуевым). Родители принимали лучшее петербургское общество. Н. Н. Пушкина бывала очень часто, и всякий раз, как она приезжала, являлся и Гекерн, про которого уже знали, да и он сам не скрывал, что Пушкина очень ему нравится. Сберегая честь своего дома, княгиня-мать напрямик объявила нахалу французу, что она просит его свои ухаживанья за женою Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через несколько времени он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня сказала ему, что ей остается одно — приказать швейцару, коль скоро у подъезда их будет несколько карет, не принимать г-на Гекерна. После этого он прекратил свои посещения, и свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных. Кн. Вяземская предупреждала Пушкину относительно последствий ее обращения с Гекерном. «Я люблю вас, как своих дочерей; подумайте, чем это может кончиться!» — «Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то же, что было два году сряду». Пушкин сам виноват был: он открыто ухаживал сначала за Смирновою, потом за Свистуновою (ур. гр. Соллогуб). Жена сначала страшно ревновала, потом стала равнодушна и привыкла к неверностям мужа. Сама она оставалась ему верна, и все обходилось легко и ветрено.

Между тем посланник (которому досадно было, что сын его женился так невыгодно) и его соумышленники продолжали распускать по городу оскорбительные для Пушкина слухи. В Петербург приехали девицы Осиповы, тригорские приятельницы поэта; их расспросы, что значат ходившие слухи, тревожили Пушкина. Между тем он молчал, и на этот раз никто из друзей его ничего не подозревал. Князь Вяземский жил открыто и принимал к себе большое общество. За день до поединка он возвращается домой поздно вечером. Жена говорит ему, что им надобно на время закрыть свой дом, потому что нельзя отказать ни Пушкину, ни Гекерну, а между тем в тот вечер они приезжали оба; Пушкин волновался, и присутствие Гекерна было для него невыносимо. На другой день князь Вяземский с одним знакомым своим, Ленским, гуляя по Невско-

му, встречают старика Гекерна в извозчичьих санях. Их удивило, что посланник едет в таком экипаже. Заметя их, он вышел из саней и сказал им, что гулял далеко, но вспомнил, что ему надо написать письма, и, чтобы скорей поспеть домой, взял извозчика. После они узнали, что он ехал с Черной Речки, где ждал, чем кончится поединок. Пушкина, как более тяжело раненного, повезли домой в карете Гекерна. Аренд, исполняя желание Пушкина, поехал к государю; но тот был в театре и долго не возвращался. Прождавши до позднего часа, Аренд оставил ему записку и уже на другой день привез к Пушкину письмо государя.

Влюбленная в Гекерна высокая, рослая старшая сестра Екатерина Николаевна Гончарова нарочно устраивала свидания Натальи Николаевны с Гекерном, чтобы только повидать предмет своей тайной страсти. Наряды и выезды поглощали все время. Хозяйством и детьми должна была заниматься вторая сестра, Александра Николаевна, ныне Фризенгоф. Пушкин подружился с нею...

Княгиня Вяземская говорит, что Пушкин был у них в доме как сын. Иногда, не заставая их дома, он уляжется на большой скамейке перед камином и дожидается их возвращения или возится с молодым князем Павлом. Раз княгиня застала, как они барахтались и плевали друг в друга. С княгинею он был откровеннее, чем с князем. Он прибегал к ней и рассказывал свое положение относительно Гекерна. Накануне Нового года у Вяземских был большой вечер. В качестве жениха Гекерн явился с невестою. Отказывать ему от дома не было уже повода. Пушкин с женою был тут же, и француз продолжал быть возле нее. Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у него такой страшный вид, что, будь она его женою, она не решилась бы вернуться с ним домой. Наталья Николаевна с ним была то слишком откровенна, то слишком сдержанна. На разъезде с одного бала Гекерн, подавая руку жене своей, громко сказал, так что Пушкин слышал: «Allons, ma légitime». (Пойдем, моя законная.) Мадам ⟨Полетика⟩, по настоянию Гекерна, пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, что, когда она осталась с глазу ⟨на глаз⟩ с Гекерном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастию,

ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней.

Пушкин не скрывал от жены, что будет драться. Он спрашивал ее, по ком она будет плакать. «По том,— отвечала Наталья Николаевна,— кто будет убит». Такой ответ бесил его: он требовал от нее страсти, а она не думала скрывать, что ей приятно видеть, как в нее влюблен красивый и живой француз. «Я готова отдать голову на отсечение,— говорит княгиня Вяземская,— что все тем и ограничивалось и что Пушкина была невинна». Накануне дуэли, вечером, Пушкин явился на короткое время к княгине Вяземской и сказал ей, что его положение стало невыносимо и что он послал Гекерну вторичный вызов. Князя не было дома. Вечер длился долго. Княгиня Вяземская умоляла Василия Перовского и графа М. Ю. Вельегорского дождаться князя и вместе обсудить, какие надо принять меры. Но князь вернулся очень поздно. На другой день Наталья Николаевна прислала сказать своей приятельнице, дочери Вяземских, Марье Петровне Валуевой, о случившемся у них страшном несчастии. Валуева была беременна, и мать не пустила ее в дом смертной тревоги, но отправилась сама и до кончины Пушкина проводила там все сутки. Она помнит, как, в одну из предсмертных ночей, доктора, думая облегчить страдания, поставили промывательное, отчего пуля стала давить кишки, и умирающий издавал такие крики, что княгиня Вяземская и Александра Николаевна Гончарова, дремавшие в соседней комнате, вскочили от испуга. Прощаясь с женою, Пушкин сказал ей: «Vas en campagne, porte mon deuil pendant deux années, puis remaries-toi, mais pas avec un chenapan» *. Диван, на котором лежал умиравший Пушкин, был отгорожен от двери книжными полками. Войдя в комнату, сквозь промежутки полок и книг можно было видеть страдальца. Тут стояла княгиня Вяземская в самые минуты последних его вздохов. Даль сидел у дивана; кто-то еще был в комнате. Княгиня говорит, что нельзя забыть божественного спокойствия, разлившегося по лицу Пушкина, того спокойствия, о котором пишет Жуковский.

На одном вечере Гекерн, по обыкновению, сидел подле Пушкиной и забавлял ее собою. Вдруг муж, издали следивший за ними, заметил, что она вздрогнула. Он не-

---

* Отправляйся в деревню, носи по мне траур два года и потом выходи замуж, но только не за шалопая.

медленно увез ее домой и дорогою узнал от нее, что Гекерн, говоря о том, что у него был мозольный оператор, тот самый, который обрезывал мозоли Наталье Николаевне, прибавил: «Il m'a dit que le cor de madame Pouchkine est plus beau que le mien» *. Пушкин сам передавал об этой наглости княгине Вяземской.

Пушкина чувствовала к Гекерну род признательности за то, что он постоянно занимал ее и старался быть ей приятным.

На вынос тела из дому в церковь Н. Н. Пушкина не явилась от истомления и оттого, что не хотела показываться жандармам.

Пушкин не любил стоять рядом с своею женой и шутя говаривал, что ему подле нее быть унизительно: так мал был он в сравнении с нею ростом.

Жену свою Пушкин иногда звал: моя косая Мадонна. У нее глаза были несколько вкось. Пушкин восхищался природным ее смыслом. Она тоже любила его действительно. Княгиня Вяземская не может забыть ее страданий в предсмертные дни ее мужа. Конвульсии гибкой станом женщины были таковы, что ноги ее доходили до головы. Судороги в ногах долго продолжались у нее и после, начинаясь обыкновенно в 11 часов вечера.

Venez m'aider à faire respecter l'appartement d'une veuve **. Эти слова графиня Юлия Строганова повторяла неоднократно и даже написала о том мужу в записке, отправленной в III Отделение, где тот находился по распоряжениям о похоронах. Пушкина хоронили на счет графа Г. А. Строганова. Митрополит Серафим, по чьим-то внушениям, делал разные затруднения.

Старик барон Гекерн был известен распутством. Он окружал себя молодыми людьми наглого разврата и охотниками до любовных сплетен и всяческих интриг по этой части; в числе их находились князь Петр Долгоруков и граф Л. С⟨оллогуб⟩.

Накануне дуэли был раут у графини Разумовской. Кто-то говорит Вяземскому: «Подите посмотрите, Пушкин о чем-то объясняется с Даршиаком; тут что-нибудь недоброе». Вяземский направился в ту сторону, где были Пушкин и Даршиак; но у них разговор прекратился.

---

* Непереводимая игра слов: «cor» — мозоль, «corps» — тело. Буквально: «Он мне сказал, что мозоль госпожи Пушкиной гораздо красивее, чем у моей жены».

** Придите, чтобы помочь мне заставить уважать жилище вдовы.

Княгине Вяземской говорили, что отец и мать Гекерна жили в Страсбурге вполне согласно, и никакого не было подозрения, чтобы молодой Гекерн был чей-нибудь незаконный сын. Один из чиновников голландского посольства Геверс открыто говорил, что посланник их лжет, давая в обществе знать, будто молодой человек его незаконный сын.

Пушкин говаривал, что как скоро ему понравится женщина, то, уходя или уезжая от нее, он долго продолжает быть мысленно с нею и в воображении увозит ее с собою, сажает ее в экипаж, предупреждает, что в таком-то месте будет толчок, одевает ей плечи, целует у нее руку и пр. Однажды княгиня Вяземская, посылая к нему слугу, велела спросить, с кем он тот день уезжает. «Скажи, что сам-третей»,— отвечал Пушкин. Услыхав этот ответ,— «третьею, верно, ты»,— заметил князь Вяземский своей жене.

П. П. ВЯЗЕМСКИЙ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
1826—1837

Приезд Пушкина в Москву в 1826 году произвел сильное впечатление, не изгладившееся из моей памяти и до сих пор.

Вызванный императором Николаем Павловичем, вскоре после коронации, из заточения в Михайловском, Пушкин как метеор промелькнул в моих глазах.

«Пушкин, Пушкин приехал»,— раздалось по нашим детским, и все дети, учителя, гувернантки — все бросились в верхний этаж, в приемные комнаты взглянуть на героя дня.

Литературные знаменитости были нам не в диковину: Дмитриев, Жуковский, Баратынский вращались в нашей детской среде, даже Рылеев, которого я прозвал «voilà la chose», по его обычному присловью, подмеченному мною; все они, повторяю, были и нам, детям, люди довольно близкие. Один лишь Карамзин являлся детскому воображению как непостижимая и недостижимая величина: однажды я провел целое лето у Карамзиных в Царском Селе в 1825 году и помню то благоговейное чувство, которым проникнуты были к нему все члены семейства. Сильному впечатлению, произведенному приездом Пушкина, не говоря о магическом действии его стихов, появление которых всегда составляло событие в доме, несомненно, много содействовала дружба Пушкина с моею матушкой в Одессе, где часть нашего семейства провела лето в 1824 году. И детские комнаты, и девичья с 1824 года были неувядающим рассадником легенд о похождениях поэта на берегах Черного моря. Мы жили тогда в Грузине, цыганском предместье Москвы, в сельскохозяйственном подворье П. А. Кологривова, вотчима моей матушки. Позже, зимой 1826—1827, по переезде в наш дом в Чернышевом переулке, я решился, по тогдашней моде, поднести Пушкину, вслед за

прочими членами семейства, и мой альбом, недавно подаренный мне: то была небольшая книжка в 32-ю долю листа, в красном сафьяновом переплете; я просил Пушкина написать мне стихи.

Дня три спустя Пушкин возвратил мне альбом, вписав в него:

Здравствуй, друг мой Павел!
Держись моих правил:
Делай то-то, то-то,
Не делай того-то.
Кажется, что ясно.
Прости, мой прекрасный [1].

Я уже упоминал выше, что каждое появление стихотворений Пушкина было событием и в нашем детском мире: каждая глава «Онегина», «Бахчисарайский фонтан», «Цыгане», ежегодные альманахи царили в наших детских комнатах и растрепывались пуще любого учебника.

Со времени написания стихов в мой альбом кличка моя в семействе стала: «друг мой Павел»; до стихов же Пушкина я пользовался нелестным прозвищем:

Павлушка, медный лоб, приличное прозванье,
Имел ко лжи большое дарованье.

Прозвище это взято было из эпиграммы Измайлова на Павла Свиньина и навлекло на моих сестер строгий нагоняй со стороны Пушкина за предосудительную, вредную шутку [2].

В 1827—1828 годах вокруг меня более других стихотворений Пушкина звучали стихи из «Бахчисарайского фонтана» и «Цыган». Я помню, как мой наставник, Феодосий Сидорович Толмачев, в зиму 1827—1828, обращая мое внимание на значение «Цыган», объяснял, что Пушкин писал с натуры, что он кочевал с цыганскими таборами по Бессарабии, что его даже упрекали за безнравственный род жизни весьма несправедливо, потому что писатель и художник имеют полное право жить в самой развратной и преступной среде для его изучения.

Легенда эта, поясняющая мнимую с натуры передачу цыганской жизни, в воображении ребенка рисовала лишь высшие, таинственные наслаждения вне условий и тесных рамок семейной жизни. О предосудительности посещения

цыган я уже довольно наслышался в родственных кружках «московских бригадирш обоего пола».

В 1827 году Пушкин учил меня боксировать по-английски, и я так пристрастился к этому упражнению, что на детских балах вызывал желающих и нежелающих боксировать, последних вызывал даже действием во время самых танцев. Всеобщее негодование не могло поколебать во мне сознания поэтического геройства, из рук в руки переданного мне поэтом-героем Пушкиным. Последствия геройства были, однако, для меня тягостны: изо всего семейства меня одного перестали возить даже на семейные праздники в подмосковные ближайших друзей моего отца.

Пушкин научил меня еще и другой игре.

Мать моя запрещала мне даже касаться карт, опасаясь развития в будущем наследственной страсти к игре [3]. Пушкин во время моей болезни научил меня играть в дурачки, употребив для того визитные карточки, накопившиеся в Новый 1827 год. Тузы, короли, дамы и валеты козырные определялись Пушкиным, значение остальных не было определено, и эта-то неопределенность и составляла всю потеху: завязывались споры, чья визитная карточка бьет ходы противника. Мои настойчивые споры и приводимые цитаты в пользу первенства попавшихся в мои руки козырей потешали Пушкина, как ребенка.

Эти непедагогические забавы поэта объясняют и оправдываются его всегдашним взглядом на приличие. Пушкин неизменно в течение всей своей жизни утверждал, что все, что возбуждает смех — позволительно и здорово, все, что разжигает страсти — преступно и пагубно. Года два спустя именно на этом основании он настаивал, чтобы мне дали читать Дон-Кихота, хотя бы и в переводе Жуковского.

Пушкина обвиняли даже друзья в заискивании у молодежи для упрочения и распространения популярности. Для меня нет сомнения, что Пушкин так же искренно сочувствовал юношескому пылу страстей и юношескому брожению впечатлений, как и чистосердечно, ребячески забавлялся с ребенком.

Пушкин поражен был красотою Н. Н. Гончаровой с зимы 1828—1829 года. Он, как сам говорил, начал помышлять о женитьбе, желая покончить жизнь молодого человека и выйти из того положения, при котором какой-

нибудь юноша мог трепать его по плечу на бале и звать в неприличное общество.

Холостая жизнь и несоответствующее летам положение в свете надоели Пушкину с зимы 1828—1829 года. Устраняя напускной цинизм самого Пушкина и судя по-человечески, следует полагать, что Пушкин влюбился не на шутку около начала 1829 года. Напускной же цинизм Пушкина доходил до того, что он хвалился тем, что стихи, им посвященные Н. Н. Гончаровой 8 июля 1830 года:

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец...—

что эти стихи были сочинены им для другой женщины.

Елизавета Михайловна Хитрова, дочь знаменитого фельдмаршала Кутузова (род. 1783, сконч. 1839), питала к Пушкину самую нежную, страстную дружбу. Между потомками знаменитого полководца в женской линии сохранялись и сохраняются многие доблестные кутузовские традиции, большое уважение к проявлениям общественной деятельности и горячая любовь ко всему, что составляет славу русского имени. И Пушкин, и отец мой сохраняли по смерть самые дружеские отношения ко внукам Кутузова, недавно скончавшемуся Николаю Матвеевичу Толстому, Павлу Матвеевичу Толстому-Кутузову, княгине Анне Матвеевне Голицыной и графине Тизенгаузен.

Холера задержала Пушкина в деревне до конца 1830 года. Немедленно по снятии карантинов, в декабре или январе 1831 года, он навестил нас в Остафьеве [4]. Я живо помню, как он во время семейного вечернего чая расхаживал по комнате, не то плавая, не то как будто катаясь на коньках, и, потирая руки, декламировал, сильно напирая на: «Я мещанин, я мещанин», «я просто русский мещанин». С особенным наслаждением Пушкин прочел врезавшиеся в мою память четыре стиха:

Не торговал мой дед блинами,
В князья не прыгал из хохлов,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел на крылосах с дьячками [5].

Распространение этих стихов, несмотря на увещания моего отца, несомненно, вооружило против Пушкина много

озлобленных врагов, и более всего вооружило против него при его кончине целую массу влиятельных семейств в Петербурге. Хуже всего для Пушкина было то, что он играл честью предков (хотя в сущности эти выходки были вполне безобидны), будучи увлечен и подвинут на то исключительно полемикой с Булгариным. Самолюбие поэтов ставит их в нелогичное положение: они не уважают ничтожности и требуют от этих ничтожностей, чтобы они уважали и ценили достоинство поэта.

Пушкин женился 18 февраля 1831 года. Я принимал участие в свадьбе и по совершению брака в церкви отправился вместе с Павлом Воиновичем Нащокиным на квартиру поэта для встречи новобрачных с образом. В щегольской, уютной гостиной Пушкина, оклеенной диковинными для меня обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками, я нашел на одной из полочек, устроенных по обоим бокам дивана, никогда мною невиданное и неслыханное собрание стихотворений Кирши Данилова. Былины эти, напечатанные в важном формате и переданные на дивном языке, приковали мое внимание на весь вечер. Мне хорошо были известны лубочные копеечные издания сказок, жадно мною скупаемых: тогда в Москве они так же легко покупались, как изюм, орехи и моченые яблоки; насыщен я был изустно этими сказками от нянек и горничных девушек, между которыми встречались большие мастерицы. Перечитал я уже тогда и собрание сказок Чулкова, и другие более или менее литературные переделки старинных народных сказок. Взгляд мой на народную передачу сказок тогда уже вполне установился. С жадностью слушал я высказываемое Пушкиным своим друзьям мнение о прелести и значении богатырских сказок и звучности народного русского стиха. Тут же я услыхал, что Пушкин обратил свое внимание на народное сокровище, коего только часть сохранилась в сборнике Кирши Данилова [6], что имеется много чудных, поэтических песен доселе не изданных и что дело это находится в надежных руках Киреевского [7]. Среди последователей Вольтера, Мармонтеля, Блэра и ле Бате я, быть может, был единственное лицо, подготовленное понимать и сочувствовать восторженной оценке Пушкиным нашей народной поэзии. Мой отец, любивший и понимавший поэзию в устах самого народа, всегда недоверчиво и враждебно относился к письменной народной поэзии, обрабатываемой и выпускаемой в свет литературными людьми.

Еще в 1827 году, когда мне было семь лет, я напугал мою бабушку, Прасковью Юрьевну Кологривову, проживавшую в Саратовской губернии в селе Мещерском, моею начитанностью в сказочной литературе. В зиму 1827—1828 бабушка моя каждый вечер брала меня к себе и читала мне жития из «Пролога», чтобы противодействовать мифическому пресыщению моего воображения. Один из моих наставников, г. Робер, в 1830 году в письме к отцу из Остафьева сетует, что его предшественник, видимо, употреблял все усилия, дабы развивать воображение в ущерб более положительным качествам. Теперь мне становится понятно, что Пушкин мог наслаждаться своим действием на впечатлительную, сочувствующую ему натуру и вызывать звуки чувствительного и на его лад настроенного инструмента. Объяснение потраченного со мною времени Пушкиным во время моего детства доныне составляло для меня загадку.

Недавно мне пришлось уяснить себе такое личное отношение сильной, самобытной натуры Пушкина к детям. Пушкин поздравлял меня за установление дружеских отношений с одним моим ровесником, предсказывая мне, что светлый ум и энергический характер моего товарища непременно выдвинут его в грядущих событиях. Недавно я обращался к этому старому товарищу, действительно занимавшему важные и высшие государственные должности, с просьбой сообщить мне, какие у него были сношения с Пушкиным. На это он объяснил мне, что до встречи в нашем доме он как-то раз встретился с Пушкиным в новооткрытом книжном магазине Исакова в 1834 году, где настаивал, чтобы ему дано было именно то издание «Бахчисарайского фонтана», которое он требовал, а не то, которое ему было доставлено. Пушкин подошел к нему, расспросил его о причинах предпочтения одного издания перед другим, и очень обласкал его [8]. ⟨...⟩

Пушкин и друзья его давно замышляли издавать ежедневный журнал. Следы этой затеи восходят к 1819 году, когда М. Ф. Орлов сделал о том предложение в Арзамасском обществе [9]. В начале тридцатых годов Пушкин как будто серьезно задумал положить конец ненавистной монополии Греча и Булгарина. Он выхлопотал даже разрешение [10] и как будто успокоился победой в принципе, но ни в беседах Пушкина, ни в его переписке с кн. Вяземским, ни в 1831-м, ни в последующих годах намерение это не отражается.

Семейство наше переехало на житье в Петербург в октябре 1832 года. Я живо помню прощальный литературный вечер отца моего с его холостой петербургской жизнью, на квартире в доме Межуева у Симеоновского моста. В этот вечер происходил самый оживленный разговор о необходимости положить предел монополии Греча и Булгарина и защитить честь русской литературы, униженной под гнетом Булгарина, возбуждавшего ненависть всего Пушкинского кружка более, чем его приятель. За Греча прорывались изредка и сочувственные отзывы. И в этот вечер речь шла о серьезном литературном предприятии, а не о ежедневной политической газете.

В зиму 1832—1833 года особенно заметен был разгар ненависти против Булгарина. На сомнения мои относительно законности вражды против Булгарина, доверчиво высказанные мною Пушкину, Александр Сергеевич рассказал мне, что Булгарин, привлеченный к следствию по 14-му декабря 1825 года, выпутался из возбужденных против него обвинений с триумфом, настаивая на том, что он никогда и никаким доверием со стороны подсудимых не пользовался. В доказательство же преданности своей он указал на сношения племянника своего (имя коего в памяти моей не сохранилось) с некоторыми из подсудимых, и так опутал своего племянника, что несчастный пострадал, и, по мнению Пушкина, пострадал невинно [11].

За эту эпоху (1833—1834) встречается довольно много шуточных стихотворений в бумагах кн. Вяземского, между ними и стихотворения, которые Мятлев называл «Poésies maternelles» [12]. Этому шуточному направлению кн. Вяземский и Пушкин с особенно выдающимся рвением предавались в 1833—1834 годах, как будто с горя, что им не удавалось устроить серьезный орган для пропагандирования своих мыслей.

В приписке кн. Вяземского Пушкину к письму Мятлева от 28-го мая 1834 года упоминаются еще раз стихотворные упражнения Мятлева:

«Приезжай непременно. Право, будет весело. Надобно быть там в четыре часа, то есть сегодня. К тому же Мятлев

Любезный родственник, поэт и камергер.
А ты ему родня, поэт и камер-юнкер:
Мы выпьем у него шампанского на клункер,
И будут нам стихи, на м...рный манер».

Друзья не щадили самолюбия Пушкина на счет его запоздалого камер-юнкерства. Мне помнится стих того времени Соболевского:

Пушкин камер-юнкер
Раззолоченный, как клюнкер.

Открытие названия золотой монеты: «клюнкер» — также принадлежит Соболевскому, доказавшему право на существование этой рифмы на камер-юнкер.

Несмотря на задетое самолюбие, Пушкин был постоянно весел и принимал живое участие по крайней мере в интимном кружке. Что касается крайней раздражительности Пушкина в сношениях с приятелями, то я, в течение десяти лет видя его иногда почти каждый день, был свидетелем одной только его неприличной выходки.

В 1833 или 1834 году после обеда у моего отца много ораторствовал старый приятель Пушкина, генерал Раевский, сколько помнится, Николай, человек вовсе моему отцу не близкий и редкий гость в Петербурге. Пушкин с заметным нетерпением возражал Раевскому; выведенный как будто из терпения, чтобы положить конец разговору, Пушкин сказал Раевскому:

— На что Вяземский снисходительный человек, а и он говорит, что ты невыносимо тяжел.

В 1834 году отец мой уехал за границу со всем семейством и Пушкин в том же году осенью переехал в дом Баташева, по Дворцовой набережной, у Прачешного моста, в ту же квартиру, которую занимали мы. В материалах Анненкова ошибочно назван дом Балашева отдельно от дома Баташева. В доме Балашева Пушкин никогда не жил, а жил с осени 1834 года по осень 1836 года в доме Баташева. В это время я поступил в петропавловскую школу, и за зиму 1834 и 1835 Пушкин ускользает из моей памяти. Новый мир, в который я поступил, отчудил меня от родного очага. Впоследствии товарищи мои, Мыльников и Лонгиновы, рассказывали, что они в эти года встречали меня на Невском проспекте то со школьниками St.-Petri-Schule, то с А. С. Пушкиным, то с модной красавицей Н. Н. Пушкиной и ее сестрами, и прославляли меня за то, что я, прогуливаясь с элегантными дамами, дружески раскланивался со встречавшимися школьными товарищами, у которых были связки книжек за спиной.

Прогулки мои с Пушкиным и с Пушкиною и ее сестрами относятся к зиме 1835—1836 года, когда я еще посещал петропавловское училище.

В переписке моего отца за 1834—1835 год ничего о Пушкине и о литературе не нахожу: в то время отец мой был совершенно озабочен болезнию сестры моей, княжны Прасковьи Петровны, скончавшейся в Риме в 1835 году.

В 1836 году, по возвращении моем осенью с морских купаний на острове Нордерней, я как-то раз ехал с Каменного острова в коляске с А. С. Пушкиным. На Троицком мосту мы встретились с одним мне незнакомым господином, с которым Пушкин дружески раскланялся. Я спросил имя господина.

— Барков [13], ex-diplomat, habitué * Воронцовых,— отвечал Пушкин и, заметив, что имя это мне вовсе неизвестно, с видимым удивлением сказал мне:

— Вы не знаете стихов однофамильца Баркова, вы не знаете знаменитого четверостишия... (обращенного к Савоське) и собираетесь вступить в университет? Это курьезно. Барков — это одно из знаменитейших лиц в русской литературе; стихотворения его в ближайшем будущем получат огромное значение. В прошлом году я говорил государю на бале, что царствование его будет ознаменовано свободой печати, что я в этом не сомневаюсь. Император рассмеялся и отвечал, что он моего убеждения не разделяет. Для меня сомнения нет,— продолжал Пушкин,— но также нет сомнения, что первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будет полное собрание стихотворений Баркова...[14]

Вообще в это время Пушкин как будто систематически действовал на мое воображение, чтобы обратить мое внимание на прекрасный пол и убедить меня в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин. Пушкин поучал меня, что вся задача жизни заключается в этом: все на земле творится, чтобы обратить на себя внимание женщин; не довольствуясь поэтической мыслью, он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед, нагло, без оглядки, чтобы заставить женщину уважать вас. Той мизантропической проповеди, которая выражена в напечатанном наставлении, данном им брату Льву Сергеевичу [15]— мне никогда не приходилось слышать. Он постоянно давал мне наставле-

---

* экс-дипломат, завсегдатай.

ния об обращении с женщинами, приправляя свои нравоучения циническими цитатами из Шамфора. Было ли это след прочтения в то время Шамфора или озлобления против женщин, но дело в том, что он возбуждал во мне целый ряд размышлений о несправедливости и нелогичности людей в отношении к их личности и к посторонним. В то же время Пушкин сильно отговаривал меня от поступления в университет и утверждал, что я в университете ничему научиться не могу. Однажды соглашаясь с его враждебным взглядом на высшее у нас преподавание наук, я сказал Пушкину, что поступаю в университет исключительно для изучения людей. Пушкин расхохотался и сказал:

— В университете людей не изучишь, да едва ли их можно изучить в течение всей жизни. Все, что вы можете приобрести в университете — это то, что вы свыкнетесь жить с людьми, и это много. Если вы так смотрите на вещи, то поступайте в университет, но едва ли вы в том не раскаетесь.

С другой стороны, Пушкин постоянно и настойчиво указывал мне на недостаточное мое знакомство с текстами священного писания и убедительно настаивал на чтении книг Ветхого и Нового завета.

Я позволяю себе откровенно передавать и сомнительные нравоучения Пушкина в твердом убеждении, что проповедь его не была следствием легкомыслия или разврата мысли, но коренилась в его уважении природы, жизни и ненависти к поддельной науке и лицемерной нравственности. Я тем более верю в чистоту стремлений Пушкина, что проповедь его пустила глубокие корни в моей юношеской голове, а Шамфора я и до сего дня не полюбопытствовал прочесть.

Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствование Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула представителей этой эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя. Нынешнее поколение может понять подобные физиологические явления разве только с помощью романа гр. Толстого: «Война и мир». Пушкин как будто дорожил последними отголосками беззаветного удальства, видя в них последние проявления заживо схороняемой самобытной жизни. Этот воинственный, удалой дух Пушкина еще сильно звучит в послании к Денису Давыдову при посылке ему Истории

пугачевского бунта; стихотворение помечено 18-м января 1836 года:

Тебе, певцу, тебе, герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне,
Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир.
Но и по этой службе трудной,
И тут, о, мой наездник чудный,
Ты — мой отец и командир.
Вот мой Пугач; при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой;
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.

Пушкин рассказывал, что в молодости он старался подражать Денису Давыдову в кручении стиха и усвоил себе его манеру навсегда.

Из сочинений Пушкина за это время неизгладимое впечатление произвела прочитанная им самим «Капитанская дочка» [16] и ненапечатанный монолог обезумевшего чиновника перед Медным Всадником [17]. Монолог этот, содержащий около тридцати стихов, произвел при чтении потрясающее впечатление, и не верится, чтобы он не сохранился в целости. В бумагах отца моего сохранились многие подлинные стихотворения Пушкина и копии, но монолога не сохранилось, весьма может быть потому, что в монологе слишком энергически звучала ненависть к европейской цивилизации. Мне все кажется, что великолепный монолог таится вследствие каких-либо тенденциозных соображений, ибо трудно допустить, чтобы изо всех людей, слышавших проклятье, никто не попросил Пушкина дать списать эти тридцать — сорок стихов. Я думал об этом и не смел просить, вполне сознавая, что мое юношество не внушает доверия. Я помню впечатление, произведенное на одного из слушателей, Арк. О. Россети, и мне как будто помнится, он уверил меня, что снимет копию для будущего времени.

Кн. П. А. Вяземский и все друзья Пушкина не понимали и не могли себе объяснить поведение Пушкина в этом деле. Если между молодым Гекерном и женою Пушкина не прерывались в гостиных дружеские отношения, то это было

в силу общечеловеческого, неизменного приличия, и сношения эти не могли возбудить не только ревности, но даже и неудовольствия со стороны Пушкина. Сам Пушкин говорит, что с получения безыменного письма он не имел ни минуты спокойствия. Оно так и должно было быть.

В зиму 1836—1837 года мне как-то раз случилось пройтись несколько шагов по Невскому проспекту с Н. Н. Пушкиной, сестрой ее Е. Н. Гончаровой и молодым Гекерном; в эту самую минуту Пушкин промчался мимо нас как вихрь, не оглядываясь, и мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшно. Для меня это был первый признак разразившейся драмы. Отношения Пушкина к жене были постоянно дружеские, доверчивые до конца его жизни. В реляциях отца моего к друзьям видно, что это невозмутимое спокойствие по отношению к жене и вселяло в нее ту беспечность и беззаботность, с которой она относилась к молодому Гекерну после его женитьбы.

25-го января Пушкин и молодой Гекерн с женами провели у нас вечер. И Гекерн и обе сестры были спокойны, веселы, принимая участие в общем разговоре. В этот самый день уже было отправлено Пушкиным барону Гекерну оскорбительное письмо. Смотря на жену, он сказал в тот вечер:

— Меня забавляет то, что этот господин забавляет мою жену, не зная, что его ожидает дома. Впрочем, с этим молодым человеком мои счеты сведены.

Несмотря на приготовления к поступлению в университет и увещания отца уходить спать, я проводил ночи, прислушиваясь к неумолкаемым толкам и сообщениям, возбужденным кончиной Пушкина, и несмотря на страстное желание уяснить себе причины и поводы к дуэли — я решительно ничего понять не мог.

Много говорили, что в дуэли Онегина и Ленского Пушкин пророчески описал свою собственную кончину. Пушкин художнически обрисовал это дело, как он понимал его, сообразуясь с своею собственною натурой. Для него минутное ощущение, пока оно не удовлетворено, становилось жизненной потребностью. Даже в вымысле Пушкин нашел излишним обставить дело логически: Ленский не мог слышать нежностей, нашептанных Онегиным его невесте, и вызвал друга без объяснений с невестой. Здесь высказывается скептический взгляд Пушкина на женскую искренность. Чистосердечно сообщаемый женой разговор не заслуживал доверия в его глазах и мог только раздра-

жить его самолюбие. В последние два месяца жизни Пушкин много говорил о своем деле с Гекереном, а отзывы его друзей и их молчание — все должно было перевертывать в нем душу и убеждать в необходимости кровавой развязки.

Отец мой в письмах своих употребляет неточное выражение, говоря, что Гекерен афишировал страсть: Гекерен постоянно балагурил и из этой роли не выходил до последнего вечера в жизни, проведенного с Н. Н. Пушкиной. Единственное объяснение раздражения Пушкина следует видеть не в волокитстве молодого Гекерена, а в уговаривании стариком бросить мужа. Этот шаг старика и был тем убийственным оскорблением для самолюбия Пушкина, которое должно было быть смыто кровью. Дружеские отношения жены поэта к свояку и к сестре, вероятно, питали раздраженную мнительность Пушкина.

Условия жизни не давали ему возможности и простора жить героем, зато, по свидетельству всех близких Пушкина, он умер геройски и своею смертию вселил в друзей своих благоговение к его памяти.

Как трудно было друзьям Пушкина распознать тайные пружины этого дела, видно из письма кн. Вяземского к А. Я. Булгакову от 10-го февраля 1837. Дело не разъясняется и письмом от 8-го апреля того же года, помещаемым нами в конце статьи:

«...Адские сети, адские козни были устроены против Пушкина и жены его».

Впечатления этого нельзя не разделять, видя происходившую драму; улики до сих пор неизвестны, и даже нельзя определить первого основания для изобличения «адских козней».

Старик Гекерен был человек хитрый, расчетливый еще более, чем развратный; молодой же Гекерен был человек практический, дюжинный, добрый малый, балагур, вовсе не ловелас, ни Дон-Жуан, и приехавший в Россию сделать карьеру. Волокитство его не нарушало никаких великосветских петербургских приличий. Из писем Пушкина к жене, напечатанных в «Вестнике Европы», можно даже заключить, что Пушкину претило волокитство слишком ничтожного человека.

Дантес приехал в Петербург в 1833 году и обратил на себя презрительное внимание Пушкина.

Принятый в кавалергардский полк, он до появления приказа разъезжал на вечера в черном фраке и серых рей-

тузах с красной выпушкой, не желая на короткое время заменять изношенные черные штаны новыми.

В записках Пушкина, напечатанных в «Русской мысли», упоминается одновременно с Дантесом маркиз Пина; последний в гвардии не служил, а поступил офицером в армейский пехотный полк, сколько помнится в гренадерский полк короля Прусского, и сколько помнится тот полк, в который поступил Пина, был в это время расположен в Нарве. Пина недолго оставался в полку: он обвинен был в краже серебряных ложек и должен был выйти в отставку.

После смерти Пушкина я находился при гробе его почти постоянно, до выноса тела в церковь в здании конюшенного ведомства.

Вынос тела был совершен ночью в присутствии родных Н. Н. Пушкиной, графа Г. А. Строганова и его жены, Жуковского, Тургенева, графа Вельгорского, Аркадия О. Россети, офицера Генерального штаба Скалона и семейства Карамзиной и кн. Вяземского.

Не запомню, присутствовала ли девица Загряжская и секундант Пушкина, Данзас, лица тогда мне незнакомые. Вне этого списка пробрался по льду в квартиру Пушкина отставной офицер путей сообщения Веревкин, имевший, по объяснению А. О. Россети, какие-то отношения к покойному. Никто из посторонних не допускался. На просьбы А. Н. Муравьева и старой приятельницы покойника графини Бобринской, жены графа Павла Бобринского, переданные мною графу Строганову, мне поручено было сообщить им, что никаких исключений не допускается. Начальник штаба корпуса жандармов Дубельт в сопровождении около двадцати штаб- и обер-офицеров присутствовал при выносе. По соседним дворам были расставлены пикеты: все выражало предвиденье, что в мирной среде друзей покойного может произойти смута.

Слабая сторона предупредительных мер заключается в том, что в случае полного успеха они не оправдываются событиями. Развернутые вооруженные силы вовсе не соответствовали малочисленным и крайне смирным друзьям Пушкина, собравшимся на вынос тела. Но дело в том, что назначенный день и место выноса были изменены; список лиц, допущенных к присутствованию в печальной процессии, был крайне ограничен, и самые энергические и вполне осязательные меры были приняты для недопущения лиц неприглашенных.

Затем остается загадочным: имелись ли положительные

сведения о задуманных уличных демонстрациях против члена дипломатического корпуса? С нашей стороны, вполне понимая, что сановные друзья Пушкина были поражены и оскорблены полицейской демонстрацией, мы не можем поручиться и по соображению тогдашних обстоятельств, что более равнодушное отношение полиции к числу лиц, могущих явиться на вынос тела, не повлекло бы за собою дикой персидской демонстрации. Впоследствии мы нередко встречали людей скорбевших и тосковавших, что не дали, для чести русского имени, разыграться ненависти к надменным иноземцам.

В университете * положительно не обнаружилось тогда ни малейшего волнения, и если бы граф Уваров не дал накануне знать, что он посетит аудитории в самый день похорон, то едва ли пошло бы много студентов на Конюшенную площадь... Граф Уваров нашел в университете одних казенных студентов. Вообще же впечатление кончины Пушкина на студентов было незначительное. Однако тогда была сделана попытка для распущения слуха о произведенной студентами оскорбительной демонстрации в квартире вдовы. Повод к этой выдумке был следующий: Граф П. П. Ш., весьма почтенный человек со студенческой скамьи, приехав поклониться праху покойного поэта, спросил меня, не может ли он видеть портрета Пушкина, писанного знаменитым Кипренским. Я отворил дверь в соседнюю комнату и спросил почтенную даму, вошедшую в соседнюю гостиную: можно ли показать такому-то портрет Пушкина. Пожилая дама выпорхнула в другую дверь и с ужасом объявила, что шайка студентов ворвалась в квартиру для оскорбления вдовы. Матушка моя, находившаяся у вдовы, вышла посмотреть, в чем дело, и ввела нас обоих в гостиную.

Несмотря на разъяснение дела, престарелая дама, ожидавшая бунта, в тот же вечер отправилась к матери студента для предупреждения относительно нахождения ее сына в шайке, произведшей утром демонстрацию...

Этот эпилог был рассказан в 1838 году в студенческой среде как дополнение и подтверждение воспоминаниям о кончине Пушкина, передававшимся мною товарищам.

Извещенный перед смертию, что государь берет на себя

* И. И. Панаев и И. С. Тургенев говорят в своих Воспоминаниях о впечатлении, произведенном на студентов смертью Пушкина; вероятно, они имели в виду близких товарищей, а не массу студентов.

заботы о семействе, Пушкин умер и должен был умереть в спокойном состоянии духа. Великодушный, рыцарский и крайне заботливый характер императора Николая Павловича был для поэта верной порукой, что существование его семейства обеспечено. Более долголетняя жизнь и в глазах самого Пушкина, несомненно, не представляла той же гарантии.

Литературная и журнальная деятельность Пушкина оплачивалась читающей публикой далеко не в том размере, который мог бы обеспечить существование его семейства. Чувство зависимости от правительственных субсидий при его характере не могло не возбуждать в нем предвидения, что и этот источник может иссякнуть. Безотрадный итог был, несомненно, ясно выведен в его светлой голове. Безвыходность его положения в 1836 году, именно с осуществления его мыслей о журнальном предприятии, должна была вызвать то тяжкое, тревожное состояние духа, которое дало свободный простор жажде мести, возбужденной анонимными письмами и вне их сплетнями приятельниц, заботившихся о чести и семейном счастье поэта.

Сообщаю с полной откровенностью мои воспоминания и впечатления, может быть иногда и ошибочные, в твердом убеждении, что откровенность не может вредить Пушкину и что приторные и притворные похвалы и умалчивания недостойны памяти великого человека. Заслуга Пушкина перед Россиею так велика, что никакие темные стороны его жизни не могут омрачить его великого и доброго имени. Пушкин сам указал, за что мы должны ему ставить памятник:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал... [18]

Государственная, народная заслуга Пушкина несомненна. «Прелестью живой стихов» он даровал живой русской речи права гражданские не только во всемирном образованном обществе, но что еще важнее — он заставил офранцузившиеся и онемечившиеся культурные слои русского общества уважать и любить живую русскую речь, живые русские типы, обычаи и самую нашу природу. Борьба против иноплеменного ига вызвала против почестей, оказываемых праху и памяти, взрыв негодования между теми русскими людьми, которые с невозмутимым, велича-

вым спокойствием отвергали достоинство русского языка, возможность русского искусства и даже право на русскую самобытность.

Чувство это и тогдашняя обстановка самого вопроса о праве нашем на самобытность проглядывают в письме кн. Вяземского к А. Я. Булгакову от 8-го апреля 1837 года:

«Гекерен, т. е. министр, отправился отсюда, не получив прощальной аудиенции, но получив табакерку, что значит на дипломатическом языке: вот образ, вот и дверь! т. е. не возвращайся. По крайней мере так толкуют это дипломаты, ибо подарки делаются обыкновенно, когда министр Двором своим решительно отозван, а Гекерен объявил, что едет только в отпуск. Спасибо русскому царю, который не принял человека, как бы то ни было, но посягнувшего на русскую славу. Под конец одна гр. Н. осталась при нем, но все-таки не могла вынести его, хотя и плечиста и грудиста и брюшиста».

Женщина, упоминаемая в письме, одаренная характером независимым, непреклонная в своих убеждениях, верный и горячий друг своих друзей, руководимая личными убеждениями и порывами сердца, самовластно председательствовала в высшем слое петербургского общества и была последней, гордой, могущественной представительницей того интернационального ареопага, который свои заседания имел в сен-жерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и салоне графини Нессельроде в доме министерства иностранных дел в Петербурге. Ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитного олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к Булгарину. Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на отца ее, графа Гурьева, бывшего министром финансов в царствование императора Александра I.

Ф. А. Скобельцын — лицо мне весьма памятное. Он слыл в нашем семейном, детском кружке за тамбовского помещика, приехавшего в Петербург нарочно для сближения с литературным кружком Пушкина и князя Вяземского. Скобельцын явился прямо с заявлением, что восторг к поэтическим произведениям обоих писателей заставил

его бросить степь и приехать в Петербург на поклон представителям русской литературы. Скобельцын с самого начала знакомства, в 1834—1835 году, угощал своих новых друзей плохими обедами с парадной обстановкой. Всего более поражало его новых знакомых, что Скобельцын был совершенно чужд литературного мира и вообще не читал ничего. Загадочное появление Скобельцына в нашем тесном и интеллигентном кружке возбуждало мою отроческую мнительность, и я, не смея спрашивать объяснений у родителей относительно их гостя, безбоязненно обратился к А. С. Пушкину с просьбою разъяснить мне это необычное и загадочное явление. Пушкин объяснил мне, что Скобельцын лицо историческое, что он тот самый Скобельцын, который приказом императора Павла Петровича был переведен из гвардии «за лице, наводящее уныние». У Скобельцына на правой, сколько помнится, щеке была мышка, величиной с куриное яйцо. Для полного убеждения меня в исторической важности этой личности, помню живо, как Пушкин пригласил его подтвердить мне рассказ о его удалении из Петербурга. Скобельцын весьма охотно говорил об этом обстоятельстве. Это была единственная тема, которая выводила из совершенно безучастного положения этого шестидесятилетнего старика в нашем болтливом кружке.

М. И. ГЛИНКА

ИЗ «ЗАПИСОК»

Летом того же 1828 года [1] Михаил Лукьянович Яковлев — композитор известных русских романсов и хорошо певший баритоном,— познакомил меня с бароном Дельвигом, известным нашим поэтом. Я нередко навещал его; зимою бывала там девица *Лигле*, мы игрывали в 4 руки. Барон Дельвиг передавал для моей музыки песню «Ах ты, ночь ли, ноченька», и тогда же я написал музыку на слова его же «Дедушка, девицы раз мне говорили», эту песню весьма ловко певал М. Л. Яковлев.

Около этого же времени я часто встречался с известнейшим поэтом нашим Александром Сергеевичем Пушкиным, который хаживал и прежде того к нам в пансион к брату своему, воспитывавшемуся со мною в пансионе, и пользовался его знакомством до самой его кончины.

Провел около целого дня с Грибоедовым (автором комедии «Горе от ума»). Он был очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом А. С. Пушкин написал романс «Не пой, волшебница, при мне ⟨...⟩» [2]

⟨Зима 1834—1835 годов⟩

Я жил тогда домоседом ⟨...⟩; несмотря на это, однако же, постоянно посещал вечера В. А. Жуковского. Он жил в Зимнем дворце, и у него еженедельно собиралось избранное общество, состоявшее из поэтов, литераторов и вообще людей, доступных изящному. Назову здесь некоторых: А. С. Пушкин, князь Вяземский, Гоголь, Плетнев — были постоянными посетителями. Гоголь при мне читал свою «Женитьбу». Князь Одоевский, Вельегорский и другие бывали также нередко. Иногда вместо чтения пели, играли

на фортепьяно, бывали иногда и барыни, но которые были доступны изящным искусствам ⟨...⟩

⟨Первое представление «Ивана Сусанина»⟩

Наконец в пятницу 27 ноября 1836 года назначено было первое представление оперы «Жизнь за царя».

Невозможно описать моих ощущений в тот день, в особенности пред началом представления. У меня была ложа во втором этаже, первый весь был занят придворными и первыми сановниками с семействами ⟨...⟩

Первый акт прошел благополучно, известному трио сильно и дружно аплодировали.

В сцене поляков, начиная от польского до мазурки и финального хора, царствовало глубокое молчание, я пошел на сцену, сильно огорченный этим молчанием публики, и Иван Кавос, сын капельмейстера, управлявшего оркестром, тщетно уверял меня, что это происходило оттого, что тут действуют поляки: я оставался в недоумении.

Появление Воробьевой рассеяло все мои сомнения в успехе: песнь сироты, дуэт Воробьевой с Петровым, квартет, сцена с поляками G-dur и прочие номера акта прошли с большим успехом.

В 4-м акте хористы, игравшие поляков, в конце сцены, происходящей в лесу, напали на Петрова с таким остервенением, что разорвали его рубашку, и он не на шутку должен был от них защищаться.

Великолепный спектакль эпилога, представляющий ликование народа в Кремле, поразил меня самого; Воробьева была, как всегда, превосходна в трио с хором.

Успех оперы был совершенный, я был в чаду и теперь решительно не помню, что происходило, когда опустили занавес ⟨...⟩

В заключение этого периода жизни моей считаю не лишним привести здесь стихи, сочиненные в честь мою на дружеском вечере у к. Одоевского Жуковским, Пушкиным, к. Вяземским и Соболевским * ⟨...⟩[3]

---

* Умоляю доброго и, как я полагаю, искренно меня любящего Дмитрия Васильевича Стасова приобресть копию этих стихов от к. Одоевского. Получа, прошу присоединить к этим запискам. Берлин, 5 июля; 23 июля 1856.

Я так же часто видался с Жуковским и Пушкиным. Жуковский в конце зимы с 1836 на 1837 год дал мне однажды фантазию «Ночной смотр», только что им написанную. К вечеру она уже была готова, и я пел ее у себя в присутствии Жуковского и Пушкина. Матушка была еще у нас, и она искренно радовалась видеть у меня таких избранных гостей [4].

А. И. ТУРГЕНЕВ

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1831 год

7 декабря ⟨...⟩ Обедал у И. И. Дмитриева, приехал и поэт Пушкин [1], с ним к Вяземскому и к княгине Мещерской [2]: о Вортсворте с матерью [3].

8 декабря ⟨...⟩ Был у Пушкина и разговаривал о Петре I [4]. Вечер у Вяземского с Пушкиным. Разговор с ним и с Вяземским об Англии, Франции, их авторах, их интеллектуальной жизни и пр.: и они моею жизнию на минуту оживились; но я вздохнул по себе, по себе в России, когда мог бы быть с братом! Спор Вяземского с Пушкиным: оба правы [5].

9 декабря ⟨...⟩ на аукционе Власова [6], откуда с Пушкиным к Чадаеву: о статье Вяземского [7].

10 декабря ⟨...⟩ Солдан [8] зовет меня и Пушкина на спектакль и на вечер: день рождения Марии! Поеду!!! Вечер в спектакле и на бале у Солдан и до 6-го часа утра! Ужинал с Шереметевой [9], слушал Пушкина и радовался отрывкам из 8-й песни «Онегина»! [10] — Когда я ему сказал à propos танцев моих, по отъезде императора, стих его: «Я не рожден царей забавить»,— Пушкин прибавил: «Парижской легкостью своей!» [11]

11 декабря ⟨...⟩ Обедал у князя Вяземского с гр. Потемкиной [12], с княгиней Голицыной-Ланской [13], с Пушкиным, Давыдовым Денисом, графом Толстым [14] и пр.

15 декабря ⟨...⟩ Пушкин звал на цыган; не поехал [15].

18 декабря ⟨...⟩ Заезжал к Пушкину ⟨...⟩

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал,
И плети рабства ненавидя
Предвидя в сей толпе дворян
Освободителей крестьян [16].

Поэт угадал: одну мысль брат имел: одно и видел в них, но и поэт увеличил: где видел брат эту толпу? пять, шесть — и только!

22 декабря ⟨...⟩ писал письма: два к князю А. Н. Голицыну и отдал Вяземскому для вручения, а памятную записку для него самого.

23 декабря ⟨...⟩ с Пушкиным исправил письмо, переписал и отдал ему для отдачи Вяземскому вместо вчерашнего [17].

24 декабря. Проводил Пушкина, слышал из 9-й песни Онегина и заключение: прелестно [18].

1832 год

9 апреля ⟨...⟩ Вечер у Карамзиных с Жуковским, с Пушкиным.

13 апреля ⟨...⟩ Был у Пушкина.

15 апреля ⟨...⟩ Обедал у Жуковского, с Карамзиными, Вяземским, Пушкиным.

21 апреля ⟨...⟩ Вечер у Пушкина, у Загряжской, у Карамзиных.

24 апреля ⟨...⟩ Оттуда к Вяземскому и утро с Пушкиным.

29 апреля ⟨...⟩ Обедал у Фикельмона с Вяземским, Пушкиным, графом Грабовским, Данилевским [19].

2 мая ⟨...⟩ Вечер у Карамзиных с Пушкиным.

7 мая ⟨...⟩ Обедал в Английском клобе. Был у Пушкина.

11 мая ⟨...⟩ Был в Академии наук на раздаче Демидовских премий... Возвратился с Жуковским. Гулял с ним же в саду; с Пушкиным был у Хитрово и болтал с Фикельмон об Италии.

13 мая ⟨...⟩ к Фикельмон [20], вальсировал с нею, болтал с Толстою о брате ее в Лондоне [21], с сыном Опочинина [22] о просвещении в Польше. Пушкин сказал о запрещении... [23].

15 мая ⟨...⟩ Кончил вечер у князя Вяземского с Пушкиным и Жуковским.

28 мая ⟨...⟩ Вечер у Карамзиных с поэтами [24], с приятелями и с Смирновой.

2 июня ⟨...⟩ Заезжал к Пушкину, не застал.

4 июня ⟨...⟩ У Жуковского с Пушкиным о журнале [25]. Обедал с князем Вяземским в ресторации.

9 июня ⟨...⟩ Обедал у гр. Велгурского с Вяземским, Бобринским, князем Адуевским, Пушкиным.

17 июня ⟨...⟩ Был у Пушкина: простился с женой его.

18 июня 〈...〉 В час сели на первый пароход. Велгурский, Мюральт, Федоров с сыном провожали нас... В час — тронулся пароход. Я сидел на палубе — смотря на удаляющуюся набережную, и никого, кроме могил, не оставлял в Петербурге, ибо Жуковский был со мною. Он оперся на минуту на меня и вздохнул за меня по отечестве: он один чувствовал, что мне нельзя возвратиться... Петербург, окрестности были далеко; я позвал Пушкина, Энгельгарда, Вяземского, Жуковского, Викулина на завтрак и на шампанское в каюту — и там оживился грустию и самым моим одиночеством в мире... Брат был далеко... Пушкин напомнил мне, что я еще не за Кронштадтом [26], куда в 4 часа мы приехали. Пересели на другой пароход: «Николай I», на коем за год прибыл я в Россию; дурно обедали, но хорошо пили, в 7 часов расстался с Энгельгардом и Пушкиным; они возвратились в Петербург; Вяземский остался с нами, завидовал нашей участи.

1834 год

8 сентября 〈...〉 Поскакал в театр, в ложе у Пушкина, жена и belles-soeurs * его [27].

9 сентября. Воскресенье. Был у Бенкендорфа в толпе искателей и просителей... Оттуда к Пушкину. Слушал несколько страниц Пугачева. Много любопытного и оригинального. 〈Текст поврежден〉 сказав, что Пушкин расшевелил душу мою, заснувшую в степях Башкирии. Симбирск всегда имел для меня историческую прелесть. Он устоял против Пугачева и Разина [28].

15 октября 〈...〉 Вечер у Пушкина: читал мне свою поэму о Петербургском потопе [29]. Превосходно. Другие отрывки. 〈...〉

16 октября 〈...〉 Вечер в Михайловском театре: давали «Родольфа» и «La dame blanche» **. Театрик — прелестная игрушка...[30] Оттуда к Карамзиным и к Смирновой: с Пушкиным — о Чадаеве [31].

25 октября 〈...〉 Писал к Пушкину и послал «Песнь о полку Игореве» с примечаниями Италинского [32].

1 ноября 〈...〉 У меня сидели Пушкин и Соболевский. Первый о Вольтере [33], о Ермолове: одного со мною о нем

---

* свояченицы.
** «Белая дама».

мнения.— О Ериванском Ермолове: все перед ним падает; лучше назвать *Ерихонским* [34].

6 ноября. День смерти Екатерины II... Обедал и кончил вечер у Смирновых, с Жуковским, Икскулем и Пушкиным. Много о прошедшем в России, о Петре, Екатерине.

9 ноября 〈...〉 Обед у Гец [35] с Дружининым, Мюральтом, Жуковским, Пушкиным, Шилингом, Штакельбергом [36], Яценко и пр.

11 ноября 〈...〉 У Пушкина о Екатерине.

13 ноября 〈...〉 После обеда два раза у Карамзиных и в театре, в ложе Пушкиных, Фикельмон; играли изрядно: «Les enfants d'Edouard» [37]. Пушкин напомнил мне мои bons-mots * по чтении Карамзина в русской Академии: «Вперед не будет». Еще что-то — снова забытое [38].

16 ноября 〈...〉 Обедал у новорожденной Карамзиной [39] с Жуковским, Пушкиным, Кушниковым. Последний о Суворове говорил интересно [40]. Проврался о гр. Аракчееве по суду Жеребцова, «лежачего не бьют», и казнивший беременных женщин спасен от казни, а сидевшие в крепости — казнены! [41]

17 ноября 〈...〉 Обедал у Смирновой с Пушкиным, Жуковским, 〈текст испорчен〉 и Полетика. Пушкин о татарах: умнее Наполеона.

19 ноября 〈...〉 〈текст испорчен〉 встретил Пушкина. С ним в английский магазин.

21 ноября 〈...〉 с Пушкиным осмотрел его библиотеку. Не застал ни Жуковского, ни Мюральта. Осматривал магазины. (Купить ложки с чернью и с бирюзой.) Обедал у Смирновых с Жуковским и Пушкиным и Скалоном.

24 ноября 〈...〉 Вечер с Жуковским, Пушкиным и Смирновыми, угощал Карамзину у ней самой концертом Эйхгорнов; любезничал с Пушкиной, и с Смирновой, и Гончаровой. Но под конец ужасы Сухозанетские, рассказанные Шевичевой [42], возмутили всю мою душу [43].

29 ноября 〈...〉 Обедал у графа Бобринского с Жуковским, Пушкиным, графами Матвеем и Михаилом Велгурскими, князем Трубецким [44]. Любезничал умом и воспоминаниями с милой и умной хозяйкой [45]. Обед Лукулла и три блюда с трюфелями отягчили меня.

1 декабря 〈...〉 Оттуда к Пушкину. В театре Михайловском государь и государыня, а с ними Фридр [46] с дочерью.

---

* красное словцо.

И Пушкины не пригласили меня в ложу... Итак, простите, друзья-сервилисты и друзья-либералы. «Я в лес хочу!» [47]

2 декабря ⟨...⟩ У Хитрово с час проболтал с Толстой, мило уговаривала меня не давать воли языку... Маркиз Дуро [48] допрашивал, почему государь не пропустил стихов Пушкина... «Tes «pourquoi», marquis, ne finiraient jamais...» *[49]

9 декабря ⟨...⟩ у Пушкина: взял посылку графу ⟨нрзб.⟩ Пушкин написал 4 выкинутые стиха; [50] читал примечания письменные на Пугачева, представленные им государю [51]. NB. Прислать ему из Москвы славянские книги.

10 декабря ⟨...⟩ вечер у Жуковского до 3-го часа: Пушкин, Велугорский, Чернышев-Кругликов, Гоголь. ⟨пропуск⟩ напомнил о шутке брата. Князь Адуевский. Пили за здоровье *Ивана Ник.* [52].

17 декабря ⟨...⟩ У Орловых: о Уварове, о стихах Пушкина. Тут и Чадаев.

1836 год

26 ноября ⟨...⟩ вечер у Бравуры, у Вяземских, у Козловского, и опять у Вяземских. Объяснение с Эмилией Пушкиной. Жуковский, Пушкин.

27 ноября ⟨...⟩ У Хитровой. Фикельмон, Al. Tolstoy о Чадаеве. Обед у Вяземских — с Жуковским и Пушкиным в театре. Семейство Сусанина; [53] открытие театра, публика. Повторение одного и того же. Был в ложе у Экерна. Вечер у Карамзиных, Жуковский!

1 декабря ⟨...⟩ Во французском театре, с Пушкиными... Вечер у Карамзиных (день рождения Николая Михайловича) с Опочиниными. Разговор с младшею: прежде боялась меня, по словам ее. Пушкины. Вранье Вяземского — досадно.

2 декабря ⟨...⟩ к графу Нессельроду, велел явиться в другой день. У Пушкиной: с ним о древней России: *«быть без мест»* [54].

6 декабря. Брал возок. В 11-м часу был уже во дворце. Обошел залы, смотрел на хоры. Великолепие военное и придворное. Костюмы дам двора и города. ⟨...⟩ Пушкина первая по красоте и туалету. Лобызание Уварова. ⟨...⟩ К Карамзиным. Жуковский журил за Строганова: но по-

* Твоим «почему», маркиз, не будет конца.

звольте не обнимать убийц братьев моих, хотя бы они назывались и вашими друзьями и приятелями! [55] О записке Карамзина [56] с Екатериной Андреевной, несмотря на похвалу, она рассердилась — и мы наговорили друг другу всякие колкости, в присутствии князя Трубецкого, который брал явно мою сторону. Заступилась против меня за Жуковского, а я называл его ангелом, расстались — может быть, надолго!.. к Фикельмон, где много говорил с нею, с мужем о гомеопатии и Чадаеве.

7 декабря ⟨...⟩ оттуда к Баранту: там краснобай князь Мещерский, князь Щербатов. У Путятиных и к Бравуре к полночи: тут опять князь Мещерский о Чадаеве, о народности. Не прежнее поет, но все прежний.

10 декабря. Встретил Абр. Норова, обедал в трактире, гулял с Бенедиктовым... Был в театре, в ложе Пушкиных (у коих был накануне) и вечер у Вяземских с Бенедиктовым.

11 декабря ⟨...⟩обедал у князя Никиты Трубецкого с Жуковским, Вяземским, Пушкиным, князем Кочубеем [57], Трубецким, Гагариным и с Ленским, болтал умно и возбуждал других к остротам.

15 декабря ⟨...⟩ вечер у Пушкиных до полуночи. Дал «Песнь о полку Игореве» для брата с надписью. О стихах его, Р⟨остопчиной⟩ и Б⟨енедиктова⟩. Портрет его в подражание Державину: «весь я не умру!»; [58] о Михаиле Орлове, о Киселеве, Ермолове и князе Меншикове. Знали и ожидали, «без нас не обойдутся» [59]. Читал письмо к Чадаеву непосланное [60].

19 декабря ⟨...⟩ Вечер у княгини Мещерской (Карамзиной). О Пушкине; все нападают на него за жену, я заступался. Комплименты Софии Николаевны моей любезности. О Париже и пр.

21 декабря ⟨...⟩ Обедал у Келлера, с братом его... Сын Келлера переводит моего *Гордона* по высочайшему повелению, а из Архива вытребовал и оригинал. Мой список с Архивского, но помечен рукою Мюллера [61]. Вчера узнал об *Августине*, сегодня о Гордоне. Пошел в дело мой сборник. Пушкину обещал о Шотландии [62]. После обеда у князя Вяземского с Пушкиным и пр.

22 декабря ⟨...⟩ Вечер на бале у княгини Барятинской,— мила и ласкова. Приезд государя и государыни, с наследником и прусским принцем Карлом. Послал протопить или нагреть залу вальсами. Государь даже не мигнул мне, хотя стоял долго подле меня и разговаривал с княги-

ней Юсуповой... Киселев, Мейендорф не узнают меня; княгиня Юсупова начала дружный разговор, и мы познакомились. Мила своею откровенностию о ее положении на бале. Я и Жуковский в толпе: кому больнее? Мое положение. Опочинина обещала приехать. Тон глупее дела! Пушкины. Утешенный Вяземский.

24 декабря ⟨...⟩ Обедал в Демуте. У графини Пушкиной [63] с Жуковским, Велгурским, Пушкиным, графиней Ростопчиной, Ланская [64], княгиня Волхонская с Шернвалем, граф Ферзен. Я сидел подле Пушкина и долго и много разговаривал. Вяземский порадовал действием, произведенным моей Хроникой [65]. Пушкин о Мейендорфе: притворяется сердитым на меня за то, что я хотел спасти его! Пушкин зазвал к себе... Читал роман Пушкина [66].

25 декабря, Рождество Христово... Был у Жуковского. Как нам неловко *вместе!* Но под конец стало легче ⟨...⟩ К Карамзиным. С Пушкиным, выговаривал ему за словцо о Жуковском в четвертом № «Современника» (Забыл Барклая) [67].

28 декабря ⟨...⟩ Кончил вечер у Мещерских с Пушкиным.

29 декабря ⟨...⟩ Кончил вечер у князя Вяземского с Жуковским, с которым в карете много говорил о моем здесь положении.

30 декабря ⟨...⟩ В Академию: с Лондондери об оной; с Барантом, его избрали в почетные члены. Фус прочел отчет, Грефе о языках: много умного и прекрасного, но слишком гоняется за сравнениями и уподоблениями. Жуковский, Пушкин, Блудов, Уваров о Гизо ⟨...⟩ [68] к Карамзиным, где Пушкины.

6 генваря ⟨...⟩ в 10 часов вечера отправился к Фикельмону: там любопытный разговор наш с Пушкиным, Барантом, князем Вяземским. Хитрово одна слушала, англичанин [69] после вмешался. Барант рассказывал о записках Талейрана, кои он читал, с глазу на глаз с Талейраном, о первой его молодости и детстве. Много нежного, прекрасного, напоминающего «Les Confessions de J. J. Rousseau» *. В статье о Шуазеле, коего не любит Талейран, много против Шуазеля. Шуазель дурно принял Талейрана и не любил его. Бакур будет издателем записок его. О Лудвиге 18, как редакторе писем и записок. Письмо к дофину, отданное Деказу. О записках Екатерины, о Потемкине.

---

* Исповедь Ж.-Ж. Руссо.

Письмо Монтескье по смерти Орлеанского. После Монтескье осталось много бумаг, они были у Лене, для разбора и издания; вероятно, возвращены внуку Монтескье, недавно умершему в Англии, и пропали. С Фикельмоном: о книге Лундмана. У него есть шведская рукопись *Бока*, шведа, пленного, сосланного в Сибирь, откуда он прислал рапорт о войне в Штокгольм, обвиняя во многом Карла XII. С Либерманом о *Минье*; с Хитровой и Аршияком — о плотской любви. Вечер хоть бы в Париже! Барант предлагал Пушкину перевести «Капитанскую дочь» [70].

9 генваря ⟨...⟩ Я зашел к Пушкину: он читал мне свои pastiche на Вольтера и на потомка Jeanne d'Arc [71]. Потом он был у меня, мы рассматривали французские бумаги [72] и заболтались до 4-х часов. Ермолов, Орлов, Киселев все знали и ожидали: без нас дело не обойдется. Ермолов, желая спасти себя — спас Грибоедова, узнав, предварил его за два часа [73]. Обедал у Татаринова. Зашел опять к Пушкину. Прочел ему письмо мое о Жольвекуре. Аршияк заходил ко мне и уехал к Бравуре. Дал Пушкину мои письма, переписку Бонштеттена с m-me Staal, его мелкие сочинения; выписки из моего журнала о Шотландии и Веймаре [74].

12 генваря ⟨...⟩ у Пушкиной.

14 генваря ⟨...⟩ Бал у французского посла. Прелесть и роскошь туалетов. Пушкина и сестры ее, сватовство — но мы обедали 13 сегодня и граф Лили Толстой [75] рассказывал пророчество о нем le Normand: [76] его повесят в 1842 году!.. Опять от меня многие отворачивались, но и я от многих.

15 генваря ⟨...⟩ Зашел к Пушкину; стихи к Морю о брате [77] ⟨...⟩ на детский бал к Вяземской (день рождения Наденьки), любезничал с детьми, маменьками и гувернантками.— Стихи Пушкина к графине Закревской [78]. Вальсировал ⟨...⟩ Пушкина и сестры ее.

17 генваря ⟨...⟩ Обед у Карамзиных с Полетикой, Жуковским, Вяземским. Разговор о либерализме. Жуковский просил портрета и оскорбился вопросом: на что тебе?.. на вечер к княгине Мещерской, где Пушкины, Люцероде, Вяземский.

18 генваря ⟨...⟩ к Люцероде, где долго говорил с Наталией Пушкиной и она от всего сердца.

19 генваря ⟨...⟩ У князя Вяземского о Пушкиных, Гончаровой, Дантесе-Геккерне.

21 генваря. Послал к брату № 20... Стихотворение Пушкина о море, по поводу брата... Отдал письма Аршияку

и завтракал с ним. Он прочел мне письмо А. Пушкина о дуэли от 17 ноября 836 [79] ...Зашел к Пушкину: о Шатобрияне, и о Гете, и о моем письме из Симбирска — о пароходе, коего дым проест глаза нашей татарщине [80]. ⟨...⟩ Обедал у Лубяновского [81] с Пушкиным, Стогом, Свиньиным, Багреевым [82] и пр. Анекдоты о Платоне ⟨1 нрзб.⟩ Репнине, Безбородке, Тутолмине и Державине. Донос его на Тутолмина государыне и поступок императрицы [83]. Вечер проспал от венгерского и на бал к австрийскому послу. У посла любезничал с Пушкиной, Огаревой, Шереметьевой. Жуковский примечает во мне что-то не прежнее и странное, а я люблю его едва ли не более прежнего. Ужин великолепен. Пробыл до 3-го часа утра.

23 генваря. Кончил переписку «Веймарского дня», прибавил письмо 15 англичан к Гете и ответ его в стихах и после обеда отдал и прочел бумагу Вяземскому, а до обеда зашли ко мне Пушкин и Плетнев и читали ее и хвалили. Пушкин хотел только выкинуть стихотворение Лобанова [84].

24 генваря, воскресенье. Кончил чтение Шатобрияна «Англинской литературы». Сколько прекрасных страниц, гармонических и трогательных: но где англинская литература? Везде он, а Мильтон резко выглядывает из-под Шатобриана [85]. У меня был Геккерн... К княгине Мещерской едва взошел, как повздорил опять с княгиней Вяземской. Взбалмошная! Разговор с Пушкиной.

26 генваря. Я сидел до 4-го часа, перечитывая мои письма; успел только прочесть Пушкину выписки из парижских бумаг.

27 генваря ⟨...⟩ Скарятин сказал мне о дуэле Пушкина с Геккерном; я спросил у Карамзиной и побежал к княгине Мещерской: они уже знали. Я к Пушкину: там нашел Жуковского, князя и княгиню Вяземских и раненного смертельно Пушкина, Арндта, Спасского — все отчаивались. Пробыл с ними до полуночи и опять к княгине Мещерской. Там до двух и опять к Пушкину, где пробыл до 4-го утра. Государь присылал Арндта с письмом, собственным карандашом: только показать ему: «Если бог не велит нам свидеться на этом свете, то прими мое прощенье (которого Пушкин просил у него себе и Данзасу) и совет умереть христьянски, исповедаться и причаститься; а за жену и детей не беспокойся: они мои дети и я буду пещись о них». Пушкин сложил руки и благодарил бога, сказав, чтобы Жуковский передал государю его благодарность.

Приезд его: мысль о жене и слова, ей сказанные: «будь спокойна, ты ни в чем не виновата» [86].

28 генваря. Луи [87] справлялся: хуже. В 10 часов я уже был опять у Пушкина. Опасность увеличилась. Страдания ночью и крики, коих не слыхала жена. Последний разбудил ее, но ей сказали, что это на улице. Все описал сестрице и просил Булгакова послать копию Аржевитинову... Был на похоронах у сына Греча; опять к Пушкину, простился с ним. Он пожал мне два раза, взглянул и махнул тихо рукою. Карамзину просил перекрестить его. Велгурскому сказал, что любит его. Жуковский — все тот же. Обедал у Путятиных. Потом опять к Пушкину и домой и к Пушкину: пил чай у Карамзиных до 4-го часу.

29 генваря. День рождения Жуковского и смерти Пушкина. Мне прислали сказать, что ему хуже да хуже. В 10-м часу я пошел к нему. Жуковский, Велгурский, Вяземский ночевали там. Князь А. Н. Голицын призвал к себе: рассказал ему о Пушкине и просил за Данзаса... Описал весь день и кончину Пушкина в двух письмах для сестрицы [88].

В $2^3/_4$ пополудни поэта не стало: последние слова и последний вздох его. Жуковский, Вяземский, сестра милосердия, Даль, Данзас, доктор [89] закрыл ему глаза.

Обедал у графа Велгурского с Жуковским и князем Вяземским. Оттуда с Вяземским к Бравуре, письмо и комеражи ее. На панихиду Пушкина в 8 часов вечера. Оттуда домой и вечер у Карамзиных... О вчерашней встрече моей с отцом Геккерна. Барант у Пушкина.

30 генваря. День ангела Жуковского. У меня Татаринов, писал к Ивану Семеновичу и приложил «1812 г.» Глинки и «Прибавления к Инвалиду», в письме стихотворение Пушкина о море. Писал и к сестрице и к Булгакову о вчерашнем дне. О пенсии Пушкиной, о детях. В 11 часов панихида. Письмо Пушкина к Геккерну. Был у Даршиака, читал все письма его к Пушкину и Пушкина к нему и к англичанину о секундантах. Поведение Пушкина на поле или на снегу битвы назвал он «parfait» *. Но слова его о возобновлении дуэля по выздоровлении отняли у Даршиака возможность примирить их... Не был на панихиде по нездоровью, не поехал на бал к князю Голицыну по причине кончины Пушкина. Вечер у Карамзиных.

---

* безукоризненно.

31 генваря. Воскресенье. Зашел к Пушкину. Первые слова, кои поразили меня в чтении псалтыря: «Правду твою не скрыв в сердце твоем». Конечно, то, что Пушкин почитал правдою, то есть злобу свою и причины оной к антагонисту — он не скрыл, не угомонился в сердце своем и погиб. Обедня у князя Голицына. Блудова болтовня. Оттуда к Сербиновичу. О бумагах, приписал о 14 тетрадях Броглио, опять к Пушкину и к Даршиаку, где нашел Вяземского и Данзаса: о Пушкине! *Знать* наша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине. Слова государя Жуковскому о Пушкине и Карамзине: «Карамзин ангел». Пенсия, заплата долгов, 10 тысяч на погребение, издание сочинений и пр. Обедал у Карамзиных. Спор о Геккерне и Пушкине. Подозрения опять на князя Ивана Гагарина [90]. После обеда на панихиду. Оттуда пить чай к княгине Мещерской — и опять на вынос. В 12, то есть в полночь, явились жандармы, полиция, шпионы — всего 10 штук, а нас едва ли столько было! Публику уже не впускали. В 1-м часу мы вывезли гроб в церковь Конюшенную, пропели заупокой, и я возвратился тихо домой.

1 февраля... В 11 часов нашел я уже в церкви обедню, в $10^1/_2$ начавшуюся. Стечение народа, коего не впускали в церковь, по Мойке и на площади. Послы со свитами и женами. Лицо Баранта: le seul russe * — вчера еще, но сегодня генералы и флигель-адъютанты. Блудов и Уваров: смерть — примиритель. Крылов. Князь Шаховской. Дамы-посольши и пр. Каратыгин, молодежь. Жуковский. Мое чувство при пении. Мы снесли гроб в подвал. Тесновато. Оттуда к вдове: там опять Жуковский. Письмо вдовы к государю: Жуковского, графа Велгурского, графа Строганова просит в опекуны. Все описал сестрице и для других и послал билеты 〈...〉 дописал письмо к брату и

2 февраля рано поутру послал его к Даршиаку — о смерти Пушкина 〈...〉 Жуковский приехал ко мне с известием, что государь назначает меня провожать тело Пушкина до последнего жилища его. Мы толковали о прекрасном поступке государя в отношении к Пушкину и к Карамзину. После него Федоров со стихами на день его рождения, и опять Жуковский с письмом графа Бенкендорфа к графу Строганову,— о том, что вместо Данзаса назначен я, в качестве *старого друга* (ancien ami), отдать ему последний долг. Я решился принять и переговорить

* единственный русский.

о времени отъезда с графом Строгановым. Поручил Федорову собрать сведения о Пскове. Пошел к графу Строганову. Встретил Даршиака, который едет в 8 часов вечера, послал к нему еще письмо к брату, в коем копия с писем гр. Бенкендорфа и с моего к графу Строганову... Графа Строганова не застал, оставил карточку, встретил жену его: она сказала, что будет граф в 4 часа дома; не застал князя Голицына ни дома, ни у Муравьевой, ни во дворце.— У князя Вяземского написал письмо к графу Строганову, обедал у Путятиных и заказал отыскать кибитку. Встретил князя Голицына, и в сенях у князя Кочубей прочел ему письмо и сказал слышанное: что не в мундире положен, якобы по моему или князя Вяземского совету? Жуковский сказал государю, что по желанию жены. Был в другой раз, до обеда у графа Строганова, отдал письмо, и мы условились о дне отъезда. Государю угодно чтобы завтра в ночь. Я сказал, что поеду на свой счет и с особой подорожной.

Был у почт-директора: дадут почталиона... К Сербиновичу: условились о бумагах. К Жуковскому: там Спасский прочел мне записку свою о последних минутах Пушкина. Отзыв графа Б⟨енкендорфа?⟩ Гречу о Пушкине. Стихи Лермонтова — прекрасные. Отсюда домой и к Татаринову и на панихиду; тут граф Строганов представил мне жандарма: о подорожной и о крестьянских подставах. Куда еду — еще не знаю. Заколотили Пушкина в ящик. Вяземский положил с ним свою перчатку. Не поехал к нему, для жены. У Карамзиных Федоров отдал мне книги и бумаги. О Вяземском со мною: «он еще не мертвый»...

3 февраля ⟨...⟩ Опоздал на панихиду к Пушкину. Явились в полночь, поставили на дроги, и

4 февраля, в 1-м часу утра или ночи, отправился за гробом Пушкина в Псков; перед гробом и мною скакал жандармской капитан. Проехали Софию, в Гатчине рисовались дворцы и шпиц протестантской церкви; в Луге или прежде пил чай. Тут вошел в церковь. На станции перед Псковом встреча с камергером Яхонтовым, который вез письмо Мордвинова к Пещурову, но не сказал мне о нем. Я поил его чаем и обогнал его, приехал к 9-ти часам в Псков, прямо к губернатору — на вечеринку. Яхонтов скор и прислал письмо Мордвинова, которое губернатор начал читать вслух, но дошел до высочайшего повеления — о невстрече — тихо, и показал только мне, именно тому, кому казать не должно было: сцена хоть из комедии! [91] Напился чаю; мы вытребовали от архиерея (за 5 верст) предписание

архимандриту в Святогорском монастыре, от губернатора городничему в Остров и исправнику в Опочковском уезде и в 1 час пополуночи

5 февраля отправились сперва в Остров, за 56 верст, оттуда за 50 верст к *Осиповой* — в Тригорское, где уже был в три часа пополудни. За нами прискакал и гроб в 7-м часу вечера; почталиона оставил я на последней станции с моей кибиткой. Осипова послала, по моей просьбе, мужиков рыть могилу; вскоре и мы туда поехали с жандармом; зашли к архимандриту; он дал мне описание монастыря; рыли могилу; между тем я осмотрел, хотя и ночью, церковь, ограду, здания. Условились приехать на другой день и возвратились в Тригорское. Повстречали тело на дороге, которое скакало в монастырь. Напились чаю; я уложил спать жандарма и сам остался мыслить вслух о Пушкине с милыми хозяйками; читал альбум со стихами Пушкина, Языкова и пр. Нашел Пушкина нигде не напечатанные [92]. Дочь пленяла меня; мы подружились. В 11 часов я лег спать. На другой день

6 февраля, в 6 часов утра, отправились *мы* — я и жандарм!! — опять в монастырь,— все еще рыли могилу; мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян гроб в могилу — немногие плакали. Я бросил горсть земли в могилу; выронил несколько слез — вспомнил о Сереже — и возвратился в Тригорское. Там предложили мне ехать в Михайловское, и я поехал с милой дочерью, несмотря на желание и на убеждение жандарма не ездить, а спешить в обратный путь. Дорогой Мария Ивановна объяснила мне Пушкина в деревенской жизни его, показывала урочища, места... любимые сосны, два озера, покрытых снегом, и мы вошли в домик поэта, где он прожил свою ссылку и написал лучшие стихи свои. Все пусто. Дворник, жена его плакали. Я искал вещь, которую бы мог унести из дома; две каменные вазы на печках оставил я для сирот. Спросил старого, исписанного пера: мне принесли новое, неочищенное; насмотревшись, мы опять сели в кибитку-коляску и, дружно разговаривая, возвратились в Тригорское. Отзавтракав, простились. Хозяйка дала мне немецкий keepsake * на память; я обещал ей стихи Лермонтова, «Онегина» и мой портрет. Мы нежно простились, особливо с Марией Ивановной, уселись в кибитку и на лошадях хозяйки по реке Великой менее нежели в три часа

* альбом.

достигли до 1-й станции. Заплатил за упадшую под гробом лошадь — и поехали далее. Остров. Здесь нагнал нас городничий; благодарил его и чиновника — и в 4 часу утра приехал во Псков.

8 марта. ⟨...⟩ Жуковский читал нам свое письмо к Бенкендорфу о Пушкине и о поведении с ним государя и Бенкендорфа. Критическое расследование действия жандармства. И он закатал Бенкендорфу, что Пушкин погиб оттого, что его не пустили ни в чужие краи, ни в деревню, где бы ни он, ни жена его не встретили Дантеса.

Н. А. МУХАНОВ

ИЗ «ДНЕВНИКА»

24 ⟨июня 1832⟩. ⟨...⟩ В 5 часов поехал обедать к В. Пушкину с двумя графинями прелестными. Aurore [1], Пушкин Александр, Вяземский, А. Толстой. ⟨...⟩

29. К Вяземскому поздравить с именинами. Нашел у него Aimée Полуектову и Александра Пушкина. Она осталась чужда разговору, который продолжался между мною и Пушкиным о новейшей литературе французской и нововышедших в свет книгах. Он находит, что лучшая из них «Table de nuit», Musset [2]. Я спросил мнения его о Дюмоне, которого еще не читал, но известного мне по критике «Débats» и по мнению некоторых моих знакомых; Уварова, Толстого, Панина, всех очень его хвалящих. Пушкин очень хвалит Дюмона, а Вяземский позорит, из чего вышел самый жаркий спор, в коем я хотя не читал Дюмона, но совершенно мнения Пушкина по его доводам и справедливости заключений. Оба они выходили из себя, горячились и кричали. Вяземский говорил, что Дюмон старается похитить всю славу Мирабо. Пушкин утверждал, напротив, что он известен своим самоотвержением, коему дал пример переводом Бентама, что он выказывает Мирабо во внутренней его жизни, и потому весьма интересен, что Jules Janin врет, что французы презрительны, что таланта истинного в них нет, что лучшие их таланты не французы, что Мирабо не француз, что «Journal des Débats» нельзя принимать за мнение всей Франции и что ее мнение даже неважно и проч.[3] Спор усиливался. Полуектова неприметно скрылась в пылу оного; и наконец пришел человек объявить, что приехал Д. Н. Блудов. Был принят, говорил плодовито, скоро и объяснял; все предметы ему весьма знакомы. Разговор сперва имел предметом смерть Чертковой, потом коснулся пожара. Сгорело 280 домов, из коих застрахованных было только на 330 тысяч, и мосты около сего

квартала были сломаны в переделке; потому полиция не могла оказать столь скорую помощь, каковую следовало. Какие он думает по сему предмету сделать постановления? Самые пустые. Колодцы и запрещение держать у себя на дому горючие вещества иначе как в самом малом количестве. Повод к злоупотреблениям. Об Англии, о некоторых лицах ему известных во время его там 10 лет ⟨назад⟩ пребывания. Сказал Пушкину, что он о нем говорил государю и просил ему жалованья, которое давно назначено, а никто выдавать не хочет. Государь приказал переговорить с Нессельродом. Странный ответ: «Я желал бы, чтобы жалованье выдавалось от Бенкендорфа».— «Почему же не от вас? Не все ли равно, из одного ящика или из другого?» — «Для того, чтобы *избежать дурного примера*».— «Помилуйте,— возразил Блудов,— ежели бы таковой пример породил нам хоть нового «Бахчисарайского фонтана», то уж было бы счастливо». Мы очень сему смеялись. Пушкин будет издавать газету (Блудов выпросил у государя на сие позволение) под заглавием «Вестник», газета политическая и литературная; будет давать самые скорые сведения пол⟨итические⟩ из министерства внутренних дел. Пушкин, говоривший до сего разговора весьма свободно и непринужденно, после оного тотчас смешался и убежал. ⟨...⟩

4 ⟨июля⟩. ⟨...⟩ Поехал к Пушкину. Видел у него Плетнева и статую имп. Екатерины, весьма замечательную. Говорили о его газете, мысли его самые здравые: anti-либеральные, anti-Полевые, ненавидит дух журналов наших. Обещался быть ко мне на другой день. Он очень созрел. ⟨...⟩

5. ⟨...⟩ Пришел Александр Пушкин. Говорили долго о газете его. Он издавать ее намерен с сентября или октября; но вряд ли поспеет. Нет еще сотрудника. О Погодине. Он его желает; хочет мне дать к нему поручение. О Вяземском. Он сказал, что он человек ожесточенный, aigri, который не любит России, потому что она ему не по вкусу. О презрении его к русским журналам, о Андросове и статье Погодина о нем. Толстой говорил, что Андросов презирает Россию, унижает, о несчастном уничижении, с которым писатели наши говорят об отечестве, что в них не оппозиция правительству, а отечеству. Пушкин очень сие апробовал и говорит, что надо об этом сделать статью журнальную [4]. Пушкин и Толстой очень сошлись мнениями. Пушкин говорил долго. Квасной патриотизм [5] и совершенно

согласно мыслями с Толстым, все в его духе. Цель его журнала, как он ее понимает — хочет доказать правительству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литературными шельмами, как доселе сие было. Водворить хочет новую систему. Наконец расстались очень довольные друг другом. Я много ожидаю добра от сего журнала [6].

7. ⟨...⟩ Оживленный спор с Уваровым по поводу журнала Пушкина. Он уязвлен, что разрешение было дано ему министерством внутренних дел, а не его министерством. Он утверждает, что Пушкин не сможет издавать хорошего журнала, не имея ни характера, ни постоянства, ни практических приготовлений, каких требует журнал. Он по-своему прав [7].

П. В. и В. А. НАЩОКИНЫ

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ П. И. БАРТЕНЕВЫМ

Пушкин поступил в Лицей при самом его основании. Нащокин (который был одним годом его моложе) был в пансионе Гауеншильда. Они часто видались и скоро подружились. Пушкин полюбил его за живость и остроту характера. Вообще Пушкин любил всех товарищей, врагов у него не было. Хотя у Пушкина в пансионе был брат (Лев), но он хаживал в пансион более для свидания с Нащокиным, чем с братом. ⟨...⟩

Нащокин вышел раньше Пушкина, не кончив курса, еще не переведенный из пансиона в Лицей. С тех пор надолго прекратились его сношения с Пушкиным, до самого 1828 года, когда в Москве началась самая тесная дружба.

Приезжая в Москву, Пушкин всегда останавливался у Нащокина [1] и всегда радовался, что извозчики из почтамта умели найти его квартиру и привезти его к нему, несмотря на то что он менял квартиры. Всего дольше он жил у старого Пимена, в доме ⟨Ивановой⟩.

Когда он приезжал к нему, они тотчас отправлялись в бани (Лепехинские, что были у Смоленского рынка) и там вдоволь наговаривались, так что им после не нужно было много говорить: в обществе они уже вполне понимали друг друга. Вставал Пушкин довольно рано, никуда не выходил, покуда не встанет Нащокин, просыпавшийся довольно поздно, потому что засиживался в Английском клубе, куда Пушкин не ездил [2]. Питая особенную к нему нежность, он укутывал его, отправляя в клуб, крестил.

Писать стихи Пушкин любил на отличной бумаге, в большом альбоме, который у него был с замком; ключ от него он носил при часах, на цепочке [3]. Стихов своих нисколько не скрывал от Нащокина.

[Роман «Дубровский» внушен был Нащокиным. Он рассказывал Пушкину про одного белорусского небогатого

дворянина, по фамилии Островский (как и назывался сперва роман), который имел процесс с соседом за землю, был вытеснен из именья и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить, сначала подьячих, потом и других. Нащокин видел этого Островского в остроге] [4].

«Сказку о Царе Салтане» Пушкин написал в дилижансе, проездом из Петербурга в Москву.

Распорядителем суммы, вырученной за продажу сочинений Пушкина, был граф Строганов, один из душеприказчиков, поручивший это дело какому-то Отрешкову (из 250 — только 30 т.). После Пушкина осталось только 75 рублей денег и 60 тысяч долгу, уплаченного государем. Из 75 на память взяли себе по 25 — Жуковский, Вельегорский и Нащокин. Последнему же достался бумажник, архалук (подаренные в собрание Погодина), маска, отданная Сухотину, и часы, которые он уступил Гоголю [5].

Пушкин не любил Вяземского, хотя не выражал того явно; он видел в нем человека безнравственного, ему досадно было, что тот волочился за его женою, впрочем, волочился просто из привычки светского человека отдавать долг красавице. Напротив, Вяземскую Пушкин любил.

Баратынский не был с ним искренен, завидовал ему, радовался клевете на него, думал ставить себя выше его глубокомыслием, чего Пушкин в простоте и высоте своей не замечал. ⟨...⟩

Нащокин сказал, что первые стихи Пушкин написал на французском языке еще будучи 8 лет [6]. Пушкин, по его же словам, пользовался царскою милостью на пользу другим. Так, когда умер Н. Н. Раевский, Пушкин выпросил его вдове (внучке знаменитого Ломоносова, как заметил Погодин) пенсион: государь ей назначил 12 000 пенсиону [7]. Еще выпросил прощение одному офицеру, который за то, что выпустил из-под надзору кн. Оболенского, был разжалован в солдаты и встретился с Пушкиным во время его путешествия в Арзрум [8].

Пушкин ввел в обычай, обращаясь с царственными лицами, употреблять просто одно слово: государь. Когда наследник заметил ему, что он не государь, Пушкин отвечал: вы государь наследник, а отец ваш государь император. Его высочество Михаил Павлович любил шутить с Пушкиным, они говаривали о старинном оружии, об военном уставе, об «Артикуле» [9]. Государыню Пушкин очень любил, благоговел перед нею. Когда Пушкина перевезли из псковской деревни в Москву, прямо в кабинет

государя, было очень холодно. В кабинете топился камин. Пушкин обратился спиною к камину и говорил с государем, отогревая себе ноги; но вышел оттуда со слезами на глазах и был до конца признателен к государю. ⟨...⟩

На письме Нащокина к Пушкину, писанном в Туле 1834 года и находившемся в бумагах Пушкина, но по смерти его возвращенных Натальею Николаевною к Нащокину, рукою Пушкина, на обороте, написано:

Настоичка травная,
Настоичка тройная,
На зелья составная!
  Удивительная!..
Вприсядку при народе
Тряхнул бы в хороводе
Под: *Збранный Воеводе.*
  Победительная!..[10]

Нащокин и жена его с восторгом вспоминают о том удовольствии, какое они испытывали в сообществе и в беседах Пушкина. Он был душа, оживитель всякого разговора: Они вспоминают, как любил домоседничать, проводил целые часы на диване между ними; как они учили его играть в вист и как просиживали за вистом по целым дням; четвертым партнером была одна родственница Нащокина, невзрачная собою; над ней Пушкин любил подшучивать. Любя тихую домашнюю жизнь, Пушкин неохотно принимал приглашения, неохотно ездил на так называемые литературные вечера. Нащокин сам уговаривал его ездить на них, не желая, чтобы про него говорили, будто он его у себя удерживает. В пример милой веселости Пушкина Нащокин рассказал следующий случай. Они жили у Старого Пимена, в доме Иванова. Напротив их квартиры жил какой-то чиновник рыжий и кривой, жена у этого чиновника была тоже рыжая и кривая, сынишка — рыжий и кривой. Пушкин для шуток вздумал волочиться за супругой и любовался, добившись того, что та стала воображать, будто действительно ему нравится, и начала кокетничать. Начались пересылки: кривой мальчик прихаживал от матушки узнать у Александра Сергеевича, который час и пр. Сама матушка с жеманством и принарядившись прохаживала мимо окон, давая знаки Пушкину, на которые тот отвечал преуморительными знаками. Случилось, что приехал с Кавказа Лев Сергеевич и привез с собою красиль-

ный порошок, которым можно было совсем перекрасить волосы. Раз почтенные супруги куда-то отправились; остался один рыжий мальчик. Пушкин вздумал зазвать его и перекрасить. Нащокин, как сосед, которому за это пришлось бы иметь неприятности, уговорил удовольствоваться одним смехом.

В этот же раз Павел Войнович рассказал мне подробнее о возвращении Пушкина из Михайловского в 1826 году. Послан был нарочный сперва к псковскому губернатору с приказом отпустить Пушкина. С письмом губернатора этот нарочный прискакал к Пушкину. Он в это время сидел перед печкою, подбрасывал дров, грелся. Ему сказывают о приезде фельдъегеря. Встревоженный этим и никак не ожидавший чего-либо благоприятного, он тотчас схватил свои бумаги и бросил в печь: тут погибли его записки (см. XI т.) и некоторые стихотворные пьесы, между прочим, стихотворение «Пророк», где предсказывались совершившиеся уже события 14 декабря. Получив неожиданное прощение и лестное приглашение явиться прямо к императору, он поехал тотчас с этим нарочным и привезен был прямо в кабинет государя. Камин. О разговоре с государем Нащокин не помнит. Я было думал, что он скрывает от меня его, но он божится, что действительно не знает [11]. ⟨...⟩

Нащокин с умилением, чуть не со слезами вспоминает о дружбе, которую он имел с Пушкиным. Он уверен, что такой близости Пушкин не имел более ни с кем, уверен также, что ни тогда, ни теперь не понимают и не понимали, до какой степени была высока душа у Пушкина, говорит, что Пушкин любил и еще более уважал его, следовал его советам, как советам человека больше него опытного в житейском деле. Горько пеняет он на себя, что, будучи так близок к великому человеку, он не помнил каждого слова его. Вообще степень доверия к показаниям Нащокина во мне все увеличивается, и теперь доверие мое переходит в уверенность. Он дорожит священною памятью и сообщает свои сведения осторожно, боясь ошибиться, всегда оговариваясь, если он нетвердо помнит что-либо.

Сведения о прошедшей жизни Булгарина, которыми Пушкин так искусно воспользовался в статье о Мизинчике, были получены им случайно. У Нащокина раз обедали князь Дадьян и полковник Владимир Николаевич Специнский, который в бытность свою в остзейских провинциях

был свидетелем всех пакостей Булгарина, тогда еще ничтожного негодяя, и, услыхав его имя у Нащокина, рассказал его историю. Нащокин после просил Специнского повторить свой рассказ в присутствии Пушкина. У Нащокина обо всем этом написана коротенькая статейка [12].

Пушкину все хотелось написать большой роман. Раз он откровенно сказал Нащокину: Погоди, дай мне собраться, я за пояс заткну Вальтер Скотта! ⟨...⟩

Вот воспоминание самого Пушкина о своем детстве, переданное Нащокину им самим. Семейство Пушкиных жило в деревне. С ними жила одна родственница, какая-то двоюродная или троюродная сестра Пушкина, девушка молодая и сумасшедшая. Ее держали в особой комнате. Пушкиным присоветовали, что ее можно вылечить испугом. Раз Пушкин-ребенок гулял по роще. Он любил гулять, воображал себя богатырем, расхаживал по роще и палкою сбивал верхушки и головки растений. Возвращаясь домой после одной из прогулок, на дворе он встречает свою сумасшедшую сестру, растрепанную, в белом платье, взволнованную. Она выбежала из своей комнаты. Увидя Пушкина, она подбегает к нему и кричит: «Mon frère, on me prend pour un incendie» *.

Дело в том, что для испуга к ней в окошко провели кишку пожарной трубы и стали поливать ее водою. Пушкин, видно, знавший это, спокойно и с любезностью начал уверять ее, что ее сочли не за пожар, а за цветок, что цветы также поливают.

У Пушкина был еще, кроме Льва, брат, который умер в малолетстве. Пушкин вспоминал, что он перед смертью показал ему язык. Они прежде ссорились, играли; и, когда малютка заболел, Пушкину стало его жаль, он подошел к кроватке с участием; больной братец, чтобы подразнить его, показал ему язык и вскоре затем умер (см. рассказ Шевырева; вероятно, это тот самый брат).

Следующий рассказ относится уже к совершенно другой эпохе жизни Пушкина. Пушкин сообщал его за тайну Нащокину и даже не хотел на первый раз сказать имени действующего лица, обещал открыть его после. Уже в ны-

* Брат, они меня приняли за пожар.

нешнее царствование, в Петербурге, при дворе была одна дама, друг императрицы, стоявшая на высокой степени придворного и светского значения. Муж ее был гораздо старше ее, и, несмотря на то, ее младые лета не были опозорены молвою; она была безукоризненна в общем мнении любящего сплетни и интриги света. Пушкин рассказал Нащокину свои отношения к ней по случаю их разговора о силе воли. Пушкин уверял, что при необходимости можно удержаться от обморока и изнеможения, отложить их до другого времени. Эта блистательная, безукоризненная дама наконец поддалась обаяниям поэта и назначила ему свидание в своем доме. Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец; по условию он лег под диваном в гостиной и должен был дожидаться ее приезда домой. Долго лежал он, терял терпение, но оставить дело было уже невозможно, воротиться назад — опасно. Наконец после долгих ожиданий он слышит: подъехала карета. В доме засуетились. Двое лакеев внесли канделябры и осветили гостиную. Вошла хозяйка в сопровождении какой-то фрейлины: они возвращались из театра или из дворца. Через несколько минут разговора фрейлина уехала в той же карете. Хозяйка осталась одна. «Etes-vous là?» *, и Пушкин был перед нею. Они перешли в спальню. Дверь была заперта; густые, роскошные гардины задернуты. Начались восторги сладострастия. Они играли, веселились. Пред камином была разостлана пышная полость из медвежьего меха. Они разделись донага, вылили на себя все духи, какие были в комнате, ложились на мех... Быстро проходило время в наслаждениях. Наконец Пушкин как-то случайно подошел к окну, отдернул занавес и с ужасом видит, что уже совсем рассвело, уже белый день. Как быть? Он наскоро, кое-как оделся, поспешая выбраться. Смущенная хозяйка ведет его к стеклянным дверям выхода, но люди уже встали. У самых дверей они встречают дворецкого, итальянца. Эта встреча до того поразила хозяйку, что ей сделалось дурно; она готова была лишиться чувств, но Пушкин, сжав ей крепко руку, умолял ее отложить обморок до другого времени, а теперь выпустить его, как для него, так и для себя самой. Женщина преодолела себя. В своем критическом положении они решились прибегнуть к посредству третьего. Хозяйка позвала свою служанку, старую, чопорную француженку, уже давно одетую и ловкую в по-

* Вы здесь?

добных случаях. К ней-то обратились с просьбою провести из дому. Француженка взялась. Она свела Пушкина вниз, прямо в комнаты мужа. Тот еще спал. Шум шагов его разбудил. Его кровать была за ширмами. Из-за ширм он спросил: «Кто здесь?» — «Это — я»,— отвечала ловкая наперсница и провела Пушкина в сени, откуда он свободно вышел: если б кто его здесь и встретил, то здесь его появление уже не могло быть предосудительным. На другой же день Пушкин предложил итальянцу-дворецкому золотом 1000 руб., чтобы он молчал, и хотя он отказывался от платы, но Пушкин принудил его взять. Таким образом все дело осталось тайною. Но блистательная дама в продолжение четырех месяцев не могла без дурноты вспомнить об этом происшествии [13] ⟨...⟩

Пушкин был человек самого многостороннего знания и огромной начитанности. Известный египтолог Гульянов, встретясь с ним у Нащокина, не мог надивиться, как много он знал даже по такому предмету, каково языковедение. Он изумлял Гульянова своими светлыми мыслями, меткими, верными замечаниями. Раз, Нащокин помнит, у них был разговор о всеобщем языке. Пушкин заметил между прочим, что на всех языках в словах, означающих *свет*, *блеск*, слышится буква «л» [14]. ⟨...⟩

По словам Нащокина и жены его, Пушкин был исполнен предрассудков суеверия, исполнен веры в разные приметы. Засветить три свечки, пролить прованское масло (что раз он и сделал за обедом у Нащокина и сам смутился этою дурною приметою) и проч.— для него предвещало несчастие. В Петербург раз приехала гадательница Киргоф. Никита и Александр Всеволодские и Мансуров (Павел), актер Сосницкий и Пушкин отправились к ней (она жила около Морской). Сперва она раскладывала карты для Всеволодского и Сосницкого. После них Пушкин попросил ее загадать и про него. Разложив карты, она с некоторым изумлением сказала: «О! Это голова важная! Вы человек не простой!» (то есть сказала в этом смысле, потому что, вероятно, она не знала по-русски. Слова ее поразили Всеволодского и Сосницкого, ибо действительно были справедливы). Она, между прочим, предвещала ему, что он умрет или от белой лошади, или от белой головы (Weisskopf). После Пушкин в Москве перед женитьбой, думая отправиться в Польшу, говорил, что, верно, его убьет

Вейскопф, один из польских мятежников, действовавших в тогдашнюю войну [15]. Нащокин сам не менее Пушкина мнителен и суеверен. Он носил кольцо с бирюзой против насильственной смерти. В последнее посещение Пушкина (весною 1836 г. из Болдино приезжал) Нащокин настоял, чтоб Пушкин принял от него такое же кольцо от насильственной смерти. Нарочно было заказано оно; его долго делали, и Пушкин не уехал, не дождавшись его: оно было принесено в 1 ночи, перед самым отъездом Пушкина в Петербург. Но этот талисман не спас поэта: по свидетельству Данзаса, он не имел его во время дуэли, а на смертном одре сказал Данзасу, чтобы он подал ему шкатулку, вынул из нее это бирюзовое кольцо и отдал Данзасу, прибавивши: «Оно от общего нашего друга». Сам Пушкин носил сердоликовый перстень. Нащокин отвергает показание Анненкова, который говорил мне, что с этим перстнем (доставшимся Далю) Пушкин соединял свое поэтическое дарование: с утратою его должна была утратиться в нем и сила поэзии [16].

Нетерпеливость Пушкина, потребность быстрой смены обстоятельств, вообще пылкий характер его выражается, между прочим, и в том, что он было хотел было совсем оставить свою женитьбу и уехать в Польшу единственно потому, что свадьба по денежным обстоятельствам не могла скоро состояться. (*NB*. Венчание происходило у Старого Вознесения на Никитской.) Нащокин был постоянно против этого. Он даже имел с ним горячий разговор по этому случаю, в доме кн. Вяземского. Намереваясь отправиться в Польшу, Пушкин все напевал Нащокину: «Не́ женись ты, добрый молодец, а на те деньги коня купи». ⟨...⟩

Вот отношения Пушкина к царю и ко двору. Кроме разговора по приезде из Михайловского, Пушкин еще писал к царю. Во время Турецкой кампании, когда царя в Петербурге не было, кто-то из офицеров переписал и снова пустил в ход «Гавриилиаду». Она попалась в руки к какому-то лицу, который донес об ней синоду. Синод потребовал, чтоб нашли автора. Петербургский генерал-губернатор послал за Пушкиным. (Эти обстоятельства Нащокин слышал не от самого Пушкина (который не любил вспоминать «Гавриилиаду»), а от некоего *Муханова*, который был адъютантом у ген.-губернатора.) Сначала Пушкин отозвался, что не один он писал и чтоб его не беспокоили. Но губернатор послал за ним вторично. Тут

Пушкин сказал, что он не может отвечать на этот допрос, но так как государь позволил ему писать к себе (стало быть, у них были разговоры), то он просит, чтобы ему дали объясниться с самим царем. Пушкину дали бумаги, и он у самого губернатора написал письмо к царю. Вследствие этого письма государь прислал приказ прекратить преследование, ибо он сам знает, кто виновник этих стихов [17].

Пушкин очень любил царя и все его семейство. Императрица удивительно как ему нравилась; он благоговел перед нею, даже имел к ней какое-то чувственное влечение. Но он отнюдь не доискивался близости ко двору. Когда он приехал с женою в Петербург, то они познакомились со всею знатью (посредницею была Загряжская). Графиня Нессельроде, жена министра, раз без ведома Пушкина взяла жену его и повезла на небольшой Аничковский вечер: Пушкина очень понравилась императрице. Но сам Пушкин ужасно был взбешен этим, наговорил грубостей графине и, между прочим, сказал: «Я не хочу, чтоб жена моя ездила туда, где я сам не бываю». Слова эти были переданы, и Пушкина сделали камер-юнкером. Но друзья, Вельегорский и Жуковский, должны были обливать холодною водою нового камер-юнкера: до того он был взволнован этим пожалованием! Если б не они, он, будучи вне себя, разгоревшись, с пылающим лицом, хотел идти во дворец и наговорить грубостей самому царю. Впоследствии (как видно из письма к Нащокину) он убедился, что царь не хотел его обидеть, и успокоился. Но камер-юнкерского мундира у него не было. Многие его обвиняли в том, будто он домогался камер-юнкерства. Говоря об этом, он сказал Нащокину, что мог ли он добиваться, когда три года до этого сам Бенкендорф предлагал ему камергера, желая его ближе иметь к себе, но он отказался, заметив: «Вы хотите, чтоб меня так же упрекали, как Вольтера!» — «Мне не камер-юнкерство дорого,— говорил он Нащокину,— дорого то, что на всех балах один царь да я ходим в сапогах, тогда как старики вельможи в лентах и в мундирах». Пушкину действительно позволялось являться на балы в простом фраке, что, конечно, оскорбляло придворную знать [18].

Будучи членом Академии русской словесности (жетоны Академии он привaживал к Нащокину), Пушкин сильно добивался быть членом Академии наук, но Уваров не допускал его, и это было одною из причин их неудовольствия.

Великий Гете, разговорившись с одним путешественником об России и слыша о Пушкине, сказал: «Передайте

моему собрату вот мое перо». Пером этим он только что писал. Гусиное перо великого поэта было доставлено Пушкину. Он сделал для него красный сафьянный футляр, на котором было напечатано: Перо Гете, и дорожил им [19].

Ни наших университетов, ни наших театров Пушкин не любил. Не ценил Каратыгина, ниже Мочалова. С Сосницким был хорош.

[Пушкин был великодушен, щедр на деньги. Бедному он не подавал меньше 25 рублей. Но он как будто старался быть скупее и любил показывать, будто он скуп. Перед свадьбою ему надо было сшить фрак. Не желая расходоваться, он не сшил его себе, а венчался и ходил во фраке Нащокина. В этом фраке, кажется, он и похоронен.]

Натура могучая, Пушкин и телесно был отлично сложен, строен, крепок, отличные ноги. В банях, куда езжал с Нащокиным тотчас по приезде в Москву, он, выпарившись на полке, бросался в ванну со льдом и потом уходил опять на полок. К концу жизни у него уже начала показываться лысина и волосы его переставали виться.

Почти все произведения Пушкина были слышаны Нащокиным от него самого, еще до печати. Между прочим, читая Бориса Годунова, на сцене у фонтана, Пушкин сказывал ему, что эту сцену он сочинил, едучи куда-то на лошади верхом. Приехав домой, он не нашел пера, чернила высохли, это его раздосадовало, и сцена была записана не раньше, как недели через три; но в первый раз сочиненная им она, по собственным его словам, была несравненно прекраснее. («И тайные стихи обдумывать люблю...»)

Нащокин помнит также, Пушкин говорил ему, что ему хотелось написать стихотворение или поэму, где выразить это непонятное желание человека, когда он стоит на высоте, броситься вниз. Это его занимало. ⟨...⟩

В бытность Пушкина у Нащокина в Москве к ним приезживал Денис Васильевич Давыдов. С живейшим любопытством, бывало, спрашивал он у Пушкина: «Ну что, Александр Сергеевич, нет ли чего новенького?» — «Есть, есть»,— приветливо говаривал на это Пушкин и приносил тетрадку или читал ему что-нибудь наизусть. Но все это без всякой натяжки, с добродушною простотою. ⟨...⟩

По словам Нащокина, Гоголь никогда не был близким человеком к Пушкину. Пушкин, радостно и приветливо встречавший всякое молодое дарование, принимал к себе Гоголя, оказывал ему покровительство, заботился о внимании к нему публики, хлопотал лично о постановке на сцену «Ревизора», одним словом, *выводил Гоголя в люди.*— Нащокин никак не может согласиться, чтобы Гоголь читал Пушкину свои «Мертвые души» (см. Переписку, с. 145). Он говорит, что Пушкин всегда рассказывал ему о всяком замечательном произведении. О Мертвых же душах не говорил. Хвалил он ему «Ревизора», особенно «Тараса Бульбу». О сей последней пьесе Пушкин рассказывал Нащокину, что описание степей внушил он. Пушкину какой-то знакомый господин очень живо описывал в разговоре степи. Пушкин дал случай Гоголю послушать и внушил ему вставить в Бульбу описание степи. От себя прибавлю, что здесь, верно, есть недоразумение и много можно сделать вопросов. Иначе что за лгун Гоголь перед публикой.— Нащокин, уважая талант Гоголя, не уважает его как человека, противопоставляя его искание эффектов, самомнение — простодушию и доброте, безыскусственности Пушкина — в этом он, конечно, до некоторой степени прав [20].

Отношения ⟨царя⟩ к жене Пушкина. Сам Пушкин говорил Нащокину, что ⟨царь⟩, как офицеришка, ухаживает за его женою; нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру, на балах, спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены.— Сам Пушкин сообщал Нащокину свою совершенную уверенность в чистом поведении Натальи Николаевны. ⟨...⟩

У Пушкина был дальний родственник, некто Оболенский, человек без правил, но не без ума. Он постоянно вел игру. Раз Пушкин в Петербурге (жил тогда на Черной речке; дочери его Марье тогда было не больше двух лет) не имел вовсе денег; он пешком пришел к Оболенскому просить взаймы. Он застал его за игрою в банк. Оболенский предлагает ему играть. Не имея денег, Пушкин отказывается, но принимает вызов Оболенского играть пополам. По окончании игры Оболенский остался в выигрыше большом и по уходе проигравшего, отсчитывая Пушкину следую-

щую ему часть, сказал: «Каково! Ты не заметил, ведь я играл наверное!» Как ни нужны были Пушкину деньги, но, услышав это, он, как сам выразился, до того пришел вне себя, что едва дошел до двери и поспешил домой. ⟨...⟩

«Пиковую даму» Пушкин сам читал Нащокину и рассказывал ему, что главная завязка повести не вымышлена. Старуха графиня — это Наталья Петровна Голицына, мать Дмитрия Владимировича, московского генерал-губернатора, действительно жившая в Париже в том роде, как описал Пушкин. Внук ее, Голицын, рассказывал Пушкину, что раз он проигрался и пришел к бабке просить денег. Денег она ему не дала, а сказала три карты, назначенные ей в Париже С.-Жерменем. «Попробуй»,— сказала бабушка. Внучек поставил карты и отыгрался. Дальнейшее развитие повести все вымышлено. Нащокин заметил Пушкину, что графиня не похожа на Голицыну, но что в ней больше сходства с Натальей Кирилловной Загряжскою, другою старухою. Пушкин согласился с этим замечанием и отвечал, что ему легче было изобразить Загряжскую, чем Голицыну, у которой характер и привычки были сложнее.

В сентябре 1852 года я пробыл двое суток в Москве и два раза навещал Нащокина. Как ни жалуется он на ослабление памяти, на трудность припоминать и обращаться к драгоценным связям своим с Пушкиным, что всегда его расстроивает, однако и этот раз кое-что удалось узнать. Нащокин повторяет, что покойник был не только образованнейший, но и начитанный человек. Так, он очень хорошо помнит, как он почти постоянно держал при себе в карманах одну или две книги и в свободное время, затихнет ли разговор, разойдется ли общество, после обеда — принимался за чтение. Читая Шекспира, он пленился его драмой «Мера за меру», хотел сперва перевести ее, но оставил это намерение, не надеясь, чтобы наши актеры, которыми он не был вообще доволен, умели разыграть ее. Вместо перевода, подобно своему «Фаусту», он передал Шекспирово создание в своем «Анджело». Он именно говорил Нащокину: «Наши критики не обратили внимания на эту пьесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал».

Стихи к пастырю церкви действительно написаны были к Филарету. Нащокин полагал, не к Державину ли, оберсвященнику, с которым, он помнит, Пушкин был в каких-то

сношениях; но в 1831 году Державина уже не было в живых. Шевырев разрешил мое недоумение. Он спрашивал о том у самого высокопреосвященного, который подтвердил дело и ласково улыбнулся, когда Шевырев ему стал говорить о том [21].

Поэта Державина Пушкин не любил как человека, точно так, как он не уважал нравственных достоинств в Крылове. Пушкин рассказывал, что знаменитый лирик в пугачевщину сподличал, струсил и предал на жертву одного коменданта крепости, изображенного в «Капитанской дочке» под именем Миронова. Разумеется, он ставил высоко талант Державина и, как помнит Павел Войнович, восхищался особенно его «Вельможею» [22].

Нащокин беспрестанно повторяет, что на Пушкина много сочиняют и про него выдумывают. Так, анекдот о 1-м апреле, рассказанный у Горчакова, сущая выдумка. Нащокину раз предлагали нарисовать в альбом; он поручил это сделать своему знакомому и, чтобы не присвоить себе чужого дела, подписался: «П. Нащокин. 1 апреля».

Горчаков слышал о том от него самого и по забывчивости или иначе как-нибудь приписал это Пушкину. 〈...〉

Весною 1836 года. Пушкин приехал в Москву из деревни. Нащокина не было дома. Дорогого гостя приняла жена его. Рассказывая ей о недавней потере своей, Пушкин, между прочим, сказал, что, когда рыли могилу для его матери в Святогорском монастыре, он смотрел на работу могильщиков и, любуясь песчаным, сухим грунтом, вспомнил о Войниче (так он звал его иногда): «Если он умрет, непременно его надо похоронить тут; земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины, как покойно ему будет здесь лежать». Жена Нащокина очень опечалилась этим рассказом, так что сам Пушкин встревожился и всячески старался ее успокоить, подавал воды и пр.

Пушкин несколько раз приглашал Нащокина к себе в Михайловское и имел твердое намерение совсем его туда переманить и зажить с ним вместе и оседло.

Жженку называл Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок.

В. А. НАЩОКИНА

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ

1

Познакомилась я с Пушкиным в Москве, в доме отца моего, А. Нарского [1]. Это было в 1834 году, когда я была объявлена невестой Павла Войновича Нащокина, впоследствии моего мужа. Привез его к нам в дом мой жених.

Конечно, я раньше слышала о Пушкине, любила его дивные творения, знала, что он дружен с моим женихом, и заранее волновалась и радовалась предстоящему знакомству с ним.

И вот приехал Пушкин с Павлом Войновичем. Волнение мое достигло высшего предела. Своей наружностью и простыми манерами, в которых, однако, сказывался прирожденный барин, Пушкин сразу расположил меня в свою пользу. Нескольких минут разговора с ним было достаточно, чтобы робость и волнение мои исчезли. Я видела перед собой не великого поэта Пушкина, о котором говорила тогда вся мыслящая Россия, а простого, милого, доброго знакомого.

Пушкин был невысок ростом, шатен, с сильно вьющимися волосами, с голубыми глазами необыкновенной привлекательности. Я видела много его портретов, но с грустью должна сознаться, что ни один из них не передал и сотой доли духовной красоты его облика — особенно его удивительных глаз.

Это были особые, поэтические задушевные глаза, в которых отражалась вся бездна дум и ощущений, переживаемых душою великого поэта. Других таких глаз я во всю мою долгую жизнь ни у кого не видала.

Говорил он скоро, острил всегда удачно, был необыкновенно подвижен, весел, смеялся заразительно и громко, показывая два ряда ровных зубов, с которыми белизной могли равняться только перлы. На пальцах он отращивал предлинные ногти.

В первое свое посещение Пушкин довольно долго просидел у нас и почти все время говорил со мной одной. Когда он уходил, мой жених, с улыбкой кивая на меня, спросил его:

— Ну что, позволяешь на ней жениться?

— Не позволяю, а приказываю! — ответил Пушкин.

В объяснение вопроса Нащокина и ответа Пушкина я должна сказать следующее: дружба между поэтом и моим покойным мужем была настолько тесная, что в молодости, будучи оба холостыми, они жили в Москве несколько лет на одной квартире и во всех важных вопросах жизни всегда советовались друг с другом. Так, когда Пушкин задумал жениться на Н. Н. Гончаровой, то спросил Нащокина: что он думает о его выборе? Тот посоветовал жениться. Когда, несколько лет спустя, Нащокину предстояло сделать то же, он привез своего друга в дом моего отца, чтобы поэт познакомился со мной и высказал свое мнение.

Во второй раз я имела счастие принимать Александра Сергеевича у себя дома, будучи уже женой Нащокина. Мы с мужем квартировали тогда в Пименовском переулке, в доме Ивановой, где протекли первые семь лет моей счастливой супружеской жизни. Пушкин остановился тогда у нас [2], и впоследствии во время своих приездов в Москву до самой своей смерти останавливался у нас. Для него была даже особая комната в верхнем этаже, рядом с кабинетом мужа. Она так и называлась «Пушкинской».

Мой муж имел обыкновение каждый вечер проводить в Английском клубе. На этот раз он сделал то же. Так как помещение клуба было недалеко от нашей квартиры, то Павел Войнович, уходя, спросил нас, что нам прислать из клуба. Мы попросили варенца и моченых яблок. Это были любимые кушанья поэта. Через несколько минут клубский лакей принес просимое нами.

Мы остались с Пушкиным вдвоем, и тотчас же между нами завязалась одушевленная беседа. Можно было подумать, что мы старые друзья, когда на самом деле мы виделись всего во второй раз в жизни. Впрочем, говорил больше Пушкин, а я только слушала. Он рассказывал о дружбе с Павлом Войновичем, об их молодых проказах, припоминал смешные эпизоды. Более привлекательного человека и более милого и интересного собеседника я никогда не встречала. В беседе с ним я не заметила, как пролетело время до пяти часов утра, когда муж мой вернулся из клуба.

— Ты соскучился небось с моей женой? — спросил Павел Войнович, входя.

— Уезжай, пожалуйста, каждый вечер в клуб! — ответил всегда любезный и находчивый поэт.

— Вижу, вижу. Ты уж ей насплетничал на меня?! — сказал Павел Войнович.

— Было немножко...— ответил Пушкин, смеясь.

— Да, я теперь все твои тайны узнала от Александра Сергеевича,— сказала я.

С тех пор, как я уже говорила, Пушкин всякий раз, когда приезжал в Москву, останавливался и жил у нас.

О дружбе Пушкина с моим мужем в печати упоминалось как-то вскользь, а я утверждаю, что едва ли кто-нибудь другой стоял так близко к поэту, как Павел Войнович, и я уверена, что, узнай мой муж своевременно о предстоящей дуэли Пушкина с Дантесом, он никогда и ни за что бы ее не допустил и Россия не лишилась бы так рано своего великого поэта, а его друзья не оплакивали бы его преждевременную кончину! Ведь уладил же Павел Войнович ссору его с Соллогубом, предотвратив дуэль, уладил бы и эту историю [3]. Он никогда не мог допустить мысли, чтобы великий поэт, лучшее украшение родины и его любимый друг, мог подвергать свою жизнь опасности.

Да, такого друга, как Пушкин, у нас никогда не было, да таких людей и нет! ⟨...⟩ Для нас с мужем приезд поэта был величайшим праздником и торжеством. В нашей семье он положительно был родной. Я как сейчас помню те счастливые часы, которые мы проводили втроем в бесконечных беседах, сидя вечером у меня в комнате на турецком диване, поджавши под себя ноги. Я помещалась обыкновенно посредине, по обеим сторонам муж и Пушкин в своем красном архалуке с зелеными клеточками. Я помню частые возгласы поэта: «Как я рад, что я у вас! Я здесь в своей родной семье!»

Помню также, как часто между моим мужем и Пушкиным совершенно серьезно происходил разговор о том, чтобы по смерти их похоронили рядом на одном кладбище, и один раз поэт, приехав из своего любимого имения Михайловского, с восторгом говорил Павлу Войновичу: «Знаешь, брат, ты вот все болеешь, может, скоро умрешь, так я подыскал тебе в Михайловском могилку сухую, песчаную, чтобы тебе было не сыро лежать, чтобы тебе и мертвому было хорошо, а когда умру я, меня положат рядом с тобой» [4].

Был такой случай, характеризующий сердце Пушкина и его отношение к нам. Однажды Павел Войнович сильно проигрался в карты и ужасно беспокоился, что остался без гроша. Поэт в это время был у нас, утешал мужа, просил не беспокоиться, а в конце концов замолчал и уехал куда-то. Через несколько минут он возвратился и подал Павлу Войновичу сверток с деньгами.

— На, вот тебе,— сказал Пушкин,— успокойся. Неужели ты думал, что я оставлю тебя так?!

Кто же мог сделать что-либо подобное, как не близкий друг!

Павел Войнович был крестным отцом первого сына Пушкина — Александра; приглашал его поэт в крестные и ко второму сыну, но муж был болен и принужден был отказаться от поездки из Москвы в Петербург, тем более что в те времена, при отсутствии железной дороги, путешествие это на лошадях было утомительно, особенно для больного человека.

Много говорили и писали о необычайном суеверии Пушкина. Я лично могу только подтвердить это. С ним и с моим мужем было сущее несчастие (Павел Войнович был не менее суеверен). У них существовало великое множество всяких примет. Часто случалось, что, собравшись ехать по какому-нибудь неотложному делу, они приказывали отпрягать тройку, уже поданную к подъезду, и откладывали необходимую поездку из-за того только, что кто-нибудь из домашних или прислуги вручал им какую-нибудь забытую вещь, вроде носового платка, часов и т. п. В этих случаях они ни шагу не делали из дома до тех пор, пока, по их мнению, не пройдет определенный срок, за пределами которого зловещая примета теряла силу.

Не помню, кто именно, но какая-то знаменитая в то время гадальщица предсказала поэту, что он будет убит «от белой головы». С тех пор Пушкин опасался белокурых. Он сам рассказывал, как, возвращаясь из Бессарабии в Петербург после ссылки, в каком-то городе он был приглашен на бал к местному губернатору. В числе гостей Пушкин заметил одного светлоглазого, белокурого офицера, который так пристально и внимательно осматривал поэта, что тот, вспомнив пророчество, поспешил удалиться от него из залы в другую комнату, опасаясь, как бы тот не вздумал его убить. Офицер последовал за ним, и так и проходили они из комнаты в комнату в продолжение большей части вечера. «Мне и совестно и неловко было,— говорил поэт,— и,

однако, я должен сознаться, что порядочно-таки струхнул».

В другой раз в Москве был такой случай. Пушкин приехал к кн. Зинаиде Александровне Волконской. У нее был на Тверской великолепный собственный дом, главным украшением которого были многочисленные статуи. У одной из статуй отбили руку. Хозяйка была в горе. Кто-то из друзей поэта вызвался прикрепить отбитую руку, а Пушкина попросили подержать лестницу и свечу. Поэт сначала согласился, но, вспомнив, что друг был белокур, поспешно бросил и лестницу и свечу и отбежал в сторону.

— Нет, нет,— закричал Пушкин,— я держать лестницу не стану. Ты — белокурый. Можешь упасть и пришибить меня на месте [5].

Кажется, в печати известна история «нащокинского» фрака. Это тоже характерная история. Пушкин приехал в Москву с намерением сделать предложение Н. Н. Гончаровой. По обыкновению он остановился у Нащокина. Собираясь ехать к Гончаровой, поэт заметил, что у него нет фрака.

— Дай мне, пожалуйста, твой фрак,— обратился он к Павлу Войновичу.— Я свой не захватил, да, кажется, у меня и нет его.

Друзья были одинакового роста и сложения, а потому фрак Нащокина как нельзя лучше пришелся на Пушкина.

Сватовство на этот раз было удачное, что поэт в значительной мере приписывал «счастливому» фраку. Нащокин подарил этот фрак другу, и с тех пор Пушкин, по его собственному признанию, в важных случаях жизни надевал счастливый «нащокинский» фрак. Насколько помню, в нем, кажется, и похоронили поэта [6].

Помню, в последнее пребывание у нас в Москве Пушкин читал черновую «Русалки» [7], а в тот вечер, когда он собирался уехать в Петербург,— мы, конечно, и не подозревали, что уже больше никогда не увидим дорогого друга,— он за прощальным ужином пролил на скатерть масло. Увидя это, Павел Войнович с досадой заметил:

— Эдакой неловкий! За что ни возьмешься, все роняешь!

— Ну, я на свою голову. Ничего...— ответил Пушкин, которого, видимо, взволновала эта дурная примета.

Благодаря этому маленькому приключению Пушкин послал за тройкой (тогда ездили еще на перекладных) только после 12 часов ночи. По его мнению, несчастие,

каким грозила примета, должно миновать по истечении дня.

Последний ужин у нас действительно оказался прощальным...

2

Пушкин любил чай и пил его помногу, любил цыганское пение, особенно пение знаменитой в то время Тани, часто просил меня играть на фортепьяно и слушал по целым часам,— любимых пьес я, впрочем, его не помню. Любил также шутов, острые слова и карты. За зеленым столом он готов был просидеть хоть сутки. В нашем доме его выучили играть в вист, и в первый же день он выиграл десять рублей, чему радовался, как дитя. Вообще же в картах ему не везло, и играл он дурно, отчего почти всегда был в проигрыше.

К нам часто заходил некто Загряжский, из бедных дворян. Жалкий был человек, и нужда сделала из него шута. Пушкин любил его кривлянья и песни. Время было такое. Особенно много поэт смеялся, когда тот пел:

Двое саней с подрезами,
Третьи писаные,
Подъезжали ко цареву кабаку — *и т. д.*

— Как это выразительно! — замечал Пушкин.— Я так себе и представляю картину, как эти сани в морозный вечер, скрипя подрезами по крепкому снегу, подъезжают «ко цареву кабаку».

Вообще добродушный, милый, предупредительный с друзьями, поэт был не прочь подурачиться или выкинуть какую-нибудь штуку с несимпатичными или чем-либо надоевшими ему людьми, иногда же был резок и невоздержан на язык с теми, со стороны кого он замечал двуличие или низость.

Помню такой рассказ: когда Павел Войнович был еще холост, Пушкин проездом через Москву, остановившись у него, слушал, как какой-то господин, живший в мезонине против квартиры Нащокина, целый день пиликал на скрипке одно и то же. Это надоело поэту, и он послал лакея сказать незнакомому музыканту: «Нельзя ли сыграть второе колено?» Конечно, тот вломился в амбицию.

Другой случай, характеризующий Пушкина, был таков (это после рассказывал сам поэт): барон Геккерн, вотчим

его палача Дантеса, человек, отравлявший жизнь Пушкина всякими подметными письмами, один раз на балу поднял ключик от часов, оброненный поэтом, и подал его Пушкину с заискивающей улыбкой. Эта двуличность так возмутила прямодушного, вспыльчивого поэта, что он бросил этот ключик обратно на пол и сказал Геккерну с злой усмешкой: «Напрасно трудились, барон!»

В молодости, до женитьбы, Пушкин, говорят, был большой волокита. Когда же я его знала, он страстно любил свою жену, но дурачиться и прикидываться влюбленным он и тогда был не прочь. К нам часто приезжала княжна Г., общая «кузина», как ее все называли, дурнушка, недалекая старая дева, воображавшая, что она неотразима. Пушкин жестоко пользовался ее слабостью и подсмеивался над нею. Когда «кузина» являлась к нам, он вздыхал, бросал на нее пламенные взоры, становился перед ней на колени, целовал ее руки и умолял окружающих оставить их вдвоем. «Кузина» млела от восторга и, сидя за картами (Пушкин неизменно садился рядом с ней), много раз в продолжение вечера роняла на пол платок, а Пушкин, подымая, каждый раз жал ей ногу. Все знали проделки поэта и, конечно, немало смеялись по поводу их. «Кузина» же теряла голову, и, когда Пушкин уезжал из Москвы, она всем, по секрету, рассказывала, что бедный поэт так влюблен в нее, что расставался с ней со вздохами и слезами на глазах.

Они часто острили с моим мужем наперебой друг перед другом. Один раз Пушкин приехал к нам в праздник утром. Я была у обедни в церкви св. Пимена, старого Пимена, как называют ее в Москве в отличие от нового Пимена, церкви, что близ Селезневской улицы.

— Где же Вера Александровна? — спросил Пушкин у мужа.

— Она поехала к обедне.

— Куда? — переспросил поэт.

— К Пимену.

— Ах, какая досада. А зачем ты к Пимену пускаешь жену одну?

— Так я ж ее пускаю к старому Пимену, а не к молодому! — ответил муж.

Насколько Пушкин любил общество близких ему людей, настолько же не любил бывать на званых обедах в честь его. Он часто жаловался мне, что на этих обедах чувствовал себя стесненным, точно на параде. Особенно неприятно ему было то, что все присутствовавшие обык-

новенно ждали, что Пушкин скажет, как посмотрит и т. п.

Забыла упомянуть еще о том, что поэт очень любил московские бани, и во всякий свой приезд в Москву они вдвоем с Павлом Войновичем брали большой номер с двумя полками и подолгу парились в нем. Они, как объясняли потом, лежа там, предавались самой задушевной беседе, в полной уверенности, что уж там их никто не подслушает.

В характере Пушкина была одна удивительная черта — умение душевно привязываться к симпатичным ему людям и привязывать их к себе. В доме моего отца он познакомился с моим меньшим братом, Львом Александровичем Нарским. Это была чистая, нежная поэтическая натура. Пушкин с первого взгляда очаровался им, положительно не отходил от него и стал упрашивать его ехать к нему гостить в Петербург. Брат, не менее полюбивший поэта, долго колебался. Он сильно был привязан к родной семье, но наконец согласился на просьбы Пушкина, и они уехали.

В это путешествие случилось маленькое приключение: Павел Войнович утром другого дня по их отъезде на лестнице нашей квартиры нашел камердинера Пушкина спящим. На вопрос моего мужа: как он здесь очутился? — тот объяснил, что Александр Сергеевич, кажется, в селе Всехсвятском, спихнул его с козел за то, что тот был пьян, и приказал ему отправиться к Нащокину, что тот и исполнил [8].

По возвращении из Петербурга брат восторженно отзывался о Пушкине и между прочим рассказывал, что поэт в путешествии никогда не дожидался на станциях, пока заложат ему лошадей, а шел по дороге вперед и не пропускал ни одного встречного мужика или бабы, чтобы не потолковать с ними о хозяйстве, о семье, о нуждах, особенно же любил вмешиваться в разговоры рабочих артелей. Народный язык он знал в совершенстве и чрезвычайно скоро умел располагать к себе крестьянскую серую толпу, настолько, что мужики совершенно свободно говорили с ним обо всем.

Незадолго до смерти поэта мой муж заказал сделать два одинаковых золотых колечка с бирюзовыми камешками. Из них одно он подарил Пушкину, другое носил сам, как талисман, предохраняющий от насильственной смерти. Взамен этого поэт обещал прислать мне браслет с бирюзой, который я и получила уже после его смерти при письме Натальи Николаевны, где она объясняла, как беспокоился

ее муж о том, чтобы этот подарок был вручен мне как можно скорее. Когда Пушкин после роковой дуэли лежал на смертном одре и к нему пришел его секундант Данзас, то больной просил его подать ему какую-то небольшую шкатулочку. Из нее он вынул бирюзовое колечко и, передавая его Данзасу, сказал:

— Возьми и носи это кольцо. Мне его подарил наш общий друг, Нащокин. Это — талисман от насильственной смерти.

Впоследствии Данзас в большом горе рассказывал мне, что он много лет не расставался с этим кольцом, но один раз в Петербурге, в сильнейший мороз, расплачиваясь с извозчиком на улице, он, снимая перчатку с руки, обронил это кольцо в сугроб. Как ни искал его Данзас, совместно с извозчиком и дворником, найти не мог [9].

Пушкина называли ревнивым мужем. Я этого не замечала. Знаю, что любовь его к жене была безгранична. Наталья Николаевна была его богом, которому он поклонялся, которому верил всем сердцем, и я убеждена, что он никогда даже мыслью, даже намеком на какое-либо подозрение не допускал оскорбить ее. Мой муж также обожал Наталью Николаевну, и всегда, когда она выезжала куда-нибудь от нас, он нежно, как отец, крестил ее. Надо было видеть радость и счастие поэта, когда он получал письма от жены. Он весь сиял и осыпал эти исписанные листочки бумаги поцелуями. В одном ее письме каким-то образом оказалась булавка. Присутствие ее удивило Пушкина, и он воткнул эту булавку в отворот своего сюртука.

В последние годы клевета, стесненность в средствах и гнусные анонимные письма омрачали семейную жизнь поэта, однако мы в Москве видели его всегда неизменно веселым, как и в прежние годы, никогда не допускавшим никакой дурной мысли о своей жене. Он боготворил ее по-прежнему.

Возвратившись в последний раз из Москвы в Петербург, Пушкин не застал жену дома. Она была на балу у Карамзиных. Ему хотелось видеть ее возможно скорее и своим неожиданным появлением сделать ей сюрприз. Он едет к квартире Карамзиных, отыскивает карету Наталии Николаевны, садится в нее и посылает лакея сказать жене, чтобы она ехала домой по очень важному делу, но наказал отнюдь не сообщать ей, что он в карете. Посланный возвратился и доложил, что Наталья Николаевна приказала сказать, что она танцует мазурку с кн. Вяземским. Пушкин посылает

лакея во второй раз сказать, чтобы она ехала домой безотлагательно. Наталия Николаевна вошла в карету и прямо попала в объятия мужа. Поэт об этом факте писал нам и, помню, с восторгом упоминал, как жена его была авантажна в этот вечер в своем роскошном розовом платье [10].

Пушкин был также внимательным и любящим отцом. При свидании он часто рассказывал нам о своих малышах и в письмах нередко подробно описывал какое-нибудь новое проявление самодеятельности в их поступках.

Теперь мне приходится коснуться одного из самых тяжелых воспоминаний в своей жизни — о дуэли и смерти Пушкина.

3

Шестьдесят с лишним лет прошло с того ужасного момента, как до нас достигла роковая весть о смерти Пушкина, а я и теперь без слез не могу вспомнить об этом...

Вечером в этот день у меня внизу сидели гости. Павел Войнович был у себя наверху, в кабинете. Вдруг он входит ко мне в гостиную, и я вижу, на нем, что называется, лица нет. Это меня встревожило, и я обратилась к нему с вопросом: что случилось? «Каково это! — ответил мой муж.— Я сейчас слышал голос Пушкина. Я слегка задремал на диване у себя в кабинете и вдруг явственно слышу шаги и голос: «Нащокин дома?» Я вскочил и бросился к нему навстречу. Но передо мной никого не оказалось. Я вышел в переднюю и спрашиваю камердинера: «Модест, меня Пушкин спрашивал?» Тот, удивленный, отвечает, что, кроме его, никого не было в передней и никто не приходил. Я уж опросил всю прислугу. Все отвечают, что не видели Пушкина. Это не к добру,— заключил Павел Войнович.— С Пушкиным приключилось что-нибудь дурное!»

Я, как могла, старалась рассеять предчувствие моего суеверного мужа, говорила, что все это ему, вероятно, пригрезилось во сне, наконец, даже попеняла на него за то, что он верит всяким приметам. Но мои слова ни к чему не повели: Павел Войнович ушел в клуб страшно расстроенный, а возвратившись оттуда, в ужасном горе сообщил мне, что в клубе он слышал о состоявшейся дуэли между Пушкиным и Дантесом, что поэт опасно ранен и едва ли можно рассчитывать на благополучный исход. С этой минуты смятение и ужас царили в нашем доме. Мы с часу на час ждали известий из Петербурга.

Как сейчас помню день, в который до нас дошла весть, что все кончено, что поэта нет больше на свете. На почту от нас поехал Сергей Николаевич Гончаров, брат жены Пушкина. У нас в это время сидел актер Щепкин и один студент, которого мы приютили у себя. Все мы находились в томительном молчаливом ожидании. Павел Войнович, неузнаваемый со времени печального известия о дуэли, в страшной тоске метался по всем комнатам и высматривал в окна: не увидит ли возвращающегося Гончарова; наконец, остановившись перед студентом, он сказал, показывая ему свои золотые часы: «Я подарю тебе вот эти часы, если Пушкин не умер, а вам, Михаил Семенович,— обратился он к Щепкину,— закажу кольцо».

Я первая увидала в окно возвращающегося Гончарова. Павел Войнович бросился на лестницу к нему навстречу, я последовала за ним.

Не помню, что нам говорил Гончаров, но я сразу поняла, что непоправимое случилось, что поэт оставил навсегда этот бренный мир. С Павлом Войновичем сделалось дурно. Его довели до гостиной, и там он, положив голову и руки на стол, долго не мог прийти в себя.

Что мы пережили в следующие затем дни! Без преувеличения могу сказать, что смерть Пушкина была самым страшным ударом в нашей жизни с мужем. Многих друзей, родных и близких мне пришлось лишиться потом, но потеря несравненного друга, а полтора десятка лет спустя и мужа — были самыми неизгладимыми ударами в моей долгой, исполненной всякими превратностями жизни.

Павел Войнович, так много тревожившийся последние дни, получив роковое известие, слег в постель и несколько дней провел в горячке, в бреду. Я тоже едва стояла на ногах. День и ночь у нас не гасили огни [11].

После смерти Пушкина Жуковский прислал моему мужу серебряные часы покойного, которые были при нем в день роковой дуэли, его красный с зелеными клеточками архалук, посмертную маску и бумажник с ассигнацией в 25 рублей и локоном белокурых волос. В письме Жуковский предлагал прислать и кровать поэта, на которой он умер, с каплями его крови, но Павлу Войновичу так тяжела была утрата друга, так больно было видеть вещественные знаки его преждевременной насильственной смерти, что он отказался. Впоследствии Павел Войнович часы подарил Гоголю, а по смерти последнего передал их, по просьбе студентов, в Московский университет, маску отдал Погоди-

ну, архалук же остался у нас. Куда он девался — не знаю [12].

Вскоре после смерти Пушкина Наталия Николаевна приехала в Москву и всякий день бывала у нас. Это была женщина чудной красоты: высокая, дивно сложенная, изящная, с каштановыми или темно-русыми волосами. Мой муж окружал ее знаками всевозможного внимания и глубокого уважения. Из Москвы она уехала в калужскую деревню (Полотняные заводы) к родному брату своему, Дмитрию Николаевичу. Павел Войнович несколько раз ездил навещать ее. Года четыре спустя она, заехав однажды к нам, заявила Павлу Войновичу, что генерал Ланской, человек тогда уже пожилой, вдовец, с детьми от первого брака, сделал ей предложение и она приехала спросить совета, как ей поступить. По ее объяснению, Пушкин на смертном одре сказал ей: «Если ты вздумаешь выходить замуж, посоветуйся с Нащокиным, потому что это был мой истинный друг».

Мой муж уклонился от совета, ссылаясь на то, что Пушкину он мог советовать, как близкому другу, душа которого была для него раскрыта и ясна; вдове же его, при всем уважении к ней, советовать он не может. Наталия Николаевна уехала, и вскоре потом мы услышали, что она помолвлена с Ланским [13].

Не могу умолчать об одном маленьком факте, характеризующем отношение известной части общества к великому поэту: после помолвки Наталии Николаевны к нам зашел генерал Врангель, начальник московской артиллерии. Я обратилась к нему с вопросом: «Слышали новость?» — «Какую?» — спросил он. «Пушкина замуж выходит».— «За кого?» — «За генерала Ланского».— «Молодец, хвалю ее за это! По крайней мере, муж — генерал, а не какой-то там Пушкин, человек без имени и положения...»

То ли еще моим ушам приходилось слышать о великом поэте!

Т. Д. ДЕМЬЯНОВА

О ПУШКИНЕ И ЯЗЫКОВЕ

Поздно уже было, час двенадцатый, и все мы собирались спать ложиться, как вдруг к нам в ворота постучались,— жили мы тогда с Лукерьей и Александрой да с дядей моим Антоном на Садовой, в доме Чухина. Бежит ко мне Лукерья, кричит: «Ступай, Таня, гости приехали, слушать хотят». Я только косу расплела и повязала голову белым платком. Такой и выскочила. А в зале у нас четверо приехало,— трое знакомых (потому наш хор очень любили и много к нам езжало). Голохвастов Александр Войнович, Протасьев-господин и Павел Иванович Нащокин [1], очень был влюблен в Ольгу, которая в нашем же хоре пела. А с ним еще один, небольшой ростом, губы толстые и кудлатый такой... И только он меня увидел, так и помер со смеху, зубы-то белые, большие, так и сверкают. Показывает на меня господам: «Поваренок, кричит, поваренок!» А на мне, точно, платье красное ситцевое было, и платок белый на голове, колпаком, как у поваров. Засмеялась и я, только он мне очень некрасив показался. И сказала я своим подругам по-нашему, по-цыгански: «Дыка, дыка, на не лачо, таки вашескери!» Гляди, значит, гляди, как не хорош, точно обезьяна! Они так и залились. А он приставать: «Что ты сказала, что ты сказала?» — «Ничего, говорю; сказала, что вы надо мною смеетесь, поваренком зовете». А Павел Войнович Нащокин говорит ему: «А вот, Пушкин, послушай, как этот поваренок поет!» А наши все в это время собрались; весь-то наш хор был небольшой, всего семь человек, только голоса отличные были,— у дяди Александра такой тенор был, что другого такого я уж в жизнь больше не слыхивала. Романсов мы тогда мало пели, все больше русские песни, народные [2]. Стеша, покойница,— было мне всего 14 лет, когда померла она,— так та, бывало, как запоет: «Не бушуйте вы, ветры буйные» или «Ах, матушка, голова болит», без слез слушать ее никто не мог, даже итальянская певица была, Каталани, так и та заплакала.

Однако когда я уже петь начала, были в моде сочиненные романсы. И главный был у меня: «Друг милый, друг милый, с далека поспеши». Как я его пропела, Пушкин с лежанки скок — он как приехал, так и взобрался на лежанку, потому на дворе холодно было,— и ко мне. Кричит: «Радость ты моя, радость моя, извини, что я тебя поваренком назвал, ты бесценная прелесть, не поваренок!»

И стал он с тех пор к нам часто ездить, один даже частенько езжал, и как ему вздумается — вечером, а то утром приедет. И все мною одной занимается, петь заставит, а то просто так болтать начнет, и помирает он, хохочет, по-цыгански учится. А мы все читали, как он в стихах цыган кочевых описал. И я много помнила наизусть и раз прочла ему оттуда и говорю: «Как это вы хорошо про нашу сестру, цыганку, написали!» А он опять в смех: «Я, говорит, на тебя новую поэму сочиню!» А это утром было, на масленице, и мороз опять лютый, и он опять на лежанку взобрался. «Хорошо, говорит, тут,— тепло, только есть хочется». А я ему говорю: «Тут, говорю, поблизости харчевня одна есть, отличные блины так пекут,— хотите, пошлю за блинами?» Он с первого раза побрезгал, поморщился. «Харчевня, говорит, грязь».— «Чисто, будьте благонадежны, говорю, сама не стала бы есть».— «Ну, хорошо, посылай,— вынул он две красненькие,— да вели кстати бутылку шампанского купить». Дядя побежал, все в минуту спроворил, принес блинов, бутылку. Сбежались подруги, и стал нас Пушкин потчевать: на лежанке сидит, на коленях тарелка с блинами,— смешной такой, ест да похваливает: «Нигде, говорит, таких вкусных блинов не едал»,— шампанское разливает нам по стаканам... Только в это время в приходе к вечерне зазвонили. Он как схватится с лежанки: «Ахти мне, кричит, радость моя, из-за тебя забыл, что меня жид-кредитор ждет!» Схватил шляпу и выбежал как сумасшедший. А я Ольге стала хвалиться, что Пушкин на меня поэму хочет сочинять. Ей очень завидно стало. «Я, говорит, скажу Нащокину, чтобы он просил его не на тебя, а на меня беспременно написать». Нащокин пропадал в ту пору из-за нее, из-за Ольги. Красавица она была и втора чудесная. Только она на любовь с ним не соглашалась, потому у ней свой предмет был,— казак гвардейский, Орлов, богатейший человек; от него ребеночек у нее был. А отец его, как узнал, что он с цыганкой живет, вытребовал его домой, на Дон, из гвардии перевел. Он оттуда Оле жалкие письма писал, и на сыночка по две

тысячи рублей посылал ей каждый год, а уехать с Дона — боялся отца. Нащокина же дела очень плохи были, и Пушкин смеялся над ним: «Ты, говорит, возьми коромысло, два ведра молока нацепи на него и ступай к своей Ольге под окно; авось она над тобою сжалится». А Нащокин очень нашелся ему ответить на это: «Тебе, говорит, легко смеяться, напишешь двадцать стихов, столько же золотых тебе в руки,— а мне каково? Действительно, говорит, одно остается,— нацепить себе ведра на плечи».

Однако тут он в скорости поправился как-то, и Ольга, также не дождавшись Орлова, склонилась к нему и переехала жить с ним на Садовую. Жили они там очень хорошо, в довольстве, и Пушкин, как только в Москву приедет, так сидьмя у них сидит, а брат его, Лев Сергеевич, так тот постоянно и останавливался у них на квартире [3]. Я часто к ним хаживала, меня все они очень ласкали и баловали за мой голос,— да и смирна я была всегда, обижать-то меня будто никто и не решался, не за что было!..

— В каких же годах происходило все это? — спросили старушку.

— А вот считайте: мне теперь шестьдесят пятый год пошел, а тогда двадцатый минул, значит, сорок пять лет назад будет; так я говорю?

— Так. В 1830 году, выходит, поэтому? [4]

— Должно быть, так! Тут еще вскоре холера первая сделалась; не дай бог, что за время было,— вспомнить страшно!.. К зиме все прошло, опять стали мы петь, и опять Пушкин в Москву приехал,— только реже стал езжать к нам в хор. Однако нередко я видела его по-прежнему у Павла Войновича и Ольги. Стал он будто скучноватый, а все же по-прежнему вдруг оскалит свои большие белые зубы да как примется вдруг хохотать. Иной раз даже испугает просто, право!

Тут узнала я, что он жениться собирается на красавице, сказывали, на Гончаровой. Ну, и хорошо, подумала, господин он добрый, ласковый, дай ему бог совет да любовь! И не чаяла я его до свадьбы видеть, потому, говорили, все он у невесты сидит, очень в нее влюблен.

Только раз, вечерком,— аккурат два дня до его свадьбы оставалось,— зашла я к Нащокину с Ольгой. Не успели мы и поздороваться, как под крыльцо сани подкатили, и в сени вошел Пушкин. Увидал меня из сеней и кричит: «Ах, радость моя, как я рад тебе, здорово, моя бесценная!» — поцеловал меня в щеку и уселся на софу. Сел и задумался,

да так, будто тяжко, голову на руку опер, глядит на меня: «Спой мне, говорит, Таня, что-нибудь на счастие; слышала, может быть, я женюсь?» — «Как не слыхать, говорю, дай вам бог, Александр Сергеевич!» — «Ну спой мне, спой!» «Давай, говорю, Оля, гитару, споем барину!..» Она принесла гитару, стала я подбирать, да и думаю, что мне спеть... Только на сердце у меня у самой невесело было в ту пору; потому у меня был свой предмет,— женатый был он человек, и жена увезла его от меня, в деревне заставила на всю зиму с собой жить,— и очень тосковала я от того. И, думаючи об этом, запела я Пушкину песню,— она хоть и подблюдною считается, а только не годится было мне ее теперича петь, потому она будто, сказывают, не к добру:

Ах, матушка, что так в поле пыльно?
Государыня, что так пыльно?
Кони разыгралися... А чьи-то кони, чьи-то кони?
Кони Александра Сергеевича... [5]

Пою я эту песню, а самой-то грустнехонько, чувствую и голосом то же передаю, и уж как быть, не знаю, глаз от струн не подыму... Как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за голову схватился, как ребенок плачет... Кинулся к нему Павел Войнович: «Что с тобой, что с тобой, Пушкин?» — «Ах, говорит, эта ее песня всю мне внутрь перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!..» И не долго он после того оставался тут, уехал, ни с кем не простился.

— И что же, баба, виделась ты с ним после того?

— Раз,— раз всего потом довелось мне его видеть. Месяц, а может, и больше, после его свадьбы, пошла я как-то утром к Иверской, а оттуда в город, по площади пробираюсь. Гляжу, богатейшая карета, новенькая, четвернею едет мне навстречу. Я было свернула в сторону, только слышу громко кто-то мне из кареты кричит: «Радость моя, Таня, здорово!» Обернулась я, а это Пушкин, окно спустил, высунулся в него сам и оттуда мне ручкой поцелуй посылает... А подле него красавица писаная — жена сидит, голубая на ней шуба бархатная,— глядит на меня, улыбается. Уж и не знаю, право, что она об этом подумала, только очень конфузно показалось мне это в ту пору...

Старушка рассмеялась, будто просияв вся от того воспоминания...

— Ну, а с Языковым как ты познакомилась?

— С Языковым? А познакомилась я с ним в самый день

свадьбы Пушкина. Сидела я в тот день у Ольги. Вечером вернулся Павел Войнович, и с ним этот самый Языков. Белокурый был он, толстенький и недурной. Они там на свадьбе много выпили, и он совсем как не в своем уме был. Как увидал меня, стал мне в любви объясняться. Я смеюсь, а он еще хуже пристает; в ноги мне повалился, голову на колени мне уронил, плачет: «Я, говорит, на тебе женюсь. Пушкин на красавице женился, и я ему не уступлю, Фараонка»,— такой смешной он был. «Фараонка ты моя»,— говорит. «Так с первого разу увидали, и жениться уже хотите?» — смеюсь я ему опять. А он мне на это: «Я тебя давно знаю, ты у меня здесь давно,— на лоб себе показывает,— во сне тебя видал, мечтал о тебе!..» И не понимала я даже, взаправду видал ли он меня где прежде или так он только, с хмелю... Павел Войнович с Ольгой помирают, глядя, как он ко мне припадает. Однако очень он меня тут огорчил... Увидал он у меня на руке колечко с бирюзою. «Что это за колечко у тебя, спрашивает, заветное?» — «Заветное».— «Отдай мне его!» — «На что оно вам»,— говорю. А он опять пристал, сдернул его у меня с пальца и надел себе на мизинец. Я у него отнимать,— он ни за что не отдает. «До гроба не отдам!» — кричит. И как я ни плакала, со слезами молила, он не отдал. Павел Войнович говорит мне: «Оставь, отдаст, разве думаешь, он и в самом деле?» 〈...〉 Так и осталось у него мое колечко. 〈...〉

— И так не отдал он тебе твоего колечка? — спросили бабу.

— Отдал, батюшка, отдал! И опять же Пушкину, Александру Сергеевичу, за то спасибо! Павел Войнович Нащокин нажаловался ему на Языкова, что вот он как нехорошо со мною сделал. Александр Сергеевич и заступился за меня,— заставил его перстенек мой Оле отдать. От нее я его назад и получила. 〈...〉

Старушка примолкла, опустила свои блестящие глаза на свои исхудалые пальцы, будто ища на них следа того заветного колечка, и глубоко вздохнула.

— А уж как мы все плакали по нем, по Александре Сергеевиче,— встрепенулась она вдруг,— когда узнали, что убили его, сердечного... Давно ведь это было... Лет сорок али больше будет?..

Слезы выступили у нее на ресницах.

— А меня-то когда господь приберет отсюда!.. Ох, как тяжко, как тяжко жить! И все бы, кажется, перенести можно,— да вспоминать, вспоминать непереносимо!..

И. А. ГОНЧАРОВ

ИЗ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Когда он вошел с Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий («Евгения Онегина», «Полтавы» и др.). Его гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзиею, обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образование.

Перед тем однажды я видел его в церкви, у обедни — и не спускал с него глаз. Черты его лица врезались у меня в памяти. И вдруг этот гений, эта слава и гордость России — передо мной в пяти шагах! Я не верил глазам. Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы [1].

«Вот вам теория искусства,— сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова,— а вот и самое искусство»,— прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове о полку Игоревом». Тут же ожидал своей очереди читать лекцию, после Давыдова, и Каченовский. Нечаянно между ними завязался, по поводу «Слова о полку Игоревом», разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. «Подойдите ближе, господа,— это для вас интересно»,— пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение — видеть и слышать нашего кумира.

Я не припомню подробностей их состязания,— помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспо-

щадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслушать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам Пушкин.

С первого взгляда наружность его казалась невзрачною. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Лучше всего, по-моему, напоминает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос выдающимся — это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу, голова, с негустыми, кудрявыми волосами.

А. А. ФУКС

А. С. ПУШКИН В КАЗАНИ

1833 года, 6 сентября, задумавшись, сидела я в своем кабинете, ожидая к себе нашего известного поэта Баратынского, который обещался заехать проститься, и грустила о его отъезде. Баратынский вошел ко мне в комнату с таким веселым лицом, что мне стало даже досадно. Я приготовилась было сделать ему упрек за такой равнодушный прощальный визит, но он предупредил меня, обрадовав меня новостью о приезде в Казань Александра Сергеевича Пушкина и о желании его видеть нас. Надобно признаться, что такая неожиданная и радостная весть заставила меня проститься с Баратынским гораздо равнодушнее, нежели как бывало прежде.

7 сентября, в 9 часов утра, муж мой ездил провожать Баратынского, видел там Пушкина и в полчаса успел так хорошо с ним познакомиться, как бы они уже долго жили вместе.

Пушкин ехал в Оренбург собирать сведенья для истории Пугачева и по той же причине *останавливался на одни сутки в Казани*. Он знал, что в Казани мой муж, как старожил, постоянно занимавшийся исследованием здешнего края, всего более мог удовлетворить его желанию, и потому, может быть, и желал с нами познакомиться.

В этот же день, поутру, Пушкин ездил, тройкою на дрожках, один к Троицкой мельнице, по сибирскому тракту, за десять верст от города; здесь был лагерь Пугачева, когда он подступал к Казани. Затем, объехав Арское поле [1], был в крепости, обежал ее кругом и потом *возвратился домой, где оставался целое утро*, до двух часов, и писал, обедал у Е. П. Перцова, с которым был знаком еще в Петербурге; там обедал и муж мой * [2].

---

* *Младший брат Перцова, Платон Петрович Перцов, присутствовавший на обеде, вспоминал:* «...приехав на обед и раздевшись в передней,

В шесть часов вечера мне сказали о приезде к нам Пушкина. Я встретила его в зале. Он взял дружески мою руку с следующими ласковыми словами: «Нам не нужно с вами рекомендоваться; музы нас познакомили заочно, а Баратынский еще более». С Карлом Федоровичем они встретились, как уже коротко знакомые.

Мы все сидели в гостиной. Ты знаешь, что я не могу похвалиться ни ловкостью, ни любезностью, особенно при первом знакомстве, и потому долго не могла прийти в свою тарелку; да к тому же и разговор был о Пугачеве: мне казалось неловко в него вмешиваться.

Напившись чаю, Пушкин и К. Ф. поехали к казанскому первой гильдии купцу Крупеникову, бывшему в плену у Пугачева, и пробыли там часа полтора; возвратясь к нам в дом, у подъезда, Пушкин благодарил моего мужа. «Как вы добры, Карл Федорович,— сказал он,— как дружелюбно и приветливо принимаете нас, путешественников!.. Для чего вы это делаете? Вы теряете вашу приветливость понапрасну: вам из нас никто этим не заплатит. Мы так не поступаем; мы в Петербурге живем только для себя». Окончив говорить, он так сильно сжал руку моего мужа, что несколько дней на ней были знаки от ногтей. Пушкин имел такие большие ногти, что мне, право, они показались не менее полувершка.

По возвращении от Крупеникова прислали за моим мужем от одного больного; он хотел было отказаться, но Пушкин принудил его ехать. Я осталась с моим знаменитым гостем одна и, признаюсь, не была этим довольна. Он тотчас заметил мое смущение и своею приветливою любезностью заставил меня с ним говорить, как с коротким знакомым. Мы сели в моем кабинете. Он просил показать ему стихи, написанные ко мне Баратынским, Языковым и Ознобишиным, читал их все сам вслух и очень хвалил стихи Языкова. Потом просил меня непременно прочитать стихи моего сочинения. Я прочла сказку «Жених», и он, слушая меня, как бы в самом деле хорошего поэта, вероятно, из любезности, несколько раз останавливал мое

Пушкин хотел было войти в соседнюю столовую, но остановился, увидав, что она полна народу, попятился назад и настолько смутился, что попытался даже уехать. Оказалось, что, по условию с Эрастом Петровичем, на обеде не должно было быть никого, кроме семейных, и Пушкин приехал в домашнем костюме. ⟨...⟩ Выяснив обстоятельства, Пушкин успокоился и вошел в зал. После обеда поэт и Эраст Петрович сели играть в шахматы» (30 дней, 1937, № 2, с. 79—80).

чтение похвалами, а иные стихи заставлял повторять и прочитывал сам.

После чтения он начал меня расспрашивать о нашем семействе, о том, где я училась, кто были мои учители; рассказывал мне о Петербурге, о тамошней рассеянной жизни и несколько раз звал меня туда приехать: «Приезжайте, пожалуйста, приезжайте; я познакомлю с вами жену мою; поверьте, мы будем уметь отвечать вам на казанскую приветливость не петербургской благодарностью».

Потом разговоры наши были гораздо откровеннее; он много говорил о *духе нынешнего времени, о его влиянии на литературу, о наших литераторах, о поэтах,* о каждом из них сказал мне свое мнение и наконец прибавил: «Смотрите, сегодняшний вечер была моя *исповедь;* чтобы наши разговоры остались между нами».

Мой муж и Перцов приехали уже в десять часов, нашли нас в дружеской беседе и поддержали наш литературный разговор. Пушкин, говоря о русских поэтах, очень хвалил родного моего дядю, *Гаврилу Петровича Каменева,* возвратился опять в мой кабинет, чтобы взглянуть на его портрет, и, посмотрев на него несколько минут, сказал: «Этот человек достоин был уважения; он *первый в России осмелился отступить от классицизма.* Мы, *русские романтики,* должны принести должную дань его памяти: этот человек много бы сделал, ежели бы не умер так рано». Он просил меня собрать все сведения о Каменеве и обещал написать его биографию [3].

Пушкин, без отговорок, несмотря на то что *располагался до света ехать,* остался у нас ужинать и за столом сел подле меня. В продолжение ужина разговор был о *магнетизме.* Карл Федорович не верит ему, потому что очень учен, а я не верю, потому что ничего тут не понимаю. Пушкин старался всевозможными доказательствами нас уверить в истине магнетизма [4].

«Испытайте,— говорил он мне,— когда вы будете в большом обществе, выберите из них одного человека, вовсе вам незнакомого, который сидел бы к вам даже спиною, устремите на него все ваши мысли, пожелайте, чтобы незнакомец обратил на вас внимание, но пожелайте сильно, всею вашею душою, и вы увидите, что незнакомый, как бы невольно, оборотится и будет на вас смотреть».

«Это не может быть,— сказала я,— как иногда я желала, чтобы на меня смотрели, желала и сердцем и душою, но кто не хотел смотреть, не взглянул ни разу».

Мой ответ рассмешил его. «Неужели это с вами случилось? О нет, я этому не поверю; прошу вас, пожалуйста, верьте магнетизму и бойтесь его волшебной силы; вы еще не знаете, какие он чудеса делает над женщинами?»

«Не верю и не желаю знать»,— отвечала я. «Но я уверяю вас, по чести,— продолжал он,— я был очевидцем таких примеров, что женщина, любивши самою страстною любовью, при такой же взаимной любви, остается добродетельною; но бывали случаи, что эта же самая женщина, вовсе не любивши, как бы невольно, со страхом, исполняет все желания мужчины даже до самоотвержения. Вот это-то и есть сила магнетизма».

Я была очень рада, когда кончился разговор о магнетизме, хотя занял его другой, еще менее интересный, о посещении духов, о предсказаниях и о многом, касающемся суеверия.

«Вам, может быть, покажется удивительным,— начал опять говорить Пушкин,— что я верю многому невероятному и непостижимому; быть так суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Н. В. В. ходить по Невскому проспекту, и из проказ зашли к кофейной гадальщице. Мы просили ее погадать и, не говоря о прошедшем, сказать будущее. «Вы,— сказала она мне,— на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который вам будет предлагать хорошее по службе место; потом, в скором времени, получите через письмо неожиданные деньги; а третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественною смертью...» Без сомнения, я забыл в тот же день и о гадании и о гадальщице. Но спустя недели две после этого предсказания, и опять на Невском проспекте, я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве при великом князе Константине Павловиче и перешел служить в Петербург; он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве, уверяя меня, что цесаревич этого желает. Вот первый раз после гадания, когда я вспоминал о гадальщице. Через несколько дней после встречи с знакомым я в самом деле получил с почты письмо с деньгами; и мог ли ожидать их? Эти деньги прислал мне лицейский товарищ, с которым мы, бывши еще учениками, играли в карты, и я его обыгрывал. Он, получа после умершего отца наследство, прислал мне долг, который я не только не ожидал, но и забыл о нем. Теперь надо сбыться третьему предсказанию, и я в этом совершенно уверен...»

Суеверие такого образованного человека меня очень тогда удивило; я упомянула о том в первом письме из чебоксарской поездки, напечатанном в 1833 году [5].

После ужина Пушкин опять пошел ко мне в кабинет. Пересматривая книги, он раскрыл сочинение одного казанского профессора; видав в них прозу и стихи, он опять закрыл книгу и, как бы с досадою, сказал: «*О, эта проза и стихи! Как жалки те поэты, которые начинают писать прозой*, признаюсь, ежели бы я не был вынужден обстоятельствами, я бы для прозы не обмакнул пера в чернила...» Он просидел у нас до часу и простился с нами, как со старыми знакомыми; несколько раз обнимал моего мужа и, кажется, оставил нас не с притворным сожалением, сказавши при прощании: «Я никак не думал, чтобы минутное знакомство было причиною такого грустного прощания; но мы в Петербурге увидимся».

На другой день я встала в пять часов утра, *написала на проезд нашего знаменитого гостя стихи* и послала их в восемь часов к Пушкину, но его *не было в Казани; он выехал на рассвете в Оренбург, а ко мне оставил письмо* [6]. Я, простившись с ним, думала, что его обязательная приветливость была обыкновенною светскою любезностью, но ошиблась. До самого конца жизни, где только было возможно, он оказывал мне особенное расположение; не писав почти ни к кому, он писал ко мне несколько раз в год и всегда собственною своею рукою; познакомил меня заочно со всеми замечательнейшими русскими литераторами и наговорил им обо мне столько для меня лестного, что я, по приезде моем в Москву и Петербург, была удостоена их посещением...

В. И. ДАЛЬ

ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

Крылов был в Оренбурге младенцем; Скобелев чуть ли не стаивал в нем на часах; у Карамзиных есть в Оренбургской губернии родовое поместье. Пушкин пробыл в Оренбурге несколько дней в 1833 году, когда писал Пугача [1], а Жуковский — в 1837 году, провожая государя цесаревича.

Пушкин прибыл нежданный и нечаянный и остановился в загородном доме у военного губернатора В. Ал. Перовского [2], а на другой день перевез я его оттуда, ездил с ним в историческую Бердинскую станицу [3], толковал, сколько слышал и знал местность, обстоятельства осады Оренбурга Пугачевым; указывал на Георгиевскую колокольню в предместии, куда Пугач поднял было пушку, чтобы обстреливать город,— на остатки земляных работ между Орских и Сакмарских ворот, приписываемых преданием Пугачеву, на зауральскую рощу, откуда вор пытался ворваться по льду в крепость, открытую с этой стороны; говорил о незадолго умершем здесь священнике, которого отец высек за то, что мальчик бегал на улицу собирать пятаки, коими Пугач сделал несколько выстрелов в город вместо картечи,— о так называемом секретаре Пугачева Сычугове, в то время еще живом, и о бердинских старухах, которые помнят еще «золотые» палаты Пугача, то есть обитую медною латунью избу.

Пушкин слушал все это — извините, если не умею иначе выразиться,— с большим жаром и хохотал от души следующему анекдоту: Пугач, ворвавшись в Берды, где испуганный народ собрался в церкви и на паперти, вошел также в церковь. Народ расступился в страхе, кланялся, падал ниц. Приняв важный вид, Пугач прошел прямо в алтарь, сел на церковный престол и сказал вслух: «Как я давно не сидел на престоле!» В мужицком невежестве

своем он воображал, что престол церковный есть царское седалище. Пушкин назвал его за это свиньей и много хохотал...

Мы поехали в Берды, бывшую столицу Пугачева, который сидел там — как мы сейчас видели — на престоле. Я взял с собою ружье, и с нами было еще человека два охотников. Пора была рабочая, казаков ни души не было дома; но мы отыскали старуху, которая знала, видела и помнила Пугача. Пушкин разговаривал с нею целое утро; ему указали, где стояла изба, обращенная в золотой дворец, где разбойник казнил несколько верных долгу своему сынов отечества; указали на гребни, где, по преданию, лежит огромный клад Пугача, зашитый в рубаху, засыпанный землей и покрытый трупом человеческим, чтобы отвесть всякое подозрение и обмануть кладоискателей, которые, дорывшись до трупа, должны подумать, что это — простая могила. Старуха спела также несколько песен, относившихся к тому же предмету, и Пушкин дал ей на прощанье червонец [4].

Мы уехали в город, но червонец наделал большую суматоху. Бабы и старики не могли понять, на что было чужому, приезжему человеку расспрашивать с таким жаром о разбойнике и самозванце, с именем которого было связано в том краю столько страшных воспоминаний, но еще менее постигали они, за что было отдать червонец. Дело показалось им подозрительным: чтобы-де после не отвечать за такие разговоры, чтобы опять не дожить до какого греха да напасти. И казаки на другой же день снарядили подводу в Оренбург, привезли и старуху, и роковой червонец и донесли: «Вчера-де презжал какой-то чужой господин, приметами: собой невелик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под «пугачевщину» и дарил золотом; должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти» *. Пушкин много тому смеялся [5].

До приезда Пушкина в Оренбург я виделся с ним всего только раза два или три; это было именно в 1832 году, когда я, по окончании турецкого и польского походов, приехал в столицу и напечатал первые опыты свои. Пушкин, по обыкновению своему, засыпал меня множеством отрывчатых замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось,

---

* Пушкин носил ногти необыкновенной длины: это была причуда его.

у всякого из нас на уме вертится и только что с языка не срывается. «Сказка сказкой — говорил он,— а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать,— надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!»

По пути в Берды Пушкин рассказывал мне, чем он занят теперь, что еще намерен и надеется сделать. Он усердно убеждал меня написать роман — я передаю слова его, в его память, забывая в это время, к кому они относятся,— и повторял: «Я на вашем месте сейчас бы написал роман, сейчас; вы не поверите, как мне хочется написать роман, но нет, не могу: у меня начато их три,— начну прекрасно, а там недостает терпения, не слажу». Слова эти вполне согласуются с пылким духом поэта и думным, творческим долготерпением художника; эти два редкие качества соединялись в Пушкине, как две крайности, два полюса, которые дополняют друг друга и составляют одно целое. Он носился во сне и наяву целые годы с каким-нибудь созданием, и когда оно дозревало в нем, являлось перед духом его уже созданным вполне, то изливалось пламенным потоком в слова и речь: металл мгновенно стынет в воздухе, и создание готово. Пушкин потом воспламенился в полном смысле слова, коснувшись Петра Великого, и говорил, что непременно, кроме дееписания об нем, создаст и художественное в память его произведение: «Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко,— надо отодвинуться на два века,— но постигаю это чувством; чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно. Не надобно торопиться; надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься; время это исправит. Но я сделаю из этого золота что-нибудь [6]. О, вы увидите: я еще много сделаю! Ведь даром что товарищи мои все поседели да оплешивели, а я только что перебесился; вы не знали меня в молодости, каков я был; я не так жил, как жить бы должно; бурный небосклон позади меня, как оглянусь я...»

Последние слова свежо отдаются в памяти моей, почти в ушах, хотя этому прошло уже семь лет. Слышав много о Пушкине, я никогда и нигде не слыхал, как он думает

о себе и о молодости своей, оправдывает ли себя во всем, доволен ли собою или нет; а теперь услышал я это от него самого, видел перед собою не только поэта, но и человека. Перелом в жизни нашей, когда мы, проспав несколько лет детьми в личинке, сбрасываем с себя кожуру и выходим на свет вновь родившимся, полным творением, делаемся из детей людьми,— перелом этот не всегда обходится без насилий и не всякому становится дешево. В человеке будничном перемена не велика; чем более необыкновенного готовится в юноше, чем он более из ряду вон, тем сильнее порывы закованной в железные путы души.

Мне достался от вдовы Пушкина дорогой подарок: перстень его с изумрудом, который он всегда носил последнее время и называл — не знаю почему — талисманом; досталась от В. А. Жуковского последняя одежда Пушкина, после которой одели его, только чтобы положить в гроб. Это черный сюртук с небольшою, в ноготок дырочкою против правого паха. Над этим можно призадуматься. Сюртук этот должно бы сберечь и для потомства; не знаю еще, как это сделать; в частных руках он легко может затеряться, а у нас некуда отдать подобную вещь на всегдашнее сохранение * [7].

Пушкин, я думаю, был иногда и в некоторых отношениях суеверен; он говаривал о приметах, которые никогда его не обманывали, и, угадывая глубоким чувством какую-то таинственную, непостижимую для ума связь между разнородными предметами и явлениями, в коих, по-видимому, нет ничего общего, уважал тысячелетнее предание народа, доискивался в нем смыслу, будучи убежден, что смысл в нем есть и быть должен, если не всегда легко его разгадать. Всем близким к нему известно странное происшествие, которое спасло его от неминуемой большой беды. Пушкин жил в 1825 году в псковской деревне, и ему запрещено было из нее выезжать. Вдруг доходят до него темные и несвязные слухи о кончине императора, потом об отречении от престола цесаревича; подобные события проникают молнием сердца каждого, и мудрено ли, что в смятении и волнении чувств участие и любопытство деревенского жителя неподалеку от столицы возросло до неодолимой степени? Пушкин хотел узнать положительно, сколько правды в носящихся разнородных слухах, что делается у нас и что будет; он вдруг решился выехать тайно из де-

* Я подарил его М. П. Погодину.

ревни, рассчитав время так, чтобы прибыть в Петербург поздно вечером и потом через сутки же возвратиться. Поехали; на самых выездах была уже не помню какая-то дурная примета, замеченная дядькою, который исполнял приказание барина своего на этот раз очень неохотно. Отъехав немного от села, Пушкин стал уже раскаиваться в предприятии этом, но ему совестно было от него отказаться, казалось малодушным. Вдруг дядька указывает с отчаянным возгласом на зайца, который перебежал впереди коляски дорогу; Пушкин с большим удовольствием уступил убедительным просьбам дядьки, сказав, что, кроме того, позабыл что-то нужное дома, и воротился. На другой день никто уже не говорил о поездке в Питер, и все осталось по-старому [8]. А если бы Пушкин не послушался на этот раз зайца, то приехал бы в столицу поздно вечером 13 декабря и остановился бы у одного из товарищей своих по Лицею, который кончил жалкое и бедственное поприще свое на другой же день... Прошу сообразить все обстоятельства эти и найти средства и доводы, которые бы могли оправдать Пушкина впоследствии, по крайней мере, от слишком естественного обвинения, что он приехал не без цели и знал о преступных замыслах своего товарища.

Пусть бы всякий сносил в складчину все, что знает не только о Пушкине, но и о других замечательных мужах наших. У нас все родное теряется в молве и памяти, и внуки наши должны будут искать назидания в жизнеописаниях людей не русских, к своим же поневоле охладеют, потому что ознакомиться с ними не могут; свои будут для них чужими, а чужие сделаются близкими. Хорошо ли это?

Много алмазных искр Пушкина рассыпались тут и там в потемках; иные уже угасли и едва ли не навсегда; много подробностей жизни его известно на разных концах России: их надо бы снести в одно место. А. П. Брюллов сказал мне однажды, говоря о Пушкине: «Читая Пушкина, кажется, видишь, как он жжет молнием выжигу из обносков: в один удар тряпье в золу, и блестит чистый слиток золота».

ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ

Я слышал, что Пушкин был в четырех поединках, из коих три первые кончились эпиграммой, а четвертый смертью его. Все четыре раза он стрелялся через барьер, давал

противнику своему, где можно было, первый выстрел, а потом сам подходил вплоть к барьеру и подзывал противника.

Помню в подробности один только поединок его, в Кишиневе, слышанный мною от людей, бывших в то время на месте.

В Кишиневе стоял пехотный полк, и Пушкин был со многими офицерами в клубе, собрании, где танцевали. Бо́льшая часть гостей состояла из жителей, молдаван и молдаванок; надобно заметить, что обычай, в то время особенно, ввел очень вольное обращение с последними. Пушкин пригласил даму на мазурку, захлопал в ладоши и закричал музыке: «Мазурку, мазурку!» Один из офицеров подходит и просит его остановиться, уверяя, что будут плясать вальс. «Ну,— отвечал Пушкин,— вы вальс, а я мазурку»,— и сам пустился со своей дамой по зале.

Полковой или баталионный командир, кажется, подполковник Старков, по своим понятиям о чести, считал необходимым стреляться с обидчиком, а как противник Пушкина по танцам не решался на это сам, то начальник его принял дело это на себя.

Стрелялись в камышах придунайских, на прогалине, через барьер, шагов на восемь, если не на шесть. Старков выстрелил первый и дал промах. Тогда Пушкин подошел вплоть к барьеру и, сказав: «Пожалуйте, пожалуйте сюда»,— подозвал противника, не смевшего от этого отказаться; затем Пушкин, уставив пистолет свой почти в упор в лоб его, спросил: «Довольны ли вы?» Тот отвечал, что доволен, Пушкин выстрелил в поле, снял шляпу и сказал:

Подполковник Старков,
Слава богу, здоров [1].

Поединок был кончен, а два стиха эти долго ходили вроде поговорки по всему Кишиневу, и молдаване, не знавшие по-русски, тешились, затверживая ее ломаным языком наизусть.

Подробности другого поединка — кажется, в Одессе — не помню; знаю только, что противник Пушкина не выдержал, что Пушкин отпустил его с миром, но сделал это тоже по-своему: он сунул неразряженный пистолет себе под мышку, отвернулся в сторону...

В Оренбурге Пушкину захотелось сходить в баню. Я свел его в прекрасную баню к инженер-капитану Артю-

хову, добрейшему, умному, веселому и чрезвычайно забавному собеседнику. В предбаннике расписаны были картины охоты, любимой забавы хозяина. Пушкин тешился этими картинами, когда веселый хозяин, круглолицый, голубоглазый, в золотых кудрях, вошел, упрашивая Пушкина ради первого знакомства откушать пива или меду. Пушкин старался быть крайне любезным со своим хозяином и, глядя на расписной предбанник, завел речь об охоте. «Вы охотитесь, стреляете?» — «Как же-с, понемножку занимаемся и этим; не одному долгоносому довелось успокоиться в нашей сумке».— «Что же вы стреляете — уток?» — «Уто-ок-с?» — спросил тот, вытянувшись и бросив какой-то сострадательный взгляд. «Что же? разве вы уток не стреляете?» — «Помилуйте-с, кто будет стрелять эту падаль! Это какая-то гадкая старуха, валяется в грязи — ударишь ее по загривку, она свалится боком, как топор с полки, бьется, валяется в грязи, кувыркается... тьфу!» — «Так что же вы стреляете?» — «Нет-с, не уток. Вот как выйдешь в чистую рощицу, как запустишь своего Фингала,— а он нюх-нюх направо, нюх налево — и стойку: вытянулся, как на пружине,— одеревенел, сударь, одеревенел, окаменел! Пиль, Фингал! Как свечка загорелся, столбом взвился...» — «Кто, кто?» — перебил Пушкин с величайшим вниманием и участием. «Кто-с? разумеется кто: слука, вальдшнеп. Тут царап его по сарафану... А он (продолжал Артюхов, раскинув руки врозь, как на кресте),— а он только раскинет крылья, головку набок — замрет на воздухе, умирая, как Брут!»

Пушкин расхохотался и, прислав ему через год на память «Историю Пугачевского бунта», написал:

«Тому офицеру, который сравнивает вальдшнепа с Валенштейном» [2].

«Я стою вплоть перед изваянием исполинским, которого не могу обнять глазом,— могу ли я списывать его? Что я вижу? Оно только застит мне исполинским ростом своим, и я вижу ясно только те две-три пядени, которые у меня под глазами».

Пушкин, о Петре.

Еще пугачевщина, которую я не успел сообщить Пушкину вовремя.

При проезде государя наследника — нынешнего царя

нашего — из Оренбурга в Уральск я тоже находился в поезде. Мы выехали в 4 часа утра из Оренбурга и не переводя духу прискакали в 4 часа пополудни в Мухраковскую станицу, на этом пути первую станицу Уральского войска. Все казаки собрались у станичного дома, в избах оставались одни бабы и дети. Тощий, не только голодный, я бросился в первую избу и просил старуху подать каймачка, топленого молока — сырого здесь не держат — и хлеба. Отбив у скопы цыпленка, схваченного ею в тревогу эту на дворе, старуха радушно стала собирать на стол. «Ну что,— сказал я,— чай, рады дорогому гостю, государю наследнику?» — «Помилуй, как не рады? — отвечала та,— ведь мы тута — легко ли дело, царского племени не видывали от самого от государя Петра Федоровича...»

То есть — от Пугачева.

СМЕРТЬ А. С. ПУШКИНА

28 января 1837 года во втором часу пополудни встретил меня Башуцкий, едва я переступил порог его, роковым вопросом: «Слышали вы?» — и на ответ мой: «Нет»,— рассказал, что Пушкин накануне смертельно ранен.

У Пушкина нашел я уже толпу в передней и в зале; страх ожидания пробегал по бледным лицам. Д-р Арендт и д-р Спасский пожимали плечами. Я подошел к болящему, он подал мне руку, улыбнулся и сказал: «Плохо, брат!» Я приблизился к одру смерти и не отходил от него до конца страшных суток. В первый раз сказал он мне *ты*,— я отвечал ему так же, и побратался с ним уже не для здешнего мира.

Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться с смертью, так спокойно он ожидал ее, так твердо был уверен, что последний час его ударил. Плетнев говорил: «Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти». Больной положительно отвергал утешения наши и на слова мои: «Все мы надеемся, не отчаивайся и ты!» — отвечал: «Нет, мне здесь не житье; я умру, да, видно, уже так надо». В ночи на 29 он повторял несколько раз подобное; спрашивал, например, который час? и на ответ мой снова спрашивал отрывисто и с расстановкою: «Долго ли мне так мучиться? пожалуйста, поскорее». Почти всю ночь держал он меня за руку, почасту просил ложечку холодной воды, кусочек льду и всегда при этом управлялся своеручно —

брал стакан сам с ближней полки, тер себе виски льдом, сам снимал и накладывал себе на живот припарки, и всегда еще приговаривая: «Вот и хорошо, и прекрасно!» Собственно, от боли страдал он, по словам его, не столько, как от чрезмерной тоски, что нужно приписать воспалению брюшной полости, а может быть, еще более воспалению больших венозных жил. «Ах, какая тоска! — восклицал он, когда припадок усиливался,— сердце изнывает!» Тогда просил он поднять его, поворотить или поправить подушку — и, не дав кончить того, останавливал обыкновенно словами: «Ну, так, так, хорошо; вот и прекрасно, и довольно, теперь очень хорошо!» Вообще был он, по крайней мере в обращении со мною, послушен и поводлив, как ребенок, делал все, о чем я его просил. «Кто у жены моей?» — спросил он между прочим. Я отвечал: много людей принимают в тебе участие,— зала и передняя полны. «Ну, спасибо,— отвечал он,— однако же поди, скажи жене, что все, слава богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят».

С утра пульс был крайне мал, слаб, част,— но с полудня стал он подниматься, а к 6-му часу ударял 120 в минуту и стал полнее и тверже; в то же время начал показываться небольшой общий жар. Вследствие полученных от доктора Арендта наставлений приставили мы с д-ром Спасским тотчас 25 пиявок и послали за Арендтом. Он приехал, одобрил распоряжение наше. Больной наш твердою рукою сам ловил и припускал себе пиявки и неохотно допускал нас около себя копаться. Пульс сделался ровнее, реже и гораздо мягче; я ухватился, как утопленник, за соломинку и, обманув и себя и друзей, робким голосом возгласил *надежду*. Пушкин заметил, что я стал бодрее, взял меня за руку и сказал: «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» — «Мы за тебя надеемся еще, право, надеемся!» Он пожал мне руку и сказал: «Ну, спасибо». Но, по-видимому, он однажды только и обольстился моею надеждою; ни прежде, ни после этого он ей не верил; спрашивал нетерпеливо: «А скоро ли конец»,— и прибавлял еще: «Пожалуйста, поскорее!» Я налил и поднес ему рюмку касторового масла. «Что это?» — «Выпей, это хорошо будет, хотя, может быть, на вкус и дурно».— «Ну, давай»,— выпил и сказал: «А, это касторовое масло?» — «Оно; да разве ты его знаешь?» — «Знаю, да зачем же оно плавает по воде? сверху масло, внизу вода!» — «Все равно, там (в желудке) перемешается».— «Ну, хорошо, и то правда». В продолжение долгой, томительной ночи глядел я с душевным

сокрушением на эту таинственную борьбу жизни и смерти,— и не мог отбиться от трех слов из «Онегина», трех страшных слов, которые неотвязчиво раздавались в ушах, в голове моей,— слова:

Ну, что ж? — убит!

О! сколько силы и красноречия в трех словах этих! Они стоят знаменитого шекспировского рокового вопроса: «Быть или не быть». Ужас невольно обдавал меня с головы до ног,— я сидел, не смея дохнуть, и думал: вот где надо изучать опытную мудрость, философию жизни, здесь, где душа рвется из тела, где живое, мыслящее совершает страшный переход в мертвое и безответное, чего не найдешь ни в толстых книгах, ни на кафедре!

Когда тоска и боль его одолевали, он крепился усильно, и на слова мои: «Терпеть надо, любезный друг, делать нечего; но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче»,— отвечал отрывисто: «Нет, не надо, жена услышит, и смешно же это, чтобы этот вздор меня пересилил!» Он продолжал по-прежнему дышать часто и отрывисто, его тихий стон замолкал на время вовсе.

Пульс стал упадать и вскоре исчез вовсе, и руки начали стыть. Ударило два часа пополудни, 29 января,— и в Пушкине оставалось жизни только на три четверти часа. Бодрый дух все еще сохранял могущество свое; изредка только полудремота, забвенье на несколько секунд туманили мысли и душу. Тогда умирающий, несколько раз, подавал мне руку, сжимал и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем». Опамятовавшись, сказал он мне: «Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу по этим книгам и полкам высоко — и голова закружилась». Раза два присматривался он пристально на меня и спрашивал: «Кто это, ты?» — «Я, друг мой».— «Что это,— продолжал он,— я не мог тебя узнать». Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать мою руку и, протянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!» Я подошел к В. А. Жуковскому и гр. Виельгорскому и сказал: отходит! Пушкин открыл глаза и попросил моченой морошки; когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пусть она меня покормит». Наталия Николаевна опустилась на колени у изголовья умирающего, поднесла ему ложечку, другую — и приникла лицом к челу мужа. Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, ничего, слава богу, все хорошо».

Друзья, ближние молча окружили изголовье отходящего; я, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг будто проснулся, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь!» Я не дослышал и спросил тихо: «Что кончено?» — «Жизнь кончена»,— отвечал он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит»,— были последние слова его. Всеместное спокойствие разлилось по всему телу; руки остыли по самые плечи, пальцы на ногах, ступни и колени также; отрывистое, частое дыхание изменялось более и более в медленное, тихое, протяжное; еще один слабый, едва заметный вздох — и пропасть необъятная, неизмеримая разделила живых от мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его.

При вскрытии оказалось: чресельная часть правой половины (os il. dextr.) раздроблена, часть крестцовой кости также; пуля затерялась около оконечности последней. Кишки были воспалены, но не убиты гангреной; внутри брюшины до фунта запекшейся крови, вероятно, из бедренной или брыжеечных вен. Пуля вошла в двух дюймах от верхней передней оконечности правой чресельной кости и прошла косвенно или дугою внутри большого таза сверху вниз до крестцовой кости. Пушкин умер, вероятно, от воспаления больших вен в соединении с воспалением кишок.

Из раны, при самом начале, последовало сильное венозное кровотечение; вероятно, бедренная вена была перебита, судя по количеству крови на платье, плаще и проч.; надобно полагать, что раненый потерял несколько фунтов крови. Пульс соответствовал этому положению больного. Итак, первое старание медиков было унять кровотечение. Опасались, чтобы раненый не изошел кровью. Холодные со льдом примочки на брюхо, холодительное питье и прочее вскоре отвратили опасение это, и 28-го утром, когда боли усилились и показалась значительная опухоль живота, решились поставить промывательное, что с трудом можно было исполнить. Пушкин не мог лечь на бок, и чувствительность воспаленной проходной кишки от раздробленного крестца,— обстоятельство в то время еще неизвестное,— была причиною жестокой боли и страданий после промывательного. Пушкин был так раздражен духовно и телесно, что в это утро отказался вовсе от предлагаемых пособий. Около полудня доктор Арендт дал ему несколько капель опия, что Пушкин принял с жадностию и успокоился.

Перед этим принимал он уже extr. hyoscyami c. calomelano без видимого облегчения. После обеда и во всю ночь давали попеременно aq. laurocerasi и opium in pulv. c. calomel. К шести часам вечера, 28-го ч., болезнь приняла иной вид: пульс поднялся значительно, ударял около 120 и сделался жесток; оконечности согрелись, общая теплота тела возвысилась, беспокойство усилилось; поставили 25 пиявок к животу; лихорадка стихла, пульс сделался ровнее, гораздо мягче, кожа обнаружила небольшую испарину. Это была минута надежды. Но уже с полуночи и в особенности к утру общее изнеможение взяло верх; пульс упадал с часу на час, к полудню 29-го исчез вовсе; руки остыли, в ногах сохранилась теплота долее,— больной изнывал тоскою, начинал иногда забываться, ослабевал, и лицо его изменилось. При подобных обстоятельствах нет уже ни пособия, ни надежды. Можно было полагать, что омертвение в кишках начало образовываться. Жизнь угасала видимо, светильник дотлевал последнею искрой.

Вскрытие трупа показало, что рана принадлежала к безусловно смертельным. Раздробления подвздошной, в особенности крестцовой кости неисцелимы; при таких обстоятельствах смерть могла последовать: 1) от истечения кровью; 2) от воспаления брюшных внутренностей обще с поражением необходимых для жизни нервов и самой оконечности становой жилы (cauda equina); 3) самая медленная, томительная от всеобщего изнурения, при переходе пораженных мест в нагноение. Раненый наш перенес первое и потому успел приготовиться к смерти, проститься с женою, детьми и друзьями и, благодаря богу, не дожил до последнего, чем избавил и себя и ближних от напрасных страданий [1].

Н. М. СМИРНОВ

ИЗ «ПАМЯТНЫХ ЗАПИСОК»

Пушкин (первого выпуска Царскосельского лицея) хотя в юности учился небрежно и посему в выпуске не попал в число первых учеников, но умел приобрести впоследствии обширные познания в литературе и истории. Он читал очень много и, одаренный необыкновенною памятью, сохранял все сокровища, собранные им в книгах; особенно хорошо изучил он российскую историю и из оной всю эпоху с начала царствования Петра Великого до наших времен. Его голова была наполнена характеристическими анекдотами всех знаменитых лиц последнего столетия, и он любил их рассказывать. Государь ему поручил написать Историю Петра Великого, который был идолом Пушкина [1]. Он этим делом занялся с любовью, но не хотел начать писать прежде, чем соберет все нужные материалы, и для достижения сего читал все, что было напечатано о сем государе, и рылся во всех архивах. Многие сомневались, чтоб он был в состоянии написать столь серьезное сочинение, чтоб у него достало на то терпения. Зная коротко Пушкина (и мое мнение разделено Жуковским, Вяземским, Плетневым), я уверен, что он вполне удовлетворил бы строгим ожиданиям публики; ибо под личиною иногда ветрености и всегда светского человека он имел высокий, проницательный ум, чистый взгляд, необыкновенную сметливость, память, не теряющую из виду малейших обстоятельств в самых дальних предметах, высоко-благородную душу, большие познания в истории, словом, все качества, нужные для историографа, к которым он присоединял еще свой блистательный талант как писатель. Нельзя также сомневаться, чтоб у него недостало терпения для окончания столь важного сочинения, ибо он имел в важных случаях твердую волю; и благоговение, которое он имел к Петру I, вооружало его нужным терпением. Он сие доказал трудами своими в соби-

рании справок, долгим изучением своего предмета, и в глазах знающих коротко Пушкина медленность его в начатии писать историю великого государя служила доказательством его твердого намерения посвятить ей все силы своего ума, всю жизнь свою. Другие судили иначе, ибо его не знали. Хотя он был известнейшим лицом в России, хотя знаменитость его дошла до самых глухих и дальних мест России, но весьма немногие его знали коротко и могли вполне оценить высокие качества его ума, его сердца и души. Любя свет, любя игру, любя приятельские беседы, Пушкин часто являлся человеком легкомысленным, ветреным и давал повод судить о нем ложно. Быв самого снисходительного нрава, он легко вступал со всеми на приятельскую ногу, и эта светская дружба, соединенная с откровенным обращением, позволяла многим думать, что они с Пушкиным друзья и что они коротко знают его мысли, чувства, мнения и способности. Эти-то мнимые друзья и распространили многие ложные мысли о нем и представили его легкомысленным и неспособным для трудов, требующих большого постоянства. Как мало знали они Пушкина, какое бедное понятие имели о нем, невзирая на то, что оценяли весь гений его как поэта! Кто был ближе к нему, кто пользовался его совершенным доверием, кому доступны были тайные струны его души, те уважали в Пушкине человека столько же, как и поэта, те открывали в нем ежедневно сокровища неистощимые и недоступные пониманию толпы так называемых его приятелей.

Трудно описать блестящие качества, которые соединялись в Пушкине и сделали из него столь замечательное лицо. Его гений известен; но что, может быть, неизвестно будет потомству, это то, что Пушкин с самой юности до гроба находился вечно в неприятном или стесненном положении, которое убило бы все мысли в человеке с менее твердым характером. Сосланный в псковскую деревню за сатирические стихи, он имел там развлечением старую няню, коня и бильярд, на котором играл один тупым кием. Его дни тянулись однообразно и бесцветно. Встав поутру, погружался он в холодную ванну и брал книгу или перо; потом садился на коня и скакал несколько верст, слезая, уставший ложился в постель и брал снова книги и перо; в минуты грусти перекатывал шары на бильярде или призывал старую няню рассказывать ему про старину, про Ганнибалов, потомков Арапа Петра Великого, из фамилии которых происходила его мать. Так прошло несколько лет

юности Пушкина, и в эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых восторженных песен, в которых ни одно слово не высказало изменчиво его уныния. Вдруг однажды ночью его будит испуганная няня и объявляет ему, что вновь воцарившийся государь, находившийся в то время для коронации в Москве, прислал за ним фельдъегеря. Пушкин изумился, он не принадлежал к заговору, уничтоженному на Сенатской площади 14 декабря, его совесть была чиста, и он чувствовал, что может предстать перед лицом государя без страха; но, с другой стороны, он боялся, что, по его дружбе и переписке со многими участниками заговора, например с Луниным, Кюхельбекером, Муравьевым, могло случиться, что слова какого-нибудь письма, найденного по окончании уже суда над виновными, были истолкованы не в пользу его или что новое донесение на него вело его к новому суду [2]. Скоро, однако же, успокоил его фельдъегерь вниманием, которого обыкновенно не дарят тем, которых отвозят под плаху правосудия. По приезде в Москву Пушкин введен прямо в кабинет государя; дверь замкнулась, и, когда снова отворилась, Пушкин вышел со слезами на глазах, бодрым, веселым, счастливым [3]. Государь его принял как отец сына, все ему простил, все забыл, обещал покровительство свое и быть единственным цензором всех его сочинений *.

С 1825 до 1831 года была самая счастливая эпоха в жизни Пушкина. Он жил в Петербурге, ласкаемый царем; три четверти общества носили его на руках. Говорю три четверти, ибо одна часть высшего круга никогда не прощала Пушкину его вольных стихов, его сатир и, невзирая на милости царя, на уверения его друзей, не переставала его считать человеком злым, опасным и вольнодумцем. Но Пушкин был утешен в несправедливой ненависти немногих фанатическою дружбою многочисленных друзей своих и любовью всей России. Никто не имел столько друзей, сколько Пушкин, и, быв с ним очень близок, я знаю, что он вполне оценял сие счастье. Осенью он обыкновенно удалялся на два и три месяца в деревню, чтобы писать и не быть развлекаемым. В деревне он вел всегда одинаковую

---

* С тех пор Пушкин посылал государю через Бенкендорфа все свои сочинения в рукописях и по возврате оных отдавал их прямо в печать. Государь означал карандашом места, которые не пропускал. Государь был самый снисходительный цензор и пропустил многие места, которые обыкновенная цензура, к которой Пушкин обращался за отсутствием государя, не пропускала [4].

жизнь, весь день проводил в постели с карандашом в руках, занимался иногда по 12 часов в день, поутру освежался холодною ванною; перед обедом, несмотря даже на непогоду, скакал несколько верст верхом, и, когда уставшая под вечер голова требовала отдыха, он играл один на бильярде или призывал с рассказами свою старую няню. Однажды он взял с собою любовницу. «Никогда более не возьму никого с собою,— говорил он мне после,— бедная Лизанька едва не умерла со скуки: я с нею почти там не виделся» [5]. Ибо, как скоро приезжал он в деревню и брался за перо, лихорадка переливалась в его жилы, и он писал, не зная ни дня, ни ночи. Так писал он, не покидая почти пера, каждую главу «Онегина»; так написал он почти без остановки «Графа Нулина» и «Медного всадника». Он писал всегда быстро, одним вдохновением, но иногда, недовольный некоторыми стихами, потом с гневом их марал, переправлял: ибо в его глазах редко какой-нибудь стих выражал вполне его мысль.

В 1831 году он женился на Гончаровой. Все думали, что он влюблен в Ушакову; но он ездил, как после сам говорил, всякий день к сей последней, чтоб два раза в день проезжать мимо окон первой. Женитьба была его несчастье, и все близкие друзья его сожалели, что он женился. Семейные обязанности должны были неминуемо отвлечь его много от занятий, тем более что, не имея еще собственного имения, живя произведениями своего пера и женясь на девушке, не принесшей ему никакого состояния, он приготовлял себе в будущем грустные заботы о необходимом для существования. Так и случилось. С первого года Пушкин узнал нужду, и, хотя никто из самых близких не слыхал от него ни единой жалобы, беспокойство о существовании омрачало часто его лицо. Я помню только однажды, что, недовольный нянькою детей своих, он грустно изъявил сожаление, что не в состоянии взять англичанку. Домашние нужды имели большое влияние на нрав его; с большою грустью вспоминаю, как он, придя к нам, ходил печально по комнате, надув губы и опустив руки в карманы широких панталон, и уныло повторял: «Грустно! тоска!» Шутка, острое слово оживляли его электрическою искрою: он громко захохочет и обнаружит ряд белых, прекрасных зубов, которые с толстыми губами были в нем остатками полуарабского происхождения. И вдруг снова, став к камину, шевеля что-нибудь в своих широких карманах, запоет протяжно: «Грустно! тоска!» Я уверен, что беспокойствия о будущей

судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главною причиною той раздражительности, которую он показал в происшествиях, бывших причиною его смерти.

Приступаю теперь к рассказу кровавой драмы, лишившей Россию ее любимого поэта; но прежде должен сказать несколько слов об его жене, которая казалась виновницею смерти своего мужа. Красавице, которая с первого шага на светском поприще была окружена толпою обожателей, при очаровательной красоте, принятой в Петербурге с восторгом, не остереженной мужем, который боялся казаться ревнивым, и подстрекаемой в самолюбии старою теткою, фрейлиною Загряжскою,— ей было извинительнее, чем всякой другой женщине, быть неосторожною. К несчастью ее, Пушкина и России, нашелся человек, который неосторожностью или непреодолимым чувством своим компрометировал ее в глазах мужа. Барон Дантес (да будет трижды проклято его имя), молодой человек лет 25, приехал эмигрантом в Петербург после Французской революции 1830 года и по неизвестным мне протекциям был прямо принят корнетом в Кавалергардский полк [6]. Красивой наружности, ловкий, веселый и забавный, болтливый, как все французы, он был везде принят дружески, понравился даже Пушкину, дал ему прозвание Pacha à trois queues *, когда однажды тот приехал на бал с женою и ее двумя сестрами. Скоро он страстно влюбился в г-жу Пушкину. Бедная Наталья Николаевна, быть может, немного тронутая сим новым обожанием, невзирая на то что искренно любила своего мужа, до такой степени, что даже была очень ревнива (что иногда случается в никем еще не разгаданных сердцах светских женщин), или из неосторожного кокетства, принимала волокитство Дантеса с удовольствием. Муж это заметил, были домашние объяснения; но дамы легко забывают на балах данные обещания супругам, и Наталья Николаевна снова принимала приглашения Дантеса на долгие танцы, что заставляло мужа ее хмурить брови. Вдруг Пушкин получает письмо на французском языке следующего содержания. «NN, канцлер ордена Рогоносцев, убедясь, что Пушкин приобрел несомнительные права на этот орден, жалует его командором онаго» [7]. Легко представить действие сего гнусного письма на Пушкина, терзаемого уже сомнениями, весьма щекотливого во всем, что касается до чести, и имеющего столь пламенные чувства,

* Трехбунчужный паша.

душу и воображение *. Его ревность усилилась, и уверенность, что публика знает про стыд его, усиливала его негодование; но он не знал, на кого излить оное, кто бесчестил его сими письмами. Подозрения его и многих его приятелей падали на барона Гекерена; но прежде чем сказать почему, я должен рассказать важное обстоятельство в жизни Дантеса, мною пропущенное.

Барон Гекерен, нидерландский посланник, за несколько месяцев перед тем усыновил Дантеса, передал ему фамилию свою и назначил его своим наследником. Какие причины побудили его к оному, осталось неизвестным; иные утверждали, что он его считал сыном своим, быв в связи с его матерью; другие, что он из ненависти к своему семейству давно желал кого-нибудь усыновить и что выбрал Дантеса потому, что полюбил его [8]. Любовь Дантеса к Пушкиной ему не нравилась. Гекерен имел честолюбивые виды и хотел женить своего приемыша на богатой невесте. Он был человек злой, эгоист, которому все средства казались позволительными для достижения своей цели, известный всему Петербургу злым языком, перессоривший уже многих, презираемый теми, которые его проникли. Весьма правдоподобно, что он был виновником сих писем с целью поссорить Дантеса с Пушкиным и, отвлекши его от продолжения знакомства с Натальей Николаевной, исцелить его от любви и женить на другой. Сколь ни гнусен был сей расчет, Гекерен был способен составить его. Подозрение падало также на двух молодых людей — кн. Петра Долгорукова и кн. Гагарина; особенно на последнего. Оба князя были дружны с Гекереном и следовали его примеру, распуская сплетни. Подозрение подтверждалось адресом на письме, полученном К. О. Россетом; на нем подробно описан был не только дом его жительства, куда повернуть, взойдя на двор, по какой идти лестнице и какая дверь его квартиры. Сии подробности, неизвестные Гекерену, могли только знать эти два молодые человека, часто посещавшие Россета, и подозрение, что кн. Гагарин был помощником в сем деле, подкрепилось еще тем, что он был очень мало знаком с Пушкиным и казался очень убитым тайною грустью после смерти Пушкина. Впрочем, участие, им принятое в пасквиле, не было доказано, и только одно не подле-

* В то же время Карамзины, Вяземский, Хитрова, Россет и Соллогуб получили через городскую почту те же пакеты, в которых находились письма на имя Пушкина; некоторые, как будто из предчувствия, раскрыли пакеты и, найдя пасквиль, удержали их, другие же переслали Пушкину.

жит сомнению, это то, что Гекерен был их сочинитель. Последствия доказали, что государь в этом не сомневался [9], и говорят, что полиция имела на то неоспоримые доказательства.

По получении писем все друзья Пушкина не сомневались более, что гроза, кипевшая в груди Пушкина, должна скоро разразиться; но он сдержал ее и как будто ждал случая и предлога требовать крови Дантеса. Быть может, также он хотел дождаться, чтобы слухи о сих письмах сперва упали. Дантес же не переменял поведения и явно волочился за его женою, так что скоро вынудил Пушкина послать ему вызов через графа Соллогуба (Владим. Александр.). Что происходило по получении вызова в вертепе у Гекерена и Дантеса, неизвестно; но в тот же день Пушкин, сидя за обедом, получает письмо, в котором Дантес просит руки старшей Гончаровой, сестры Натальи Николаевны [10]. Удивление Пушкина было невыразимое; казалось, что все сомнения должны были упасть перед таким доказательством, что Дантес не думает об его жене. Но Пушкин не поверил сей новой неожиданной любви; а так как не было причины отказать в руке свояченицы, тридцатилетней девушки, которой Дантес нравился, то и было изъявлено согласие. Помолвка Дантеса удивила всех и всех обманула. Друзья Пушкина, видя, что ревность его продолжается, напали на него, упрекая в безрассудстве; он же оставался неуспокоенным и не верил, что свадьба состоится. Она состоялась и не успокоила Пушкина. Он не поехал на свадьбу и не принял молодых к себе. Что понудило Дантеса вступить в брак с девушкою, которой он не мог любить, трудно определить; хотел ли он, жертвуя собою, успокоить сомнения Пушкина и спасти женщину, которую любил, от нареканий света; или надеялся он, обманув этим ревность мужа, иметь, как брат, свободный доступ к Наталье Николаевне; испугался ли он дуэли — это неизвестно.

Но какие бы ни были тайные причины сей решимости, Дантес поступил подло; ибо обманывал или Пушкина, или будущую жену свою. Поведение же его после свадьбы дало всем право думать, что он точно искал в браке не только возможности приблизиться к Пушкиной, но также предохранить себя от гнева ее мужа узами родства. Он не переставал волочиться за своею невесткою; он откинул даже всякую осторожность, и казалось иногда, что насмехается над ревностью не примирившегося с ним мужа. На балах он танцевал и любезничал с Натальею Николаевною, за ужи-

ном пил за ее здоровье,— словом, довел до того, что все снова стали говорить про его любовь. Барон же Гекерен стал явно помогать ему, как говорят, желая отомстить Пушкину за неприятный ему брак Дантеса. Пушкин все видел, все замечал и решился положить этому конец. На бале у Салтыкова он хотел сделать публичное оскорбление Дантесу, который был предуведомлен и не приехал на бал, что понудило Пушкина на другой день послать ему письменный вызов и вместе с тем письмо к Гекерену, в котором Пушкин ему объявляет, что знает его гнусное поведение [11]. Письма эти были столь сильны, что одна кровь могла смыть находившиеся в них оскорбления. 27 января, в 4 часа пополудни, они дрались на Черной речке, за дачею Ланской. Барон Даршьяк, находившийся при французском посольстве, был секундантом Дантеса; подполковник Данзас, с которым Пушкин был дружен и в то утро встретил его на улице, был его секундантом. Дантес выстрелил первый. Пушкин упал; но, встав на одно колено и опираясь на землю, другою дрожащею от гнева рукою он прицелился, выстрелил, и Дантес также упал [12]. Пушкин вскрикнул с радостью: «Браво!» Но раны двух соперников были различные. Надежда, слава, радость, сокровище России был смертельно ранен в живот, а презренный француз легко ранен в руку и только сшиблен с ног силою удара.

Вынос тела в Александро-Невскую лавру назначен был 30 января, но полиция неожиданно приказала вынести 29-го числа вечером в Конюшенную церковь: [13] боялись волнения в народе, какого-нибудь народного изъявления ненависти к Гекерену и Дантесу [14], жившим на Невском, в доме к-ни Вяземской (ныне Завадовского), мимо которого церемония должна бы проходить, если бы отпевание было в Невском монастыре. На отпевание приехал весь дипломатический корпус [15] и вся знать, даже те, которые не стыдились кричать против Пушкина. Общее мнение их вынудило отдать сей долг любимцу России.

3 февраля, в 10 часов вечера, отпели панихиду, отправили тело в Святогорский Успенский монастырь (Псковской губ. Опочковского уезда), где погребены предки Пушкина.

Несчастная вдова вскоре уехала к своему брату Гончарову в его имение Полотняные заводы в Калужской губернии; там прожила все время траура, два года, ей назначенные мужем, вероятно, в том предположении, что петербургское общество не забудет прежде сего времени клевету, носившуюся насчет ее. Но если клевета могла бы

еще существовать, то была бы совершенно разрушена глубокою, неизгладимою горестью жены о потере мужа и ее примерным поведением. Юная, прелестная собою, она отказалась от света и, переехав в Петербург, по желанию ее тетки, посещает одних родственников и близких друзей, невзирая на приглашения всего общества и самого двора.

Дантес был предан военному суду и разжалован в солдаты. На его плечи накинули солдатскую шинель, и фельдъегерь отвез его за границу как подданного нерусского. Барон Гекерен, голландский посланник, должен был оставить свое место. Государь отказал ему в обыкновенной последней аудиенции, и семь осьмых общества прервали с ним тотчас знакомство. Сия неожиданная развязка убила в нем его обыкновенное нахальство, но не могла истребить все его подлые страсти, его барышничество: перед отъездом он публиковал о продаже всей своей движимости, и его дом превратился в магазин, среди которого он сидел, продавая сам вещи и записывая продажу. Многие воспользовались сим случаем, чтобы сделать ему оскорбления. Например, он сидел на стуле, на котором выставлена была цена; один офицер, подойдя к нему, заплатил ему за стул и взял его из-под него. Небо наказало Гекерена и Дантеса. Первый, выгнанный из России, где свыкся, лишенный места, важного для него по жалованью, презираемый даже в своем отечестве, нашелся принужденным скитаться по свету. Дантес, лишенный карьеры, обманутый в честолюбии, с женою старее его, принужден был поселиться во Франции, в своей провинции, где не может быть ни любим, ни уважаем по случаю своего эмигрантства [16]. Сего не довольно: небо наказало даже его преступную руку. Однажды на охоте он протянул ее, показывая что-то своему товарищу, как вдруг выстрел, и пуля попала прямо в руку.

Познакомясь с Пушкиным в 1828 году и живя в одном кругу, я с ним очень сблизился и коротко его узнал; посему я из числа тех людей, которые могут дать верные о нем сведения. Я не встречал людей, которые были бы вообще так любимы, как Пушкин; все приятели его делались скоро его друзьями. Он знакомился скоро, и, когда ему кто нравился, он дружился искренно. В большом кругу он был довольно молчалив, серьезен, и толстые губы давали ему вид человека надувшегося, сердитого; он стоял в углу, у окна, как будто не принимая участия в общем веселии. Но в кругу приятелей он был совершенно другой человек; лицо его прояснялось, он был удивительной живости, разго-

ворчив, рассказывал много, всегда ясно, сильно, с резкими выражениями, но как будто запинаясь и часто с нервическими движениями, как будто ему неловко было сидеть на стуле. Он любил также слушать, принимал участие в рассказах и громко, увлекательно смеялся, показывая свои прекрасные белые зубы. Когда он был грустен, что часто случалось в последние годы его жизни, ему не сиделось на месте: он отрывисто ходил по комнате, опустив руки в карманы широких панталон и протяжно напевал: «грустно! тоска!» Но веселый анекдот, остроумное слово развеселяли его мгновенно: он вскрикивал с удовольствием «славно!» и громко хохотал.

Он был самого снисходительного, доброго нрава; обыкновенно он выказывал мало колкости, в своих суждениях не был очень резок; своих друзей он защищал с необыкновенным жаром; зато несколькими словами уничтожал тех, которых презирал, и людей, его оскорбивших. Но самый гнев его был непродолжителен, и, когда сердце проходило, он делался только хладнокровным к своим врагам. Некоторая беспечность нрава позволяла часто им овладеть; так, например, женщина умная, но странная (ибо на пятидесятом году не переставала оголять свои плечи и любоваться их белизною и полнотою) возымела страсть к гению Пушкина и преследовала его несколько лет своею страстью *[17]. Она надоела ему несказанно, но он никогда не мог решиться огорчить ее, оттолкнув от себя, хотя, смеясь, бросал в огонь, не читая, ее ежедневные записки; но, чтобы не обидеть ее самолюбия, он не переставал часто навещать ее в приемные часы ее перед обедом.

Пушкина сделали камер-юнкером; это его взбесило, ибо сие звание точно было неприлично для человека тридцати четырех лет, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно было дано, чтобы иметь повод приглашать ко двору его жену. Притом на сей случай вышел мерзкий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина; будто он сделался искателен, малодушен, и он, дороживший своею славою, боялся, чтобы сие мнение не было принято публикою и не лишило его народности. Словом, он был огорчен и взбешен и решился не воспользоваться своим мундиром, чтобы ездить ко двору, не шить даже мундира. В этих чувствах он пришел к нам однажды. Жена моя, которую он очень любил и очень уважал, и я стали опро-

* Пушкин звал ее Пентефрихой.

вергать его решение, представляя ему, что пожалование в сие звание не может лишить его народности; ибо все знают, что он не искал его, что его нельзя было сделать камергером по причине чина его; [18] что натурально двор желал иметь возможность приглашать его и жену его к себе и что государь пожалованием его в сие звание имел в виду только иметь право приглашать его на свои вечера, не изменяя старому церемониалу, установленному при дворе. Долго спорили, убеждали мы Пушкина; наконец полуубедили. Он отнекивался только неимением мундира и что он слишком дорого стоит, чтоб заказать его. На другой день, узнав от портного о продаже нового мундира князя Витгенштейна, перешедшего в военную службу, и что он совершенно будет впору Пушкину, я ему послал его, написав, что мундир мною куплен для него, но что предоставляется его воле взять его или ввергнуть меня в убыток, оставив его на моих руках. Пушкин взял мундир и поехал ко двору. Вот объяснения его производства в камер-юнкеры, по поводу которого недоброжелатели Булгарин, Сенковский, литературные его враги, искали помрачить характер Пушкина. Сии подробности показывают также, сколько он был внимателен к голосу истинной дружбы и сколько добрый нрав его позволял иногда друзьям им владеть.

А. В. НИКИТЕНКО

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1834

Март 16. Сегодня было большое собрание литераторов у Греча. Здесь находилось, я думаю, человек семьдесят. Предмет заседания — издание энциклопедии на русском языке. Это предприятие типографщика Плюшара. В нем приглашены участвовать все сколько-нибудь известные ученые и литераторы. Греч открыл заседание маленькою речью о пользе этого труда и прочел программу энциклопедии, которая должна состоять из 24-х томов и вмещать в себе, кроме общих ученых предметов, статьи, касающиеся до России.

Засим каждый подписывал свое имя на приготовленном листе под наименованием той науки, по которой намерен представить свои труды. ⟨...⟩

Пушкин и князь В. Ф. Одоевский сделали маленькую неловкость, которая многим не понравилась, а иных рассердила. Все присутствующие в знак согласия просто подписывали свое имя, а те, которые не согласны, просто не подписывали. Но князь Одоевский написал: «Согласен, если это предприятие и условия оного будут сообразны с моими предположениями». А. Пушкин к этому прибавил: «С тем, чтобы моего имени не было выставлено». Многие приняли эту щепетильность за личное себе оскорбление [1]. ⟨...⟩

Апрель 9. Был сегодня у министра. Докладывал ему о некоторых романах, переведенных с французского. ⟨...⟩

Я представил ему еще сочинение или перевод Пушкина «Анджело». Прежде государь сам рассматривал его поэмы, и я не знал, имею ли я право цензировать их. Теперь министр приказал мне поступать в отношении к Пушкину на

общем основании. Он сам прочел «Анджело» и потребовал, чтобы несколько стихов были исключены [2]. 〈...〉

11. Случилось нечто, расстроившее меня с Пушкиным. Он просил меня рассмотреть его «Повести Белкина», которые он хочет печатать вторым изданием. Я отвечал ему следующее:

— С душевным удовольствием готов исполнить ваше желание теперь и всегда. Да благословит вас гений ваш новыми вдохновениями, а мы готовы. (Что сказать? — обрезывать крылья ему? По крайней мере, рука моя не злоупотребит этим.) Потрудитесь мне прислать все, что означено в записке вашей, и уведомьте, к какому времени вы желали бы окончания этой тяжбы политического механизма с искусством, говоря просто, процензурованья,— и т. д.[3].

Между тем к нему дошел его «Анджело» с несколькими урезанными министром стихами. Он взбесился: Смирдин платит ему за каждый стих по червонцу, следовательно, Пушкин теряет здесь несколько десятков рублей. Он потребовал, чтобы на место исключенных стихов были поставлены точки, с тем, однако ж, чтобы Смирдин все-таки заплатил ему деньги и за точки!

14. 〈...〉 Говорил с Плетневым о Пушкине: они друзья. Я сказал:

— Напрасно Александр Сергеевич на меня сердится. Я должен исполнять свою обязанность, а в настоящем случае ему причинил неприятность не я, а сам министр.

Плетнев начал бранить, и довольно грубо, Сенковского за статьи его, помещенные в «Библиотеке для чтения», говоря, что они написаны для денег и что Сенковский грабит Смирдина.

— Что касается до грабежа,— возразил я,— то могу вас уверить, что один из знаменитых наших литераторов не уступит в том Сенковскому.

Он понял и замолчал.

Май 30. 〈...〉 Заходил на минуту к Плетневу: там встретил Пушкина и Гоголя; первый почтил меня холодным камер-юнкерским поклоном.

1836

Январь 10. 〈...〉 Интересно, как Пушкин судит о Кукольнике. Однажды у Плетнева зашла речь о последнем;

я был тут же. Пушкин, по обыкновению, грызя ногти или яблоко — не помню, сказал:

— А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли.

Это было сказано тоном двойного аристократа: аристократа природы и положения в свете. Пушкин иногда впадает в этот тон и тогда становится крайне неприятным. ⟨...⟩

17. ⟨...⟩ Пушкин написал род пасквиля на министра народного просвещения, на которого он очень сердит за то, что тот подвергнул его сочинения общей цензуре. Прежде его сочинения рассматривались в собственной канцелярии государя, который и сам иногда читал их. Так, например, поэма «⟨Медный⟩ всадник» им самим не пропущена.

Пасквиль Пушкина называется «Выздоровление Лукулла»: он напечатан в «Московском наблюдателе» [4]. Он как-то хвалился, что непременно посадит на гауптвахту кого-нибудь из здешних цензоров, особенно меня, которому не хочет простить за «Анджело». Этой цели он теперь, кажется, достигнет в Москве, ибо пьеса наделала много шуму в городе. Все узнают в ней, как нельзя лучше, Уварова. ⟨...⟩

20. Весь город занят «Выздоровлением Лукулла». Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. В самом деле, Пушкин этим стихотворением не много выиграл в общественном мнении, которым, при всей своей гордости, однако, очень дорожит. Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор.

Но дня за три до этого Пушкину уже было разрешено издавать журнал вроде «Эдинбургского трехмесячного обозрения»: он будет называться «Современником». Цензором нового журнала попечитель назначил Крылова, самого трусливого, а следовательно, и самого строгого из нашей братии. Хотели меня назначить, но я убедительно просил уволить меня от этого: с Пушкиным слишком тяжело иметь дело [5].

Апрель 14. Пушкина жестоко жмет цензура. Он жаловался на Крылова и просил себе другого цензора, в подмогу первому. Ему назначили Гаевского. Пушкин раскаивается, но поздно. Гаевский до того напуган гауптвахтой, на которой просидел восемь дней, что теперь сомневается, можно ли пропускать в печать известия вроде того, что такой-то король скончался [6].

Январь 21. Вечер провел у Плетнева. Там был Пушкин; он все еще на меня дуется. Он сделался большим аристократом. Как обидно, что он так мало ценит себя как человека и поэта и стучится в один замкнутый кружок общества, тогда как мог бы безраздельно царить над всем обществом. Он хочет прежде всего быть барином, но ведь у нас барин тот, у кого больше дохода. К нему так не идет этот жеманный тон, эта утонченная спесь в обращении, которую завтра же может безвозвратно сбить опала. А ведь он умный человек, помимо своего таланта. Он, например, сегодня много говорил дельного и, между прочим, тонкого о русском языке. Он сознавался также, что историю Петра пока нельзя писать, то есть ее не позволят печатать. Видно, что он много читал о Петре.

29. Важное и в высшей степени печальное происшествие для нашей литературы: Пушкин умер сегодня от раны, полученной на дуэли.

Вчера вечером был у Плетнева; от него от первого услышал об этой трагедии. В Пушкина выстрелил сперва противник, Дантес, кавалергардский офицер; пуля попала ему в живот. Пушкин, однако, успел отвечать ему выстрелом, который раздробил тому руку. Сегодня Пушкина уже нет на свете.

Подробностей всего я еще хорошо не слыхал. Одно несомненно: мы понесли горестную, невознаградимую потерю. Последние произведения Пушкина признавались некоторыми слабее прежних, но это могло быть в нем эпохою переворота, следствием внутренней революции, после которой для него мог настать период нового величия.

Бедный Пушкин! Вот чем заплатил он за право гражданства в этих аристократических салонах, где расточал свое время и дарование! Тебе следовало идти путем человечества, а не касты; сделавшись членом последней, ты уже не мог не повиноваться законам ее. А ты был призван к высшему служению. ⟨...⟩

31. Сегодня был у министра. Он очень занят укрощением громких воплей по случаю смерти Пушкина. Он, между прочим, недоволен пышною похвалою, напечатанною в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» [7].

Итак, Уваров и мертвому Пушкину не может простить «Выздоровления Лукулла».

Сию минуту получил предписание председателя цен-

зурного комитета не позволять ничего печатать о Пушкине, не представив сначала статьи ему или министру [8].

Завтра похороны. Я получил билет.

Февраль 1. Похороны Пушкина. Это были действительно народные похороны. Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге,— все стеклось к церкви, где отпевали поэта. Это происходило в Конюшенной. Площадь была усеяна экипажами и публикою, но среди последней — ни одного тулупа или зипуна. Церковь была наполнена знатью. Весь дипломатический корпус присутствовал. Впускали в церковь только тех, которые были в мундирах или с билетом. На всех лицах лежала печаль — по крайней мере, наружная. Возле меня стояли: барон Розен, Карлгоф, Кукольник и Плетнев. Я прощался с Пушкиным: «И был странен тихий мир его чела» [9]. Впрочем, лицо уже значительно изменилось: его успело коснуться разрушение. Мы вышли из церкви с Кукольником.

— Утешительно, по крайней мере, что мы все-таки подвинулись вперед,— сказал он, указывая на толпу, пришедшую поклониться праху одного из лучших своих сынов.

Ободовский (Платон) упал ко мне на грудь, рыдая, как дитя.

Тут же, по обыкновению, были и нелепейшие распоряжения. Народ обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе,— так было означено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему. Попечитель мне сказал, что студентам лучше не быть на похоронах: они могли бы собраться в корпорации, нести гроб Пушкина — могли бы «пересолить», как он выразился.

Греч получил строгий выговор от Бенкендорфа за слова, напечатанные в «Северной пчеле»: «Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности» (№ 24).

Краевский, редактор «Литературных прибавлений к

«Русскому инвалиду», тоже имел неприятности за несколько строк, напечатанных в похвалу поэту.

Я получил приказание вымарать совсем несколько таких же строк, назначавшихся для «Библиотеки для чтения».

И все это делалось среди всеобщего участия к умершему, среди всеобщего глубокого сожаления. Боялись — но чего?

Церемония кончилась в половине первого. Я поехал на лекцию. Но вместо очередной лекции я читал студентам о заслугах Пушкина. Будь что будет!

12. 〈...〉 Дня через три после отпевания Пушкина увезли *тайком* его в деревню. Жена моя возвращалась из Могилева и на одной станции неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом.

— Что это такое? — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян.

— А бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит — и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости господи — как собаку.

Мера запрещения относительно того, чтобы о Пушкине ничего не писать, продолжается. Это очень волнует умы.

1865

Июнь 16. Опять был у меня Норов. 〈...〉 Вчера он, между прочим, рассказал мне следующий анекдот об А. С. Пушкине. Норов встретился с ним за год или за полтора до его женитьбы. Пушкин очень любезно с ним поздоровался и обнял его. При этом был приятель Пушкина Туманский. Он обратился к поэту и сказал ему: «Знаешь ли, Александр Сергеевич, кого ты обнимаешь? Ведь это твой противник. В бытность свою в Одессе он при мне сжег твою рукописную поэму».

Дело в том, что Туманский дал Норову прочесть в рукописи известную непристойную поэму Пушкина. В комнате тогда топился камин, и Норов по прочтении пьесы тут же бросил ее в огонь.

«Нет,— сказал Пушкин,— я этого не знал, а узнав теперь, вижу, что Авраам Сергеевич не противник мне, а друг, а вот ты, восхищавшийся такою гадостью, как моя неизданная поэма, настоящий мой враг» [10].

А. А. Дельвиг.
рисунок Пушкина в альбоме
Ел. Н. Ушаковой. 1829.



А. А. Дельвиг.
П. Яковлев, 1820-е гг.,
рисунок.



З. А. Волконская.
Мюнере, 1814,
акварель.



Ек. Н. Ушакова.
Неизвестный художник,
1-я пол. XIX в.,
холст, масло.

Новоселье.
Пушкин на обеде
у Смирдина.
А. Брюллов, 1832,
сепия.



С. А. Соболевский.
Неизвестный
художник, 1841,
рисунок пером
(ГЛМ).



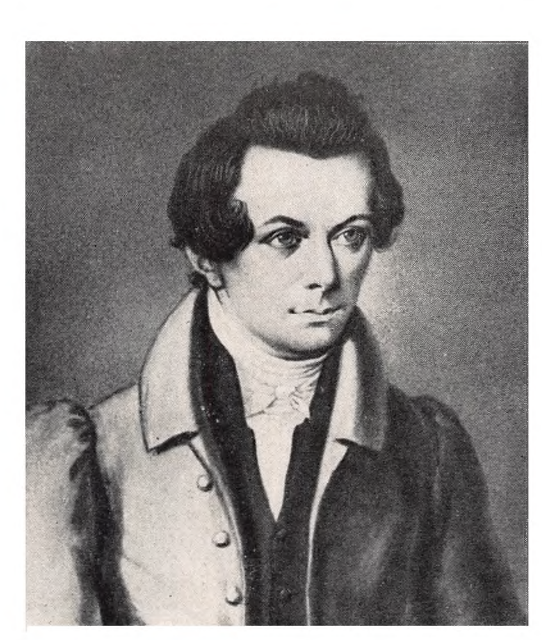
М. П. Погодин.
Литография П. Бореля.



С. П. Шевырев.
Литография с фотографии
Бергнера.



В. Ф. Одоевский.
Литография
Митрейтера
по рисунку
К. Горбунова.



Н. А. Полевой.
Людвиг, 1833,
акварель.

Д. Ф. Фикельмон.
Т. Ювинс, 1826,
акварель.



А. О. Смирнова-Россет.
А. Варнек, 1841,
холст, масло.

А. Н. Муравьев.
С оригинала художника
П. З. Захарова, 1838.



Д. В. Веневитинов.
А. Лагрене, 1826,
холст, масло.

А. С. Пушкин.
К. Мазер, 1839,
холст, масло.

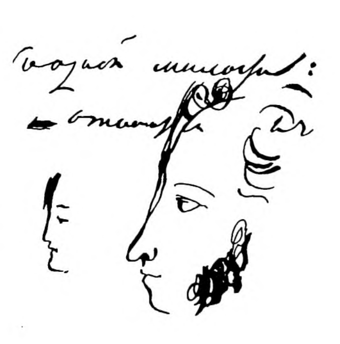


А. Мицкевич.
Гравюра Крутеля, 1828,
по оригиналу
И. Лелевеля.

Н. Н. Пушкина.
А. Брюллов, 1832,
акварель.



А. И. Тургенев.
П. Виньерон,
литография по оригиналу
К. Брюллова, 1833.



Автопортрет и профиль
Н. Н. Пушкиной,
рисунок Пушкина
в черновике письма
к Бенкендорфу. 1832.



П. В. Нащокин.
К. Мазер, 1839,
рисунок.



В. А. Нащокина.
Неизвестный художник, 1840-е гг.,
холст, масло.



Нащокинский домик. Кабинет. Макет. 1830-е гг.

Ек. Н. Гончарова.
Сабатье, 1838,
миниатюра.



А. Н. Гончарова.
Неизвестный художник,
1830-е гг., акварель (внизу)

И. Н. Гончаров.
Неизвестный художник,
1840-е гг., акварель
(ВМП)





В. Г. Белинский,
литография по оригиналу
И. Астафьева, 1830-е гг.



А. В. Никитенко,
литография по рисунку
И. Ванифантьева, 1853.

Н. В. Гоголь.
А. Гибаль, 1830-е гг., рисунок (ГЛМ).



В. И. Даль.
Неизвестный художник. 1830-е гг., рисунок.



А. И. Дельвиг,
фотография Б. Ф. Мая,
1860-е гг.



П. Б. Козловский.
Литография, 1838.





П. А. Плетнев.
Неизвестный художник, 1835, акварель.

Н. А. Дурова.
А. Брюллов, 1830-е гг., акварель.



Е. Ф. Розен,
акварель из альбома Гребенки, 1840-е гг.

К. К. Данзас.
Неизвестный художник.
1830-е гг., рисунок.



Место дуэли Пушкина.
Д. И. Лобанов,
1860-е — 1870-е гг.,
акварель.

А. Я. ПАНАЕВА

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Кстати упомяну, что я слышала еще в 40-м году от книгопродавца Смирдина о Пушкине.

Панаеву понадобилась какая-то старая книга, и мы зашли в магазин Смирдина. Хозяин пил чай в комнате за магазином, пригласил нас туда и, пока приказчики отыскивали книгу, угощал чаем; разговор зашел о жене Пушкина, которую мы только что встретили при входе в магазин.

— Характерная-с, должно быть, дама-с,— сказал Смирдин.— Мне раз случилось говорить с ней... Я пришел к Александру Сергеевичу за рукописью и принес деньги-с; он поставил мне условием, чтобы я всегда платил золотом, потому что их супруга, кроме золота, не желала брать денег в руки. Вот-с Александр Сергеевич мне и говорит, когда я вошел-с в кабинет: «Рукопись у меня взяла жена, идите к ней, она хочет сама вас видеть», и повел меня; постучались в дверь: она ответила «входите». Александр Сергеевич отворил двери, а сам ушел; я же не смею переступить порога, потому что вижу-с даму, стоящую у трюмо, опершись одной коленой на табуретку, а горничная шнурует ей атласный корсет.

«Входите, я тороплюсь одеваться,— сказала она.— Я вас для того призвала к себе, чтобы вам объявить, что вы не получите от меня рукописи, пока не принесете мне сто золотых вместо пятидесяти... Муж мой дешево продал вам свои стихи. В шесть часов принесете деньги, тогда и получите рукопись... Прощайте...»

Все это она проговорила скоро, не поворачивая головы ко мне, а смотрелась в зеркало и поправляла свои локоны, такие длинные на обеих щеках. Я поклонился, пошел в кабинет к Александру Сергеевичу и застал его сидящим у письменного стола с карандашом в одной руке, которым он проводил черты по листу бумаги, а другой рукой подпирал голову-с, и они сказали-с мне:

«Что? с женщиной труднее поладить, чем с самим автором? Нечего делать, надо вам ублажить мою жену; понадобилось ей заказать новое бальное платье, где хочешь, подай денег... Я с вами потом сочтусь».

— Что же, принесли деньги в шесть часов? — спросил Панаев.

— Как же было не принести такой даме! — ответил Смирдин.

За достоверность этого рассказа, конечно, не могу ручаться, а передаю только то, что слышала.

П. А. ПЛЕТНЕВ

ИЗ СТАТЕЙ О ПУШКИНЕ

1

Все товарищи, даже не занимавшиеся пристрастно литературою, любили Пушкина за его прямой и благородный характер, за его живость, остроту и точность ума. Честь, можно сказать, рыцарская, была основанием его поступков — и он не отступил от своих понятий о ней ни одного разу в жизни, при всех искушениях и переменах судьбы своей. Не избалованный в детстве ни роскошью, ни угождениями, он способен был переносить всякое лишение и чувствовать себя счастливым в самых стесненных обстоятельствах жизни. Природа, кроме поэтического таланта, наградила его изумительной памятью и проницательностию. Ни одно чтение, ни один разговор, ни одна минута размышления не пропадали для него на целую жизнь. Его голова, как хранилище разнообразных сокровищ, полна была материалами для предприятий всякого рода. Повидимому рассеянный и невнимательный, он из преподавания своих профессоров уносил более, нежели товарищи. Но все отличные способности и прекрасные понятия о назначении человека и гражданина не могли защитить его от тех недостатков, которые вредили его авторскому призванию. Он легко предавался излишней рассеянности. Не было у него этого постоянства в труде, этой любви к жизни созерцательной и стремления к высоким отдаленным целям. Он без малейшего сопротивления уступал влиянию одной минуты и без сожаления тратил время на ничтожные забавы.

⟨...⟩ Без особенных причин никогда он не изменял порядка своих занятий. Везде утро посвящал он чтению,

выпискам, составлению планов или другой умственной работе. Вставая рано, тотчас принимался за дело. Не кончив утренних занятий своих, он боялся одеться, чтобы преждевременно не оставить кабинета для прогулки. Перед обедом, который откладывал до самого вечера, прогуливался во всякую погоду. По соседству с его деревнею и теперь живет доброе благородное семейство, где обыкновенно он проводил вечер и очень часто обедал [1]. Черты этой жизни перенесены им отчасти в IV главу «Онегина». Писать стихи любил он преимущественно осенью [2]. Тогда он до такой степени чувствовал себя расположенным к этому занятию, что и из Петербурга в половине сентября нарочно уезжал в деревню, где оставался до половины декабря. Редко не успевал он тогда оканчивать всего, что у него заготовлено было в течение года. Теплую и сухую осень называл он негодною, потому что не имел твердости отказываться от лишней рассеянности. Туманов, серeньких тучек, продолжительных дождей ждал он как своего вдохновения. Странно, что приближение весны, сияние солнца всегда наводили на него тоску. Он это изъяснял расположением своим к чахотке. В одиночестве нередко бывала собеседницею поэта старушка, его няня, трогательно воспетая в стихах Языкова. Пушкин беспрестанно выписывал из Петербурга книги, особенно английские и французские. Едва ли кто из наших литераторов успел собрать такую библиотеку, как он. Не выходило издания почему-либо любопытного, которого бы он не приобретал. Издерживая последние деньги на книги, он сравнивал себя со стекольщиком, которого ремесло заставляет покупать алмазы, хотя на их покупку и богач не всякий решится.

Переехавши в Санкт-Петербург, он до кончины своей жил уже постоянно в нем, за исключением нескольких поездок в Москву и осенних выездок в Михайловское. ⟨...⟩ Преимущественно занимали его исторические разыскания. Он каждое утро отправлялся в какой-нибудь архив, выигрывая прогулку возвращением оттуда к позднему своему обеду. Даже летом, с дачи, он ходил пешком для продолжения своих занятий. Летнее купанье было в числе самых любимых его привычек, от чего не отставал он до глубокой осени [3], освежая тем физические силы, изнуряемые пристрастием к ходьбе. Он был самого крепкого сложения, и к этому много способствовала гимнастика,

которою он забавлялся иногда с терпеливостию атлета. Как бы долго и скоро ни шел он, дышал всегда свободно и ровно. Он дорого ценил счастливую организацию тела и приходил в некоторое негодование, когда замечал в ком-нибудь явное невежество в анатомии.

2

Определяя характер писателя как человека по господствующему тону и выходкам ума в его сочинениях, трудно заключить, что Пушкин был застенчив и более многих нежен в дружбе. Между тем это справедливо. Его ум, от природы необыкновенно проницательный и острый, в сочинениях высказывался во всей силе своей. В уединении, на просторе не связывало его ничто внешнее. Но общество, особенно где Пушкин бывал редко, почти всегда приводило его в замешательство, и оттого оставался он молчалив и как бы недоволен чем-нибудь. Он не мог оставаться там долго. Прямодушие, также отличительная черта характера его, подстрекало к свободному выражению мыслей, а робость противодействовала. Притом же совершенную привычку он сделал только к высшему обществу или к самому тесному кругу приятелей. В обоих случаях он чувствовал себя на своем месте.

Собою не владел он только при таких обстоятельствах, от которых все должно было обрушиться на него лично. Он почти не умел распоряжаться ни временем своим, ни другою собственностию. Иногда можно было подумать, что он без характера: так он слабо уступал мгновенной силе обстоятельств. Между тем ни за что он столько не уважал другого, как за характер. Он говорил, что характер очищает в человеке все неприличное его достоинству. Так хорошо понимал он все прекрасное в другом. Пылкость его души в слиянии с ясностию ума образовала из него это необыкновенное, даже странное существо, в котором все качества приняли вид крайностей.

ИЗ СТАТЕЙ О ЖУКОВСКОМ

Разительно подъемлющийся ряд произведений его открывает в нем, сверх поэтического дарования, тот критический ум, которому не без причины удивлялся еще Пушкин.

Пушкин, разбирая стихи Державина:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит...—

в заключение сказал: «Слова поэта суть уже дела его» [1].

Пушкин говаривал: «Один глупец ни в чем не переменяется».

В 1831 году первое появление в Петербурге холеры было причиною, что высочайший двор, по отбытии своем на осень из Петергофа в Царское Село, оставался здесь долее обыкновенного. Жуковский, нигде не ослабляя строгого исполнения прямой своей обязанности, случайно попал тогда на новую для себя дорогу в поэзии. В это время из Москвы прибыл в Царское Село Пушкин и решился провести там осенние месяцы. Он только что женился. Ему отрадно было насладиться новым счастием в тех местах, под теми липами и кленами, которые лелеяли его лицейскую молодость. Понятно, что не проходило дня, в который бы поэты не рассказывали друг другу о тех своих занятиях, о которых еще в древности говорили, что утро им особенно благосклонно. Пушкин в эту эпоху увлечен был русскими сказками. Он тогда, между прочим, написал своего «Салтана и Гвидона». Жуковский с восхищением выслушивал игривые рифмы своего друга. Чтобы не отстать от него, он и сам принялся за этот род поэзии. Таким образом явились «Берендей», «Спящая царевна» и «Война мышей с лягушками».

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С Я. К. ГРОТОМ

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

9 мая 1841. Что касается до моего заглавия для альманаха, я не вижу тут светской пошлости, а одну простоту и точность — качества, которые одни и нравятся мне во

всем. ⟨...⟩ Лучшее, по-моему, заглавие ее было бы просто «Финляндия». ⟨...⟩ Но ежели ты никак этого не примешь, то вот последний мой проект. Назови «Герда». Это во вкусе Пушкина. Он любил титулы книг, ничего не говорящие [1].

24 февраля 1842. Пока я ректор и журналист — у меня все минуты поражены тоскою и суетою. ⟨...⟩ Надеюсь, что в поздней старости (если увижу ее) буду жить иначе с моею дочерью, которая сделается секретарем моим и другом. Вот пора комментариев моих на сочинения друзей и пора записок собственно моей жизни. Последнее мне завещал Пушкин у Обухова моста во время прогулки за несколько дней до своей смерти. У него тогда было какое-то высокорелигиозное настроение. Он говорил со мною о судьбах *Промысла*, выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем, видел это качество во мне, завидовал моей жизни и вытребовал обещание, что я напишу свои мемуары.

1 апреля 1844. ⟨...⟩ Я недавно припомнил золотые слова Пушкина насчет существующих и принятых многими правил о дружеских сношениях. «Все,— говорил в негодовании Пушкин,— заботливо исполняют требования общежития в отношении к посторонним, то есть к людям, которых мы не любим, а чаще и не уважаем, и это единственно потому, что они для нас ничто. С друзьями же не церемонятся, оставляют без внимания обязанности свои к ним, как к порядочным людям, хотя они для нас — все. Нет, я так не хочу действовать. Я хочу доказывать моим друзьям, что не только их люблю и верую в них, но признаю за долг и им, и себе, и посторонним показывать, что они для меня первые из порядочных людей, перед которыми я не хочу и боюсь манкировать чем бы то ни было, освященным обыкновениями и правилами общежития».

11 ноября 1844. Заходил ко мне двуличный О...ко (выражение покойного Пушкина) ⟨...⟩ [2]

5 мая 1845. ⟨...⟩ Приготовься видеть в № 6 «Современника» одни учено-сериозные статьи без малейшей примеси легкого чтения. Я знаю, что ты будешь бранить меня. Но *войди в мое положение* (как любил в таких случаях говаривать покойный Пушкин) ⟨...⟩

Я. К. Грот — П. А. Плетневу

1 сентября 1845. Вчера после обеда пришел ко мне Россет прощаться. ⟨...⟩

Он рассказывал мне о Пушкине — как при нем импровизировал у Дельвига Мицкевич (известно ли тебе это?) ⟨...⟩

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

8 сентября 1845. Мицкевич импровизировал не у Дельвига, а у Пушкина, еще холостого и жившего тогда у Демута. Там были: Вяземский, Дельвиг, я и еще кто-то [3].

2 марта 1846. Все, что высказал ты о «Домике в Коломне» и об «Андрее» (Тургенева), я совершенно разделяю. Надобно еще прибавить к тому, что «Домик в Коломне» для меня с особенным значением. Пушкин, вышедши из Лицея, действительно жил в Коломне, над Корфами — близ Калинкина моста, на Фонтанке, в доме бывшем тогда Клокачева. Здесь я познакомился с ним. Описанная гордая графиня была девица *Буткевич*, вышедшая за семидесятилетнего старика графа *Стройновского* (ныне она уже за генералом Зуровым). Следовательно, каждый стих для меня есть воспоминание или отрывок из жизни [4].

13 апреля 1846 ⟨...⟩ Ты, мой Грот, точно основатель для меня мирного общежительства, которому начало положил Пушкин в последний год своей жизни. Любимый со мною разговор его, за несколько недель до его смерти, все обращен был на слова: «Слава в вышних богу, и на земле мир, и в человецех благоволение». По его мнению, я много хранил в душе моей благоволения к людям; оттого и самые литературные ссоры мои не носят характера озлобления. А я, слушая его и чувствуя, что еще далеко мне до титла *человека благоволения*, брал намерение дойти до того.

3 декабря 1847. Не оттого дело портится, что много плохих историков, а оттого, что это самое дело превышает естественные способы наши к его неукоризненному исполнению. Подобная мысль сжимает мое сердце уже во второй

раз в жизни. В первый раз это было, когда я прочитал известную прекрасную статью Жуковского под названием «Последние минуты Пушкина». Я был свидетель этих последних минут поэта. Несколько дней они были в порядке и ясности у меня на сердце. Когда я прочитал Жуковского, я поражен был сбивчивостью и неточностью его рассказа. Тогда-то я подумал в первый раз: так вот что значит наша история. Если бы я выше о себе думал, я тогда же мог бы хоть для себя сделать перемены в этой статье [5]. Но время ушло. У меня самого потемнело и сбилось в голове все, казавшееся окрепшим навеки.

16 марта 1849. В XXIX т. 〈«Современника»〉, на 375 странице, болтун (ныне уже покойник) М. Макаров, в прескучной и преглупой своей статье, напечатанной тогда мною единственно ради имени великого поэта (то же разумей и о рассказах Грена, известного дурака), говорит положительно, что Пушкины (Сергей с Александром и Василий) издавна жили в Москве. Таким образом, и сомневаться ненадобно, там ли родился поэт. Он и Дельвиг всегда гордились этим преимуществом, утверждая, что тот из русских, кто не родился в Москве, не может быть судьею ни по части хорошего выговора на русском языке, ни по части выбора истинно русских выражений. Вот почему Пушкин бесился, слыша, если кто про женщину скажет: «она тяжела» или даже «беременна», а не *брюхата* — слово самое точное и на чистом русском языке обыкновенно употребляемое. Пушкин тоже терпеть не мог, когда про доктора говорили: «Он у нас пользует». Надобно просто: «*лечит*» [6].

Н. А. ДУРОВА

ИЗ ПОВЕСТИ «ГОД ЖИЗНИ В ПЕТЕРБУРГЕ»

Прежде, нежели решилась я везти в столицу огромную тетрадь своих записок на суд и распоряжение Александра Сергеевича Пушкина, в семье моей много было планов и толкований о том, как это покажется публике, как примут, что скажут?.. Брат мой приходил в восторг от одной мысли, какое действие произведет на публику раскрытие тайны столь необычайного происшествия, но, видя, что я не разделяю его уверенности, старался ободрить и вразумить меня примером.

«Вы представьте себе,— говорил он,— что я, по какому-нибудь случаю, надел в юности женское платье и оставался в нем несколько лет, живя в кругу дам и считаясь всеми за даму,— не правда ли, что описание такого необыкновенного случая заинтересовало бы всех, и всякий очень охотно прочитал бы его; всякому любопытно было бы знать, как я жил, что случалось в этом чуждом для меня мире, как умел так подделаться к полу, которого роль взял на себя?.. Одним словом, описание этой шалости, или вынужденного преобразования, разобрали б в один месяц, сколько б я ни напечатал их... А история вашей жизни должна быть несравненно занимательнее».

Долго было бы описывать все доводы брата моего, которыми он старался передать мне свои надежды на успех, и хотя я иногда увлекалась его красноречивыми описаниями, но чаще недоверие к себе брало верх над всем, что он ни представлял мне. Я думала, что буду очень смешна, появившись в Петербург с ничтожными записками для того, чтоб их напечатать.

«Не смею подумать, Александр Сергеевич! — писала я к славному поэту.— Не смею подумать представить глазам света картину воинственной жизни моей иначе, как под покровительством гения вашего».

«Посылаю вам несколько листков моих записок, и если вы найдете, что можно мне показать их свету, не опасаясь обвинения в дерзкой самонадеянности, то в таком случае сделайте мне честь напечатать их в вашем «Современнике». Но если они таковы, какими кажутся мне самой, пришлите их обратно» [1].

Я получила ответ [2], исполненный вежливости и похвал, и сверх этого предложение руководствовать в сем случае моею неопытностию. Такая радостная весть!.. Такое лестное одобрение от одного из первых поэтов в Европе чуть не вскружило мне головы! мною овладело такое ж восхищение, какое испытывала еще в детстве, когда могла бегать в поле без надзора.

Теперь нерешимость моя исчезла, и я так же, как и брат мой, начала основывать кое-какие надежды на успех моих записок.

<...> [3] На новой квартире своей я живу под облаками; мне достался номер в четвертом этаже!.. Что подумает Александр Сергеевич, когда увидит, сколько лестниц надобно будет пройти ему?.. Однако ж нечего делать!.. К лучшим номерам приступу нет, по крайности для меня, потому что у меня осталось только двести рублей, а в виду ничего еще покамест; хорошо, если Пушкин отдаст мне мою тысячу рублей теперь же, а если нет?.. [4]

Я написала к Александру Сергеевичу коротенькую записочку, в которой уведомляла его просто, что я в Петербурге, квартирую вот тут-то.

На другой день, в половине первого часа, карета знаменитого поэта нашего остановилась у подъезда; я покраснела, представляя себе, как он взносится с лестницы на лестницу и удивляется, не видя им конца!.. но вот отворилась дверь в прихожую!.. я жду с любопытством и нетерпением!.. отворяется дверь, и ко мне... но это еще пока мой *Тишка;* он говорит мне шепотом и вытянувшись: «Александр Сергеевич Пушкин!» — «Проси!..» Входит Александр Сергеевич!.. к этим словам прибавить нечего!..

Я не буду повторять тех похвал, какими вежливый писатель и поэт осыпал слог моих записок, полагая, что в этом случае он говорил тем языком, каким обыкновенно люди образованные говорят с дамами... Впрочем, любезный гость мой приходил в приметное замешательство всякой раз, когда я, рассказывая что-нибудь относящееся ко мне, говорила: *«был!... пришел!... пошел!... увидел!...»* Долго-

временная привычка употреблять «ъ» вместо «а» делала для меня эту перемену очень обыкновенною, и я продолжала разговаривать, нисколько не затрудняясь своею ролею, обратившеюся мне уже в природу! Наконец Пушкин поспешил кончить и посещение и разговор, начинавшийся делаться для него до крайности трудным.

Он взял мою рукопись, говоря, что отдаст ее сейчас переписывать; поблагодарил меня за честь, которую, говорил он, я делаю ему, избирая его издателем моих записок, и, оканчивая обязательную речь свою, поцеловал мою руку!.. Я поспешно выхватила ее, покраснела и уже вовсе не знаю для чего сказала: «Ах, боже мой! Я так давно *отвык* от этого!» На лице Александра Сергеевича не показалось и тени усмешки, но полагаю, что дома он не принуждал себя и, рассказывая домашним обстоятельства первого свидания со мною, верно, смеялся от души над этим последним восклицанием.

28-е мая. «Что вы не остановились у меня, Александр Андреевич? — спрашивал меня Пушкин, приехав ко мне на третий день.— Вам здесь не так покойно; не угодно ли занять мою квартиру в городе?.. я теперь живу на даче».

«Много обязан вам, Александр Сергеевич, и очень охотно принимаю ваше предложение. У вас, верно, есть кто-нибудь при доме?»

«Человек, один только; я теперь заеду туда, прикажу, чтоб приготовили вам комнаты» [5].

Он уехал, оставя меня очарованною обязательностию его поступков и тою честию, что буду жить у него, то есть буду избранным гостем славного писателя.

30-е мая. Сегодня принесли мне записку от Александра Сергеевича; он пишет, что прочитал всю мою рукопись, к этому присоединил множество похвал и заключил вопросом: переехала ль я на его квартиру, которая готова уж к принятию меня.

Я послала своего лон-лакея, которого необходимо должна была нанять, потому что мой Тишка из всякой откомандировки, хотя б она поручалась ему на рассвете, возвращался непременно на закате солнца; послала узнать, можно ли переехать в дом, занимаемый Александром Сергеевичем Пушкиным? — и получила очень забавный ответ, что квартира эта не только не в моей власти, но и не во власти самого Александра Сергеевича; что как он переехал на дачу и за наем расплатился совсем, то ее отдали уже другому.

Я не знала, что подумать о такой странности, и рассудила, что лучше вовсе не думать об ней. Отписала к Пушкину о разрушении надежд моих на перемещение; поблагодарила его за благосклонный отзыв о записках моих и попросила его поправить, где найдет нужным: «Вы, как славный живописец, который двумя или тремя чертами кисти своей делает из карикатурного изображения небесную красоту, можете несколькими фразами, несколькими даже словами дать моим запискам ту занимательность, ту увлекательность, ту чарующую гармонию, по которым ваши сочинения узнаются среди миллиона других» [6].

Я не льстила, писавши это. Дышу презрением к этому низкому способу выигрывать расположение людей, и к тому ж я более способна сказать колкость, нежели лесть,— но в отношении к дарованиям славного поэта я точно так думала, как писала, и всегда считала, что он из скромности только подписывается под своими стихотворениями, но что они вовсе не имеют в этом надобности, что их можно узнать и без подписи.

Отправив записку, я отправилась и сама взглянуть на те места, в которых жила четыре года.

Александр Сергеевич приехал звать меня обедать к себе.

— Из уважения к вашим провинциальным обычаям,— сказал он, усмехаясь,— мы будем обедать в пять часов.

— В пять часов?.. в котором же часу обедаете вы, когда нет надобности уважать провинциальных привычек?

— В седьмом, осьмом, иногда и девятом [7].

— Ужасное искажение времени! никогда б я не мог примениться к нему.

— Так кажется; постепенно можно привыкнуть ко всему.

Пушкин уехал, сказав, что приедет за мною в три часа с половиною.

С ужасом и содроганием отвратила я взор свой от места, где несчастные приняли достойно заслуженную ими казнь!.. Александр Сергеевич указал мне его.

Искусственная природа бывает иногда так же хороша, как и настоящая. Каменный остров, где Пушкин нанимает дачу, показался мне прелестен.

С нами вместе обедал один из искренних друзей Александра Сергеевича, господин П⟨летнев⟩, да три дамы,

родственницы жены его; сама она больна после родов и потому не выходила [8].

За столом я имела случай заметить странность в моем любезном хозяине; у него четверо детей, старшая из них, девочка лет пяти, как мне казалось, сидела с нами за столом; [9] друг Пушкина стал говорить с нею, спрашивая, не раздумала ль она идти за него замуж? «Нет,— отвечало дитя,— не раздумала».— «А за кого ты охотнее пойдешь, за меня или за папеньку?» — «За тебя и за папеньку».— «Кого ж ты больше любишь, меня или папеньку?» — «Тебя больше люблю и папеньку больше люблю».— «Ну а этого гостя,— спросил Александр Сергеевич, показывая на меня,— любишь? хочешь за него замуж?» Девочка отвечала поспешно: «Нет, нет!» При этом ответе я увидела, что Пушкин покраснел... неужели он думал, что я обижусь словами ребенка?.. Я стала говорить, чтоб прервать молчание, которое очень некстати наступило за словами девочки: «Нет, нет!» — и спросила ее: «Как же это! Гостя надобно бы больше любить». Дитя смотрело на меня недоверчиво и наконец стало кушать; тем кончилась эта маленькая интермедия!.. но Александр Сергеевич!.. отчего он покраснел?.. или это уже верх его деликатности, что даже и в шутку, даже от ребенка не хотел бы он, чтоб я слышала что-нибудь не так вежливое?.. или он имеет странное понятие о всех живущих в уездных городах?

15-го июля. Сегодня опять был у меня Александр Сергеевич; он привез с собою мою рукопись, переписанную так, чтоб ее можно было читать: я имею дар писать таким почерком, которого часто не разбираю сама, и ставлю запятые, точки и запятые вовсе некстати, а к довершению всего у меня везде одно «е».

Отдавая мне рукопись, Пушкин имел очень озабоченный вид; я спросила о причине. «Ах, у меня такая пропасть дел, что голова идет кругом... [10] позвольте мне оставить вас; я должен быть еще в двадцати местах до обеда». Он уехал.

Две недели Александр Сергеевич не был у меня; рукопись моя лежит!.. пора бы пустить ее в дело. Я поехала сама на дачу к Пушкину — его нет дома.

«Вы напрасно хотите обременить Пушкина изданием ваших записок,— сказал мне один из его искренних друзей, и именно тот, с которым я вместе обедала.— Разумеется, он столько вежлив, что возьмется за эти хлопоты, и возьмется

очень радушно, но поверьте, что это будет для него величайшим затруднением; он с своими собственными делами не успевает управиться, такое их множество, где же ему набирать дел еще и от других!.. Если вам издание ваших записок к спеху, то займитесь ими сами или поручите кому другому».

Мне казалось, что Александр Сергеевич был очень доволен, когда я сказала, что боюсь слишком обременить его, поручая ему издание моих записок, и что прошу его позволить мне передать этот труд моему родственнику. Вежливый поэт сохранил, однако ж, обычную форму в таких случаях. Он отвечал, что брался за это дело очень охотно, вовсе не считая его обременением для себя; но если я хочу сделать эту честь кому другому, то он не смеет противиться моей воле. «Впрочем, — прибавил он, — прошу вас покорнейше во всем, в чем будете иметь надобность в отношении к изданию ваших записок, употреблять меня, как одного из преданнейших вам людей» [11].

Так-то я имела глупость лишить свои записки блистательнейшего их украшения... их высшей славы — имени бессмертного поэта! Последняя ли уже это глупость?.. Должна быть последняя, потому что она уже самая крупная!..

Записки мои печатаются! Но я ни о чем так мало не думаю, как о них, и ни от чего не ожидаю так мало пользы, как от них!..

Не тою дорогою пошла я, которою надобно было идти!.. Теперь я вижу ее... Ах, как она была б выгодна для меня... теперь светло вокруг меня, но поздно!..

Н. В. ГОГОЛЬ

ИЗ СТАТЬИ «О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ СЛОВО»

Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит...—

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела» [1].

ИЗ СТАТЬИ «О ЛИРИЗМЕ НАШИХ ПОЭТОВ»

Как умно определял Пушкин значение полномощного монарха и как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! «Зачем нужно,— говорил он,— чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполненьем закона недалеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но если нет среди их одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуды не пойдет концерт. А, кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его

достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного согласья!» Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значенье великих истин! Это внутреннее существо — силу самодержавного монарха он даже отчасти выразил в одном своем стихотворении, которое, между прочим, ты сам напечатал в посмертном собранье его сочинений, выправил даже в нем стих, а смысла не угадал. Тайну его теперь открою. Я говорю об оде императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: К Н***. Вот ее происхожденье. Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралося; но государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул «Илиаду» и увлекся нечувствительно ее чтеньем во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принеся на лице своем следы иных впечатлений. Сближенье этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатленье, и плодом его была следующая величественная ода, которую повторю здесь всю [1]. <...>

ИЗ СТАТЬИ «ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА К РАЗНЫМ ЛИЦАМ ПО ПОВОДУ «МЕРТВЫХ ДУШ»

Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей. <...>

Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ» в том виде, как они были прежде, то Пу-

шкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтенье кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые души».

ИЗ СТАТЬИ «В ЧЕМ ЖЕ, НАКОНЕЦ, СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ И В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ»

Пушкин сильно на него <Жуковского> сердился за то, что он не пишет критик. По его мненью, никто, кроме Жуковского, не мог так разъять и определить всякое художественное произведение[1] <...>

Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. <...> Когда появились его стихи отдельной книгой, Пушкин сказал с досадой: «Зачем он назвал их: Стихотворенья Языкова — их бы следовало назвать просто: хмель! Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного; тут потребно буйство сил». Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию: «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их»). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы. Первая, где поэт, обращаясь к России, которую уже было признали бессильною и немощной, взывает так:

Чу! труба продребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомяни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!
Созови от стран далеких
Ты своих богатырей,
Со степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей.

И потом строфа, где описывается неслыханное самопожертвование — предать огню собственную столицу со всем, что ни есть в ней священного для всей земли:

Пламень в небо упирая,
Лют пожар Москвы ревет.
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!
Громче буря истребленья!
Крепче смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламя очищенья,
Это фениксов костер [2].

ИЗ СТАТЬИ «О СОВРЕМЕННИКЕ»

«Современник» даже и при Пушкине не был тем, чем должен быть журнал, несмотря на то что Пушкин задал себе цель, более положительную и близкую к исполненью. Он хотел сделать четвертное обозренье в роде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуманные и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где сотрудники, обязанные торопиться, не имеют даже времени пересмотреть то, что написали сами. Впрочем, сильного желанья издавать этот журнал в нем не было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешенье на изданье его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал. Он действительно в то время слишком высоко созрел для того, чтобы заключать в себе это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода; я мог принимать живей к сердцу то, для чего он уже простыл. Моя настойчивая речь и обещанье действовать его убедили; но слова моего я бы не мог исполнить даже и тогда, если бы он был жив. Не знал я, какими путями поведет меня провиденье, как отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной и как умру я надолго для всего того, что шевелит современного человека [1].

ИЗ «АВТОРСКОЙ ИСПОВЕДИ»

Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с летами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело сурьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец, один раз, после того как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если бы не принялся за «Донкишота», никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и, в заключенье всего, отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему [1].) На этот раз и я сам уже задумался сурьезно,— тем более что стали приближаться такие года, когда сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уж лучше смеяться сильно и над

тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего. В Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человёка справедливости, и за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть. Я сам почувствовал, что уже смех мой не тот, какой был прежде, что уже не могу быть в сочиненьях моих тем, чем был дотоле, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вместе с молодыми моими летами. После «Ревизора» я почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочиненья полного, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров. Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполненьем которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? что должно выразить собою такое-то явление? Спрашивается: что нужно делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я пробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то вроде отвращенья: все у меня выходило натянуто, насильно, и даже то, над чем я смеялся, становилось печально.

Е. Ф. РОЗЕН

ИЗ СТАТЬИ «ССЫЛКА НА МЕРТВЫХ»

Десять лет промчались над могилою Пушкина, и до сих пор я не говорил печатно о моих литературных с ним сношениях. Смерть посредника развязала узел моих сношений с его друзьями и приятелями. Непризванные судьи нашей словесности, по неблагосклонности ко мне, за мое гордое неискательство, всячески старались предать меня забвению; я сам, и весьма охотно, содействовал им в этом, храня молчание в продолжение многих лет, отчасти по моему болезненному состоянию, отчасти потому, что я считал вкус нашей публики в переходном состоянии, в одном из этих периодических моментов развития, в которые литератор уступает слово нелитератору, журнальному аферисту, для скорейшего отрезвления умов и очищения вкуса. Молчав десять лет, в продолжение которых я, по болезни своей, не должен был чуждаться мысли о смерти, начну свой рассказ о Пушкине одною резкою, относящеюся ко мне чертою его, которая перешла за предел его жизни и, утаенная от публики, замечательным образом определяет мою литературную судьбу между современниками.

Пушкин неоднократно вызывался метать свои меткие стрелы в тех, кто не признавал литературного достоинства моих произведений. Я всегда останавливал его то теми, то другими доводами и наконец решительно остановил следующим аргументом: «Кроме поэтического таланта, который вы во мне признаете, я еще чувствую в себе способность сделаться порядочным критиком. Только на *ваших* сочинениях и могу развивать эту способность. Если вы скажете печатно хоть одно слово в мою пользу, то меня этим лишите возможности разбирать ваши сочинения. Вы знаете нашу журналистику: сказали бы: рука руку моет». Дайте же мне слово никогда не говорить обо мне печатно!» (Это было после моей немецкой, довольно строгой рецензии его «Бо-

риса Годунова», названной в одном берлинском журнале eine sehr einsichtsvolle Kritik*, переведенной кем-то по-русски и помещенной Воейковым в «Литературных прибавлениях к «Инвалиду» [1].) Пушкин посмотрел на меня своим проницательным взглядом и, разведав в моей душе совершенное равнодушие к журнальной критике, что было весьма естественно, при благосклонности Пушкина, протянул ко мне руку и сказал: «Вижу, что вы не нуждаетесь в моей защите! Извольте, я буду молчать об вас, единственно потому, чтобы *научиться из ваших критик!»* Всякий волен считать последние четыре слова — пустою вежливостью: в этом прекословить не буду; но если кто усомнится в их фактической истине, то могу доказать эту истину фактически: почерком самого Пушкина! [2]

После смерти его услышал я, сперва от В. А. Жуковского, потом от князя П. А. Вяземского (они оба живы, и ссылаюсь на них), что Пушкин — чего не знал никто из его друзей — вел дневник, или записки, в которых находится весьма лестный обо мне отзыв. «Поставил же на своем,— подумал я,— завещал своим друзьям и нашей публике письменное доказательство своего выгодного мнения обо мне!» Вот в чем оно состояло: говоря об *Хомякове*, о *Кукольнике* и обо *мне*, Пушкин из нас троих только за мною признал *талант драматический*, и такой талант, который, если бы посвятил себя исключительно театру, *мог бы основать русский театр*. Повторяю этот отзыв со слов Жуковского и Вяземского, потому что отзыв этот *не помещен* в посмертном издании сочинений Пушкина! Кажется, печатание его записок прекращено близь этого места, на речи о драме, и этот роковой отзыв, может быть, лишил публику остальной части записок. Не мое дело разбирать, по каким соображениям господа издатели положили под спуд чисто литературное мнение *Пушкина*, зрелого *мужа* Пушкина, между тем как поместили его отроческие стихотворения (лицейские) и то, что, конечно, не просилось в печать. Десятилетнее молчание мое об этой замечательной ко мне несправедливости может служить доказательством, что я, сколько ни дорожил этим критическим завещанием, однако не думал хвастать им перед публикою: не Пушкин должен стоять за меня, но я сам! Тем не менее считаю подобную утайку согрешением перед памятью Пушкина и, мимо ложного приличия, выдаю теперь публике

* Очень рассудительной критикой (*нем.)*.

то, что ей нужно знать, как литературное мнение *Пушкина* [3]. Этот отзыв его удивил меня только тем, что Пушкин, в беседе со мною, при всех похвалах моим драмам, все-таки, как мне казалось, отдавал преимущество моему лирическому таланту. О нем-то он говорил более и неоднократно высказывал мне прелюбопытное, преоригинальное мнение, о котором умалчиваю, не зная наверное, известно ли оно кому-либо из живых, ко мне еще хоть сколько-нибудь благосклонных друзей или приятелей Пушкина, и серьезно страшась ссылки на мертвого, в свою пользу. Могу сказать только, что почти при каждом со мною свидании, бывало, Пушкин спросит: не написал ли я новых лирических пиес? — и всегда советовал не пренебрегать, при серьезном, продолжительном занятии драмою, и минутами лирического вдохновения. «Помните,— сказал он мне однажды,— что только до тридцати пяти лет можно быть истинно лирическим поэтом, а драмы можно писать до семидесяти лет и далее!»

Во всех собственно житейских делах мы были совершенно чужды друг другу; единственною между нами связью, почти исключительным предметом наших разговоров была поэзия, литература и все, к ней относящееся. Мы встретились уже в зрелые лета: ему минуло уже 30 лет; я был немногими годами моложе. Но в литературном отношении между нами было полвека людского: он был известен всей России, когда я еще не имел понятия о русском языке; он был на апогее своей славы, когда я печатал в «Московском телеграфе» свои первые лирические опыты на русском языке [4]. В 1829 году, находясь в Петербурге, я, посредством Шевырева, отъезжавшего за границу, познакомился с Пушкиным, жившим тогда в гостинице Демута, № 33. Я желал только взглянуть на человека, сочинения которого доставили мне столько наслаждений: других претензий я не имел. Мне казалось, что он так и понял мое посещение. При прощании он меня просил о продолжении моего знакомства, довольно крепко сжимая мою руку. Я и *это* принял за обыкновенную вежливость; но она обязала меня еще один раз, ради приличия, побывать у него; после чего я намеревался уже не беспокоить его до тех пор, покуда каким-нибудь важным сочинением не заслужу чести ближайшего с ним знакомства. Прихожу. Он встречает меня восклицанием, что я пришел очень кстати: «Я рассказал Дельвигу, что имел удовольствие с вами познакомиться, и должен был дать ему слово привезти вас к нему:

завтра его день в неделе». Он назначил мне приехать к нему и повез меня к барону Дельвигу. Тут я уже поверил, что корифеи нашей словесности действительно заметили мое имя и мною интересовались [5].

Очень хорошо помню первое на меня впечатление, сделанное Пушкиным. Тотчас можно было приметить в нем беспокойную, порывистую природу гения — сына наших времен, который не находит в себе центра тяжести между противоположностями нашего внутреннего дуализма. Почти каждое движение его было страстное, от избытка жизненной силы его существа; *ею* он еще более пленял и увлекал, нежели своими сочинениями; личность его довершала очаровательность его музы, в особенности когда, бывало, беседуешь с ним наедине, в его кабинете. В обществе же, при обыкновенном разговоре, он казался уже слишком порывистым и странным, даже бесхарактерным: он там будто страдал душою.

Дельвиг, напротив того, сказался мне своим всегда и всюду одинаковым гармоническим спокойствием и, так сказать, прозрачною ясностью своего существа... Классическое, античное явление, неожиданное в наше время и будто бы взятое прямо из школы Платона! Такой целости человеческой, такого единства личности я дотоле и после того не встречал. Только в залах Ватикана древние статуи античною особенностью своего выражения невольно напоминали мне характер Дельвига... В самом деле, я уверен, что если б они ожили, то их античный быт не мог бы выражаться в XIX веке иначе, как в образе жизни и в характере нашего Дельвига!

Повторю здесь, что я уже сказал печатно, на немецком языке, и говорил Пушкину и многим другим: «В Саратовской губернии, на берегах Волги, вдали от больших трактов, я находил в простом народе поэтический *Эдем* русской народности, а в душе Дельвига — *Элизиум* этой народности, то есть высшую степень ее развития!» Жаль, что этот человек не успел высказаться вполне: тогда и все, не знавшие его лично, поняли бы, что он создан был будто бы в прообразование того, чем будет со временем народность русская, возводимая путем чисто русского просвещения. Он охотно принимал в себя иностранное, но оно тотчас превращалось в нем во что-то родное его русской природе, расширяя русский дух и очищая его от всего неизящного. Доказательством тому служат *русские* песни Дельвига: они, в этом роде, maximum русской националь-

ности! Таких песен не сложит простой народ, но пленяется ими и чувствует их превосходство перед обыкновенными народными песнями. В этом я не раз убеждался по опыту, и, право, было бы небесполезно, если бы, от гимназий до деревенских школ, преподаватели языка и словесности русских обращали внимание на Дельвига.

Знаю, что многие предпочитают песни других авторов, как более *русские;* но позволяю себе думать, что, в этом отношении, мнение мое едва ли не беспристрастнее мнения некоторых природных москвичей, и вот почему: они, с молоком кормилицы, всасывают в себя иное, прилипнувшее к русскому духу в простонародном быту; от ранних лет умственное чутье их привыкает к запаху приправ, отнюдь не составляющих необходимого стихийного снадобья русского духа; весь русский быт, каков он в действительности, то есть все поэтическое и непоэтическое его, уже в детской душе отражается полным, неделимым, существенным понятием, возрастает со временем до чувства отечественного, отливается в особенную форму, которая до лет размышления и анализа успевает окрепнуть до того, что материя этого чувства не подлежит уже никакому умственному процессу. В таких обстоятельствах, при таком безусловном, умилительном веровании во все отечественное, очень трудно схватывать *отвлеченное* понятие о русской народности! Напротив того, кто, подобно нашему брату — безродному космополиту, до юношеских лет не ведал ни русского языка, ни русского духа и только в идеальном возрасте благоприобрел и полюбил русскую *народность*, и этим добился права гражданства в ней, тот пленяется одним ее *поэтическим*, чисто отделяет от нее *простонародное*, и тогда уже сама собою выдается ее квинтэссенция, ее идеальность, ее художественное содержание — именно то, что может и должно быть предметом изящной литературы. Простонародное же, при великом своем достоинстве во многих отношениях, при всей своей занимательности у талантливых писателей, никогда не возвысится до чистого искусства. Сию-то квинтэссенцию народности так чисто понимал и выражал барон Дельвиг в своих *русских* песнях, которые иному не кажутся довольно *русскими* оттого, что в них не попахивает тюрею и чесноком. Дельвиг, природный русский, возымел этот чисто художественный на русскую народность взгляд оттого, что вдали от простого народа воспитывался в Александровском лицее и что стремление его ума было чисто классическое, как и у Пушкина.

Подобные суждения о Дельвиге чрезвычайно нравились Пушкину; он частенько говорил мне: «У нас еще через пятьдесят лет не оценят Дельвига! Переведите его, от доски до доски, на немецкий язык: немцы тотчас поймут, какой он единственный поэт и как мила у него русская народность!»

Удивительно, как Пушкин, при слабом знании немецкого языка, хорошо выразумел дух немцев! Я перевел несколько *русских* песен Дельвига и читал их в одной остзейской губернии, где знают только русских огородников и русских баб, торгующих копченою салакушкою,— словом, в кругу коренных немцев! Все они были в восторге, но только не верили, чтоб это был *перевод* с русского: полагали, что это переделка; что я сам, из пристрастия к русскому, дал русской народности такое поэтическое выражение, надушил ее таким милым благоуханием. К счастью, один из этих коренных немцев знал по-русски столько, сколько нужно, чтобы засвидетельствовать верность перевода. Много лет после того один из этих переводов как-то попал в немецко-русскую учебную книгу, и о нем в «С.-Петербургских немецких ведомостях» была речь, как об nec plus ultra * перевода *русской* песни. Все-таки *перевода*: здешние немцы знали, что это не переделка.

С Дельвигом я сблизился очень скоро. Однажды передаю ему критическое замечание, сделанное мне Пушкиным, когда я читал ему в рукописи одно из моих стихотворений. Дельвиг удивился.

— Неужели Пушкин сделал вам критическое замечание!

— Что же тут мудреного? Кому же, как не ему, учить новобранца?

— Поздравляю вас: это значит, что вы будете не в числе его обыкновенных знакомств! Пушкин в этом отношении чрезвычайно осторожен и скрытен, всегда отделывается светскою вежливостью. Я вместе с ним воспитан — и только недавно начал он делать мне критические замечания: это вернейший признак особенного приятельского расположения к *автору*! [6]

Какая оригинальная черта характера!

Дельвиг сказал правду: вскоре после того критического замечания я был уже не в числе обыкновенных знакомств Пушкина, и он мне позволял перебирать с ним критически лучших его друзей-литераторов, за исключением только

* высшем качестве (*лат.*).

одного из них. Лишь только коснусь слабой стороны этого NN, радушный, эпиграмматический Пушкин становится серьезен, и фраза моя пресекается. Однако я решился добиться причины этой загадочной странности в человеке, у которого критический взгляд на всех прочих был так свободен, беспристрастен — и я достигнул цели! Но прежде я должен рассказать, какую я себе позволил критическую вольность относительно самого Пушкина в первое время нашего знакомства, впрочем, после того вышесказанного замечания его. Он дал мне в альманах «Царское Село» антологическое стихотворение свое «*Загадка*, при посылке бронзового Сфинкса»:

Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?
Кто, славянин молодой, грек духом, а родом германец?
Вот загадка моя: хитрый Эдип, разреши!

Оказалась просодическая неисправность во втором гекзаметре: он был у Пушкина так:

Кто, славянин молодой, духом грек, родом германец?

Я заметил это Дельвигу, указал, как легко исправить погрешность перестановкою двух слов и прибавлением союза *а*, и попросил Дельвига сделать эту поправку или принять ее на себя. Он не согласился.

— Или покажите самому Пушкину, или напечатайте *так*, как есть! Что за беда? Пушкину простительно ошибаться в древних размерах: он ими не пишет!

С этим последним доводом *я* уже не согласился, однако не посмел и показать Пушкину: я боялся, что он отнимет у меня стихотворение, под предлогом, что он сам придумает поправку. До последней корректуры я несколько раз заводил с ним речь об этой пиесе: не сказал ли ему Дельвиг о погрешности? Нет! В последней корректуре я не утерпел, понадеялся, что Пушкин и не заметит такой безделицы,— и сделал гекзаметр правильным! Тиснул, послал ему свой альманах и несколько дней спустя сам прихожу. А он, впрочем, довольно веселый, встречает меня замечанием, что я изменил один из его стихов. Я прикинулся незнающим. Он действительно указал на поправку. Я возразил, улыбаясь, что дивная память его в этом случае ему изменила: «*Так* не было у вас и быть не могло!»

— Почему?

— Потому что гекзаметр был бы и неполный и непра-

вильный: у третьей стопы недоставало бы половины, а слово «грек» ни в коем случае не может быть коротким слогом!

Он призадумался.

— Потому-то вы и поправили стих! благодарю вас!

Тут мне уже нельзя было не признаться в переделке, но я горько жаловался на Дельвига, который не хотел снять на себя такой неважной для него ответственности перед своим лицейским товарищем. Пушкин не только не рассердился, но и налюбоваться не мог, что перестановка двух его слов составила, в третьей стопе, *чистый спондей*, который так редок в гекзаметрах на новейших языках [7]. Эта поправка осталась у него в памяти. Долго после того, во время холеры, когда он, уже женатый, жил в Царском Селе, я с ним нечаянно сошелся у П. А. Плетнева, который готовил к печати новый том его стихотворений [8]. Пушкин перебирал их в рукописи, читал иные вслух, в том числе и «Загадку», и, указывая на меня, сказал при всех: «Этот стих барон мне поправил!»

Теперь могу возвратиться к NN.

Однажды, когда Пушкин был в эпиграмматическом расположении духа, я на него врасплох напал:

— Знаете ли, Александр Сергеевич, что в вас есть одна непостижимая для меня литературная идиосинкразия!

— Какая?

— Вы позволяете мне всякое свободное о вас самих суждение; вы не рассердились даже за то, что я самовольно переставил слова вашего гекзаметра; вы знаете, что я уважаю и как человека, и как писателя — NN; но как только коснусь его слабой стороны, вы тотчас вооружаетесь серьезною миною, так что поневоле замолчишь. Воля ваша, я не поверю, чтобы вы всегда оставались серьезны, читая стихи NN, например (тут я привел одно место, где, для рифмы и чрезвычайно некстати, мелькнул «огнь *весталок*»). Пушкин не утерпел, расхохотался и признался мне, что, читая это место, он невольно закричал в рифму: «*Палок!*» Тут-то и объяснилось, что частые резкие изысканности у NN, так и вызывающие эпиграмматическую критику, побудили Пушкина вооружиться против нее, единожды навсегда, этою серьезною миною [9].

Из этого видно, как сильно было в Пушкине чувство дружбы! Увлекаемый им, он иногда говорил и писал лишнее в похвалу друзьям и тем, кому он покровительствовал, но не обманывался в своей критической совести —

и она, бывало, мелькнет наружу электрическою молниею, от прикосновения даже человека, чуждого ему по всем житейским делам, но сродного по понятиям об изящном и по критическому единомыслию. Подобных анекдотов я мог бы рассказать несколько; но довольно и одного.

Упомяну еще об одной из любопытнейших оригинальностей критического ума Пушкина; я мог дознаться ее потому, что она ко мне относилась. Он очень интересовался моим «Басмановым», когда я писал эту пиесу. Не помню, каким образом рукопись моя попала наперед к Жуковскому, который, встретившись в обществе с Пушкиным, заговорил с ним о моей новой трагедии. Передам вкратце содержание того, что по этому предмету рассказал мне сам Пушкин. Первый его вопрос был о Лжедимитрии: *как* понял, *как* вывел я это загадочное лицо нашей истории? [10]

— Лжедимитрий? — повторил медленно Жуковский и, подумав немного, промолвил: — Его и нет вовсе!

— Как нет? быть не может!

— Уверяю тебя: его нет в числе действующих лиц!

— Да невозможно писать трагедию «Басманов» без действующего лица Лжедимитрия! И тебя не поражало то, что его нет!

— Нисколько! пиеса так ведена, что он и не нужен!

Это взорвало пылкого Пушкина. Он завладел рукописью и принялся читать ее в полном убеждении, что лицо Лжедимитрия могло быть отстраняемо только посредством каких-нибудь неэстетических хитростей, каких он дотоле за мною не знавал... Прочитал пиесу, убедился в том, что она ведена просто, естественно и что нет никакой надобности во Лжедимитрии. Это чрезвычайно его поражало; он выше всего ставил la difficulté vaincue! * Не зная его разговора с Жуковским, я его и не понял. Он мне объяснил дело.

— Какая *побежденная трудность*,— возразил я,— когда я и не *боролся*!

Он на меня посмотрел во все глаза. Я преспокойно продолжал:

— Первый зародыш *моей* идеи «Басманова» уже протестовал против присутствия Лжедимитрия; я его отстранил, и план пиесы легко и свободно развился из основной идеи.— Я указал на другие места трагедии, более достойные, по моему мнению, внимания Пушкина.

Он отвечал: «Я все это выразумел, оценил и еще кое-

* Побежденную трудность.

что, чего вы, может быть, и сами не знаете, например: Семен Годунов был так близок к тому, чтобы сделаться обыкновенным героем мелодрамы, а вы его спасли так ловко, так удачно! Всего этого можно было от вас ожидать; но трагедию «Басманов», в которой обошлось бы без Лжедимитрия, я считал делом *несбыточным* — а вы сделали: как же это не главное!»

Я ничем не мог его разуверить и стал только богаче одним психологическим опытом. Конечно, я и прежде знал, что людей всего более поражает считаемое невозможным по их образу мыслей; но вот чего я не знал; чтобы при такой чистоте вкуса, при такой всесторонности чувства изящного, какими отличался Пушкин, можно было засесть на постоянной идее о побежденной трудности, когда ее и не было вовсе, по уверению самого автора,— и спорить и софистически подкреплять свою idée fixe именно тем, что всего лучше доказывало ее неосновательность! Из этих софизмов приведу хоть один. В доказательство, что не только не было побежденной трудности, но и никакой борьбы; что, напротив того, я был бы в крайнем затруднении, если бы состоялось приказание непременно впустить Лжедимитрия в мою трагедию,— я попросил Пушкина указать *то* место в ней, где бы можно было сделать это без вреда для основной идеи, без нарушения единства пиесы.

Что ж он отвечал!

— Voilà justement ce qui prouve que la difficulté est complètement vaincue! (Это-то и доказывает, что трудность вполне побеждена!)

Вероятно, он *многим* говорил то же самое, когда и после смерти его отголосок этого оригинального суждения, впрочем, выпавший совершенно из первобытного тона, коснулся моего слуха — даже за границею! Шевырев, будучи в Дюссельдорфе, у известного драматического писателя Иммермана, и рассказывая о нашей литературе, между прочим упомянул и о мнимой особенности моего «Басманова», называя ее удивительным tour de force *, но все-таки *tour de force!* Позволяю себе думать, что Шевырев или не выразумел Пушкина, или не от самого Пушкина слышал это суждение, или, наконец, самостоятельно воспользовался открытием Пушкина, выворачивая наизнанку смысл открытия: никакой tour de force в *трагедии* не изумил бы Пушкина, не спасся бы от его строгой критики, потому что,

* фокусом, фортелем.

в его глазах, tour de force, в смысле Шевырева, был бы непростительным нарушением художественной истины, именно тем, что́, еще не читавши моей пиесы, *подозревал* Пушкин. Но, прочитав ее, он разуверился и упорствовал в удивлении тому, что создание моей трагедии сделало не только излишним, но и *невозможным* присутствие Лжедимитрия; однако тотчас понял, почему в самом начале идеи о «Басманове» был отстранен Лжедимитрий: по его позднейшим сношениям с Ксениею Годуновою! Замечательно, что Пушкин, глубоко изучивший эпоху Лжедимитрия, *не верил этим сношениям*, но оправдывал план моей пиесы тем, что *публика верит* вслед за Карамзиным! [11]

Отклонив пальму победы из рук Пушкина, потому что я не *боролся*, я по этой же причине не имел бы надобности и оговорить tour de force Шевырева; но я полагал неизлишним доказать этим примером, как *смысл* иного оригинального суждения Пушкина может превращаться между нашими учеными и литераторами в диаметральную противоположность свою, почти не изменяя своей *формы: побежденная трудность*, в смысле Пушкина, и *фокус*, в смысле Шевырева, с виду, право, будто бы одного поля ягоды! К разряду подобных изменений причисляю и начало статьи Гоголя: «О том, что такое слово». Вот что говорит Гоголь:

«Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит, —

сказал так: Державин не совсем прав: слова поэта «суть уже его дела». Пушкин прав!»

Никогда и никому не поверю, чтобы *Пушкину* не была известна одна из самых известных аксиом, что только у *ретора* (и то не всегда) слово есть *дело*, а у поэта *происшествие*. Гоголь, вероятно, не выразумев Пушкина, бессознательно переиначил его слова.

За год с небольшим до смерти Пушкина, на блистательных литературных вечерах у В. А. Жуковского, Гоголь частенько читал свою комедию «Ревизор» [12]. Я и теперь ощущаю в себе тяжелый отзыв ужасного состояния моей души во время этого чтения. Представьте себе: сижу в кругу именитейших литераторов и нескольких почтенных, образованнейших особ; все вокруг меня аплодируют, восхи-

щаются, тешатся. Напрягаю всячески внимание, чтобы понять причину этой общей потехи столь образованного, блистательного общества: не разумею ничего, кроме неестественности, несообразности, карикатурности пиесы. Я серьезно опечалился о самом себе. «Вот,— подумал я,— горькие последствия моего продолжительного болезненного состояния: оно убило во мне чувство комизма! Убьет, со временем, и всякое другое чувство изящного!» Однако, чтобы вполне убедиться в этой горькой истине, я, в продолжение недели, до следующего литературного вечера, в который ждало нас чтение того же «Ревизора», прочитал несколько комедий Аристофана, Шекспира, Мольера... «Нет! во мне еще не убито чувство комизма! могу еще смеяться от чистой души!» Обрадованный этим сознанием и весьма расположенный к комизму, отправляюсь на второе чтение «Ревизора»: теперь-то вразумлюсь во все красоты пиесы Гоголя!

Начинается чтение. Напрягаю опять внимание; блистательное общество так же, как в первый раз, аплодирует, восхищается, тешится; а я опять не понимаю причины общей потехи, ничего не разумею, кроме вышесказанных свойств пиесы. Что это такое! Отчего лишь меня одного чуждается гений смеха? Да нельзя ли какою-нибудь хитростью заставить его заглянуть и в мою душу — а потом уже общая потеха меня увлечет! И вот какое я придумал средство: наклонившись головою к спинке дивана, я погрузил одно ухо в носовой платок, в подставленной руке; а в другое ухо просто запустил мизинец другой руки. Не слыша ни слова, гляжу внимательно на живую мимику читающего Гоголя. В самом деле, гораздо лучше! Проясняивает на душе! Кажется, чую приближение Момуса... сейчас и я расхохочусь! Я б чисто дождался этого благотворного хохота; но, к несчастию, нельзя было продлить не совсем вежливой операции, предпринятой на том основании, что тут не было прекрасного пола, и в той надежде, что, при общем на комика устремленном внимании, никто не заметит моих действий. Гоголь, конечно, зная наизусть свою комедию, не всегда глядел в рукопись и часто прогуливался гениальным взглядом по рядам дышащих живейшим участием слушателей; а я, заметив приближение ко мне подобного почтенного авторского взгляда, тотчас вынул мизинец моей правой руки из уха, переменил позицию, выпрямился, так что открылось и другое ухо, рванулся душою навстречу гению смеха... и вдруг, в оба отверстые

уха мои грянула из комедии такая шутка, что душа моя оцепенела,— шутка, по моему разумению, *неопрятная*, но, видно, *забавная* для других: многие расхохотались; иные зарукоплескали, и звучный голос одного очень образованного человека, в похвалу этой нечистой, по моему мнению, шутке, произнес во всеуслышание, с единственною энергиею: «C'est le haut comique!» * Это возвещение *высоко-комического* подействовало на мою мозговую систему жестоким нервическим ударом, который поверг меня в желанную апатию, так что я, без особенных умственных страданий, выдерживал комедию до конца. Но на самом конце ее, когда, при ужасе многогрешного по службе городничего от неожиданного появления рокового посла богини правосудия, то есть при выразительной гримасе Гоголя, определявшей меру и степень этого ужаса, весь блистательный собор слушателей расходился перекатным смехом, разыгрался несравненно большим еще восторгом, нежели сколько было в первое чтение комедии, тогда из темной для меня атмосферы этого общего смеха ударила в мою апатию зажигательная молния; весь внутренний мир мой вспылал, и я только что хотел грянуть серьезным вопросом о *причине* этой потехи, сослаться на аномалию моей природы, никак не расположенной к смеху, когда требуют виновного в суд, когда ведут осужденного на казнь, когда случаются тому подобные, вовсе не комические происшествия... Разумеется, *такой* вопрос был бы среди рассмеявшегося общества весьма резким диссонансом. К счастию, я удержался, или — правильнее — *был лишен* возможности грянуть этим вопросом, и вот отчего! Бывает, гром сожжет дом, а другой удар грома потушит пожар: так было и со мною! Один молнийный удар воспалил мою душу, а другой как раз унял воспаление, сковал душу, отнял язык... я оставался в бездействии, и никто не догадался, какою тяжелою *трагедиею* отзывался во мне мнимокомический «Ревизор»!

Мне довелось слушать его, по крайней мере, еще раз десять, как единственное чтение на тех литературных вечерах; но я слушал его с ненарушимым спокойствием. Дело, сначала непостижимое, объяснилось для меня после второго чтения: я прав, отвергая и порицая пиесу; и блистательное общество, с своей точки зрения, так же право, аплодируя и смеясь от чистой души! Эти почтенные люди, всегда занятые серьезным делом службы и своих высших

* Это высшая степень комизма!

интересов, собираются на чтение так называемой комедии единственно для того, чтобы посмеяться, поотдохнуть от утомительного серьезного дела. Они и не требуют истинно комической причины для смеха; была бы только некоторая к нему придирка, — и они охотно предаются этой необходимой и весьма полезной для них умственной гимнастике смеха. Они, по своей опытности, философским глазом смотрят на то, что нашего брата, сына природы, еще взволнует; их-то и может смешить мелкая неправильность по административной части, некоторое уклонение от должного порядка, избранные предметом этой комедии. Кому не дается причина этого восхищения, тому помогает заразительность общего смеха: куда люди, туда и мы! Надобно быть уже очень круто-самостоятельным характером, отменным эстетическим эгоистом, чтобы упорствовать в требовании истинной комической причины для смеха!

Однако я не отделался своим философским спокойствием при «Ревизоре». В эпоху этого чтения, только не на литературном вечере своем, Жуковский наедине сказал мне однажды:

— Гоголь замечает, что вы при чтении его комедии, всегда слушая внимательно, никогда не изъявляете малейшего знака ни одобрения, ни порицания.

Я высказал напрямки свое мнение о «Ревизоре».

Вскоре после того, на одном из этих вечеров, когда общество разъезжалось и я также хотел идти, меня остановил Пушкин:

— Останьтесь еще: нам *одна* дорога! За мною приедет экипаж: я вас отвезу!

Все разъехались; нас осталось только четверо: Жуковский, Пушкин, кн. Одоевский и я. Тогда начался настоящий литературный разговор, живой, разнообразный. Кн. Одоевский уехал. Мы ждали еще довольно долго: экипаж Пушкина все не приезжал — и вовсе не приехал! Мы отправились пешком. Была тихая светлая месячная ночь. Пушкин обратил разговор на комедию Гоголя. Я признался во всех тяжелых, до ужаса доводивших меня впечатлениях от этой комедии. Он слушал внимательно. Что ж он отвечал? Благоговение к памяти Пушкина вменило бы мне в обязанность передать здесь с величайшею точностью все, что бы ни говорил он в защиту «Ревизора»; я, в этом случае, поместил бы и свои возражения и отдал бы дело на суд беспристрастной публики. Но я, в защиту «Ревизора», *ничего* не имею сообщить от имени Пушкина! Мы подошли

к его дверям (он жил тогда на набережной, между Гагаринскою пристанью и Литейною); он позвонил и, прощаясь со мною, обратился ко мне с неожиданною, но меня уже нисколько не поразившею просьбою... Слуга отпер, и я отправился дальше, на Сергиевскую улицу.

Очень быть может, что Пушкин никому из своих друзей не говорил об этом, по крайней мере, я так думаю, и не без основания, как увидим ниже. Стало быть, мне не на кого сослаться! Могу только сказать, что с тех пор я ни с кем не рассуждал более о Гоголе; никому не мешал восхищаться «Ревизором», а впоследствии и «Мертвыми душами». Но мне не возбраняется говорить о том и сем, что, может статься, послужит к некоторому объяснению тайны, наведенной на тот двоеговор (диалог) смертию *одного* из собеседников.

В третьем томе своего «Современника» Пушкин поместил повесть Гоголя «Нос» с следующей оговоркою: «Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что *уговорили его позволить* нам поделиться с публикою *удовольствием*, которое доставила нам его рукопись».

Все знают упомянутую повесть Гоголя. Уродливое, отвратительное по предмету, никогда и никому не принесет удовольствия, но может только быть терпимо, когда оно резко выражает аллегорию, занимательную по смыслу ее. В «Носе» же Гоголя нет и духу аллегории: уродливое, отвратительное перемешано с самыми будничними пошлостями; нет ни формы, ни последовательности, никакой связи даже в мыслях; все, от начала до конца, есть непостижимая бессмыслица, отчего отвратительное представляется еще отвратительнейшим! Чего же хотел Пушкин своим примечанием к этой повести? Изменило ли ему на тот раз чувство критики? Или он хотел издеваться над вкусом публики, рекомендуя ей, под видом неожиданного, фантастического, веселого, оригинального,— такую бессмысленную ералашь? Самая *форма* рекомендации проникнута каким-то мефистофельски-сатирическим духом: *Пушкин* насилу испросил дозоволение авторское поделиться с публикою удовольствием от повести, которая (выражусь о ней как нельзя мягче) пустейший, непонятнейший фарс! Для чего нет подобной рекомендации под другими, так же пустыми, но понятными, иногда забавными и нигде не отвратительными шутками того же Гоголя: «Утро делового человека» и «Коляска», в том же журнале Пушкина? На

подобные замечания мои Пушкин отозвался, что *странность* фарса требовала оговорки; уверял меня, что в самом деле смеялся при чтении «Носа» и тиснул его, полагая, что этот фарс может смешить и других. Стало быть, достоверно, что этот «Нос» смешил Пушкина! Но каким чудом отвратительная бессмыслица могла смешить *Пушкина*?

Я объяснил ему это по своему разумению.

Он был характера весьма серьезного и склонен, как Бейрон, к мрачной душевной грусти; чтоб умерять, уравновешивать эту грусть, он чувствовал потребность смеха; ему ненадобно было причины, нужна была только придирка к смеху! В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и будто бы ему самому при этом невесело на душе. Неожиданное, небывалое, фантастически-уродливое, физически-отвратительное, не в натуре, а в рассказе, всего скорее возбуждало в нем этот смех; и когда Гоголь, или кто-либо другой, не удовлетворял его потребности в этом отношении, так он и сам, при удивительной и, можно сказать, ненарушимой стройности своей умственной организации, принимался слагать в уме странные стихи — умышленную, но гениальную бессмыслицу! Сколько мне известно, он подобных стихов никогда не доверял бумаге. Но чтобы самому их не сочинять, он всегда желал иметь около себя человека милого, умного, с решительною наклонностию к фантастическому: «Скажешь ему: пожалуйста, соври что-нибудь! И он тотчас соврет, чего никак не придумаешь, не вообразишь!»

Из этой патологической черты в Пушкине я достаточно понял, почему он мог смеяться при чтении «Ревизора» и поместить в своем журнале отвратительный «Нос». Остается объяснить замечательную *рекомендацию* этого «Носа». Пушкин часто говаривал мне: «le Public a du bon sens! — и однажды примолвил: — mais en fait de goût assez souvent * — ни гугу!» Кроме таланта, который явно выказывался уже в первых произведениях Гоголя, и кроме того, что соответствовало этой патологической черте в Пушкине, он имел еще другие — и очень похвальные — причины: поддерживать всем своим кредитом молодого автора. Вдобавок Пушкин предвидел, что Гоголь, по свойству, по роду своего таланта, приобретет многочисленную публику в некоторых слоях общества; но этого мало было для Пушкина,

---

* У публики есть здравый смысл, но по части хорошего вкуса — довольно часто — ни гугу.

который никогда не любил или покровительствовал *кое-как*. Он считал нужным распространить репутацию Гоголя и в высших кругах и доставить ему одобрение и других значительных лиц, как в литературе, так и в обществе,— и я вполне убежден, что без могучего, увлекательного влияния Пушкина многие люди, весьма образованные и с чистым вкусом, мною не называемые, никогда не могли бы плениться «Ревизором» и «Мертвыми душами». Когда это удалось Пушкину с *такими* людьми, так мог ли он побояться утонченного вкуса публики? Он уже без зазрения и положив руку на сердце, что действительно смеялся при чтении «Носа», мог пустить его в свет, при своей рекомендации.

Повторяю: не стану ссылаться на собственные слова *покойного* Пушкина, на невольный взрыв откровенности его, подобный вышеприведенному возгласу: «Палок!», в рифму на «огнь весталок». Скажу только то: я вполне убежден, я знаю наверное, что Пушкин насчет «Ревизора» и того отвратительного «Носа» и тому подобных произведений Гоголя мистифицировал публику и своих друзей, да и самого себя желал бы обмануть, если б это было возможно при чистоте его вкуса, при неподкупности его критического чувства,— и вот почему я должен полагать, что Пушкин этот откровенный о Гоголе разговор со мною оставил в секрете.

Разумеется, друзья Пушкина могут мне заметить: «Неужели Пушкин был откровеннее с вами, нежели с *нами?»* Ответствую: хотя, как уже сказано, между Пушкиным и мною было только короткое литературное знакомство, особенно по части критики, но очень естественно, что он, в подобных случаях, был откровеннее со *мною*. Мне всегда было свойственно не сдаваться до тех пор, пока меня не убедят. Я всеми силами стремился к той чистоте и верности вкуса, которыми восхищался я в Пушкине. Если же в нем что-нибудь, слово ли, смех ли одобрительный или аплодисмент, противоречило, по моим понятиям, той чистоте и верности вкуса, то я и не верил еще такому слову, смеху или аплодисменту и всегда допытывался того, чтобы Пушкин или убедил меня, или сознался бы, что он действовал не как критик, но как друг, или покровитель, или светский человек; и Пушкин, конечно, уважая это чистосердечное разведывание истины, ее и открывал мне в добрый час. Друзья же его *так* не поступали; не сомневались, как я; для чего же было бы выдать им эту задушевную мысль, когда

одобрение *их* нужно было Пушкину для Гоголя, а мое — нисколько! Мое дело было: оставить при себе свое мнение до тех пор, покуда слава Гоголя не утвердится на прочных началах: я так и сделал! Я молчал долго, и промолчал бы об этом целый век свой, не говори Гоголь, что Пушкин в *похвальном смысле* возвел его в *певцы пошлости*, в Гомеры Терситовы. Вот собственные слова Гоголя: «Обо мне много толковали, разбирая кой-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у *одного* писателя не было этого *дара* выставлять так ярко *пошлость* жизни, очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое *главное* свойство, *одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей!»*

Есть чем хвалиться! Кому охота разведывать пошлость пошлого человека, показывать ее в увеличительное стекло, чтобы всякая *мелочь* ее бросалась *крупно* в глаза! Это ли цель искусства? Эту странную, с нынешним литературным смирением Гоголя несогласную кичливость считаю последним отголоском хвалебного шума на вечерах Жуковского.

А. С. АНДРЕЕВ

ВСТРЕЧА С А. С. ПУШКИНЫМ

1827 года, в один из дней начала лета[1], я посетил бывшую тогда выставку художественных произведений на Невском проспекте против Малой Морской, в доме Таля[2]. В это время была выставлена картина, присланная Карлом Брюлловым из Италии, известная под названием «Итальянское утро».

Уже не в первый раз я с безотчетно приятным наслаждением смотрел на эту картину. Странное чувство остановилось во мне. Казалось, я дышал каким-то мне дотоле не ведомым воздухом. Что-то неизъяснимо приятное окружало меня.

С таким чувством я вышел на улицу, и первые особы, мне встретившиеся, был барон Дельвиг и с ним под руку идущий, небольшого роста, смуглый и с курчавыми волосами. Я с Дельвигом поздоровался, как с хорошо знакомым, и он меня спросил, разве я не знаю его (указывая на своего товарища). Получив от меня отрицательный ответ, он сказал: «Это — Пушкин». Тогда я, от души обрадовавшись, отнесся к Александру Сергеевичу как уже несколько знакомому, ибо часто до приезда его виделся с его матерью Надеждой Осиповной и сестрою Ольгою Сергеевною. Одежда на нем была вовсе не петербургского покроя, в особенности же картуз престранного вида (это были первые дни его приезда из Бессарабии).

Желая быть долее с Пушкиным, я вместе с ними пошел опять на выставку. Дельвиг подвел Пушкина прямо к «Итальянскому утру». Остановившись против этой картины, он долго оставался безмолвным и, не сводя с нее глаз, сказал: «Странное дело, в нынешнее время живописцы приобрели манеру выводить из полотна предметы и в особенности фигуры; в Италии это искусство до такой степени утвердилось, что не признают того художником, кто не умеет этого делать».

И, вновь замолчав, смотрел на картину, отступил и сказал: «Хм. Кисть, как перо: для одной — глаз, для другого — ухо. В Италии дошли до того, что копии с картин столь делают похожими, что, ставя одну оборот другой, не могут и лучшие знатоки отличить оригинала от копии. Да, это как стихи, под известный каданс можно их наделать тысячи, и все они будут хороши. Я ударил об наковальню русского языка, и вышел стих — и все начали писать хорошо».

В это время он взглянул на Дельвига, и тот с обычною своею скромностью и добродушием, потупя глаза, ответил: «Да».

А. Н. МОКРИЦКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О А. С. ПУШКИНЕ

25 января 1837 [1]. Сегодня в нашей мастерской было много посетителей — это у нас не редкость, но, между прочим, были Пушкин и Жуковский. Сошлись они вместе, и Карл Павлович угощал их своей портфелью и альбомами. Весело было смотреть, как они любовались и восхищались его дивными акварельными рисунками, но когда он показал им недавно оконченный рисунок: «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне», то восторг их выразился криком и смехом. Да и можно ли глядеть без смеха на этот прелестный, забавный рисунок? Смирнский полицмейстер, спящий посреди улицы на ковре и подушке,— такая комическая фигура, что на нее нельзя глядеть равнодушно. Позади него, за подушкой, в тени, видны двое полицейских стражей: один сидит на корточках, другой лежит, упершись локтями в подбородок и болтая босыми ногами, обнаженными выше колен, эти ноги, как две кочерги, принадлежащие тощей фигуре стража, еще более выдвигают полноту и округлость форм спящего полицмейстера, который, будучи изображен в ракурс, кажется оттого еще толще и шире. Пушкин не мог расстаться с этим рисунком, хохотал до слез и просил Брюллова подарить ему это сокровище, но рисунок принадлежал уже княгине Салтыковой, и Карл Павлович, уверяя его, что не может отдать, обещал нарисовать ему другой. Пушкин был безутешен: он с рисунком в руках стал перед Брюлловым на колени и начал умолять его: «Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня, отдай мне этот». Не отдал Брюллов рисунка, а обещал нарисовать другой. Я, глядя на эту сцену, не думал, что Брюллов откажет Пушкину. Такие люди, казалось мне, не становятся даром на колени перед равными

себе. Это было ровно за четыре дня до смерти Пушкина * 〈...〉

31 января. Соскучась карточною игрой в экарте, велел мне читать стихи Пушкина и восхищался каждой строкой, каждой мыслью и жалел душевно о ранней кончине великого поэта. Он упрекал себя в том, что не отдал ему рисунка, о котором тот так просил его, вспоминал о том, как Пушкин восхищался его картиной «Распятие» и эскизом «Гензерих грабит Рим» 〈...〉

31 марта. После вечернего класса пошел я к Брюллову и застал там Венецианова и Федора Брюллова, скоро пришел А. А. Краевский и прочел нам некоторые стихотворения Пушкина, найденные в рукописи после его смерти: «Отцы пустынники и жены непорочны», «Русалку», несколько сцен из «Каменного гостя» и «Галуба». Когда Краевский рассказал Брюллову о последних часах жизни Пушкина и о том, что хотят издать полное собрание его сочинений, Брюллов выразил желание нарисовать к ним фронтиспис, в котором хотел изобразить Пушкина с лирой в руках, на скале Кавказских гор, посреди величественной кавказской природы,— намерение, как известно, оставшееся без исполнения [2]. 〈...〉

ИЗ «ДНЕВНИКА ХУДОЖНИКА А. Н. МОКРИЦКОГО»

1835 год, 6 августа. Четвертого, то есть в воскресенье, был я у Плетнева 〈...〉 После обеда пришел Пушкин, говорил со мною о живописи и при прощании сказал мне: «Не женитесь только, а Италии вам не миновать».

1836 год. 15 генваря. 〈...〉 к Плетневу. Там застал я Пушкина 〈...〉 Пушкин сперва не узнал меня, потом, вглядевшись пристальнее, пожал мне приветливо руку и тем порадовал меня...

---

* *Другой ученик К. П. Брюллова, М. И. Железнов, по этому поводу писал следующее:* «...Не понимаю, почему Мокрицкий передавал это обстоятельство без конца, который он сам мне рассказывал и который, по-моему, очень важен. Брюллов не отдал Пушкину рисунка, сказав, что рисунок уже продан княгине Салтыковой, но обещал Пушкину написать с него портрет и назначил время для сеанса. На беду, дуэль Пушкина состоялась днем ранее...» (Живописное обозрение, 1898, № 27—33).

1 ноября. ⟨...⟩ Зашел к Брюллову ⟨...⟩ У него застал я Жуковского, Пушкина, барона Брамбеуса. Хороший квартет, подумал я, глядя на них ⟨...⟩

26 ноября. ⟨...⟩ В минуты отдыха я читал ему ⟨Брюллову.— А. К.⟩ из Пушкина. «Моцарта и Сальери» нашел он слабым, и подлинно, мала и слаба причина, выставленная автором для такого страшного дела. «Сказка о царе Салтане и царевиче Гвидоне» очень забавляла его...

1837 год. 31 генваря. ⟨...⟩ Говорили о Пушкине. Он читал его стихотворения, восхищался каждой строкой и каждой мыслью знаменитого поэта. Завидуя его кончине, опять сильно обнаружил свою грусть по Италии. Жалел, что отечественный климат не благоприятствует его здоровью, и с горьким чувством сказал: «Нет, здесь я ничего не напишу. Я охладел, я застыл в этом климате!» Пушкину чрезвычайно понравилась его идея и план картины Гензерика. «Здесь не в состоянии написать я этой картины!..»

3 марта ⟨...⟩ После обеда пошел я к Брюллову. «Весьма кстати»,— сказал он, садясь за стол и подавая мне письмо, писанное Жуковским к отцу Пушкина, в котором изложены подробно предсмертные часы, самая смерть и последствия. Желание и интерес узнать правдивые подробности кончины великого человека были столь велики, что я не жалел, потеряв класс, 6-й и 7-й час просидел я у Брюллова, потом пошел на чай к Григоровичу, где застал Теребенева. С ним был эскиз статуи Пушкина. К сожалению, не найдено еще ни ансамбля фигуры Пушкина, ни удовлетворительного сходства в лице. Впрочем, талант художника порукою в том, что мы будем иметь довольно схожий портрет бесценного нашего Пушкина [1].

1838 год ⟨...⟩ 21 марта ⟨...⟩ налюбовавшись досыта произведениями Брюллова, ушли гости. Липинский ⟨...⟩ увидев бюст Пушкина, пожалел о поэте, говоря, что, когда услышал, что он умер, то жалел о нем, как о брате, хоть и не знал его лично и не читал его сочинений... [2]

М. И. ЖЕЛЕЗНОВ

БРЮЛЛОВ В ГОСТЯХ У ПУШКИНА ЛЕТОМ 1836 ГОДА

Брюллов не мог равнодушно вспоминать, что Пушкин не был за границей, и при мне сказал г. Левшину, генералу с двумя звездами: «Соблюдение пустых форм всегда предпочитают самому делу. Академия, например, каждый год бросает деньги на отправку за границу живописцев, скульпторов, архитекторов, зная наперед, что из них ничего не выйдет. Формула отправки за границу считается необходимою, и против нее нельзя заикнуться, а для развития настоящего таланта никто ничего не сделает. Пример налицо — Пушкин. Что он был талант — это все знали, здравый смысл подсказывал, что его непременно следовало отправить за границу, а... ему-то и не удалось там побывать, и только потому, что его талант был всеми признан.

Вскоре после того как я приехал в Петербург, вечером, ко мне пришел Пушкин и звал к себе ужинать. Я был не в духе, не хотел идти и долго отказывался, но он меня переупрямил и утащил с собой. Дети Пушкина уже спали, он их будил и выносил ко мне поодиночке на руках. Не шло это к нему, было грустно, рисовало передо мною картину натянутого семейного счастья, и я его спросил: «На кой черт ты женился?» Он мне отвечал: «Я хотел ехать за границу — меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что мне делать,— и женился».

ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ НА ОСТРОВ МАДЕЙРУ»

В 1849 году ⟨...⟩ на пути из Варшавы в Дрезден Брюллов, сидя в вагоне, разговаривал со мною и, припомнив, что в Варшаве его посетила дочь Оленина, Анна Алексеевна Андро, рассказал, что в молодости она была

прехорошенькая, что Пушкин был в нее влюблен, хотел на ней жениться и сватался, но что она за него не пошла.

Рассказ Брюллова так поразил меня, что я просил его объяснить мне, каким образом Анна Алексеевна, особа очень бойкая, не смекнула, что быть женою Пушкина было лучше, чем женою г. Андро? Брюллов, после минутного молчания, отвечал: «Сказать правду, тогда она была влюблена в меня и бросала мне такие взгляды, что я чуть-чуть не женился».— «За чем же дело стало?» — «Я заболел и более месяца пролежал в постели, но зато оставил ее свободной и от болезни, и от любви...[1]

В. А. СОЛЛОГУБ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Кажется, следующую же зиму после моего знакомства с Гоголем я в первый раз, уже будучи взрослым, встретил Пушкина; за верность годов, впрочем, не ручаюсь, так как смолоду был страшно бестолков и всю жизнь перепутывал числа и года [1].

Вот как это было. Я гостил у родных на рождественских праздниках и каждый вечер выезжал с отцом в свет не на большие балы, разумеется, но к нашим многочисленным родным и близким знакомым. Однажды отец взял меня с собой в русский театр; мы поместились во втором ряду кресел; перед нами в первом ряду сидел человек с некрасивым, но необыкновенно выразительным лицом и курчавыми темными волосами; он обернулся, когда мы вошли (представление уже началось), дружелюбно кивнул отцу, потом стал слушать пьесу с тем особенным вниманием, с каким слушают только, что называют французы, «Les gens du métier», то есть люди, сами пишущие. «Это Пушкин»,— шепнул мне отец. Я весь обомлел... Трудно себе вообразить, что это был за энтузиазм, за обожание толпы к величайшему нашему писателю, это имя волшебное являлось чем-то лучезарным в воображении всех русских, в особенности же в воображении очень молодых людей. Пушкин, хотя и не чужд был той олимпийской недоступности, в какую окутывали, так сказать, себя литераторы того времени, обошелся со мной очень ласково, когда отец, после того как занавес опустили, представил меня ему. На слова отца, «что вот этот сынишка у меня пописывает», он отвечал поощрительно, припомнил, что видел меня ребенком, играющим в одежде маркиза на скрипке, и приглашал меня к себе запросто быть, когда я могу. Я был в восторге и, чтобы не ударить лицом в грязь, все придумывал, что бы сказать что-нибудь поумнее, чтобы он увидел, что я уже не

такой мальчишка, каким все-таки, несмотря на его любезность, он меня считал; надо сказать, что тот самый день, гуляя часов около трех пополудни с отцом по Невскому проспекту, мы повстречали некоего Х., тогдашнего модного писателя. Он был человек чрезвычайно надутый и заносчивый, отец знал его довольно близко и представил меня ему; он отнесся ко мне довольно благосклонно и пригласил меня в тот же вечер к себе. «Сегодня середа, у меня каждую середу собираются,— произнес он с высоты своего величия,— всё люди талантливые, известные, приезжайте, молодой человек, время вы проведете, надеюсь, приятно». Я поблагодарил и, разумеется, тотчас после театра рассчитывал туда отправиться. В продолжение всего второго действия, которое Пушкин слушал с тем же вниманием, я, благоговейно глядя на его сгорбленную в кресле спину, сообразил, что спрошу его во время антракта, «что он, вероятно, *тоже* едет сегодня к Х.». Не может же он, Пушкин, не бывать в доме, где собираются такие известные люди — писатели, художники, музыканты и т. д. Действие кончилось, занавес опустился, Пушкин опять обернулся к нам. «Александр Сергеевич, сегодня середа, я еще, вероятно, буду иметь счастливый случай с вами повстречаться у Х.»,— проговорил я почтительно, но вместе с тем стараясь придать своему голосу равнодушный вид, «что вот, дескать, к каким тузам мы ездим» [2]. Пушкин посмотрел на меня с той особенной, ему одному свойственной улыбкой, в которой как-то странно сочеталась самая язвительная насмешка с безмерным добродушием. «Нет,— отрывисто сказал он мне,— с тех пор как я женат, я в такие дома не езжу». Меня точно ушатом холодной воды обдало, я сконфузился, пробормотал что-то очень неловкое и стушевался за спину моего отца, который от души рассмеялся; он прекрасно заметил, что мне [перед Пушкиным захотелось прихвастнуть и что это мне] не удалось. Я же был очень разочарован; уже заранее я строил планы, как я вернусь в Дерпт и стану рассказывать, что я провел вечер у Х., где собираются самые известные, самые талантливые люди в Петербурге, где даже сам Пушкин... и вдруг такой удар! Нечего и прибавлять, что в тот вечер я к Х. не поехал, хотя отец, смеясь, очень на этом настаивал. На другой день отец повез меня к Пушкину — он жил в довольно скромной квартире на ... улице [3]. Самого хозяина не было дома, и нас приняла его красавица жена. Много видел я на своем веку красивых женщин, много встречал женщин еще обаятель-

нее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединила бы в себе такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая, с баснословно тонкой тальей, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более, а кожа, глаза, зубы, уши! Да, это была настоящая красавица, и недаром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли как-то при ее появлении. На вид всегда она была сдержанна до холодности и мало вообще говорила. В Петербурге, где она блистала, во-первых, своей красотой и в особенности тем видным положением, которое занимал ее муж,— она бывала постоянно и в большом свете, и при дворе, но ее *женщины* находили несколько странной. Я с первого же раза без памяти в нее влюбился; надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной; ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы; я знал очень молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с нею не знакомых, но чуть ли никогда собственно ее даже не видавших! Живо помню один бал у Бутурлиных и смешную сцену, на которой я присутствовал. Это было, сколько припомню, в зиму с 1835-го на 1836-й год; я уже в то время вышел из университета; Бутурлин этот был женат на дочери известного богача ⟨Михаила Ивановича⟩ Комбурлея — ⟨Елисавете Михайловне⟩; он имел двух детей — дочь ⟨Анну⟩, вышедшую потом замуж за графа Павла ⟨Сергеевича⟩ Строганова, и сына Петра; этому сыну было тогда лет тринадцать, он еще носил коротенькую курточку и сильно помадил себе волосы. Так как в то время балы начинались несравненно раньше, чем теперь, то Петиньке Бутурлину позволялось (его по-тогдашнему родные очень баловали) оставаться на бале до мазурки. Он, разумеется, не танцевал, а сновал между танцующими. В тот вечер я танцевал с Пушкиной мазурку и, как только оркестр сыграл ритурнель, отправился отыскивать свою даму: она сидела у амбразуры окна и, поднеся к губам сложенный веер, чуть-чуть улыбалась; позади ее, в самой глубине амбразуры, сидел Петинька Бутурлин и, краснея и заикаясь, что-то говорил ей с большим жаром. Увидев меня, Наталья Николаевна указала мне веером на стул, стоявший подле, и сказала: «Останемтесь здесь, все-таки прохла-

днее»; я поклонился и сел. «Да, Наталья Николаевна, выслушайте меня, не оскорбляйтесь, но я должен был вам сказать, что я люблю вас,— говорил ей между тем Петинька, который до того потерялся, что даже не заметил, что я подошел и сел подле,— да, я должен был это вам сказать,— продолжал он,— потому что, видите ли, теперь двенадцать часов, и меня сейчас уведут спать!» Я чуть удержался, чтобы не расхохотаться, да и Пушкина кусала себе губы, видимо, силясь не смеяться; Петиньку, действительно, безжалостно увели спать через несколько минут.

⟨...⟩ Мне пришлось быть и свидетелем и актером драмы, окончившейся смертью великого Пушкина. Я уже говорил, что мы с Пушкиным были в очень дружеских отношениях и что он особенно ко мне благоволил. Он поощрял мои первые литературные опыты, давал мне советы, читал свои стихи и был чрезвычайно ко мне благосклонен, несмотря на разность наших лет. Почти каждый день ходили мы гулять по толкучему рынку, покупали там сайки, потом, возвращаясь по Невскому проспекту, предлагали эти сайки светским разряженным щеголям, которые бегали от нас с ужасом. Вечером мы встречались у Карамзиных, у Вяземских, у князя Одоевского и на светских балах. Не могу простить себе, что не записывал каждый день, что от него слышал. Отношения его к Дантесу были уже весьма недружелюбные. Однажды, на вечере у князя Вяземского, он вдруг сказал, что Дантес носит перстень с изображением обезьяны. Дантес был тогда легитимистом и носил на руке портрет Генриха V.

— Посмотрите на эти черты,— воскликнул тотчас Дантес,— похожи ли они на господина Пушкина?

Размен невежливостей остался без последствия. Пушкин говорил отрывисто и едко. Скажет, бывало, колкую эпиграмму и вдруг зальется звонким, добродушным, детским смехом, выказывая два ряда белых, арабских зубов. Об этом времени можно бы было еще припомнить много анекдотов, острот и шуток. В сущности, Пушкин был до крайности несчастлив, и главное его несчастие заключалось в том, что он жил в Петербурге и жил светской жизнью, его убившей. Пушкин находился в среде, над которой не мог не чувствовать своего превосходства, а между тем в то же время чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку, и по значению в этой аристократической сфере, к которой он имел, как я сказал выше, какое-то

непостижимое пристрастие. Наше общество так еще устроено, что величайший художник без чина становится в официальном мире ниже последнего писаря. Когда при разъездах кричали: «Карету Пушкина!» — «Какого Пушкина?» — «Сочинителя!» — Пушкин обижался, конечно, не за название, а за то пренебрежение, которое оказывалось к названию. За это и он оказывал наружное будто бы пренебрежение к некоторым светским условиям: не следовал моде и ездил на балы в черном галстуке, в двубортном жилете, с откидными, ненакрахмаленными воротниками, подражая, быть может, невольно байроновскому джентльменству; прочим же условиям он подчинялся. Жена его была красавица, украшение всех собраний и, следовательно, предмет зависти всех ее сверстниц. Для того чтоб приглашать ее на балы, Пушкин пожалован был камер-юнкером [4]. Певец свободы, наряженный в придворный мундир, для сопутствования жене-красавице, играл роль жалкую, едва ли не смешную. Пушкин был не Пушкин, а царедворец и муж. Это он чувствовал глубоко. К тому же светская жизнь требовала значительных издержек, на которые у Пушкина часто недоставало средств. Эти средства он хотел пополнить игрою, но постоянно проигрывал, как все люди, нуждающиеся в выигрыше. Наконец, он имел много литературных врагов, которые не давали ему покоя и уязвляли его раздражительное самолюбие, провозглашая с свойственной этим господам самоуверенностью, что Пушкин ослабел, исписался, что было совершенно ложь, но ложь все-таки обидная. Пушкин возражал с свойственной ему сокрушительной едкостью, но не умел приобрести необходимого для писателя равнодушия к печатным оскорблениям. Журнал его, «Современник», шел плохо. Пушкин не был рожден журналистом. В свете его не любили, потому что боялись его эпиграмм, на которые он не скупился, и за них он нажил себе в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых. В семействе он был счастлив, насколько может быть счастлив поэт, не рожденный для семейной жизни. Он обожал жену, гордился ее красотой и был в ней вполне уверен. Он ревновал к ней не потому, чтобы в ней сомневался, а потому, что страшился светской молвы, страшился сделаться еще более смешным перед светским мнением. Эта боязнь была причиной его смерти, а не г. Дантес, которого бояться ему было нечего. Он вступался не за обиду, которой не было, а боялся огласки, боялся молвы и видел в Дантесе не серьезного соперника,

не посягателя на его настоящую честь, а посягателя на его имя, и этого он не перенес.

Я жил тогда на Большой Морской, у тетки моей ⟨А. И.⟩ Васильчиковой. В первых числах ноября (1836) она велела однажды утром меня позвать к себе и сказала:

— Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо, с надписью: Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?

Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было действительно написано кривым, лакейским почерком: «Александру Сергеичу Пушкину». Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить я его не должен, а распечатать не вправе. Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Распечатал конверт и тотчас сказал мне:

— Я уж знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елисаветы Михайловны Хитровой: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безыменным письмам я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитровой [5].

Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами. В сочинении присланного ему всем известного диплома он подозревал одну даму, которую мне и назвал [6]. Тут он говорил спокойно, с большим достоинством и, казалось, хотел оставить все дело без внимания. Только две недели спустя узнал я, что в этот же день он послал вызов кавалергардскому поручику Дантесу, усыновленному, как известно, голландским посланником бароном Геккерном. Я продолжал затем гулять, по обыкновению, с Пушкиным и не замечал в нем особой перемены. Однажды спросил я его только, не дознался ли он, кто сочинил подметные письма. Точно такие же письма были получены всеми членами тесного карамзинского кружка, но истреблены ими тотчас по прочтении [7]. Пушкин отвечал мне, что не знает, но подозревает одного человека. «S'il vous faut un troisième, ou un second,— сказал я ему,— disposez de

moi» *. Эти слова сильно тронули Пушкина, и он мне сказал тут несколько таких лестных слов, что я не смею их повторить; но слова эти остались отраднейшим воспоминанием моей литературной жизни. Сколько раз впоследствии, когда имя мое, более чем я сам, подвергалось насмешкам и ругательствам журналистов, доходившим иногда до клеветы, я смирял свою минутную досаду повторением слов, сказанных мне главою русских писателей как бы в предвидении, что и для моей скромной доли немало нужно будет твердости, чтоб выдержать многие непонятные, печатанные на авось и незаслуженные оскорбления. Порадовав меня своим отзывом, Пушкин прибавил:

— Дуэли никакой не будет; но я, может быть, попрошу вас быть свидетелем одного объяснения, при котором присутствие светского человека (опять-таки светского человека) мне желательно, для надлежащего заявления, в случае надобности.

Все это было говорено по-французски. Мы зашли к оружейнику. Пушкин прицениваася к пистолетам, но не купил, по неимению денег. После того мы заходили еще в лавку к Смирдину, где Пушкин написал записку Кукольнику [8], кажется, с требованием денег. Я между тем оставался у дверей и импровизировал эпиграмму:

Коль ты к Смирдину войдешь.
Ничего там не найдешь,
Ничего ты там не купишь.
Лишь Сенковского толкнешь.

Эти четыре стиха я сказал выходящему Александру Сергеевичу, который с необыкновенною живостью заключил:

Иль в Булгарина наступишь [9].

Я был совершнно покоен, таким образом, насчет последствий писем, но через несколько дней должен был разувериться. У Карамзиных праздновался день рождения старшего сына. Я сидел за обедом подле Пушкина. Во время общего веселого разговора он вдруг нагнулся ко мне и сказал скороговоркой:

— Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь [10].

* Если вам нужен третий или второй ⟨секундант⟩ — располагайте мною. (Непереводимый каламбур.)

Потом он продолжал шутить и разговаривать как бы ни в чем не бывало. Я остолбенел, но возражать не осмелился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений.

Вечером я поехал на большой раут к австрийскому посланнику графу Фикельмону. На рауте все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной (которой на рауте не было), отличалась от прочих белым платьем [11]. С нею любезничал Дантес-Геккерн.

Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом и, как узнал я потом, самому Дантесу сказал несколько более чем грубых слов. С д'Аршиаком, статным молодым секретарем французского посольства, мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы. Дантеса я взял в сторону и спросил его, что он за человек. «Я человек честный,— отвечал он,— и надеюсь это скоро доказать». Затем он стал объяснять, что не понимает, чего от него Пушкин хочет; что он поневоле будет с ним стреляться, если будет к тому принужден; но никаких ссор и скандалов не желает.

На другой день погода была страшная — снег, метель. Я поехал сперва к отцу моему, жившему на Мойке, потом к Пушкину, который повторил мне, что я имею только условиться насчет материальной стороны самого беспощадного поединка, и, наконец, с замирающим сердцем отправился к д'Аршиаку. Каково же было мое удивление, когда с первых слов д'Аршиак объявил мне, что он всю ночь не спал, что он хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских, и что наша обязанность сперва просмотреть все документы, относящиеся до порученного нам дела. Затем он мне показал:

1) Экземпляр ругательного диплома на имя Пушкина.

2) Вызов Пушкина Дантесу после получения диплома.

3) Записку посланника барона Геккерна, в которой он просит, чтоб поединок был отложен на две недели.

4) Собственноручную записку Пушкина, в которой он объявлял, что берет свой вызов назад, на основании слухов, что г. Дантес женится на его невестке К. Н. Гончаровой [12].

Я стоял пораженный, как будто свалился с неба. Об этой свадьбе я ничего не слыхал, ничего не видал и только тут понял причину вчерашнего белого платья, причину двухнедельной отсрочки, причину ухаживания Дантеса. Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел.

Мера терпения преисполнилась. При получении глупого диплома от безыменного негодяя, Пушкин обратился к Дантесу, потому что последний, танцуя часто с Натальей Николаевной, был поводом к мерзкой шутке. Самый день вызова неопровержимо доказывает, что другой причины не было. Кто знал Пушкина, тот понимает, что не только в случае кровной обиды, но даже при первом подозрении он не стал бы дожидаться подметных писем. Одному богу известно, что он в это время выстрадал, воображая себя осмеянным и поруганным в большом свете, преследовавшем его мелкими беспрерывными оскорблениями. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы со всем светским обществом. Я твердо убежден, что если бы С. А. Соболевский был тогда в Петербурге, он, по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его. Прочие были не в силах.

— Вот положение дела,— сказал д'Аршиак.— Вчера кончился двухнедельный срок, и я был у г. Пушкина с извещением, что мой друг Дантес готов к его услугам. Вы понимаете, что Дантес желает жениться, но не может жениться иначе, как если г. Пушкин откажется просто от своего вызова без всякого объяснения, не упоминая о городских слухах. Г. Дантес не может допустить, чтоб о нем говорили, что он был принужден жениться и женился во избежание поединка. Уговорите г. Пушкина безусловно отказаться от вызова. Я вам ручаюсь, что Дантес женится, и мы предотвратим, может быть, большое несчастие.

Этот д'Аршиак был необыкновенно симпатичной личностью и сам скоро умер насильственною смертью на охоте. Мое положение было самое неприятное: я только теперь узнавал сущность дела; мне предлагали самый блистательный исход, то, что я и требовал, и ожидать бы никак не смел, а между тем я не имел поручения вести переговоры. Потолковав с д'Аршиаком, мы решились съехаться в три часа у самого Дантеса. Тут возобновились те же предложения, но в разговорах Дантес не участвовал, все предоставив секунданту. Никогда в жизнь свою я не ломал так голову. Наконец, потребовав бумаги, я написал по-французски Пушкину следующую записку:

«Согласно вашему желанию, я условился насчет материальной стороны поединка. Он назначен 21 ноября, в 8 часов утра, на Парголовской дороге, на 10 шагов барьера. Впрочем, из разговоров узнал я, что г. Дантес женится на вашей свояченице, если вы только признаете, что он вел

себя в настоящем деле как *честный* человек. Г. д'Аршиак и я служим вам порукой, что свадьба состоится; именем вашего семейства умоляю вас согласиться» [13] — и пр.

Точных слов я не помню, но содержание письма верно. Очень мне памятно число 21 ноября, потому что 20-го было рождение моего отца, и я не хотел ознаменовать этот день кровавой сценой. Д'Аршиак прочитал внимательно записку; но не показал ее Дантесу, несмотря на его требование, а передал мне и сказал:

— Я согласен. Пошлите.

Я позвал своего кучера, отдал ему в руки записку и приказал везти на Мойку, туда, где я был утром. Кучер ошибся и отвез записку к отцу моему, который жил тоже на Мойке и у которого я тоже был утром. Отец мой записки не распечатал, но, узнав мой почерк и очень встревоженный, выглядел условия о поединке. Однако он отправил кучера к Пушкину, тогда как мы около двух часов оставались в мучительном ожидании. Наконец ответ был привезен. Он был в общем смысле следующего содержания: «Прошу г.г. секундантов считать мой вызов недействительным, так как по городским слухам (par le bruit public) я узнал, что г. Дантес женится на моей свояченице. Впрочем, я готов признать, что в настоящем деле он вел себя честным человеком».

— Этого достаточно,— сказал д'Аршиак, ответа Дантесу не показал и поздравил его женихом. Тогда Дантес обратился ко мне со словами:

— Ступайте к г. Пушкину и поблагодарите его, что он согласен кончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видаться как братья.

Поздравив, с своей стороны, Дантеса, я предложил д'Аршиаку лично повторить эти слова Пушкину и поехать со мной. Д'Аршиак и на это согласился. Мы застали Пушкина за обедом. Он вышел к нам несколько бледный и выслушал благодарность, переданную ему д'Аршиаком.

— С моей стороны,— продолжал я,— я позволил себе обещать, что вы будете обходиться с своим зятем, как с знакомым.

— Напрасно,— воскликнул запальчиво Пушкин.— Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может.

Мы грустно переглянулись с д'Аршиаком. Пушкин затем немного успокоился.

— Впрочем,— добавил он,— я признал и готов признать, что г. Дантес действовал как честный человек.

— Больше мне и не нужно,— подхватил д'Аршиак и поспешно вышел из комнаты.

Вечером на бале С. В. Салтыкова свадьба была объявлена, но Пушкин Дантесу не кланялся. Он сердился на меня, что, несмотря на его приказание, я вступил в переговоры. Свадьбе он не верил.

— У него, кажется, грудь болит,— говорил он,— того гляди, уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет. Вот у вас тросточка. У меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее.

— А вы проиграете мне все ваши сочинения?

— Хорошо. (Он был в это время как-то желчно весел.)

— Послушайте,— сказал он мне через несколько дней,— вы были более секундантом Дантеса, чем моим; однако я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет.

Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерну. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте».

Тут он прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно, и так как это было в субботу [14] (приемный день кн. Одоевского), то поехал к кн. Одоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, это ему удалось: через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил и письмо послано не будет. Пушкин, точно, не отсылал письма, но сберег его у себя на всякий случай.

В начале декабря я был командирован в Харьков к гр. А. Г. Строганову и выехал совершенно успокоенный в Москву. В Москве я заболел и пролежал два месяца. Перед отъездом я пошел проститься с д'Аршиаком, который показал мне несколько печатных бланков с разными шутовскими дипломами на разные нелепые звания. Он рассказал мне, что венское общество целую зиму забавлялось рассылкою подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину. Таким образом, гнусный шутник, причинивший ему

смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал. Кто был виновным, осталось тогда еще тайной непроницаемой. После моего отъезда Дантес женился и был хорошим мужем и теперь, по кончине жены, весьма нежный отец. Он пожертвовал собой, чтоб избегнуть поединка. В этом нет сомнения; но, как человек ветреный, он и после свадьбы, встречаясь на балах с Натальей Николаевной, подходил к ней и балагурил с несколько казарменною непринужденностью. Взрыв был неминуем и произошел несомненно от площадного каламбура. На бале у гр. Воронцова, женатый уже, Дантес спросил Наталью Николаевну, довольна ли она мозольным оператором, присланным ей его женой.— Le pédicure prétend,— прибавил он,— que votre cor est plus beau que celui de ma femme *.

Пушкин об этом узнал. В письме его к посланнику Геккерну есть намек на этот каламбур ** [15]. Письмо, впрочем, было то же самое, которое он мне читал за два месяца,— многие места я узнал; только прежнее было, если не ошибаюсь, длиннее и, как оно ни покажется невероятным, еще оскорбительнее.

29 января следующего (1837) года Пушкина не стало. Вся грамотная Россия содрогнулась от великой утраты. Я понял, что Пушкин не выдержал и послал письмо к старику Геккерну; понял, почему, боясь новых примирителей, он выбрал себе секунданта почти уже на месте поединка; я понял тоже, что так было угодно провидению, чтоб Пушкин погиб, и что он сам увлекался к смерти силою почти сверхъестественною и, так сказать, осязательною. Двадцать пять лет спустя я встретился в Париже с Дантесом-Геккерном, нынешним французским сенатором. Он спросил меня: «Вы ли это были?» Я отвечал: «Тот самый».— «Знаете ли,— продолжал он,— когда фельдъегерь довез меня до границы, он вручил мне от государя запечатанный пакет с документами моей несчастной истории. Этот пакет у меня в столе лежит и теперь запечатанный. Я не имел духа его распечатать».

Итак, документы, поясняющие смерть Пушкина, целы

* То есть «мозольщик уверяет, что у вас мозоль лучше, чем у моей жены». (Игра французскими словами: «cor» — мозоль и «corps» — тело.)

** «C'est vous probablement qui lui dictiez les pauvretés qu'il venait débiter... il débite des calembourgs de corps de garde» («Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал... он отпускал казарменные каламбуры») — слова Пушкина к барону Геккерну-отцу.

и находятся в Париже. В их числе должен быть диплом, написанный поддельной рукою. Стоит только экспертам исследовать почерк, и имя настоящего убийцы Пушкина сделается известным на вечное презрение всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языке, но пусть его отыщет и назовет не достоверная догадка, а божее правосудие! [16]

ИЗ ДОКЛАДА В ОБЩЕСТВЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

В 1831 году летом я приехал на вакации в Павловск ⟨...⟩. Карамзины жили тогда в Царском Селе, у них я часто видал Жуковского, который сказал мне, что уже познакомился с Гоголем и думает, как бы освободить его от настоящего места. Пушкина я встретил в Царскосельском парке. Он только что женился и гулял под ручку с женой, первой европейской красавицей, как говорил он мне после. Он представил меня тут жене и на вопрос мой, знает ли он Гоголя, отвечал, что еще не знает, но слышал о нем и желает с ним познакомиться. ⟨...⟩

Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г. Устюжне Новгородской губернии, о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей. Кроме того, Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена гр. В. А. Перовским секретная бумага, в которой последний предостерегался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников. На этих двух данных задуман был «Ревизор», коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом. Сюжет «Мертвых душ» тоже сообщен Пушкиным. «Никто,— говаривал он,— не умеет лучше Гоголя подметить всю пошлость русского человека». Но у Гоголя были еще другие громадные достоинства, и мне кажется, что Пушкин никогда в том вполне не убедился.

Во всяком случае, он не ожидал, чтоб имя Гоголя стало подле, если не выше, его собственного имени. ⟨...⟩

Отличительным свойством великих талантов бывает всегда уважение к настоящему или даже мнимому превосходству. Гоголь благоговел перед Пушкиным, Пушкин

перед Жуковским. Я слышал однажды между последними следующий разговор. «Василий Андреевич, как вы написали бы такое-то слово?» — «На что тебе?» (Надо заметить, что Пушкин говорил Жуковскому *вы*, а Жуковский Пушкину — *ты* [1].) «Мне надобно знать,— отвечал Пушкин,— как бы вы написали. Как бы написали, так и следует писать. Других правил не нужно». ⟨...⟩

Из дерптских студентов, двадцати лет, я поступил на службу и тогда же затеял жениться, что мне не удалось, но послужило поводом к одной странной истории, положившей основание моему сближению с Пушкиным. Я решил на время оставить Петербург и просил какой-нибудь командировки по министерству внутренних дел, где числился по департаменту духовных дел, директором которого был Ф. Ф. Вигель. (Он на меня очень сердился за то, что я раз сказал, что ни он, ни я никогда в департаменте не бываем.) Командировку мне дали: я был назначен секретарем следственной комиссии, отправляемой в Ржев, Тверской губернии, по случаю совершенного там раскольниками святотатства. Председателем комиссии был назначен только что вернувшийся тогда из Иерусалима А. С. Норов. Он взял меня в свою коляску. Выехав из Царского Села, мы вышли для предосторожности, чтоб спуститься под гору пешком, и тут Абрам Сергеевич обратился ко мне с вопросом:

— Вы знаете, как производятся следствия?

— Нет,— отвечал я,— не знаю; я служу недавно и о следственных делах никакого понятия не имею.

— Да и я тоже,— сказал жалобно А. С.— Я ведь на вас надеялся.

— А я на вас, ваше превосходительство.

Вот как тогда назначались следствия.

В Твери мы достали собрание законов и сели учиться, после чего поехали в Ржев. Следствие продолжалось долго и было, к удивлению, ведено исправно. Оно ознаменовалось разными любопытными эпизодами, о которых здесь упоминать, впрочем, не место. Самым же замечательным для меня было полученное мною от Андрея [Николаевича] Карамзина письмо, в котором он меня спрашивал, зачем же я не отвечаю на вызов А. С. Пушкина: Карамзин поручился ему за меня, как за своего дерптского товарища, что я от поединка не откажусь.

Для меня это было совершенной загадкой. Пушкина я знал очень мало, встречался с ним у Карамзиных, смо-

трел на него как на полубога и был только сильно им однажды озадачен, когда спросил у него на Невском проспекте с некоторой развязанностью, не проведем ли мы вместе вечер у одного известного журналиста. «Я человек женатый,— отвечал мне Пушкин,— и в такие дома ездить не могу»,— и прошел далее. И вдруг ни с того ни с сего он вызывает меня стреляться, тогда как перед отъездом я с ним даже не виделся вовсе. Решительно нельзя было ничего тут понять, кроме того, что Пушкин чем-то обиделся, о чем-то мне писал и что письмо его было перехвачено. Следствие кончилось. Я переехал в Тверь жить, где был принят, как родной, в доме незабвенного для меня, умного, радушного и добродушного слепого старика А. М. Бакунина. Сын его Михаил, наделавший впоследствии столько шума, скрывался у него тогда от артиллерийской службы и, по страсти своей к побегам, вдруг ночью убежал таинственно от кроткого, любящего его отца, который его вовсе не задерживал и послал ему в погоню шубу и пирогов на дорогу. С Карамзиным я списался и узнал наконец, в чем дело. Накануне моего отъезда я был на вечере вместе с Нат⟨альей⟩ Ник⟨олаевной⟩ Пушкиной, которая шутила над моей романической страстью и ее предметом. Я ей хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем. Затем разговор коснулся Ленского, очень милого и образованного поляка, танцевавшего тогда превосходно мазурку на петербургских балах. Все это было до крайности невинно и без всякой задней мысли. Но присутствующие дамы соорудили из этого простого разговора целую сплетню: что я будто оттого говорил про Ленского, что он будто нравится Наталье Николаевне (чего никогда не было) и что она забывает о том, что она еще недавно замужем. Наталья Николаевна, должно быть, сама рассказала Пушкину про такое странное истолкование моих слов, так как она вообще ничего от мужа не скрывала, хотя и знала его пламенную, необузданную природу *. Пушкин написал тотчас ко мне письмо, никогда ко мне не дошедшее, и, как мне было передано, начал говорить, что я уклоняюсь от дуэли [2]. Полу-

* В *записке «Нечто о Пушкине» Соллогуб называет этих дам:* «Тут была Вяземская, впоследствии вышедшая за Валуева, и сестра ее, которые из этого вопроса сделали ужасную дерзость», *а затем объясняется, как была истолкована эта «дерзость»:* «Враги мои натолковали Пушкину, что я будто с тем намерением спросил жену, давно ли она замужем, чтобы дать почувствовать, что рано иметь дурное поведение» (*Модзалевский,* с. 374, 376).

чив это объяснение, я написал Пушкину, что я совершенно готов к его услугам, когда ему будет угодно, хотя не чувствую за собой никакой вины, по таким и таким-то причинам [3]. Пушкин остался моим письмом доволен и сказал С. А. Соболевскому: «Немножко длинно, молодо, а, впрочем, хорошо». В то же время он написал мне по-французски письмо следующего содержания: «Милостливый государь. Вы приняли на себя напрасный труд, сообщив мне объяснения, которых я не спрашивал. Вы позволили себе невежливость относительно жены моей. Имя, вами носимое, и общество, вами посещаемое, вынуждают меня требовать от вас сатисфакции за непристойность вашего поведения. Извините меня, если я не могу приехать в Тверь прежде конца настоящего месяца» — и пр. Оригинал этого письма долго у меня хранился, но потом кем-то у меня взят, едва ли не в Симбирске. Делать было нечего; я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться и прождал так напрасно три месяца. Я твердо, впрочем, решился не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно. Пушкин все не приезжал, но расспрашивал про дорогу, на что один мой тогдашний приятель, ныне государственный сановник, навестивший меня проездом через Тверь, отвечал, что до Твери дорога хорошая. Вероятно, гнев Пушкина давно уже охладел, вероятно, он понимал неуместность поединка с молодым человеком, почти ребенком, из самой пустой причины, «во избежание какой-то светской молвы». Наконец, от того же приятеля узнал я, что в Петербурге явился новый француз, роялист *Дантес*, сильно уже надоедавший Пушкину *. С другой стороны, он, по особому щегольству его привычек, не хотел уже отказываться от дела, им затеянного. Весной я получил от моего министра графа Блудова предписание немедленно отправиться в Витебск в распоряжение генерал-губернатора 〈П. Н.〉 Дьякова. Я забыл сказать, что я заведовал в то время принадлежавшей моей матушке тверской вотчиной. Перед отъездом в Витебск нужно было сделать несколько распоряжений. Я и поехал в деревню на два дня; вечером в Тверь приехал Пушкин. На всякий случай я оставил письмо, которое отвез ему мой секундант князь Козлов-

* Ср. *в записке «Нечто о Пушкине»:* «В ту пору через Тверь проехал Валуев и говорил мне, что около Пушкиной увивается сильно Дантес. Мы смеялись тому, что, когда Пушкин будет стреляться со мной, жена его будет кокетничать со своей стороны» (*Модзалевский*, с. 375).

ский. Пушкин жалел, что не застал меня, извинялся и был очень любезен и разговорчив с Козловским. На другой день он уехал в Москву. На третий я вернулся в Тверь и с ужасом узнал, с кем я разъехался. Первой моей мыслью было, что он подумает, пожалуй, что я от него убежал. Тут мешкать было нечего. Я послал тотчас за почтовой тройкой и без оглядки поскакал прямо в Москву, куда приехал на рассвете и велел везти себя прямо к П. В. Нащокину, у которого останавливался Пушкин. В доме все еще спали. Я вошел в гостиную и приказал человеку разбудить Пушкина. Через несколько минут он вышел ко мне в халате, заспанный и начал чистить необыкновенно длинные ногти. Первые взаимные приветствия были очень холодны. Он спросил меня, кто мой секундант. Я отвечал, что секундант мой остался в Твери, что в Москву я только приехал и хочу просить быть моим секундантом известного генерала князя Ф. Гагарина. Пушкин извинился, что заставил меня так долго дожидаться, и объявил, что его секундант П. В. Нащокин.

Затем разговор несколько оживился, и мы начали говорить об начатом им издании «Современника». «Первый том был слишком хорош,— сказал Пушкин.— Второй я постараюсь выпустить поскучнее: публику баловать не надо». Тут он рассмеялся, и беседа между нами пошла почти дружеская, до появления Нащокина. Павел Войнович явился, в свою очередь, заспанный, с взъерошенными волосами, и, глядя на мирный его лик, я невольно пришел к заключению, что никто из нас не ищет кровавой развязки, а что дело в том, как бы всем выпутаться из глупой истории, не уронив своего достоинства. Павел Войнович тотчас приступил к роли примирителя. Пушкин непременно хотел, чтоб я перед ним извинился. Обиженным он, впрочем, себя не считал, но ссылался на мое светское значение и как будто боялся компрометировать себя в обществе, если оставит без удовлетворения дело, получившее уже в небольшом кругу некоторую огласку *. Я, с своей стороны, объявил, что извиняться перед ним ни под каким видом не стану, так как я не виноват решительно ни в чем; что слова

---

* *В записке «Нечто о Пушкине» Соллогуб приводит слова поэта:* «Неужели вы думаете, что мне весело стреляться, говорил П. Да что делать? J'ai la malheur d'être un homme publique et vous savez que c'est pire que d'être une femme publique» («Я имею несчастье быть общественным человеком, а вы знаете, что это хуже, чем быть публичной женщиной») (*Модзалевский*, с. 375).

мои были перетолкованы превратно и сказаны в таком-то смысле. Спор продолжался довольно долго. Наконец мне было предложено написать несколько слов Наталье Николаевне. На это я согласился, написал прекудрявое французское письмо, которое Пушкин взял и тотчас же протянул мне руку, после чего сделался чрезвычайно весел и дружелюбен. Этому прошло тридцать лет: многое, конечно, я уже забыл, но самое обстоятельство мне весьма памятно, потому что было основанием ближайших впоследствии моих сношений с Пушкиным и, кроме того, выказывает одну странную сторону его характера, а именно его пристрастие к светской молве, к светским отличиям, толкам и условиям.

Моя история с Пушкиным может быть немаловажным материалом для будущего его биографа. Она служит прологом к кровавой драме его кончины; она объясняет, как развивались в нем чувства тревоги, томления, досады и бессилия против удушливой светской сферы, которой он подчинялся. И тут, как и после, жена его была только невинным предлогом, а не причиной его взрывочного возмущения против судьбы. И, несмотря на то, он дорожил своим великосветским положением. «Il n'y a qu'une seule bonne société,— говаривал он мне потом,— c'est la bonne» *. Письмо же мое Пушкин, кажется, изорвал, так как оно никогда не дошло по своему адресу [4]. Тотчас же после нашего объяснения я уехал в Витебск. К осени я вернулся в Петербург и уже тогда коротко сблизился с Пушкиным.

ИЗ «ПЕРЕЖИТЫХ ДНЕЙ»

Помню я, как однажды Пушкин шел по Невскому проспекту с Соболевским. Я шел с ними, восхищаясь обоими. Вдруг за Полицейским мостом заколыхался над коляской высокий султан. Ехал государь. Пушкин и я повернули к краю тротуара, тут остановились и, сняв шляпы, выждали проезда. Смотрим, Соболевский пропал. Он тогда только что вернулся из-за границы и носил бородку и усы цветом ярко-рыжие [1]. Заметив государя, он юркнул в какой-то магазин, точно в землю провалился. Помню живо. Это было у Полицейского моста. Мы стоим, озираемся, ищем. Наконец видим, Соболевский, с шляпой набекрень, в полуфраке изумрудного цвета, с пальцем, задетым под

* Нет иного хорошего общества, кроме хорошего.

мышкой за выемку жилета, догоняет нас, горд и величав, черту не брат. Пушкин рассмеялся своим звонким детским смехом и покачал головою! «Что, брат, бородка-то французская, а душенька-то все та же русская?» 〈...〉

〈...〉 Мне приходит на память другое замечание Пушкина. Снова иду я с ним по Невскому проспекту. Встречается Одоевский, этот добрейший, бескорыстнейший, чуть ли не святой служитель всего изящного и полезного. Одоевский только что отпечатал тогда свои пестрые сказки фантастического содержания и разослал экземпляры, в пестрой обертке, своим приятелям. Соболевскому он надписал на экземпляре: «животу», так как он его так прозвал за гастрономические наклонности. Соболевский, с напускным своим цинизмом, прибавил тотчас к слову «животу» — «для передачи» и поставил книгу в позорное место, где стояли все наши сочинения. Само собою разумеется, что экземпляр был поднесен и Пушкину. При встрече на Невском Одоевскому очень хотелось узнать, прочитал ли Пушкин книгу и какого он об ней мнения. Но Пушкин отделался общими местами: «читал... ничего... хорошо...» — и т. п. Видя, что от него ничего не добьешься, Одоевский прибавил только, что писать фантастические сказки чрезвычайно трудно. Затем он поклонился и прошел. Тут Пушкин снова рассмеялся своим звонким, можно сказать, зубастым смехом, так как он выказывал тогда два ряда белых арабских зубов, и сказал: «Да если оно так трудно, зачем же он их пишет? Кто его принуждает? Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их нетрудно» [2].

А. О. и К. О. РОССЕТЫ

ИЗ РАССКАЗОВ ПРО ПУШКИНА, ЗАПИСАННЫХ П. И. БАРТЕНЕВЫМ

Пушкин говаривал: «Если встречу Булгарина где-нибудь в переулке, раскланяюсь и даже иной раз поговорю с ним; на большой улице — у меня не хватает храбрости».

*

Летом 1831 года в Царском Селе многие ходили нарочно смотреть на Пушкина, как он гулял под руку с женою, обыкновенно около озера. Она бывала в белом платье, в круглой шляпе, и на плечах свитая по-тогдашнему красная шаль.

*

Где-то на вечере, где были Жуковский, Вяземский и другие, зашла речь о греческом восстании и об Ипсиланти [1], которого Пушкин защищал. Спорили, шумели, и Пушкин говорил до того умно, что Жуковский ему сказал: «Ну, Пушкин, ты так умен, что с тобою говорить невозможно; чувствуешь, что ты не прав, и, однако, с тобою соглашаешься». Эти слова были неловкостью относительно других собеседников. Все они это про себя почувствовали, но Пушкин тотчас же изгладил это впечатление, отвечая на слова Жуковского самым громким и самым чистосердечным хохотом.

*

Когда появился «Полководец» [2], Пушкин спрашивал молодого Россета (учившегося в Пажеском корпусе), как

находят эти стихи в его кругу, между военною молодежью, и прибавил, что он не дорожит мнением знатного светского общества.

*

В Петербурге был некто Крюковской (хромой, служивший по кредитной части). Он путешествовал, был у Шафарика и привез от него какую-то книгу для Пушкина [3], с поручением просить у него «Современника». Через посредство Россета Крюковской явился к Пушкину, провел у него два часа и получил в ответ, что Шафарику совестно посылать «Современник», а если удастся издать что-нибудь поважнее, тогда пошлет. Пушкин очаровал Крюковского.

*

В Петербурге жила некая княгиня Наталья Степановна [4] и собирала у себя la fine de la société; * но Пушкина не приглашала, находя его не совсем приличным. Пушкин об ней говорил: «Ведь она только так прикидывается, в сущности она русская *труперда* и *толпёга*; но так как она все делает по-французски, то мы будем ее звать: la princesse-tolpege **.

*

Княгиню Е. К. Воронцову Пушкин звал la princesse belvetrille ***. Это оттого, что однажды в Одессе она, глядя на море, твердила известные стихи:

Не белеют ли ветрила,
Не плывут ли корабли? [5]

О подробностях своего одесского житья Пушкин не любил вспоминать, но говорил иногда с сочувствием об Одессе, называя ее «летом песочница, зимой чернильница» и повторяя какие-то стихи.

---

* Цвет общества.

** Княгиня толпеж (труперда — толстая, ленивая женщина; толпёга — бестолковая, неотесанная женщина).

*** Княгиня бельветрил.

*

В июне 1836 года, когда Н. М. Смирнов уезжал за границу, Пушкин говаривал, что ему тоже очень бы хотелось, да денег нет. Смирнов его убеждал засесть в деревню, наработать побольше и приезжать к ним. Смирнов уверен был, что государь пустил бы его. Тогда уже, летом 1836 года, шли толки, что у Пушкина в семье что-то неладно: две сестры, сплетни [6], и уже замечали волокитство Дантеса. Гекерен — низенький старик, всегда улыбающийся, отпускающий шуточки, во все мешающийся.

*

Брюллов говорил про Пушкина: «Какой Пушкин счастливец! Так смеется, что словно кишки видны».

Пушкин был на балу с женой-красавицею и, в ее присутствии, вздумал за кем-то ухаживать. Это заметили, заметила и жена. Она уехала с бала домой одна. Пушкин хватился жены и тотчас поспешил домой. Застает ее в раздеванье. Она стоит перед зеркалом и снимает с себя уборы. «Что с тобою? Отчего ты уехала?» Вместо ответа Наталья Николаевна дала мужу полновесную пощечину. Тот как стоял, так и покатился со смеху. Он забавлялся и радовался тому, что жена его ревнует, и сам с своим прекрасным хохотом передавал эту сцену приятелям

*

В воскресенье (перед поединком Пушкина) Россет пошел в гости к князю Петру Ивановичу Мещерскому [7] (зятю Карамзиной, они жили в д. Вельегорских) и из гостиной прошел в кабинет, где Пушкин играл в шахматы с хозяином. «Ну что,— обратился он к Россету,— вы были в гостиной; он уж там, возле моей жены?» Даже не назвал Дантеса по имени. Этот вопрос смутил Россета, и он отвечал, запинаясь, что Дантеса видел. Пушкин был большой наблюдатель физиономий; он стал глядеть на Россета, наблюдал линии его лица и что-то сказал ему лестное. Тот весь покраснел, и Пушкин стал громко хохотать над смущением двадцатилетнего офицера.

*

Осенью 1836 года Пушкин пришел к Клементию Осиповичу Россету и, сказав, что вызвал на дуэль Дантеса, просил его быть секундантом. Тот отказывался, говоря, что дело секундантов вначале стараться о примирении противников, а он этого не может сделать, потому что не терпит Дантеса, и будет рад, если Пушкин избавит от него петербургское общество; потом, он недостаточно хорошо пишет по-французски, чтобы вести переписку, которая в этом случае должна быть ведена крайне осмотрительно; но быть секундантом на самом месте поединка, когда уже все будет условлено, Россет был готов. После этого разговора Пушкин повел его прямо к себе обедать. За столом подали Пушкину письмо. Прочитав его, он обратился к старшей своей свояченице Екатерине Николаевне: «Поздравляю, вы невеста; Дантес просит вашей руки» [8]. Та бросила салфетку и побежала к себе. Наталья Николаевна за нею. «Каков!» — сказал Пушкин Россету про Дантеса.

Рассказывают, что Пушкин звал к себе в секунданты секретаря английского посольства Мегенеса; [9] он часто бывал у графини Фикельмон — долгоносый англичанин (потом был посол в Португалии), которого звали perroquet malade *, очень порядочный человек, которого Пушкин уважал за честный нрав.

*

Пушкин говаривал Смирнову, что уже теперь нравственность в Петербурге плоха, а посмотрите, что скоро будет *un débacle complet* ** .

*

Когда появились анонимные письма, посылать их было очень удобно: в это время только что учреждена была городская почта. Князья Гагарин и Долгоруков посещали иногда братьев Россет, живших вместе с Скалоном на Михайловской площади в доме Занфтлебена. К. О. Россет

* больной попугай.
** полный упадок.

получил анонимное письмо и по почерку стал догадываться, что это от них [10]. Он, по совету Скалона, не передал Пушкину ни письма, ни своего подозрения; граф Соллогуб поехал к Пушкину для передачи письма, но он тотчас изорвал его, сказав: «C'est une infamie, j'en ai reçu déjà aujourd'hui» *.

Вяземские жили тут же, подле Мещерских, то есть близ дома Вельегорских, на углу большой Итальянской и Михайловской площади (ныне Кочкурова).

А. О. Россет перекладывал тело Пушкина с дивана в гроб. «Я держал его за икры, и мне припоминалось, какого крепкого, мускулистого был он сложения, как развивал он свои силы ходьбою».

*

Граф Фикельмон явился на похороны в звездах; были Барант и другие. Но из наших ни Орлов, ни Киселев не показались. Знать стала навещать умиравшего поэта, только прослышав об участливом внимании царя. Стену в квартире Пушкина выломали для посетителей.

*

В Вене старика Гекерна сухо приняли за эту историю, и русский посол Медем не хотел быть на дипломатическом обеде у Меттерниха, куда приглашен был Гекерн.

*

Вас. Львович Давыдов в Сибири, услыхав от А. О. Россета подробности о смерти Пушкина, плакал и потом рассказывал, что он говаривал Пушкину: «Мы тебя не примем в свое общество, но ты будешь нам петь» [11].

А я, таинственный певец,
Пловцам я пел...

---

* Я знаю. Одно я уже получил сегодня.

ОБЛАЧКИН

ВОСПОМИНАНИЕ О ПУШКИНЕ

С 14 лет я стал писать стихи и не шутя воображал себя поэтом. Благодаря такому очаровательному обольщению, я то и дело беспокоил известных литераторов и поэтов того времени наивными, детскими просьбами, чтоб они прочли мои стихи и решили: поэт я или нет.

Многие из тех, к которым я обращался, принимали меня очень благосклонно и с участием советовали мне учиться, любить поэзию более всего в мире и никогда не изменять своему призванию. Некоторые, впрочем весьма немногие, не удостоили меня чести допустить до своей особы... Серьезно же никто не обратил на меня своего внимания и не помог моему горю, а горе мое было великое. В семье, с которой суждено мне было жить, смотрели на мою страсть к литературе очень сурово, враждебно относились к моим наклонностям и непременно хотели повернуть всего меня по-своему, стараясь всеми средствами убить во мне страсть к поэзии и сделать из меня купца, чиновника, ремесленника — словом, кого бы то ни было, только бы я бросил писать стихи и не читал бы беспрестанно книги. ⟨...⟩

Скучно и грустно проходили год за годом моей жизни, здоровье мое с самых ранних лет стало расстраиваться, уныние и тоска сначала изредка овладевали мною, а после постепенно развили во мне меланхолию, и характер мой стал устанавливаться не совсем в хорошую сторону: я сделался нетерпелив, раздражителен, желчен, порою чувствовал апатию ко всему на свете и не только самый труд, но одна мысль о труде была для меня ненавистна. Очень часто я желал умереть, чтоб только не заниматься тем, к чему я чувствовал непреодолимое отвращение. Любовь к поэзии и литературе хотя никогда во мне не угасала, но беспрерывные огорчения в течение многих лет убили во мне впечатлительность и непостижимую легкость выражать стихами мысль и чувства.

Весь преданный мысли, как бы выйти из такого положения, напряженного, неестественного по моей страстной натуре, я решил обратиться к Пушкину и в один прекрасный день пришел к великому поэту. Когда я входил в переднюю, из кабинета его вышел повар в белом колпаке, переднике и куртке. Я отдал ему тетрадь моих стихов для передачи Александру Сергеевичу и за ответом хотел зайти через неделю. Набросив на себя шинель, я поспешно вышел на улицу; но не успел пройти и сорока шагов от дому, где жил Пушкин, как тот же самый повар остановил меня:

— Пожалуйте к барину, он вас покорнейше просит.

— Очень благодарен, неужели же он успел что-нибудь прочесть в моей тетради?

— Да-с, он заглянул в нее.

Едва вошел я опять в переднюю, тотчас услышал голос Пушкина. Он вскрикнул:

— Василий, это ты?

— Точно так, я,— отвечал повар.

— А господин Облачкин?

— Здесь.

— Пожалуйте сюда, пожалуйте,— звал меня Пушкин, и голос его был до того радушен и до того симпатичен, что я весь затрепетал от радости и никогда не забуду этой счастливой для меня минуты. При входе в кабинет меня обуял какой-то страх из невыразимого чувства удивления, робости и замешательства и непостижимого уважения, близкого к благоговению... Кабинет Пушкина состоял из большой узкой комнаты. Посреди стоял огромный стол простого дерева, оставлявший с двух концов место для прохода, заваленный бумагами, письменными принадлежностями и книгами, а сам поэт сидел в уголку в покойном кресле. На Пушкине был старенький, дешевый халат, какими обыкновенно торгуют бухарцы вразноску. Вся стена была уставлена полками с книгами, а вокруг кабинета были расставлены простые плетеные стулья. Кабинет был просторный, светлый, чистый, но в нем ничего не было затейливого, замысловатого, роскошного, во всем безыскусственная простота и ничего поражающего, кроме самого хозяина, поражавшего каждого, кому посчастливилось видеть его оригинальное, арабского типа лицо, до невероятности подвижное и всегда оживленное выражением гениального ума и глубокого чувства. Я поклонился Пушкину, помнится, очень неловко, совершенно растерялся, сконфузился, хотя он обратился ко мне весьма ласково, просто,

голос его был изумительно симпатичен, улыбка добродушна, глаза выражали участие... К чему я оробел перед таким человеком, к которому должно чувствовать только любовь и уважение? Я был тогда мальчик, но очень хорошо понимал, что мои стихи в руках славного поэта и что он, по всей вероятности, прочел несколько строк и хотя слегка познакомился с моей музой.

Согласитесь, надо было быть слишком самоуверенным, чтобы не сконфузиться, когда перед вами глаз на глаз великий поэт, только лишь получивший от вас первые опыты ваших стихотворений? Пушкин расспросил меня, где я учусь, что делаю, имею ли состояние и к какому роду жизни желал бы я себя приготовить.

Когда я объяснил ему свое несчастие, тогда он мне посоветовал написать просьбу и изложить мое положение, сколько мне лет, где воспитываюсь, и наконец попросить чего я желаю,— только смотрите, промолвил он очень серьезно, напишите просьбу прозой, а не стихами. Я невольно улыбнулся. Пушкин заметил мою улыбку и захохотал во весь голос, беспечно, с неподражаемой веселостью: «Я вам сделал это замечание на счет просьбы затем, что когда-то деловую бумагу на гербовом листе я написал стихами и ее не приняли в присутственном месте [1]. Молод был, очень молод, так же как и вы теперь молоды, очень молоды и пишете стихи, так, пожалуй, по привычке вместо прозы напишете стихами, и уж тогда делать нечего, второй раз придется вам писать просьбу прозой, а писать просьбы дело очень скучное и неприятное. Да и временем нужно дорожить. Впрочем, это в сторону, напишите просьбу, да поскорее приходите ко мне, а я за вас буду хлопотать». Я поклонился ему и поблагодарил за участие в моей судьбе и вдруг ни с того ни с сего, точно кто-нибудь вместо меня проговорил: «Александр Сергеевич, вы мои стихи напечатаете в вашем Современнике?»

— Напечатаю, напечатаю. Приходите же ко мне, непременно с просьбой, и чем скорее, тем лучше.

— Благодарю вас. Мое почтение.

— Прощайте. Приходите утром, до десяти часов я всегда дома.

— Почту за великое счастье. Мое почтение.

Когда я с просьбою в кармане и надеждою в сердце пришел к Александру Сергеевичу, то, к величайшему моему огорчению, он был болен и не мог меня принять, а через несколько дней разнеслась молва в Петербурге, молва

страшная, что Пушкин ранен смертельно. Дня через три или четыре я посетил труп поэта и перед гробом его заливался горячими слезами, молясь богу о упокоении души его. В течение всей моей жизни только один Пушкин, с первой встречи со мною, принял в судьбе моей живое искреннее участие и желал мне помочь делом, а не словами. Судьба распорядилась иначе, и с тех пор я прожил много лет на свете, и никому нет до меня дела. Один великий поэт за три недели до своей кончины хотел было выдвинуть меня из среды, в которой я постепенно терял мои лучшие, полные энергии силы.

Один удар лишил Россию великого поэта в самую блистательную пору его жизни, когда громадный талант Пушкина вполне окреп и выработался опытами жизни и изучения великих писателей; этот же самый удар, быть может, разрушил навсегда мою лучшую будущность...

Взволнованный, печальный, как человек, долго не видавший божьего света, и когда на одно мгновение забилось радостию мое сердце и надежда показала мне на одну секунду прекрасную жизнь и лучшую будущность — и вдруг этот свет в один момент угас и опять еще страшнее вокруг меня образовалась тьма и несчастие,— лишь только я пришел домой от гроба Пушкина, тотчас же написал стихи на смерть поэта. Я знаю, что стихи слабы, хотя и написаны искренно, под влиянием глубокой горести, вполне овладевшей моей душою. Стихи написаны на 15-м году моей жизни. Я совершенно согласен с мнением, что в литературном деле лета автора не могут иметь никакого значения, но должно согласиться с тем, что на 15-м году менее нежели немногие могли писать хорошие стихи.

На смерть Пушкина

Друзья, я видел труп холодный
Певца возвышенных речей
И слышал я в толпе народной
Язык коварства и страстей!
Один бессмысленно взирает
На труп великого певца,
Другой безумец осуждает
И говорит: Она! Она
　　Всему вина.
Я думал: о язык коварный,
Ты никого не пощадишь,
О человек неблагодарный,
Не знаешь ты, пред кем стоишь.

Зачем пришел? Иль прах священный
Ты хочешь злобой помрачить?
С душою низкой и надменной,
Земным коварством уязвить
Нельзя певца.
Он умер. Что же, в этом мире
Ужели мало он страдал,
Когда на сладкозвучной лире
Святую правду величал?
И так колено преклоните,
Оставьте дерзкие слова,
И бога вышнего молите:
Поэт пред ним: его душа
На небесах.
Я знаю, с мыслию спокойной
Оставил он ничтожный мир.
Поэт, бессмертия достойный,
Довольно славного свершил.
И будут чтить талант прекрасный
Все люди с сердцем и душой
И, жребий вспомянув несчастный,
Оплачут горестной слезой
Певца любви.

К. К. ДАНЗАС

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ И КОНЧИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА В ЗАПИСИ А. АМОСОВА

Пушкин после женитьбы своей на Наталье Николаевне Гончаровой жил в Петербурге довольно открыто и вел знакомство почти со всею нашею аристократиею. Между лицами, посещавшими часто дом его, был некто барон Дантес, офицер Кавалергардского полка.

Данзас познакомился с Дантесом в 1834 году, обедая с Пушкиным у Дюме, где за общим столом обедал и Дантес, сидя рядом с Пушкиным.

По словам Данзаса, Дантес, при довольно большом росте и приятной наружности, был человек неглупый и хотя весьма скудно образованный, но имевший какую-то врожденную способность нравиться всем с первого взгляда.

Способность эта, как увидим ниже, вызвала к нему милостивое внимание покойных государя Николая Павловича и государыни Александры Федоровны.

Барон Дантес был французский подданный, хотя предки его происходили из Ирландии. Служа уже во Франции, отец его получил от Наполеона I титул барона. Снабженный множеством рекомендательных писем, молодой Дантес приехал в Россию с намерением вступить в нашу военную службу. В числе этих писем было одно к графине Фикельмон, пользовавшейся особенным расположением покойной императрицы. Этой-то даме Дантес обязан началом своих успехов в России. На одном из своих вечеров она представила его государыне, и Дантес имел счастье обратить на себя внимание ее величества.

Счастливый случай покровительствовал Дантесу в представлении его покойному императору Николаю Павловичу. Как известно Данзасу, это произошло следующим образом.

В то время в Петербурге был известный баталический живописец Ладюрнер (Ladurnère), соотечественник Данте-

са. Покойный государь посещал иногда его мастерскую, находившуюся в Эрмитаже, и в одно из своих посещений, увидя на полотне художника несколько эскизов, изображавших фигуру Людовика Филиппа, спросил Ладюрнера:

— Est-ce que c'est vous, par hasard, qui vous amusez à faire ces choses là?

— Non, sire! — отвечал Ладюрнер. — C'est un de mes compatriotes, légitimiste comme moi, m-r Dantess.

— Ah! Dantess, mais je le connais, l'impératrice m'en a déjà parlé *, — сказал государь и пожелал его видеть.

Ладюрнер вытащил Дантеса из-за ширм, куда последний спрятался при входе государя.

Государь милостиво начал с ним разговаривать, и Дантес, пользуясь случаем, тут же просил государя позволить ему вступить в русскую военную службу. Государь изъявил согласие. Императрице было угодно, чтобы Дантес служил в ее полку, и, несмотря на дурно выдержанный экзамен, Дантес был принят в Кавалергардский полк, прямо офицером, и, во внимание к его бедности, государь назначил ему от себя ежегодное негласное пособие.

Имея счастливую способность нравиться, Дантес до такой степени приобрел себе любовь бывшего тогда в Петербурге голландского посланника барона Гекерена (Heckerene), человека весьма богатого, что тот, будучи бездетен, усыновил Дантеса, с тем единственным условием, чтобы последний принял его фамилию.

По поводу принятия Дантесом фамилии Гекерена кто-то, в шутку, распустил тогда в городе слух, будто солдаты Кавалергардского полка, коверкая фамилии — Дантес и Гекерен, говорили: «Что это сделалось с нашим поручиком, был *дантист*, а теперь вдруг стал *лекарем*».

Дантес пользовался очень хорошей репутацией и, по мнению Данзаса, заслуживал ее вполне, если не ставить ему в упрек фатовство и слабость хвастать своими успехами у женщин. Но не так благоприятно отзывается Константин Карлович о господине Гекерене: по словам его, барон был человек замечательно безнравственный.

Мы распространились несколько об этих лицах потому, что оба они играли весьма важную роль в судьбе нашего

---

* — Это не вы, случайно, развлекаетесь подобными работами?

— Нет, государь, это мой соотечественник, легитимист, как и я, господин Дантес.

— Ах, Дантес, я его знаю, императрица говорила мне о нем.

поэта. И барон Гекерен, и усыновленный им барон Дантес вели жизнь совершенно светскую — рассеянную. В 1835 и 1836 годах они часто посещали дом Пушкина и дома Карамзиных и князя Вяземского, где Пушкины были как свои. Но после одного или двух балов на минеральных водах, где были г-жа Пушкина и барон Дантес, по Петербургу вдруг разнеслись слухи, что Дантес ухаживает за женой Пушкина. Слухи эти долетели и до самого Александра Сергеевича, который перестал принимать Дантеса. Вслед за этим Пушкин получил несколько анонимных записок на французском языке; все они слово в слово были одинакового содержания, дерзкого, неблагопристойного.

Автором этих записок, по сходству почерка, Пушкин подозревал барона Гекерена, отца, и даже писал об этом графу Бенкендорфу [1]. После смерти Пушкина многие в этом подозревали князя Гагарина; * теперь же подозрение это осталось за жившим тогда вместе с ним князем Петром Владимировичем Долгоруковым **.

Поводом к подозрению князя Гагарина в авторстве безыменных писем послужило то, что они были писаны на бумаге одинакового формата с бумагою князя Гагарина. Но, будучи уже за границей, Гагарин признался, что записки действительно были написаны на его бумаге, но только не им, а князем Петром Владимировичем Долгоруковым *** [2]. Мы не думаем, чтобы это признание сколько-нибудь оправдывало Гагарина — позор соучастия в этом грязном деле, соучастия, если не деятельного, то пассивного, заключающегося в знании и допущении,— остался все-таки за ним.

Надо думать, что отказ Дантесу от дома не прекратил гнусной интриги. Оскорбительные слухи и записки **** продолжали раздражать Пушкина и вынудили его наконец покончить с тем, кто был видимым поводом всего этого. Он послал Дантесу вызов через офицера генерального штаба Клементия Осиповича Россета [3]. Дантес, приняв вызов Пушкина, просил на две недели отсрочки.

---

* Вступившего потом в иезуиты.

** Известным под прозвищем le bancal ⟨колченогий⟩.

*** «Если бы не эти записки,— говорил Данзас,— у Пушкина с Дантесом не было бы никакой истории».

**** Когда Пушкин отказал Дантесу от дому, Дантес несколько раз писал его жене, по словам Данзаса; Наталья Николаевна Пушкина все эти письма показывала мужу.

Между тем вызов этот сделался известным Жуковскому, князю Вяземскому и барону Гекерену, отцу. Все они старались потушить историю и расстроить дуэль. Гекерен, между прочим, объявил Жуковскому, что если особенное внимание его сына к г-же Пушкиной и было принято некоторыми за ухаживание, то все-таки тут не может быть места никакому подозрению, никакого повода к скандалу, потому что барон Дантес делал это с благородной целью, имея намерение просить руки сестры г-жи Пушкиной, Катерины Николаевны Гончаровой.

Отправясь с этим известием к Пушкину, Жуковский советовал барону Гекерену, чтобы сын его сделал как можно скорее предложение свояченице Пушкина, если он хочет прекратить все враждебные отношения и неосновательные слухи.

Вследствие ли совета Жуковского или вследствие прежде предположенного им намерения, но Дантес на другой или даже в тот же день сделал предложение, и зимой в 1836 году была его свадьба с девицей Гончаровой.

Во весь промежуток этого времени, несмотря на оскорбительные слухи и дерзкие анонимные записки, Пушкин, сколько известно, не изменил с женой самых нежных дружеских отношений, сохранил к ней прежнее доверие и не обвинял ее ни в чем. Он очень любил и уважал свою жену, и возведенная на нее гнусная клевета глубоко огорчила его: он возненавидел Дантеса и, несмотря на женитьбу его на Гончаровой, не хотел с ним помириться. На свадебном обеде, данном графом Строгановым в честь новобрачных, Пушкин присутствовал, не зная настоящей цели этого обеда, заключавшейся в условленном заранее некоторыми лицами примирении его с Дантесом. Примирение это, однако же, не состоялось, и, когда после обеда барон Гекерен, отец, подойдя к Пушкину, сказал ему, что теперь, когда поведение его сына совершенно объяснилось, он, вероятно, забудет все прошлое и изменит настоящие отношения свои к нему на более родственные, Пушкин отвечал сухо, что, невзирая на родство, он не желает иметь никаких отношений между его домом и г. Дантесом.

Со свояченицей своей во все это время Пушкин был мил и любезен по-прежнему и даже весело подшучивал над нею по случаю свадьбы с Дантесом. Раз, выходя из театра, Данзас встретил Пушкиных и поздравил Катерину Николаевну Гончарову, как невесту Дантеса; при этом Пушкин сказал, шутя, Данзасу:

— Ma belle-soeur ne sait pas maintenant de quelle nation elle sera: Russe, Française ou Hollandaise?! *

Сухое и почти презрительное обращение в последнее время Пушкина с бароном Гекереном, которого Пушкин не любил и не уважал, не могло не озлобить против него такого человека, каков был Гекерен. Он сделался отъявленным врагом Пушкина и, скрывая это, начал вредить тайно поэту. Будучи совершенно убежден в невозможности помирить Пушкина с Дантесом, чего он даже едва ли и желал, но, относя негодование первого единственно к чрезмерному самолюбию и ревности, мстительный голландец тем не менее продолжал показывать вид, что хлопочет об этом ненавистном Пушкину примирении, понимая очень хорошо, что это дает ему повод безнаказанно и беспрестанно мучить и оскорблять своего врага. С этой целью, с помощью других, подобно ему врагов Пушкина, а иногда и недогадливых друзей поэта, он постоянно заботился о встречах его с Дантесом, заставлял сына своего писать к нему письма, в которых Дантес убеждал его забыть прошлое и помириться. Таких писем Пушкин получил два [4], одно еще до обеда, бывшего у графа Строганова, на которое и отвечал за этим обедом барону Гекерену на словах то, что мы сказали уже выше, то есть что он не желает возобновлять с Дантесом никаких отношений. Несмотря на этот ответ, Дантес приезжал к Пушкину с свадебным визитом; но Пушкин его не принял. Вслед за этим визитом, который Дантес сделал Пушкину, вероятно, по совету Гекерена, Пушкин получил второе письмо от Дантеса. Это письмо Пушкин, не распечатывая, положил в карман и поехал к бывшей тогда фрейлине г-же Загряжской, с которой был в родстве. Пушкин через нее хотел возвратить письмо Дантесу; но, встретясь у ней с бароном Гекереном, он подошел к тому и, вынув письмо из кармана, просил барона возвратить его тому, кто писал его, прибавив, что не только читать писем Дантеса, но даже и имени его он слышать не хочет.

Верный принятому им намерению постоянно раздражать Пушкина, Гекерен отвечал, что так как письмо это писано было к Пушкину, а не к нему, то он и не может принять его.

Этот ответ взорвал Пушкина, и он бросил письмо в лицо Гекерену, со словами: «Tu la recevra, gredin!» **

* Моя свояченица не знает теперь, какой национальности она будет: русской, французской или голландской?

** Ты возьмешь его, негодяй.

После этой истории Гекерен решительно ополчился против Пушкина и в петербургском обществе образовались две партии: одна за Пушкина, другая — за Дантеса и Гекерена. Партии эти, действуя враждебно друг против друга, одинаково преследовали поэта, не давая ему покоя.

На стороне барона Гекерена и Дантеса был, между прочим, и покойный граф Бенкендорф, не любивший Пушкина. Одним только этим нерасположением, говорит Данзас, и можно объяснить, что дуэль Пушкина не была остановлена полицией. Жандармы были посланы, как он слышал, в Екатерингоф, будто бы по ошибке, думая, что дуэль должна была происходить там, а она была за Черной речкой около Комендантской дачи...

Пушкин дрался среди белого дня и, так сказать, почти в глазах всех!

Партизаны враждующих сторон разделились весьма странным образом, например: одна часть офицеров Кавалергардского полка, товарищей Дантеса, была за него, другая за Пушкина; князь Б. был за Пушкина, а княгиня, жена его [5], против Пушкина, за Дантеса, вероятно, по случаю родства своего с графом Бенкендорфом. Замечательно, что почти все те из светских дам, которые были на стороне Гекерена и Дантеса, не отличались блистательною репутациею и не могли служить примером нравственности; в число их Данзас не вмешивает, однако же, княгиню Б.

Борьба этих партий заключалась в том, что в то время как друзья Пушкина и все общество, бывшее на его стороне, старались всячески опровергать и отклонять от него все распускаемые врагами поэта оскорбительные слухи, отводить его от встреч с Гекереном и Дантесом, противная сторона, наоборот, усиливалась их сводить вместе, для чего нарочно устраивали балы и вечера, где жена Пушкина, вдруг неожиданно, встречала Дантеса.

Зная, как все эти обстоятельства были неприятны для мужа, Наталья Николаевна предлагала ему уехать с нею на время куда-нибудь из Петербурга; но Пушкин, потеряв всякое терпение, решился кончить это иначе. Он написал барону Гекерену в весьма сильных выражениях известное письмо, которое и было окончательной причиной роковой дуэли нашего поэта.

Говорят, что, получив это письмо, Гекерен бросился за советом к графу Строганову и что граф, прочитав письмо, дал совет Гекерену, чтобы его сын, барон Дантес, вызвал

Пушкина на дуэль, так как после подобной обиды, по мнению графа, дуэль была единственным исходом.

В ответ Пушкину барон Гекерен написал письмо, в котором объявил, что сын его пришлет ему своего секунданта. С вызовом к Пушкину от Дантеса приехал служивший тогда при французском посольстве виконт д'Аршиак.

27 января 1837 года К. К. Данзас, проходя по Пантелеймонской улице, встретил Пушкина в санях [6]. В этой улице жил тогда К. О. Россет; Пушкин, как полагает Данзас, заезжал сначала к Россету и, не застав последнего дома, поехал уже к нему. Пушкин остановил Данзаса и сказал:

— Данзас, я ехал к тебе, садись со мной в сани и поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора.

Данзас, не говоря ни слова, сел с ним в сани, и они поехали в Большую Миллионную. Во время пути Пушкин говорил с Данзасом, как будто ничего не бывало, совершенно о посторонних вещах. Таким образом доехали они до дома французского посольства, где жил д'Аршиак. После обыкновенного приветствия с хозяином Пушкин сказал громко, обращаясь к Данзасу:

— Je vais vous mettre maintenant au fait de tout, * — и начал рассказывать ему все, что происходило между ним, Дантесом и Гекереном, то есть то, что читателям известно из сказанного нами выше **.

Пушкин окончил свое объяснение следующими словами: «Maintenant la seule chose que j'ai à vous dire c'est que si l'affaire ne se termine pas aujourd'hui même, la première fois que je rencontre Heckerene, père ou fils, je leur cracherai à la figure» ***.

Тут он указал на Данзаса и прибавил: «Voilà mon témoin».

Потом обратился к Данзасу с вопросом:

— Consentez-vous? ****

После утвердительного ответа Данзаса Пушкин уехал,

---

* Я хочу теперь посвятить вас во все.

** При этом Пушкин прочитал вслух списанную им самим копию с письма своего к Гекерену (отцу) и отдал ее Данзасу. О письме этом сказано выше.

*** Теперь единственное, что я хочу вам сказать,— это то, что если дело не окончится сегодня же, то при первой встрече с Гекереном, отцом или сыном, я плюну им в лицо.

**** Вот мой секундант...— Вы согласны?

предоставив Данзасу, как своему секунданту, условиться с д'Аршиаком о дуэли *.

Вот эти условия.

Драться Пушкин с Дантесом должен был в тот же день 27 января в 5-м часу пополудни. Место поединка было назначено секундантами за Черной речкой возле Комендантской дачи. Оружием выбраны пистолеты. Стреляться соперники должны были на расстоянии двадцати шагов, с тем чтобы каждый мог сделать пять шагов и подойти к барьеру; никому не было дано преимущества первого выстрела; каждый должен был сделать один выстрел, когда будет ему угодно, но в случае промаха с обеих сторон дело должно было начаться снова на тех же условиях. Личных объяснений между противниками никаких допущено не было; в случае же надобности за них должны были объясняться секунданты.

По желанию д'Аршиака условия поединка были сделаны на бумаге.

С этой роковой бумагой Данзас возвратился к Пушкину. Он застал его дома, одного. Не прочитав даже условий, Пушкин согласился на все. В разговоре о предстоящей дуэли Данзас заметил ему, что, по его мнению, он бы должен был стреляться с бароном Гекереном, отцом, а не с сыном, так как оскорбительное письмо он написал Гекерену, а не Дантесу. На это Пушкин ему отвечал, что Гекерен, по официальному своему положению, драться не может.

Условясь с Пушкиным сойтись в кондитерской Вольфа, Данзас отправился сделать нужные приготовления. Наняв парные сани, он заехал в оружейный магазин Куракина за пистолетами, которые были уже выбраны Пушкиным заранее; пистолеты эти были совершенно схожи с пистолетами д'Аршиака. Уложив их в сани, Данзас приехал к Вольфу, где Пушкин уже ожидал его.

Было около 4-х часов.

Выпив стакан лимонаду или воды, Данзас не помнит, Пушкин вышел с ним из кондитерской; сели в сани и отправились по направлению к Троицкому мосту.

Бог весть что думал Пушкин. По наружности он был покоен...

Конечно, ни один сколько-нибудь мыслящий русский

---

* У д'Аршиака с Пушкиным раньше была по случаю этой дуэли переписка.

человек не был бы в состоянии оставаться равнодушным, провожая Пушкина, быть может, на верную смерть; тем более понятно, что чувствовал Данзас. Сердце его сжималось при одной мысли, что через несколько минут, может быть, Пушкина уже не станет. Напрасно усиливался он льстить себя надеждою, что дуэль расстроится, что кто-нибудь ее остановит, кто-нибудь спасет Пушкина; мучительная мысль не отставала.

На Дворцовой набережной они встретили в экипаже г-жу Пушкину. Данзас узнал ее, надежда в нем блеснула, встреча эта могла поправить все. Но жена Пушкина была близорука; а Пушкин смотрел в другую сторону.

День был ясный. Петербургское великосветское общество каталось на горах, и в то время некоторые уже оттуда возвращались. Много знакомых и Пушкину и Данзасу встречались, раскланивались с ними, но никто как будто и не догадывался, куда они ехали; а между тем история Пушкина с Гекеренами была хорошо известна всему этому обществу.

На Неве Пушкин спросил Данзаса, шутя: «Не в крепость ли ты везешь меня?» — «Нет,— отвечал Данзас,— через крепость на Черную речку самая близкая дорога».

На Каменноостровском проспекте они встретили в санях двух знакомых офицеров Конного полка: князя В. Д. Голицына и Головина. Думая, что Пушкин и Данзас ехали на горы, Голицын закричал им: «Что вы так поздно едете, все уже оттуда разъезжаются?!»

Данзас не знает, по какой дороге ехали Дантес с д'Аршиаком; но к Комендантской даче они с ними подъехали в одно время. Данзас вышел из саней и, сговорясь с д'Аршиаком, отправился с ним отыскивать удобное для дуэли место. Они нашли такое саженях в полутораста от Комендантской дачи, более крупный и густой кустарник окружал здесь площадку и мог скрывать от глаз оставленных на дороге извозчиков то, что на ней происходило. Избрав это место, они утоптали ногами снег на том пространстве, которое нужно было для поединка, и потом позвали противников.

Несмотря на ясную погоду, дул довольно сильный ветер. Морозу было градусов пятнадцать.

Закутанный в медвежью шубу Пушкин молчал, по-видимому, был столько же покоен, как и во все время пути, но в нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Когда Данзас спросил его, находит ли он

удобным выбранное им и д'Аршиаком место, Пушкин отвечал:

— Ça m'est fort égal, seulement tâchez de faire tout cela plus vite *.

Отмерив шаги, Данзас и д'Аршиак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты. Во время этих приготовлений нетерпение Пушкина обнаружилось словами к своему секунданту:

— Et bien! est-ce fini?.. **

Все было кончено. Противников поставили, подали им пистолеты, и по сигналу, который сделал Данзас, махнув шляпой, они начали сходиться.

Пушкин первый подошел к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая ***, сказал:

— Je crois que j'ai la cuisse fracassée ****.

Секунданты бросились к нему, и, когда Дантес намеревался сделать то же, Пушкин удержал его словами:

— Attendez! je me sens assez de force pour tirer mon coup *****.

Дантес остановился у барьера и ждал, прикрыв грудь правою рукою.

При падении Пушкина пистолет его попал в снег, и потому Данзас подал ему другой.

Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил.

Дантес упал.

На вопрос Пушкина у Дантеса, куда он ранен, Дантес отвечал:

— Je crois que j'ai la balle dans la poitrine ******.

— Браво! — вскрикнул Пушкин и бросил пистолет в сторону.

Но Дантес ошибся: он стоял боком, и пуля, только контузив ему грудь, попала в руку.

Пушкин был ранен в правую сторону живота; пуля,

---

* Мне это совершенно безразлично, только постарайтесь сделать все возможно скорее.

** Все ли наконец кончено?

*** Раненый Пушкин упал на шинель Данзаса, окровавленная подкладка хранится у него до сих пор.

**** Мне кажется, что у меня раздроблена ляжка.

***** Подождите, у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел.

****** Я думаю, что я ранен в грудь.

раздробив кость верхней части ноги у соединения с тазом, глубоко вошла в живот и там остановилась.

Данзас с д'Аршиаком подозвали извозчиков и с помощью их разобрали находившийся там из тонких жердей забор, который мешал саням подъехать к тому месту, где лежал раненый Пушкин. Общими силами усадив его бережно в сани, Данзас приказал извозчику ехать шагом, а сам пошел пешком подле саней, вместе с д'Аршиаком; раненый Дантес ехал в своих санях за ними.

У Комендантской дачи они нашли карету, присланную на всякий случай бароном Гекереном, отцом. Дантес и д'Аршиак предложили Данзасу отвезти в ней в город раненого поэта. Данзас принял это предложение, но отказался от другого, сделанного ему в то же время Дантесом предложения, скрыть участие его в дуэли.

Не сказав, что карета была барона Гекерена, Данзас посадил в нее Пушкина и, сев с ним рядом, поехал в город. Во время дороги Пушкин держался довольно твердо; но, чувствуя по временам сильную боль, он начал подозревать опасность своей раны.

Пушкин вспомнил про дуэль общего знакомого их, офицера Московского полка Щербачева, стрелявшегося с Дороховым, на которой Щербачев был смертельно ранен в живот, и, жалуясь на боль, сказал Данзасу: «Я боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев». Он напомнил также Данзасу и о своей прежней дуэли в Кишиневе с Зубовым. Во время дороги Пушкин в особенности беспокоился о том, чтобы по приезде домой не испугать жены, и давал наставления Данзасу, как поступить, чтобы этого не случилось.

Пушкин жил на Мойке, в нижнем этаже дома Волконского. У подъезда Пушкин просил Данзаса выйти вперед, послать людей вынести его из кареты, и если жена его дома, то предупредить ее и сказать, что рана не опасна. В передней люди сказали Данзасу, что Натальи Николаевны не было дома, но, когда Данзас сказал им, в чем дело, и послал их вынести раненого Пушкина из кареты, они объявили, что госпожа их дома. Данзас чрез столовую, в которой накрыт уже был стол, и гостиную пошел прямо без доклада в кабинет жены Пушкина. Она сидела с своей старшей незамужней сестрой Александрой Николаевной Гончаровой. Внезапное появление Данзаса очень удивило Наталью Николаевну, она взглянула на него с выражением испуга, как бы догадываясь о случившемся.

Данзас сказал ей сколько мог покойнее, что муж ее стрелялся с Дантесом, что хотя ранен, но очень легко.

Она бросилась в переднюю, куда в это время люди вносили Пушкина на руках.

Увидя жену, Пушкин начал ее успокаивать, говоря, что рана его вовсе не опасна, и попросил уйти, прибавив, что, как только его уложат в постель, он сейчас же позовет ее.

Она, видимо, была поражена и удалилась как-то бессознательно.

Между тем Данзас отправился за доктором. Сначала поехал к Арендту, потом к Саломону; не застав дома ни того, ни другого, оставил им записки и отправился к доктору Персону; но и тот был в отсутствии. Оттуда, по совету жены Персона, Данзас поехал в Воспитательный дом, где, по словам ее, он мог найти доктора наверное. Подъезжая к Воспитательному дому, Данзас встретил выходившего из ворот доктора Шольца. Выслушав Данзаса, Шольц сказал ему, что он, как акушер, в этом случае полезным быть не может, но что сейчас же привезет к Пушкину другого доктора.

Вернувшись назад, Данзас нашел Пушкина в его кабинете, уже раздетого и уложенного на диване; жена его была с ним. Вслед за Данзасом приехал и Шольц с доктором Задлером *. Когда Задлер осмотрел рану и наложил компресс, Данзас, выходя с ним из кабинета, спросил его, опасна ли рана Пушкина. «Пока еще ничего нельзя сказать»,— отвечал Задлер. В это время приехал Арендт, он также осмотрел рану. Пушкин просил его сказать ему откровенно: в каком он его находит положении, и прибавил, что какой бы ответ ни был, он его испугать не может, но что ему необходимо знать наверное свое положение, чтобы успеть сделать некоторые нужные распоряжения.

— Если так,— отвечал ему Арендт,— то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды.

Пушкин благодарил Арендта за откровенность и просил только не говорить жене.

Прощаясь, Арендт объявил Пушкину, что по обязанности своей он должен доложить обо всем случившемся государю.

Пушкин ничего не возразил против этого, но поручил

* Задлер перед приездом к Пушкину только что успел перевязать рану Дантеса.

только Арендту просить от его имени государя не преследовать его секунданта.

Уезжая, Арендт сказал провожавшему его в переднюю Данзасу:

— Штука скверная, он умрет.

По отъезде Арендта Пушкин послал за священником, исповедовался и приобщался [7].

В это время один за другим начали съезжаться к Пушкину друзья его: Жуковский, князь Вяземский, граф М. Ю. Вьельгорский, князь П. И. Мещерский, П. А. Валуев, А. И. Тургенев, родственница Пушкина, бывшая фрейлина Загряжская; все эти лица до самой смерти Пушкина не оставляли его дома и отлучались только на самое короткое время.

Спустя часа два после своего первого визита Арендт снова приехал к Пушкину и привез ему от государя собственноручную записку карандашом, следующего содержания:

«Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой последний совет: старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение» *.

Арендт объявил Пушкину, что государь приказал ему узнать, есть ли у него долги, что он все их желает заплатить.

Когда Арендт уехал, Пушкин позвал к себе жену, говорил с нею и просил ее не быть постоянно в его комнате, он прибавил, что будет сам посылать за нею.

В продолжение этого дня у Пушкина перебывало несколько докторов, в том числе: Саломон и Буяльский. Домашним доктором Пушкина был доктор Спасский, но Пушкин мало имел к нему доверия. По рекомендации бывшего тогда главного доктора Конногвардейского полка Шеринга, Данзас пригласил доктора провести у Пушкина всю ночь. Фамилии этого доктора Данзас не помнит.

Перед вечером Пушкин, подозвав Данзаса, просил его записывать и продиктовал ему все свои долги, на которые не было ни векселей, ни заемных писем [8].

Потом он снял с руки кольцо и отдал Данзасу, прося принять его на память [9]. При этом он сказал Данзасу, что не хочет, чтоб кто-нибудь мстил за него и что желает умереть христианином.

---

* Записку эту Арендт взял с собою обратно.

Вечером ему сделалось хуже. В продолжение ночи страдания Пушкина до того усилились, что он решился застрелиться. Позвав человека, он велел подать ему один из ящиков письменного стола; человек исполнил его волю, но, вспомнив, что в этом ящике были пистолеты, предупредил Данзаса.

Данзас подошел к Пушкину и взял у него пистолеты, которые тот уже спрятал под одеяло; отдавая их Данзасу, Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его были невыносимы.

Поутру на другой день, 28 января, боли несколько уменьшились, Пушкин пожелал видеть жену, детей и свояченицу свою Александру Николаевну Гончарову, чтобы с ними проститься.

При этом прощании Пушкина с семейством Данзас не присутствовал.

Во все время болезни Пушкина передняя его постоянно была наполнена знакомыми и незнакомыми, вопросы: «Что Пушкин? легче ли ему? поправится ли он? есть ли надежда?» — сыпались со всех сторон.

Государь, наследник, великая княгиня Елена Павловна постоянно посылали узнавать о здоровье Пушкина; от государя приезжал Арендт несколько раз в день.

У подъезда была давка.

В передней какой-то старичок сказал с удивлением: «Господи боже мой! я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было!»

Пушкин впускал к себе только самых коротких своих знакомых, хотя всеми интересовался: беспрестанно спрашивал, кто был у него в доме, и говорил: «Мне было бы приятно видеть их всех, но у меня нет силы говорить с ними». По этой причине, вероятно, он не простился и с некоторыми из своих лицейских товарищей.

Узнав от Данзаса о приезде Катерины Андреевны Карамзиной, жены знаменитого нашего историка, Пушкин пожелал с нею проститься и, посылая за ней Данзаса, сказал: «Я хочу, чтоб она меня благословила».

Данзас ввел ее в кабинет и оставил одну с Пушкиным. Через несколько времени она вышла оттуда в слезах.

К полудню Пушкину сделалось легче, он несколько развеселился и был в духе. Около часу приехал доктор Даль (известный казак Луганский). Пушкин просил его войти и, встречая его, сказал: «Мне приятно вас видеть не только

как врача, но и как родного мне человека по нашему общему литературному ремеслу».

Он разговаривал с Далем * и шутил. В комнате были некоторые из друзей Пушкина и несколько докторов, между которыми был и Арендт. Окружающие, видя веселое расположение Пушкина, начали надеяться или, по крайней мере, желали, чтобы болезнь приняла более благоприятный оборот. Эти надежды казались тем основательнее, что сами доктора перестали отвергать ее; по крайней мере, они говорили друзьям Пушкина, что предположения медиков иногда бывают ошибочными, что, несмотря на их решение, Пушкин, может быть, и поправится. Они нашли полезным поставить ему пиявки. Пушкин сам помогал их ставить; смотрел, как они принимались, и приговаривал: «Вот это хорошо, это прекрасно».

Через несколько минут потом Пушкин, глубоко вздохнув, сказал: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать».

Весь следующий день Пушкин был довольно покоен; он часто призывал к себе жену; но разговаривать много не мог, ему это было трудно. Он говорил, что чувствует, как слабеет.

Ночью Пушкину стало хуже, им овладела болезненная тоска. По временам он засыпал; но ненадолго, беспрестанно просыпаясь, все просил пить, но пил только по нескольку глотков. Данзас и Даль от него не отходили. Обращаясь к Далю, Пушкин жаловался на тоску и слабость, говорил: «Скоро ли это кончится?»

Поутру 29 января он несколько раз призывал жену. Потом пожелал видеть Жуковского и говорил с ним довольно долго наедине. Выйдя от него, Жуковский сказал Данзасу: «Подите, пожалуйста, к Пушкину, он об вас спрашивал». Но когда Данзас вошел, Пушкин ничего не сказал ему особенного, спросил только, по обыкновению, много ли у него было посетителей и кто именно.

Собравшиеся в это утро доктора нашли Пушкина уже совершенно в безнадежном положении, а приехавший затем Арендт объявил, что Пушкину осталось жить не более двух часов.

---

* Даль с этого времени до самой смерти Пушкина оставался в его доме вместе с другими друзьями Пушкина и отлучался только на несколько минут. Пушкин не был коротко знаком с Далем и говорил ему «вы»; в последние минуты начал говорить «ты». У больного Пушкина почти постоянно был и граф Г. А. Строганов.

Подъезд с утра был атакован публикой до такой степени, что Данзас должен был обратиться в Преображенский полк с просьбою поставить у крыльца часовых, чтобы восстановить какой-нибудь порядок: густая масса собравшихся загораживала на большое расстояние все пространство перед квартирой Пушкина, к крыльцу почти не было возможности протискаться.

Между принимавшими участие были, разумеется, и такие, которые толпились только из любопытства. От этих господ, говорит Данзас, было очень трудно отделываться, они сами не знали, что им было нужно, и засыпали самыми нелепыми вопросами. Данзас был ранен в Турецкую кампанию и носил руку на перевязке. Не ранен ли он тоже на дуэли Пушкина, спросил Данзаса один из этих любопытных господ.

Между тем Пушкину делалось все хуже и хуже, он, видимо, слабел с каждым мгновением. Друзья его: Жуковский, князь Вяземский с женой, князь Петр Иванович Мещерский, А. И. Тургенев, г-жа Загряжская, Даль и Данзас были у него в кабинете. До последнего вздоха Пушкин был в совершенной памяти, перед самой смертью ему захотелось морошки. Данзас сейчас же за нею послал, и когда принесли, Пушкин пожелал, чтоб жена покормила его из своих рук, ел морошку с большим наслаждением и после каждой ложки, подаваемой женою, говорил: «Ах, как это хорошо».

Когда этот болезненный припадок аппетита был удовлетворен, жена Пушкина вышла из кабинета *. В отсутствие ее началась агония, она была почти мгновенна: потухающим взором обвел умирающий поэт шкапы своей библиотеки, чуть внятно прошептал: «Прощайте, прощайте»,— и тихо уснул навсегда.

Госпожа Пушкина возвратилась в кабинет в самую минуту его смерти...

Наталья Николаевна Пушкина была красавица. Увидя умирающего мужа, она бросилась к нему и упала перед ним на колени; густые темно-русые букли в беспорядке рассыпались у ней по плечам. С глубоким отчаянием она протянула руки к Пушкину, толкала его и, рыдая, вскрикивала: «Пушкин, Пушкин, ты жив?!»

Картина была разрывающая душу...

---

* Выходя, она, обрадованная аппетитом мужа, сказала, обращаясь к окружающим: «Вот вы увидите, что он будет жив».

Тело Пушкина стояло в его квартире два дня, вход для всех был открыт, и во все это время квартира Пушкина была набита битком. В ночь с 30 на 31 января тело Пушкина отвезли в Придворно-Конюшенную церковь, где на другой день совершено было отпевание, на котором присутствовали все власти, вся знать, одним словом, весь Петербург. В церковь впускали по билетам, и, несмотря на то, в ней была давка, публика толпилась на лестнице и даже на улице. После отпеванья все бросились к гробу Пушкина, все хотели его нести.

Пушкин желал быть похороненным около своего имения Псковской губернии, в Святогорском монастыре, где была похоронена его мать.

После отпеванья гроб был поставлен в погребе Придворно-Конюшенной церкви. Вечером 1 февраля была панихида, и тело Пушкина повезли в Святогорский монастырь.

От глубоких огорчений, от потери мужа жена Пушкина была больна, она просила государя письмом дозволить Данзасу проводить тело ее мужа до могилы, так как по случаю тяжкой болезни она не могла исполнить этого сама. Государь, не желая нарушить закон, отказал ей в этой просьбе, потому что Данзаса за участие в дуэли должно было предать суду; проводить тело Пушкина предложено было А. И. Тургеневу, который это и исполнил.

М. Н. ЛОНГИНОВ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ И КОНЧИНА А. С. ПУШКИНА

Читатели сами познакомятся с любопытным содержанием вышедшей брошюры, а потому мы и не будем делать из нее выписок; лучше сообщим им кое-какие подробности о печальном событии и выскажем некоторые мысли, пришедшие нам на память по прочтении брошюры.

У Пушкина была книга, в которую он записывал наскоро анекдоты, разные заметки о городских новостях и пр. Многие видели эту книгу и были, без сомнения, поражены странною случайностью. Под каким-то числом, помнится, 1833 года в книге этой записано Пушкиным короткое известие: «Сегодня приехали сюда два француза: Дантес и д'Аршиак [1]. Подобных заметок там не встречается и непонятно, как пришло в мысль Пушкину записать подобную малоинтересную новость. По странной случайности, внимание его обратилось за несколько лет до поединка на прибытие в Петербург, приехавших туда вместе, двух иностранцев, из которых один был второстепенный чиновник посольства, а другой безвестный искатель фортуны, и из которых одному суждено было убить его, а другому быть свидетелем этого ужасного события.

Известно, что Пушкину еще смолоду предсказала гадальщица Кирхгоф, что он погибнет от белого человека. По непонятной игре случая Дантес был вполне «белым человеком», физически и даже политически: он был блондин, кавалергард (следовательно, ходил в белом мундире) и легитимист (цвет кокарды, служащей отличием этой партии, белый).

П. В. Анненков говорит (Соч. Пушкина, 1855 г., т. I, стр. 427), что в день поединка свидетели везли противников на место дуэли через место публичного гулянья, останавливались, роняли нарочно оружие и пр., надеясь еще, что общество вступится в дело и помешает дуэли, но что все

было тщетно. Я был в это время очень молод и сам был тяжко болен, едва возвращенный к жизни стараниями незабвенного Н. Ф. Арендта. Поэтому от меня скрывали в течение двух дней несчастье, случившееся с Пушкиным, боясь огорчить меня и повредить моему выздоровлению. Но узнав наконец дело, я по горячим следам слышал много подробностей о происшедшем, которые пополнялись впоследствии новыми доставленными известиями. Неоднократно слышанный мною от покойной графини А. К. Воронцовой-Дашковой рассказ об этом роковом дне остался, между прочим, жив в моей памяти. Эта прелестная и любезная женщина, слишком рано покинувшая свет, которого была истинным украшением, не могла никогда вспоминать без горести о том, как она встретила Пушкина, едущего на острова с Данзасом, и направляющихся туда же Дантеса с д'Аршиаком. Она думала, как бы предупредить несчастие, в котором не сомневалась после такой встречи, и не знала как быть. К кому обратиться? Куда послать, чтоб остановить поединок? Приехав домой, она в отчаянии говорила, что с Пушкиным непременно произошло несчастие, и предчувствие девятнадцатилетнего женского сердца не было обманом. Вот новое доказательство, до какой степени в петербургском обществе предвидели ужасную катастрофу: при первом признаке ее приближения уже можно было догадываться о том, что произойдет.

Домашний доктор Пушкина, покойный И. Т. Спасский, лечил в то время и меня, будучи нашим домовым медиком. Он тогда же подарил мне составленное им рукописное описание кончины Пушкина, послужившее отчасти материалом для известного письма Жуковского и напечатанное мною в «Библиографических Записках» 1859 года. Очень помню, что Спасский в то же время привез мне только что вышедшее тогда миниатюрное издание «Онегина» и с чувством перечитывал конец шестой его главы. Тут же Спасский сказал мне, что раненый Пушкин как-то заметил ему, что цифра 6 для него несчастна. Горе его началось в 1836 году, когда ему исполнилось 36 лет, а жене его 24 ($2 + 4 = 6$); 6-я глава «Онегина» заключала в себе как бы предчувствие о собственной кончине поэта и пр. Стало быть, печальная параллель между ним и Ленским приходила на мысль самому умирающему Пушкину.

Не многим, вероятно, известны обстоятельства выноса и отпевания тела Пушкина. Вечером 31 января, на последней панихиде, бывшей в доме Пушкина, условлено было,

что тело вынесут на другое утро в Адмиралтейскую церковь и будут там отпевать его. Все были приглашены туда. Вдруг, часу в третьем ночи, прислано было через графа Бенкендорфа повеление, чтобы тело было перенесено из дому немедленно же и притом не в Адмиралтейскую, а в Конюшенную церковь. Это и было исполнено сейчас же, в присутствии немногих друзей семейства, проводивших последнюю ночь при теле поэта, и в сопровождении присланной нарочно на место многочисленной жандармской команды. Утром многие приглашенные на отпевание и желавшие отдать последний долг Пушкину являлись в Адмиралтейство, с удивлением находили двери церкви запертыми и не могли найти никого для объяснения такого обстоятельства. В это время происходило отпевание в Конюшенной церкви, куда приезжавших пускали по билетам, а затем тело Пушкина было поставлено в склеп Конюшенной церкви и в ту же ночь повезено оттуда в Святогорский монастырь в сопровождении А. И. Тургенева.

И. Т. СПАССКИЙ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ А. С. ПУШКИНА

(Рассказ очевидца)

Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасной
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..

*(«Евгений Онегин»,
гл. VI, XXXI)*

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
. . . .
. . . .
Увял!

(Там же, XXXVI)

В 7 часов вечера 27 числа минувшего месяца приехал за мною человек Пушкина. Александр Сергеевич очень болен, приказано просить как можно поскорее. Я не медля отправился. В доме больного я нашел доктора Арендта и Сатлера. С изумлением я узнал об опасном положении Пушкина.

— Что, плохо? — сказал мне Пушкин, подавая руку. Я старался его успокоить. Он сделал рукою отрицательный знак, показывавший, что он ясно понимал опасность своего положения.

— Пожалуйста, не давайте больших надежд жене, не скрывайте от нее, в чем дело, она не притворщица; вы ее хорошо знаете; она должна все знать. Впрочем, делайте со мною, что вам угодно, я на все согласен и на все готов.

Врачи, уехав, оставили на мои руки больного. По желанию родных и друзей Пушкина я сказал ему об исполнении христианского долга. Он тот же час на то согласился.

— За кем прикажете послать? — спросил я.

— Возьмите первого, ближайшего священника,— отвечал Пушкин. Послали за отцом Петром, что в Конюшенной. Больной вспомнил о Грече.

— Если увидите Греча,— молвил он,— кланяйтесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере [1].

В 8 часов вечера возвратился доктор Арендт. Его оставили с больным наедине. В присутствии доктора Арендта прибыл и священник. Он скоро отправил церковную требу: [2] больной исповедался и причастился святых тайн. Когда я к нему вошел, он спросил, что делает жена. Я отвечал, что она несколько спокойнее.

— Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском,— возразил он,— не уехал еще Арендт?

Я сказал, что доктор Арендт еще здесь.

— Просите за Данзаса, за Данзаса, он мне брат.

Желание Пушкина было передано доктору Арендту и лично самим больным повторено. Доктор Арендт обещал возвратиться к 11-ти часам. Необыкновенное присутствие духа не оставляло больного. От времени до времени он тихо жаловался на боль в животе и забывался на короткое время. Доктор Арендт приехал в 11 часов. В лечении не последовало перемен. Уезжая, доктор Арендт просил меня тотчас прислать за ним, если я найду то нужным. Я спросил Пушкина, не угодно ли ему сделать какие-либо распоряжения.

— Все жене и детям,— отвечал он.— Позовите Данзаса.

Данзас вошел. Пушкин захотел остаться с ним один. Он объявил Данзасу свои долги. Около четвертого часу боль в животе начала усиливаться и к пяти часам сделалась значительною. Я послал за Арендтом, он не замедлил приехать. Боль в животе возросла до высочайшей степени. Это была настоящая пытка. Физиономия Пушкина изменилась: взор его сделался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит, чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало. Больной испытывал ужасную муку. Но и тут необыкновенная твердость его души раскрылась в полной мере. Готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтоб жена не услышала, чтоб ее не испугать.

— Зачем эти мучения,— сказал он,— без них я бы умер спокойно.

Наконец боль, по-видимому, стала утихать, но лицо еще выражало глубокое страдание, руки по-прежнему были холодны, пульс едва заметен,

— Жену, просите жену,— сказал Пушкин.

Она с воплем горести бросилась к страдальцу. Это зрелище у всех извлекло слезы. Несчастную надобно было отвлечь от одра умирающего. Таков действительно был Пушкин в то время. Я спросил его, не хочет ли он видеть своих друзей.

— Зовите их,— отвечал он.

Жуковский, Вьельгорский, Вяземский, Тургенев и Данзас входили один за другим и братски с ним прощались.

— Что сказать от тебя царю? — спросил Жуковский.

— Скажи, жаль, что умираю, весь его бы был,— отвечал Пушкин.

Он спросил, здесь ли Плетнев и Карамзина. Потребовал детей и благословил каждого особенно. Я взял больного за руку и щупал его пульс. Когда я оставил его руку, то он сам приложил пальцы левой своей руки к пульсу правой, томно, но выразительно взглянул на меня и сказал:

— Смерть идет.

Он не ошибался, смерть летала над ним в это время. Приезда Арендта он ожидал с нетерпением.

— Жду слова от царя, чтобы умереть спокойно,— промолвил он.

Наконец доктор Арендт приехал. Его приезд, его слова оживили умирающего. В 11-м часу утра я оставил Пушкина на короткое время, простился с ним, не полагая найти его в живых по моем возвращении. Место мое занял другой врач.

По возвращении моем в 12 часов пополудни мне казалось, что больной стал спокойнее. Руки его были теплее и пульс явственнее. Он охотно брал лекарства, заботливо спрашивал о жене и детях. Я нашел у него доктора Даля. Пробыв у больного до четвертого часу, я снова его оставил на попечение доктора Даля и возвратился к нему около семи часов вечера. Я нашел, что у него теплота в теле увеличилась, пульс сделался гораздо явственнее и боль в животе ощутительнее. Больной охотно соглашался на все предлагаемые ему пособия. Он часто требовал холодной воды, которую ему давали по чайным ложечкам, что весьма его освежало. Так как эту ночь предложил остаться при больном доктор Даль, то я оставил Пушкина около полуночи.

Рано утром 29 числа я к нему возвратился. Пушкин истаевал. Руки были холодны, пульс едва заметен. Он беспрестанно требовал холодной воды и брал ее в малых количествах, иногда держал во рту небольшие куски льду и от времени до времени сам тер себе виски и лоб льдом. Доктор Арендт подтвердил мои и доктора Даля опасения. Около 12 часов больной спросил зеркало, посмотрел в него и махнул рукою. Он неоднократно приглашал к себе жену. Вообще все входили к нему только по его желанию. Нередко на вопрос: не угодно ли вам видеть жену или кого-либо из друзей,— он отвечал:

— Я позову.

Незадолго до смерти ему захотелось морошки. Наскоро послали за этой ягодой. Он с большим нетерпением ее ожидал и несколько раз повторял:

— Морошки, морошки.

Наконец привезли морошку.

— Позовите жену,— сказал Пушкин,— пусть она меня кормит.

Он съел 2—3 ягодки, проглотил несколько ложечек соку морошки, сказал — довольно, и отослал жену. Лицо его выражало спокойствие. Это обмануло несчастную его жену; выходя, она сказала мне: «Вот увидите, что он будет жив, он не умрет».

Но судьба определила иначе. Минут за пять до смерти Пушкин просил поворотить его на правый бок. Даль, Данзас и я исполнили его волю: слегка поворотили его и подложили к спине подушку.

— Хорошо,— сказал он и потом несколько погодя промолвил: — Жизнь кончена.

— Да, конечно,— сказал доктор Даль,— мы тебя поворотили.

— Кончена жизнь,— возразил тихо Пушкин.

Не прошло нескольких мгновений, как Пушкин сказал:

— Теснит дыхание.

То были последние его слова. Оставаясь в том же положении на правом боку, он тихо стал кончаться, и — вдруг его не стало.

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.

2 февраля 1837 г.

Е. Н. МЕЩЕРСКАЯ

ПИСЬМО К М. И. МЕЩЕРСКОЙ

«Мы были так жестоко потрясены кровавым событием, положившим конец славному поприщу Пушкина, что дней десять или недели две буквально не могли опомниться и ни умом, ни сердцем не были доступны ничему, кроме мысли о нравственных муках, предшествовавших катастрофе,— кроме чувств удивления, грусти и скорби, которые эта прекрасная, тихая, христианская и поэтическая кончина внушала всем друзьям Пушкина. С самого моего приезда я была поражена лихорадочным его состоянием и какими-то судорожными движениями, которые начинались в его лице и во всем теле при появлении будущего его убийцы. Необходимость беспрерывно вращаться в неблаговолящем свете, жадном до всяких скандалов и пересудов, щедром на обидные сплетни и на язвительные толки; затем вдвойне преступное ухаживанье Дантеса после того, как он достиг безнаказанности своего прежнего поведения непонятною женитьбой на невестке Пушкина,— вся эта туча стрел, направленных против огненной организации, против честной, гордой и страстной его души, произвела такой пожар, который мог быть потушен только подлою кровью врага его или же собственною его благородною кровью. Во все время роковой дуэли и до последнего вздоха он вел себя геройски по свидетельству самого француза, бывшего секундантом Дантеса и который, рассказывая про это дело, говорил: «Один Пушкин был на этой дуэли изумительно высок, он выказал нечеловеческое спокойствие и мужество». Когда его привезли домой умирающим, он ни на минуту не усомнился в неминуемости близкой смерти и посреди самых ужасных физических страданий (заставивших содрогнуться даже привычного к подобным сценам Арендта), Пушкин думал только о жене и о том, что она должна была чувствовать по его вине. В каждом промежутке между приступами

мучительной боли он ее призывал, старался утешить, повторял, что считает ее неповинною в своей смерти и что никогда ни на минуту не лишал ее своего доверия и любви. Он исполнил долг христианина с таким благоговением и таким глубоким чувством, что даже престарелый духовник его был тронут и на чей-то вопрос по этому поводу отвечал: «Я стар, мне уже не долго жить, на что мне обманывать? Вы можете мне не верить, когда я скажу, что я для себя самого желаю такого конца, какой он имел».

Прощаясь с друзьями, которые рыдая стояли у его одра, он спросил: «Карамзиных здесь нет?» Тотчас же послали за Е. А. Карамзиной, которая через несколько минут приехала. Увидев ее, он сказал слабым, но явственным голосом: «Благословите меня»; когда же она благословила его издали, он знаком попросил ее подойти и поцеловал ее руку. Потом он потребовал четверых детей своих и благословил одного за другим; наконец, минут за десять до неизбежного исхода, чувствуя распространявшийся по членам его холод смерти, он сказал: «Все кончено». Не расслышав этих слов, кто-то спросил: «Что кончено?» — «Жизнь кончена»,— отвечал он совершенно внятно и ясно. Через несколько минут голова его опустилась, глаза сомкнулись и последний вздох вылетел свободно, без всякого судорожного напряжения. Когда друзья и несчастная жена устремились к бездыханному телу, их поразило величавое и торжественное выражение лица его. На устах сияла улыбка, как будто отблеск несказанного спокойствия, на челе отражалось тихое блаженство осуществившейся светлой надежды. В течение трех дней, в которые тело его оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснилось пестрою толпой вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь думал и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память славного поэта и несчастного супруга, с изумительным мужеством принесшего свою жизнь в жертву чести, и в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного обольстителя и проходимца, у которого было три отечества и два имени. Можно ли после этого придавать цену обще-

ственному мнению или, по крайней мере, мнению нашего общества, бросающего грязью в то, что составляет его славу, и восхищающегося слякотью, которая его же запачкает своими брызгами [1]. Я все это время была каждый день у жены покойного, во-первых, потому, что мне было отрадно приносить эту дань памяти Пушкина, а во-вторых, потому, что печальная судьба этой молодой женщины в полной мере заслуживает участия. Собственно говоря, она виновна только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина; теперь, когда несчастье раскрыло ей глаза, она вполне все это чувствует и совесть иногда страшно ее мучит. Дай бог, чтобы нынешние страдания послужили для души ее источником возрождения и искупительною жертвой. В сущности, она сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных дам, которых, однако ж, из-за этого принимают не хуже прежнего; но она не так искусно умела скрыть свое кокетство, и, что еще важнее, она не поняла, что ее муж был иначе создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам».

В. А. ЖУКОВСКИЙ

КОНСПЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ О ГИБЕЛИ ПУШКИНА

1

4 ноября. Les lettres anonymes *[1].

6 ноября. Гончаров у меня. Моя поездка в Петербург. К Пушкину. Явление Геккерна. Мое возвращение к Пушкину. Остаток дня у Вьельгорского и Вяземского. Вечером письмо Загряжской [2].

7 ноября. Я поутру у Загряжской. От нее к Геккерну. (Mes antecedents **. Незнание совершенное прежде бывшего.) Открытия Геккерна. О любви сына к Катерине (моя ошибка насчет имени). Открытие о родстве; о предполагаемой свадьбе.— Мое слово.— Мысль [дуэль] все остановить.— Возвращение к Пушкину. Les révélations ***. Его бешенство.— Свидание с Геккерном. Извещение его Вьельгорским. Молодой Геккерн у Вьельгорского [3].

8 [*ноября*]. Pourparlers ****. Геккерн у Загряжской. Я у Пушкина. Большее спокойствие. Его слезы. То, что я говорил о его отношениях [4].

9 [*ноября*]. Les révélations de Heckern *****.— Мое предложение посредничества. Сцена втроем с отцом и сыном. Мое предложение свидания [5].

10 [*ноября*]. Молодой Геккерн у меня. Я отказываюсь от свидания. Мое письмо к Геккерну. Его ответ. Мое свидание с Пушкиным [6].

---

* Анонимные письма.
** Мои прежние действия.
*** Откровения, разоблачения.
**** Переговоры.
***** Разоблачения Геккерна.

2

После того как я отказался.

Присылка за мною Е. И. Что Пушк. сказал Александрине.

Мое посещение Геккерна.

Его требование письма.

Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает [слухи] о сватовстве.

Свидание Пушкину с Геккерном у Е. И.

Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство [7].

Снова дуэль. Секундант. Письмо Пушкина [8].

Записка Н. Н. ко мне и мой совет. Это было на [бале] рауте Фикельмона.

Сватовство. Приезд братьев [9].

После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной [10].

Les Révélations d'Alexandrine *.

При тетке ласка с женой; при Александрине и других, кои могли бы рассказать, des brusqueries **. Дома же веселость и большое согласие.

История кровати.

Le gaillard tire bien ***.

Vous m'avez porté bonheur **** [11].

3

Встал весело в 8 часов.— После чаю много писал — часу до 11-го. С 11 обед.— Ходил по комнате необыкнов⟨енно⟩ весело, пел песни.— Потом увидел в окно Данзаса, в дверях вст⟨ретил⟩ радостно. Взошли в кабинет, запер дверь.— Через неск⟨олько⟩ минут посл⟨ал⟩ за пистолетами.— По отъезде Данзаса начал одеваться; вымылся весь, все чистое; велел подать бекешь; вышел на лестницу.— Возвратился,— [принес] велел подать в кабинет большу⟨ю⟩ шубу и [поехал] пошел пешком до извощика.— Это было ровно в 1 ч.— Возвратился уже темно. В карете. Данзас входит, спр⟨ашивает⟩: Бар⟨ыня⟩ дома —

* Разоблачения Александрины.
** грубости.
*** Балагур метит хорошо.
**** Вы принесли мне счастье.

вынесли из кареты люди.— Камердинер взял его в охапку. Грустно тебе нести меня — попросил.

Жена встретилась в [дива⟨нной⟩] передней — дурнота — n'entrez pas *. Его положили на диван. Горшок. Разделся и все новое белье. Сам велел все; потом лег. У него все был Данзас. Жена вошл⟨а⟩, когда он был одет и когда уже послали за Арендтом.— Задлер.— Арендт часу в девятом.

В понедельник приезд [Дантеса с] Геккерн⟨а⟩ ссора на лестнице [12].

Получены деньги из Государств. казначейства 1-го февраля [13] 10 000. Отдал Графу Григорию Александровичу Строганову.

4

Спасский. О жене и Грече.
Арендт.
    Просит прощения.
    Уехали.
Страдание ночью.
Возвращение Арендта.
    Фельдъегерь.
    Прибытие Арендта.
    Записка.
    Исповедь и причащение [14].

ПИСЬМО К С. Л. ПУШКИНУ

⟨15 февраля 1837 г.⟩

Я не имел духу писать к тебе, мой бедный Сергей Львович. Что я мог тебе сказать, угнетенный нашим общим несчастием, которое упало на нас, как обвал, и всех раздавило? Нашего Пушкина нет! это, к несчастию, верно; но все еще кажется невероятным. Мысль, что его нет, еще не может войти в порядок обыкновенных, ясных ежедневных мыслей. Еще по привычке продолжаешь искать его, еще так естественно ожидать с ним встречи в некоторые услов-

---

* не входите.

ные часы; еще посреди наших разговоров как будто отзывается его голос, как будто раздается его живой, веселый [ребячески веселый] смех, и там, где он бывал ежедневно, ничто не переменилось, нет и признаков бедственной утраты, все в обыкновенном порядке, все на своем месте; а он пропал, и навсегда — непостижимо. В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами. Не говорю о тебе, бедный дряхлый отец; не говорю об нас, горюющих друзьях его. Россия лишилась своего любимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созревание совершалось; пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучею, буйною, часто беспорядочною силою молодости, тревожимой гением, предается более спокойной, более образовательной силе здравого мужества, столько же свежей, как и первая, может быть, не столь порывистой, но более творческой. У кого из русских с его смертию не оторвалось что-то родное от сердца?

И между всеми русскими особенную потерю сделал в нем сам государь. При начале своего царствования он его себе присвоил; он отворил руки ему в то время, когда он был раздражен несчастием, им самим на себя навлеченным; он следил за ним до последнего его часа; бывали минуты, в которые, как буйный, еще не остепенившийся ребенок, он навлекал на себя неудовольствие своего хранителя, но во всех изъявлениях неудовольствия со стороны государя было что-то нежное, отеческое. После каждого подобного случая связь между ими усиливалась: в одном — чувство испытанного им наслаждения простить, в другом — живым движением благодарности, которая более и более проникала душу Пушкина и наконец слилась в ней с поэзиею. Государь потерял [наш век потерял] в нем свое создание, своего поэта, который принадлежал бы к славе его царствования, как Державин — славе Екатерины, а Карамзин — славе Александра. И государь до последней минуты Пушкина остался верен своему благотворению. Он отозвался умирающему на последний земной крик его; и как отозвался? Какое русское сердце не затрепетало благодарностию на этот голос царский? В этом голосе выражалось не одно личное, трогательное чувство, но вместе и любовь к народной славе, и высокий приговор нравственный, достойный царя, представителя и славы и нравственности народной.

1

Первые минуты ужасного горя для тебя прошли; теперь ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебе все, что было в последние минуты твоего сына, что я видел сам, что мне рассказали другие очевидцы.

Опишу просто все, что со *мною* было. В середу 27-го числа генваря в 10 часов вечера приехал я к князю Вяземскому. Вхожу в переднюю. Мне говорят, что князь и княгиня у Пушкиных. Это показалось мне странным. Почему меня не позвали? Сходя с лестницы, я зашел к Валуеву. Он встретил меня словами: «Получили ли вы записку княгини? К вам давно послали. Поезжайте к Пушкину: он умирает; он смертельно ранен». Оглушенный этим известием, я побежал с лестницы, велел везти себя прямо к Пушкину, но, проезжая мимо Михайловского дворца и зная, что граф Вьельгорский находится у великой княгини (у которой тогда был концерт), велел его вызвать и сказал ему о случившемся, дабы он мог немедленно по окончании вечера вслед за мною же приехать. Вхожу в переднюю (из которой дверь была прямо в кабинет твоего умирающего сына), нахожу в нем докторов Арендта и Спасского, князя Вяземского, князя Мещерского, Валуева. На вопрос мой: «Каков он?» — Арендт, который с самого начала не имел никакой надежды, отвечал мне: «Очень плох, он умрет непременно».

Вот что рассказали мне о случившемся.

Дуэль была решена накануне (во вторник 26 генваря); утром 27-го числа Пушкин, еще не имея секунданта, вышел рано со двора. Встретясь на улице с своим лицейским товарищем полковником [подполковником] Данзасом, он посадил его с собою в сани и, не рассказывая ничего, повез к д'Аршиаку, секунданту своего противника. Там, прочитав перед Данзасом собственноручную копию с того письма, которое им было написано к министру Геккерну и которое произвело вызов от молодого Геккерна, он оставил Данзаса для условий с д'Аршиаком, а сам возвратился к себе и дожидался спокойно развязки. Его спокойствие было удивительное; он занимался своим «Современником» и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой (сочинительнице «Русской истории для детей», трудившейся для его журнала); в этом письме, довольно длинном, он говорит ей о назначенных им для

перевода пиесах и входит в подробности о ее истории, на которую делает критические замечания так просто и внимательно, как будто бы ничего иного у него в эту минуту в уме не было. Это письмо есть памятник удивительной силы духа: нельзя читать его без умиления, какой-то благоговейной грусти: ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такою беззаботностию через час уже лежал умирающий от раны. По условию Пушкин должен был встретиться в положенный час со своим секундантом, кажется, в кондитерской лавке Вольфа, дабы оттуда ехать на место; он пришел туда в ⟨пробел⟩ часов. Данзас уже его дожидался с санями; поехали; избранное место было в лесу, у Комендантской дачи; выехав из города, увидели впереди другие сани; это был Геккерн с своим секундантом; остановились почти в одно время и пошли в сторону от дороги; снег был по колена; по выборе места надобно было вытоптать в снегу площадку, чтобы и тот и другой удобно могли и стоять друг против друга, и сходиться. Оба секунданта и Геккерн занялись этою работою; Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Наконец вытоптана была тропинка в аршин шириною и в двадцать шагов длиною; плащами означили барьеры, одна от другой в десяти шагах; каждый стал в пяти шагах позади своей. Данзас махнул шляпою; пошли, Пушкин почти дошел до своей барьеры; Геккерн за шаг от своей выстрелил; Пушкин упал лицом на плащ, и пистолет его увязнул в снегу так, что все дуло наполнилось снегом. «Je suis blessé» *,— сказал он, падая. Геккерн хотел к нему подойти, но он, очнувшись, сказал: «Ne bougez pas; je me sens encore assez fort pour tirer mon coup» **. Данзас подал ему другой пистолет. Он оперся на левую руку, лежа прицелился, выстрелил, и Геккерн упал, но его сбила с ног только сильная контузия; пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке против ложки; эта пуговица спасла Геккерна. Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал: «Bravo!» Между тем кровь лила [изобильно] из раны; было надобно поднять раненого; но

* Я ранен.

** Не трогайтесь с места; у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел.

на руках донести его до саней было невозможно; подвезли к нему сани, для чего надобно было разломать забор; и в санях довезли его до дороги, где дожидала его Геккернова карета, в которую он и сел с Данзасом. Лекаря на месте сражения не было. Дорогою он, по-видимому, не страдал, по крайней мере, этого не было заметно; он был, напротив, даже весел, разговаривал с Данзасом и рассказывал ему анекдоты.

Домой возвратились в шесть часов. Камердинер взял его на руки и понес на лестницу. «Грустно тебе нести меня?» — спросил у него Пушкин. Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств. Его внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван, находившийся в кабинете. Жена, пришедши в память, хотела войти; но он громким голосом закричал: «N'entrez pas» *,— ибо опасался показать ей рану, чувствуя сам, что она была опасною. Жена вошла уже тогда, когда он был совсем раздет. Послали за докторами. Арендта не нашли; приехал Шольц и Задлер. В это время с Пушкиным были Данзас и Плетнев. Пушкин велел всем выйти. «Плохо со мною»,— сказал он, подавая руку Шольцу. Рану осмотрели, и Задлер уехал за нужными инструментами. Оставшись с Шольцем, Пушкин спросил: «Что вы думаете о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок, и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогою шло много крови. Скажите откровенно, как вы находите рану?» — «Не могу вам скрыть, она опасная».— «Скажите мне, смертельная?» — «Считаю долгом не скрывать и того. Но услышим мнение Арендта и Саломона, за коими послано».— «Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi» **,— сказал Пушкин; замолчал; потер рукою лоб, потом прибавил: «Il faut que j'arrange ma maison ***. Мне кажется, что идет много крови». Шольц осмотрел рану; нашлось, что крови шло немного; он наложил новый компресс. «Не желаете ли видеть кого из ваших ближних приятелей?» — спросил Шольц. «Прощайте, друзья!» — сказал Пушкин, и в это время глаза его обратились на его библиотеку. С кем он прощался в эту минуту, с живыми ли друзьями или с мертвыми, не знаю. Он немного погодя спросил: «Разве вы думаете, что я часу не проживу?» — «О нет! но я пола-

* Не входите.

** Благодарю вас, вы поступили по отношению ко мне как честный человек.

*** Надо устроить мои домашние дела.

гал, что вам будет приятно увидеть кого-нибудь из ваших. Г[осподин] Плетнев здесь».— «Да; но я желал бы Жуковского. Дайте мне воды; тошнит». Шольц тронул пульс, нашел руку довольно холодною; пульс слабый, скорый, как при внутреннем кровотечении; он вышел за питьем, и послали за мною. Меня в это время не было дома; и не знаю, как это случилось, но ко мне не приходил никто. Между тем приехали Задлер и Саломон. Шольц оставил больного, который добродушно пожал ему руку, но не сказал ни слова.

Скоро потом явился Арендт. Он с первого взгляда увидел, что не было никакой надежды. Первою заботою было остановить внутреннее кровотечение; начали прикладывать холодные со льдом примочки на живот и давать прохладительное питье; они произвели желанное действие [больной поуспокоился], и кровотечение остановилось. Все это было поручено Спасскому, домовому доктору Пушкина, который явился за Арендтом и всю ночь остался при постеле страдальца. «Плохо мне»,— сказал Пушкин, увидя Спасского и подавая ему руку. Спасский старался его успокоить; но Пушкин махнул рукою отрицательно. С этой минуты он как будто перестал заботиться о себе и все его мысли обратились на жену. «Не давайте излишних надежд жене,— говорил он Спасскому,— не скрывайте от нее, в чем дело; она не притворщица, вы ее хорошо знаете. Впрочем, делайте со мною что хотите, я на все согласен и на все готов».

Когда Арендт перед своим отъездом подошел к нему, он ему сказал: «Попросите государя, чтобы он меня простил; [1] попросите за Данзаса, он мне брат, он невинен, я схватил его на улице». Арендт уехал. В это время уже собрались мы все, князь Вяземский, княгиня, граф Вьельгорский и я. Княгиня была с женою, которой состояние было невыразимо; как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж; он не мог ее видеть (он лежал на диване, лицом от окон к двери); но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал, и всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь,— говорил он.— Отведите ее. Она, бедная, безвинно терпит! в свете ее заедят». Вообще с начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого

терпения) он был удивительно тверд. «Я был в тридцати сражениях,— говорил доктор Арендт,— я видел много умирающих, но мало видел подобного».

И особенно замечательно то, что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной; буря, которая за несколько часов волновала его душу яростною страстию, исчезла, не оставив на нем никакого следа; ни слова, ниже воспоминания о поединке. Однажды только, когда Данзас упомянул о Геккерне, он сказал: «Не мстить за меня! Я все простил».

Но вот черта, чрезвычайно трогательная. В самый день дуэля, рано поутру, получил он пригласительный билет на погребение Гречева сына. Он вспомнил об этом посреди всех страданий. «Если увидите Греча,— сказал он Спасскому,— поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере». У него спросили: желает ли исповедаться и причаститься. Он согласился охотно, и положено было призвать священника утром.

В полночь доктор Арендт возвратился.

Покинув Пушкина, он отправился во дворец, но не застал государя, который был в театре, и сказал камердинеру, чтобы по возвращении его величества было донесено ему о случившемся. Около полуночи приезжал за Арендтом от государя фельдъегерь с повелением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государем к нему написанное, и тотчас обо всем донести. «Я не лягу, я буду ждать»,— стояло в записке государя к Арендту. Письмо же приказано было возвратить. И что же стояло в этом письме? «Если бог не велит нам более увидеться, прими мое прощенье, а с ним и мой совет: кончить жизнь христиански [исполнить долг христианский]. О жене и детях не беспокойся. Я их беру на свое попечение» [2].

Как бы я желал выразить простыми словами то, что у меня движется в душе при перечитывании этих немногих строк. Какой трогательный конец земной связи между царем и тем, кого он когда-то отечески присвоил и кого до последней минуты не покинул: как много прекрасного, человеческого в этом порыве, в этой поспешности захватить душу Пушкина на отлете, очистить ее для будущей жизни и ободрить последним земным утешением. «Я не лягу, я буду ждать»! О чем же он думал в эти минуты, где он был своею мыслью? О, конечно, перед постелью умирающего, его добрым земным гением, его духовным отцом, его примирителем с небом и землею. В ту же минуту было исполнено

угаданное желание государя. Послали за священником в ближнюю церковь. Умирающий исповедался и причастился с глубоким чувством. Когда Арендт прочитал Пушкину письмо государя, то он вместо ответа поцеловал его и долго не выпускал из рук; но Арендт не мог его оставить ему. Несколько раз Пушкин повторял: «Отдайте мне это письмо, я хочу умереть с ним. Письмо! где письмо?» [3] Арендт успокоил его обещанием испросить на то позволение у государя. Он скоро потом уехал.

До пяти часов Пушкин страдал, но сносно. Кровотечение было остановлено холодными примочками. Но около пяти часов боль в животе сделалась нестерпимою, и сила ее одолела силу души; он начал стонать; послали за Арендтом. По приезде его нашли нужным поставить промывательное, но оно не помогло и только что усилило страдания, которые в чрезвычайной силе своей продолжались до семи часов утра.

Что было бы с бедною женою, если бы она в течение двух часов могла слышать эти крики; я уверен, что ее рассудок не вынес бы этой душевной пытки. Но вот что случилось: она в совершенном изнурении лежала в гостиной, головою к дверям, и они одни отделяли ее от постели мужа. При первом страшном крике его княгиня Вяземская, бывшая в той же горнице, бросилась к ней, опасаясь, чтобы с нею чего не сделалось. Но она лежала неподвижно (хотя за минуту говорила); тяжелый летаргический сон овладел ею; и этот сон, как будто нарочно посланный свыше, миновался в ту самую минуту, когда раздалось последнее стенание за дверями. И в эти минуты жесточайшего испытания, по словам Спасского и Арендта, во всей силе сказалась твердость души умирающего; готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтобы жена не слышала, чтобы ее не испугать. К семи часам боль утихла. Надобно заметить, что во все это время и до самого конца мысли его были светлы и память свежа. Еще до начала сильной боли он подозвал к себе Спасского, велел подать какую-то бумагу [его рукою], по-русски написанную, и заставил ее сжечь. Потом призвал Данзаса и продиктовал ему записку о некоторых долгах своих. Это его, однако, изнурило, и после он уже не мог сделать никаких других распоряжений. Когда поутру кончились его сильные страдания, он сказал Спасскому: «Жену! позовите жену!» Этой прощальной минуты я тебе не стану описывать. Потом потребовал детей; они спали; их привели и принесли к нему полу-

сонных. Он на каждого оборачивал глаза молча; клал ему на голову руку; крестил и потом движением руки отсылал от себя. «Кто здесь?» — спросил он Спасского и Данзаса. Назвали меня и Вяземского. «Позовите»,— сказал он слабым голосом. Я подошел, взял его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал ее: сказать ему ничего я не мог, он махнул рукою, я отошел. Так же простился он и с Вяземским. В эту минуту приехал граф Вьельгорский, и вошел к нему, и так же в последние подал ему живому руку. Было очевидно, что спешил сделать свой последний земной расчет и как будто подслушивал идущую к нему смерть. Взявши себя за пульс, он сказал Спасскому: «Смерть идет».

«Карамзина? тут ли Карамзина?» — спросил он спустя немного. Ее не было; за нею немедленно послали, и она скоро приехала. Свидание их продолжалось только минуту, но когда Катерина Андреевна отошла от постели, он ее кликнул и сказал: «Перекрестите меня!» Потом поцеловал у нее руку. В это время приехал доктор Арендт. «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно»,— сказал ему Пушкин. Это было для меня указанием, и я решился в ту же минуту ехать к государю, чтобы известить его величество о том, что слышал. Надобно знать, что, простившись с Пушкиным, я опять возвратился к его постели и сказал ему: «Может быть, я увижу государя; что мне сказать ему от тебя».— «Скажи ему,— отвечал он,— что мне жаль умереть; был бы весь его».

Сходя с крыльца, я встретился с фельдъегерем, посланным за мной от государя. «Извини, что я тебя потревожил»,— сказал он мне при входе моем в кабинет. «Государь, я сам спешил к вашему величеству в то время, когда встретился с посланным за мною». И я рассказал о том, что говорил Пушкин. «Я счел долгом сообщить эти слова немедленно вашему величеству. Полагаю, что он тревожится о участи Данзаса».— «Я не могу переменить законного порядка,— отвечал государь,— но сделаю все возможное. Скажи ему от меня, что я поздравляю его с исполнением христианского долга; о жене же и детях он беспокоиться не должен: они мои. Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги: ты после их сам рассмотришь».

Я возвратился к Пушкину с утешительным ответом государя. Выслушав меня, он поднял руки к небу с каким-то судорожным движением. «Вот как я утешен! — сказал он.— Скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого

царствования, что я желаю ему счастия в его сыне, что я желаю ему счастия в его России». Эти слова говорил слабо, отрывисто, но явственно. Между тем данный ему прием опиума несколько его успокоил. К животу вместо холодных примочек начали прикладывать мягчительные; это было приятно страждущему. И он начал послушно исполнять предписания докторов, которые прежде отвергал упрямо, будучи испуган своими муками и ожидая смерти для их прекращения. Он сделался послушным, как ребенок, сам накладывал компрессы на живот и помогал тем, кои около него суетились. Одним словом, он сделался гораздо спокойнее. В этом состоянии нашел его доктор Даль, пришедший к нему в два часа. «Плохо, брат»,— сказал Пушкин, улыбаясь Далю. В это время он, однако, вообще был спокойнее; руки его были теплее, пульс явственнее. Даль, имевший сначала более надежды, нежели другие, начал его ободрять. «Мы все надеемся,— сказал он,— не отчаивайся и ты».— «Нет! — отвечал он,— мне здесь не житье; я умру, да, видно, так и надо». В это время пульс его был полнее и тверже. Начал показываться небольшой общий жар. Поставили пиявки. Пульс стал ровнее, реже и гораздо мягче. «Я ухватился,— говорит Даль,— как утопленник за соломинку, робким голосом провозгласил надежду и обманул было и себя и других». Пушкин, заметив, что Даль был пободрее, взял его за руку и спросил: «Никого тут нет?» — «Никого».— «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» — «Мы за тебя надеемся, Пушкин, право, надеемся».— «Ну, спасибо!» — отвечал он. Но, по-видимому, только однажды и обольстился он надеждою, ни прежде, ни после этой минуты он ей не верил.

Почти всю ночь (на 29-е число; эту ночь всю Даль просидел у его постели, а я, Вяземский и Вьельгорский в ближней горнице) он продержал Даля за руку; часто брал по ложечке или по крупинке льда в рот и всегда все делал сам: брал стакан с ближней полки, тер себе виски льдом, сам накладывал на живот припарки, сам их снимал и проч. Он мучился менее от боли, нежели от чрезмерной тоски: «Ах! какая тоска! — иногда восклицал он, закидывая руки на голову.— Сердце изнывает!» Тогда просил он, чтобы подняли его, или поворотили на бок, или поправили ему подушку, и, не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «Ну, так, так — хорошо: вот и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо». Или: «Постой — не надо — потяни меня только за руку — ну вот и хорошо,

и прекрасно». (Все это его точное выражение.) «Вообще,— говорит Даль,— в обращении со мною он был повадлив и послушен, как ребенок, и делал все, что я хотел».

Однажды он спросил у Даля: «Кто у жены моей?» Даль отвечал: «Много добрых людей принимают в тебе участие; зало и передняя полны с утра и до ночи».— «Ну, спасибо,— отвечал он,— однако же поди скажи жене, что все, слава богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят». Даль его не обманул. С утра 28-го числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Одни осведомлялись о нем через посланных спрашивать об нем, другие — и люди всех состояний, знакомые и незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство национальной, общей скорби выражалось в этом движении, произвольном, ничем не приготовленном. Число приходящих сделалось наконец так велико, что дверь прихожей (которая была подле кабинета, где лежал умирающий) беспрестанно отворялась и затворялась; это беспокоило страждущего; мы придумали запереть дверь из прихожей в сени, задвинули ее залавком и отворили другую, узенькую, прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородить ширмами [гостиную, где находилась жена, отгородили от столовой] (это распоряжение поймешь из приложенного плана). С этой минуты буфет был набит народом; в столовую входили только знакомые, на лицах выражалось простодушное участие, очень многие плакали.

Государь император получал известия от доктора Арендта (который раз по шести в день и по нескольку раз ночью приезжал навестить больного); государыня великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее высочеству согласно с ходом болезни [4]. Такое участие трогательно, но оно естественно; естественно и в государе, которому дорога народная слава, какого рода она бы ни была (а в этом отличительная черта нынешнего государя; он любит все русское; он ставит новые памятники и бережет старые); естественно и в нации, которая в этом случае не только заодно с своим государем, но этою общею любовью к отечественной славе укореняется между ими нравственная связь; государю естественно гордиться своим народом, как скоро этот народ понимает его высокое чувство и вместе с ним любит то, что славно отличает его от других народов или ставит с ним наряду; народу естественно быть благо-

дарным своему государю, в котором он видит представителя своей чести.

Одним словом, сии изъявления общего участия наших добрых русских меня глубоко трогали, но не удивляли. Участие иноземцев было для меня усладительною нечаятельностью. Мы теряли свое; мудрено ли, что мы горевали? Но их что так трогало? Что думал этот почтенный Барант, стоя долго в унынии посреди прихожей, где около его шептали с печальными лицами о том, что делалось за дверями. Отгадать нетрудно. Гений есть общее добро; в поклонении гению все народы родня! и когда он безвременно покидает землю, все провожают его с одинаковою братскою скорбию. Пушкин по своему гению был собственностию не одной России, но и целой Европы; потому-то и посол французский (сам знаменитый писатель) приходил к двери его с печалью *собственною* и о *нашем* Пушкине пожалел, как будто о *своем.* Потому же Люцероде, саксонский посланник, сказал собравшимся у него гостям в понедельник ввечеру: «Нынче у меня танцевать не будут, нынче похороны Пушкина».

Возвращаюсь к своему описанию. Послав Даля ободрить жену надеждою, Пушкин сам не имел никакой. Однажды спросил он: «Который час?» И на ответ Даля продолжал прерывающимся голосом: «Долго ли... мне... так мучиться?.. Пожалуйста, поскорей!..» И всегда прибавлял: «Пожалуйста, поскорей!» Вообще (после мук первой ночи, продолжавшихся два часа) он был удивительно терпелив. Когда тоска и боль его одолевали, он делал движения руками или отрывисто кряхтел, но так, что его почти не могли слышать. «Терпеть надо, друг, делать нечего,— сказал ему Даль,— но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче».— «Нет,— он отвечал перерывчиво,— нет... не надо... стонать... жена... услышит... Смешно же... чтоб этот... вздор... меня... пересилил... не хочу».

Я покинул его в 5 часов и через два часа возвратился. Видев, что ночь была довольно спокойна, я пошел к себе почти с надеждою, но, возвращаясь, нашел иное. Арендт сказал мне решительно, что все кончено и что ему не пережить дня. Действительно, пульс ослабел и начал упадать приметно; руки начали стыть. Он лежал с закрытыми глазами; иногда только подымал руки, чтобы взять льду и потереть им лоб.

Ударило два часа пополудни, и в Пушкине осталось жизни на три четверти часа. Он открыл глаза и попросил

моченой морошки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пускай она меня покормит». Она пришла, опустилась на колени у изголовья, поднесла ему ложечку-другую морошки, потом прижалась лицом к лицу его; Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, ну, ничего; слава богу; все хорошо! поди». Спокойное выражение лица его и твердость голоса обманули бедную жену; она вышла как просиявшая от радости лицом. «Вот увидите,— сказала она доктору Спасскому,— он будет жив, он не умрет».

А в эту минуту уже начался последний процесс жизни. Я стоял вместе с графом Вьельгорским у постели его, в головах; сбоку стоял Тургенев. Даль шепнул мне: «Отходит». Но мысли его были светлы. Изредка только полудремотное забытье их отуманивало. Раз он подал руку Далю и, пожимая ее, проговорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше... ну, пойдем!» Но, очнувшись, он сказал: «Мне было пригрезилось, что я с тобою лечу вверх по этим книгам и полкам; высоко... и голова закружилась». Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать Далеву руку и, потянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе». Даль, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше; и вдруг, как будто проснувшись, он быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Даль, не расслышав, отвечал: «Да, кончено; мы тебя положили».— «Жизнь кончена!» — повторил он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит!» — были последние слова его. В эту минуту я не сводил с него глаз и заметил, что движение груди, доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха; но я его не приметил. Тишина, его объявшая, казалась мне успокоением. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил: «Что он?» — «Кончилось»,— отвечал мне Даль. Так тихо, так таинственно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, которое свершилось перед нами во всей умилительной святыне своей.

Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать

словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой! Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: «Что видишь, друг?» И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина.

Опишу в немногих словах то, что было после. К счастию, я вспомнил вовремя, что надобно с него снять маску [5]. Это было исполнено немедленно; черты его еще не успели измениться. Конечно, того первого выражения, которое дала им смерть, в них не сохранилось; но все мы имеем отпечаток привлекательный; это не смерть, а сон. Спустя 3/4 часа после кончины (во все это время я не отходил от мертвого, мне хотелось вглядеться в прекрасное лицо его) тело вынесли в ближнюю горницу; а я, исполняя повеление государя императора, запечатал кабинет своею печатью. Не буду рассказывать того, что сделалось с печальною женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, граф и графиня Строгановы. Граф взял на себя все распоряжения похорон. Побыв еще несколько времени в доме, я поехал к Вьельгорскому обедать; у него собрались и все другие, видевшие последнюю минуту Пушкина; и он сам был приглашен за гробом к этому обеду: это был день моего рождения. Я счел обязанностью донести государю императору о том, как умер Пушкин; он выслушал меня наедине в своем кабинете: этого прекрасного часа моей жизни я никогда не забуду.

На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб; на следующий день, к вечеру, перенесли его в Конюшенную церковь. И в эти оба дни та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно,

более десяти тысяч человек приходило взглянуть на него: многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его; было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения и что-то умилительно-таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума.

И особенно глубоко трогало мне душу то, что государь как будто соприсутствовал посреди своих русских, которые так просто и смиренно и с ним заодно выражали скорбь свою о утрате славного соотечественника. Всем было известно, как государь утешил последние минуты Пушкина, какое он принял участие в его христианском покаянии, что он сделал для его сирот [6], как почтил своего поэта и что в то же время (как судия, как верховный блюститель нравственности) произнес в осуждение бедственному делу, которое так внезапно лишило нас Пушкина. Редкий из посетителей, помолясь перед гробом, не помолился в то же время за государя, и можно сказать, что это изъявление национальной печали о поэте было самым трогательным прославлением его великодушного покровителя.

Отпевание происходило 1 февраля. Весьма многие из наших знакомых людей и все иностранные министры были в церкви. Мы на руках отнесли гроб в подвал, где надлежало ему остаться до вывоза из города. 3 февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гробом поставили на сани; сани тронулись; при свете месяца несколько времени я следовал за ними; скоро они поворотили за угол дома; и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих.

Февраля 15

ПИСЬМО К А. Х. БЕНКЕНДОРФУ

⟨25 февраля — 8 марта 1837 г.⟩

Генерал Дубельт донес, и я, с своей стороны, почитаю обязанностию также донести вашему сиятельству, что мы кончили дело, на нас возложенное, и что бумаги Пушкина все разобраны. Письма партикулярные прочтены одним генералом Дубельтом и отданы мне для рассылки по принадлежности; рукописные *сочинения*, оставшиеся по смерти Пушкина, по возможности приведены в порядок;

некоторые рукописи были сшиты в тетради, занумерены и скреплены печатью; переплетенные книги с черновыми сочинениями и отдельные листки, из коих нельзя было сделать тетрадей, просто занумерены. Казенных бумаг не нашлось никаких. Корбова рукопись, о коей писал граф Нессельрод [1], вероятно, отыщется в библиотеке, которая на сих днях будет разобрана. Сверх означенных рукописей нашлись рукописные старинные книги, коих не было никакой нужды рассматривать; они принадлежат библиотеке. Всем нашим действиям был веден протокол, извлечение из коего, содержащее в себе полный реестр бумагам Пушкина, генерал Дубельт представил вашему сиятельству.

Приступая к напечатанию Полного собрания сочинений Пушкина и взяв на себя обязанность издать на нынешний год в пользу его семейства четыре книги «Современника», я должен иметь пред глазами манускрипты Пушкина и прошу позволения их у себя оставить с обязательством не выпускать их ⟨из⟩ своих рук и не позволять списывать ничего, кроме единственно того, что будет выбрано мною самим для помещения в «Современнике» и в полном издании сочинений Пушкина с одобрения цензуры. Сии манускрипты, занумеренные, записанные в протокол и в особый реестр, всегда будут у меня налицо, и я всякую минуту буду готов представить их на рассмотрение правительства. Хотя я теперь, после внимательного разбора, вполне убежден, что между сими рукописями ничего предосудительного памяти Пушкина и вредного обществу не находится, но для собственной безопасности наперед протестую перед вашим сиятельством против всего, что может со временем, как то бывало часто и прежде, распущено быть в манускриптах под именем Пушкина. Если бы паче чаяния и нашлось в бумагах его что-нибудь предосудительное, то я разносчиком такого рода сочинений не буду и списка их никому не дам. В этом уверяю один раз навсегда, и все противное этому один раз навсегда отвергаю. Такую предосторожность почитаю необходимою тем более, что на меня уже был сделан самый нелепый донос. Было сказано, что три пакета были вынесены мною из горницы Пушкина. При малейшем рассмотрении обстоятельств такое обвинение должно бы было оказаться невероятным. Пушкин был привезен в шесть часов после обеда домой 27-го числа января. 29-го в десять часов утра государь император благоволил поручить мне запечатать кабинет Пушкина (предо-

ставив мне самому сжечь все, что найду предосудительного в бумагах). Итак, похищение могло произойти только в промежуток между 6 часов 27-го числа и 10 часов 29-го числа. С этой же поры, то есть с той минуты, как на меня возложено было сбережение бумаг, всякая утрата их сделалась невозможною. Или мне самому надлежало сделаться похитителем, вопреки повеления государя и моей совести. Но и это, во-первых, было бы ненужно; ибо все вверено было мне, и я имел позволение сжечь все то, что нашел бы предосудительным: на что же похищать то, что уже мне отдано; во-вторых, невозможно (если бы я был на это способен); ибо, чтобы взять бумаги, надобно знать, где лежат они, это мог сказать один только Пушкин, а Пушкин умирал. Замечу здесь, однако, что я бы первый исполнил его желание, если бы он (прежде, нежели я получил повеление, данное государем, опечатать бумаги) сам поручил мне отыскать какую бы то ни было бумагу, ее уничтожить или кому-нибудь доставить. Кто же подобных препоручений умирающего не исполнит свято, как завещание? Это даже и случилось: он велел доктору Спасскому вынуть какую-то его рукою написанную бумагу из ближнего ящика, и ее сожгли перед его глазами, а Данзасу велел найти какой-то ящичек и взять из него находившуюся в нем цепочку. Более никаких распоряжений он не делал и не был в состоянии делать. Итак, какие бумаги, где лежали, узнать было и не можно и некогда. Но я услышал от генерала Дубельта, что ваше сиятельство получили известие о похищении трех пакетов от лица доверенного (de haute volée) *. Я тотчас догадался, в чем дело. Это доверенное лицо могло подсмотреть за мною только в *гостиной,* а не в *передней,* в которую вела запечатанная дверь из кабинета Пушкина, где стоял гроб его и где бы мне трудно было действовать без свидетелей. В гостиной же точно в шляпе моей можно было подметить не три пакета, а пять; жаль только, что неизвестное мне доверенное лицо не подумало если не объясниться со мною лично, что, конечно, не в его роли, то хотя для себя узнать какие-нибудь подробности, а поспешило так жадно убедиться в похищении и обрадовалось случаю выставить перед правительством свою зоркую наблюдательность насчет моей чести и своей совести. Эти пять пакетов были просто оригинальные письма Пушкина, писанные им к его жене, которые она сама вызвалась дать мне прочитать; я их

* высокого полета.

привел в порядок, сшил в тетради и возвратил ей. Пакетов же, к счастью, не разорвал, и они могут теперь служить убедительными свидетелями всего сказанного мною. Само по себе разумеется, что такие письма, мне вверенные, не могли принадлежать к тем бумагам, кои мне приказано было рассмотреть. Впрочем, и представлять было бы не нужно: все они были читаны [2], в чем убедило меня и то, что между ними нашлось именно то письмо, из которого за год перед тем некоторые места были представлены государю императору и навлекли на Пушкина гнев его величества, потому что в отдельности своей представляли совсем не тот смысл, какой имели в самом письме в совокупности с целым. Этот случай мне особенно памятен, потому что мне была показана вашим сиятельством эта выписка; я тогда объяснил ее наугад и теперь по прочтении самого письма вижу, что моя догадка меня не обманула.

Не имею нужды уверять ваше сиятельство в том уважении, которое (несмотря на многое мне лично горестное) я имею к вашему благородному характеру. В этом вы сами должны быть уверены. Новым доказательством моего к вам чувства пускай послужит та искренность, с которою говорить с вами намерен. Такому человеку, как вы, она ни оскорбительна, ни даже неприятна быть не может.

Сперва буду говорить о самом Пушкине. Смерть его все обнаружила, и несчастное предубеждение, которое наложили на всю жизнь его буйные годы первой молодости и которое давило пылкую душу его до самого гроба, теперь должно, и, к несчастью, слишком поздно, уничтожиться перед явною очевидностию. Мы разобрали все его бумаги. Полагали, что в них найдется много нового, писанного в духе враждебном против правительства и вредного нравственности. Вместо того нашлись бумаги, разительно доказывающие совсем иной образ мыслей: это особенно выразилось в его письме к Чадаеву, которое он, по-видимому, хотел послать не по почте, но не послал, вероятно, по той причине, что он не желал своими опровержениями оскорблять приятеля, уже испытавшего заслуженный гнев государя [3]. Одним словом, нового предосудительного не нашлось ничего и не могло быть найдено. Старое, писанное в первой молодости, то именно, около чего вертелись все предубеждения, на нем лежавшие, все, как видно, было им самим уничтожено (сколько можно судить теперь); в бумагах его не осталось и черновых рукописей. Он сам про

себя осудил свою молодость и произвольно истребил для самого себя все несчастные следы ее. Что же из сего следует заключить? Не то ли, что Пушкин в последние годы свои был совершенно не тот, каким видели его впервые? Но таково ли было об нем ваше мнение? Я перечитал все письма, им от вашего сиятельства полученные: во всех них, должен сказать, выражается благое намерение. Но сердце мое сжималось при этом чтении. Во все эти двенадцать лет, прошедшие с той минуты, в которую государь так великодушно его присвоил, его положение не переменилось; он все был как буйный мальчик, которому страшишься дать волю, под строгим, мучительным надзором. Все формы этого надзора были благородные: ибо от вас оно не могло быть иначе. Но надзор все надзор. Годы проходили; Пушкин созревал; ум его остепенялся. А прежнее против него предубеждение, не замечая внутренней нравственной перемены его, было то же и то же. Он написал «Годунова», «Полтаву», свои оды «К клеветникам России», «На взятие Варшавы», то есть все свое лучшее, принадлежащее нынешнему царствованию, а в суждении об нем все указывали на его оду «К свободе» [4], «Кинжал», написанный в 1820 году; и в 36-летнем Пушкине видели все 22-летнего. Ссылаюсь на вас самих, такое положение могло ли не быть огорчительным? К несчастию, оно и не могло быть иначе. Вы на своем месте не могли следовать за тем, что делалось внутри души его. Но подумайте сами, каково было бы вам, когда бы вы в зрелых летах были обременены такою сетью, видели каждый шаг ваш истолкованным предубеждением, не имели возможности произвольно переменить место без навлечения на себя подозрения или укора. В ваших письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление? Пушкин хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться на покое литературой, ему было в том отказано под тем видом, что он служил, а действительно потому, что не верили. Но в чем же была его служба? В том единственно, что он был причислен к иностранной коллегии. Какое могло быть ему дело до иностранной коллегии? Его служба была его перо, его «Петр Великий», его поэмы, его произведения, коими бы ознаменовалось нынешнее славное время? Для такой службы нужно свободное уединение. Какое спокойствие мог он иметь с своею пылкою, огорченною душой, с своими стесненными домашними обстоятельствами, посреди того света, где все тревожило его суетность, где

было столько раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысячи презрительных сплетней, из сети которых не имел он возможности вырваться, погубили его. Государь император назвал себя его цензором. Милость великая, особенно драгоценная потому, что в ней обнаруживалось все личное благоволение к нему государя. Но, скажу откровенно, эта милость поставила Пушкина в самое затруднительное положение. Легко ли было ему беспокоить государя всякою мелочью, написанною им для помещения в каком-нибудь журнале? На многое, замеченное государем, не имел он возможности делать объяснений; до того ли государю, чтобы их выслушивать? И мог ли вскоре решиться на то Пушкин? А если какие-нибудь мелкие стихи его являлись напечатанными в альманахе (разумеется, с ведома цензуры), это ставилось ему в вину, в этом виделись непослушание и буйство, ваше сиятельство делали ему словесные или письменные выговоры, а вина его состояла или в том, что он с такою мелочью не счел нужным идти к государю и отдавал ее просто на суд общей для всех цензуры (которая, конечно, к нему не была благосклоннее, нежели к другим), или в том, что стихи, ходившие по рукам в рукописи, были напечатаны без его ведома, но также с одобрения цензуры (как то случилось с этими несчастными стихами к Лукуллу, за которые не одни вы, но и все друзья его жестоко ему упрекали) [5]. Замечу здесь, однако, что злонамереннее этих стихов к Лукуллу он не написал ничего, с тех пор как государь император так благотворно обратил на него свое внимание. Зато весьма часто ему было приписываемо чужое, как бы оно, впрочем, ни было нелепо. Но что же эти стихи к Лукуллу? Злая эпиграмма на лицо, даже не пасквиль, ибо здесь нет имени. Пушкин хотел отомстить ею за какое-то личное оскорбление; не оправдываю его нравственности, но тут еще нет ничего возмутительного противу правительства. И какое дело правительству до эпиграммы на лица? Даже и для того, кто оскорблен такою эпиграммою, всего благоразумнее не узнавать себя в ней. Острота ума не есть государственное преступление. Могу указать на многих окружающих государя императора и заслуживающих его доверенность, которые не скупятся на эпиграммы; правда, эти эпиграммы без рифм и неписаные, но зато они повторяются в обществе словесно (на что уже нет никакой цензуры) и именно оттого врезываются глубже в память. Наконец, в одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал

свою трагедию прежде, нежели она была одобрена [6]. Да что же это за преступление? Кто из писателей не сообщает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их критику? Неужели же он должен до тех пор, пока его произведение еще не позволено официально, сам считать его непозволенным? Чтение ближним есть одно из величайших наслаждений для писателя. Все позволяли себе его, оно есть дело семейное, то же, что разговор, что переписка. Запрещать его есть то же, что запрещать мыслить, располагать своим временем и прочее. Такого рода запрещения вредны потому именно, что они бесполезны, раздражительны и никогда исполнены быть не могут.

Каково же было положение Пушкина под гнетом подобных запрещений? Не должен ли был он необходимо, с тою пылкостию, которая дана была ему от природы и без которой он не мог бы быть поэтом, наконец прийти в отчаяние, видя, что ни годы, ни самый изменившийся дух его произведений ничего не изменили в том предубеждении, которое раз навсегда на него упало и, так сказать, уничтожило все его будущее? Вы называете его и теперь демагогическим писателем. По каким же его произведениям даете вы ему такое имя? По старым или по новым? И какие произведения его знаете вы, кроме тех, на кои указывала вам полиция и некоторые из литературных врагов, клеветавших на него тайно? Ведь вы не имеете времени заниматься русскою литературою и должны в этом случае полагаться на мнение других? А истинно то, что Пушкин никогда не бывал демагогическим писателем. Если по старым, ходившим только в рукописях, то они все относятся ко времени до 1826 года; это просто грехи молодости, сначала необузданной, потом раздраженной заслуженным несчастием. Но демагогического, то есть написанного с намерением волновать общество, ничего не было между ими и тогда. Заговорщики против Александра пользовались, может быть, некоторыми вольными стихами Пушкина, но в их смысле (в смысле бунта) он не написал ничего, и они ему были чужды. Это, однако, не помешало (без всяких доказательств) причислить его к героям 14 декабря и назвать его замышлявшим на жизнь Александра. За его напечатанные же сочинения и в особенности за его новые, написанные под благотворным влиянием нынешнего государя, его уже никак нельзя назвать демагогом. Он просто русский национальный поэт, выразивший в лучших стихах своих наилучшим образом все, что дорого русскому сердцу.

Что же касается до политических мнений, которые имел он в последнее время, то смею спросить ваше сиятельство, благоволили ли вы взять на себя труд когда-нибудь с ним говорить о предметах политических? Правда и то, что вы на своем месте осуждены думать, что с вами не может быть никакой искренности, вы осуждены видеть притворство в том мнении, которое излагает вам человек, против которого поднято ваше предубеждение (как бы он ни был прямодушен), и вам нечего другого делать, как принимать за истину то, что будут говорить вам ⟨о нем⟩ другие. Одним словом, вместо оригинала вы принуждены довольствоваться переводами, всегда неверными и весьма часто испорченными, злонамеренных переводчиков. Я сообщу вашему сиятельству в немногих словах политическое мнение Пушкина, хотя наперед знаю, что и мне вы не поверите, ибо и я имею несчастие принадлежать к тем оригиналам, которые известны вам по одним лишь ошибочным переводам. *Первое.* Я уже не один раз слышал и от многих, что Пушкин в государе любил одного Николая, а не русского императора и что ему для России надобно было совсем иное. Уверяю вас напротив, что Пушкин (здесь говорится о том, что он был в последние свои годы) решительно был утвержден в необходимости для России чистого, неограниченного самодержавия, и это не по одной любви к нынешнему государю, а по своему внутреннему убеждению, основанному на фактах исторических (этому теперь есть и письменное свидетельство в его собственноручном письме к Чадаеву). *Второе.* Пушкин был решительным противником *свободы книгопечатания,* и в этом он даже доходил до излишества, ибо полагал, что свобода книгопечатания вредна и в Англии. Разумеется, что он в то же время утверждал, что цензура должна быть строга, но беспристрастна, что она, служа защитою обществу от писателей, должна и писателя защищать от всякого произвола. *Третье.* Пушкин был враг Июльской революции. По убеждению своему он был карлист; он признавал короля Филиппа необходимою гарантиею спокойствия Европы, но права его опровергал и непотрясаемость законного наследия короны считал главнейшею опорою гражданского порядка. ⟨...⟩ Таковы были главные, коренные политические убеждения Пушкина, из коих все другие выходили как отрасли. Они были известны мне и всем его ближним из наших частых, непринужденных разговоров. Вам же они быть известными не могли, ибо вы с ним никогда об этих материях не говорили;

да вы бы ему и не поверили, ибо, опять скажу, ваше положение таково, что вам нельзя верить никому из тех, кому бы ваша вера была вниманием, и что вы принуждены насчет других верить именно тем, кои недостойны вашей веры, то есть доносчикам, которые нашу честь и наше спокойствие продают за деньги или за кредит, или светским болтунам, которые неподкупною ⟨следующее слово неразборчиво⟩, иногда одним словом, брошенным на ветер, убивают доброе имя. Как бы то ни было, но мнения политические Пушкина были в совершенной противоположности с системой буйных демагогов. И они были таковы уже прежде 1830 года. Пушкин мужал зрелым умом и поэтическим дарованием, несмотря на раздражительную тягость своего положения, которому не мог конца предвидеть, ибо он мог постичь, что не изменившееся в течение десяти лет останется таким и на целую жизнь и что ему никогда не освободиться от того надзора, которому он, уже отец семейства, в свои лета подвержен был как двадцатилетний шалун. Ваше сиятельство не могли заметить этого угнетающего чувства, которое грызло и портило жизнь его. Вы делали изредка свои выговоры, с благим намерением, и забывали об них, переходя к другим важнейшим вашим занятиям, которые не могли дать вам никакой свободы, чтобы заняться Пушкиным. А эти выговоры, для вас столь мелкие, определяли целую жизнь его: ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России, ему нельзя было своим друзьям и своему избранному обществу читать свои сочинения, в каждых стихах его, напечатанных не им, а издателем альманаха с дозволения цензуры, было видно возмущение. Позвольте сказать искренно. Государь хотел своим особенным покровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его гению полное его развитие; а вы из сего покровительства сделали надзор, который всегда притеснителен, сколь бы, впрочем, ни был кроток и благороден (как все, что от вас истекает).

Обращаюсь теперь ко второму предмету, о коем хотел говорить с вашим сиятельством: к тому, что произошло по случаю смерти Пушкина. Я долго колебался, писать ли к вам об этом. Об этом происшествии уже не говорят; никаких печальных следствий оно не имело, толки умолкли — для чего же возобновлять прение о том, что лучше совсем изгладить из памяти. Это правда; но если общие толки

утихли, то предубеждение еще осталось, и многие благоразумные люди не шутя уверены, что было намерение воспользоваться смертию Пушкина для взволнования умов; но главное то, что я считаю своею обязанностию отразить в глазах государя императора то обвинение, которое на меня и на многих друзей Пушкина падает, и сказать слово в оправдание наше, не обвиняя никого и даже не имея никакой надежды быть оправданным.

Если бы Пушкин умер после долговременной болезни или после быстрого удара, о нем бы пожалели, общее чувство национальной потери выразилось бы в разговорах, каких-нибудь статьях, стихами или прозою; в обществе поговорили бы о нем и скоро бы замолчали, придав его памяти современников, умевших ценить его высокое дарование, и потомству, которое, конечно, сохранит к нему чистое уважение. Но Пушкин умирает убитый на дуэли, и убийца его француз, принятый в нашу службу с отличием; этот француз преследовал жену Пушкина и за тот стыд, который нанес его чести, еще убил его на дуэли. Вот обстоятельства, поразившие вдруг все общество и сделавшиеся известными во всех классах народа, от Гостиного двора до петербургских салонов. Если бы, таким образом, погиб и простой человек, без всякого национального имени, то и об нем заговорили бы повсюду, но это была бы просто светская болтовня, без всякого особенного чувства. Но здесь жертвою иноземного развратника сделался первый поэт России, известный по сочинениям своим большому и малому обществу. Чему же тут дивиться, что общее чувство при таком трагическом происшествии вспыхнуло сильно. Напротив, надлежало бы удивиться, когда бы это сильное чувство не вспыхнуло и если бы в обществе равнодушно приняли такую внезапную потерю и не было бы такое равнодушие оскорбительно для чувства народности. Прибавить надобно к этому и то, что обстоятельства, предшествовавшие кровавой развязке, были всем известны, знали, какими низкими средствами старались раздражить и осрамить Пушкина; анонимные письма были многими читаны, и об них вспомнили с негодованием. Итак, нужно ли было кому-нибудь особенно заботиться о том, чтобы произвести в обществе то впечатление, которое неминуемо в нем произойти долженствовало? Разве дуэль был тайною? Разве обстоятельства его были тайною? Разве погиб на дуэли не Пушкин? Чему же дивиться, что все ужаснулись, что все были опечалены и все оскорбились? Какие же тай-

ные агенты могли быть нужны для произведения сего неизбежного впечатления?

Весьма естественно, что, после того как распространилась в городе весть о погибели Пушкина, поднялось много разных толков; весьма естественно, что во многих энтузиазм к нему как к любимому русскому поэту оживился безвременно трагическою смертию (в этом чувстве нет ничего враждебного; оно, напротив, благородное и делает честь нации, ибо изъявляет, что она дорожит своею славою); весьма естественно, что этот энтузиазм, смотря по разным характерам, выражался различно, в одних с благоразумием умеренности, в других с излишнею пылкостию; в других, и, вероятно, во многих, было соединено с негодованием против убийцы Пушкина, может быть, и с выражением мщения. Все это в порядке вещей, и тут еще нет ничего возмутительного. Не знаю, что в это время говорилось и делалось в обществе (ибо и я, и прочие обвиненные друзья Пушкина были слишком заняты им самим, его страданиями, его смертию, его семейством, чтобы заботиться о толках в обществе и еще менее о том, как бы производить эти толки), но по слухам, дошедшим до меня после, полагаю, что блюстительная полиция подслушала там и здесь (на улицах, в Гостином дворе и проч.), что Геккерну угрожают; вероятно, что не один, а весьма многие в народе ругали иноземца, который застрелил русского, и кого же русского, Пушкина? Вероятно, что иные толковали между собою, как бы хорошо было его побить, разбить стекла в его доме и тому подобное; вероятно, что и до самого министра Геккерна доходили подобные толки, и что его испуганное воображение их преувеличивало, и что он сообщил свои опасения и требовал защиты. С другой стороны, вероятно и то, что говорили о Пушкине с живым участием, о том, как бы хорошо было изъявить ему уважение какими-нибудь видимыми знаками; многие, вероятно, говорили, как бы хорошо отпрячь лошадей от гроба и довезти его на руках до церкви; другие, может быть, толковали, как бы хорошо произнести над ним речь и в этой речи поразить бы его убийцу, и прочее, и прочее. Все подобные толки суть единственное следствие подобного происшествия; его необходимый, неизбежный отголосок. Блюстительная полиция была обязана обратить на них внимание и взять свои меры, но взять их без всякого изъявления опасения, ибо и опасности не было никакой. До сих пор все в порядке вещей. Но здесь полиция перешла за границы своей бдительности. Из тол-

ков, не имевших между собой никакой связи, она сделала заговор с политическою целию и в заговорщики произвела друзей Пушкина, которые окружали его страдальческую постель и должны бы были иметь особенную натуру, чтобы, в то время как их душа была наполнена глубокою скорбию, иметь возможность думать о волновании умов в народе через каких-то агентов, с какою-то целию, которой никаким рассудком постигнуто быть не может. Раз допустивши нелепую идею, что заговор существует и что заговорщики суть друзья Пушкина, следствия этой идеи сами собою должны были из нее излиться. Мы день и ночь проводили перед дверями умирающего Пушкина; на другой день после дуэли, то есть с утра 28-го числа до самого выноса гроба из дома, приходили посторонние, сначала для осведомления о его болезни, потом для того, чтобы его увидеть в гробе,— приходили с тихим, смиренным чувством участия, с молитвою за него и горевали о нем, как о друге, скорбели о том великом даровании, в котором угасла одна из звезд нашего отечества, и в то же время с благодарностию помышляли о государе, который, можно сказать, был впереди нас тем участием, что так человечески, заодно с нами выразил в то же время. За государя, очистившего, успокоившего конец Пушкина, простое трогательное, христианское выражение национального чувства — и все это делалось так тихо; более десяти тысяч человек [7] прошло в эти два дни мимо гроба Пушкина, и не было слышно ни малейшего шума, не произошло ни малейшего беспорядка; жалели о нем; большая часть молилась за него, молилась и за государя; почти никому не пришло в голову, в виду гроба, упомянуть о Геккерне. Что же тут было, кроме умилительного, кроме возвышающего душу? И нам, друзьям Пушкина, до самого того часа, в который мы перенесли гроб его в Конюшенную церковь, не приходило и в голову ничего иного, кроме нашей скорби о нем и кроме благодарности государю, который явился нам во всей красоте своего человеколюбия и во всем величии своего царского сана; ибо он утешил его смерть, призрел его сирот, уважил в нем русского поэта как русский государь и в то же время осудил его смерть как судия верховный. Какое нравственное уродство надлежало иметь, чтобы остаться нечувствительным перед таким трогательным величием и иметь свободу для каких-то замыслов, коих цели никак себе представить не можно и кои только естественны сумасшедшим.

Но, начавши с ложной идеи, необходимо дойдешь и до заключений ложных; они произведут и ложные меры. Так здесь и случилось. Основываясь на ложной идее (опровергнутой выше), что Пушкин — глава демагогической партии, произвели и друзей его в демагоги. Друзья не отходили от его постели, и в то же время разные толки бродили по городу и по улицам (толки, не имеющие между собою связи). Из этого сделали заговор, увидели какую-то тайную нить, связывающую эти толки, ничем не связанные, и эту нить дали в руки друзьям его. Под влиянием этого непостижимого предубеждения все самое простое и обыкновенное представилось в каком-то таинственном, враждебном свете. Граф Строганов, которого уже нельзя обвинить ни в легкомыслии, ни в демагогии, как родственник взял на себя учреждение и издержки похорон Пушкина; он призвал своего поверенного человека и ему поручил все устроить. И оттого именно, что граф Строганов взял на себя все издержки похорон, произошло то, что они произведены были самым блистательным образом, согласно с благородным характером графа. Он приглашал архиерея, и как скоро тот отказался от совершения обряда, пригласил трех архимандритов. Он назначил для отпевания Исаакиевский собор, и причина назначения была самая простая: ему сказали, что дом Пушкина принадлежал к приходу Исаакиевского собора; следовательно, иной церкви назначать было не можно; о Конюшенной же церкви было нельзя и подумать, она придворная. На отпевание в ней надлежало получить особенное позволение, в коем и нужды не было, ибо имели в виду приходскую церковь. Билеты приглашенным были разосланы без всякого выбора; Пушкин был знаком целому Петербургу; сделали для погребения его то, что делается для всех; дипломатический корпус приглашен был, потому что Пушкин был знаком со всеми его членами; для назначения же тех, кому посылать билеты, сделали просто выписку из реестра, который взят был у графа Воронцова. Следующее обстоятельство могло бы, если угодно, показаться подозрительным. Мне сказали, кто, право, не помню, что между приглашенными на похороны забыты некоторые из прежних лицейских товарищей Пушкина. Я отвечал, что надобно непременно их пригласить. Но было ли это исполнено, не знаю. Этим я не занялся, но если бы мною были рассылаемы билеты, то, конечно бы, лицейские друзья Пушкина не были забыты. Как бы то ни было, но все до сих пор в обыкновенном порядке. Вдруг полиция дога-

дывается, что должен существовать заговор, что министр Геккерн, что жена Пушкина в опасности, что во время перевоза тела в Исаакиевскую церковь лошадей отпрягут и гроб понесут на руках, что в церкви будут депутаты от купечества, от университета, что над гробом будут говорены речи (обо всем этом узнал я уже после по слухам). Что же надлежало бы сделать полиции, если бы и действительно она могла предвидеть что-нибудь подобное? Взять с большею бдительностью те же предосторожности, какие наблюдаются при всяком обыкновенном погребении, а не признаваться перед целым обществом, что правительство боится заговора, не оскорблять своими нелепыми обвинениями людей, не заслуживающих и подозрения, одним словом, не производить самой того волнения, которое она предупредить хотела неуместными своими мерами. Вместо того назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какой-то тайною, всех поразившею, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на который собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться? Этого я изъяснить не берусь. И, признаться, будучи наполнен главным своим чувством, печалью о конце Пушкина, я в минуту выноса и не заметил того, что вокруг нас происходило; уже после это пришло мне в голову и жестоко меня обидело.

КОММЕНТАРИИ

Н. В. ПУТЯТА

Николай Васильевич Путята (1802—1877) — литератор, мемуарист, участник «Общества любителей российской словесности» в Москве (впоследствии — его председатель), в молодые годы — офицер, близкий к декабристским кругам, с 1823 года адъютант генерал-губернатора Финляндии А. А. Закревского (что объясняет обстоятельства близкого знакомства мемуариста с Е. Баратынским, отбывавшим в начале 20-х годов солдатскую службу в Финляндии). Баратынский стал посредником в знакомстве Путяты с Пушкиным, которое состоялось в Москве в сентябре 1826 года и быстро перешло в тесное дружеское общение. Воспоминания о Пушкине представляют собою выдержки из «Записной книжки» Путяты, которые были предоставлены для публикации редактору «Русского архива» П. И. Бартеневу дочерью мемуариста О. Н. Тютчевой (см.: *РА*, 1899, № 6, с. 350). Фрагментарные и лаконичные по форме, эти записи касаются наиболее сложных и драматических моментов последекабрьской биографии Пушкина (его взаимоотношений с Николаем I и Бенкендорфом, обстоятельств его арзрумской поездки, трагических событий января 1837 г.), в ряде случаев являясь единственным источником информации о поэте (например, о предложении ему Бенкендорфа поступить на службу в канцелярию III Отделения или о несостоявшейся дуэли с Лагрене и др.). Выдерживающие самую строгую документальную проверку, воспоминания Путяты хранят следы дружески доверительных разговоров с поэтом, не принимавшим тягостной для него опеки властей и глубоко переживавшим разгром декабризма. Есть все основания полагать, что именно Путята, бывший одним из немногих очевидцев казни вождей восстания на кронверке Петропавловской крепости в Петербурге 13 июля 1826 года, подробно рассказал Пушкину о ходе казни и расположении виселицы на валу кронверка, что нашло отражение в знаменитом пушкинском рисунке (см. об этом: П е т р о в А. Штрихи ложились на бумагу. Рисунок Пушкина прочтен.— Пушкинский праздник. Специальный выпуск «Литературной газеты» и «Литературной России». 1969, 30 мая — 6 июня, с. 18). Не включенный автором в воспоминания о Пушкине, рассказ Путяты о казни декабристов был опубликован в «Русском архиве» (1881, кн. 2,

№ 2, с. 343—344). Подробный анализ этого рассказа в связи с пушкинским рисунком см. в статье Р. В. Иезуитовой «Из истории декабристских замыслов Пушкина 1826—1827 гг.» (Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. М.— Л., 1983, с. 93—94).

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

(Стр. 5)

РА, 1899, кн. 6, с. 350—353.

[1] Имеется в виду Русско-турецкая война 1828—1829 гг.

[2] Стихотворение «Поедем, я готов; куда бы вы, друзья...» было написано 23 декабря 1829 г.

[3] Имеется в виду рецензия В. Б. Броневского (изданная анонимно), в «Сыне отечества» (1835, кн. 1, отд. 3, с. 177—186).

[4] Путята видел тетрадь № 843, содержащую «Дневник 1833—1835 гг.», в которой вырезаны первые четыре листа, видимо, содержащие упомянутую мемуаристом статью о Баратынском. Цитаты из «Дневника» Путята приводит по памяти, неточно, но близко к тексту пересказывая поразившие его записи о Дантесе и неудовольствии поэта своим камер-юнкерством.

[5] Мемуарист ошибается, говоря о «только что написанных стихах» Пушкина: «Чертог сиял...» («Клеопатра») включено в «Египетские ночи» (напечатанные посмертно) редакцией «Современника», а написано стихотворение между 2 октября и началом ноября 1824 г., а в 1828 г. лишь переработано. Стихотворение «Утопленник» действительно было написано летом — в начале осени 1828 г. и могло быть прочитано мемуаристу вскоре после его написания.

[6] Речь идет о стихотворении «Наперсник» (1828), посвященном А. Ф. Закревской.

[7] Подлинник записки сохранился (*ИРЛИ*, ф. 244, оп. 1, № 1356). К письму имеется примечание Путяты: «Лагрене был секретарем французского посольства».

С. А. СОБОЛЕВСКИЙ

Сергей Александрович Соболевский (1803—1870) — библиофил и библиограф, высокообразованный литератор-дилетант, автор блестящих экспромтов и эпиграмм, принадлежал к числу ближайших друзей Пушкина; их интенсивное общение охватывает 1826—1827 и 1833—1836 годы. Связных воспоминаний о Пушкине Соболевский не оставил, хотя начал их набрасывать в 1860-е годы; сохранившееся начало его мему-

аров дает несколько тонких и важных характерологических наблюдений. Свой долг перед памятью поэта Соболевский видел в том, чтобы снабжать материалами и корректировать его биографов и издателей; в его замечаниях на биографии Анненкова, Бартенева, в переписке с М. Н. Лонгиновым и С. Д. Полторацким содержатся ценнейшие биографические и историко-литературные сведения. См. *Рассказы о П.*, *Лет. ГЛМ*, с. 491—547.

ИЗ СТАТЬИ «ТАИНСТВЕННЫЕ ПРИМЕТЫ В ЖИЗНИ ПУШКИНА»

(Стр. 10)

РА, 1870, с. 1377—1388.

[1] Помимо перечисленных, упоминается аналогичный рассказ А. Н. Вульфа в *РС* (1870, № 4, изд. 2, с. 404—405).

[2] См. также с. 229—230 наст. изд. Н. А. Корсаков уехал в Италию 19 ноября 1819 г. (*Летопись*, с. 750). Письмо его не сохранилось.

[3] См. несколько иную версию у Л. С. Пушкина, (т. 1, с. 51 наст. изд.). Цепь «совпадений» опровергается хронологией. Стихотворение «Орлову» написано 4 июля 1819 г., то есть задолго до описываемых событий и посещения гадалки. Весной 1819 г. Пушкин действительно собирался в военную службу (*ОА*, т. I, с. 202).

[4] Опущен текст послания «К А. Ф. Орлову». (*II*, 85).

[5] См. с. 229—230 наст. изд.

[6] Снова хронологическая неточность, возможно, идущая от самого Пушкина. Он был членом масонской ложи «Овидий» в 1821 г.

[7] См. т. 1, с. 459 наст. изд., примеч. 5.

КВАРТИРА ПУШКИНА В МОСКВЕ

(Стр. 13)

Русский, газета политическая и литературная, 1867, лист 7 и 8, с. 111 (в форме письма к Погодину). Озаглавлено Погодиным. Печатается по автографу (*ЦГАЛИ*, ф. 373, оп. 1, № 22), так как, публикуя письмо, Погодин отредактировал текст (важнейшие разночтения приведены ниже). Приписка Погодина печатается по тексту газеты.

[1] Сведения Соболевского о московских адресах Пушкина повторяют и К. Полевой (с. 66 наст. изд.), Лонгинов, Н. В. Путята (*РА*, 1899, № 6, с. 350). См.: Чулков Н. П. Пушкин-москвич.— В кн.: Пушкин в Москве. М., 1930, с. 49—88. О чтениях «Бориса Годунова» см. т. 1, с. 118 и т. 2, с. 21—22, 36—37 наст. изд.

[2] В печатном тексте: «в самоедском ергаке». Далее также текст исправлен Погодиным: «Вот где он выронил (к счастью, что не в кабинете

императора) свое стихотворение на 14 декабря, что с час времени так его беспокоило, пока оно не нашлось!!!» Рассказ о стихотворении на 14 декабря, якобы выроненном Пушкиным на лестнице дворца после аудиенции у Николая I (и потом, по возвращении в гостиницу, сожженном), впервые был сообщен в печати М. И. Семевским (Прогулка в Тригорское.— *СПб. вед.*, 1866, № 163), усомнившимся в его истинности. Свидетельство Соболевского (в редакции Погодина) появилось в 1867 г. Со ссылкой на Соболевского его повторил П. А. Ефремов, добавив, что листок отыскался в квартире Соболевского после приезда Пушкина из дворца и заключал «Пророка», с первоначальным текстом последней строфы:

Восстань, восстань, пророк России!
Позорной ризой облекись,
Иди — и с вервием на выи...— *и т. д.*

(*РС*, 1880, № 1, с. 133). Эту версию подтвердил А. П. Пятковский, слышавший ее от А. В. Веневитинова, который рассказывал, что Пушкин захватил стихотворение на аудиенцию из Михайловского, имея в виду, в случае неблагоприятного исхода, вручить его императору (*РС*, 1880, № 3, с. 673—675); последние строки, по Веневитинову, читались: «И с вервьем вкруг смиренной выи // К царю... явись!» Вариант этого рассказа — у Шевырева и Нащокина (с. 49—50). Со слов Погодина и Хомякова Бартенев записал еще один вариант концовки: «Иди, и с вервием вкруг шеи (рукой Соболевского (?): «выи?») // К У. Г. явись» (*Рассказы о П.*, с. 31, 91—94; шифр У. Г. М. А. Цявловский предлагал читать «у ⟨бийце?⟩ г ⟨нусному?⟩»). Дополнительные данные — в письме Погодина Вяземскому от 29 марта 1837 г.: «Пророк» он написал, ехавши в Москву в 1826 году. Должны быть четыре стихотв ⟨орения⟩, первое только напечатано («Духовной жаждою томим...» etc.)» (Звенья, т. VI. М.— Л., 1936, с. 153). Подлинный текст воспоминаний Соболевского также говорит о нескольких стихотворениях «о повешенных». Несомненно, в основе всех этих сообщений лежат реальные факты, однако подвергшиеся искажению при передаче (как и текст «концовки»); вопрос о редакциях стихотворения, соотношении с ними «концовки», ее тексте (в настоящем своем виде художественно беспомощном) и т. д. остается до сего времени открытым.

[3] В печатном тексте: «Веневитинов, Киреевский, Шевырев, Рожалин, Мицкевич, Баратынский, вы, я... и другие мужи» и т. д.

ИЗ ПИСЕМ К М. Н. ЛОНГИНОВУ

(Стр. 14)

Беляев М. Соболевский о Пушкине (Из переписки С. А. Соболевского с М. Н. Лонгиновым).— *ПиС*, вып. 31-32. Л., 1927, с. 39—45. Автограф — *ИРЛИ*.

[1] 17 августа. См.: Виноградов А. К. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, с. 47.

[2] Речь идет о сборнике П. Мериме «Гузла» (1827) — имитации подлинных сербских песен, якобы переведенных составителем, откуда Пушкин заимствовал ряд сюжетов для «Песен западных славян». Письмо Мериме к Соболевскому от 18 января 1835 г., с объяснением мистификации, перепечатано Пушкиным в предисловии к «песням» (*III*, 334—336). Мицкевич перевел из Мериме балладу «Морлак в Венеции» (опубл. в 1829 г., с подзаголовком «С сербского»).

[3] См.: Цявловская Т. Г. Муза пламенной сатиры.— В кн.: Пушкин на юге, т. II. Кишинев, 1961. Предположение Т. Г. Цявловской, что речь идет о сборнике политических эпиграмм, в частности направленных против царя, нельзя считать доказанным.

НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

(Стр. 16)

Беляев М. Отрывок из воспоминаний С. А. Соболевского о Пушкине.— В кн.: Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924, с. 121—126. Автограф — *ИРЛИ*. Написано не ранее 1865 г., когда вышли воспоминания Соллогуба (см. наст. изд., с. 343 и 507).

М. П. ПОГОДИН

Михаил Петрович Погодин (1800—1875) — историк, прозаик, драматург, критик, издатель журнала «Московский вестник». Систематическое общение Погодина с Пушкиным охватывает 1826—1830 годы. Его «Воспоминания о С. П. Шевыреве» — одно из наиболее ярких свидетельств о начальном периоде общения Пушкина с любомудрами. Первая публикация их — *РА*, 1865, № 1, под загл. «Из воспоминаний о Пушкине» (отрывок, до слов: «об нем после, особо»).

Мемуарные заметки Погодина во многом опираются на его лаконичный, но чрезвычайно важный по материалу дневник, восстанавливающий с большой полнотой и систематичностью как внешнюю, так и отчасти внутреннюю историю взаимоотношений Пушкина с кругом любомудров, фиксируя и точки расхождения: скептицизм Пушкина в отношении шеллингианской философии, его решительное нежелание подчиняться их редакционной политике, растущую взаимную неудовлетворенность, доходящую иной раз до грани внутреннего антагонизма. Все это подтверждается частной перепиской, но не отражается ни в мемуарах, ни в печатных выступлениях.

Дополнением к дневникам Погодина (впервые в цитатах *Барсуков*, II) была специальная тетрадь, в которую Погодин записывал свои разговоры с Пушкиным. Тетрадь эта утрачена. Может быть, частично к ней восходят записи разговоров Пушкина, сделанные Василием Федоровичем Щербаковым (1810—1878), библиофилом, знакомым Погодина; записи были вложены в его тетрадь 1820—1830-х годов (не позднее 1831 г.) с копиями стихов Пушкина, Вяземского, Дельвига; они отчасти совпадают с дневниковыми отметками Погодина.

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 18)

Цявловский М. Пушкин по документам погодинского архива. I. Дневники М. П. Погодина.— *ПиС*, вып. XIX—XX. Пг., 1915, с. 73—94; вып. XXIII—XXIV. Пг., 1916, с. 101—122,— с уточнениями по автографу (*ГБЛ*, ф. 231 (Пог.), разд. I, № 31—32).

[1] «Исторические афоризмы», сочинение Погодина.

[2] См. с. 15.

[3] *«Самозванец»* — замысел отдельной трагедии о Самозванце, не осуществленной Пушкиным; «Моцарт и Сальери» — вероятно, первоначальный набросок трагедии, законченной в 1830 г. (*VII*, 504, 523) *«Наталья Павловна»* — «Граф Нулин»; *продолжение «Фауста»* — «Сцена из Фауста».

[4] Комедия А. А. Шаховского, поставленная в Малом театре.

[5] Комедия-водевиль Шаховского «Притчи, или Эзоп у Ксанфа» (1824), переделка водевиля Мартиньяка. Пушкин упоминает комедию Эдма Бурсо «Эзоп при дворе» (1701).

[6] Речь идет о народном гулянье на Девичьем поле по случаю коронации Николая I.

[7] Отрывок из «Цыган» в *СЦ* на 1826 год, с. 100—102.

[8] Опера Россини.

[9] *Калибан* — персонаж «Бури» Шекспира; этим типом Пушкин интересовался (см. «Шекспир и русская культура». М.— Л., Наука, 1965, с. 173—174). Об «аллегории» в «Буре» см. вст. ст., с. 12.

[10] «Песни о Стеньке Разине».

[11] Трагедия А. С. Хомякова (см. с. 38 наст. изд.).

[12] *Цензоры* — С. Т. Аксаков и, может быть, И. М. Снегирев. В письме Пушкину Погодин сообщил о разрешении «Московского вестника» и отправке отрывка из «Бориса Годунова» в петербургскую цензуру (*XIII*, 306).

[13] Принимая на себя редакцию «Московского вестника», Погодин обязался платить Пушкину по 10 000 руб. с каждых проданных 1200 экз.

Условие это в дальнейшем оказалось невыполнимым, так как подписчиков было менее 1200. См.: *ЛН*, т. 16-18, с. 681.

[14] Объявление Погодина об альманахе «Северная лира» см.: *МВ*, 1827, № 2, с. 138. *Письмо от Веневитинова* — 17 ноября 1826 г., где он указывал на ошибку Погодина, пославшего «Бориса Годунова» в петербургскую театральную, а не в московскую общую цензуру, и возвращал рукопись, прохождение которой, таким образом, облегчалось (*ЛН*, т. 16-18, с. 682).

[15] Письмо от 29 ноября, написанное после требования Бенкендорфа представить в III Отделение все стихи Пушкина, получившие хождение в рукописи (*Письма*, II, с. 208; *XIII*, 307, 312).

[16] Это письмо не сохранилось.

[17] Поправка в монологе Пимена в *МВ* (1827, № 1): «на некое был услан послушанье» (вместо «послан»); в полном тексте трагедии снята (или пропущена).

[18] О прочтении Николаем I «Бориса Годунова» и его замечаниях Бенкендорф сообщил Пушкину 14 декабря (*XIII*, 313).

[19] О своих разногласиях с редакцией «Московского вестника» в связи с «немецкой метафизикой» Пушкин писал Дельвигу 2 марта (*XIII*, 320). По-видимому, раздражение Пушкина было вызвано преимущественно учено-философским направлением первых книг журнала, не пользовавшихся поэтому популярностью (ср. также *ЛН*, т. 16-18, с. 688, и *XIII*, 340—341).

[20] «*Одесса* (Из седьмой главы «Евгения Онегина»)». Напечатано в *МВ* (1827, № 6, с. 113).

[21] Рукопись «Цыган», присланная Дельвигом (*XIII*, 320—321).

[22] Д. В. Веневитинов умер 15 марта 1827 г.

[23] «Братья разбойники» процензурованы И. М. Снегиревым 24 марта.

[24] См. ряд заметок Пушкина на эту тему («О трагедии», 1825? «Письмо к издателю «Московского вестника», 1828, и т. д.).

[25] Письмо Туманского от 12 апреля 1827 г. (*XIII*, 326).

[26] «Невеста на ярмарке» (*МВ*, 1827, № 8, 9).

[27] Свой взгляд на «Цыган» И. Киреевский изложил в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина» (*МВ*, 1828, № 6, с. 171—196).

[28] Запись отражает разногласия в редакции «Московского вестника» и рост недовольства единоличным редакторством Погодина. В качестве соредактора В. П. Титов и В. Ф. Одоевский намечали Шевырева. Одновременно начались и материальные затруднения журнала, едва не приведшие к острому конфликту в редакции и поставившие под угрозу участие Пушкина (см. подробно: *Барсуков, II*, с. 130—133; *ЛН*, т. 16-18, с. 695, 733—739; *ЛН*, т. 58, с. 68—70).

[29] А. В. Веневитинов.

[30] Это письмо не сохранилось.

[31] *Стихи из Исаии* — «Пророк».

[32] Письмо не сохранилось.

[33] IV и V главы «Онегина» вышли к 4 февраля.

[34] Речь идет о неудовольствии Пушкина появлением в «Московском вестнике» (1828, № 1) строф XXXVI—XXXVIII и XLIV—LIII VII главы «Онегина», искаженных опечатками. Пушкин позволил перепечатать отрывок в исправленном виде в «Северной пчеле» (1828, № 17, 9 февраля). Булгарин (без ведома Пушкина) снабдил публикацию примечанием о «непристойных ошибках» в «Московском вестнике». Письмо Погодина, с проектом ответа «Северной пчеле» (содержащее и завуалированные упреки Пушкину), см. XIV, 2. Пушкин отвечал письмом от 19 февраля (там же, с. 4). См. также *ЛН*, т. 16-18, с. 697.

[35] Критика. Русские книги.— *МВ*, 1828, № 4, с. 461—469.

[36] Статья И. В. Киреевского (см. примеч. 27).

[37] 23—24 марта вышли из печати VI глава «Евгения Онегина» и второе издание «Руслана и Людмилы» с предисловием, где был иронически процитирован (без имени) отрицательный отзыв И. И. Дмитриева о поэме.

[38] Письмо не сохранилось.

[39] Речь идет о публикации в «Московском вестнике» резких и мелочных «Замечаний на Историю государства Российского» Н. С. Арцыбашева (1828, №19—24). Погодин поддерживал Арцыбашева, хотя и с оговорками; это восстановило против него сторонников Карамзина, прежде всего Вяземского. См.: *Барсуков*, II, с. 234 и след.

[40] *«Черная немочь»* — повесть Погодина, прочитанная Пушкиным до печати (*МВ*, 1829, ч. II). *Статья Надеждина* — «Литературные опасения за будущий год» (*BE*, 1828, № 21, 22); общая оценка ее у Пушкина сдержанна, так как он знал положительное отношение Погодина к автору. *Стихотворение о пользе* — «Чернь» («Поэт и толпа»). *«Мазепа»* — «Полтава».

[41] Погодин (или Пушкин) переписывал стихотворение для напечатания (*МВ*, 1829, ч. I, с. 200).

[42] Статья Погодина «Замечание о характере Иоанна IV» (*МВ*, 1829, ч. III, с. 19—28). В 1830 г. И. В. Киреевский писал Погодину: «Пушкину очень понравился твой «Иван» (Киреевский И. В. Полн. собр. соч., т. II. М., 1911, с. 217).

[43] Об этом вечере С. Т. Аксаков писал Шевыреву 26 марта (*РА*, 1878, № 5, с. 50).

[44] Обвинения в безнравственности — в статьях Надеждина. На том же основании цензор И. М. Снегирев отказался пропустить «Графа Нулина» и «Сцену из Фауста»; после разрешения «Фауста» Николаем I Пушкин просил Погодина уведомить об этом Снегирева (*XIII*, 340); (ср. также *XIV*, 41; *Письма*, II, с. 336).

[45] «Иван Выжигин», роман Ф. Булгарина (1829).

[46] Письмо не сохранилось.

[47] В «Северных цветах на 1830 год» помещен отрицательный отзыв О. Сомова о «Московском вестнике» и исторических статьях Погодина (с. 25—30). *Брань на Каченовского* — «Отрывок из литературных летописей» (т а м ж е, с. 228). Погодин писал о них в «Московском вестнике»: «Прискорбно читать отрывок из Литературных летописей Пушкина, в которых автору показались достаточными для его жгута даже скудельные слова г. Полевого» (1830, № 3, с. 319).

[48] См. с. 133 и 451 наст. изд.

[49] К этому времени было опубликовано 5 эпиграмм Пушкина, прямо направленных против Каченовского и Надеждина (Надоумко) («Литературное известие», «Журналами обиженный жестоко...», «Там, где древний Кочерговский...», «Как сатирой безымянной...», «Седой Свистов...»).

[50] Пушкин оставил воспоминание об этой встрече с отрицательной характеристикой Надеждина («vulgar, скучен, заносчив и безо всякого приличия» — *XII*, 159).

[51] VII глава вышла в свет 18—19 марта 1830 г.

[52] По-видимому, статья «Еще несколько слов о «Димитрии Самозванце» (романе Ф. Булгарина), за подписью: W. W. (*МВ*, 1830, № 6, с. 180—192).

[53] Критика на VII главу «Онегина» появилась в *СПч* (1830, № 35 (22 марта) и № 39 (1 апреля).

[54] Статья Погодина «Взгляд на кабинеты журналов и на взаимные их отношения между собою» за подписью: N. N. (*МВ*, 1830, № 8—10, 14—24).

[55] См. письмо Бенкендорфа Пушкину 28 апреля 1830 г. (*XIV*, 81).

[56] Видимо, «Элегический отрывок» (*МВ*, 1830, № 11, с. 194—195): «Поедем, я готов; куда бы вы, друзья...»

[57] См. письмо Погодина Шевыреву 15 мая 1830 г., очень близкое этой записи (*РА*, 1882, кн. 3, с. 148).

[58] По-видимому, Погодин ошибся в дате; его запись — изложение записки Пушкина от 29 мая (*XIV*, 95). См. ряд аналогичных записок Пушкина (*XIV*, 92, 94, 96—97).

[59] Речь на акте в университете 26 июня (*МВ*, 1830, № 12).

[60] Трагедия Погодина «Марфа Посадница» была напечатана, но не выпущена в продажу. В 1831 г. возникли дополнительные цензурные трудности (*Лемке*, с. 62—63).

[61] Ноябрьское письмо 1830 г. (*XIV*, 128).

[62] «Домик в Коломне».

[63] 30 марта 1830 г. Жуковский обратился к Николаю I с письмом, где сообщил о доносах Булгарина на него и Киреевского (*РА*, 1896, кн. I, с. 112—113).

[64] Записи народных песен, сделанные в Болдине.

[65] IX глава «Онегина» окончена 25 сентября. «Герой» — стихотворе-

ние Пушкина, напечатанное Погодиным в *Тел.* (1831, № 1, с. 46). Поправки в нем Надеждина Погодин, по-видимому, успел снять.

[66] «Борис Годунов» вышел отдельным изданием 22—23 декабря. Надеждин напечатал разбор с высокой оценкой трагедии (*Тел.*, 1831, № 4, с. 546—574).

[67] *Холостой обед* — «мальчишник» по случаю свадьбы Пушкина (*Рассказы о П.*, с. 53, 129—131; *PC*, 1884, № 7, с. 134).

[68] *Статья* Погодина — «Исторические размышления об отношениях Польши к России» (*Тел.*, 1831, № 7, с. 295—311). *Повести* — видимо, «Повести Белкина».

[69] Речь идет о трагедии Погодина «Петр I».

[70] Спор этот отчасти отразился в более ранних замечаниях Пушкина на статью Погодина «Об участии Годунова в убиении царевича Димитрия» (*МВ*, 1829, ч. III). См.: *ПиС*, вып. XIII, с. 147—162.

[71] «О «Борисе Годунове», сочинении Александра Пушкина, разговор» (М., 1831). Статья без подписи.

[72] *«Статистика»* — переиздание книги И. К. Кириллова «Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий...», кн. 1—2 (М., 1831). Послана Погодиным Пушкину при письме от 3 июня 1831 г. (*XIV*, 170).

[73] Письмо от конца июня 1831 г. (*XIV*, 185).

[74] Письмо не сохранилось.

[75] Письмо от конца июля 1831 г. (*XIV*, 203).

[76] Это письмо см.: *XIV*, 206.

[77] Об этом письме, до нас не дошедшем, Пушкин упоминает в письме к Бенкендорфу (*XIV*,234).

[78] Погодин 28 сентября приехал в Петербург хлопотать об издании «Марфы» и «Петра». См.: *Барсуков*, т. III, с. 333—358.

[79] Погодин вычеркнул 600 стихов из «Петра» по совету Жуковского.

[80] «Повести Белкина», вышедшие 24 октября. Последняя повесть — «Барышня-крестьянка».

[81] Пушкин около 22 октября переехал на новую квартиру (Галерная ул., дом Брискорна).

[82] Письмо Киреевского Пушкину около 25 октября (*XIV*, 238). О каких стихах Языкова идет речь — неизвестно.

[83] Пушкин ходатайствовал об облегчении участи ссыльного В. Д. Сухорукова и разрешении ему продолжать исторические труды. См.: *Письма*, IV, с. 471.

[84] Рецензия Погодина на «Повести Белкина» неизвестна.

[85] *СЦ* на 1832 г. (вышли около 24 декабря 1831 г.).

[86] Стихотворения Александра Пушкина. Третья часть. СПб., 1832 (вышли около 29 марта).

[87] Письмо от 11 июля 1832 г. с сообщением о разрешении газеты («Дневник») и предложением сотрудничать (*XV*, 27).

[88] Это письмо неизвестно.

[89] Письмо от 5 марта 1833 г., сообщающее о разрешении Погодину сотрудничать с Пушкиным в разборе исторических архивных материалов о Петре (*XV*, 53).

[90] Письмо от 22 марта (*XV*, 57).

[91] Возможно, Погодин брал для Пушкина у Дмитриева отрывок из записок о Пугачеве (*XV*, 62).

[92] Это письмо неизвестно.

[93] Журнал Пушкина — «Современник» (еще не появившийся в свет); Погодина — «Московский наблюдатель».

[94] Письмо Пушкина — 14 апреля; ответ Погодина — 1 мая (*XVI*, 103, 110).

[95] См. речь Погодина о смерти Пушкина (*Барсуков*, т. IV).

[96] «На выздоровление Лукулла».

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О СТЕПАНЕ ПЕТРОВИЧЕ ШЕВЫРЕВЕ»

(Стр. 35)

ЖМНП, 1869, февраль, с. 401—408.

[1] Альманах «Урания» был издан Погодиным в начале января 1826 г.; для него через Вяземского Погодин получил несколько стихотворений Пушкина.

[2] Пушкин и Веневитинов были четвероюродными братьями. См.: *ПиС*, вып. XI, с. 120.

[3] Эту сцену Пушкин отмечал еще в «Войнаровском» Рылеева (*XIII*, 184), а затем использовал в «Полтаве» в сцене казни Кочубея (*V*, 47).

[4] См. «Биографический словарь профессоров Московского университета» (т. II. М., 1855, с. 606). В «Урании» напечатаны повести Погодина «Нищий», «Как аукнется, так и откликнется».

[5] Завтрак у Булгарина был 8 января 1828 г. (Огонек, 1948, № 51, с. 16). О начале полемики см.: *Барсуков*, т. II, с. 166 и след.

[6] Перевод отзыва Гете — *МВ*, 1828, № 11, с. 327—333. Письмо Пушкина — от 1 июля 1828 г. (*XIV*, 21) Погодин цитирует с заменой имени Б. М. Федорова («Булгарина с Федоровым»), остававшегося в живых к 1865 г.

ИЗ ЗАМЕТОК «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ЛОМОНОСОВА, СУМАРОКОВА И ПУШКИНА»

(Стр. 43)

Москвитянин, 1855, № 4 (февраль), кн. 2, с. 146.

Эпизод относится к лету 1823 или 1824 г. (*Летопись*, с. 395).

[1] У Погодина написание «Григорьев» ошибочно.

[2] Аналогичный рассказ был записан со слов Гоголя Л. И. Арнольди (см.: *РВ*, 1862, № 1, с. 87—90).

ИЗ ЗАМЕЧАНИЙ НА «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ ПУШКИНА» П. В. АННЕНКОВА

(Стр. 44)

ЛН, т. 58, с. 348—356 (публикация М. А. Цявловского). Фрагмент 1-й — впервые: Юный пролетарий, 1936, № 19-20, с. 8 (публикация Л. Б. Модзалевского). Автограф — *ГБЛ*, Пог. 1.28.19. Писалось 31 января — 1 февраля 1855 г.

[1] И. Д. Трубецкой был троюродным братом С. Л. Пушкина. Дом его — на Покровке.

[2] См. наст. изд., с. 23—24, 56, 437.

[3] *ВЕ*, 1823, № 1, с подп.: М. П. Замечание об инверсии касалось строк: «Там холмов тянутся грядой//Однообразные вершины».

[4] Ср. в письме Вяземскому от 14 октября 1823 г.: «Бахчисарайский фонтан», между нами — дрянь, но эпиграф его — прелесть» (*XIII*, 70) и в «〈Возражении критикам «Полтавы»〉»: эпиграф «лучше всей поэмы» (Денница на 1831 г; *XI*,165).

[5] Еще в 1825 г. Пушкин отмечал сцену в «Войнаровском» Рылеева, где есть «палач с засученными рукавами» (письмо к Вяземскому 25 мая 1825, *XIII*, 184); близкую сцену (палач «шутит с чернию веселой») он ввел в «Полтаву».

ИЗ ПОСЛЕСЛОВИЯ К ТРАГЕДИИ «ПЕТР I»

(Стр. 45)

〈Погодин М. П.〉. Петр I, трагедия в пяти действиях, в стихах. 1831. М., 1873, с. 158—159.

Послесловие датировано 23 февраля 1873 г. Корректурные листы с рукописными вставками — *ЛБ*, Пог., I/26, 8.

ЗАМЕТКИ О ПУШКИНЕ ИЗ ТЕТРАДИ В. Ф. ЩЕРБАКОВА

(Стр. 46)

Пушкин А. С. Сочинения, под ред. П. А. Ефремова, т. VIII. СПб., 1905, с. 109—111.

[1] См. с. 10—11, 19 и 44 наст. изд.

[2] См. вступ. статью.

[3] Имеется в виду концовка басни Крылова. Ср. раннюю эпиграмму Пушкина на Каченовского: «Хаврониос! ругатель закоснелый...» (1820).

[4] Ср. эпиграмму Пушкина «Охотник до журнальной драки...» (1824).

[5] По-видимому, речь идет о приглашении Языкова в «Московский вестник» (в письме от 21 декабря 1826 г.—*XIII*, 314).

[6] В В. П. Зубкове Пушкин видел посредника в своей предполагаемой свадьбе с С. Ф. Пушкиной (см. *Письма*, II, с. 215—217).

[7] Завтрак у Погодина был 15 мая 1827 г.; присутствовали Пушкин, Вяземский, Баратынский, Снегирев. Эпиграмма была написана Пушкиным совместно с Баратынским (*ПиС*, вып. XVI, с. 50). Анекдот о Шаликове, по указанию П. А. Ефремова, полностью изложен в эпиграмме «Князь Шаликов, газетчик наш печальный...».

С. П. ШЕВЫРЕВ

Воспоминания о Пушкине Степана Петровича Шевырева (1804—1864) — поэта, критика, эстетика, одного из главных участников кружка «любомудров», представляют собой несколько разрозненных рассказов и не содержат сколько-нибудь полной картины даже их внешних отношений; в них отразились, однако, близкие самому Шевыреву черты творческого облика Пушкина, заостренные и несколько искаженные в полемических целях. Некоторые сведения, сообщаемые Шевыревым по личным впечатлениям, принадлежат к числу весьма ценных и даже уникальных (о чтении «Поэта и толпы» в салоне Волконской и др.).

Впервые рассказы Шевырева были записаны в 1850—1851 годах, по-видимому, Н. В. Бергом для П. В. Анненкова, использовавшего их в «Материалах для биографии А. С. Пушкина».

Затем в составе статьи Л. Н. Майкова «Воспоминания Шевырева о Пушкине» опубликованы в «Русском обозрении» (1893, № 4, с. 611—625; № 5, с. 5—25); перепечатаны в книге: Майков Л. Н. Пушкин. СПб., 1899. Композиция разрозненных рассказов дана Майковым. Рукопись — *ИРЛИ*, ф. 244, оп. 17, № 46.

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ

(Стр. 48)

Гессен, с. 460—464, с уточнением по рукописи.

[1] Эти сведения, повторенные Анненковым, были исправлены Погодиным. Повар В. Л. Пушкина был жив еще в 1838 г. и торговцем Охотного ряда не стал; после него в Москве остались многочисленные ученики (*Л Н*, т. 58, с. 350).

[2] Неточность; см. т. 1, с. 40.

[3] Аналогичный рассказ Чаадаева приводят Бартенев, Лонгинов, Д. Н. Свербеев и др. (см.: *Летопись*, с. 212). Ср. т. 1, с. 212 наст. изд. «Руслан и Людмила» вышла из печати уже после отъезда Пушкина. «Евгений Онегин» начат не в Петербурге, а в Кишиневе 9 мая 1823 г.

[4] См. с. 13—15 наст. изд.

[5] Ср. с. 66 наст. изд. Книга Кс. Полевого «Михаил Васильевич Ломоносов» вышла много позже, в 1836 г., и тогда же была послана им Пушкину (*Письма*, VI, с. 310).

[6] Утверждения Шевырева здесь тенденциозны и в ряде случаев противоречат фактам. О скептическом отношении Пушкина к шеллингианству «любомудров» см. с. 428 наст. изд. Стихотворение «Поэт и толпа» («Чернь») написано вне связи с шеллингианством. В «Московском телеграфе» Пушкин поместил несколько статей и стихотворений, см. с. 59—61 наст. изд.

[7] См. письмо Пушкину Бенкендорфа от 14 декабря 1826 г. (*XIII*, 313); Пушкин ответил 3 января: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное» (*XIII*, 317).

[8] См. дневник Погодина, с. 18 наст. изд. По свидетельству Шевырева, Пушкин еще в 1826 г. задумал «Каменного гостя», «Русалку», а также драму «Ромул и Рем», «в которой одним из действующих лиц намеревался он вывести волчиху, кормилицу двух близнецов» (*Москв.*, 1841, ч. V, № 9, с. 245).

[9] Пушкин хорошо овладел английским языком в 1828 г. Основным источником изучения Шекспира для него действительно было французское издание 1821 г. с вводной статьей Ф. Гизо, однако есть основания думать, что уже в 1825 г. Пушкин видел и подлинники Шекспира. См.: Шекспир и русская культура. М.— Л., 1965, с. 165 и сл. (статья М. П. Алексеева).

[10] См. письмо Пушкина Погодину 19 февраля 1828 г. (*XIV*, 5) и набросок статьи о «Бале» Баратынского, 1828 г. (*XI*, 74).

[11] Пушкин высоко ставил трагедию Катенина «Андромаха» («О народной драме...», 1830; *XI*, 180). С критикой трагедии выступили Н. По-

левой (*МТ*, 1825, № 2) и сам Шевырев (*МВ*, 1828, № 1, здесь же и отзыв о Баратынском). Катенин не был лицейским товарищем Пушкина.

[12] То же Шевырев писал по поводу «Египетских ночей»: «В Чарском Пушкин едва ли не представил собственных своих отношений к свету: он не любил, когда в гостиной обращением напоминали ему о высоком его звании, и предпочитал обыкновенное обхождение, светское» (*Москв.*, 1841, ч. V, № 9, с. 264). Рассказ Шевырева о Пушкине в салоне Волконской корректирует утверждения о безусловно положительном его отношении к салону (см. т. 1, с. 134 наст. изд., а также с. 54 наст. изд. и *XIV*, 38).

[13] Оба стихотворения появились в «Московском вестнике» (1829, ч. 1).

[14] См. с. 253—254 наст. изд. В 1843 г. Шевырев писал, что «Слово о полку Игореве» Пушкин «помнил от начала до конца наизусть» (*Москв.*, 1843, ч. 3, № 5, с. 237), ср. также: История русской словесности, преимущественно древней. Публичные лекции Ст. Шевырева..., т. 1, ч. 2. М., 1846, с. 259—260, 310—311, 322—323.

[15] Об этом чтении Пушкиным наизусть народных песен Шевырев рассказывал впоследствии и своему ученику Н. С. Тихонравову (Отчет Моск. ун-та за 1864 г., с. 4—5).

А. Н. МУРАВЬЕВ

Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874) — поэт и религиозный писатель.

Воспоминания Муравьева, написанные в 1871 году, но основанные частью на записях 1820—1830-х годов, ценны и достоверны в своей фактической основе, несмотря на мелкие хронологические и другие неточности. Вместе с тем на них лежит печать православной официозности. Отличавшийся ханжеским благочестием, Муравьев ставит особый акцент на религиозных устремлениях знакомых ему литераторов; он склонен к иконописности портретов и сглаженно-идеализирующим характеристикам. Его рассказ ведется от лица христианина, избегающего судить и осуждать даже прямых литературных противников, и вместе с тем в самом ходе повествования то и дело ощущается внутренняя полемика или даже личная обида и неприязнь (например, к Баратынскому), скрытая за общим тоном благожелательной объективности. Коррективов требует и рассказанная им история взаимоотношений с Пушкиным: в ряде источников мы находим следы и весьма критического отношения Пушкина к личности и поведению Муравьева; вместе с тем он вынужден был считаться и с родственными связями Муравьева — двоюродного брата начальника канцелярии III Отделения А. Н. Мордвинова.

(Стр. 53)

Муравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, с. 10—15, 16—19.

[1] Экспромт Л. С. Пушкина, часто повторявшийся и самим Пушкиным и приписанный ему (*Лит. архив*, I, с. 224).

[2] Бакчи-сарай.— *СЛ*, 1827, с. 160—162; ср.: Муравьев А. Таврида. М., 1827, с. 13—16. Благожелательный отзыв Пушкина — в наброске рецензии на *СЛ* (*XI*, 48).

[3] Изображение салона З. Волконской у Муравьева несколько идеализировано. См. с. 51 наст. изд.

[4] Стихи Муравьева («О Аполлон! Поклонник твой // Хотел померяться с тобой...» и т. д.) см.: *РА*, 1885, № 1, с. 132; эпиграмма Пушкина («Лук звенит, стрела трепещет...») под загл.: «Эпиграмма (Из антологии)» — *МВ*. 1827, № 3, с. 124 (номер вышел 19 марта). См. также с. 44 наст. изд. Муравьев в отместку написал эпиграмму «Ответ Хлопушкину» (*ЖМНП*, 1875, ч. 178, апрель, с. 94).

[5] Статья Баратынского (*МТ*, 1827, № 4, с. 325—334) появилась не «безымянно», а с полной подписью.

[6] Объяснение Соболевского — конечно, светская вежливость. Пушкина (как и Баратынского и самого Соболевского) раздражила претенциозная театральность эпизода (ср. эпиграмму Баратынского: «Убог умом, но не убог задором...» Ср. также: Русская эпиграмма конца XVII — начала XX в. Л., 1975, по указ. (Муравьев А. Н.).

[7] «Битва при Тивериаде» поставлена в Александринском театре 13 октября 1832 г.

[8] В «Моих воспоминаниях» («Русское обозрение», 1895, № 12, с. 600) Муравьев относит этот эпизод к зиме 1831 /1832 г. По-видимому, здесь ошибка памяти, и имеется в виду набросок рецензии Пушкина на книгу «Путешествие ко святым местам в 1830 году» (ч. 1—2, СПб., 1832), где очень близко перефразированы приведенные слова (*XI*, 217).

[9] Отрывки из 4 и 5 действий «Битвы при Тивериаде» с предисловием (датированным 30 ноября 1833 г.) — *Совр.*, 1836, т. II, с. 140—179 (как и все публикации здесь Муравьева, анонимно). По воспоминаниям Муравьева, Пушкин сам подал ему мысль об историческом предисловии (ср. Сулима С. Андрей Николаевич Муравьев.— *РА*, 1876, № 7, с. 355). Отрывки из «Михаила Тверского» см.: *Совр.*, 1837, т. VI, с. 376—392. Кроме того, Пушкин напечатал в *Совр.* (1836, т. IV, с. 219—231) очерк Муравьева «Вечер в Царском Селе» (*Рыскин*, с. 60—62).

К. А. ПОЛЕВОЙ

Ксенофонт Алексеевич Полевой (1801—1867) — критик и журналист, брат издателя «Московского телеграфа» Н. А. Полевого и его ближайший сотрудник. Начав, подобно брату, как идеолог антидворянской, «третьесословной» коалиции, он в 1830—1831 годы принимает участие в борьбе против Пушкина и «литературной аристократии» (см. вступ. статью); как и Н. А. Полевой, позднее отходит на консервативные позиции. Его мемуары содержат апологию брата и полемически направлены против книги Анненкова и демократической журналистики 1850—1860-х годов, которой он резко враждебен. Задним числом он продолжает и полемики 1830-х годов: он утверждает концепцию Пушкина-аристократа и историческую правоту демократа Полевого. Вместе с тем мемуары К. Полевого отражают и сложность отношений Пушкина с издателем «Телеграфа»: даже в разгар борьбы Полевым было свойственно понимание масштабов пушкинского творчества. Смерть Пушкина Н. Полевой пережил как общественную и личную трагедию. В «Записках» К. Полевого ощущается стремление посмертно «приблизить» Пушкина к своему брату, несмотря на оттенок личного недоброжелательства к поэту. В целом записки его по своим литературным и историческим достоинствам принадлежат к числу лучших русских мемуаров XIX века.

Печатались (фрагментами) с 1856 г. (главным образом в «Северной пчеле»); сокращенная редакция 1-й части — отдельное изд. (1860); полностью (с не оконченной Полевым 2-й частью) — *ИВ*, 1887, № 1—12; и отдельно: П о л е в о й Кс. Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого. СПб., 1888.

ИЗ «ЗАПИСОК»

(Стр. 59)

Полевой, с. 172—174, 175, 207—209, 223—230, 231—232, 234—235, 273, 276--280, 307—308.

[1] Письмо от 2 августа 1825 г. (*XIII*, 198); ответ на письмо Полевого (около 7 июня), посланное вместе с журналом.

[2] *МТ*, 1825, № 17, с. 40—46, с подписью: Н. К.

[3] *О г-же Сталь и о г. А. М-ве.— МТ*, 1825, № 12, с. 255—259, с подписью: Ст. Ар. Здесь (как и далее) исправлена ошибка Полевого в отчестве Муханова.

[4] «Телегу жизни» Пушкин послал Вяземскому еще 29 ноября 1824 г. с разрешением печатать, «пропустив русский титул» (*XIII*, 126). Вяземский напечатал стих. в *МТ* (1825, № 1, с. 49).

[5] *«Журнальным приятелям»* — *МТ*, 1825, № 3, с. 215, с подписью: А. П. С этим стих. связан небольшой инцидент, опущенный Полевым

(характерно, впрочем, что он приводит стих. без заглавия). Пушкин послал его Вяземскому для печати 25 января, с заглавием «Приятелям»; Вяземский, отдавая его в «Московский телеграф», изменил заглавие во избежание кривотолков. Пушкин, недовольный поправкой, напечатал исправление в *СПч.* (1825, № 52 (30 апреля). Замечание задело Полевого, который ответил объяснением в *МТ* (1825, № 9, с. 153). См. переписку Вяземского и Пушкина по этому поводу (*XIII*, 136, 181, 186).

[6] Это замечание Измайлова см.: Благонамеренный, 1820, № 6, с. 442. Пушкин упоминает о нем в примечаниях к «Онегину» (VI, 193).

[7] Неточная цитата из анонимной статьи Измайлова «Дело от безделья, или Краткие замечания на современные журналы» (Благонамеренный, 1825, № 19, с. 173).

[8] Напечатано в *МТ* (1825, № 13, с. 43), с подписью: А. П. См.: *XIII*, 186.

[9] См. с. 77—78 наст. изд.

[10] «Евгений Онегин», глава IV, строфа XIX.

[11] Ошибка Полевого: портрет был приложен к первому изданию «Кавказского пленника» (1822).

[12] О «жизненной непринужденности» языка шекспировских персонажей Пушкин неоднократно говорил в 1825—1826 гг. (см., напр., письмо Н. Н. Раевскому 1825 г. (*XIII*, 198); Шекспир и русская культура. М.— Л., 1965, с. 172—173).

[13] Недовольство Пушкина журналом Полевого нарастало уже в Михайловском и отразилось в переписке с Вяземским в мае — июне 1825 г. (ср.: Полевой «длинен и скучен, педант и невежда»,— письмо 13—15 сентября; *XIII*, 184, 205, 227; *Письма*, I, с. 440, 485); прямое обвинение в безграмотности вызывают у него некрология Н. П. Румянцева и Ф. В. Ростопчина (*МТ*, 1826, № 3, с. 304—309; ср.: *Письма*, II, с. 204; *XIII*, 304). Об этих «ошибках», видимо, и шла речь. Уже в мае 1826 г. он намеревается оставить «Московский телеграф» и создать свой журнал с участием Вяземского, а затем привлечь его в «Московский вестник» (*XIII*, 279, 305; *Полевой*, с. 424—425). Вяземский не оставил журнала как по моральным обязательствам, так и по скептическому отношению к кружку «любомудров».

[14] «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного», изданные Л. Тиком (М., 1826). Об интересе Пушкина к этой книге см.: *Пушкин*, VII, с. 538 и сл.; *Врем. ПК*, 1970, с. 43. Встреча произошла, по-видимому, в октябре 1826 г.

[15] Эта часть воспоминаний Полевого написана под явным влиянием позднейших полемик о «литературном аристократизме». См. выше и во вступ. статье.

[16] 16 мая 1827 г. (*ПиС*, вып. XVI, с. 52). Упоминаемые ниже стихи Баратынского и Дельвига — «Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком...».

[17] Пушкин уехал в Петербург 19 мая 1827 г. *Дуэль* — несостоявшаяся дуэль с В. Д. Соломирским (см. Лернер Н. Несостоявшаяся дуэль Пушкина в 1827 году.— *РС*, 1907, № 7, с. 101—104). Этот эпизод произошел, однако, месяцем раньше, нежели пишет Полевой.

[18] К. Полевой пробыл в Петербурге с весны до июня 1828 г. 1 июля Пушкин писал Погодину: «Растолковали ли вы Телеграфу, что он дурак? Ксенофонт Телеграф, в бытность свою в С.-Петербурге, со мною в том было согласился (но сие да будет между нами; Телеграф добрый и честный человек, и с ним я ссориться не хочу)» *(XIV*, 21). С Гречем и Булгариным Пушкин в это время поддерживает вполне лояльные отношения (*Письма,* II, с. 268).

[19] В «Атенее» (1828, № 4) М. А. Дмитриев (под анаграммой В.) опубликовал замечания на IV и V главы «Онегина». Пушкин написал «Возражение на статью «Атенея», но не напечатал эту статью, а использовал в примечаниях к полному изданию романа.

[20] «Евгений Онегин», глава II, строфа III, и глава IV, строфа XXXVI (при переиздании опущенная).

[21] «Евгений Онегин», глава VI, строфа XLIV.

[22] Эти рассказы о Свиньине, переданные Пушкиным Гоголю, послужили одним из источников «Ревизора». См. запись в дневнике О. М. Бодянского 30 сентября 1851 г. (*РС*, 1889, № 10, с. 134) и кн.: Данилевский Г. П. Украинская старина. Харьков, 1866, с. 214.

[23] См. переписку Пушкина с Вяземским в августе-сентябре 1825 г. (*XIII*, 224, 227). Далее речь идет о выходе первого тома «Истории русского народа» Полевого, с резкой критикой Карамзина, и о полемике с ним Пушкина (см.: *Полевой*, с. 447 и след.). Разрыв с Полевым, однако, имел более глубокие корни в антагонизме социальных позиций.

[24] Это не совсем точно: в 1834 г. братья Полевые выступили как комиссионеры по продаже «Истории Пугачевского бунта» (см.: *Письма*, IV, с. 139, 310).

[25] *СПч.*, 1837, № 24 (30 января). Некролог был написан Л. А. Якубовичем.

ИЗ СТАТЬИ «АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН»

(Стр. 76)

Живописное обозрение, 1837, т. III, л. 10, с. 80.

А. А. СКАЛЬКОВСКИЙ

Скальковский Аполлон Александрович (1808—1898) — писатель, историк, друг Мицкевича. Учился в Виленском университете на морально-политическом факультете. В 1825 году за участие в студенче-

ском движении, связанном с Обществом филоматов и филаретов, был арестован. После освобождения, в том же 1825 году, поступил на второй курс юридического факультета Московского университета. В Москве познакомился и сблизился с Мицкевичем, а через него познакомился и с Пушкиным. Отрывок из его «Воспоминаний» впервые напечатан С. С. Ландой в кн.: Пушкин и его время. Исследования и материалы, вып. 1. Л., 1962, с. 277—278.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

(Стр. 77)

Пушкин и его время. Исследования и материалы, вып. 1. Л., 1962, с. 277—278.

А. А. ОЛЕНИНА

Анна Алексеевна Оленина (в замужестве Андро, 1808—1888) — дочь известного мецената, президента Академии художеств и директора публичной библиотеки А. Н. Оленина и Е. М. Олениной, происходившей из богатой и влиятельной семьи Полторацких. С именем А. А. Олениной, внушившей Пушкину сильное и нежное чувство, связан один из лучших лирических циклов («Ее глаза», «Зачем твой дивный карандаш...», «Ты и вы», «Предчувствие», «Город пышный, город бедный...» и др.), созданный на протяжении 1828 года. Начало знакомства Пушкина с семьей Олениных, занимавшей видное место в литературно-художественной жизни Петербурга, относится еще к послелицейским годам, когда поэт стал бывать в известном всему Петербургу оленинском особняке на Фонтанке (ныне д. 97). Возвратившись в Петербург в мае 1827 года, Пушкин снова был тепло принят у Олениных, переехавших в это время в дом Гагарина на Дворцовой набережной (ныне д. 10). Сюда весной 1828 года Пушкин стал приходить особенно часто, привлеченный юной Олениной.

Начатый в конце июня 1828 года (в самый разгар увлечения поэта Олениной) и доведенный с некоторыми перерывами до 1835 года, «Дневник» ее охватывает, по существу, самый важный период в истории отношений Пушкина с Олениной. Интимный по содержанию и вместе с тем претендующий на известную «литературность» своей формы (тяготея в ряде фрагментов к жанру художественной прозы), «Дневник» сосредоточен вокруг личности автора, с удивительной непосредственностью и полнотой раскрывая духовный облик вдохновительницы лирического цикла 1828 года.

Однако значение «Дневника» как мемуарного источника — локально: раскрывая историю своих отношений с Пушкиным, Оленина ограничивается исключительно биографическими моментами. Ракурс освещения событий, касающихся Пушкина, сугубо бытовой; в попытке обрисовать психологический портрет «выдающегося поэта XIX в.» в полной мере обнаруживается беспомощность Олениной, не понимавшей и не ценившей личность Пушкина.

В настоящее время подлинник «Дневника» (опубликованного в Париже в количестве 200 нумерованных экземпляров) находится в *ЦГАЛИ* (подробнее о судьбе дневника см. статью И. С. Зильберштейна «Парижские находки. Дневник Аннет Олениной».— Огонек, 1966, № 49, с. 24—27).

В нашей книге его текст дается по хранящемуся в Пушкинском кабинете *ИРЛИ* парижскому изданию «Дневника» (№ 157). Для удобства читателей французские записи Олениной даются в русских переводах, выполненных Т. Г. Цявловской, впервые в советской печати давшей публикацию больших фрагментов «Дневника» (см.: Цявловская Т. Г. Дневник Олениной.— *П. Иссл. и мат.*, II, с. 247—292), снабженных исчерпывающим комментарием.

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 79)

Дневник Анны Алексеевны Олениной (1828—1829). Предисл. и ред. Ольги Николаевны Оом. Париж, 1936, с. 4—5, 13—14, 23—24, 28—31, 36—38, 64—66.

[1] Запись, открывающаяся эпиграфом из стихотворения Баратынского «К...» (К А. Ф. Закревской), имеет в виду князя А. Я. Лобанова-Ростовского (вдовца и отца трех малолетних сыновей) — девическое увлечение А. А. Олениной.

[2] Крылов был ближайшим другом семьи Олениных (см. «Воспоминания о Пушкине» А. Керн, т. 1, с. 404 наст. изд.). Разговор Олениной с Крыловым подтверждает, что намерение Пушкина сделать ей предложение было широко известно (см.: Цявловская Т. Г. Дневник Олениной, с. 269—271).

[3] Н. Д. Киселев (которого Оленина прочила себе в женихи) был в это время одним из приятелей Пушкина (см.: *XIV*, 19).

[4] О знакомстве с Пушкиным Е. М. Хитрово (Тизенгаузен — по первому мужу) см.: *Письма к Хитрово*, с. 159.

[5] На основании этой записи первую встречу Олениной с Пушкиным можно отнести к 1827 г., когда Пушкин впервые после шестилетнего отсутствия вернулся в Петербург. О Николае I — цензоре Пушкина см. т. 1, с. 534—535 наст. изд.

[6] «Red Rew» («Красный пират») — популярный роман Ф. Купера, вышедший в 1828 г. Сообщения о нем проникают и в русскую печать (см.: *МТ*, 1828, ч. 20, № 6, с. 259—260; *МВ*, 1828, ч. IX, № 9, с. 101—104).

[7] Об увлечении Пушкина А. Ф. Закревской, отразившемся в ряде стихотворений («Портрет», «Наперсник») и в прозаическом наброске («Гости съезжались на дачу»), см. письмо к Вяземскому от 1 сентября 1828 г. (*XIV*, 26).

[8] В записи, сделанной 19 сентября, Оленина возвращается к событиям 5 сентября (дню именин Е. М. Олениной), означившим кульминацию в отношениях Пушкина к семье Олениных. Разрыв, назревавший давно (см.: *XIV*, 26—27), стал неизбежным. После отъезда Пушкина в Малинники 19 октября 1828 г. (где поэт пробыл полтора месяца; см. «Из «Дневника» А. Вульфа, т. 1, с. 536 наст. изд.) отношения с Олениными постепенно сошли на нет. Запись в дневнике от 19 сентября 1828 г. подтверждает указание современников на связь с именем Олениной и стихотворения «Кобылица молодая...» (подражание Анакреону). Недаром в рабочей тетради (*ИРЛИ*, ф. 244, оп. 1, № 838) на обороте черновика этого стихотворения Пушкин набрасывает портрет Олениной (см.: Цявловская Т. Г. Дневник Олениной, с. 255—256; ср. с указанием О. Н. Оом о том, что «Кобылица молодая...» посвящено Олениной: «Дневник», с. XXIV). Следующий абзац в тексте — на фр. яз.

[9] Оленина имеет в виду стихотворение «Ее глаза». По свидетельству П. М. Устимовича (см.: *РС*, 1890, т. LXVII, август, с. 392), лично знавшего А. А. Оленину «старушкою» «в бытность ее в Варшаве» и имевшего доступ к ее бумагам, Пушкин посвятил Олениной следующие стихотворения: «Город пышный...», «Ее глаза», «Ты и вы», «Приметы», «Что в имени тебе моем...», «Я вас любил...», «Когда б не смутное влеченье...», упоминая ее в «To Daw Esq» и «За Netty сердцем я летаю...» . Вопрос о включении всех этих стихотворений, написанных в разное время, в оленинский цикл подробно рассмотрен Т. Г. Цявловской в статье о дневнике Олениной. В несохранившемся альбоме Олениной, по указанию ее внучки О. Н. Оом, имелись многочисленные автографы Пушкина. О. Н. Оом указывает: «Зная, как я интересовалась ее прошлым, бабушка оставила мне альбом, в котором, среди других автографов, Пушкин в 1829 г. вписал стихи «Я вас любил, любовь еще, быть может...». Под текстом этого стихотворения он в 1833 г. сделал приписку: «plusqueparfait» — давно прошедшее. 1833» («Дневник А. А. Олениной», с. XXXIX—XL).

Е. Е. СИНИЦИНА

Екатерина Евграфовна Синицина, в девичестве Смирнова (1812 — не ранее 1886) — дочь тверского священника Е. А. Смирнова (близкого семейству П. И. Вульфа),— «поповна», упоминаемая в переписке Пушки-

на с А. Вульфом (*XIV*, 50). Рано лишившись отца, она была взята на воспитание в семью П. И. Вульфа, в которой прожила около трех лет, после чего возвратилась к матери в Тверь. В январе 1829 года Е. Е. Смирнова гостила у Вульфов в г. Старице и Павловском, став свидетельницей одного из «заездов» Пушкина в тверские края.

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ В. КОЛОСОВЫМ

(Стр. 93)

Колосов В. Александр Сергеевич Пушкин в Тверской губернии в 1827 году. Тверь, 1888, с. 10—16.

[1] Ошибка мемуаристки: Пушкин приехал в Старицу 6 января 1829 г. (см. т. 1, с. 452 наст. изд.).

[2] Эпизод этот, подробно описанный А. Н. Вульфом (см. его «Дневник». М., 1929, с. 193), был, безусловно, известен Пушкину (см.: *XIV*, 50).

[3] В письме к А. Н. Вульфу от 27 октября 1828 г. Пушкин писал, что «Мария Василиевна Борисова есть цветок в пустыне, соловей в дичи лесной, перла в море и что я намерен на днях в нее влюбиться» (*XIV*, 33).

[4] См. примеч. 4 к «Воспоминаниям о Пушкине» А. П. Керн и примеч. 18 к дневниковым записям о Пушкине А. Н. Вульфа (т. 1, наст. изд.).

Н. И. ВУЛЬФ

Николай Иванович Вульф (1815—1889) — сын И. И. и Н. Г. Вульфов, владельцев с. Бернова Тверской губ.,— в детстве несколько раз видел Пушкина, посещавшего именье его родителей. Его воспоминания о поэте были записаны В. Колосовым. Он давал также П. В. Анненкову сведения о «семействе Вольфов» (т. е. Вульфов), правда, не совсем точные (см.: *Модзалевский*, с. 373—374).

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ В. КОЛОСОВЫМ

(Стр. 97)

Колосов В. Александр Сергеевич Пушкин в Тверской губернии в 1827 году. Тверь, 1888, с. 27—29.

[1] На связь сюжета «Русалки» с тверскими преданиями о дочери мельника, утопившейся в омуте, указывает весь круг тверских мемуаристов: А. Н. Понафидина (с. 100—101 наст. изд.), Н. И. Раменский (*Врем. ПК*, 1963, с. 18—19) и др.

[2] А. И. Вульф Пушкин увлекался в 1825—1827 гг. Ей посвящены стихи «За Netty сердцем я летаю...».

А. Н. ПОНАФИДИНА

Анна Николаевна Понафидина (ум. 8 янв. 1935 г.) — внучка Анны Ивановны Понафидиной (рожд. Вульф), которой принадлежало имение Курово-Покровское Старицкого уезда, где, по семейным воспоминаниям, неоднократно бывал Пушкин. Мемуаристка основывалась на рассказах своей бабушки (лично знавшей поэта) и теток: Е. И Гладковой (упоминаемой в письме Пушкина к А. Н. Вульфу под именем «Минервы»: *XIV*, 50) и П. О. Лизуновой. «Воспоминания» были составлены по предложению Тверского (ныне Калининского) музея в 1923 году и дополнены в 1924 году. Впервые на них указал С. А. Фессалоницкий в статье «Пушкин в кругу старицких дворян» (Материалы Общества изучения Тверского края, 1928, вып. VI, с. 10—12), опубликовав из них небольшие выдержки.

ВОСПОМИНАНИЯ

(Стр. 99)

В наши дни, 1936, № 2, с. 91—93.

[1] А. Н. Вульф. Дневники, с. 206.

[2] См.: Из «Дневника» А. Вульфа, примеч. 11 (т. 1, с. 536 наст. изд.).

[3] П. М. Полторацкий, отец А. П. Керн.

[4] Рассказ Пушкина о «балованных ребятишках» А. И. Понафидиной содержится в письме к А. А. Дельвигу от 26 ноября 1826 г. (*XIV*, 34). По сообщениям мемуаристки, Николаю (будущему ее отцу) было в это время 9 лет; Ивану и Михаилу — по 11 лет.

[5] Тетка А. Н. Понафидиной П. О. Лизунова, которая, как пишет мемуаристка, «обожала и глубоко ценила» поэта (В наши дни, с. 97).

[6] По описаниям А. Н. Понафидиной, «цветная гостиная с балконом и зала полукруглая в пять окон» были самыми высокими в доме комнатами и «составляли анфиладу» (с. 97).

[7] Осенью 1828 г., находясь в Тверской губернии, Пушкин работал над VII главой «Евгения Онегина». Свидетельство П. И. Понафидина (деда мемуаристки) о подсказанной поэту рифме могло относиться к одной из написанных в это время строф (XXII—XXXV, XL—XLIII и LIV—LV).

[8] См. примеч. 1 к рассказу Н. И. Вульфа. А. Н. Понафидина дополнила свое сообщение указанием на то, что И. Левитан на знаменитой картине «У омута» изобразил то самое место, где, по местным преданиям, утопилась обманутая девушка (с. 98).

[9] Ср. с рассказом Бородина, жившего в Бернове: «А. С. Пушкин был всегда весел, любил танцы, много гулял по саду и окрестным лесам, не чуждался дворовых и часто с ними разговаривал и шутил, и крестьяне его также не чуждались, любили с ним беседовать и считали его за человека

доброго, веселого и большого шутника» (Иванов И. А. О пребывании А. С. Пушкина в Тверской губ.— Сборник Тверского об-ва любителей истории, археологии и естествознания, вып. 1. Тверь, 1903, с. 243).

М. И. ПУЩИН

Михаил Иванович Пущин (1800—1869) — брат лицейского друга Пушкина — И. И. Пущина; декабрист, был сослан на поселение в Сибирь, а в конце 1826 года отправлен рядовым в Кавказскую армию. Во время персидской (1827), а затем турецкой (1828—1829) войн отличался храбростью и исключительными военными способностями, был фактическим руководителем инженерных работ в армии Паскевича и в солдатской шинели разжалованного постоянно присутствовал на военных советах у главнокомандующего.

Записка о Пушкине написана по настоянию Л. Н. Толстого, который познакомился с Пущиным в 1857 году на курорте Кларан в Швейцарии. Посылая ее Анненкову, Толстой писал: «Записка презабавная, но рассказ его — изустная прелесть (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 60. М., Гослитиздат, 1949, с. 182).

Воспоминания Пущина — наиболее полный и точный источник наших знаний о кавказской поездке Пушкина. Точность их подтверждается сопоставлением с другими источниками, например с «Путешествием в Арзрум» и автобиографическим отрывком «О Дурове» самого Пушкина, «Историей военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах» Н. И. Ушакова (ч. 2. Варшава, 1843, с. 303). Короткость в отношениях с Пушкиным и взаимное расположение придают записке особую ценность. В ней о поэте рассказывается с откровенностью дружбы.

Впервые воспоминания М. И. Пущина опубликовал Л. Н. Майков в «Русском вестнике» (1893, № 9).

ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ ЗА КАВКАЗОМ

(Стр. 102)

Майков Л. Пушкин. СПб., 1899, с. 387—394.

1 Сабля в руках Пушкина появляется как ошибка памяти Пущина. В письме к брату Ивану из Кисловодска от 25 августа 1829 г. он писал о пике (Щукинский сборник, вып. 3. М., 1904, с. 324). Сам Пушкин набросал свой шуточный автопортрет в альбоме Ел. Н. Ушаковой: верхом на коне, в бурке и цилиндре, с пикою в руке.

2 Особое внимание к Пушкину со стороны Паскевича объясняется секретным распоряжением Бенкендорфа о слежке за поэтом. Пушкин

уехал в армию 1 мая 1829 г. без разрешения царя и Бенкендорфа, а 12 мая Паскевич уже предупреждал военного губернатора Стрекалова о предстоящем прибытии поэта в Грузию и об учреждении за ним «надлежащего надзора» (Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, т. VII. Тифлис, 1878, с. 954—955). Бенкендорф приписывал (не без оснований) поездку Пушкина желанию его повидаться с сосланными на Кавказ декабристами. Исполняя предписание Бенкендорфа, Паскевич в то же время внешне благосклонно относился к Пушкину, надеясь, что тот воспоет его военные подвиги, однако изображение Паскевича в «Путешествии в Арзрум» сделано с тонкой иронией.

[3] Второе стихотворение Пушкина — «Сосок чернеет сквозь рубашку». Картинки в «Невском альманахе» долго всех потешали. В 1846 г. Белинский вспоминал «изображение Татьяны в виде жирной коровницы» (*Белинский*, т. IX, с. 480).

М. В. ЮЗЕФОВИЧ

Михаил Владимирович Юзефович (1802—1889) — боевой товарищ и друг Л. С. Пушкина, вместе с которым принимал участие в военных действиях на Кавказе, в 1829 году штаб-ротмистр Чугуевского полка и адъютант Н. Н. Раевского (младшего). Пушкин познакомился с ним во время поездки на Кавказ в 1829 году и мельком упомянул его в «Путешествии в Арзрум» (см.: Цявловская Т. Г. Поэт «Ю». в «Путешествии в Арзрум».— В кн. *П. Иссл. и мат.*, т. I, с. 351—356). По словам анонимного биографа Юзефовича, «предметом любимейших воспоминаний» его были «продолжительные, оживленные беседы, центром которых был А. С. Пушкин» (Юзефович М. В. Несколько слов об исторической задаче России. Изд. 2-е. Киев, 1895, с. III). Один из таких рассказов записан в дневнике А. В. Никитенко 26 марта 1870 года (*Никитенко*, т. III, с. 172).

Воспоминания написаны в 1880 году по случаю открытия памятника Пушкину в Москве и, по объяснению самого Юзефовича, имели целью «смыть с памяти поэта те остатки предубеждений, которые до сих пор еще пятнают его нравственный образ». «Нравственный образ» Пушкина он создает по подобию своих собственных поздних, крайне реакционных, убеждений, а политическую и общественную атмосферу России преддекабрьских лет изображает как наносную с Запада и чуждую русскому обществу. Однако если исключить из воспоминаний Юзефовича тенденциозные размышления о путях и следствиях «западных идей о человеческой личности» и о влиянии их на додекабрьского Пушкина (как это сделано в наст. изд.) — остаются достоверные в отношении фактических данных воспоминания, насыщенные интересными эпизодами кавказской поездки

Пушкина. Достоверность этих воспоминаний подтверждается свидетельствами М. И. Пущина и самого Пушкина в «Путешествии в Арзрум».

Кроме очерка «Памяти Пушкина», существует еще письмо Юзефовича к П. И. Бартеневу, написанное в 1866 году в связи с выходом статьи Бартенева «Пушкин в южной России» (см.: Цявловский М. А. Неизвестные воспоминания о Пушкине.— Звезда, 1930, № 7, с. 231—232).

ПАМЯТИ ПУШКИНА

(Стр. 110)

РА, 1880, № 3, с. 431—446.

[1] П. В. Нащокин не был гусаром (см. о нем с. 478 наст. изд.). Ошибочно цитирует Юзефович и послание «К Каверину».

[2] Строка из стихотворения «Юрьеву» («Любимец ветреных Лаис...»).

[3] Летом 1831 г. Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой облегчить участь Сухорукова и разрешить ему продолжать исторические труды (*XVII*, 70—71). Бенкендорф ответил отказом (см.: *XIV*, 216).

[4] Отрывок из стихотворения «Воспоминание».

[5] Библейская поэма — «Гавриилиада», широко известная в рукописных списках. Смущение Пушкина объясняется тем, что только в октябре 1829 г. было закончено дело о «Гавриилиаде», которое расследовалось специальной комиссией под наблюдением Николая I (Пушкин А. С. Гавриилиада. Поэма. Ред., примеч. и коммент. Б. Томашевского. Пг., 1922, с. 53—54, 107).

[6] По-видимому, речь идет о порнографическом романе де Сада «Justine, ou les malheurs de la vertu» («Жюстина, или Злоключения добродетели») (1791, изд. 2 — 1797).

[7] Приведена концовка стихотворения «Демон».

[8] Первая редакция стихотворения «Дионея» (с четверостишием, которое приводит Юзефович) была напечатана в № 4 «Новостей литературы» за 1825 г.

[9] О судьбе этого автографа и его публикацию см.: Цявловская Т. Г. Автограф стихотворения «К морю».— *П. Иссл. и мат.*, т. I, с. 187—207.

[10] Эту строку следует читать: «Где мысль одна плывет в небесной чистоте».

[11] *Генерал М.*— по-видимому, Н. Н. Муравьев (Карский).

А. И. ДЕЛЬВИГ

Барон Андрей Иванович Дельвиг (1813—1887) — двоюродный брат А. А. Дельвига, инженер; при Александре II — генерал и сенатор, руководитель министерства путей сообщения. Его обширные воспоминания, охватывающие 1820—1870-е годы,— ценный источник, включающий огромный диапазон фактов, от интимно-автобиографических до исторических и политических, в частности разоблачающих коррупцию высшего чиновничества. Безукоризненная порядочность этого представителя правительственной верхушки снискала ему уважение Герцена. Общаясь с Пушкиным в кругу Дельвига в 1827—1831 годах, он сообщил целый ряд отсутствующих в других источниках и документах сведений, в частности по истории издания и цензурования «Северных цветов», «Литературной газеты», о полемических статьях в них Пушкина и Дельвига, о взаимоотношениях внутри кружка и т. д. Дельвиг — один из наиболее объективных и скрупулезно точных мемуаристов; консерватор по своим убеждениям, он внес в свои воспоминания, предназначенные к печати, факты общественной борьбы и правительственных преследований пушкинского круга; позднее они были подтверждены обнаруженными документами. В отличие от большинства мемуаров, воспоминания Дельвига почти безупречны в хронологическом отношении; по-видимому, они основаны на дневниковых записях. Пользовался он, несомненно, и другими источниками,— печатными и рукописными. Ряд данных почерпнул от него В. П. Гаевский, составлявший в начале 1850-х годов свою биографию Дельвига. Авторизованная копия его воспоминаний хранится в *ГБЛ* (М. 3018/1) (передана самим мемуаристом в 1886 г. с правом использования в 1910 г.). Публикуемые фрагменты написаны в 1872 г. Отдельным изданием (с цензурными купюрами и редакционной правкой) мемуары вышли в 1912 г. (Дельвиг А. И. Мои воспоминания, т. I—V. М., 1912); пропуски восстановлены в изд.: Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. т. I. М.—Л., Academia, 1930.

ИЗ «МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

(Стр. 123)

Дельвиг А. И. Мои воспоминания, т. I. М., 1912, с. 41—42, 44—45; 51—52; 55—58, 158, 71—72, 75, 98—100, 101—104, 107—113, 151—152. С уточнением по авторизованной копии.

[1] См. т. 1, с. 419 наст. изд. (воспоминания А. П. Керн).

[2] На стр. 124 мемуаров рассказано, что бумаги А. А. Дельвига были уничтожены из опасения жандармского обыска М. Л. Яковлевым, В. Н. Щастным и др., «и это было делано без согласия Пушкина и Баратынского, бывших в то время в Москве».

[3] См. статью Пушкина «Дельвиг» (*XI*, 273), на которую мемуарист опирается и в других случаях.

[4] Объявление об «Илиаде» Гнедича было написано Пушкиным и содержало утверждение о важном значении этой книги для русской словесности (*ЛГ*, 1830, № 2); полемический отклик на эту заметку появился в «Галатее» (1830, № 4, с. 228—230); ответ Пушкина — *ЛГ*, 1830, № 12, 25 февраля (см. *XI*, 100).

[5] *СЦ* на 1832 г. были изданы в пользу вдовы Дельвига, его малолетней дочери и братьев (см.: Вацуро В. Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978, с. 231—252; Фризман Л. Г. А. С. Пушкин и «Северные цветы».— В кн.: Северные цветы на 1832 год. Изд. подготовил Л. Г. Фризман. М., 1980, с. 295—337). Выручка от издания была ничтожна, отчасти по вине наблюдавшего за ним О. М. Сомова. Переговоры о новом альманахе велись в 1833—1834 гг. (*Письма,* IV, с. 72, 111); часть собранного материала вошла затем в «Современник». Разговор Пушкина с Дельвигом состоялся, видимо, в конце августа — начале сентября 1834 г., когда Пушкин провел в Москве несколько дней (*Письма,* IV, с. 242—244).

[6] Эпиграмму Пушкина «Н. Н. (При посылке «Невского альманаха»)» см.: *II*, 421. Е. В. Аладьин объявил в «Невском альманахе» об участии Пушкина, однако в первой книжке (1825 г.) стихи его не появились, что и было отмечено в печати (*СПч.*, 1825, № 18, 10 февраля); за участие Аладьин предлагал Пушкину высокий гонорар (*ЛН*, т. 16-18, с. 730). Пушкин был раздражен объявлением Аладьина (*XIII*, 147), но дал ему стихи для «Невского альманаха». Эпиграмма Пушкина открывала отдел Стихотворений. Адресат — возможно, А. Н. Вульф (Старк В. П. Несколько пояснений к стихотворению Пушкина «Н. Н. («Примите «Невский альманах»)».— *Врем. ПК*, 1978. Л., 1981, с. 116—125).

[7] Стихи Пушкина для «Северных цветов на 1828 год» («Ангел», «Граф Нулин») были просмотрены Николаем I к концу августа 1827 г. «Отрывки из писем, мысли и замечания» процензурованы Бенкендорфом к концу ноября (*XIII*, 335; *П. Иссл. и мат.*, т. VI, с. 289). Уклонение Пушкина от «высочайшей цензуры» в ряде случаев объяснялось и политическими причинами.

[8] Об отношении Пушкина к «Московскому вестнику» (более сложном, нежели утверждает Дельвиг) см. с. 38, 426 наст. изд. В известной мере Дельвиг опирается здесь на статьи Пушкина «История русского народа, соч. Николая Полевого» (статья II) (*ЛГ*, 1830, № 12, 25 февраля) и «О журнальной критике» (см. ниже).

[9] Дельвиг цитирует статью Пушкина «В одном из наших журналов...» («О журнальной критике») (*ЛГ*, 1830, № 3, 11 января, без подписи), вызвавшую бурную журнальную полемику. О полемике вокруг так называемой «литературной аристократии» см.: *П. Итоги и проблемы*,

с. 225; *Пушкин*, т. IX. Примечания, с. 169—177; также: Гаевский В. Дельвиг.— *Совр.*, 1854, № 9, и вступ. статью.

[10] Статья Пушкина «Французские журналы извещают нас...» («О записках Самсона») в *ЛГ*, 1830, № 5, 21 января, без подписи.

[11] Статья Пушкина «В одном из № Лит. газеты...» («О записках Видока») (*ЛГ*, 1830, № 20, 6 апреля) была ответом на пасквильный «Анекдот» Булгарина, содержавший обвинение Пушкина в «низкопоклонстве» и «вольнодумстве». См. Гиппиус В. В. Пушкин в борьбе с Булгариным в 1830—1831 гг.— *П. Врем.* т. 6, с. 235—255. Статья была написана в Москве и предложена вначале М. П. Погодину (см. с. 28 наст. изд., запись от 18 марта 1830 г.). Упоминания Видока в дальнейшем задерживались цензурой (Замков Н. К. Архивные мелочи о Пушкине.— *ПиС*, вып. XXIX—XXX, с. 71—77).

[12] Публикация Булгарина, упоминаемая Дельвигом, появилась в *СО* и *СА*, 1830, № 17, с. 303, с примеч.: «В Москве ходит по рукам и пришла сюда для раздачи любопытствующим эпиграмма одного известного поэта. Желая угодить нашим противникам и читателям и сберечь сие драгоценное произведение от искажения при переписке, печатаем оное». Эта публикация появилась с «высочайшего разрешения». Попытки Л. С. Пушкина и А. А. Дельвига напечатать подлинный текст были безуспешны из-за противодействия цензуры (см. письма Л. Пушкина Жуковскому от 3 мая и Дельвига Пушкину от 8 мая 1830 г.— *РС*, 1903, № 8, с. 454—455, и *XIV*, 90—91). Почти через год Пушкину удалось в Москве напечатать вариант этой эпиграммы («Не то беда, Авдей Флюгарин...» — Денница на 1831, с. 137), отчасти исправлявший положение.

[13] Цитируется аполог И. И. Дмитриева.

[14] См. *ЛГ*, 1830, № 36 (25 июня) и № 45 (9 августа). Участие Пушкина в этих заметках в настоящее время не считается строго доказанным; в новейших изданиях Пушкина первая заметка не помещена, вторая печатается как приписываемая Пушкину. Вопрос об авторстве остается дискуссионным (см.: Блинова Е. М. «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина. 1830—1831. Указатель содержания. М., 1966, с. 170, 175). О цензурной истории этих статей см.: Замков Н. К. К цензурной истории произведений Пушкина.— *ПиС*, вып. XXIX—XXX, с. 55—62.

[15] См. *ЛГ*, 1830, № 61 (28 октября). Четверостишие Делавиня было выбито на бронзовой медали в память погибших участников революции и затем перепечатано в газетах (*Письма к Хитрово*, с. 77—80). О запрещении *ЛГ* см.: Замков Н. К. К истории «Литературной газеты» бар. А. А. Дельвига.— *РС*, 1916, № 5, с. 245—281. Газета была возобновлена через месяц под редакторством О. Сомова. В опущенной части мемуаров рассказана история смерти Дельвига, ускоренной пережитыми потрясениями.

[16] Александр Иванович Дельвиг погиб при взятии Варшавы (1831).

А. И. ПОДОЛИНСКИЙ

Андрей Иванович Подолинский (1806—1886) — популярный в конце 1820-х — 1830-е годы поэт, автор романтических поэм и стихотворений, имевших шумный читательский успех.

Первая встреча с Пушкиным, оставившая яркий след в памяти Подолинского, относится к 1824 году, однако она не была началом их личного знакомства, которое состоялось лишь в 1829 году, после того как поэмы «Див и Пери» и «Борский» доставили Подолинскому известность в литературных кругах Петербурга и Москвы.

Вопреки мнению Подолинского, считавшего, что знаменитый поэт с одобрением относился к его произведениям, Пушкин весьма скептически отзывался о них в своих письмах и критических выступлениях (*XIII*, 351; *XI*, 74).

«Воспоминания» Подолинского являются ответом на статью журналиста булгаринского направления В. П. Бурнашева «Мое знакомство с Воейковым в 1830 году», содержащую фальсифицированные в реакционном духе рассказы о Пушкине, Гоголе, Воейкове и Подолинском (*РВ*, 1871, № 9—10). Появление в печати этой статьи вызвало недоумение М. Юзефовича, близко знавшего Подолинского. По его просьбе Подолинский выступил с собственными воспоминаниями, в которых не ограничился возражениями Бурнашеву, а подробно охарактеризовал свои отношения с Пушкиным и Дельвигом. В свою очередь, В. П. Бурнашев, ознакомившись с работой А. И. Подолинского, ответил ему полемической статьей «Qui pro quo с А. И. Подолинским» (*РА*, 1872, № 7-8, с. 1604—1606).

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ г. В. Б. «МОЕ ЗНАКОМСТВО С ВОЕЙКОВЫМ В 1830 ГОДУ»

(Стр. 143)

РА, 1872, № 3-4, с. 856—865.

[1] Подолинский учился в Петербургском университетском благородном пансионе (1821—1824), где был младшим товарищем С. А. Соболевского (выпуск 1821 г.) и М. И. Глинки (выпуск 1822 г).

[2] Эпиграмма Пушкина «В Элизии Василий Тредьяковский...», направленная против М. Т. Каченовского (издателя журнала «Вестник Европы»), была написана 24 февраля 1829 г. на литературном вечере у Дельвига, где присутствовали также Шевырев и Подолинский (*ЛН*, т. 16-18, с. 703). Поводом к ней явились выступления Н. И. Надеждина, нападавшего в 1829 г. на Пушкина в журнале Каченовского. Сообщение А. И. Подолинского о возможном участии Шевырева в создании этой эпиграммы не подтверждается другими документальными источниками.

[3] Начальные строчки стихотворения Подолинского «Портрет» (1829), посвященного А. Керн, по свидетельству которой Пушкину нравилось это стихотворение (т. 1, с. 420 наст. изд.). Стихотворение Подолинского в альбоме Керн привлекло внимание Пушкина, вписавшего в этот альбом свою пародию, не имеющую других автографов.

[4] О стихотворении «Приметы» см. примеч. 34 к «Воспоминаниям о Пушкине» А. Керн (т. 1, с. 527).

[5] О переводчике произведений Мицкевича на русский язык В. Н. Щастном см. примеч. 39 к «Воспоминаниям о Пушкине» А. Керн (т. 1, с. 528).

[6] Подолинский уехал из Петербурга в Одессу до 14 января 1831 г. (день смерти Дельвига).

[7] Подолинский исправляет ошибку И. П. Липранди (см. т. 1. с. 354 наст. изд.).

[8] Неточность мемуариста: Подолинский встретился с Пушкиным, ехавшим в михайловскую ссылку через Чернигов, 4 августа 1824 г. (*Летопись*, с. 501).

[9] Л. С. Пушкин учился сначала в Царскосельском лицейском пансионе, затем (с 29 декабря 1817 г.) — в Университетском благородном пансионе вместе с друзьями Пушкина П. В. Нащокиным и С. А. Соболевским.

[10] Пушкин получил предписание ехать по следующему маршруту (дав подписку нигде не останавливаться и никуда не заезжать — *Рукою П.*, с. 837—838): Одесса, Николаев, Елизаветград, Кременчуг, Витебск, Опочка, Михайловское. Однако по существу это обязательство Пушкин нарушил, заехав в с. Родзянки Полтавской губ. (см. примеч. 5 к «Воспоминаниям о Пушкине» А. Керн) и к И. С. Деспоту-Зеновичу (см. воспоминания А. Распопова, т. 1, с. 400 наст. изд.). Записка Пушкина к Н. Н. Раевскому, посланная через Подолинского в Киев, не сохранилась.

[11] Вторая поэма Подолинского «Борский» вышла в Петербурге в начале 1829 г.; следовательно, встреча Подолинского с Пушкиным, которая явилась началом их настоящего знакомства могла состояться не ранее 18 января (времени возвращения Пушкина из Тверской губ.) и не позднее 24 февраля, когда оба поэта присутствовали на вечере у Дельвига (см. выше примеч. 2). Эта дата соответствует указанию Подолинского о том, что знакомство произошло приблизительно за два года до его отъезда в Одессу (примеч. 6). Отрицательный отзыв Пушкина о поэме «Борский» сообщил С. П. Шевырев: «Пушкин говорит: — Полевой от имени человечества благодарил Подолинского за «Дива и Пери», — теперь не худо бы от имени вселенной побранить его за «Борского» (*ЛН*, т. 16-18, с. 703).

[12] А. Подолинский имеет в виду сообщение В. П. Гаевского в статье «Дельвиг» (*Совр.*, 1854, т. XVIII, № 9, отд. III, с. 25).

[13] Рецензия Дельвига появилась в *ЛГ* (1830, № 19, с. 152—154).

Е. А. ДОЛГОРУКОВА

Екатерина Алексеевна Долгорукова, княгиня, урожд. Малиновская (1811—1872) — дочь директора Московского архива Коллегии иностранных дел А. Ф. Малиновского, с 1834 года жена офицера лейб-гусарского полка Р. А. Долгорукова. Будучи наиболее близкой подругой Н. Н. Пушкиной до ее замужества, Долгорукова хорошо знала бытовые подробности жизни Гончаровых в Москве и обстоятельства сватовства и женитьбы Пушкина. Однако рассказы ее о предсмертных днях Пушкина (*РА*, 1908, кн. III, с. 295; 1912, кн. III, с. 87) не подтверждаются никем из современников.

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ П. И. БАРТЕНЕВЫМ

(Стр. 149)

Рассказы о П., с. 62—64.

[1] Первый раз Пушкин сватался за Н. Н. в конце апреля 1829 г. 6 апреля 1830 г. он снова сделал предложение, которое было принято при условии письменного подтверждения от Бенкендорфа, что Пушкин не находится под надзором полиции. Подтверждение было получено (*XIV*, 77, 81), и 6 мая была объявлена помолвка, однако свадьба была отложена из-за нежелания Н. И. Гончаровой выдать дочь замуж без приданого и состоялась только 18 февраля 1831 г.

Д. Ф. ФИКЕЛЬМОН

Дарья Федоровна Фикельмон, графиня (1804—1863) — внучка Кутузова, дочь Е. М. Хитрово от первого брака с гр. Ф. И. Тизенгаузеном. Ее муж гр. Карл Людвиг Фикельмон (1777—1857) в 1829 году занял пост австрийского посланника в Петербурге. «Графиня Долли» — одна из наиболее заметных петербургских красавиц; ее салон в Петербурге был светским, литературным и политическим центром, где, по словам Вяземского, «и дипломаты, и Пушкин были дома» (*Вяземский*, т. VII, с. 226). Пушкин познакомился с супругами Фикельмон в 1829 году и стал частым посетителем их салона, где он мог узнавать заграничные политические новости, не пропускавшиеся в русскую печать. Упоминания о салоне Фикельмон постоянно встречаются в его дневнике и письмах. П. В. Нащокин рассказывал Бартеневу и Анненкову о «жаркой сцене» Пушкина с «женой австрийского посланника» (см.: *Модзалевский*, с. 341; с. 228—229 наст. изд.). Его сообщение оспаривается некоторыми пушкинистами (разбор этого вопроса см. в кн.: Раевский Н. Если заговорят портреты. Алма-Ата, 1965, с. 118—127). Д. Ф. — женщина незаурядного ума,

большой литературной культуры. Все эти качества раскрывает ее дневник. Записи о Пушкине замечательны по глубине и тонкости, и можно пожалеть, что они слишком скупы. Мнения и взгляды Пушкина, то есть Пушкин как мыслитель, на страницах дневника не появляются. Зоркая наблюдательность принесла Д. Ф. славу «Сивиллы флорентийской» — предсказательницы будущего. Записи о поэте и его жене, сознание несовместимости их характеров еще раз оправдали это прозвание. Предчувствие грядущей трагедии высказывает она и в своих письмах к П. А. Вяземскому (*РА*, 1884, кн. II, № 4).

Особый очерк отведен в дневнике дуэли и смерти Пушкина. Запись датируется 29 января (и, может быть, начата в этот день), но закончена уже после отъезда Геккерна из России. Несмотря на прекрасную осведомленность о событиях, Д. Ф. о многом умалчивает, а многие факты передает неверно: ни слова не упоминает, что ей отчасти был обязан Дантес своим успехом в России (см. рассказ Данзаса, с. 364 наст. изд.), неверно передает содержание пасквиля — в нем не упоминалось имя Дантеса; ошибается, сообщая, что Пушкин «вызвал» Геккерна и что перед смертью он писал царю, поручая ему свою семью. Д. Ф. Фикельмон дает сглаженный вариант дуэльной истории, приличный для потомства. Поразительна ее бесстрастность, даже нарочитая хладнокровность. Она стремится оправдать свой круг, «большой свет», подчеркивая, что «каменья» в жену Пушкина бросили не отсюда. Этим же объясняется и умолчание о низкой роли Геккерна (к тому же посланник бывал в ее доме), и искажение содержания пасквиля (царь не должен быть замешан). Запись о дуэли создает впечатление, что графиня Долли защищает перед потомством не только репутацию «большого света», но и свою собственную, как будто опасаясь связать свое имя с именем поэта. Подчеркнутое в начале «Сегодня Россия потеряла...» находит завершение в последних фразах о «печальной зиме 1837 года». Здесь впервые говорится об интимных связях Пушкина с домом Фикельмонов, и поэт оказывается только «другом сердца маменьки». Графиня считает необходимым вспомнить о влюбленности Е. М. Хитрово в Пушкина, которая была предметом острот и насмешек его друзей. Горю «маменьки» она противопоставляет свои потери, «два листа книги своей жизни». Эти «два листа» — кузина Аделаида Штакельберг и «друг юности» Ричард Артур, который появляется в дневнике только один раз — заключая запись о смерти Пушкина. Д. Ф. Фикельмон как будто стремится убедить кого-то, что в книге ее жизни не было листа с именем Пушкина.

Публикация отрывков о Пушкине из дневника Д. Ф. Фикельмон началась с записи о дуэли поэта. Французский текст этой записи и русский перевод (Е. П. Мясоедовой) был напечатан (неполностью) в 1956 г. (Хмелевская Е. М. Новый документ о дуэли и смерти Пушкина.— *П. Иссл. и мат.*, т. I). В 1959 г. в Праге были опубликованы и другие записи о Пушкине (Флоровский А. В. Пушкин на страни-

цах дневника графини Д. Ф. Фикельмон.— «Slavia», 1956, roč. XXVIII, seš. 4). Русский перевод этих записей был сделан Н. В. Измайловым (Измайлов Н. В. Пушкин в дневнике гр. Д. Ф. Фикельмон.— *Врем. ПК*, 1962). В 1968 г. в Италии вышло полное издание дневника за 1829—1831 гг. (Nina Kauchtschischwili. Il diario di Dar'ja Fëdorovna Fiquelmont. Milano, 1968), об этом издании см.: Гиллельсон М. И. Пушкин в итальянском издании дневника Д. Ф. Фикельмон.— *Врем. ПК*, 1967—1968. М.— Л., 1970).

В настоящем издании записи печатаются в переводах Н. В. Измайлова, Е. П. Мясоедовой и Н. А. Раевского.

ИЗ ДНЕВНИКА

(Стр. 151)

Врем. ПК, 1962. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1963, с. 32—37.

П. Иссл. и мат., т. I. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1956, с. 346—350; *ИРЛИ*, ф. 244, оп. 18, 271.

[1] «Смесь обезьяны с тигром» — лицейское прозвище Пушкина (см. т. 1, с. 63 наст. изд.).

[2] Сохранилась записка Д. Ф. Фикельмон к Пушкину об этом «маскарадном выезде» (*XIV*, 65 — неверно датирована).

[3] См. об этом с. 275 наст. изд.

А. О. СМИРНОВА-РОССЕТ

Александра Осиповна Россет, в замужестве Смирнова (1809—1882) — в 1826—1832 годах фрейлина, одна из примечательных женщин своего времени. К кругу ее друзей принадлежали Жуковский, Вяземский, Пушкин, Соболевский, Одоевский, позднее Лермонтов и особенно Гоголь. Впоследствии она была близка к славянофильской среде, и в первую очередь к семье Аксаковых и Ю. Ф. Самарину.

А. О. Россет познакомилась с Пушкиным в 1828 году, но в первые годы их отношения не выходили за рамки обычных светских встреч. Более тесное и постоянное общение возникает только в 1830—1831 годах в Царском Селе и продолжается затем в Петербурге (с значительными интервалами из-за отъездов оттуда то Пушкина, то Смирновой). В начале 1835 года Смирнова уехала надолго за границу, и весть о гибели Пушкина застала ее в Париже.

В поздние годы, беседуя с П. И. Бартеневым, Смирнова утверждала, что никогда особенно не ценила Пушкина и сама не пользовалась его особым вниманием. Ее мемуары отчасти это подтверждают: в них Пушки-

ну уделено гораздо меньше места, чем, например, Жуковскому или Гоголю. Но в то же время ее воспоминания и рассказы, а с другой стороны, упоминания о ней в письмах и дневнике Пушкина свидетельствуют о несомненном взаимном интересе и не вполне обычной откровенности бесед. Пушкин высоко ценил присущий Смирновой дар рассказчицы, именно он первым стал настойчиво побуждать ее писать воспоминания — что было реализовано ею лишь через много лет.

Беседы их были полны литературных тем: Смирнова умна и начитанна, ее замечания проницательны и метки и говорят о выработанном вкусе; в то же время она тактично избегает профессионально-критических суждений. Характерно ее пристрастие к анекдоту, сюжетно организованному; она тонко чувствует юмор ситуации. В ее мемуарах немало сюжетов, находящихся и в пушкинских «Table-Talk»; нет сомнения, что обмен устными рассказами происходил постоянно.

Мемуарное наследие Смирновой сложно и по составу, и по характеру. Помимо воспоминаний, опубликованных в «Русском архиве» сперва самой Смирновой, а после ее смерти ее детьми («Воспоминания о Жуковском и Пушкине» — *РА*, 1871, № 11; «Из записной книжки А. О. Смирновой» — *РА*, 1890, № 6; «Из записок А. О. Смирновой» — *РА*, 1895, № 5—9; переизд. в кн.: Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма. Со статьями и примеч. Л. В. Крестовой. Под ред. М. А. Цявловского. М., 1929), помимо ее рассказов, записанных современниками и изданных в разное время, сохранилось 32 тетради с черновыми автографами ее воспоминаний. 27 из этих тетрадей содержат автобиографические записки Смирновой, в остальных — небольшие мемуарные этюды, в том числе о Гоголе.

Автобиографические записки Смирновой состоят из двух мемуарных циклов: собственно автобиографических записок (точнее — воспоминаний о детстве и юности) и так наз. «Баденского романа» — воспоминаний о пребывании летом 1836 года в Бадене вместе с Н. Д. Киселевым, единственным предметом долгого и глубокого чувства Смирновой. Литературный замысел второго цикла не совсем обычен, он содержит «мемуары в мемуарах»: в изложение событий лета 1836 года органически вплетены рассказы Смирновой Киселеву о своей жизни (в части, посвященной детству и юности, во многом повторяющие первый цикл) и рассказы Киселева ей о себе. Поэтому текст «Баденского романа» зачастую построен как диалог.

Над обоими циклами своих мемуаров Смирнова работала в последнее десятилетие жизни (70-е — начало 80-х годов), когда бывала периодически подвержена тяжелым нервным расстройствам. Каждый приступ болезни прерывал ее работу. Возвращаясь же к ней, она не продолжала прежние тексты, а начинала всякий раз сначала. Поэтому оба цикла ее записок сохранились во многих вариантах, законченных в разной степени (воспоминания о детстве и юности — в 6-ти вариантах, «Баденский ро-

ман» — в 12-ти). В пределах того и другого цикла основной контекст всех этих вариантов идентичен, но в каждом из них содержатся эпизоды, отсутствующие или иначе изложенные в других.

Записки Смирновой о ее жизни были опубликованы Л. В. Крестовой под редакторским названием «Автобиография» (Смирнова-Россет А. О. Автобиография (Неизданные материалы). М., 1931). Публикация ввела в научный оборот значительную часть содержания этих мемуаров, прежде неизвестных, однако отразила его далеко не полностью. Трудность адекватной передачи многочисленных вариантов текстов, написанных к тому же на русском, французском, немецком языках, побудили публикатора скомпоновать из фрагментов разных вариантов два цельных повествования («Автобиография» и «Баденский роман»), расположив их в хронологической последовательности жизни автора. Таким образом издание полного текста автобиографических записок Смирновой, которое отражало бы и его реальную сложную структуру, пока не существует.

В настоящем издании из автобиографических записок и других мемуарных произведений Смирновой приводятся отрывки, относящиеся к Пушкину. Тексты их (за исключением «Воспоминаний о Жуковском и Пушкине») подготовлены по рукописям Смирновой. Фрагменты, в оригинале написанные по-французски, даются в русском переводе.

Записки А. О Смирновой, напечатанные в 1893 г. в «Северном вестнике» и затем вышедшие отдельным изданием (ч. I—II. СПб., 1895—1897), представляют собою сочинение ее дочери О. Н. Смирновой, лишь отчасти основанное на рассказах матери.

Из записей рассказов А. О. Смирновой о Пушкине наиболее существенны записи поэта Я. П. Полонского. Он был в 1855—1857 гг. учителем сына Смирновой и записывал непосредственно с ее слов (Голос минувшего, 1917, № 11—12).

ИЗ «ЗАПИСОК А. О. СМИРНОВОЙ»

(Стр. 158)

Автограф: *ОПИ ГИМ*, ф. 420, № 83/157.

[1] Речь идет об окончании траура после смерти императрицы Марии Федоровны (ум. 24 октября 1828 г.).

[2] В автобиографических записках Смирнова несколько иначе рассказывает об этом эпизоде: «Я сказала в мазурке Стефани: «Выбери Пушкина». Она пошла. Он небрежно прошелся с ней по зале, потом я его выбрала. Он и со мной очень небрежно прошелся, не сказав ни слова» (*Смирнова*, II, с. 110). *Стефани* — княжна Стефания Радзивилл.

[3] Эпиграмма, четыре строки из которой приводит Смирнова, приписывалась Пушкину. В настоящее время его авторство вызывает сомнения

(см.: Цявловская Т. Г. Неизвестные письма к Пушкину от Е. М. Хитрово.— Прометей, вып. 10. М., 1974, с. 243).

[4] Поэт и прозаик Дмитрий Юрьевич *Струйский* (псевд. Трилунный), в конце 20-х — начале 30-х годов знакомый Пушкина. Пушкин напечатал в альманахе «Северные цветы на 1832 год» стихотворения Струйского «Тьма» и «Возрождение». *Фирс Голицын* — князь Сергей Григорьевич Голицын, поэт-дилетант и композитор, в эти годы часто встречавшийся и с Пушкиным и со Смирновой.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О ЖУКОВСКОМ И ПУШКИНЕ»

(Стр. 159)

Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929, с. 303—309.

[1] Сказка при жизни Пушкина не печаталась. В первой публикации (*СО*, 1840, № 5) — цензурная замена заглавия: «Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде». Эпизод относится к 1831 г. (см.: Азадовский М. и Томашевский Б. О датировке «Сказки о попе и работнике его Балде».— *П. Врем.*, 2, с. 317—324).

[2] В сохранившихся частях архива А. О. Смирновой (*ГБЛ*, ф. 474, *ЦГАЛИ*, ф. 485) нет ни рисунков, ни каких-либо автографов Пушкина. В одном из вариантов автобиографических записок, рассказывая о получении от Николая I пакета с двумя последними главами «Евгения Онегина» (см. об этом эпизоде далее, с. 168, Смирнова сообщает, что пакет этот хранится теперь (т. е. в 1870-х гг.) у ее сына Михаила Николаевича, остальные же особенно дорогие ей документы и письма — в ее имении «Спасском, в особом ящике» (*ГБЛ*, ф. 474, 1. 16, л. 17). Об истории расчленения и частичного уничтожения архива после смерти Смирновой, а потом и ее дочерей см.: Житомирская С. В. К истории мемуарного наследия А. О. Смирновой-Россет.— *П. Иссл. и мат.*, т. IX, с. 329—344.

[3] В одном из вариантов автобиографических записок Смирнова иначе рассказывает о своей роли в информации Пушкина о совершившемся событии: «Весть разнеслась в несколько минут. Мы сидели за столом и побежали в Александровский. Пушкин жил в доме Китаева, я сказала его человеку, что Варшава взята» (*Смирнова*, II, с. 206). Этот рассказ лучше согласуется со смыслом приведенного ею далее письма Пушкина к ней.

[4] Текст письма передан Смирновой по памяти и неточно (см.: *XIV*, 223). Автограф его ныне неизвестен, хотя хранился у Смирновой долго: в 1855 г. она показывала Я. П. Полонскому брошюру «На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина» (СПб, 1831), на обороте бумажной обертки которой и написал Пушкин это письмо.

[5] Цитата из романа Шатобриана «Рене», излюбленная Пушкиным в 1830—1831 гг., в период сватовства и женитьбы (см. ее в письме к Н. И. Кривцову 10 февраля 1831 г.— *XIV*, 151; «Евгении Онегине» — *VI*, 192; «Рославлеве» — *VIII*, 154).

[6] День рождения Смирновой —6 марта, стихотворение Пушкина в рукописи датировано 18 марта. Альбом Смирновой Пушкин озаглавил «Исторические записки А. О. С. ***» и рассматривал стихотворение как эпиграф, написанный от лица самой Смирновой (см.: *Рукою П.*, с. 658—659). Ср. аналогичный, но, по-видимому, более точный рассказ в автобиографических записках: «У меня есть альбом, который в день моего рожденья мне подарила Сонюшка Карамзина, а Пушкин пришел и сказал, что я должна писать свои мемуары и, шутка, писать их в роде Сен-Симона» (*Смирнова*, II, с. 207), ср. еще один вариант (с. 169—170 наст. изд.).

[7] Вероятно, 17 ноября 1834 г. (см. с. 209 наст. изд.). «История Пугачевского бунта» вышла в свет около 28 декабря.

ИЗ «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСОК»

(Стр. 163)

Автографы: *ГБЛ*, ф. 474, 1.4, 1.8, 1.10, 1.12—16, 1.20—22, 1.24, 2.1—2.

[1] Этот вечер был не ранее начала 1829 г. (А. О. Россет только в конце 1828 г. познакомилась с Пушкиным) и не позднее конца марта этого года (время выхода «Полтавы» в свет). Встречающееся в тексте отрывка обращение к слушателю («ты найдешь их у нас в доме») объясняется тем, что это один из рассказов Смирновой Н. Д. Киселеву.

[2] Запись от 13 января 1830 г. в дневнике Д. Ф. Фикельмон (см. с. 151 наст. изд.) о поездке в домино и масках по разным домам не может быть идентифицирована с поездкой, описанной Смирновой (как указано в первом издании наст. сборника — т. 2, с. 420, примеч. 2): Фикельмон указывает точный состав участников поездки, в котором нет ни Смирновой, ни Воронцова-Дашкова; Смирнова же пишет о поездке только на вечер к Карамзиным.

[3] Этот анекдот известен также в передаче М. Н. Лонгинова: «Фирс» Голицын, появившийся во время игры, на вопрос банкомета, на какие деньги он играет: на эти (ставку вечера) или на те (его прежний долг), ответил: «Это все равно: и на *эти*, и на *те*, и на *те, те, те*» (*БЗ*, 1858, т. 1, № 16, с. 494—496). Эпизод этот произошел весной или летом 1828 г. (14 июня Киселев уехал за границу), когда Киселев был постоянным членом дружеского кружка Пушкина, Вяземского, Грибоедова, Голицына, А. Оленина-младшего и др. (Цявловская Т. Г. Дневник А. А. Олениной.— *П. Иссл. и мат.*, т. II, с. 263).

[4] В другом варианте Смирнова рассказывает: «После моих вторых родов ⟨...⟩ я лишилась сна, ничего не могла делать. Пушкин принес мне

Шамфора и Ривароля и говорил, что они меня рассеят, но я даже с ним не могла говорить» (*ГБЛ*, ф. 474, 1.16, л. 1). Об интересе Пушкина к Шамфору и Ривароля см.: Козмин Н. Пушкин-прозаик и французские острословы XVIII в. (Шамфор, Ривароль, Рюльер).— *Изв. ОРЯС*, 1928, кн. II, с. 536—558. «Маленькие истории» Тальмана де Рео — забавные и нескромные анекдоты из французской придворной жизни XVII в. (см.: Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. Л., 1974) — были в его библиотеке (*ПиС*, вып. IX—X, № 1421).

[5] Строки из агитационной песни Рылеева и Бестужева.

[6] Строки из послания «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...», 1818), принадлежность которого Пушкину твердо установлена. Отрицание своего авторства Пушкиным (особенно в кругу Смирновой) совершенно понятно по нескольким причинам. Прежде всего, его антимонархический характер был весьма опасен для Пушкина, особенно после политических процессов 1826—1828 гг. (о «Гавриилиаде», «Андрее Шенье» и т. д.). Кроме того, в 1829 г. оно уже было напечатано (с купюрами) без ведома Пушкина в альманахе «Северная звезда» за подписью «An», вместе с другими стихами, в том числе стихотворением «К приятелю, сравнивавшему глаза одной девицы с южными звездами», представлявшим собой ответ на обращенные к Смирновой стихи Вяземского. Понятно, что Пушкин не хотел раскрывать свое авторство, которое относилось бы ко всей группе стихов за этой подписью. См.: Левкович Я. Л. К истории статьи Пушкина «Альманашник».— *П. Иссл. и мат.*, т. 1, с. 268—277.

[7] Сообщение Смирновой об изменении в «Графе Нулине» пока не находит подтверждения. Николаем I были отмечены два другие места поэмы (см. письмо Бенкендорфа Пушкину от 22 августа 1827 г.— *XIII*, 336); во всех авторских рукописях поэмы — «будильник». Конверт, о котором пишет Смирнова, сохранился в *ИРЛИ*; на нем надпись Николая I: «Александре Осиповне Россет в собственные руки», на обороте запись Смирновой: «Всем известно, что император Николай Павлович вызвался быть цензором Пушкина. Он сошел вниз к императрице и сказал мне: «Вы хорошо знаете свой родной русский язык. Я прочел главу «Онегина» и сделал заметки; я вам ее пришлю, прочтите ее и скажите мне, правы ли мои замечания. Вы можете сказать Пушкину, что я вам давал ее прочесть». Он прислал мне его рукопись в этом пакете с камердинером. Год не помню. А. Смирнова, рожд. Россет» (Цявловский М. А. Заметки о Пушкине.— *ПиС*, вып. XXXVIII—XXXIX. Л., 1930, с. 222—224). Заметки Николая I не сохранились. Конверт, по-видимому, содержал VII главу «Онегина», разрешение на которую было дано 17 марта 1830 г., к этому году относится и эпизод.

[8] О Пушкине и Смирновой см. с. 272— 288 и 489—490 наст. изд. В другом месте «Автобиографических записок» Смирнова приводит слова Пушкина, как сказанные ею мужу во время ссоры: «Пушкин мне говорил,

что ты своими манерами и спором портишь мне положение» (*Смирнова,* II, с. 171). Свадьба его с Россет была решена в августе 1831 г., но состоялась только 11 января 1832 г. Сведения, что Пушкин был шафером Смирнова (*РА*, 1882, кн. 1, с. 227) неверны (*Письма*, III, с. 233—234).

[9] Василий Алексеевич Перовский — предмет сильного увлечения А. О. Россет в девичестве, в «Автобиографических записках» встречам с ним и рассказу о его дальнейшей личной жизни уделено в различных вариантах много места. Отрывок приведен по рукописи: *ГБЛ*, ф. 474 1.8, л. 22—22 об.

[10] Ср. примеч. 6 к «Воспоминаниям о Жуковском и Пушкине».

[11] В. П. Горчаков, передавая свои беседы с Пушкиным в Кишиневе, рассказывает, как Пушкин, прочитав ему «Фонтан любви, фонтан живой...», «заметил, что, несмотря на усилия некоторых заменить все иностранные слова русскими, он никак не хотел назвать фонтан водометом, как никогда не назовет биллиарда шарокатом» (см. наст. изд., т. 1).

[12] *Лизета* — жена Александра I Елизавета Алексеевна.

[13] Ср. с вариантом на с. 166 и примеч. 4.

[14] Летом 1836 г. Гоголь провел в Бадене три недели. С конца июля до середины августа. Затем уехал в Швейцарию, а не в Ганау. Однако слова Гоголя о творчестве Языкова и оценке его Пушкиным могли быть сказаны при иных обстоятельствах, которые Смирнова запамятовала.

[15] Это шуточное стихотворение было послано Вяземским в письме Жуковскому от 26 марта 1833 г. (часть строк рукою Вяземского, часть — рукою Пушкина). Тексту в письме предшествовала фраза: «А не поговорить ли о словесности, то есть о поэзии, например о нашей с Пушкиным и Мятлевым, который в этом случае был notre chef de l'école» (учитель) (*III*, 486—487).

[16] Текст, приведенный Смирновой, решительно отличается от посланного Вяземским, но это вряд ли можно приписать только обычной у нее неточности в передаче стихов: у этой шутки было, очевидно, много вариантов. В том же письме от 26 марта 1833 г. Вяземский прибавляет после текста стихотворения: «Довольно ли с тебя, а у нас уже набрано около тысячи».

[17] Смирнова часто ошибочно называет в «Автобиографических записках» комедию «Ревизор» — «Городничий».

[18] В наиболее полных изданиях произведений И. П. Мятлева (Сочинения И. П. Мятлева. Т. 1—3. М., 1894; М я т л е в И. П. Стихотворения. Сенсации и замечания госпожи Курдюковой. Л., 1969) нет стихотворений о Петре Ивановиче Укусове, которые Смирнова упоминает здесь и в других местах своих «Автобиографических записок». Слова «господа сенаторы» взяты из стихотворения Мятлева «Разговор барина с Афонькой»: строка «Позвольте, господа сенаторы» является в нем рефреном к каждой реплике барина.

[19] Речь идет об убийстве Павла I. См. рассказ об этом в дневнике

Пушкина под 8 марта 1834 г. и примеч. Б. Л. Модзалевского — *Дн. Модз.*, с. 91—92, 102.

[20] Источником этого рассказа Пушкина могли быть либо Н. К. Загряжская (ее сестра Прасковья Кирилловна была замужем за Гудовичем, с которым Павел бывал откровенен), либо много рассказывавший ему об екатерининском времени И. И. Дмитриев. По существу же рассказ неверен: Павел действительно принимал участие в военных действиях во время русско-шведской войны 1788—1790 гг., но попал туда в результате собственной настойчивости, вопреки воле не раз отказывавшей ему в этом Екатерины (см. переписку Павла с матерью по этому вопросу в кн.: Шильдер Н. К. Император Павел Первый. СПб, 1901, с. 209—225).

[21] Французский литератор Кс. Мармье приводил якобы слышанный от Пушкина рассказ о крепостной наложнице, сосланной ревнивым помещиком в Сибирь (Лернер Н. Рассказы о Пушкине. Л., 1929, с. 125—131). Не исключено, что это свободная обработка данного рассказа Смирновой, от которой его, по-видимому, услышал и Мармье.

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ Я. П. ПОЛОНСКИМ

(Стр. 175)

Голос минувшего, 1917, № 11-12, с. 154—156.

[1] Аналогичный рассказ см. у А. О. Россета (*РА*, 1882, кн. 1, с. 245).

[2] О ревности Н. Н. Пушкиной к Смирновой говорят также Вяземский и А. П. Арапова. См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина.— *ПиС*, вып. XXV—XXVII, с. 038—041, 044—045.

П. А. и В. Ф. ВЯЗЕМСКИЕ

Вера Федоровна Вяземская (1790—1886) — с 1811 года жена П. А. Вяземского. Она познакомилась с Пушкиным летом 1824 года в Одессе. По письмам ее к мужу видно, как быстро поэт сумел внушить ей полное доверие, как проницательно разглядела она его истинный облик под маской праздного гуляки, не брезгавшего порой даже наигранным цинизмом. Вскоре Вяземская становится поверенной сердечных и иных тайн поэта. Пушкин поведал ей о романе с Воронцовой, рассказал о своем «заветном умысле» — покинуть «скучный, неподвижный брег»; она попыталась помочь его отъезду за границу, чем вызвала резкое неудовольствие М. С. Воронцова. Пушкин и Вяземская безуспешно пытались устроить на службу в Одессу опального В. К. Кюхельбекера.

В отзывах Пушкина о Вяземской, в его письмах к ней чувствуется восхищение и дружеская приязнь: «княгиня-лебедушка», «княгиня Ве-

трона», «княгиня Вертопрахина» — так ласково и шутливо именует ее Пушкин.

В письме к Ек. Н. Орловой, написанном вскоре после гибели Пушкина и рассчитанном на распространение в обществе, Вяземская поведала о некоторых обстоятельствах, предшествовавших дуэли, и о предсмертных днях Пушкина (см.: Новый мир, 1931, кн. 12, с. 188—193; публикация Н. Бельчикова. Письмо приведено в переводе с французского черновика).

Позднее, по-видимому в 1860—1880-е годы, рассказы Вяземских о Пушкине были записаны П. И. Бартеневым, который при публикации их в «Русском архиве» сделал примечание: «Записано в разное время с позволения обоих». О П. А. Вяземском см. т. 1, с. 485—486 наст. изд.

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ П. И. БАРТЕНЕВЫМ

(Стр. 177)

РА, 1888, № 7, с. 305—312 (с пропуском эпистолярных вкраплений).

[1] Ошибка в дате: «Деревня» была передана Александру I в октябре — декабре 1819 г.

[2] Впервые «Деревня» была напечатана в урезанном виде (до строки «Но мысль ужасная здесь душу омрачает») под названием «Уединение» в сборнике стихотворений Пушкина (1826), полностью — в «Полярной звезде» Герцена в 1856 г.

[3] А. Ризнич посвящены стихотворения Пушкина «Под небом голубым страны своей родной...» и «Для берегов отчизны дальной...».

П. П. ВЯЗЕМСКИЙ

Павел Петрович Вяземский (1820—1888) — сын П. А. и В. Ф. Вяземских, воспитанник Петербургского университета. Он познакомился с Пушкиным после возвращения поэта из ссылки в 1826 году, когда ему было 6 лет, и затем неоднократно встречался с ним на квартире своих родителей. В последние годы был обнаружен и опубликован портрет Пушкина, написанный молодым П. П. Вяземским (см.: Корнилова А. В. Пушкин в рисунке П. П. Вяземского.— *Врем. ПК*, 1966, с. 29—35).

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
1826—1837

(Стр. 185)

Вяземский П. П. Собр. соч. 1876—1887. СПб., 1893, с. 508—513, 520—521, 528—531, 534—535, 542—548, 555—564. Печатается с пропу-

ском эпистолярных текстов Пушкина и его окружения, впервые опубликованных по материалам Остафьевского архива в составе воспоминаний П. П. Вяземского, а ныне широко известных в более полном виде.

Воспоминания П. П. Вяземского датируются 1880 г.

[1] Экспромт Пушкина приведен мемуаристом, по-видимому, по памяти; в собрании сочинений печатается в несколько иной редакции («Душа моя, Павел...») по копии А. Н. Майкова, снятой с первоначальной записи П. П. Вяземского. Автограф Пушкина не сохранился.

[2] Стихи взяты не из эпиграммы, а из басни А. Е. Измайлова. Утверждение мемуариста о том, что Пушкин порицал его сестер за применение к нему этих стихов, сомнительно. Во всяком случае, в январе 1830 г. Пушкин писал П. А. Вяземскому: «Кланяюсь всем твоим и грозному моему критику Павлуше. Я было написал на него ругательскую Антикритику, слогом Галатеи — взяв в эпиграф *Павлуша медный лоб приличное названье!* собирался ему послать, не знаю куда дел» (*XIV*, 62).

[3] П. А. Вяземский в молодости «прокипятил», по его собственному выражению, полмиллиона на карточной игре, чем навсегда расстроил свое состояние.

[4] Пушкин посетил Остафьево 17 декабря 1830 г. Ср. с воспоминаниями П. А. Вяземского об этом приезде в т. 1, с. 110 наст. изд.

[5] Приведены начальные строки третьей строфы «Моей родословной».

[6] В библиотеке Пушкина сохранилась книга: «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные, с прибавлением 35 песен и сказок, доселе неизвестных, и нот для напева» (СПб., 1818).

[7] Речь идет о П. В. Киреевском, которому Пушкин передал в 1833 г. тетрадь с записанными им народными песнями.

[8] К этому времени вышло три издания «Бахчисарайского фонтана» (1824, 1827 и 1830). В третьем издании отсутствовало предисловие П. А. Вяземского и были добавлены «Отрывки из письма самого автора к Д⟨ельвигу⟩». Лучше всего было иллюстрировано второе издание, которое, вероятно, и хотел приобрести товарищ П. П. Вяземского.

[9] М. Ф. Орлов предлагал издавать не газету, а арзамасский журнал; это было не в 1819 г., а 22 апреля 1817 г. на заседании литературного общества «Арзамас».

[10] Право на издание газеты «Дневник» было получено Пушкиным весной 1832 г. Об этом см.: Пиксанов Н. К. Несостоявшаяся газета Пушкина «Дневник» (1831—1832).— *ПиС*, вып. V, 1907, с. 82—109.

[11] Пушкин рассказывал о подпоручике Генерального штаба декабристе Демьяне Александровиче Искрицком.

[12] Далее в опущенной части воспоминаний П. П. Вяземского приведен текст шуточного коллективного стихотворения Пушкина, Вяземского и Мятлева «Надо помянуть, непременно помянуть надо...» (1833), причем мемуарист сообщает, что в подборе фамилий принимали участие он сам

и другие лица. «Забава продолжалась недели две»,— вспоминает П. П. Вяземский.

[13] По-видимому, Д. Н. Барков, театральный критик и переводчик, член общества «Зеленая лампа».

[14] Пушкин упоминает поэта И. С. Баркова, автора непристойных стихотворений, распространявшихся в списках. Сообщение мемуариста о разговоре Пушкина с Николаем I по поводу возможной отмены цензуры в России показывает, что поэт не стеснялся высказывать царю свои мнения по самым острым вопросам внутренней политики. Пушкин, как известно, скептически относился к свободе печати в России — по его словам, первым результатом отмены цензуры будет выход в свет фривольных стихотворений Баркова; по-видимому, в этом шутливом предположении скрывалась давнишняя мысль Пушкина, высказанная им еще в 1822 г. в «Послании цензору»: «Что нужно Лондону, то рано для Москвы». В «Путешествии из Москвы в Петербург» (1834) Пушкин выступает в защиту разумной цензуры (*XI*, 263—265).

[15] Мемуарист имеет в виду письмо Пушкина к брату от сентября — октября 1822 г.

[16] Пушкин читал «Капитанскую дочку» в доме Вяземских 2 ноября 1836 г.

[17] Никаких следов монолога Евгения, направленного против Запада, в рукописях «Медного всадника» не сохранилось. Между тем общая проблематика монолога, о котором вспоминает мемуарист, соответствует размышлениям Пушкина 1830-х годов о преимуществах западной и восточной цивилизаций.

[18] П. П. Вяземский цитирует «Памятник» Пушкина в редакции Жуковского, изменившего текст по цензурным соображениям.

М. И. ГЛИНКА

Михаил Иванович Глинка (1804—1857) — композитор, современник Пушкина, создатель оперы «Руслан и Людмила» на сюжет пушкинской поэмы и многочисленных романсов на стихи Пушкина («Я помню чудное мгновенье...», «Ночной зефир...» и др.), автор известных «Записок» (1854—1855), содержащих сведения о тесном общении Глинки с Пушкиным в 1828—1836 годах.

ИЗ «ЗАПИСОК»

(Стр. 203)

Глинка М. Литературное наследие, т. 1. М.— Л., 1952, с. 110, 156, 170—172.

[1] М. Глинка не мог познакомиться с Дельвигом летом 1828 г., так как

в это время тот находился в длительной служебной поездке (см. примеч. к «Воспоминаниям о Пушкине» Керн).

[2] Грибоедов приехал в Петербург с текстом Туркманчайского мира в середине марта 1828 г., застав здесь Пушкина. Глинка вернулся из Москвы (где провел несколько месяцев) во второй половине мая 1828 г. Между 20 мая и началом июня состоялась встреча Глинки и Грибоедова. Сообщенная им мелодия грузинской народной песни стала известной Пушкину (возможно, через А. Оленину, бравшую у Глинки уроки музыки; см.: Цявловская Т. Г. Дневник А. А. Олениной, с. 256—257, примечание), вдохновив его на создание романса «Не пой, волшебница, при мне» (начальная строчка 1-й редакции стихотворения, законченного 12 июня). Находка пушкинского автографа подтвердила точность сообщения М. Глинки (см.: Цявловский М. А. Два автографа Пушкина. М., 1914, с. 6).

[3] Канон, сочиненный Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Виельгорским и положенный на музыку В. Ф. Одоевским, был издан с нотами в 1836 г. (СПб., 15 декабря). Глинка забыл об этом издании, намереваясь приложить стихотворный текст к своим мемуарам.

[4] Глинка ошибался: встреча, о которой он сообщает, состоялась в марте 1836 г. (см.: Киселев В. К вопросу о посещении А. С. Пушкиным М. И. Глинки.— В кн.: Глинка М. И. Сборник материалов и статей. М.—Л., 1950, с. 114—116).

А. И. ТУРГЕНЕВ

Александр Иванович Тургенев (1784—1845) — сын директора Московского университета И. П. Тургенева, воспитанник Московского университетского пансиона. В 1802—1804 годах А. И. Тургенев — студент Геттингенского университета. Лекции знаменитого историка Шлецера привили ему на всю жизнь обостренный интерес к истории. В 1820—1830-е годы Александр Иванович отдает много сил и энергии разысканию исторических документов, хранившихся в секретных архивах западноевропейских стран; его выписки, содержавшие донесения французских послов в Петербурге во времена Петра I, будет читать Пушкин накануне гибели.

В 1805 году А. И. Тургенев вернулся в Россию и стал быстро продвигаться по службе; с осени 1810 года он уже директор Главного управления духовных дел иностранных исповеданий.

С. Л. и В. Л. Пушкиных он знал еще по Москве. И вполне естественно, что к его содействию обратился В. Л. Пушкин, когда он привез своего племянника в Петербург; благодаря ходатайству А. И. Тургенева удалось устроить Пушкина в Царскосельский лицей. В последующие годы он

встречается с Пушкиным-лицеистом в Царском Селе в доме Карамзиных, где собирались столичные арзамасцы. Александр Иванович также был одним из участников этого литературного общества.

По окончании Лицея Пушкин становится частым посетителем квартиры Александра Ивановича и его брата, будущего декабриста Николая Ивановича; в их холостяцкой квартире на Фонтанке постоянно велись горячие политические дебаты, дававшие обильную пищу вольнолюбивым размышлениям Пушкина. Как известно, ода «Вольность» была написана на квартире Тургеневых, под воздействием речей Николая Ивановича,— два десятилетия спустя Пушкин вспомнит «хромого Тургенева», мечтавшего об освобождении крестьян, в декабристских строфах «Евгения Онегина».

В годы южной ссылки Пушкин переписывается с А. И. Тургеневым, посылает ему свои новые стихи — крамольные строфы «Наполеона» и скорбного «Сеятеля». Пусть узнает его давний политический учитель — Н. И. Тургенев, как он расценивает последние европейские события. Пессимистический прогноз поэта вскоре оправдался и на судьбе братьев Тургеневых: в апреле 1824 года состоялся вынужденный отъезд на лечение в чужие края Н. И. Тургенева; в мае того же года был отрешен от всех должностей А. И. Тургенев,— год спустя он также уехал за границу.

Восстание на Сенатской площади навсегда отделило братьев Тургеневых от царской России — Николай Иванович, осужденный по делу декабристов, стал вечным политическим изгнанником, жившим сначала в Лондоне, а затем в Париже. Александр Иванович, отказавшийся отречься от брата, стал полуопальным странствователем, годами скитавшимся по Европе. Представитель передовой России, А. И. Тургенев рассказывал литературному Парижу и Лондону о судьбе и творчестве Пушкина.

Одиннадцать лет длилась разлука Пушкина и А. И. Тургенева. С июня 1831 года и до последних дней жизни Пушкина А.И. Тургнев встречался с поэтом то в Москве, то в Петербурге.

Дневник А. И. Тургенева помогает нам уточнить жизненную канву Пушкина, сообщает о многих встречах и разговорах, неизвестных по другим источникам. Его дневниковые записи за 1831—1837 годы, впервые сведенные воедино в настоящем издании, наглядно показывают, как из года в год его сношения с Пушкиным становились все более тесными; особенно прочной стала их интеллектуальная дружба в последние месяцы жизни Пушкина. Ведь именно из дневников А. И. Тургенева мы узнаем, какой напряженной умственной жизнью жил Пушкин в черные дни преддуэльной катастрофы.

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 206)

Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е. М.— Л., ГИЗ, 1928, с. 275—300 (записи за 1836—1837 гг.); Гиллельсон М. Пушкин в дневниках А. И. Тургенева.— *РЛ*, 1964, № 1, с. 125—134 (записи за 1831—1834 гг.) — с дополнением и уточнением по рукописи.

[1] Пушкин приехал в Москву 6 декабря.

[2] *Мещерская* — Екатерина Николаевна, урожд. Карамзина, адресат стихотворения Пушкина «Акафист», написанного 24 ноября 1827 г.

[3] Имеется в виду Софья Сергеевна Мещерская, мать Петра Ивановича Мещерского, женатого с апреля 1828 г. на Е. Н. Карамзиной.

[4] Тургенев был осведомлен об этом историческом замысле Пушкина еще до их встречи в Москве. 23 октября 1831 г. он записал: «Вечер у Свербеевых, потом у кн. Д. В. Голицына. ⟨...⟩ Разговор о Пушкине и Петре I с Уваровым, с князем Голицыным и внимание других к словам нашим».

[5] Слова «оба правы» зачеркнуты. Речь идет о спорах по польскому вопросу. Вспоминая об этом, Тургенев записал 31 марта 1842 г., что объяснял И. С. Гагарину «Вяземского о Пушкине и их отношения. Вяземский не поддавался ему; не во всем с ним соглашался, а спорил часто; например, за Польшу в Москве против Пушкина и Дениса Давыдова — соглашаясь со мною». Однако сложность ситуации, возникшей в связи с попытками западных держав использовать польский вопрос в своих интересах, заставляла Тургенева серьезно прислушиваться к аргументации Пушкина; отсюда и перечеркнутая запись: «оба правы».

[6] Пушкин присутствовал на распродаже богатого собрания картин, гравюр, книг, рукописей и других вещей А. С. Власова. Об этом см. письмо Пушкина к жене от 10 декабря 1831 г. (*XVI*, 246).

[7] Имеется в виду перевод Вяземского статьи из парижского журнала «La mode», посвященной польским событиям. Перевод был напечатан без указания имени переводчика в *СПч.* (1831, № 253).

[8] *Солдан* — Вера Яковлевна Сольдейн, жена генерал-майора Х. Ф. Сольдейна. По свидетельству современников, в их доме охотно собирались молодые представители умственной жизни Москвы.

[9] *Шереметева* — по-видимому, Надежда Николаевна, теща И. Д. Якушкина.

[10] Пушкин читал строфы из VIII главы полного текста «Евгения Онегина», то есть отрывки из путешествия Онегина по России.

[11] Цитата из стихотворения Пушкина «Ответ на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елизаветы Алексеевны», впервые напечатанного в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» в 1819 г. (№ 10). В своем ответе Пушкин варьирует следующий стих: «Стыдливой Музою моей»,— применительно к Тургеневу.

[12] *Потемкина* — Елизавета Петровна, сестра декабриста С. П. Трубецкого, жена графа С. П. Потемкина; ей адресовано четверостишие Пушкина: «Когда Потемкину в потемках...»

[13] *Голицына* (Ланская) — Анна Васильевна, жена князя А. Б. Голицына. О ней см. письмо Пушкина к жене от 8 декабря 1831 г.

[14] *Толстой* — вероятно, Федор Иванович.

[15] Тургенев отказался от приглашения посетить «цыганский вечер» у П. В. Нащокина (*XIV*, 249).

[16] Строки из декабристской (десятой) главы «Евгения Онегина» В письме к брату от 11 августа 1832 г. Тургенев воспроизвел эти стихи, причем против строки «Хромой Тургенев им внимал» он приписал: «т. е. заговорщикам; я сказал ему, что ты и не внимал им, и не знавал их» (*ЖМНП*, 1913, нов. сер., ч. XLIV, март, отд. 2, с. 17).

[17] Записи от 22—23 декабря связаны с настойчивыми хлопотами Тургенева по делу брата-декабриста, в частности, он обращался к своему бывшему начальнику, влиятельному А. Н. Голицину. Пушкин, конечно, знал об этих хлопотах, но теперь становится известным, что поэт помогал Тургеневу редактировать эти прошения.

[18] Девятая песнь «Онегина» — это то, что в окончательном тексте романа стало VIII главой. Не совсем ясно, что обозначает Тургенев словом «заключение»; можно думать, что речь идет о финальной сцене объяснения Онегина с Татьяной. Вопрос о соотношении текста романа в полном виде с окончательным текстом «Евгения Онегина» до конца не выяснен. Подробнее об этом см.: Томашевский Б. Десятая глава «Евгения Онегина».— *ЛН*, т. 16-18, с. 379—420; Дьяконов И. О восьмой, девятой и десятой главах «Евгения Онегина».— *РЛ*, 1963, № 3. с. 37—61.

[19] *Данилевский* — Михайловский-Данилевский Александр Иванович, военный историк.

[20] О Д. Ф. Фикельмон см. с. 454—456 наст. изд.

[21] *Толстая* — Анна Матвеевна, двоюродная сестра Д. Ф. Фикельмон. Брат ее Феофил Матвеевич Толстой в конце апреля 1832 г. уехал за границу.

[22] *Опочинин* — Константин Федорович, двоюродный брат Д. Ф. Фикельмон.

[23] О каком запрещении говорил Пушкин, установить не удалось.

[24] По-видимому, в этот вечер у Карамзиных были Пушкин, Жуковский и Вяземский.

[25] К этому времени относятся хлопоты Пушкина, связанные с проектом издания газеты «Дневник».

[26] По-видимому, замечание Пушкина вызвано было каким-то неосторожным политическим высказыванием Тургенева.

[27] 23 октября 1834 г. Тургенев писал Вяземскому: «Здесь Пушкин и его три красавицы; я с ними сдружился еще в Москве» (*ОА*, т. III, с. 261).

[28] Текст записи реконструирован с учетом письма Пушкина к Тургеневу от 9 сентября: «Симбирск в 1671 году устоял противу Стеньки Разина, Пугачева того времени» (*XV*, 189). Тургенев неоднократно бывал в Симбирске, так как его родовое имение в с. Тургенево было расположено в Симбирской губернии. В это время Тургенев вернулся из деревни; отсюда его выражение о душе, заснувшей в степях Башкирии.

[29] Поэма о петербургском потопе — «Медный всадник», законченный 31 октября 1833 г. Николай I запретил публиковать поэму в полном виде; начало ее (вступление) было напечатано в конце 1834 г. (*БдЧ*). Таким образом, ко времени чтения поэмы Тургеневу она еще не была известна читающей публике.

[30] *Михайловский театр* — ныне Малый оперный театр (площадь Искусств), открытый в 1833 г.

«Родольф, или Брат и сестра» — одноактная пьеса драматурга Э. Скриба. *«La dame blanche»* (1825) — опера французского композитора Ф.-А. Буальдье.

[31] По-видимому, беседа касалась «Философических писем» Чаадаева.

[32] Эта книга долго хранилась у Пушкина. Уже после гибели поэта Тургенев просил разыскать ее в его бумагах (*Р. библ.*, 1916, № 4, с. 34—35).

[33] В 1834 г. в статье «О ничтожестве литературы русской» Пушкин, критикуя художественный метод Вольтера, тем не менее называет его великаном XVIII в. В 1836 г. Пушкин анонимно опубликовал в «Современнике» (т. 3, с. 158—169) статью «Вольтер», материалы для которой ему были присланы Тургеневым.

[34] С А. П. Ермоловым Пушкин познакомился в 1829 г., заехав в Орел по дороге на Кавказ. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин описал свое знакомство с опальным генералом.

Ериванский Ермолов — это Иван Федорович Паскевич, сменивший в 1827 г. Ермолова на посту управляющего Кавказским краем (в 1830-е годы был наместником Царства Польского). Он имел титул графа Ериванского. Ерихонским Паскевича назвал Ермолов в разговоре с Пушкиным: «Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно, говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским» (*VIII*, 445). При печатании «Путешествия в Арзрум» в «Современнике» (1836) Пушкин по цензурным соображениям исключил описание своего свидания с Ермоловым.

[35] *Гец* — Гетц Петр Петрович.

[36] *Штакельберг* — по-видимому, Густав Оттонович, дипломат.

[37] *«Les enfants d'Edouard»* («Дети Эдуарда») — историческая трагедия Казимира Делавиня.

[38] Имеется в виду речь Н. М. Карамзина в торжественном собрании Российской Академии 5 декабря 1818 г.

Красное словцо Тургенева: «Вперед не будет», по всей вероятности, было сказано в адрес президента Академии А. С. Шишкова, пригласившего Карамзина выступить с речью, которая оказалась, вопреки ожиданию, враждебной его взглядам.

[39] *Новорожденная Карамзина* — Екатерина Андреевна, родившаяся 16 ноября 1780 г.

[40] *Кушников* — Сергей Сергеевич, племянник Н. М. Карамзина; во время турецкой войны 1788—1789 гг. и Итальянского похода он был адъютантом Суворова.

[41] Эта краткая запись скрывает разговор на острую политическую тему. С. С. Кушников «проврался», то есть проговорился о пристрастном заступничестве Аракчеева за новгородского губернатора Д. С. Жеребцова, который бесчеловечно вел следствие над лицами, заподозренными в убийстве Минкиной, любовницы временщика. См. об этом: Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. IX. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 89.

[42] *Шевичева* — Шевич Мария Христофоровна, сестра А. Х. Бенкендорфа, приятельница Карамзиных.

[43] Имеется в виду аморальное поведение генерал-майора И. О. Сухозанета, назначенного осенью 1833 г. главным директором Пажеского и всех сухопутных корпусов. (Об этом см.: *XII*, 315.)

[44] *Трубецкой* — возможно, Никита Петрович.

[45] *Милая и умная хозяйка* — София Александровна Бобринская.

[46] *Фридр* — по-видимому, Ц. В. Фридерикс, подруга императрицы.

[47] Тургенев имеет в виду общественную эволюцию бывших арзамасцев, расколовшихся на два лагеря: на друзей-сервилистов (Д. Н. Блудов, С. С. Уваров, Ф. Ф. Вигель) и друзей-либералов (Пушкин, Жуковский, Вяземский). Болезненная реакция Тургенева на нежелание пригласить его в ложу понятна — не только он сам, но и наиболее проницательные общие знакомые заметили неловкость его положения. 4 декабря он записал в дневнике: «Смирнова догадалась, что я догадался в театре...» В то же время надо учесть, что поведение Пушкина вызывалось сложностью его положения при дворе. 22 июля 1834 г. поэт записал в дневнике: «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором — но все перемололось. Однако это мне не пройдет» (*XII*, 331). В ноябре 1834 г. Пушкин нарочно уезжал из столицы в Москву, чтобы не присутствовать с другими камер-юнкерами на торжественном открытии Александровской колонны. Понятно, что приглашение в ложу Тургенева, к которому Николай I относился неприязненно, было бы расценено царем как очередной демонстративный акт; Пушкин не захотел обострять и без того натянутые отношения со двором. «Я в лес хочу!» — цитата из «Братьев разбойников» Пушкина.

[48] *Маркиз Дуро* — сын герцога Веллингтона; 2 декабря 1834 г. вместе

с другими высокопоставленными иностранными путешественниками представлялся Николаю I (*СПч.*, 1834, № 277, с. 1205); о Дуро см. запись в дневнике Пушкина от 18 декабря (*XII*, 334).

[49] Перефразировка слов Вольтера: «Tes pourquoi, dit le dieu, ne finiront jamais» («Твоим почему, сказал бог, не будет конца») из «Discours en vers sur l'homme» («Рассуждение в стихах о человеке»). Пушкин цитировал эту фразу Вольтера в предисловии ко второму изданию «Руслана и Людмилы» (1828). В разговоре с маркизом Дуро речь шла, по всей вероятности, о запрещении «Медного всадника». Пушкин не скрывал от своих друзей, как придирчиво относился к его произведениям Николай I; через салон Фикельмон слова Пушкина становились известными в дипломатическом мире Петербурга.

[50] Имеются в виду вычеркнутые Николаем I строки из вступления к «Медному всаднику»: «И перед младшею столицей // Померкла старая Москва, // Как перед новою царицей // Порфироносная вдова».

[51] Подробнее о времени передачи «Замечаний о бунте» Николаю I см.: *РЛ*, 1964, № 1, с. 133.

[52] Последняя фраза не совсем понятна. Упоминание о «шутке брата», недавние его именины (6 декабря) наводят на мысль, что тост был провозглашен за декабриста Николая Тургенева. По-видимому, Тургенев зашифровал запись: вместо Николая Ивановича поставил — Ивана Николаевича,— и подчеркнул эти слова.

[53] *Семейство Сусанина* — опера М. И. Глинки «Иван Сусанин», первоначально называвшаяся «Жизнь за царя». В письме к брату, сообщая о посещении театра, Тургенев счел необходимым добавить: «Пушкин озабочен семейными делами» (*Щеголев*, с. 275; подлинник по-французски).

[54] С середины XV в. в России существовало так называемое местничество, которое устанавливало право бояр, в зависимости от древности и знатности рода, на чины и должности при дворе Московского князя. По этому обычаю строго соблюдалось распределение мест за великокняжеским столом и во время всяких церемоний. Однако в отдельных случаях, по желанию князя, этот обычай не соблюдался; выражение «быть без мест» означало приказ не придерживаться обычной иерархии. Эти частные отступления не колебали существенно местничество, которое было уничтожено лишь в 1682 г. при царе Федоре Алексеевиче.

[55] *Строганов* — Григорий Александрович, член Верховного суда над декабристами.

[56] По-видимому, речь шла о «Записке о древней и новой России» Карамзина, запрещенной цензурой к печатанию в «Современнике».

[57] *Кочубей* — возможно, Александр Васильевич.

[58] Пушкин читал Тургеневу, одному из немногих, свое стихотворение «Памятник». Об этом см.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...». Л., Наука, 1967 с. 23—25.

[59] Разговор шел о М. Ф. Орлове, П. Д. Киселеве, А. П. Ермолове и А. С. Меншикове, сочувствовавших движению декабристов. По-видимому, фраза «без нас не обойдутся» принадлежала одному из них и означала их уверенность в том, что в случае успеха восстания к ним обратятся за помощью.

[60] Имеется в виду письмо Пушкина к Чаадаеву от 19 октября 1836 г. (*XVI*, 171) по поводу опубликования «Философического письма» в «Телескопе». Репрессии, обрушившиеся на Чаадаева, побудили Пушкина воздержаться от посылки письма.

[61] *Келлер* — Егор Егорович; *сын Келлера* — Дмитрий Егорович, который записал 17 декабря в дневнике: «Был на балу у Е. Ф. Мейендорфа. Он и жена говорили о Пушкине, о данном мне поручении перевести для государя рукопись генерала Гордона (сподвижника Петра). Я не танцевал и находился в комнате перед залой. Вдруг вышел оттуда Александр Сергеевич с Мейендорфом и нетерпеливо спрашивал его: «Но где же он? Где он?» Егор Федорович нас познакомил. Пошли расспросы об объеме и содержании рукописи. Пушкин удивился, когда узнал, что у меня шесть томов in-quarto, и сказал: «Государь говорил мне об этом манускрипте как о редкости, но я не знал, что он столь пространен». Он спросил, не имею ли других подобных занятий в виду по окончании перевода, и упрашивал навещать его» (П у ш к и н А. С. Сочинения. Под ред. П. Ефремова, т. VIII. СПб., 1905, с. 586).

[62] Выписки о Шотландии в бумагах Пушкина обнаружены не были; они бесследно исчезли, и до последнего времени их содержание не было известно. Однако ознакомление с неизданными дневниками Тургенева позволяет утверждать, что Тургенев передал Пушкину описание своей поездки из Лондона в Абботсфорд летом 1828 г. Осмотр шекспировских мест (Стратфорд-на-Авоне), Оксфорда, Вудстока и Кенильворта, знакомство с Робертом Саути, трехдневное пребывание в гостях у Вальтера Скотта были опорными пунктами его повествования.

[63] *Графиня Пушкина* — Мусина-Пушкина Эмилия Карловна.

[64] *Ланская* — по-видимому, Надежда Николаевна.

[65] В эти дни вышел в свет четвертый том «Современника»; в нем было напечатано продолжение парижской «Хроники русского» А. И. Тургенева.

[66] *Роман Пушкина* — «Капитанская дочка», напечатанный в четвертом томе «Современника».

[67] Стихотворение Пушкина «Полководец», посвященное Барклаю де Толли, вызвало полемику. Отвечая на упреки Л. И. Голенищева-Кутузова, племянника великого полководца, который в особой брошюре упрекал поэта в забвении заслуг Кутузова, Пушкин писал: «...не могу не огорчиться, когда в смиренной хвале моей вождю, забытому Жуковским, соотечественники мои могли подозревать низкую и преступную сатиру...» Действительно, в стихотворении Жуковского «Певец во стане русских

воинов» Барклай де Толли не упомянут среди героев Отечественной войны 1812 г.

[68] В эти дни имя Гизо несколько раз встречается в дневнике Тургенева; 26 декабря он беседовал с французским послом Барантом о речи Гизо, 27 декабря Барант прислал ему эту речь. 10(22) декабря в Париже при большом стечении публики на место умершего философа, члена Конвента во времена Великой французской революции Дестю де Траси, Гизо был избран во Французскую академию. Речь Гизо обсуждалась в петербургских салонах. См.: Максимов М. По страницам дневников и писем А. И. Тургенева.— Прометей, т. 10. М., 1974.

[69] *Англичанин* — Лондондерри Чарльз Вильям Вейн. В 1835 г. он был назначен послом в Россию, но палата общин не утвердила это назначение. Он посетил Россию как частное лицо с сентября 1836 г. по начало февраля 1837 г.

[70] В письме к А. Я. Булгакову Тургенев писал: «Беседа была разнообразной, блестящей и очень интересной, так как Барант рассказывал нам пикантные вещи о Талейране и его мемуарах, первые части которых он прочел; Вяземский вносил свою часть, говоря свои острые словечки, достойные его оригинального ума. Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты Петра I и Екатерины II, и на этот раз я тоже был на высоте этих корифеев литературных салонов» («Письма Александра Тургенева Булгаковым». М., Соцэкгиз, 1939, с. 204; подлинник по-французски).

[71] Пушкин читал Тургеневу только что написанный пастиш (от фр. pastiche — художественная имитация, стилизация) «Последний из свойственников Иоанны д'Арк».

[72] *Французские бумаги* — выписки Тургенева из парижских архивов, содержавшие донесения французских послов из Петербурга. Пушкина интересовали эти бумаги в связи с его занятиями по истории Петра I. Подробнее об этом см.: Фейнберг Илья. Незавершенные работы Пушкина, изд. 7-е. М., 1979, с. 118—136.

[73] Подробнее об этом см.: Нечкина М. В. А. С. Грибоедов и декабристы, изд. 2-е. М., Изд-во АН СССР, 1951, с. 482—490.

[74] Выписки из дневника Тургенева о Веймаре Пушкин сразу же стал готовить к печати; под названием «Отрывок из записной книжки путешественника (Веймар, Тифурт. Дом и кабинет Гете. Письмо к нему В. Скотта)» они появились в пятом томе «Современника», вышедшем в свет после смерти Пушкина.

[75] *Граф Лили Толстой* — Александр Николаевич.

[76] *Le Normand* — Ленорман Мария-Анна-Аделаида, известная французская гадальщица.

[77] Об этом свидании с Пушкиным Тургенев писал И. С. Аржевитинову: «...прочел он мне наизусть много стихов, коих я не знал, ибо они не были напечатаны. Одни более других мне понравились и тем уже, что написаны давно по случаю распространившегося слуха, что будто брат

Николай выдан англичанами; стихи адресованы к другому поэту, который написал стихи «К морю» и славил его» (*РА*, 1903, кн. 1, с. 144). Имеется в виду стихотворение Пушкина «К Вяземскому» («Так море, древний душегубец...»).

[78] Стихотворения Пушкина «Портрет» и «Наперсник», адресованные А. Ф. Закревской, были напечатаны в «Северных цветах на 1829 год»; следовательно, Пушкин ознакомил Тургенева с третьим стихотворением, посвященным ей: «Счастлив, кто избран своенравно...», которое при жизни поэта не публиковалось.

[79] Имеется в виду письмо Пушкина к В. А. Соллогубу от 17 ноября 1836 г. (*XVI*, 188).

[80] Это выражение из письма Тургенева к Вяземскому от 7 сентября 1836 г.: «Как мое Европейство обрадовалось, увидев у Симбирска пароход, плывущий из Нижнего к Саратову и Астрахани... Отчизна Вальтера Скотта благодетельствует родине Карамзина и Державина. Татарщина не может долго устоять против этого угольного дыма шотландского; он проест ей глаза, и они прояснятся» (*Лит. арх.*, т. I, 1938, с. 85).

[81] *Лубяновский* — Федор Петрович, в молодости служивший адъютантом у генерал-фельдмаршала Н. В. Репнина. Лубяновский жил на Мойке, в одном доме с Пушкиным.

[82] *Багреев* — Фролов-Багреев Александр Алексеевич.

[83] О ссоре наместника Петрозаводской губернии Т. И. Тутолмина с Державиным см. рассказ Ф. П. Лубяновского, записанный Я. К. Гротом (Державин Г. Р. Сочинения, т. VIII. СПб., 1880, с. 376—377).

[84] Эта корреспонденция Тургенева появилась в пятом томе «Современника» без стихотворения Лобанова. Кроме того, в ней отсутствует стихотворный ответ Гете, вместо которого напечатано письмо В. Скотта к Гете.

[85] Тургенев читал двухтомный труд Шатобриана «Essai sur la Littérature anglaise et Considerations sur la Génie des hommes, des temps et des revolutions» (P., 1836); он сохранился в библиотеке Пушкина; оба тома разрезаны.

Оценка Шатобриана-писателя, сделанная Тургеневым, близка к пушкинской характеристике французского патриарха литературы в статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая» (1836).

[86] Об этом см. примеч. 2 на с. 520 наст. изд.

[87] *Луи* — слуга-француз Тургенева.

[88] Письма Тургенева, описывающие события после дуэли, см.: *ПиС*, вып. VI, с. 47—93; «Московский пушкинист», I, М., 1927, с. 33—40.

[89] *Доктор* — Андреевский.

[90] Речь идет о слухах, приписывавших И. С. Гагарину авторство анонимного пасквиля. Подробнее об этом см. примеч. 2 на с. 514 наст. изд.

[91] А. Н. Мордвинов писал губернатору А. Н. Пещурову: «...имею

честь сообщить вашему превосходительству о воле государя императора, чтобы вы воспретили всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина. К сему неизлишним считаю, что отпевание тела уже здесь совершено» (*Щеголев*, с. 294).

[92] Альбом П. А. Осиповой не сохранился. Не напечатанные при жизни Пушкина стихотворения, по-видимому: «Простите, верные дубравы...» (1817) и «Цветы последние милей...» (1825). О пребывании А. И. Тургенева в Михайловском и Тригорском см.: Попова О. И. Неопубликованное письмо П. А. Осиповой к А. И. Тургеневу.— *П. Иссл. и мат.*, т. IV, 1962, с. 366—370.

Н. А. МУХАНОВ

Николай Алексеевич Муханов (1802—1871) в 1820—1830-е годы — адъютант петербургского генерал-губернатора; с Пушкиным сближается в 1827—1828 годах в дружеском кружке Вяземского, Мицкевича и др. В 1836 г. Пушкин читал ему до печати «Памятник» (см.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...» Л., 1967, с. 112—115). В его дневнике 1832 г. отразилось тяготение Муханова к формирующемуся славянофильству; в разговорах Пушкина он — не без некоторых оснований — ищет черты близости к собственной позиции, особо отмечая интерес поэта к специфически национальным путям развития России, характерное для 1831—1832 гг. «французоедство», политические споры с Вяземским по этому поводу и т. д. (см. т. 1, с. 110—111 наст. изд.; *Новонайденный автограф*, с. 79 и след.). Значительную ценность представляют и известия о газете «Дневник» и начале конфликта Пушкина с Уваровым. Впервые — *РА*, 1897, кн. 4.

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 220)

РА, 1897, кн. 4, с. 653—657. Печатается с уточнениями по автографу (*ОПИ ГИМ*, ф. 117, № 81).

[1] А. Шернваль.

[2] «*Table de nuit*» («Ночной столик», 1832) — сборник повестей П. де Мюссе. Пушкин собирался писать об этой книге в 1832 г. (*XII*, 204).

[3] Речь идет о книге П.-Э.-Л. Дюмона, секретаря Мирабо, «Воспоминания о Мирабо» (1832). Резко отрицательная рецензия на нее Ж. Жанена появилась в «Journal des Débats» (1832, 22 января). Высказывания Пу-

шкина носят полемически-запальчивый характер. Об этом споре Вяземский вспоминал в письме к жене (Звенья, т. IX. М., 1951, с. 405).

[4] Статья В. П. Андросова — «Статистическая записка о Москве» (М., 1832), вызвавшая острую полемику; в защиту ее выступил М. П. Погодин (*Тел.*, 1832, № 7); резко отрицательно высказался А. П. Толстой, обвинявший Андросова в пристрастии «ко всему *не русскому*». См.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 4. СПб., 1891, с. 65—71.

[5] Запись «квасной патриотизм» отмечает тему разговора. Выражение это, впервые употребленное Вяземским (*МТ*, 1827, № 11, с. 232), обычно приписывалось Полевому и употреблялось как обозначение его представлений о ложном патриотизме.

[6] Речь идет о газете «Дневник. Политическая и литературная газета», пробный номер которой был составлен в начале сентября; затем издание остановилось и продолжено не было. Об истории его см.: *Письма*, III, с. 489—500.

[7] Подлинник записи от 7 июля — по-французски.

П. В. и В. А. НАЩОКИНЫ

Павел Воинович Нащокин (1801—1854) — один из наиболее близких и преданных друзей Пушкина. Яркий собеседник, много видевший и многих знавший, Нащокин дал Пушкину материал для повести «Дубровский», для начальных глав «Русского Пелама», герой которого вобрал в себя некоторые биографические черты Нащокина.

Многолетняя переписка с Нащокиным, неизменно дружеская и откровенная, содержит ценный и разнообразный биографический материал. Ценя в Нащокине увлекательного рассказчика, Пушкин советовал ему писать мемуары, помогая ему в работе. С его слов поэтом написаны известные «Записки П. В. Нащокина, им диктованные в Москве» (см.: *XI*, 189—190), кроме того, поправки Пушкина имеются на копии начальной главы мемуаров самого Нащокина, посланной им поэту в Петербург в 1836 г. (см.: *Рукою П.*, с. 116—127). Оригинал этого документа опубликован Н. Я. Эйдельманом (см.: Прометей, т. X. М., 1974, с. 275—292). Осенью 1851 года (вероятно, через посредство М. Погодина) с Нащокиным познакомился П. И. Бартенев — будущий издатель «Русского архива», неутомимый собиратель биографических материалов о Пушкине. Часто посещая Нащокина в течение 1851—1853 годов, Бартенев всякий раз записывал с его слов рассказы о Пушкине. По словам Бартенева, он «сообщает свои сведения осторожно, боясь ошибиться, всегда оговариваясь, если он не твердо помнит что-либо» (*Рассказы о П.*, с. 35). Воспоминания П. В. Нащокина вошли в «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым». Книга снабжена вступительной статьей

и исчерпывающим по своей полноте комментарием М. А. Цявловского. Текст рассказов П. В. Нащокина дается нами по этому изданию не в полном своем объеме: мы опускаем соображения Нащокина об адресатах отдельных произведений Пушкина, а также ряд эпизодов, переданных Нащокиным со слов очевидцев (и свидетелем которых он не был, как, например, рассказов Данзаса о дуэли Пушкина).

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ, ЗАПИСАННЫЕ П. И. БАРТЕНЕВЫМ

(Стр. 223)

Рассказы о П., с. 26—28, 32—37, 39, 40—41, 42—49.

[1] Не совсем точное сообщение: Пушкин в Москве останавливался не только у Нащокина, но и в гостиницах Коппа, «Англия», а также у П. А. Вяземского (*Рассказы о П.*, с. 74—75). В доме Ивановой, у «старого Пимена», Пушкин останавливался в мае 1836 г.

[2] Пушкин состоял членом Английского клуба, куда был избран вместе с Баратынским в 1829 г.

[3] Соболевский отрицал это указание Нащокина, утверждая, что «такая книга» была у Пушкина только «до отсылки в изгнание» (*Рассказы о П.*, с. 27). Возможно, однако, что Нащокин, близко общавшийся с Пушкиным в 1830-е годы, видел тетрадь, в которой поэт вел свой «Дневник 1833—1835 гг.» (*ИРЛИ*, ф. 244, оп. 1, № 843).

[4] Точность сообщаемого Нащокиным факта о прототипе пушкинского Дубровского — белорусском дворянине Павле Островском еще раз подтверждается архивными разысканиями. См.: Степунин И. Прототип пушкинского Дубровского.— Неман, 1968, № 8, с. 180—184.

[5] Сумма частных долгов Пушкина к моменту его смерти составила 92 500 руб. Кроме того, поэт должен был государственной казне 43 333 руб. (см.: *Лет. ГЛМ*, V, с. 150—151). Сообщение о вещах Пушкина подтверждается письмом Н. Н. Пушкиной, писавшей Нащокину 6 апреля 1837 г.: «Простите, что я так запоздала передать Вам вещи, которые принадлежали одному из самых преданных Вам друзей. Я думаю, что Вам приятно будет иметь архалук, который был на нем в день его несчастной дуэли; присоединяю к нему также часы, которые он носил обыкновенно» (Искусство, 1923, № 1, с. 326). В ответ на просьбу М. Погодина передать ему вещи Пушкина Нащокин сообщал (вероятно, в 1844 г.): «Вещи Пушкина я с удовольствием вам доставлю, но их у меня осталось очень немного, и не все налицо: недавно у меня жил мальчик, который всего меня обокрал, и в том числе архалук Пушкина, который один и найден, но еще мне не возвращен; еще книжник покойника, в коем было семьдесят пять рублей, найденных после его смерти; но такова моя была нужда, что я их израсходовал» (Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. VII, с. 310).

П. В. Нащокин имеет в виду серебряные часы, переданные ему после смерти Пушкина В. А. Жуковским. Часы эти (вместе с автографами Пушкина) от Нащокина перешли к М. И. Семевскому (издателю «Русской старины»). Архалук и бумажник поэта не сохранились, зато Нащокин сохранил другой бумажник Пушкина, подаренный ему самим поэтом в 1836 г. и в настоящее время хранящийся во Всесоюзном музее А. С. Пушкина. См. подробнее: Ф е в ч у к Л. П. Личные вещи Пушкина. Л., 1970, с. 46—48.

[6] Имеется в виду не дошедшая до нас поэма «La Toliade» (см. также воспоминания О. С. Павлищевой, т. 1, с. 33—34 наст. изд.).

[7] Подробнее см.: *Рассказы о П.*, с. 89.

[8] Речь, по-видимому, идет о декабристе Е. П. Оболенском, сосланном на Кавказ, однако история, о которой пишет Нащокин, неизвестна.

[9] *Артикул* — военно-уголовный кодекс, введенный при Петре I (1715) и формально действовавший до 1839 г.

[10] Строчки из стих. И. П. Мятлева «Восторг», записанные на обороте письма Нащокина к Пушкину конца апреля 1834 г. (*XV*, 131, ср. *Рукою П.*, с. 552).

[11] Нащокин не был свидетелем этих событий. Отсюда — ряд неточностей: записки были сожжены значительно раньше, после получения известия о событиях 14 декабря. Неверно и сообщение Нащокина об уничтожении Пушкиным стихотворения «Восстань, восстань, пророк России...». По ряду авторитетных свидетельств (в частности, С. А. Соболевского), «Пророк» «приехал в Москву в бумажнике Пушкина» (см. *Рассказы о П.*, с. 34).

[12] Ошибка в фамилии: не Специнский, а В. Н. Спечинский. Рассказ Спечинского о Ф. Булгарине подробно изложен Нащокиным в письме к С. Д. Полторацкому (*РА*, 1884, кн. 3, № 6, с. 352—353).

[13] Бартенев сумел убедить Нащокина назвать имя героини этой «устной новеллы» Пушкина. По указанию М. Лонгинова (*Рассказы о П.*, с. 36) и П. Бартенева (*РА*, 1911, т. 3, № 9, обл.), это была Д. Ф. Фикельмон, имя которой фигурирует и в черновых записях П. В. Анненкова (*Модзалевский*, с. 341).

[14] С известным русским египтологом И. А. Гульяновым Пушкин встречался в Москве в декабре 1831 г. у П. В. Нащокина (жившего в это время у Пречистенских ворот в доме Ильинской).

[15] О посещении Пушкиным гадалки Кирхгоф подробнее см. с. 10—11, 229—230 наст. изд.

[16] Рассказ Нащокина о подаренном им Пушкину кольце с бирюзой в другой редакции был напечатан П. Бартеневым в сборнике «Девятнадцатый век» (т. 1, с. 393) (ср. с воспоминаниями В. А. Нащокиной, с. 243 наст. изд.). Кольцо это не сохранилось. Перстень с сердоликом — знаменитый «талисман», подаренный Пушкину Е. К. Воронцовой. Владельцем перстня после смерти Пушкина был В. А. Жуковский, затем его

сын П. В. Жуковский, подаривший «талисман» И. С. Тургеневу. После смерти Тургенева П. Виардо подарила перстень музею Александровского лицея, откуда он был украден в марте 1917 г. (подробнее см.: Февчук Л. П. Цит. изд., с. 77—79).

[17] «Дело о Гавриилиаде» возникло в мае 1828 г. по доносу дворовых штабс-капитана В. Ф. Митькова, передавших петербургскому митрополиту список пушкинской поэмы. В начале августа 1828 г. Пушкин дал первые показания, в которых полностью отрицал свое авторство. Дело было прекращено по личному приказу Николая I лишь после того, как в записке к царю (несохранившейся) Пушкин признался в своем авторстве.

[18] Об отношении Пушкина к своему «камер-юнкерству» см. «Дневник 1833—1835» (*XII*, 318); «Дневники» А. Вульфа (т. 1, с. 455 наст. изд.). Камер-юнкерский мундир у Пушкина был: на это указывают Соболевский и Н. М. Смирнов (см. с. 281—282 наст. изд.).

[19] В члены Российской Академии Пушкин был избран 3 декабря 1832 г. Перо Гете, подаренное им Пушкину (по-видимому, через В. А. Жуковского), не сохранилось (см.: Февчук Л. П. Цит. изд., с. 76).

[20] Гоголь не входил в число наиболее близких друзей поэта, но был связан с ним теснейшими литературными отношениями. Сюжет двух наиболее значительных произведений Гоголя — «Ревизора» и «Мертвых душ» — был подсказан ему Пушкиным. На это указывает и сам Гоголь (см. с. 308 наст. изд.).

[21] В «Северных цветах на 1830 год» появилось стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...». Е. М. Хитрово указала на него митрополиту Филарету, ответившему Пушкину стихами «Не напрасно, не случайно», которые дошли до поэта, вероятно, через посредство той же Хитрово. В свою очередь, поэт ответил митрополиту стансами «В часы забав иль праздной скуки...» (1830).

[22] Имеется в виду рассказ о поведении Державина в Саратове в VIII главе первого тома «Истории Пугачева» (*IX*, 71—72).

В. А. НАЩОКИНА

Вера Александровна Нащокина (1811 (?)—1900) — жена П. В. Нащокина, была внебрачной дочерью его троюродного брата А. П. Нащокина (тайного советника и камергера) и крепостной крестьянки. По сообщению ее внучки Веры Андреевны Нащокиной, «она родилась в имении Рай-Семеновское, на реке Наре, и потому получила она и ее два брата, Федор и Лев, фамилию Нарских, по названию реки». (Подробнее данные о происхождении Нащокиной см.: Раевский Н. А. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин, Л., 1976, с. 51—54). С Пушкиным Веру Александров-

ну познакомил в ноябре 1833 года ее жених П. В. Нащокин. Став женою Нащокина в январе 1834 года, Вера Александровна оказалась в числе ближайших друзей поэта. Еще в начале 50-х годов В. А. Нащокина вместе с П. В. Нащокиным рассказывала о Пушкине П. И. Бартеневу (подробнее об этом см. с. 478 наст. изд.), в ряде случаев удачно дополняя рассказы мужа яркими подробностями и деталями, вносящими новые штрихи в облик поэта. Воспоминания о встречах с Пушкиным составляют наиболее ценную часть и поздних рассказов В. А. Нащокиной, записанных И. Родионовым почти пятьдесят лет спустя после Бартенева и опубликованных на страницах «Нового времени». К этому времени В. А. Нащокина, всеми забытая и обедневшая, жила с семьей своего сына в селе Всехсвятском под Москвой. О ней — единственной из оставшихся в живых современниц поэта — вспомнили в связи с приближающимся 100-летним юбилеем со дня его рождения. Живые и увлекательные по форме изложения, эти рассказы (в записи И. Родионова) в своей основе совпадают с записями Бартенева, однако имеют более развернутый характер, излагая историю знакомства мемуаристки с поэтом. Мелкие неточности и ошибки легко корректируются сохранившимися письмами Пушкина и Нащокина и другими документами.

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ

(Стр. 236)

Новое время, 1898, № 8115, 8122, 8129 (иллюстр. приложение к газете).

[1] Отцом мемуаристки был А. П. Нащокин (см. с. 481 наст. изд.). Нащокина не хотела касаться вопроса своего происхождения.

[2] Пушкин приехал в Москву 2 мая 1836 г., о чем сообщал жене в письме от 4 мая: «Я остановился у Нащокина 〈...〉 Жена его очень мила. Он счастлив и потолстел» (*XVI*, 110).

[3] О ссоре с Соллогубом см. с. 349—352 наст. изд.

[4] Ср. с записью Бартенева, с. 235 наст. изд.

[5] О «суеверии» Пушкина см. «Таинственные приметы в жизни Пушкина» С. А. Соболевского (с. 10 наст. изд.). Эпизод со сломанной статуей мемуаристка передает неточно, с чужих слов; см. об этом «Мое знакомство с русскими поэтами» А. Н. Муравьева (с. 55 наст. изд.).

[6] Ошибка Нащокиной, исправленная ею же в беседе с Н. Ежовым (Новое время, 1899, № 8343).

[7] *«Русалка»* — незаконченная драма Пушкина; создавалась в 1829—1832 гг. Была опубликована уже после его смерти (*Совр.*, 1837, т. IV, с. 1—32).

[8] Поездка Пушкина в Петербург вместе с «Леленькой» (Нарским

Л. А., братом мемуаристки) состоялось в ноябре 1833 г. (см.: *XV*, 96; Раевский Н. А. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин, с. 149—156); Белянчиков Н. Литературная загадка. — Вопросы литературы, 1965, № 2, с. 255). О камердинере Гавриле писал Пушкин в письме к Нащокину (*XV*, 96).

[9] О бирюзовом кольце см. примеч. 16 к рассказам Нащокина (с. 230 наст. изд.).

[10] Ошибка в хронологии: эпизод этот происходил в ноябре 1833 г., о чем Пушкин сообщал Нащокину: «Дома нашел я все в порядке. Жена была на бале, я за нею поехал — и увез к себе, как улан уездную барышню с именин городничихи» (*XV*, 96).

[11] Нащокин писал Соболевскому 22 июля 1837 г.: «Смерть Пушкина для меня уморила всех, я всех забыл: и тебя, и мои дела, и все. 〈...〉 По смерти его я сам растерялся, упал духом, расслаб телом. Я все время болен» (*КА*, 1928, т. XXIX, с. 221).

[12] См. об этом с. 479 наст. изд.

[13] Н. Н. Пушкина вышла замуж за П. П. Ланского 18 июля 1844 г.

Т. Д. ДЕМЬЯНОВА

Татьяна Дмитриевна Демьянова (1810—1877) — знаменитая в Москве в 1820—1830-х годах цыганская певица, пением которой восхищался Пушкин. Рассказ цыганки Тани о знакомстве с Пушкиным, относящемся к концу 1820-х — началу 1830-х годов, сохранился в записи писателя Б. М. Маркевича, посетившего Демьянову незадолго до ее смерти. (Впервые: *СПб. вед.*, 1875, 15 мая. Перепечатано в кн.: Полное собрание сочинений Б. М. Маркевича, т. XI. СПб., 1885, с. 132—134). Рассказ этот вошел также в издание: Письма женщин к Пушкину. Ред. Леонида Гроссмана. М., Совр. проблемы, 1928, с. 196—208.

О ПУШКИНЕ И ЯЗЫКОВЕ

(Стр. 248)

Полное собрание сочинений Б. М. Маркевича, т. XI. СПб., 1885, с. 132—134.

[1] Ошибка в отчестве Нащокина, которого звали Павел Воинович.

[2] О репертуаре знаменитого в Москве цыганского хора см.: *Письма*, III, с. 139—140.

[3] Подробнее о Нащокине и цыганке Ольге Андреевне см. *П. в восп., 1974*, с. 499. О посещениях Пушкиным Нащокиных см. там же.

[4] События, о которых сообщает цыганка Таня, происходили в Москве (судя по переписке Пушкина) не в 1830, а в 1831 г.

[5] Народная песня, которую пела Таня Пушкину, была широко известна по печатным песенникам («Собрание разных песен» М. Д. Чулкова, ч. III, 1773, № 34, с. 27—28; «Русские песни» И. Прача, 1790, с. 157, и др.), однако она исполняла более полную редакцию, известную лишь в устной традиции.

И. А. ГОНЧАРОВ

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) — известный писатель, не был лично знаком с поэтом, но, подобно всей молодежи своего времени, страстно увлекался творчеством Пушкина. Воспоминания И. А. Гончарова относятся к юности писателя, когда он, будучи студентом Московского университета, стал свидетелем известного спора с Каченовским во время посещения поэтом лекции профессора И. И. Давыдова.

ИЗ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

(Стр. 253)

ВЕ, 1887, кн. 4, с. 502—503.

[1] Посещение Пушкиным лекции профессора Московского университета И. И. Давыдова состоялось 27 сентября 1832 г., о чем поэт сообщал жене из Москвы (*XV*, 33). Лекция была посвящена «Слову о полку Игореве», которым поэт издавна интересовался, намереваясь со временем издать его с критическими примечаниями в поэтическом переводе В. А. Жуковского (подробнее см.: *Рукою П.*, с. 147—149). Итогом углубленных занятий поэта над изучением знаменитого памятника древнерусской литературы была оставшаяся незаконченной статья «Песнь о полку Игореве» (*XII*, 147—152). О споре Пушкина с М. Т. Каченовским (давним противником поэта), оспаривавшим подлинность «Слова о полку Игореве», И. А. Гончаров рассказывал и А. Н. Майкову (см.: Сочинения А. Н. Майкова. Под ред. П. В. Быкова, т. IV, 1914, с. 92—93).

А. А. ФУКС

Александра Андреевна Фукс, урожденная Апехтина (ок. 1810—1853) — казанская поэтесса и писательница, приходившаяся родной племянницей известному поэту конца XVIII — начала XIX в. Г. П. Каме-

неву. Была замужем за профессором Казанского университета К. Ф. Фуксом (1776—1846), признанным знатоком местного края. Дом Фуксов в Казани был своеобразным центром местной культурной жизни, и, проезжая через Казань в сентябре 1833 г. (во время своей оренбургской поездки), Пушкин познакомился с будущей мемуаристкой и ее мужем. О подробностях пребывания поэта в Казани А. А. Фукс рассказала в письме к своей подруге, Е. Н. Мандрыке. Опубликовав это письмо на страницах «Казанских губернских ведомостей» (1844, № 2, 10 января), она, по существу, выступила с инициативой освещения в печати биографических известий о Пушкине. Достоверность сообщаемых ею известий находит подтверждение в письмах современников, в «Истории Пугачева» Пушкина, где упоминается К. Ф. Фукс (*IX*, 116), в других мемуарных источниках, а главное — подтверждается письмами поэта к Фукс, опубликованными ею в приложении к своей статье.

А. С. ПУШКИН В КАЗАНИ

(Стр. 255)

РС, 1899, т. 98, с. 258—262 (см. также «Письма женщин к Пушкину». М., 1928, с. 215—222).

[1] О поездке на Арское поле см. «Казанские записи» Пушкина, сделанные со слов очевидцев (*IX*, ч. 2, с. 494).

[2] По приезде в Казань Пушкин остановился в гостинице при Дворянском собрании в Петропавловском (теперь Рахматулина, 6) переулке (см. Егерев В. В. Дома, связанные с пребыванием А. С. Пушкина в Казани. Казань, 1956, с. 3). Э. П. Перцов, у которого Пушкин в этот день обедал, жил на Малой Проломной ул.

[3] Пушкин не мог не знать популярной в начале XIX в. баллады Каменева «Громвал», одной из первых русских баллад (1804). О намерении Пушкина написать биографию казанского поэта других документальных свидетельств не имеется (подробнее о Пушкине и Каменеве см.: Архангельский А. С. Пушкин в Казани. Казань, 1899).

[4] Об интересе Пушкина к магнетизму, в частности к известной магнетизерке поэтессе А. Турчаниновой, сообщает в своих «Записках» А. А. Кононов (*БЗ*, 1859, т. II, № 10, с. 305—306).

[5] Рассказ Пушкина о предсказании гадальщицы Кирхгоф в передаче Фукс — первый по времени появления в печати (см. подробнее «Таинственные приметы в жизни Пушкина» С. А. Соболевского, с. 10 наст. изд.). Упоминаемое Фукс произведение — ее очерк «Поездка из Казани в Чебоксары» (Казань, 1834), в котором действительно упомянут Пушкин, верящий в предсказания (с. 4). Книга эта была послана Пушкину и сохранилась в его библиотеке (*ПиС*, вып. IX—X, с. 111).

[6] А. Фукс имеет в виду свое стихотворение «На проезд А. С. Пушкина через Казань», посланное поэту 8 сентября, но доставленное с опозданием (поэт уже уехал из Казани). Стихи Фукс были напечатаны в «Заволжском муравье» (1834, ч. 1, № 1, с. 15—18) и посланы поэту вместе с письмом 20 января 1834 г. (*XV*, 104).

В. И. ДАЛЬ

Владимир Иванович Даль (1801—1872) — писатель, этнограф, автор «Толкового словаря русского языка», был человеком огромных и разносторонних знаний. Известность В. Далю-писателю доставили опыты создания сказок в народном русском духе, в которых он, по собственному признанию, «стремился познакомить земляков своих сколько-нибудь с народным языком и говором» (*РВ*, 1873, март, с. 296). На почве общего интереса к русскому фольклору и народному языку состоялось первое знакомство Даля с поэтом. В конце июля 1833 года Даль переехал в Оренбург, поступив на службу чиновником особых поручений при оренбургском генерал-губернаторе В. А. Перовском (друге В. А. Жуковского и хорошем знакомом Пушкина). Здесь он вновь встретился с Пушкиным, приехавшим собирать материалы к «Истории Пугачева». Общение было продолжено в Петербурге, куда Даль приехал в конце 1836 года в отпуск, пробыв здесь несколько месяцев. Находясь в Петербурге в трагические январские дни 1837 года, Даль узнал о дуэли Пушкина 28 января и тотчас приехал к умирающему поэту. Неотлучно находясь при нем до самой его смерти, Даль принимал активнейшее участие в его лечении. Свидетель последних дней и минут жизни Пушкина, врач, стремившийся облегчить страдания умирающего, Даль явился создателем ценнейшего мемуарного документа — записки «Смерть А. С. Пушкина». Написанная вскоре после кончины поэта, эта записка воссоздает картину предсмертной болезни Пушкина, излагает историю его лечения и, что особенно существенно, содержит медицинское заключение о характере ранения и причинах смерти Пушкина (по результатам произведенного вскрытия). Данные Даля были использованы В. А. Жуковским в его «Письме к С. Л. Пушкину» (см. с. 402 наст. изд.), а также Д. Н. Бантышом-Каменским, первым биографом поэта (см.: «Словарь достопамятных людей русской земли», ч. II. СПб., 1847). Эта записка была впервые опубликована значительно позднее в «Московской медицинской газете» (1860, № 49). Черновик записки был обнаружен и опубликован М. А. Цявловским в кн.: «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина» (Пг., 1924, с. 108—113). Около 1840 года Далем были написаны «Воспоминания о Пушкине», в основном посвященные встречам с поэтом в Оренбурге (1833). Рукопись этих мемуаров была впоследствии передана Далем П. В. Анненкову, собиравшему материалы для биографии Пушкина. Опубликовал «Воспоминания о

Пушкине» В. Даля Л. Майков (*РВ*, 1890, № 10, с. 3—20; перепечатано в кн.: Майков Л. Пушкин. СПб., 1899, с. 416—421). В 1859 году Даль переехал в Москву, где прожил до конца жизни. Здесь он встречался с П. И. Бартеневым, в январе 1860 года записавшим с его слов рассказ о Пушкине, в котором Даль сообщает о начале своего знакомства с поэтом, дополняя и расширяя материал своих «Воспоминаний о Пушкине». (См.: *Рассказы о П.*, с. 21—22.) Последними по времени создания явились «Записки о Пушкине», в которых, наряду с личным воспоминанием о Пушкине, Даль изложил известные ему со слов друзей поэта сведения о его дуэлях. «Записки» были переданы Далем Бартеневу, частично использовавшему их в статье «Пушкин в южной России» (*РА*, 1866, с. 1161—1162, 1166). Полностью они были опубликованы Н. О. Лернером (*PC*, 1907, № 10, с. 63—67). Рассеянные по разным изданиям мемуары Даля о Пушкине собраны С. Гессеном в книге: «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников» (Л., 1936).

ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

(Стр. 260)

Гессен, с. 506—511.

[1] Историческое исследование Пушкина, посвященное крестьянскому восстанию под предводительством Е. Пугачева (Пугача), было начато весной 1833 г.; к концу мая черновая рукопись «Истории Пугачева» была закончена, но Пушкин продолжал свою работу. Для собирания материалов он предпринял поездку в Оренбургскую губернию, выехав из Петербурга 18 августа и посетив по дороге места, охваченные пугачевским восстанием (Казань, Симбирск). 18 сентября 1833 г. Пушкин прибыл в Оренбург, откуда 20 сентября выехал в Уральск. На обратном пути поэт заехал в Болдино, где начал переработку «Истории Пугачева».

[2] К В. А. Перовскому пришло вскоре отношение нижегородского губернатора Бутурлина от 9 октября 1833 г. об учреждении над Пушкиным секретного полицейского надзора. Перовский распорядился отвечать, что «сие отношение получено через месяц по отбытии господина Пушкина отсюда, ⟨...⟩ хотя во время кратковременного его в Оренбурге пребывания и не было за ним полицейского надзора, но как останавливался он в моем доме, то я лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий» (*PC*, 1883, № 1, с. 78; ср. публикацию В. И. Нейштадта в журнале «Зодчий» — 1935, № 10, с. 67).

[3] Бердская станица, расположенная на реке Сакмаре (в 7-ми километрах от Оренбурга), была в течение полугода местом ставки Пугачева. Материал, собранный Пушкиным в Бердах (в частности, его беседа с

75-летней казачкой Бунтовой), был использован в третьей главе «Истории Пугачева». Подробнее см.: Иванов Н. Пушкин в Бердах.— Труды Оренбургской ученой архивной комиссии, вып. VI, 1900, с. 220—232.

[4] Рассказ Даля о беседе Пушкина со старой казачкой подтверждается и другими очевидцами. С. Н. Севастьянов записал воспоминания А. Т. Блиновой, сообщившей следующее: «В каком году приезжал Пушкин, я не помню, знаю только, что день выдался теплый и ясный. Двое каких-то господ, одетых в штатское платье, шли по улице ⟨...⟩, а у дома ⟨...⟩ сидела наша бердская казачка Бунтова, имени и отчества не упомню. Я была тут же около старушки Бунтовой, которой было лет за шестьдесят и которая оставалась на дому нянчить детей. Штатские подошли к старушке, и, вероятно, увидав, что она очень древняя, один из них, курчавый, спросил Бунтову, не знает ли она что-либо про Пугачева? Старушка ответила, что все знает про Пугачева и даже песню, что про него сложена. Господа попросили ее спеть. Бунтова спела им одну песню» (Труды Оренбургской ученой архивной комиссии, вып. VI, 1900, с. 233).

[5] Бунтова позднее рассказывала: «Только он со двора, бабы все так на меня и накинулись. Кто говорит, что его подослали, что меня в тюрьму засадят за мою болтовню; кто говорит: «Антихриста видела, ногти-то у него какие. Да и в Писании сказано, что антихрист будет любить старух, заставлять их песни петь и деньгами станет дарить». Слегла я со страху, велела телегу заложить, везти меня в Оренбург к начальству. Так и говорю: «Смилуйтесь, защитите, коли я чего наплела на свою голову; захворала я с думы». Те смеются. «Не бойся,— говорят,— это ему сам государь позволил о Пугачеве везде расспрашивать» (*РА*, 1902, кн. 8, с. 660).

[6] Над «Историей Петра» Пушкин начал работать с января 1835 г. Подробнее см.: Фейнберг Илья. Незавершенные работы Пушкина, изд. 4-е. М., 1964.

[7] О судьбе изумрудного перстня Пушкина, который в настоящее время хранится во Всесоюзном музее А. С. Пушкина, см. подробнее: Февчук Л. П. Личные вещи Пушкина, 1970, с. 39—40. О сюртуке Пушкина Бартенев со слов Даля писал: «За несколько дней до своей кончины Пушкин пришел к Далю и, указывая на свой только что сшитый сюртук, сказал: «Эту *выползину* я теперь не скоро сброшу». Выползиною называется кожа, которую меняют на себе змеи, и Пушкин хотел сказать, что этого сюртука надолго ему станет. Он действительно не снял этого сюртука, а его спороли с него 27 января 1837 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны» (*РА*, 1872, № 10, с. 2026). Сюртук этот не сохранился (Февчук. Цит. изд., с. 52).

[8] О несостоявшейся поездке Пушкина в Петербург из Михайловского в декабре 1825 г. см. примеч. к воспоминаниям М. И. Осиповой (т. 1, с. 538 наст. изд.).

ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ

(Стр. 264)

Гессен, с. 512—515.

[1] История дуэли Пушкина с полковником С. Н. Старовым (у Даля — ошибка в фамилии) рассказана неточно; неверен и текст пушкинского экспромта. См. более точные сведения у В. П. Горчакова (т. 1, с. 281—284 наст. изд.) и Липранди (т. 1, с. 334—337 наст. изд.).

[2] Пушкин в письме к В. А. Перовскому просил (весною 1835 г.) передать три экземпляра «Истории Пугачевского бунта» «Далю, Покотилову и тому охотнику, что вальдшнепов сравнивает с Валленштейном или с Кесарем» (*XVI*, 22).

СМЕРТЬ А. С. ПУШКИНА

(Стр. 267)

Гессен, с. 515—520.

[1] Анализ характера ранения Пушкина и его лечения Арендтом, Спасским и Далем см. в след. работах: Юдин С. С. Ранение и смерть Пушкина.— Правда, 1937, 8 февраля; Бурденко Н. Н. и Арендт А. А. Рана Пушкина.— Известия ЦИК СССР, 1937, 5 февраля. К обсуждению вопроса, была ли рана Пушкина смертельной, возвращается в своей книге «Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия» Ш. И. Удерман (Л., Медицина, 1970, с. 197—250). См. также новейшую работу: Шубин Б. М. История одной болезни. М., 1983, с. 97—109.

Н. М. СМИРНОВ

Николай Михайлович Смирнов (1807—1871) — муж А. О. Смирновой-Россет, камер-юнкер, с марта 1835 года по сентябрь 1837 года чиновник при русской миссии в Берлине, впоследствии калужский, затем петербургский губернатор и сенатор. В 1834 году в своих «Записках» Смирнов нарисовал психологический портрет Пушкина и осветил некоторые факты его биографии (Богаевская К. П. Из записок Н. М. Смирнова.— *Врем. ПК*. 1967—1968. Л., Наука, 1970, с. 4—13). Ему удалось создать живой облик поэта, он понял благородство его натуры. В то же время собственные убеждения верноподданного монархиста он переносит на Пушкина — отсюда его умиление по поводу справедливости Николая I как цензора поэта. На основании записок 1834 года позднее, в 1842 году, Смирновым были подготовлены более развернутые воспоминания о Пушкине «Из памятных записок» (*РА*, 1882, кн. 1). Здесь значительное внимание уделено последним месяцам жизни и дуэли Пушкина. Смирнов

не был очевидцем событий (с лета 1836 г. он жил с больной женой в Бадене и Париже), но сведения о том, что происходило в Петербурге, он получал из первых рук — от Карамзиных (через Андрея Карамзина, который был за границей и часто общался со Смирновым) и от братьев Александры Осиповны — Аркадия и Клементия Россетов. Несомненно, что в сентябре 1837 года, когда Смирновы вернулись в Петербург, дуэльные события еще были свежи в памяти друзей поэта и часто обсуждались ими. Многие факты, рассказанные Смирновым в «Памятных записках», шли от Аркадия Россета, поэтому их воспоминания часто совпадают, при этом память Смирнова удержала больше драгоценных для нас подробностей жизни поэта и обстоятельств, связанных с его смертью. (Подробнее о Смирнове и Пушкине см.: *Письма*, IV, с. 465; *П. в восп. 1974*, т. 2, с. 546—547.)

ИЗ «ПАМЯТНЫХ ЗАПИСОК»

(Стр. 272)

РА, 1882, кн. 1, с. 227—239.

[1] Желание написать историю Петра I возникло у Пушкина еще в 1827 г. (см. рассказы А. Н. Вульфа, т. 1, с. 449 наст. изд.), однако только после зачисления поэта на службу 14 ноября 1831 г. ему был разрешен доступ в государственные архивы, позволивший серьезно заняться работой (см.: Дела III Отделения... СПб., 1906, с. 120).

[2] Об опасениях Пушкина, что его могут привлечь к следствию за связи с декабристами, см.: Левкович Я. Л. Когда Пушкин уничтожил свои записки.— В кн.: *Врем. ПК*, 1979. Л., 1982, с. 102—106.

[3] Об этом свидании с Николаем I пишет М. Корф (см.: *П. в восп., 1974*, с. 122).

[4] Смирнов идеализирует отношение к Пушкину царя. Через цензуру Николая I, которую часто подменяло III Отделение, должны были проходить все, даже мелкие произведения поэта. Эта тягостная опека раздражала Пушкина, лишала его возможности объяснений с цензором и, грозя постоянной задержкой, затрудняла журнальные публикации и журналистскую деятельность (см. об этом в письме Жуковского к Бенкендорфу, с. 412—413 наст. изд.). Подробно об отношениях Пушкина с цензурой после 1826 г. см.: Вацуро В. Э. и Гиллельсон М. И. Сквозь умственные плотины... М., Книга, 1972, с. 164—192.

[5] Такой эпизод в биографии Пушкина неизвестен.

[6] Дантес вынужден был покинуть Францию после Июльской революции и участия в заговоре герцогини Беррийской. Приехал в Россию в октябре 1833 г., чтобы сделать карьеру, с рекомендательным письмом на имя генерал-майора В. Ф. Адлерберга от шурина Николая I принца Вильгельма Прусского. На льготных условиях был допущен к офицерскому

экзамену и принят в привилегированный кавалергардский полк корнетом (*Щеголев*, с. 16—27). По этому поводу Пушкин записал в дневнике: «Барон д'Антес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет» (*XII*, 319). Название «шуаны», подсказанное, по-видимому, одноименным романом Бальзака, определяло политическое лицо Дантеса как крайнего легитимиста. Начало службы в кавалергардском полку с офицерского звания было явлением исключительным.

[7] *NN* — Д. Л. Нарышкин, именем которого был подписан диплом, муж долголетней любовницы Александра I М. А. Нарышкиной. Это дало основание Б. В. Казанскому («Гибель Пушкина».— Звезда, 1928, № 1), а затем Щеголеву (*Щеголев*, с. 442, 455—456, 474) предположить, что диплом намекал на близость Николая I к Н. Н. Пушкиной.

[8] Товарищ Дантеса по полку А. В. Трубецкой в своих воспоминаниях писал о противоестественных отношениях между Геккерном и его приемным сыном (см. его «Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу».— *Щеголев*, с. 420—421). См. также: *Модзалевский*, с. 341.

[9] *Последствия* — высылка Геккерна из Петербурга. По-видимому, Пушкин убедил Николая I в причастности Геккерна к составлению пасквиля. В то же время письма Вильгельма Оранского к Николаю I показывают, что у Николая были и личные мотивы для неудовольствия голландским посланником (см.: Эйдельман Н. Я. О гибели Пушкина.— Нов. мир, 1972, № 3, с. 206—211).

[10] Смирнов путает события. Он не знает о первом вызове (4 ноября), который Пушкин послал Дантесу сразу после получения пасквиля. Участники переговоров о примирении старались сохранять их в тайне (см. письмо Жуковского: *XVI*, 185). В. А. Соллогуб, как секундант, начал действовать 17 ноября, когда Пушкин подтвердил свой вызов. Соответственно к 17 ноября относит Смирнов и письмо с предложением Е. Н. Гончаровой.

[11] Смирнов ошибается. Балы у Салтыковых были по вторникам (*РА*, 1878, № 4, с. 458), а во вторник утром (26-го) Пушкин уже отправил оскорбительное письмо Геккерну (вызова Дантесу он не посылал), в ответ на которое ему был направлен картель (обоснование датировки письма Пушкина 26-м января см.: *Письма*, IV, с. 354—357). Угрозы Пушкина оскорбить Геккерна публично вызваны опасением, что тот снова прибегнет к переговорам и станет оттягивать поединок.

[12] Описание дуэли Смирнов передает неточно. Ср. в воспоминаниях Данзаса, с. 373 наст. изд.

[13] Отпевание Пушкина было назначено на 1 февраля не в Александро-Невской лавре, а в Исаакиевском соборе, временно помещавшемся тогда в церкви Адмиралтейства (теперешний Исаакиевский собор еще только строился). Однако III Отделение, стараясь затруднить общественное поклонение поэту, распорядилось переменить место отпевания

и перенести тело ночью, тайком, в маленькую Конюшенную церковь (см. об этом в письме Жуковского к Бенкендорфу, с. 420 наст. изд.); с той же целью на 2 февраля, то есть на следующий день после отпевания, неожиданно был назначен военный парад, войска расположились так, что все подступы к Конюшенной церкви были закрыты, а Конюшенная улица занята гвардейскими обозами (см.: *Яшин*, с. 185—188).

[14] Об этом же писал А. И. Тургенев брату Николаю 31 января 1837 г.: «Публика ожесточена против Геккерна, и опасаются, что выбьют у него окна» (*ПиС*, вып. VI, с. 62).

[15] Эти сведения не точны. В действительности на отпевании отсутствовали: английской посол Дерхем и греческий посланник кн. Суццо — по болезни, Геккерн и прусский посол Либерман, отклонивший приглашение «вследствие того, что ему сказали, что названный писатель ⟨Пушкин⟩ подозревался в либерализме в юности» (*Щеголев*, с. 398).

[16] Дантес в дальнейшем принимал деятельное участие в политической жизни Франции и был назначен в сенат, где занимал крайнюю правую позицию. Геккерн действительно несколько лет был не у дел, а с 1842 по 1875 г. занимал пост голландского посла в Вене.

[17] Женщина «умная, но странная» — Е. М. Хитрово.

[18] Смирнов имеет в виду указ, разрешающий только статским советникам быть камергерами. Однако этот указ вышел лишь в июне 1836 г., а в 1834 г., когда Пушкин был пожалован в камер-юнкеры, такого указа не существовало.

А. В. НИКИТЕНКО

Александр Васильевич Никитенко (1805—1877) — литератор, критик, позднее профессор Петербургского университета, с 1834 года был цензором Петербургского цензурного комитета. Образованный и либерально настроенный и в то же время осторожный чиновник, Никитенко во многом вынужденно был проводником жесткой уваровской цензурной политики. Исключения в «Анджело», «Сказке о золотом петушке» и др. вызвали раздражение Пушкина, не вполне справедливо возлагавшего вину за них на него одного (см. *XII*, 337; *Письма*, IV, с. 104, 273—274). Отношение его к личности Пушкина сдержанно-неблагожелательное; и по своему происхождению (крепостной, с трудом добившийся вольной), и по общественному положению и связям (он принят домашним образом у М. А. Дондукова-Корсакова), и даже по литературным симпатиям он тяготеет к формирующейся разночинной интеллигенции (Кукольник, Полевой); Пушкина же он причисляет к аристократическим кругам и охотно повторяет ходячие слухи о его корыстолюбии, эгоизме и т. д. Вместе с тем, прекрасно осведомленный в делах цензурной политики, он сообщает ценнейшие сведения о цензурном режиме «Современника»,

а после смерти Пушкина пытается в своих лекциях с либеральных позиций осмыслить роль и общественное значение его творчества.

Впервые: *РС*, 1889—1892; с небольшими изменениями в отд. изд.: Никитенко А. В. Записки и дневник, т. I—III. СПб., 1893. Автографы не сохранились; текст отредактирован дочерью автора С. А. Никитенко (возможно, ее вмешательством объясняются и некоторые хронологические несообразности).

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 283)

Никитенко А. В. Дневник. В 3-х томах. Подготовка текста, вступ. статья и примеч. И. Я. Айзенштока. Гослитиздат, 1955; т. I, с. 139, 140, 141—142, 145, 178, 179, 180, 182, 193, 194, 195—197; т. II, с. 523.

[1] Речь идет об организации «Энциклопедического лексикона» Плюшара (1835—1841, вышло 17 томов), под редакцией Н. И. Греча. Пушкин, В. Ф. Одоевский, Вяземский рассматривали это предприятие как чисто коммерческое, носящее рекламный («шарлатанский») характер (см. *XII*, 321—322, 323; *Письма*, IV, с. 29, 113). Слова Пушкина приведены не вполне точно. Ср. также: Греч Н. И. Записки о моей жизни. Л., 1930, с. 597. Из числа «издателей» Пушкин и Одоевский были исключены.

[2] Поэма «Анджело», предназначенная для альманаха Смирдина «Новоселье», проходила цензурование в составе альманаха. В письме Бенкендорфу от 6 декабря 1833 г. Пушкин просил, чтобы его произведения, назначаемые в журналы, для сокращения времени проходили не «высочайшую», а общую цензуру (*XV*, 98, 270). Это послужило Уварову одним из оснований, чтобы подчинить Пушкина общей цензуре полностью (см.: Вацуро В. Э. и Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972, с. 164 и след.).

[3] Никитенко цитирует по памяти (не вполне точно) свое письмо к Пушкину от 9 апреля (*XV*, 125).

[4] «На выздоровление Лукулла» напечатано в *МН* (1835, сентябрь, кн. 2, с. 191—193) (журнал выходил с большим запозданием). По свидетельствам современников, Уваров жаловался Бенкендорфу на Пушкина; Пушкин был вынужден давать объяснения. См.: *Письма*, IV, с. 287—289.

[5] «Современник» был разрешен Николаем I к 10 января; 19 января А. Л. Крылов был назначен цензором.

[6] Здесь хронологическая неточность: с 8 по 16 апреля Пушкина не было в Петербурге. П. И. Гаевский назначен вторым цензором около 10 апреля. Сведений о цензуровании Гаевским «Современника» нет.

[7] Речь идет о некрологической заметке, помещенной в *ЛПРИ* (1837, № 5, 30 января) и принадлежащей перу В. Ф. Одоевского (Заборо-

ва Р. Б. Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине.— *П. Иссл. и мат.*, I, с. 320; *Карамзины*, с. 176).

[8] Аналогичное письмо попечителю Московского учебного округа (и председателю Московского цензурного комитета) графу С. Г. Строганову было направлено Уваровым 1 февраля 1837 г. (*РС*, 1903, № 6, с. 646—647; Щукинский сб., вып. 1, с. 298; вып. 2, с. 305).

[9] Искаженная цитата из «Евгения Онегина» (гл. VI, строфа XXXII).

[10] См. об этом с. 230 и 481 наст. изд.

А. Я. ПАНАЕВА

Панаева Авдотья Яковлевна (1819—1893) — писательница, жена писателя И. И. Панаева. С середины 1840-х годов — гражданская жена Н. А. Некрасова. В 1848 году начала печататься в «Современнике» под псевдонимом Н. Станицкий. Ее «Воспоминания», написанные в конце 1880-х годов (напечатаны впервые: *ИВ*, 1889; отд. изд. 1890), являются ценным источником для изучения литературной атмосферы 1840—1860-х годов.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

(Стр. 289)

Панаева А. Я. (Головачева). Воспоминания. Вступ. статья, ред. текста и коммент. К. Чуковского. М., Гослитиздат, 1956, с. 216—217.

П. А. ПЛЕТНЕВ

Петр Александрович Плетнев (1792—1865) — поэт, критик, профессор (впоследствии ректор) Петербургского университета, с середины 1820-х годов доверенное лицо Пушкина во всех его издательских делах; в 1830-е годы — один из ближайших друзей поэта. В 1835—1836 годы общение их почти повседневно. Культ личности и творчества Пушкина Плетнев сохранил до конца жизни. Воспоминаний о Пушкине он не оставил (см. об этом во вступ. статье); его рассказы, широко использованные Анненковым, Бартеневым, Гаевским, Гротом, ценны деталями, рисующими бытовой облик Пушкина, его привычки, передачей его слов и т. п., но, сообщая о реалиях, поясняющих творчество, Плетнев часто ошибается, даже когда дело касается «Современника» и «Литературной газеты».

Первая из опубликованных здесь статей — биографический очерк, написанный Плетневым для «Современника» (1838); вторая — набросок.

не вошедший в печатный текст; он был опубликован по автографу Я. К. Гротом. Из обеих статей берутся фрагменты, носящие мемуарный характер.

Первая статья о Жуковском впервые была опубликована под заглавием «Чтение о В. А. Жуковском» в «Известиях II отделения Академии наук» (т. 1, 1852, с. 146—162; 194—206); вторая («О жизни и сочинениях В. А. Жуковского») — в «Живописном сборнике» (т. III, 1853, с. 355—397) и отдельно (СПб., 1853).

ИЗ СТАТЕЙ О ПУШКИНЕ

(Стр. 291)

Александр Сергеевич Пушкин.— *Совр.*, 1838, т. X, с. 23—24, 36—38, 48—49; Александр Пушкин.— Сочинения и переписка П. А. Плетнева, т. III, СПб., 1885, с. 242—243.

[1] Осиповы-Вульф. См. т. 1, с. 531—532 наст. изд.

[2] Об этой известной привычке Пушкина см. свод свидетельств: *Письма*, II, с. 257.

[3] См. т. 1, с. 463 наст. изд.

ИЗ СТАТЕЙ О ЖУКОВСКОМ

(Стр. 294)

Василий Андреевич Жуковский. 1852.— Сочинения и переписка П. А. Плетнева, т. 1. СПб., 1885, с. 29, 39.

О жизни и сочинениях В. А. Жуковского (1852).— Там же, с. 65, 97—98.

[1] См. вступ. статью.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С Я. К. ГРОТОМ

(Стр. 294)

ПГП, т. 1, с. 344—345; 495—496; т. 2, с. 221—222, 356, 464, 543, 548, 693, 731; т. 3, 159, 399—400.

[1] См. письмо Пушкина к Плетневу около 11 октября 1835 г., где идет речь об альманахе «Орион» («Арион»): «Я люблю имена, не имеющие смысла: шуточкам привязаться не к чему» (*Письма*, IV, с. 111, 278).

[2] По-видимому, Н. И. Тарасенко-Отрешков («Отрешко»), общавшийся с Пушкиным в 1832—1837 гг. и оставивший воспоминания о нем

(*ИВ*, 1886, № 2, с. 388—391; *РС*, 1908, № 2, с. 428—433); Отрешков был человеком сомнительной репутации как по деловым, так и по личным качествам. См.: Герштейн Э. Г. Лермонтов и петербургский «свет».— В кн.: Лермонтов М. Ю. Исследования и материалы. Л., 1979, с. 171—177.

[3] Речь идет о знаменитой импровизации Мицкевича 30 апреля 1828 г., о которой впоследствии вспоминал Вяземский. См.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 168—169 и т. 1 с. 133 наст. изд.

[4] См. «Домик в Коломне», строфа XXI. О том же сообщал Бартеневу П. В. Нащокин (*Рассказы о П.*, с. 29, 81). Пушкин видел Стройновскую в церкви Покрова в Коломне в 1817—1820 гг.

[5] См. наст. изд., с. 393—406, 517.

[6] Ср. защиту Пушкиным «коренного, чисто русского выражения» «она брюхата» в разговоре с Е. А. Карамзиной на даче Плетнева (Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. 1. М., 1892, с. 362.).

Н. А. ДУРОВА

Надежда Андреевна Дурова (1783—1866) — женщина-воин, известная своей необычайной для женщины биографией: бежав из родительского дома под видом мужчины, она проделала походы 1807 года и 1811—1812 годов, участвовала в Бородинском сражении, была ранена, получила Георгиевский крест и разрешение Александра I на продолжение службы (под фамилией Александров). В 1817 году вышла в отставку в чине штаб-ротмистра и жила в Сарапуле, изредка выезжая в столицу; она сохранила платье, привычки, манеру поведения мужчины. Свою биографию она изложила в «Записках», принесших ей славу одаренного литератора; в попытках издать их она обратилась к Пушкину, который взялся содействовать ей и напечатал в «Современнике» главу из «Записок», которые оценил очень высоко.

Рассказ о своем приезде в Петербург для издания «Записок», историю знакомства и недолгого общения с Пушкиным Дурова изложила в мемуарной повести «Год жизни в Петербурге...» (1838), вышедшей вскоре после смерти Пушкина и при жизни других описанных в ней лиц. Это входило в прямое задание Дуровой: ее повесть памфлетна и обращена к реальным лицам — ее персонажам (см. ее «Автобиографию», 1861). Конфликт развертывается между наивным провинциалом, принимающим видимость отношений за их сущность, и равнодушным столичным обществом, живущим единственно по законам этикета (все это символизируется лейтмотивом-ситуацией: интерес и радушие к гостю при первом знакомстве сменяется полным равнодушием при «третьем посещении»). Художественная концепция заставляет Дурову во многом изменять подлинную картину, смещать факты и т. д.,— нечто подобное делала она и в «Записках», претендовавших на фактическую строгость. Концепция

эта наложила известный отпечаток и на фигуру Пушкина, чья готовность помочь Дуровой наталкивается на неодолимые препятствия, которым Пушкин уступает; впрочем, эпизоды с Пушкиным выдержаны в мягких, благожелательных тонах и содержат весьма любопытные бытовые детали.

Хронология событий подчинена стремительно развивающемуся сюжету; сами события сконцентрированы и освобождены от побочных деталей, фигура рассказчицы несколько идеализирована. В целом «Год жизни в Петербурге...» не столько мемуары, сколько повесть с реальными персонажами и очень живым изображением быта.

ИЗ ПОВЕСТИ «ГОД ЖИЗНИ В ПЕТЕРБУРГЕ...»

(Стр. 298)

Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения. Сочинение Александрова. СПб., 1838, с. 2—6, 27—34, 40—44, 46—49.

[1] История печатания записок рассказана Дуровой неточно — явно в литературных целях. 4 апреля 1835 г. она послала рукопись для издания Н. Р. Мамышеву в Гатчину, и лишь в июне начались переговоры с Пушкиным. Только в марте — апреле 1836 г. Пушкин сообщил о своем намерении печатать записки в «Современнике». С текстом записок Пушкин ознакомился к 27 марта 1836 г. Письма, цитируемые Дуровой здесь и далее,— не подлинные документы, а свободное изложение последующей переписки. См. подробнее: *П. в восп., 1974*, т. 2, с. 467; *Переписка П.*, т. II, с. 490—505.

[2] Письмо не сохранилось.

[3] В опущенном нами фрагменте повести рассказано об обстоятельствах приезда Дуровой в Петербург; она сняла номер в гостинице Демута.

[4] Пушкин печатал в «Современнике» (1836, т. II, с. 53—132, вышел 3 июля) отрывок из записок с гонораром по 200 рублей за лист (*XVI*, 99).

[5] Хронологические указания Дуровой здесь противоречат известным данным (так, записка к ней Пушкина с приглашением переехать к нему написана не 30 мая, а около 10 июня; визит Пушкина был 7 июня и т. д.) (*XVI*, 125).

[6] Уведомление Дуровой Пушкина об инциденте с управляющим домом неизвестно, как и благодарность за отзыв; просьба об исправлениях (с совершенно иным текстом) — в письме 24 июня (*XVI*, 128).

[7] О позднем обеденном времени у Пушкина (шесть часов) упоминает и А. П. Керн (*ПиС*, вып. V, с. 151).

[8] *Три дамы* — А. Н. и Е. Н. Гончаровы и, возможно, О. С. Пушкина (Павлищева). Роды Н. Н. Пушкиной произошли 22 мая; однако еще в конце июня она избегала показываться гостям (*ЛН*, т. 16-18, с. 808).

[9] Сыновья Пушкина Александр и Григорий, новорожденная дочь Наталья и четырехлетняя Мария, о которой далее идет речь.

[10] Пушкин был занят срочными издательскими делами и хозяйственными заботами по имению; 13 июля он писал Н. И. Павлищеву в тех же выражениях: «Здесь у меня голова кругом идет, думаю приехать в Михайловское, как скоро немножко устрою свои дела» (*XVI*, 139).

[11] Переписка Пушкина и Дуровой дает ряд существенных деталей, несколько меняющих картину. Уже 24 июня она просит вернуть записки, чтобы действовать самостоятельно; Пушкин ответил очень лояльным и доброжелательным письмом 25 июня (его Дурова перефразировала в тексте). Издание записок Дурова поручила своему родственнику И. Г. Бутовскому; они вышли к концу 1836 г. (Кавалерист-девица. Происшествие в России. Ч. 1—2. Издал Иван Бутовский. СПб., 1836). В своей «Автобиографии» 1861 г. Дурова излагает весь эпизод несколько иначе и точнее (Дурова Надежда. Записки кавалерист-девицы. Татарское кн. изд-во, 1966, с. 191).

Н. В. ГОГОЛЬ

Личные и творческие связи Гоголя с Пушкиным составляют одну из важных проблем истории русской литературы и далеко не во всем ясны. Период их общения — с 20 мая 1831 по июнь 1836 года, в особенности лето 1831 г., когда они часто видятся в Царском Селе, и 1836 год, когда Гоголь становится одним из активных сотрудников «Современника». Пушкин высоко ценил талант Гоголя; он слышал до печати ряд его произведений («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), поместил в «Современнике» «Нос», «Коляску» и др. и несколько рецензий и откликов (свой — на «Вечера на хуторе...», статью Вяземского о «Ревизоре» и т. д.). В «Современнике» же была помещена и статья Гоголя «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году», однако Пушкин далеко не во всем был согласен с нею и сделал необходимые оговорки в печати (см. ниже). Уже в «Арабесках» Гоголь говорит о Пушкине как о великом национальном поэте («Несколько слов о Пушкине»). В «Выбранных местах из переписки с друзьями» (СПб., 1847; автограф — *ГБЛ*) он обращается к собственным воспоминаниям о поэте, которые приводит к случаю, сообщая отдельные слова и эпизоды; те из них, которые поддаются датировке, относятся к 1836 году. По функции своей они являются частью общей идейной структуры книги; Пушкин как бы поддерживает своим авторитетом и утопическую социальную критику Гоголем современного русского общества, и его консервативно-патриархальную социальную программу, вызвавшую знаменитое письмо Белинского. Наиболее существенны — свидетельства Гоголя о получении от Пушкина сюжетов «Мертвых душ» и «Ревизора»; однако конкретные обстоятельства этой «передачи» в литературе не выяснены до конца. Поскольку мемуарные фрагменты в книге

Гоголя не являются воспоминаниями в точном смысле слова, они не дают полной картины отношений его с Пушкиным и не ставят себе такой цели и должны рассматриваться как ряд разрозненных свидетельств, несущих на себе печать общей концепции книги (см. вступ. статью).

ИЗ СТАТЬИ «О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ СЛОВО»

(Стр. 304)

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII. М., Изд-во АН СССР, 1952, с. 229 («Выбранные места из переписки с друзьями». Статья 1844 г.).

[1] Цитируются строки из оды Державина «Храповицкому» (1797). Отзыв Пушкина подвергся дальнейшей интерпретации у Розена (см. с. 320 наст. изд.), у Жуковского («О поэте и современном его значении», 1848 — см.: Жуковский В. А. Полн. собр. соч., т. 3. Пг., 1918, с. 225—233; написано первоначально как ответ на письмо Гоголя от 10 января 1848 г. (29 декабря 1847 г.) — см.: *Гоголь*, т. XIV, с. 33), у Плетнева (знакомого в рукописи как с книгой Гоголя, так и со статьей Жуковского — см. письмо его Жуковскому 1 (13) октября 1851 г.— Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. 3. СПб., 1885, с. 703; см. также с. 294 наст. изд.), у Вяземского. Последний предполагал, что слова Пушкина относились к стихотворению Державина в целом и были возражением на его попытку оправдать конформизм в поэзии своей неподкупностью как чиновника (письмо Плетневу 1 декабря (19 ноября) 1852 г.— Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. 3, с. 408); впрочем, впоследствии Вяземский сам привел формулу Пушкина без всяких комментариев (Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. 1. СПб., 1878, с. 324). Трактовка Вяземского наиболее вероятна; в последние годы Пушкина особенно занимала проблема личного и общественного поведения писателя; в разговорах с Нащокиным он противопоставлял, в частности, Державина-поэта Державину-человеку (см. с. 235 наст. изд., *Рассказы о П.*, с. 48). См. подробнее: *П. в восп., 1974*, т. 1, с. 35—36; т. 2, с. 471.

ИЗ СТАТЬИ «О ЛИРИЗМЕ НАШИХ ПОЭТОВ»

(Стр. 304)

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 252—254 («Выбранные места из переписки с друзьями». Статья 1846 г.).

[1] О консервативной легенде о Пушкине, выразившейся в этом отрывке, см. вступ. статью. Идея монарха как проводника закона, восходящая к просветительским представлениям XVIII в., была поставлена Пушкиным еще в «Вольности» и в разных модификациях прослеживается

в позднем пушкинском творчестве (в «Анджело», в программных стихах, призывающих к милосердию в отношении осужденных декабристов, в «Капитанской дочке» и пр.). Неприязнь Пушкина к демократии североамериканского типа нашла отражение в «Джоне Теннере» (см.: Алексеев М. П. К статье Пушкина «Джон Теннер».— *Врем. ПК*, 1966, с. 50—56). Ср. близкое суждение Пушкина, приведенное В. Н. Анненковой (Андроников И. Исследования и находки. М., 1964, с. 175). Толкование стихотворения «С Гомером долго ты беседовал один...», обращенного к Гнедичу (в посмертном собрании сочинений ошибочно озаглавлено «К Н***»), произвольно и вызвало недоумение и даже возмущение Шевырева, писавшего об этом Гоголю и Плетневу; знал истинного адресата и Белинский (см. подробно: Бельчиков Н. Ф. Пушкин и Гнедич. История послания 1832 г.— В кн.: «Пушкин. Сборник I». М., 1924, с. 179—213).

ИЗ СТАТЬИ «ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА К РАЗНЫМ ЛИЦАМ ПО ПОВОДУ «МЕРТВЫХ ДУШ»

(Стр. 305)

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 292, 294 («Выбранные места из переписки с друзьями». Статья 1843 г.).

ИЗ СТАТЬИ «В ЧЕМ ЖЕ, НАКОНЕЦ, СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ И В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ»

(Стр. 306)

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 378, 387—388 («Выбранные места из переписки с друзьями». Статья 1845—1846 гг.).

[1] О стремлении Пушкина побудить Жуковского писать критические статьи говорил и Плетнев (ср. с. 294 наст. изд.).

[2] Цитата — из послания Языкова «Д. В. Давыдову» (*МН*, 1835, август, кн. 2, с. 471). Пушкин высоко ценил это стихотворение (см. упоминание о нем в письме Языкову 14 апреля 1836 г.— *Письма*, IV, с. 133).

ИЗ СТАТЬИ «О «СОВРЕМЕННИКЕ»

(Стр. 307)

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 422 (статья 1846 г.).

[1] Пушкин рассматривал Гоголя как активную силу в журнале; однако не во всем соглашался с его критическими суждениями и вынужден был

оспаривать некоторые из них в «Письме к издателю». См.: *П. Итоги и проблемы*, с. 231 и сл.; Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М. Пушкин и Гоголь в 1831—1836 годах.— *П. Иссл. и мат.*, т. VI, с. 212 и сл. Гоголь, несомненно, преувеличивает свою роль в организации журнала.

ИЗ «АВТОРСКОЙ ИСПОВЕДИ»

(Стр. 308)

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 439—441 (статья 1847 г.).

[1] О факте «передачи» Гоголю Пушкиным сюжетов «Ревизора» и «Мертвых душ» есть ряд свидетельств разной степени достоверности (П. В. Анненков, О. М. Бодянский, В. А. Соллогуб, П. И. Бартенев и др.). О начале работ над «Мертвыми душами» Гоголь сообщил Пушкину 7 октября 1835 г. Разбор и оценку версий см.: Гиппиус В. Литературное общение Гоголя с Пушкиным. — Ученые записки Пермского гос. ун-та, вып. 2, 1930, с. 89—102.

Е. Ф. РОЗЕН

Барон Георгий (Егор) Федорович Розен (1800—1860) — поэт, драматург и критик, сблизившийся с пушкинским кругом в 1829—1836 годы. Пушкин ценил трудолюбие Розена (самостоятельно изучившего русский язык в возрасте девятнадцати лет), его широкую эрудицию в области теории драмы и классической филологии и сочувственно относился к его поэтическим, драматургическим и критическим опытам, собираясь адресовать ему теоретическое письмо-предисловие ко второму (неосуществившемуся) изданию «Бориса Годунова». В отношении к Розену пушкинского круга улавливается, однако, и доля иронии, которую вызывали его восторженное самомнение, риторический пафос и неполное владение оттенками русской поэтической речи. Воспоминания его о Пушкине — часть большой критической статьи о «Выбранных местах...» Гоголя (1847), написанной с консервативных позиций (см. вступ. статью). Одновременно он защищает и себя: убежденный в непреходящей ценности своих стихов и драм, осмеиваемых литературными противниками за казенный патриотизм и погрешности против языка, он обращается к свидетельству и защите «мертвых», в первую очередь Пушкина. Его собственная фигура принимает увеличенные размеры; не одаренный чувством юмора, он меняет акценты и пропорции, расширительно толкует слышанные им беседы, прибегая нередко к субъективным умозаключениям, не улавливает подтекста и оттенков смысла передаваемых им слов. Вместе с тем в своей основе воспоминания Розена очень точны; самого его

современники рисовали как человека прямодушного и щепетильного. Редко привлекавшие к себе внимание, они ценны не только по сообщаемым фактам, но и по наблюдениям Розена, где парадоксально сочетались наивность и тонкая проницательность (ср., например, его замечания о психологических причинах тяготения Пушкина к фантастике и др.). При соответствующем критическом осмыслении они должны быть учтены и при изучении литературных взаимоотношений Пушкина и Гоголя, далеко не во всем ясных и скудно документированных, где было не только сотрудничество, но и внутренние противоречия.

ИЗ СТАТЬИ «ССЫЛКА НА МЕРТВЫХ»

(Стр. 310)

СО, 1847, № 6, отд. III, с. 10—30.

[1] В этой рецензии («Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und Kunst, besonders Russlands», 1833, Bd. I, № 1, русск. пер. *ЛПРИ*, 1834, № 3) характер мемуарного сообщения носит примечание Розена об истории сцены «Ограда монастырская», отсутствующей в полном издании: «В заключение мы хотим упомянуть об одной сцене, которую автор исключил по совету польского поэта Мицкевича и нашего покойного Дельвига, так как, по их мнению, эта сцена ослабляла впечатление от рассказа Пимена. Пишущий эти строки держится совсем другого мнения и находит, что переход от этого рассказа к бегству Отрепьева вследствие исключения этой сцены стал слишком резким... Так как автор намерен восстановить эту сцену во втором издании, он позволил нам предварительно ознакомить с нею немецких читателей».

[2] Это письмо не сохранилось.

[3] Дневник Пушкина стал известен его ближайшим друзьям сразу после «разбора» бумаг Пушкина; так, его видели А. Тургенев, Баратынский, Н. В. Путята (*Щеголев*, с. 300; *РА*, 1899, № 6, с. 352). Публикация дневника в 1847 г. была невозможна; впервые отдельные записи у Анненкова. Отзыв о Розене — под 2 апреля 1834 г.: «Кукольник пишет Ляпунова. Хомяков тоже. Ни тот, ни другой не напишут хорошей трагедии. Барон Розен имеет более таланта» (*XII*, 323). Розен переакцентирует отзыв, хотя, как и далее, точен в передаче самих сведений.

[4] Розен сотрудничал в *МТ* в 1825—1826 гг.

[5] Этот визит состоялся между 16 и 28 февраля 1829 г. (*ЛН*, т. 16—18, с. 702, 705; *Москв.*, 1848, № 4, с. 111).

[6] Известны критические замечания и поправки Пушкина, сделанные Дельвигу, Вяземскому, Плетневу, Погодину, В. Туманскому, но вместе с тем и А. Бестужеву и даже П. Ершову, не принадлежавшим к близкому

окружению Пушкина. Поправки в стихах Дельвига относятся еще к 1819 г.

[7] Стихотворение «Загадка (при посылке бронзового сфинкса)» напечатано Розеном в альманахе «Царское Село на 1830 г.», с. 4 (вышел около 16 января 1830 г.). *Спондей* — античная стопа, состоящая из двух долгих слогов. Здесь эквивалентом спондея являются два ударных слога в четвертой стопе (грек духом).

[8] «Стихотворения Александра Пушкина. Третья часть». СПб., 1832. Разговор этот происходил позже указанного Розеном срока, не ранее поздней осени — зимы 1831 г., в Петербурге (ср.: *Письма*, III, с. 52, 427).

[9] *NN* — П. А. Вяземский; речь идет о стихе из его «Послания к М. Т. Каченовскому» (1820): «Как некий вечный огнь на алтаре весталок», в свое время вызвавшем критические нападки. Пушкин не был доволен сатирой Вяземского (*XIII*, 34). См.: Вацуро В. Э. Из разысканий о Пушкине.— *Врем. ПК*, 1972. Л., 1974, с. 106—108.

[10] Об интересе Пушкина к фигуре Лжедимитрия см. также с. 18 наст. изд. «Загадочным лицом» считал Лжедимитрия и Карамзин, о чем Пушкину, конечно, было известно; в 1818 г. Карамзин говорил Кюхельбекеру, что его следует «считать истинным» (Кюхельбекер В. К. Дневник. Л., 1929, с. 63), однако в «Истории...» принял традиционную версию.

[11] О своих сомнениях по поводу связи Лжедимитрия с Ксенией Годуновой Пушкин писал в письме Н. Н. Раевскому-сыну (1829) (*XIV*, 48).

[12] Первое чтение «Ревизора» состоялось 18 января 1836 г.; П. А. Вяземский сообщал, что Гоголь «читает мастерски и возбуждает «un feu roulant d'éclats de rire dans l'auditoire» (взрывы смеха у аудитории) (*ОА*, т. III, с. 285). Разговор с Пушкиным происходил не позднее конца апреля 1836 г., когда он жил в доме Баташева.

А. С. АНДРЕЕВ

Алексей Симонович Андреев (1792—1863) был преподавателем математики в Училище правоведения (1835—1850). Среди воспитанников училища он приобрел популярность благодаря умению рассказывать «преувлекательные анекдоты», чаще всего исторические. Добросовестный и «втайне либеральный», чиновник Андреев настолько увлекался всякими сколько-нибудь любопытными сведениями, что не ограничивался устной передачей их своим ученикам и вел систематические записи. Им были составлены особые «Книги выписок». В одной из таких книг, значащейся под № 4, две первые страницы отведены заметке, публикуемой в данном издании. Автор назвал ее «Встреча с А. С. Пушкиным».

Запись делалась Андреевым по памяти в 1840 году.

Одновременно А. С. Андреев является и автором записок «О Пушкине 1837 года». (См.: Поляков А. С. О смерти Пушкина, Пг., 1928, с. 30—32; а также *РС*, 1881, № 2, с. 416—417.)

ВСТРЕЧА С А. С. ПУШКИНЫМ

(Стр. 328)

Сб. «Звенья», т. II. Л., 1933, с. 235—241. Автограф: *ИРЛИ*, ф. 244, оп. 17, А. С. Андреев, № 1.

[1] В 1827 г. Пушкин вернулся в Петербург после ссылки в селе Михайловском. Приехал он в 20-х числах мая, в ночь с 19 на 20 мая выехал из Москвы. Дельвиг с 31 мая считался в отпуске в Ревеле. (См.: Гаевский В. П. Дельвиг.— *Совр.*, т. 47, 1854, № 9, с. 9.) Следовательно, посещение обоими выставки можно отнести к концу мая — началу июня (точная дата отъезда Дельвига неизвестна).

[2] Воспоминания писались Андреевым по памяти, поэтому страдают некоторыми неточностями: Выставка Общества поощрения художников, где экспонировалась картина Брюллова «Итальянское утро», помещалась не в доме Таля, а в доме Марса на Невском проспекте. В доме Таля (ныне Невский, 6) в 1836 г. жил Брюллов, и этим, очевидно, объясняется логическое смещение фактов в сознании мемуариста.

А. Н. МОКРИЦКИЙ

Аполлон Николаевич Мокрицкий (1811—1871) — художник. Будучи учеником К. П. Брюллова и проводя у него все свободное от классов время, был свидетелем неоднократных посещений Пушкиным академической мастерской своего учителя. Он же, по просьбе Брюллова, нередко читал ему что-либо из пушкинских произведений. По ходу чтения художник делал замечания, которые Мокрицкий добросовестно заносил в свой дневник.

Собственно, большая часть этого дневника представляет собой не что иное, как жизнеописание Брюллова. Причем особенностью его является повышенная авторская экзальтация, сквозь призму которой преломляются реальные факты. Имени Брюллова постоянно сопутствуют эпитеты «великий», «знаменитый», «гениальный», создается прижизненная «канонизация» художника. Этим же свойством отличаются и опубликованные Мокрицким «Воспоминания о К. П. Брюллове».

Они появились в печати в 1855 году, вскоре после смерти художника (1852 г.). В то время вокруг его имени велись самые горячие споры, высказывались крайне противоположные мнения. По свидетельству одного из мемуаристов, в обществе зародилось «сомнение ⟨...⟩ относительно

гениальности Брюллова, а от сомнения до отрицания всего один шаг». Ученики художника сочли себя обязанными предупредить этот шаг. «Мы,— писал Н. А. Рамазанов,— отобрав подробные сведения о Брюллове, постараемся передать со временем публике верное и беспристрастное жизнеописание многолюбимого и многочтимого оставившего нас гения» (Рамазанов Н. А. Материалы для истории художеств в России. М., 1863, кн. I, с. 201).

Подобный «отбор» произвел и Мокрицкий, создавая свои «Воспоминания». К числу «отобранных» фактов, взятых, очевидно, из памяти, так как в его дневнике этого нет, принадлежит и сообщение о «коленопреклоненном» Пушкине. Тем самым Мокрицкий не только ставил знак равенства между Пушкиным и Брюлловым, но еще и несколько приподнимал последнего, подчеркивая его превосходство в данной ситуации. Подобная искусственная «приподнятость» прямо отвечала задачам, стоящим перед автором «Воспоминаний».

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О А. С. ПУШКИНЕ»

(Стр. 330)

ОЗ, 1855, т. XIII, с. 165.

[1] Сопоставление текста «Воспоминаний» с текстом дневника Мокрицкого (автограф «Дневника» хранится в Гос. Третьяковской галерее, отд. рукописей, ф. 33, ед. хр. 29) показывает, что среди январских заметок 1837 г. записи от 25 числа вообще не существует. Кроме того, из дневниковых записей следует, что Брюллов в это время был тяжело болен и никого не принимал. Таким образом, введение календарных дат в «Воспоминания» имеет целью создать впечатление документальности подневных записей, перенесенных якобы прямо из дневника, что не соответствует действительности.

[2] В «Дневнике» первая часть этой записи идет под датой «18 [марта] четверг». Текст ее в «Воспоминаниях» несколько перефразирован. О желании Брюллова нарисовать фронтиспис к собранию сочинений Пушкина в «Дневнике» вообще не упоминается.

ИЗ «ДНЕВНИКА ХУДОЖНИКА А. Н. МОКРИЦКОГО»

(Стр. 331)

Дневник художника А. Н. Мокрицкого. Сост., вступ. статья и примеч. Н. Л. Приймак. М., 1975. Автограф: Гос. Третьяковская галерея, отд. рукописей, ф. 33, ед. хр. 29.

[1] Скульптурный портрет Пушкина, выполненный А. И. Теребеневым,

вскоре стал весьма популярен. В ноябре 1837 г. ваятель вынужден был даже подать просьбу в Правление Академии художеств, чтобы предупредить появление подделок «итальянцами ⟨...⟩ сделанных мною небольшой фигурки и бюста в маленьком размере покойного Александра Сергеевича Пушкина», пользовавшихся большим спросом («Дневник художника А. Н. Мокрицкого». М., 1975, с. 211).

[2] *Липинский* Кароль Иосиф, Карл Феликсович (1790—1861) — польский скрипач-виртуоз и композитор, гастролировавший в России. В мастерской Брюллова он обратил внимание на позолоченный бюст Пушкина, о существовании которого упоминают мемуаристы.

М. И. ЖЕЛЕЗНОВ

Михаил Иванович Железнов (1825—1891) — художник, ученик К. П. Брюллова. Однако его живописные произведения известны гораздо меньше, нежели его литературные труды. Особую известность приобрел он как автор воспоминаний и издатель писем Брюллова.

В последние годы жизни Брюллова Железнов неотлучно находился при нем, сопровождая его во время путешествия на остров Мадейру. Заметки этого периода он положил в основу своих воспоминаний. Как мемуарист Железнов был крайне осторожен. Обилие прямой речи в его записках говорит о том, что он старался как можно точнее передавать слова Брюллова, сохраняя свойственную художнику манеру выражений.

Однако в печатный вариант воспоминаний Железнов включил далеко не все из того, что составляло его заметки. «Я бы мог рассказать о Брюллове, как о человеке, много дурного и кое-что хорошее,— писал он в одном из черновиков рукописи,— но говорю о нем только хорошее, потому что люди, которые должны были бы хорошо отзываться о нем, льстившие ему, считавшие за честь быть с ним вместе и называться его приятелями, не заметили в нем ничего хорошего и рассказывают о нем только одно дурное» (Гос. Русский музей, отд. рукописей, ф. 22, ед. хр. 31). Исходя из этого, Железнов не опубликовал и один из известных ему эпизодов, касающихся отношений Брюллова и Пушкина к А. А. Олениной. Отрывок этот публикуется в настоящем издании.

БРЮЛЛОВ В ГОСТЯХ У ПУШКИНА ЛЕТОМ 1836 ГОДА

(Стр. 333)

Сб. *ОРЯС*. Л., 1928, с. 107—109. Автограф: *ИРЛИ*, ф. 244, оп. 17, ед. хр. 16.

ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ НА ОСТРОВ МАДЕЙРУ»

(Стр. 333)

Автограф: Гос. Русский музей, отд. рукописей, ф. 33, ед. хр. 28, л. 8—8об.

[1] Подобного факта в действительности существовать не могло, Пушкин увлекся А. А. Олениной в 1828 г. Брюллов в это время находился в Италии и не только о Пушкине и Олениной, но и о близких своих знал лишь из редких писем. До отъезда за границу в 1822 г. художник и вовсе не был вхож в дом Олениных, а отношения его с президентом Академии, отцом Анны Алексеевны, были весьма прохладными. Кроме того, в 1822 г. Брюллов сватался за М. А. Иванову, дочь своего профессора, но та отказала.

В. А. СОЛЛОГУБ

Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882) — впоследствии известный писатель, при Пушкине только начинавший свою литературную деятельность.

Мемуары Соллогуба являются очень точным и ценным источником для истории последних лет жизни Пушкина и его дуэли. Соллогуб иногда путает даты (он сам в этом сознается), но верно излагает события, иногда с поразительной точностью передает даже незначительные детали. Надежность его воспоминаний подтверждает сравнение писем, которые цитируются им по памяти с обнаруженными впоследствии подлинниками этих писем. Зафиксированные в мемуарах черты поведения Пушкина показывают, насколько неблагополучно было его положение в свете. Кроме мемуаров, до нас дошли некоторые устные рассказы Соллогуба. Один из них записал в дневнике горячий поклонник Пушкина Н. И. Иваницкий 23 февраля 1846 г. (*ПиС*, вып. XIII, с. 36—37). Соллогуб был одним из немногих современников, кто понял и сформулировал в своих мемуарах общественный смысл гибели Пушкина (см. с. 343 наст. изд.).

Наиболее ранняя запись воспоминаний о Пушкине сделана Соллогубом по просьбе П. В. Анненкова не позже 1854 года и впервые опубликована в 1929 году Б. Л. Модзалевским («Нечто о Пушкине. Записка Соллогуба junior».—В кн.: *Модзалевский*, с. 374—382). В 1865 году Соллогуб прочел свои воспоминания в заседании Общества любителей российской словесности и напечатал их в «Русском архиве» («Из воспоминаний В. А. Соллогуба».— *РА*, 1865, № 5—6; отд. оттиск: С о л л о г у б В. А. Воспоминания. Гоголь, Пушкин, Лермонтов. М., 1866). Публикация в «Русском архиве» повторяет, в несколько измененной редакции, события и факты, изложенные в записи для Анненкова. Позднее был опубликован

еще один мемуарный очерк: «Пережитые дни. Рассказы о себе по поводу других» (газ. Рус. мир, 1874, № 108, 112, 117, 119, 124, 126, 129, 133, 137, 140, 143, 201, 222, 243, 250). Издавая в 1886 г. свои обширные «Воспоминания» (*ИВ*, 1866, № 1—6, 11—12; отд. изд.: СПб., 1887), Соллогуб не включил в них рассказ о своей несостоявшейся дуэли с Пушкиным (составлявший первую часть доклада, опубликованного в «Русском архиве») и «Пережитые дни». Упомянутые три источника («Воспоминания», первая часть публикации в «Русском архиве» и «Пережитые дни») объединены в изданиии: Соллогуб В. А. Воспоминания. Ред., предисл. и примеч. С. П. Шестерикова. М.— Л., 1931.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

(Стр. 335)

Соллогуб, с. 273—279, 354—375.

1 Действительно, хронология первой встречи Соллогуба с Пушкиным запутана. Рассказывая о ней в разных частях своих мемуаров, он приурочивает ее к разным обстоятельствам. Первый раз он встретил Пушкина в доме Олениных в 1828 г., а знакомство состоялось, по-видимому, летом 1831 г. (*Соллогуб*, с. 641, 509). Подробнее см.: *П. в восп., 1974*, с. 483.

2 *X* — лицо неустановленное. В пометах О. Н. Смирновой (дочери А. О. Смирновой-Россет) на хранящемся в Пушкинском доме экземпляре «Воспоминаний» Соллогуба (1887) предположительно названо имя О. И. Сенковского. С. П. Шестериков считал, что «X» скорее всего Н. И. Греч, «четверги» которого (а не «среды») был популярны в литературной среде (*Соллогуб*, с. 276).

3 С октября 1831 г. по май 1832 г. Пушкин жил в доме Брискорна на Галерной улице (теперь Красная ул., д. 53).

4 Звание камер-юнкера ставило Пушкина в унизительное положение, т. к. обычно его получали молодые люди, только начинающие нести службу при дворе. См. запись в дневнике Пушкина от 1 января 1834 г. (*XII*, 318); ср. с. 231, 281 наст. изд.

5 Это письмо Пушкина до нас не дошло, но сохранился ответ Е. М. Хитрово на него (Цявловская Т. Неизвестное письмо Е. М. Хитрово к Пушкину.— Пушкинский праздник. Спец. вып. «Лит. газ.» и «Лит. России» от 3—10 июня 1970, с. 12—13).

6 *Дама* — по-видимому, М. Д. Нессельроде, которая была злейшим врагом Пушкина и приятельницей Дантеса.

7 Кроме А. И. Васильчиковой и Е. М. Хитрово, аналогичные письма получили В. Ф. Вяземская, М. Ю. Виельгорский, К. О. Россет и Карамзины. Один экземпляр пасквиля получил сам Пушкин. В настоящее время известны два тождественных экземпляра диплома (Бюллетени Руко-

писного отдела Пушкинского дома, вып. VIII. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1959, с. 5).

[8] Такая записка (как и вообще записки или письма Пушкина к Н. В. Кукольнику) неизвестна.

[9] Эпиграмма считается принадлежащей Пушкину и датируется 1831 — август 1836 г. (*III*, 489).

[10] 16 ноября праздновался день рождения Екатерины Андреевны Карамзиной (*Карамзины*, с. 137). Пушкин посылал Соллогуба к д'Аршиаку, потому что 18 ноября истекала двухнедельная отсрочка, данная им Геккерну, и в связи с этим секундант Дантеса д'Аршиак 16 ноября посетил Пушкина.

[11] Е. Н. Гончаровой, как невесте, позволялось быть на рауте в белом платье, хотя официально помолвка была объявлена только на следующий день, 17 ноября, на балу у С. В. Салтыкова, после того как с помощью секундантов конфликт между Пушкиным и Дантесом был улажен и поэт взял свой вызов обратно.

[12] Из четырех названных документов известен только текст «ругательного диплома». Вызов Пушкина, так же как и записки его и Геккерна до нас не дошли, но, вероятно, их упоминает Жуковский в своих конспективных заметках: «его ⟨Геккерна⟩ требование письма» и «Письмо, в котором упоминает о сватовстве» (см. с. 392 наст. изд.).

[13] Соллогуб цитирует по памяти. Его письмо и ответ Пушкина см.: *XVI*, 188 .

[14] Ближайшая после 17 ноября суббота приходилась на 21 число. Говоря о «всем известном письме Пушкина» к Геккерну, Соллогуб имеет в виду письмо от 26 января 1837 г., которое было непосредственным поводом к дуэли. В действительности это письмо является переработкой ноябрьского письма, написанного Пушкиным в период между 17 ноября, когда была объявлена помолвка Е. Н. Гончаровой и Дантеса, и 21 ноября, когда Пушкин прочел его Соллогубу.

[15] Бал у И. И. Воронцова-Дашкова был 23 января. Поведение Дантеса у Воронцовых современники считали непосредственным поводом к дуэли (см.: *Карамзины*, с. 167).

[16] Об авторе пасквиля см. примеч. 2 к воспоминаниям Данзаса.

ИЗ ДОКЛАДА В ОБЩЕСТВЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

(Стр. 347)

Соллогуб, с. 511, 514, 516—528.

[1] Соллогуб ошибается. Пушкин тоже говорил Жуковскому «ты».

[2] Оригинал письма не сохранился (черновик: *XVI*, 84, 253—254), и Соллогуб цитирует его по памяти; также по памяти приводит он фран-

цузский текст этого письма в записке «Нечто о Пушкине» (*Модзалевский*, с. 375). Соллогуб отвечал Пушкину письмом (черновик: *XVI*, 89—90, оригинал не сохранился), но, судя по тому, что в своих мемуарах он не упоминает об этом письме, оно не было отослано; думается, что Соллогуб решил его не посылать, опасаясь вызвать новое обострение конфликта (подробнее см.: *Поляков*, с. 9).

[3] Подлинник письма до нас не дошел. Черновик см.: *XVI*, 78.

[4] Содержание письма приведено в записке «Нечто о Пушкине». Тут же сообщается, что при первой встрече с Соллогубом в Петербурге поэт «отвел его в сторону» и попросил не говорить Н. Н. Пушкиной о письме (*Модзалевский*, с. 376).

ИЗ «ПЕРЕЖИТЫХ ДНЕЙ»

(Стр. 352)

Соллогуб, с. 565—568.

[1] С. А. Соболевский вернулся из-за границы 22 июля 1833 г. (*ПиС*, вып. XXXI—XXXII, с. 41).

[2] В. Ф. Одоевский отрицал этот эпизод. См. его возражения на статью П. В. Долгорукова в журнале «Будущность» (1860, № 1), где приводится сходный рассказ о разговоре Пушкина и Одоевского по поводу «Пестрых сказок» (*Щеголев*, с. 508). В своих возражениях Одоевский утверждал, что к моменту выхода его «Пестрых сказок» (начало апреля 1833 г.) он не был знаком с Пушкиным, между тем их знакомство состоялось не позже января 1830 г. (*ЛН*, т. 58, с. 258), а 27 марта 1833 г. датирована одна из записок Одоевского к Пушкину (*XV*, 56). Сообщение Соллогуба и Долгорукова подтверждают воспоминания В. Ф. Ленца (см. *РА*, 1878, кн. 1).

А. О. и К. О. РОССЕТЫ

Россет Аркадий Осипович (1812—1881) — брат А. О. Смирновой, поручик л.-гв. Конного полка, сослуживец и друг братьев Карамзиных. Был коротко знаком с Пушкиным. В письмах за границу к А. О. и Н. М. Смирновым и Андрею Николаевичу Карамзину сообщал петербургские новости и известия о семье поэта. Посещая салоны Карамзиных, Мещерских, Вяземских, был свидетелем преддуэльных событий (см.: *Карамзины*, указ. имен), а некоторые подробности знал от брата Климентия Осиповича Россета (1811—1866). К К. О. Россету, поручику Генерального штаба, Пушкин относился по-дружески. Этим дружеским расположением объясняется, что, послав вызов Дантесу 4 ноября, Пушкин обратился к К. О. Россету с просьбой быть его секундантом. К. О. Россет не оставил воспоминаний о Пушкине, но, очевидно, оба брата были источ-

ником сведений А. О. и Н. М. Смирновых о дуэльной истории. Рассказы А. О. Россет, записанные П. И. Бартеневым, вносят любопытные штрихи в характеристику Пушкина и являются важным документом для истории последнего периода его жизни.

ИЗ РАССКАЗОВ ПРО ПУШКИНА, ЗАПИСАННЫХ П. И. БАРТЕНЕВЫМ

(Стр. 354)

РА, 1882, № 2, с. 245—248; № 4, с. 274.

[1] Об отношении Пушкина к Ипсиланти см. т. 1, с. 244 наст. изд.

[2] «Полководец» был напечатан (без подписи) в третьем томе «Современника», который вышел из печати 30 сентября 1836 г.

[3] По предположению Яна Станислава, Шафарик послал Пушкину книгу: P. J. Safárik. Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten (1826). См.: Stanislav J. Z. rusko-slovenských kultúrnych stykov... Bratislava, 1957, s. 49.

[4] *Наталья Степановна* — Голицына. Пушкин бывал в ее доме (см.: *PC*, 1900, № 1, с. 102—104).

[5] Отрывок из баллады В. А. Жуковского «Ахилл».

[6] Сестры Н. Н. Пушкиной Александра (Александрина) и Екатерина Гончаровы переехали в Петербург и поселились у Пушкиных осенью 1834 г. «Сплетни» связаны с именем А. Н. Гончаровой. Подробно об этом см.: *П. в восп., 1974*, т. 2, с. 490—493.

[7] О воскресении (24 января), проведенном у Мещерских, см.: *Карамзины*, с. 167.

[8] Разговор с К. О. Россетом состоялся 4 ноября, то есть в день получения пасквиля, когда поэт послал вызов Дантесу (см.: *Яшин*, с. 159—161).

[9] Пушкин просил А. Меджениса быть его секундантом на балу у графини Разумовской вечером 26 января. Медженис обещал переговорить с д'Аршиаком тут же на балу. Убедившись, что примирение между противниками невозможно, он уже во втором часу ночи отправил Пушкину письмо с отказом (*XVI*, 224—225).

[10] Об авторстве анонимных писем см. примеч. 2 к воспоминаниям Данзаса. Желанием проверить свои подозрения, вероятно, объясняется визит Россета к П. Долгорукову и И. Гагарину на другой день после получения пасквиля. (См.: *Щеголев*, с. 479).

[11] Слова В. Л. Давыдова не заслуживают доверия. В кишиневский период Пушкин мог догадываться, но не знал о существовании тайного общества.

ОБЛАЧКИН

Облачкин (ок. 1822— ?). Единственными сведениями, которыми мы располагаем об авторе воспоминаний, является его собственный рассказ. Из этого рассказа видно внимательное и бережное отношение Пушкина к молодым поэтам. «Воспоминание о Пушкине» впервые напечатано: *СПч.*, 1864, № 49, с. 161.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПУШКИНЕ

(Стр. 359)

Цявловский. Книга воспоминаний, с. 340—347.

[1] По предположению М. А. Цявловского, Пушкин вспоминает тут свой доклад М. С. Воронцову о саранче (*Цявловский. Книга воспоминаний*, с. 347).

К. К. ДАНЗАС

Константин Карлович Данзас (1801—1870) — товарищ Пушкина по Лицею. После окончания Лицея был выпущен офицером в Инженерный корпус. С 1836 года инженер-подполковник. После дуэли Данзас как секундант был привлечен к военному суду и подвергся двухмесячному аресту, однако с разрешением не покидать поэта до его последнего часа. Выбор Данзаса в качестве секунданта подтверждает решимость Пушкина драться во что бы то ни стало: Данзас не принадлежал к его кругу и поэтому меньше, чем кто-нибудь другой, мог сделать для предотвращения дуэли. В рапорте, поданном в Военно-судную комиссию, Данзас объяснял свое согласие быть секундантом Пушкина: «После всего, что я услышал у г. Д'Аршиака из слов Пушкина, хотя вызов был со стороны г. Геккерна, я не мог не почитать избравшего меня в свидетели тяжко оскорбленным в том, что человек ценит дороже всего в мире: в чести жены и его собственной; оставить его в сем положении показалось мне невозможным, я решился принять на себя обязанность секунданта» (*Дело о дуэли*, с. 79). О невозможности для Данзаса расстроить дуэль говорил Нащокин (*Рассказы о П.*, с. 41). Данзас тяжело переживал смерть поэта. (См.: Карамзины, с. 172.)

Данзас был единственным свидетелем преддуэльных часов Пушкина и единственным (со стороны поэта) свидетелем самой дуэли. Все сведения о дне 27 января в воспоминаниях и письмах друзей Пушкина имеют своим источником рассказы Данзаса. Когда секундант Дантеса д'Аршиак, по просьбе П. А. Вяземского, написал письмо с подробностями «несчастного дела», Вяземский просил Данзаса засвидетельствовать факты, изложен-

ные д'Аршиаком. Данзас в письме к Вяземскому от 6 февраля 1837 года уточняет слова Пушкина во время дуэли и отводит указание д'Аршиака на якобы бывшее нарушение дуэльных правил со стороны поэта (*Дело о дуэли*, с. 54, 57—59). Достоверность рассказов Данзаса о преддуэльных событиях подтверждается другими мемуарами и известными документами.

Устные рассказы Данзаса были записаны А. Аммосовым и в 1863 году изданы отдельной брошюрой. В предисловии Аммосов писал: «Рассказы Константина Карловича, тотчас по окончании наших бесед, старались мы записывать по возможности слово в слово и сделанные нами заметки прочитывать потом ему» (*Аммосов*, с. 4). Книга Аммосова была первым авторитетным изложением обстоятельств гибели Пушкина. В ней, впервые в печати, было заявлено о причастности П. В. Долгорукова и И. С. Гагарина к составлению анонимного пасквиля (см. ниже, примеч. 2). Долгоруков (в те годы — политический эмигрант) пытался опорочить рассказы Данзаса. Он заявлял о причастности III Отделения к составлению брошюры. «Русское правительство,— писал он И. С. Гагарину 22 июля 1863 года,— заплатило некоему Аммосову, офицеру в чине майора, чтобы он напечатал брошюру, озаглавленную «Последние дни жизни А. С. Пушкина...» (Нева, 1966, № 3, с. 186. Публ. М. Яшина). Однако в момент появления брошюры Аммосова сам Данзас был еще жив и не допустил бы, чтобы его имя значилось на фальшивке.

Рассказ Данзаса сопровождался публикацией важнейших документов о дуэли: письма Пушкина к Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года (*XVI*, 191—192), письма Пушкина к Геккерну от 26 января 1836 года (*XVI*, 221—222), ответа Геккерна (*XVI*, 222—223), переписки Пушкина с д'Аршиаком (*XVI*, 224—226), визитной карточки д'Аршиака, писем к Вяземскому д'Аршиака от 1 февраля 1837 года и Данзаса от 6 февраля (*Дело о дуэли*, с. 52—55, 57—60), письма Бенкендорфа к Г. А. Строганову. Это была первая в России публикация дуэльных документов, правда без анонимного пасквиля, не пропущенного цензурой (вместе с пасквилем все эти документы были напечатаны А. И. Герценом в кн. VI «Полярной звезды» за 1861 г.).

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ И КОНЧИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА В ЗАПИСИ А. АММОСОВА

(Стр. 364)

А м м о с о в А. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. СПб., 1863.

[1] Имеется в виду письмо к Бенкендорфу от 21 ноября (*XVI*, 191—

192), написанное в тот же день, когда Пушкин прочел Соллогубу свое письмо к Геккерну (*XVI*, 189—191). См. воспоминания Соллогуба, с. 345 наст. изд. Письмо к Бенкендорфу по спискам стало известно вскоре после дуэли Пушкина — отсюда и уверенность Данзаса, что оно дошло до адресата. Однако на обнаруженном недавно оригинале письма имеется карандашная помета секретаря Бенкендорфа П. И. Миллера: «Найдено в бумагах Пушкина и доставлено графу Бенкендорфу 11 февраля 1837 года» (см.: Эйдельман Н. Я. Десять автографов Пушкина из архива П. И. Миллера.— Зап. Отдела рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, вып. 35, 1972, с. 304—320). Вмешательство Соллогуба и Жуковского остановило отсылку письма. По инициативе Жуковского, по-видимому, состоялась встреча поэта с царем 23 ноября (см.: Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.— Л., 1931, с. 140—149), когда содержание своего письма и, в частности, подозрения против Геккерна Пушкин мог изложить царю лично.

[2] Имена И. С. Гагарина и П. В. Долгорукова, как лиц, принимавших участие в составлении пасквиля, называют А. И. Тургенев, А. О. Россет, Н. М. Смирнов, В. Ф. Одоевский, П. А. Вяземский (сводку документальных данных о возможном участии Гагарина и Долгорукова в составлении пасквиля — см.: *Щеголев*, с. 435—451). В момент появления брошюры Аммосова оба подозреваемых были живы и выступили в печати с опровержениями. Позднейшую полемику об авторе пасквиля см.: *П. в восп., 1974*, т. 1., с. 496—497.

[3] Данзас ошибается: Пушкин действительно обращался к К. О. Россету, но уже после отправки вызова (см. с. 357 наст. изд.). Россет ответил полуотказом, после чего обязанности секунданта по просьбе Пушкина выполнял Соллогуб. Двухнедельной отсрочки дуэли добивался не Дантес, а Геккерн.

[4] Эти письма Дантеса к Пушкину неизвестны, но, по-видимому, об одном из них упоминает Жуковский (см. с. 392 наст. изд.) в своих конспективных заметках.

[5] *Княгиня Б.* — по-видимому, Елена Павловна Белосельская-Белозерская, падчерица Бенкендорфа. После дуэли она добивалась снисхождения для Дантеса.

[6] Это показание расходится с записью Жуковского (см. с. 392 наст. изд.), где категорически утверждается, что до часу дня Пушкин не выходил из дома и что, незадолго до его ухода, к нему приехал Данзас. «В 12-м часу утра» (до прихода Данзаса) у Пушкина успел побывать библиофил Ф. Ф. Цветаев (его воспоминания об этом см.: *ЛН*, т. 58, с. 138). Утверждение самого Данзаса (и других мемуаристов) о случайной встрече его с Пушкиным имело целью смягчить вину Данзаса перед судом, так как по закону секунданты должны были или примирить противников, или сообщить о дуэли властям (*Дело о дуэли*, с. 104).

[7] См. примеч. 2 к И. Т. Спасскому.

[8] Данзас не упоминает, что по просьбе Пушкина он сжег какие-то бумаги,— об этом пишут Жуковский и Вяземский.

[9] О судьбе этого кольца см. с. 244 наст. изд.

М. Н. ЛОНГИНОВ

О Михаиле Николаевиче Лонгинове см. т. 1, с. 520. Воспоминания его о дуэли и смерти Пушкина являются рецензией на книгу А. Аммосова «Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса» (СПб., 1863) (см. с. 364—380 наст. изд.). Напечатаны впервые: «Современная летопись» — воскресное прибавление к *М. вед.*, 1863, с. 12—13.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ И КОНЧИНА А. С. ПУШКИНА

(Стр. 381)

Цявловский. Книга воспоминаний, с. 351—359.

[1] Имеется в виду запись в дневнике Пушкина 17 января 1834 г., однако Лонгинов ошибается — Пушкин называет барона д'Антеса и маркиза де Пина.

И. Т. СПАССКИЙ

Иван Тимофеевич Спасский (1795—1861) — доктор медицины, профессор Медико-хирургической академии по кафедре зоологии и минералогии, младший акушер Выборгской части. Был постоянным домашним врачом Пушкиных. Пушкин поддерживал со Спасским дружеские отношения («Послезавтра обедаю у Спасского»,— писал он жене в начале мая 1834 г.—*XV*, 143). После ранения Пушкина Спасский почти все время был у его постели и уже 2 февраля 1837 года составил записку о его болезни и смерти (см. запись в дневнике А. И. Тургенева от 2 февраля), которая сразу же широко распространилась в списках. По свидетельству М. Н. Лонгинова (Современная летопись, 1863, № 18, май, с. 13), записка Спасского была использована Жуковским для его письма к С. Л. Пушкину о смерти поэта. Записка Спасского дает достоверную и хронологически точную запись предсмертного состояния Пушкина — и в этом ее безусловная ценность.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ А. С. ПУШКИНА

(Рассказ очевидца)

(Стр. 384)

БЗ, 1859, т. II, с. 555—559.

[1] Сын Н. И. Греча Николай умер 25 января 1837 г.

[2] Николай I приписывал «христианскую» смерть Пушкина своему давлению, в действительности Спасский, конечно, передает правду, когда пишет, что Пушкин ответил согласием на «совет родных и друзей» причаститься.

Е. Н. МЕЩЕРСКАЯ

Екатерина Николаевна Мещерская, княгиня, урожд. Карамзина (1806—1867) — вторая дочь историографа. О ней см.: Измайлов Н. В. Пушкин и семейство Карамзиных. — В кн.: *Карамзины*, с. 28—30. Публикуемое письмо адресовано ее золовке Марье Ивановне Мещерской. Впервые напечатано (французский текст и русский перевод) как письмо к неизвестной даме в кн.: *Я. К. Грот, 1899*, с. 258—262. Опубликованная А. А. Фоминым (*ПиС*, вып. VI. СПб, 1908, с. 94—97) копия с этого письма, сделанная для А. И. Тургенева и дающая более полный текст, позволила установить адресата письма и его дату (16 февраля — день отъезда Н. Н. Пушкиной в Полотняный завод). В настоящем издании письмо публикуется в русском переводе, приведенном в книге Грота.

ПИСЬМО К М. И. МЕЩЕРСКОЙ

(Стр. 388)

Грот Я. К. 1899, с. 260—262.

[1] В этом месте письма Гротом опущен кусок, касающийся записки Николая I к Пушкину (см. о ней с. 521 наст. изд.). Здесь же сообщается, что Н. Н. Пушкина «сегодня» уезжает из Петербурга.

В. А. ЖУКОВСКИЙ

Василий Андреевич Жуковский (1783—1852) — наиболее близкий друг Пушкина из его старших современников. В ноябре 1836 года Жуковский улаживал отношения Пушкина с Геккернами, а после дуэли был неотлучно возле Пушкина в его предсмертные дни. После смерти поэта он

выступил как его душеприказчик, вечером 29 января составил проект рескрипта, в котором были перечислены и обоснованы все пункты, содержащиеся в записке Николая I о «милостях» семье Пушкина (*Щеголев*, с. 214—222). Жуковский вынужден был в присутствии жандармского генерала Дубельта разбирать бумаги поэта (см. Цявловский М. А. «Посмертный обыск» у Пушкина.— В кн.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., Изд-во АН СССР; *Щеголев*, с. 234).

К Жуковскому восходят наиболее значительные документы, связанные с дуэлью. Здесь следует различать — записи для себя, для распространения в публике и для правительства. Конспективные заметки, сделанные для себя, фиксируют события начиная с 4 ноября — дня получения анонимных писем — до посмертного обыска. Они написаны без оглядки на цензуру и приличия, без боязни задеть личности, они делались для памяти, торопливым почерком. Здесь нет отношения к событиям и фактам, единственная цель записей — точно зафиксировать события. Точность и хронологическая последовательность записей позволили Щеголеву положить их в основу своего изложения дуэльных событий. Первые три записи он опубликовал в первом издании своей книги «Дуэль и смерть Пушкина» (Пг., 1916, с. 196—198). Полностью заметки были опубликованы И. Боричевским (*Боричевский*, с. 372—379). В настоящем издании печатаются первые четыре записи. Их текст проверен и исправлен по автографу.

Второй документ — письмо к С. Л. Пушкину от 15 февраля написано в расчете на широкое распространение. Кроме своих наблюдений, Жуковский использовал для этого письма записки врачей Спасского и Шольца (записку Шольца см.: *Щеголев*, с. 199—200), а также свидетельства друзей поэта, составляя, как писал Вяземский А. Я. Булгакову, «общую реляцию из очных наших ставок» (письмо от 6 февраля — *РА*, 1879, кн. 2, с. 247).

Упоминать о дуэли Пушкина в печати было запрещено, поэтому, публикуя письмо в сокращенной редакции, под названием «Последние минуты Пушкина» (*Совр.*, 1837, т. V), Жуковский вынужден был изъять все подробности, относящиеся к поединку. Подробный анализ письма и сводку всех его редакций см.: *Щеголев*, с. 159—197. В настоящем издании письмо печатается по черновику, опубликованному Щеголевым. Некоторые исправления, сделанные Жуковским в этом первом черновике, приводятся в ломаных скобках.

Третий документ — письмо к Бенкендорфу. Оно написано после «посмертного обыска». Через руки Жуковского прошли все письма Бенкендорфа к поэту, и впервые он до конца понял жизненную драму Пушкина, осознал всю тяжесть положения поднадзорного поэта. Общий пафос письма Бенкендорфу — обличительный.

За вежливыми, придворно-светскими формулами письма в нем звучит резкое осуждение Бенкендорфа и Николая I, мучивших поэта и в конеч-

ном счете приведших его к смерти. И хотя прямо гонителем Пушкина называется только Бенкендорф, а отношения поэта с царем изображаются по-прежнему идиллически, письмо Жуковского является обвинительным актом и в адрес Николая I. Так и понял его А. И. Тургенев, записавший 8 марта свои впечатления в дневнике (см. с. 219 наст. изд.). Подробно об этом см.: Левкович Я. Заметки Жуковского о гибели Пушкина. — *Врем. ПК*, 1972. М.— Л., 1974.

КОНСПЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ О ГИБЕЛИ ПУШКИНА

(Стр. 391)

ИРЛИ, ф. 244, оп. 18, № 32.

[1] 4 ноября Пушкин получил анонимный пасквиль и в тот же день послал вызов Дантесу. Дантес был дежурным по полку, и вызов попал в руки Геккерна. Расчет времени позволяет предположить, что письмо с предложением Е. Н. Гончаровой, которое пришло также 4 ноября и о котором пишут А. О. Россет и Н. М. Смирнов (см. с. 357, 278 наст. изд.), Дантес и Геккерн могли согласовать между собой сразу после получения вызова (*Яшин*, с. 163). В этот же день, 4-го, Геккерн был у Пушкина и получил 24-часовую отсрочку.

[2] *Гончаров* Иван Николаевич — брат Н. Н. Пушкиной, служивший в Царском Селе. Через него родные поэта связались с Жуковским, который приехал к Пушкину 6-го и вместе с Е. И. Загряжской (при участии Вяземского и Виельгорского) стал хлопотать о примирении сторон.

[3] «Mes antécédents».— Эта запись неясна. Очевидно, Жуковский предпринимал и раньше, то есть до пасквиля, какие-то действия, смягчающие вражду между семьями (*Боричевский*, с. 379). Делая «открытие» о «любви» Дантеса к сестре Н. Н. Пушкиной, Геккерн, по-видимому, не сразу сказал, о которой из сестер идет речь, и Жуковский «ошибся насчет имени», предположив, что это Александрина. «Ошибка насчет имени» показывает, насколько далек был Жуковский от светских пересудов. С. Н. Карамзина еще в сентябре заметила, что Дантес ухаживает за Екатериной (*Карамзины*, с. 109). «Любовь» Дантеса к Екатерине не была платонической. Александр Карамзин в письме к брату Андрею от 13 марта 1837 г. называет Екатерину «возлюбленной» Дантеса (*Карамзины*, с. 190—191). Однако Жуковский удивлен и своей неосведомленностью, и тем, что столь важные факты не были сказаны ему сразу, как только он взялся за посредничество («Незнание совершенное прежде бывшего»). «Открытие о родстве» с Дантесом — лживая уловка. О происхождении Дантеса см.: *Щеголев*, с. 15—27. Фальшивые «открытия» были новым свидетельством низости Геккернов и привели Пушкина в «бешенство».

7-го, в час дня, Дантес возвратился с очередного дежурства и хотел встретиться с поэтом (см. письмо Жуковского к Пушкину. — *XVI*, 184—185), но «бешенство» поэта показало, что свидание к добру не приведет. 7-го от Виельгорского Жуковский послал Пушкину записку с просьбой «одуматься» и «все остановить» (*XVI*, 183; датировку см.: *Яшин*, с. 166). Ответ Пушкина, судя по дальнейшим записям, был отрицательным. С этим, повидимому, связано «извещение» Геккерна Виельгорским и приход «молодого Геккерна к Вильгорскому».

[4] 8 ноября снова ведутся переговоры («pourparlers»). *Геккерн у Загряжской.*— Об этом свидании см. письмо Геккерна к Жуковскому от 9 ноября (*Щеголев*, с. 88). В разговоре с Загряжской Геккерн, очевидно, подтвердил предложение Екатерине, чтобы активизировать действия «тетки». Жуковский, в свою очередь, пытается воздействовать на Пушкина и умерить его «бешенство» против Дантеса, напоминая ему об его увлечениях («То, что я говорил о его отношениях»).

[5] Какие «откровения» (или в данном случае «разоблачения») сделал Геккерн 9 ноября, мы не знаем. Но, так как свои «тайны» он уже изложил Жуковскому, можно предположить, что объектом новых «разоблачений» был Пушкин. Возможно, в ход пускаются какие-то порочащие поэта слухи, может быть, связанные с Александриной (см. с. 511 наст. изд.). Жуковский не теряет надежды склонить Пушкина к примирению, он делает «предложение посредничества» и «свидания».

[6] Как понимал Жуковский свое «посредничество» — разъясняет его письмо к Пушкину от 10 ноября (*XVI*, 184—185). В этот день в руках Жуковского было письмо Геккерна, на которое должен ответить Пушкин. От Пушкина ждут, что он объяснит причину вызова или возьмет свой вызов обратно. Проект ответа составлен Жуковским, но Пушкин не хочет объясняться с Геккернами письменно или устно (см.: *XVI*, 184—185), поэтому Жуковский «отказывается от свидания».

[7] После того как Жуковский «отказался», стала действовать «Е. И.» (Загряжская). «Что Пушкин сказал Александрине», мы не знаем. Геккерны продолжали требовать от Пушкина письменного отказа от дуэли, Пушкин написал такое письмо, но связал отказ от дуэли со слухами о «сватовстве». Очевидно, это письмо показывал д'Аршиак Соллогубу (см. с. 342 наст. изд.). Такое письмо было равносильно обвинению в трусости. Тогда было устроено «свидание Пушкину с Геккерном» у Загряжской, но и здесь на требование иного письма поэт ответил отказом, ограничившись устным заявлением, что «те основания», по которым он вызвал Дантеса, «перестали существовать». Так пишет Дантес в своем письме к Пушкину (*XVI*, 187), требуя письменного объяснения. Письмо Дантеса вызвало снова «бешенство» Пушкина.

[8] Не получив требуемого письма, Дантес направил к Пушкину своего секунданта д'Аршиака (см. воспоминания Соллогуба, с. 343 наст. изд.).

[9] Приехавший из Москвы Д. Н. Гончаров объявил «родительское согласие» на брак Екатерины. 17 ноября о свадьбе было объявлено, а сама свадьба состоялась 10 января.

[10] Запись Жуковского о «двух лицах» Щеголев и Боричевский относили к Пушкину. Е. С. Булгакова правильно расшифровала ее как двуличие Дантеса по отношению к Н. Н. Пушкиной (см.: Ахматова А. А. Александрина.— Звезда, 1973, № 2, с. 225). Очевидно, заметила это двуличие Александрина, тут же сделавшая свои «разоблачения».

[11] Вся запись, после слов: «Разоблачения Александрины»,— кроме двух слов: «История кровати»,— относится к Дантесу. Его грубость («des brusqueries») к жене (такая же показная, как и «мрачность» «при ней» — то есть при Н. Н. Пушкиной) — это средство заставить Н. Н. Пушкину поверить в его великую страсть. «*Балагур*» — Дантес (*Боричевский*, с. 382). «Вы принесли мне счастье»,— очевидно, реплика поэта на казарменные каламбуры Дантеса, которые «принесли счастье» Пушкину,— отвратили от Дантеса жену поэта. Слова «история кровати», по-видимому, не случайно расположены между рассказом Александрины о двуличии Дантеса и фразой о балагуре. До Жуковского, очевидно, дошла «сплетня», о которой писал Россет (см. с. 356 наст. изд.). От кого узнал Жуковский эту сплетню — неизвестно, но размещение записи свидетельствует, что в его сознании она как-то связана с домом и поведением Геккернов.

[12] «Ссора на лестнице» в понедельник (то есть 25-го) с Геккерном, о которой мы знаем только по этой записи Жуковского, послужила скорее всего последним поводом к отправке «ругательного письма» Пушкина (*XVI*, 221—222). Непосредственную связь «ссоры» с дуэлью и констатирует эта запись Жуковского.

[13] Деньги получены были на похороны Пушкина.

[14] См. примеч. 2 к воспоминаниям И. Т. Спасского.

ПИСЬМО К С. Л. ПУШКИНУ

(Стр. 393)

Щеголев, с. 174—197.

[1] Пушкин просил у царя прощения за нарушенное слово. После ноябрьского конфликта он обещал ему не драться ни под каким предлогом (*Карамзины*, с. 170).

[2] Сведения о записке, посланной Николаем I Пушкину, содержатся также в воспоминаниях Вяземского, А. И. Тургенева и в ряде других источников. Сама записка не сохранилась и в переписке Пушкина (*XVI*, 228) напечатана по тексту, содержащемуся в письме А. И. Тургенева к неизвестному лицу. Арендт должен был прочесть записку Пушкину

и вернуть ее царю, так как оставить записку монарха в руках подданного значило бы сделать из нее «рескрипт», то есть оказать такую «высочайшую милость», которой Пушкин в глазах Николая был недостоин.

[3] В письме Вяземского к А. Я. Булгакову этот эпизод изложен иначе: «Пушкин был чрезвычайно тронут этими словами и убедительно просил Арендта оставить ему эту записку» (*РА*, 1879, кн. 2, с. 441).

[4] Записки Елены Павловны см.: *ЛН*, т. 58, с. 135.

[5] Снимал маску скульптор Гальберг. См. письмо П. А. Плетнева к В. Г. Теплякову (*ИВ*, 1887, № 7, с. 21).

[6] 30 января Николай I передал Жуковскому следующую записку о «милостях» семье Пушкина: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пенсион и дочери ⟨то есть дочерям⟩ по замужество. 4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступлении на службу. 5. Сочинения издать на казенный счет в пользу вдовы и детей. 6. Единовременно 10 т⟨ысяч⟩» (*Щеголев*, с. 222). Однако на просьбу Жуковского сопроводить «милости» специальным царским рескриптом (как это было сделано после смерти Н. М. Карамзина) царь ответил отказом. Его слова см. в письме Е. А. Карамзиной к сыну (*Карамзины*, с. 170).

ПИСЬМО К А. Х. БЕНКЕНДОРФУ

(Стр. 407)

Щеголев, с. 242—257.

Впервые (отрывки) — в книге А. Н. Веселовского «В. А. Жуковский. Поэзия чувств и «сердечного воображения» (СПб., 1904). Полностью — в книге П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» (Пг., 1916). В настоящем издании печатается первоначальный черновик письма, без последующих исправлений, внесенных Жуковским в писарскую копию.

[1] *Корбова рукопись* — «Дневник поездки в Московское государство в 1608 году» И. Г. Корба, опубликованный в Вене в 1700 г.

[2] *Все они были читаны* — намек на перлюстрацию писем Пушкина.

[3] За опубликование «Философического письма» («Телескоп», 1836, № 15) Чаадаев был объявлен сумасшедшим и отдан под надзор полиции, «Телескоп» запрещен, а его редактор Н. И. Надеждин выслан из Москвы. Письмо Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г. см.: *XVI*, 171.

[4] Ода «Вольность».

[5] *«На выздоровление Лукулла»* — сатира на С. С. Уварова.

[6] *Трагедия* — «Борис Годунов». Жуковский имеет в виду письмо Бенкендорфа к Пушкину от 22 ноября 1826 г. (*XIII*, 307).

[7] Назывались и другие цифры: С. Н. Карамзина писала 20 000 (*Карамзины*, с. 171), Я. Н. Неверов — 32 000 (Моск. пушкинист, вып. 1. М., 1927, с. 44), прусский посол Либерман — 50 000 (*Щеголев*, с. 384). Смерть Пушкина вызвала в обществе взрыв возмущения. Об этом доносили своим правительствам аккредитованные в Петербурге послы. Их донесения см.: *Щеголев*, с. 371—417; Эйдельман Н. Я. Секретное донесение Геверса о Пушкине. — В кн.: *Врем. ПК*, 1971. Л., 1973, с. 5—26.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

В указатель вошли только имена, встречающиеся в основном тексте; из примечаний и вступительной статьи введены имена лиц пушкинского окружения. Страницы примечаний выделены курсивом. Аннотации содержат лишь сведения, необходимые для понимания текста; общеизвестные имена и имена мемуаристов не аннотируются.

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА, ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

В. Э. Вацуро (И. И. Лажечников, П. А. Катенин, А. М. Каратыгина, С. Е. Ранч, К. П. Зеленецкий, Н. М. Лонгинов, С. А. Соболевский, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, А. Н. Муравьев, К. А. Полевой, А. А. Скальковский, А. И. Дельвиг, Н. А. Муханов, А. В. Никитенко, П. А. Плетнев, Н. А. Дурова, Н. В. Гоголь, Е. Ф. Розен);

М. И. Гиллельсона (П. А. и В. Ф. Вяземские, П. П. Вяземский, Е. П. Рудыковский, М. Н. Волконская, Е. Н. Раевская, Ф. Ф. Вигель, В. П. Горчаков, А. Ф. Вельтман, В. Ф. Раевский, П. И. Долгоруков, И. Д. Якушкин, Ф. Н. Лугинин, А. И. Тургенев);

С. В. Житомирской (А. О. Смирнова-Россет);

Р. В. Иезуитовой (В. Путята, А. П. Распопов, А. М. Горчаков, А. П. Керн, А. Н. Вульф, М. И. Осипова, П. Парфенов, Е. И. Фок, А. А. Оленина, Е. Е. Синицына, А. Н. Понафидина, Н. И. Вульф, А. И. Подолинский, В. И. Даль, А. А. Фукс, Т. Д. Демьянова, И. А. Гончаров, П. В. и В. А. Нащокины, М. И. Глинка);

А. В. Корниловой (А. С. Андреев, А. Н. Мокрицкий, М. И. Железнов);

Я. Л. Левкович (О. С. Павлищева, Н. В. Берг, М. Н. Макаров, Л. С. Пушкин, С. Д. Комовский, И. И. Пущин, Н. А. Маркевич, В. А. Эртель, М. И. Пущин, М. В. Юзефович, Е. А. Долгорукова, Д. Ф. Фикельмон, Н. М. Смирнов, А. Я. Панаева, В. А. Соллогуб, А. О. и К. О. Россеты, М. Н. Лонгинов, Е. Н. Мещерская, Облачкин, К. К. Данзас, И. Т. Спасский, В. А. Жуковский);

А. Г. Тартаковского и А. А. Ильина-Томича (Ф. И. Глинка);

Н. Я. Эйдельмана (И. П. Липранди).

Указатель имен составлен В. В. Зайцевой. Подбор иллюстраций к книге А. В. Корниловой. За предоставление права публикации нового иллюстративного материала выносится благодарность научному сотруднику Государственного Литературного музея М. Н. Жигадло.

СОДЕРЖАНИЕ

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников.
П91 В 2-х т. Т. 2. /Сост., подгот. текста и коммент. В. Вацуро, М. Гиллельсона, Р. Иезуитовой, Я. Левкович.— М.: Худож. лит., 1985.—575 с. (Лит. мемуары).

Во второй том вошли воспоминания современников о Пушкине, охватывающие 1826—1837 годы, когда после возвращения из ссылки начался многотрудный путь преодоления поэтом давления цензуры, влияния царя, борьбы за творческую и личную независимость. Завершается том воспоминаниями и документами о дуэли, обнаруживающими истинных виновников гибели поэта. По сравнению с предшествующим изданием (1974 г.) в книгу включены новые воспоминания.

П $\frac{4702010100\text{-}241}{028(01)\text{-}85}$ 21-85

ББК 84Р1
Р1

А. С. ПУШКИН
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Том 2

Редактор
Е. Жезлова
Художественный редактор
Г. Масляненко

Технический редактор
Л. Вецкувене

Корректоры Н. Усольцева, С. Колганова

ИБ № 4013

Сдано в набор 16.10.84. Подписано к печати 20.05.85. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24+альбом=31,08. Усл. кр.-отт. 31,5. Уч.-изд. л. 33,64+ +альбом=34,37. Тираж 100 000 экз. Изд. № II-1801. Заказ 1628.
Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15